# Кролик разбогател

# Джон Апдайк

Вечером он закуривает хорошую сигару и влезает в маленький старый фургончик и, ругнув, быть может, карбюратор, мчится домой. Он стрижет лужайку или практикует с клюшкой, а там, глядишь, пора и ужинать.

Джордж Бэббит

Об идеальном гражданине

Как трудно думать, когда день клонится к вечеру, когда на солнце наползает тень и светлое пятно — лишь твоя шкурка...

Уоллес Стивенс

Кролик — король призраков

1

«Кончается горючее», — думает Кролик Энгстром, стоя за пыльными, как всегда летом, окнами демонстрационного зала «Спрингер-моторс» и глядя на поток транспорта, текущий мимо по шоссе 111, — поток словно бы усохший и испуганный по сравнению с тем, каким он бывал раньше. В этом чертовом мире кончается горючее. Но его, Кролика, они в угол не загонят — пока еще нет, потому что с его «тойотами», учитывая расстояния, какие они покрывают при сравнительно небольших эксплуатационных расходах, не сравниться ни одной колымаге. Читайте «К сведению потребителей», апрельский номер. Больше ничего и не нужно говорить людям, когда они заходят. А они заходят — люди-то ведь просто обезумели, они не понимают, что Великим американским гонкам наступает конец. Бензин дошел до девяноста девяти и девяти десятых цента за галлон, и девяносто процентов бензоколонок закрыты на уик-энд. Губернатор Пенсильвании призывает отпускать бензина не меньше чем на пять долларов, чтобы прекратить создаваемые паникой очереди. А владельцы грузовиков, не достав дизельного топлива, расстреливают собственные грузовики — один такой случай произошел совсем недавно в округе Дайамонд на Поттсвиллской платной дороге. Люди теряют голову, доллары их превращаются в бумажки, они швыряют деньгами, как будто завтра конец света. А Гарри им говорит, что, покупая «тойоту», они превращают свои доллары в иены. И они верят. Сто двенадцать новых и подержанных машин прошли через его руки за первые пять месяцев 1979 года, а за одни только первые три недели июня он уже сбагрил восемь «королл», пять «корон», в том числе один «универсал» в люксовом исполнении, да еще «селику» — каждую в среднем по цене на восемьсот долларов выше оптовой. Кролик разбогател.

Он теперь владелец «Спрингер-моторс», одного из двух отделений фирмы «Тойота» в районе Бруэра. Вернее, совладелец на половинных началах со своей женой Дженис, а ее матери, Бесси, принадлежит вторая половина капитала, унаследованная от старика Спрингера после его смерти пять лет тому назад. Но Кролик ведет себя так, точно он здесь полный хозяин: день за днем он торчит в демонстрационном зале, держит в руках всю документацию и выплату жалованья, появляется в своем отутюженном, вычищенном костюме то в отделе текущего ремонта, то в отделе запасных частей, где люди работают точно в преисподней, чумазые, все в масле, и, когда поднимают взгляд от ярко освещенных моторов, глаза у них кажутся белыми, тогда как он занимается с клиентами, жителями округа, — звезда и средоточие вселенной для двух десятков сотрудников, работающих на площади в сто тысяч квадратных футов, что протянулись сейчас за его спиной, когда он стоит у окон, широкой тенью в глубину. Стена, обшитая вроде бы досками, а на самом деле панелями причудливо рифленного мезонита, вся завешана возле двери в его кабинет старыми газетными вырезками и фотографиями команд в рамках, среди них — две фотографии лучших десяток округа той поры, когда двадцать лет тому назад он был герой баскетбола, — нет, не двадцать, теперь уже больше двадцати пяти. Даже под стеклом вырезки продолжают желтеть — что-то происходит с бумагой, и не только под воздействием воздуха: так раньше пугали его, говоря, что от греховной жизни люди желтеют. *Энгстром забивает свой 42-й. Кролик выводит команду Маунт-Джаджа в полуфинал.* Идея устроить такую выставку — а вырезки эти были извлечены с чердака, где покойные родители Кролика с незапамятных времен хранили их, наклеив в блокнотах, но клей высох, и вырезки можно было снять, точно кожу со змеи, — принадлежала Фреду Спрингеру, равно как и фраза о том, что репутация фирмы зависит от репутации ее главы. Зная задолго до смерти, что он умирает, Фред готовил Гарри к тому, чтобы он мог возглавить фирму. О покойниках принято думать с благодарностью.

Десять лет тому назад, когда Кролика, работавшего тогда линотипистом, уволили и он помирился с Дженис, ее отец взял его к себе продавцом, а пять лет спустя, когда Кролик поднаторел в деле, соизволил отдать Богу душу. Кто бы мог подумать, что у этого маленького, живого, деловитого человечка может случиться такой обширный инфаркт? Высокое давление: нижнее уже многие годы держалось у него на ста двадцати. Он любил соль. А кроме того, любил поразглагольствовать о доблестях республиканцев, когда же Никсон лишил его этой возможности, он и скончался. Собственно, он протянул еще год при Форде, но кожа на его лице натягивалась все туже, а красные пятна на скулах и челюстях становились все краснее. Гарри, увидев его, нарумяненного, в гробу, понял, что конца следовало ожидать: в смерти Фред не очень изменился. По тому, как вели себя Дженис и ее мать, можно было подумать, что окочурился то ли принц из сказки, то ли пророк Моисей. Возможно, Гарри стал таким бесчувственным потому, что уже похоронил обоих родителей. Он опустил взгляд, заметил, что у Фреда не на ту сторону зачесаны волосы, и ничего не почувствовал. Великое все-таки дело делают мертвецы — освобождают тебе место.

Пока старик Спрингер еще был на скаку, жизнь в фирме была тяжкая. Он допоздна засиживался на работе и не закрывал демонстрационный зал даже в зимние вечера, когда по шоссе 111 не ходило ни единого снегоочистителя, вечно гундел этим своим высоким нудным голоском про основные правила демонстрации машин, да как получить прибыль на мойке, да как обслуживать покупателей, да оставил или не оставил механик отпечатки большого пальца на руле какого-нибудь чудика или окурки в его пепельнице. При старике Спрингере все они стремились быть под стать тому идеалу, каким непрестанно, неуклонно старался сделать «Спрингер-моторс» старик. Когда же он умер, забота об идеале перешла к Гарри, а он был для этого явно жидковат. Теперь, став здесь королем, он полюбил магазин, и примыкающий к нему акр асфальта, и запах новых машин, исходящий даже от брошюр и всякой белиберды, которую фирма «Тойота» рассылает из Калифорнии, и моющийся шампунем бобрик от стены до стены, и желтеющие свидетельства баскетбольных побед на стенах рядом с эмблемами клубов «Киванис» и «Ротари» и команды Бруэрской торговой палаты и трофеями команд «Малой лиги», которые финансирует фирма, на высоко подвешенной полке, — полюбил этот тихий просторный квадрат мужского мирка, слегка разбавленного девочками в отделе расчетов и приема, наймом и увольнением которых ведает старушка Милдред Крауст, и маленькие карточки с напечатанным на них: *Гарольд Энгстром, главный торговый представитель*. Глава фирмы. Своего рода центр нападения, тогда как раньше он был просто нападающим. До чего же Гарри чувствует себя беззаботно, когда ему не надо дотягиваться до идеала, когда он завоевал себе репутацию. Машины, согласно его философии, продаются ведь сами собой. По телевидению все рекламируют «тойоты» — это втемяшивается людям в голову. Гарри нравится быть частью этого мира — нравится, как с ним раскланиваются люди, которые со времен школы смотрели на него сверху вниз. А в «Ротари» и в команде Торговой палаты он встречает ребят, с которыми тогда играл в мяч, или их уродов младших братьев. Ему нравится то, что деньги так и текут к нему, крупному, добродушному, славному малому, каким он представляется себе: теперь в нем шесть футов три дюйма, а талия — сорок два, как пытался внушить ему продавец костюмов у Кролла, пока он не втянул живот, и тогда продавцу нехотя пришлось передвинуть по сантиметру большой палец. Теперь он избегает зеркал, хотя раньше любил в них смотреться. В его сегодняшнем лице то давнее лицо, узкое, с сонными глазами молодого хищника под стриженными ежиком волосами, которое глядит на него с глянцевитых снимков команды, не более заметно, чем хромированная решетка на капоте машины, когда она стоит перед тобой вся на виду, вместе с крыльями. Нос у Гарри все такой же небольшой и прямой, глаза, пожалуй, стали чуть менее сонными. Довольно длинные волосы, какие носят дельцы, укладывая их феном, прикрывают кончики ушей и маскируют залысины. Эпоха контркультуры с ее наркотиками и отказом от воинской повинности не слишком нравится ему, а вот то, что не надо стричься под морских пехотинцев, что можно носить волосы подлиннее и причесывать их так, чтобы они лежали естественно, пушисто, ему нравится. Бреясь, он видит в зеркале свой двойной подбородок и набухающие жилы под ним — лучше не смотреть. И все равно жизнь прекрасна. Именно так говорили старики, и в молодости он всегда недоумевал: неужели они это серьезно?

Вчера вечером в Бруэре и пригородах шел град. Градины величиной с камушки скакали по спускающимся под уклон палисадникам и барабанили по жестяным вывескам с мерцающими неоновыми надписями в центре города; потом начался ливень, и в лужах отразилась серая, как камень, заря. Однако день выдался ветреный и золотой, и исчерченный белыми полосами, залатанный асфальт площадки для машин высох к концу этой долгой, последней в июне и первой в календарном лете субботы. Обычно в субботу по шоссе 111 деловито мчатся покупатели растаскивать торговые центры, возникшие там, где раньше тянулись поля пшеницы, ржи, помидоров, капусты и клубники. Через дорогу — четыре полосы бетона и разделитель из алюминия, покореженный бесчисленными, уже забытыми авариями, — стоит низкое строение с фасадом, облицованным темным кирпичом; в этом строении на протяжении нескольких лет — а Гарри видел, как его каркас постепенно расширяли, сбивая из досок, — перебывало уже несколько прогоревших один за другим ресторанов; теперь же там разместилась «Придорожная кухня», торгующая мясом гриль. В «Придорожной кухне» сегодня тоже вроде бы затишье. Позади разбитой рядом стоянки для машин, заваленной смятыми картонками из-под еды, стоит одинокое дерево, пыльный клен, утоляющий жажду из ручья, превратившегося в канаву. Под ветвями клена гниет столик для пикников, которым никто не пользуется: слишком близко он стоит к кухонной двери, возле переполненного отбросами контейнера. По канаве проходит граница зеленого участка, уже проданного, но никак не используемого. Красивый старый клен вечно манит к себе Гарри, но он не может откликнуться на его призыв.

Гарри отворачивается от запыленного окна и говорит Чарли Ставросу:

— А здорово они все перепугались.

Чарли поднимает глаза от лежащих перед ним бумаг — оплаченного счета и новой формы на «Барракуду-8» выпуска 1974 года, которую они наконец продали вчера за две восемьсот. Никому не нужны теперь эти старые прожорливые чудовища, а не брать их нельзя. Чарли ведь занимается продажей подержанных машин. Хотя он работает в «Спрингер-моторс» в два раза дольше Гарри, столик его стоит прямо тут, в демонстрационном зале, в углу, и на карточке его значится: *Старший торговый представитель*. Однако он не держит на Гарри зла. Он кладет свое перо кончиком вровень с краем бумаг и откликается вопросом на обращение хозяина:

— А ты видел, на днях в газете писали, как где-то в глубинке нашего штата владелец бензоколонки и его жена обслуживали длиннющую очередь и один из клиентов не сумел выключить сцепление и придавил жену к стоявшей сзади машине, там вроде было написано, что он сломал ей бедро; муж подхватил жену и стал просить людей помочь, а они вместо этого кинулись к насосам и давай качать задаром бензин.

— М-да, — говорит Гарри, — по-моему, я слышал об этом по радио, правда, такому трудно поверить. И еще слышал про одного малого из Питсбурга, который возит с собой две огромные доски и подставляет их под задние колеса, чтоб при заправке ему залили на несколько центов больше бензина. С ума люди посходили!

Чарли издает короткий иронический смешок и изрекает:

— А что обывателю остается, раз нефтяные компании так себя ведут! Беру свое, а на тебя — плевать.

— Я не виню нефтяные компании, — спокойно произносит Гарри. — Им тоже туго приходится. Матушка-земля истощается — вот в чем дело.

— Мура, чемпион, у тебя никто никогда не виноват, — говорит Ставрос своему более рослому коллеге. — «Скайлэб»[[1]](#footnote-1) свалится тебе на голову — и тогда скажешь, что правительство сделало все возможное, чтобы этого не произошло.

Гарри пытается представить себе эту картину и соглашается:

— Возможно. Правительство ведь нынче связано по рукам и ногам, как и мы все. Пожалуй, единственное, на что вашингтонские чиновники нынче способны, — это получать жалованье.

— Тут уж можно не сомневаться — алчные мерзавцы. Послушай, Гарри, ты прекрасно знаешь, что Картер и нефтяные компании сами заварили всю кашу. Чего хотят нефтяные короли? Чтоб прибыль была больше. Чего хочет Картер? Чтоб меньше импортировать нефти, чтоб меньше обесценивался доллар. Ввести нормирование он боится и надеется, что повышение цен само собой все решит. Вот увидишь, еще до конца года бензин без свинца будет стоить полтора доллара.

— И люди будут платить, — говорит Гарри: с годами его стало трудно вывести из себя.

Оба умолкают, словно примирив точки зрения, в то время как по шоссе 111 испуганный транспорт вздымает пыль, а нераскупленные «тойоты» в демонстрационном зале распространяют специфический запах новых машин. Десять лет назад у Ставроса был роман с Дженис, женою Гарри. Гарри представляет себе, как Дженис лежит под Чарли, и ему одновременно неприятно и сладко, только, пожалуй, больше сладко. Беря зятя на работу, старик Спрингер спросил его, сможет ли он работать с Чарли. Кролик не понимал, почему, собственно, нет. Однако, почувствовав, что тут можно кое-что выторговать, он сказал, что готов работать вместе с Чарли, но не под ним. «Об этом не может быть и речи, ты будешь подчиняться только мне, пока я тут, на земле, — обещал ему Спрингер, — вы просто будете работать бок о бок».

И вот бок о бок они ждали покупателей и в дождь и в солнце, и поругивали придирчивого хозяина, и ежемесячно определяли, какие из подержанных машин никогда от них не уйдут, и соответственно снижали на них цену, чтобы продать по себестоимости и хотя бы окупить затраты на их содержание. Бок о бок страдали они вместе со «Спрингер-моторс», когда в Бруэре появились по лицензии машины «дацун», и потом все те годы, когда люди покупали «фольксвагены» и «вольво», а теперь «хонды» и «ле-кары» — последнее слово по части экономии. За эти десять лет Гарри прибавил в весе тридцать фунтов, тогда как Чарли из коренастого грека, которого, когда он был в темных очках и клетчатом костюме, можно было принять за местного бандита — распространителя подпольной лотереи, превратился в высохшего жучка из тех, что околачиваются на скачках. У Ставроса всегда барахлило сердце — следствие ревматизма, перенесенного в детстве. В свое время Дженис как раз и купилась на это — на эту слабость, сидевшую в нем, несмотря на могучую грудь. И вот теперь, подобно трещине в хрустале, разбегающейся во все стороны, болезнь сказалась и на внешнем облике: он стал похож на высохшего, исправившегося пьяницу, который повседневно печется о своем здоровье. Его брови, которые, словно железный прут, пересекали раньше лицо, разделились на два черных самостоятельных куста, точно мазки углем на лице клоуна. Баки у него поседели, а на макушке появилась будто наведенная краской широкая черная полоса.

Каждое утро, не успев войти в помещение, Чарли снимает свои лиловые очки в черной роговой оправе и надевает другие, с янтарными стеклами, и топчется целый день по магазину, точно этакий старый седеющий горный баран, который боится поскользнуться на уступе и свалиться в пропасть. «Будете работать бок о бок, обещаю». Когда старина Спрингер давал такое обещание, когда он со всей серьезностью о чем-либо говорил, розовые пятна на его лице становились ярко-красными, а губы поджимались, обнажая зубы, так что казалось, будто перед тобой череп. Зубы были грязно-желтые, с прокладками из пластмассы, и усы у него всегда были не совсем ровно подстрижены и не совсем чистые.

Господи, его уже нет в живых. Мертвецов становится все больше, и они смотрят на тебя, умоляя присоединиться к ним, обещая, что все будет в порядке, — там, внизу, так мягко лежать. Папа, мама, старик Спрингер, Джилл, малютка, которую то недолгое время, что она прожила, звали Бекки, Тотеро. На днях умер даже Джон Уэйн. Страница некрологов каждый день пополняется новыми именами, урожай их бесконечно богат — мелькают лица старых учителей, покупателей, местных знаменитостей вроде него, они на миг появляются и исчезают навеки.

Впервые со времен детства Кролик счастлив — просто от сознания, что жив. И он говорит Чарли:

— Я так считаю: нефть подойдет к концу вместе со мной — этак в году двухтысячном. Вроде бы смешно говорить такое, но я рад, что живу в наше время. Эти ребята, которые идут нам на смену, им же достанутся крохи со стола. А у нас был полный обед.

— Крепко тебе голову задурили, — говорит ему Чарли. — И тебе, и многим другим. У больших нефтяных компаний разведано столько месторождений, что хватит еще на пятьсот лет, но они хотят выдавать нефть понемножку. Я слышал, в заливе Делавэр стоят сейчас на якоре семнадцать супертанкеров — семнадцать! — и ждут, когда подскочат цены, а тогда они подойдут к нефтеперегонным заводам южной Филадельфии и выгрузятся. А пока происходят смертоубийства в очередях за бензином.

— Так перестань ездить. Бегай! — говорит ему Кролик. — Я вот начал бегать и чувствую себя великолепно. Хочу сбросить тридцать фунтов.

На самом деле его решение бегать на заре до завтрака по росистой траве продержалось меньше недели. Теперь он довольствуется тем, что после ужина иногда бегает трусцой вокруг квартала, спасаясь от дрязг, которые разводят жена и ее мамаша.

Он затронул больное место. Чарли признается, снова принимаясь за бумаги:

— Доктор говорит, что, если я стану заниматься любым видом спорта, он умывает руки.

Кролик смущен, но не слишком.

— В самом деле? Тот доктор — как-его-там-звали — говорил иначе. Уайт. Пол Дадли Уайт.

— Он умер. Любители спорта падают в парке, как дохлые мухи. В газетах об этом не пишут, потому что индустрия укрепления здоровья приносит большие барыши. Помнишь все эти маленькие магазинчики натуральных продуктов, которые пооткрывали хиппи? Знаешь, кому они теперь принадлежат? «Дженерал миллс»[[2]](#footnote-2).

Гарри не всегда знает, насколько серьезно следует воспринимать Чарли. Зато он знает, что его бывший соперник — сильный и крепкий малый, уж никак не обделенный Господом Богом по части телесного здоровья. Если бы Дженис удрала с Чарли, как собиралась, ей пришлось бы теперь быть ему нянькой. А так — она нынче играет в теннис три-четыре раза в неделю и никогда еще не была в лучшей форме. Гарри старается держаться с Чарли помягче, чтобы тот — и так он все чахнет — не чувствовал себя придавленным везучестью коллеги. Он молчит, а Чарли возвращается мыслью к тем памятным дням, когда еще не было энергетического кризиса, забыв о том позорном и печальном факте, что доктор по поводу его умывает руки.

— Бензин, — неожиданно произносит он с легким смешком, точнее, придыханием. — До чего же мы привыкли его жечь! Был у меня однажды «империал» с двумя карбюраторами, так когда снимешь фильтр и посмотришь на всасывающий клапан — а мотор в это время работает вхолостую, — такое впечатление, точно воду в уборной спускают.

Гарри смеется, подыгрывая собеседнику.

— А как раскатывали, — говорит он, — выходили из школы, и делать-то больше нечего — ну раскатывать. Вверх и вниз по Центральной, вверх и вниз. Эти старые восьмицилиндровые — насколько, ты думаешь, им хватало одного галлона? Миль на десять — двенадцать? Да никому и в голову не приходило считать.

— Мои дяди до сих пор не желают ездить в маленькой машине. Говорят, им вовсе неохота, чтоб их сплющило, если они столкнутся с грузовиком...

— Помнишь «цыплят»? Можно только удивляться, что на них не разбилось больше ребят.

— «Кадиллаки». Если у одного из братьев моего отца появлялся «бьюик» с крыльями, моему отцу непременно требовался «кадиллак» с еще большими крыльями. Задних фар на нем было не сосчитать — точно ящик с красными яйцами.

— Был один парень в Верхнем Маунт-Джадже — Дон Эберхардт, так он спускался с холма, что за картонной фабрикой, на подножке «доджа» своего папаши, а потом садился за руль. Так и катил с самой верхушки холма.

— Первой машиной, какую я купил для себя, был «Студебеккер-48», у него еще нос как у самолета. Проделал на нем около шестидесяти пяти тысяч миль — было это летом пятьдесят третьего. Ну и лихая была машина! Как только красный менялся на зеленый, ты просто чувствовал, как передние колеса начинают подниматься, точно у самолета.

— Я тебе сейчас кое-что расскажу. Однажды, когда мы с Дженис только поженились, я за что-то разозлился на нее — наверное, просто за то, что она такая, какая есть, — сел в машину и за вечер смотался в Западную Виргинию и обратно. С ума спятить. Теперь, чтоб пуститься в такую авантюру, надо сначала в банк зайти;

— М-да, — тянет погрустневший Чарли. А у Кролика не было ни малейшего желания его огорчать. Он ведь толком так никогда и не узнал, действительно ли Чарли любил Дженис. — Она мне об этом рассказывала. Ты в ту пору немало покуражился.

— Было дело. Но машину я всегда пригонял назад. И когда Дженис ушла от меня, она забрала машину. Ты же помнишь.

— Разве?

Чарли так и не женился, и это лестно для Дженис, а следовательно, и для Гарри, если уж на то пошло. Когда другой мужчина спит с твоей женой, ты ее по-новому оцениваешь, и стоимости ее нет предела. Гарри хочет вернуть разговор на более веселую тему об убывающей энергии. Он говорит Ставросу:

— На днях видел в газете забавное высказывание. Там говорилось: «Никто не способен побить Кристофера Колумба по дальности. Вы только посмотрите, сколько он отмахал миль на своих трех галеонах».

Кролик произносит главное слово старательно, по слогам, но Чарли не делает вид, будто понял, лишь улыбается этакой кривой улыбочкой, какая возникает у людей при боли.

— Это все нефтяные компании нас подталкивали, — говорит Чарли. — Они говорили: «Давай жми на все педали — вон сколько вокруг дорог, сколько торговых центров!» Через сотню лет люди просто не поверят, до чего расточительно мы жили.

— Вот так же было и с лесом, — говорит Гарри, пытаясь продраться сквозь дебри истории, словно подцвеченные туманом; в его представлении она расчерчена на столетия, как футбольное поле, и из всего этого выступают несколько дат — 1066, 1776[[3]](#footnote-3) — и несколько лиц, отнюдь не радующих взор (Джордж Вашингтон, Гитлер), в рамках по краям. — Или, например, с углем. Я помню, когда был мальчишкой, как антрацит с грохотом летел по старому желобу и на каждом куске — красная точка. Я не мог представить себе, что это делают люди, думал, это происходит с ним в земле. Маленькие эльфы метят уголь красными щеточками. А теперь нет больше антрацита. Эта мура, которую нынче добывают, прямо крошится в руке. — Когда Кролик видит, как растрачиваются богатства мира, и понимает, что и земля тоже смертна, ему доставляет удовольствие мысль, что он богат.

— Что ж, — вздыхает Чарли, — по крайней мере эти черномазые и желтые уже никогда не устроят промышленной революции.

Похоже, черта под разговором подведена, хотя у Гарри такое ощущение, что они оставили за бортом нечто очень существенное, нечто жизнетворное, именуемое энергией. Правда, в последнее время он стал замечать, что как в частных беседах, так даже и по телевидению, где людям ведь платят за то, что они говорят, многие темы довольно быстро иссякают, исчерпываются, словно в этом полушарии все уже сказано. В своей духовной жизни Кролик тоже замечает гораздо больше пустот, чем было раньше, — прогалины растраченных клеток серого вещества, откуда раньше шли сигналы вожделения, смелых взлетов фантазии и страха с расширенными зрачками; к примеру, он засыпает теперь мгновенно, так сказать, не успев донести голову до подушки. Раньше он никогда не понимал этого выражения. Но ведь раньше у него и голова была другая. Раньше, к примеру, он мог ходить без шляпы, а теперь стоит подуть прохладному ветру, как он ее надевает. Крыша его прохудилась — стал проникать свет звезд.

*У нас есть то, что вам надо!* — возвещает большой бумажный плакат, висящий в витрине демонстрационного зала в полном соответствии с кампанией, которую ведет по телевидению фирма «Тойота». Плакат перерезает послеполуденное солнце, которое придает демонстрационному залу вид затененного аквариума или огромного затонувшего судна, где две «короны» и пронзительно-зеленая «королла-универсал» ждут, когда их купят, переправят по воздуху на другую сторону стеклянной стены и благополучно опустят на площадку для машин, а там выведут на шоссе 111 и в асфальтовый мир за ним.

Из этого мира выруливает машина — приземистый старый «кантри-сквайр-универсал» 1971 или 1972 года выпуска, весь побитый, со смятым и наполовину выправленным крылом, однако покрытый еще не покрашенным рыжим слоем грунтовки против ржавчины. Из машины выходит юная пара: девочка, молочно-белая, с голыми ногами, усиленно моргает на солнце, а парень к солнцу привык — кожа у него загрубелая, красная, джинсы в красной глине здешних краев стоят колом. На хромированном багажнике машины надстроена клеть из неструганых досок, а с того места, где стоит Кролик, выдаваясь пузом вперед, он видит, как пострадала обшивка стен и сидений «универсала» оттого, что фермер пользовался им вместо грузовика.

— Деревенщина, — бросает Чарли со своего места за столиком.

Пара входит в помещение застенчиво — два жалких длинных зверя, принюхивающихся к охлажденному кондиционером воздуху.

Почувствовав, одному Богу известно почему, желание покровительствовать им, несмотря на ехидное замечание Чарли, Гарри направляется к молодым людям и первым делом бросает взгляд на руку девушки, проверяя, есть ли на ней обручальное кольцо. Кольца нет, но теперь это не имеет такого значения, как прежде. Молодые люди живут вместе — и все. На его взгляд, девушке лет девятнадцать-двадцать, парень постарше, того же возраста, что и сын Кролика.

— Чем могу служить, молодежь?

Парень отбрасывает назад волосы, открывая низкий белый лоб. Его задубелое от солнца лицо такое широкое, что кажется, будто он улыбается, даже когда и не думает улыбаться.

— Мы заглянули так, посмотреть.

Произношение выдает в нем обитателя южной части округа — меньше резких звуков, свойственных немецкому языку, чем на севере, где кирпичные церкви вздымают в небо острые шпили, а дома и сараи сложены из известняка, не из песчаника. Гарри предполагает, что они, видно, собираются бросить ферму и перебраться в город, где не придется больше таскать столбы для забора, и скирды сена, и тыквы, и все то, что эта несчастная колымага вынуждена перевозить. Найти себе крышу над головой, пристроиться на работу и раскатывать в маленькой «королле». *У нас есть то, что вам надо.* Вполне возможно, что парень просто приехал поразведать цены для отца и прихватил с собой подружку, или, может, это вовсе и не подружка, а сестра или первая встречная, которую он подвез. Есть в ней что-то отдающее панелью. То, как ее пышное тело распирает тесную одежду — выцветшие полотняные шорты и малиновый, в огурцах, бюстгальтер. Блестящая, чуть присыпанная веснушками кожа на плечах и руках и рыжевато-каштановая, с выцветшими на солнце прядями буйная грива, небрежно стянутая сзади. Где-то внутри звякнул давно похороненный колокольчик. У нее голубые, глубоко сидящие глаза, и она молчит, как и положено деревенской девчонке, привыкшей к тому, что мужчины говорят, а она помалкивает, храня, посасывая, свою горько-сладкую тайну. Никак не вяжущиеся с ее обликом туфли для дискотеки на высокой пробковой танкетке, с ремешками вокруг щиколоток. Розовые пальцы, накрашенные ногти. Эта девчонка с этим парнем не задержится. Кролику хочется, чтобы это было так: ему кажется, что он уже чувствует, как ток сам собою бежит от нее к нему, хотя она по-прежнему стоит как вкопанная. Он чувствует, что ей хочется спрятаться от него, но слишком она для этого большая и белая, слишком в ней вдруг ощутилась женщина, почти обнаженная. Туфли удлиняют ей ноги; она выше среднего роста и вообще не толстая, а скорее полноватая, особенно в талии. Верхняя губа ее нависает над нижней, слегка припухшая, словно ее вытянули. У нее вообще такое тело, что стоит ударить — и оно пойдет синяками. Кролику хочется защитить девочку; он перестает буравить ее взглядом — и так он слишком долго на нее смотрел — и поворачивается к парню.

— Это «королла», — говорит Гарри, хлопая рукой по оранжевой жестянке. — Модель с двумя дверцами, стоимостью от трех тысяч девятисот, на шоссе расходует галлон бензина на сорок миль, а в городе — галлон на двадцать — двадцать пять миль. Я знаю, если судить по рекламе, некоторые другие марки тратят меньше, но, поверьте, сегодня в Америке вы не купите ничего лучше этого драндулета. Почитайте «К сведению потребителей», апрельский номер. А что до обслуживания и ремонта, то в первые четыре года условия куда лучше существующих в среднем. Да и кто в наши дни и в наше время держит машину дольше четырех лет? Через четыре года, если дело так пойдет, мы, может, все на велосипеды сядем. Ну а у этой машины — четырехскоростная синхронная трансмиссия, транзисторная система зажигания, передние дисковые гидравлические тормоза, виниловые откидывающиеся кресла, запирающаяся крышка бензобака. Это особенно важно. Вы не заметили, что в последнее время ни в одном магазине по продаже автомобильных частей нет сифонов? Сифона в Бруэре нынче не купишь ни за какие деньги — угадайте почему? На днях из старого «крайслера» моей тещи, который стоял в Маунт-Джадже у парикмахерской, выкачали весь бензин, а она и ездит-то в своей колымаге разве что в церковь. Люди черт-те что себе позволяют. Читали сегодня утром в газетах, что Картер собирается отобрать бензин у фермеров и дать его грузовикам? Приставляет пистолет к виску, а?

— Я не видел газет, — говорит мальчишка.

Он стоит на земле так прочно, что Гарри вынужден сжаться и протиснуться позади него, чтобы не опрокинуть картонную фигуру счастливой покупательницы с собачкой и пакетами и хлопнуть по ядовито-зеленой машине.

— Ну а если вы хотите сменить свой старый «универсал» — это же настоящая древность — на другой, почти такой же вместительный, но потребляющий вдвое меньше бензина, то вот этот «СР-5» — великолепная машина: *пять* скоростей, с ускоряющейся передачей, что действительно экономит топливо на больших расстояниях, и складные сиденья сзади, что позволяет посадить там одного пассажира, а сбоку остается еще место, чтобы положить клюшку для гольфа, или столбы для забора, или что хотите. Право, не знаю, почему Детройт до этого не додумался — это я насчет складного сиденья. Нас считают автомобильным раем, а все идеи приходят к нам от иностранцев. Хотите знать мое мнение — Детройт всех нас подвел, все двести миллионов. Я бы с радостью продавал наши американские машины, но, между нами говоря, они просто барахло. Жестянки. Одна видимость.

— А вон там — это что такое? — спрашивает парень.

— Это «корона» — машина ближе к высшему классу. Более мощный мотор — две тысячи двести кубиков вместо тысячи шестисот. Более европейский внешний вид. Я езжу в такой и люблю ее. На шоссе расходует галлон бензина миль на тридцать, а в Бруэре — примерно на восемнадцать. Все, конечно, зависит от того, как ехать. Насколько сильно жмешь на педаль. Эти ребята, что испытывают машины для журнала «К сведению потребителей», они, видимо, гонят вовсю: показатели в милях, уж во всяком случае, кажутся мне неточными. Этот «универсал» стоит шесть тысяч восемьдесят пять, но помните: вы покупаете иены за доллары и, когда придет время продавать, исчисляться стоимость машины тоже будет в иенах.

Девочка улыбается при слове «иены». А мальчишка, поосвоившись, говорит:

— А вот эта? — Молодой фермер дотронулся до черного, с плавными линиями капота «селики».

Весь пыл у Гарри пропадает. Если мальчишка заинтересовался этой машиной, он не намерен ничего покупать.

— Вы сейчас дотронулись до машины экстра-класса, — говорит ему Гарри. — Спортивная модель «Селика-ГТ» может свободно состязаться с «порше» или «МГ». Радиально расположенные стальные крепления, кварцевые часы с хрустальным стеклом, стереоприемник — это все у нее стандартные детали. *Стандартные!* Можете себе представить, каковы добавки! У этой машины — автоматическое управление и крыша с противосолнечным стеклом. Честно говоря, она кусается — цена почти пятизначная, — но, скажу я вам, это хорошее помещение капитала. Люди нынче все больше и больше покупают машины в этих целях. Представление о том, что каждые два года машину надо выбрасывать, как бумажную салфетку, и брать новую, давно устарело. Нынче купишь хорошую, солидную машину и долго будешь иметь вещь, а доллары, если сидеть на них, за это время ухнут к черту. Покупайте добротные вещи — вот мой совет любому молодому человеку, который сейчас начинает жизнь.

Слишком он, видно, стал наседать, потому что парень говорит:

— Да мы ведь только присматриваемся, так сказать.

— Я это понимаю, — спешит вставить Кролик и поворачивается к молчащей девочке: — Я на вас нисколько не давлю. Выбирать машину — все равно что выбирать подругу жизни: это надо делать не спеша.

Девчонка вспыхивает и отворачивается. А Гарри уже разговорился, как добрый папочка, его не остановишь.

— Страна-то у нас пока еще свободная — коммунисты дальше Камбоджи не продвинулись. Так что я, молодежь, никак не могу заставить вас что-то купить, пока вы не почувствовали, что созрели. Мне-то безразлично — эта продукция сама продается. А вообще вам повезло — у нас сейчас такой выбор: как раз две недели назад нам доставили морем пополнение и до августа новых машин не будет. Япония не в силах производить столько машин, чтобы осчастливить весь мир: «тойоту» ведь импортируют на всем земном шаре. — Он не может оторвать глаз от девчонки. Эти глубокие глазницы, плечи, врезавшаяся в тело лямка бюстгальтера. Сожми ее — и останутся вмятины от пальцев, такая она свеженькая, точно из печки. — Скажите, — произносит он, — какого размера машина вас интересует? Вам нужна такая, чтоб возить семью, или только для вас самих?

Девочка краснеет еще больше. «Не выходи замуж за этого чурбана, — думает Гарри. — Его выродки сведут тебя в могилу».

— Нам не нужен другой «универсал», — говорит мальчишка. — У папки есть пикап «шевроле», а когда я закончу школу, он разрешит мне пользоваться этой машиной.

— Это же не машина, а металлолом, — снисходительно замечает Кролик. — Побить ее можно, а доконать — никогда. Еще в семьдесят первом на одну машину расходовали куда больше металла, чем теперь. Детройт испускает дух. — Он чувствует, что парит как на крыльях, все способствует этому: их молодость, его туго набитый кошелек, этот яркий июньский день, таящий обещание, что и завтрашний день, воскресенье, будет ясным и не испортит ему игры в гольф. — Но для людей, которые намереваются завязать узелок и начать серьезную жизнь, нужно нечто другое, а не такая шутка из прошлого, нужно что-то вроде вот этого. — Он снова хлопает рукой по оранжевой жестянке и замечает раздражение в поднятых на него холодных светлых глазах девчонки.»Прости меня, детка, тебе до смерти надоело стоять тут, но когда подойдет время, у тебя слюнки потекут».

Забытый всеми Ставрос подает голос из-за столика в другом конце демонстрационного зала, прорезанного полосами солнечного света, которые постепенно принимают горизонтальное положение:

— Может, им охота покрутить баранку. — Ему нужны покой и тишина, чтобы заниматься своими бумагами.

— Хотите прокатиться? — спрашивает Гарри у парочки.

— Вроде поздновато, — замечает мальчишка.

— Это же минутное дело. Вы ведь не каждый день сюда приезжаете. Так воспользуйтесь случаем. Я сейчас возьму ключи и номерной знак. Чарли, ключи от синей «короллы» висят снаружи на доске или лежат у тебя в столике?

— Сейчас принесу, — буркает Чарли.

Он резко встает из-за столика и, так до конца и не выпрямившись, направляется в коридорчик за переборкой с матовым, до пояса, стеклом — жалкое нововведение, сооруженное Фредом Спрингером к концу жизни. За перегородкой три тонкие панельные двери в стене из прессованной стружки, разделанной под орех, ведут в кабинетики Милдред Крауст и девчонки-счетовода — очередной новенькой в этом месяце, — а также в кабинет главного торгового представителя, расположенный между ними. Двери эти обычно приоткрыты, и девчонка с Милдред то и дело бегают друг к другу за консультациями. Гарри же предпочитает находиться в демонстрационном зале. В старые времена тут было лишь три стальных стола да ковровая дорожка; единственная закрытая дверь вела в туалет со стеклянной колбой, наполненной спрессованным мылом, которую надо перевернуть, чтобы вытряхнуть содержимое. Теперь же клиентов принимают в отдельном закутке, рядом с комнатой для ожидания, которой почти никто не пользуется. Ключи, потребовавшиеся Чарли, висят среди многих других — некоторые из них уже вообще ничего не открывают в этом мире — на доске, потемневшей от прикосновения жирных от машинного масла пальцев, рядом с дверью, ведущей в отдел запасных частей, этот тоннель из заставленных всякой всячиной стальных полок, оканчивающийся раздвижным окном, которое открывается в полную лязга пещеру текущего ремонта. Собственно, Чарли вовсе не обязательно было идти за ключами — правда, он знает, где что лежит, — да и покупателей ни на минуту нельзя оставлять одних, а то еще им станет не по себе и они смоются. Пугливее оленей эти покупатели. Поскольку говорить им не о чем, мальчишка, девчонка и Гарри слышат натужное хриплое дыхание Чарли, когда он возвращается с ключами от «короллы» и с номерным знаком фирмы на проржавевшем зажиме крепления.

— Хочешь, чтобы я поехал с этими ребятами? — спрашивает он.

— Нет, ты сиди отдыхай, — говорит ему Гарри и добавляет: — Начни пока запирать сзади помещение. — На табличке у них сказано, что они открыты по субботам до шести, но в такой злосчастный июньский день, когда бензин на пределе, можно закрыть и без четверти. — Я мигом вернусь.

Мальчишка спрашивает девчонку:

— Хочешь поехать или побудешь здесь?

— Да что ты, — говорит она, и, когда поворачивается и называет его по имени, спокойное лицо ее вспыхивает от нетерпения, — Джейми, меня же мама ждет.

Гарри заверяет ее:

— Это займет всего минуту.

Мама. Вот бы спросить, как выглядит мама.

На улице от бодрящего ветерка веет летом. Полоски травы вокруг асфальтовой площадки принарядились проклюнувшимися одуванчиками. Гарри прикрепляет сзади к «королле» номер и вручает парню ключи. Он наклоняет пассажирское сиденье вперед, чтобы девчонка могла сесть сзади, и, пока она туда пролезает, шорты ее слегка отстают от тела, позволяя увидеть кусочек бедра. Кролик втискивается на место «смертника» и поясняет Джейми назначение всех штучек на приборной доске, включая вместилище для магнитофона. Они все трое скорее высокие, и в маленькой машине становится тесно. Однако «тойота» с этой своей импортной наглостью стремительно сдвигает их с места и вливается в поток машин на шоссе 111. Такое впечатление, точно сидишь на спине большого шмеля — прямо на урчащем моторе.

— Лихо, — признает Джейми.

— И при этом гладко катит, — добавляет Гарри и обращается к сидящей сзади девчонке: — Вы там о'кей? Может, мне пододвинуть сиденье, чтоб вам было удобнее?

Он думает: не жмут ли ей шорты — ведь нынче носят такие короткие. Как раз в промежности шов, да и молния может защемить тело.

— Нет, все в порядке, я сижу боком.

Ему хочется повернуться и посмотреть на нее, но в его возрасте поворачивать голову не так-то просто — бывают дни, когда он просыпается с болью в шее и в плечах только потому, что отлежал их за ночь.

Он говорит Джейми:

— У этой машины тысяча шестьсот кубов, они делают модель и на тысячу двести, но мы не хотим ее продавать: мне неприятно было бы сознавать, что кто-то разбился, потому что мотор оказался недостаточно мощным, чтобы водитель мог объехать грузовик или нечто подобное на наших американских дорогах. А кроме того, мы считаем нужным иметь достаточно широкий выбор машин, иначе вам трудненько будет продать ее, когда придет время.

Он, извернувшись, поворачивается и смотрит на девчонку.

— У этих япошек при всех их достоинствах довольно короткие ноги, — сообщает он ей.

А она вынуждена сидеть чуть ли не на полу, задрав кверху колени, так что сейчас эти молодые лоснящиеся колени находятся всего в нескольких дюймах от его лица.

Она машинально вытягивает изо рта несколько длинных волосков, разметанных ветром, и смотрит в боковое окошко на торговую часть Большого Бруэра. Теперь старый район Уайзер-Таун-Пайк выглядит совсем иначе: домишки причудливой формы, где торгуют готовой едой, и рыночки, где торгуют всем, начиная со свадебных нарядов и кончая пластмассовыми ванночками для птиц, изменили его облик, и невесть каким чудом уцелевший дом с его обрубленной лужайкой торчит печальным напоминанием о минувшем. Конкуренты — «Пайк-порше» и «Рено», «Дифендорфер-фольксваген», кирпично-красная старушка «Мазда» и «БМВ», фирмы, чьи машины завозят в округ Дайамонд, — вывесили плакаты *«Экономьте горючее!»*, а на бензоколонках рядом с зазывными рекламами стоят насосы в чехлах, и подъезды к ним загораживают грузовики с прицепами, тогда как раньше сюда подкатывали автомобили, заправлялись и мчались дальше. В конце дня это выглядит как вражеское заграждение. Откуда они взяли чехлы? Есть даже хорошо сшитые — из холста в малиновую клетку. Новая индустрия — изготовление чехлов для бензоколонок. Посреди пустынных озер асфальта — несколько лоточков, где продают клубнику и ранний горошек. Высоченная реклама указывает на здание из железобетона, стоящее в стороне от дороги. Кролик помнит, когда здесь стоял гигантский Мистер Земляной Орех, указывавший на приземистую лавку, где в стеклянных ящиках лежали соленые орешки: бразильские орехи, и фундук, и недробленые кешью, а по более дешевой цене — дробленые; округ Дайамонд славился своими орехами, но, видно, славился недостаточно — и лавка прогорела. Остов ее разобрали и, в два раза увеличив, превратили в ночной клуб, а рекламу перекрасили, цилиндр Мистеру Земляному Ореху оставили, но сделали из него светского повесу во фраке и с бабочкой. Теперь после многих превращений здесь стоит не слишком ладно скроенная женская фигура, черный силуэт без малейшего намека на одежду, голова запрокинута, и из разрезанного горла, пузырясь, низвергаются вниз одна за другой огромные буквы ДИСКО. За этими рекламами лежат усталые зеленые холмы, подернутые дымкой, и жарятся под солнцем бесцветные поля с рядами наливающейся кукурузы. Внутренность «короллы» нагревается, наполняясь человеческими запахами. Гарри думает о длинных ногах девчонки, когда она пролезала на заднее сиденье, и ему представляется, что запахло ванилью. Тогда влагалище будет как мороженое.

Молчание ребят смущает Гарри. Он нарушает его.

Говорит:

— Ну и гроза была вчера вечером. Я сегодня утром слышал по радио, что в подземном переходе между Эйзенхауэр-авеню и Седьмой вода стояла больше часа.

Потом говорит:

— Знаете, мне даже жутковато становится при виде всех этих закрытых бензоколонок — точно кто-то умер.

Потом говорит:

— А вы читали в газетах, что компании «Херши» пришлось временно уволить девятьсот человек из-за стачки водителей грузовиков? Так мы скоро будем стоять в очереди за шоколадом «Херши».

Мальчишка всецело поглощен обгоном грузовичка хлебопекарного завода Фрайхофера, и Гарри снова заполняет молчание:

— Все магазины выбираются из центра. Теперь там ничего не осталось, кроме банков и почты. Они там посадили эти идиотские деревья — решили устроить сквер, но толку все равно не будет: люди по-прежнему боятся ехать в центр.

Мальчишка держится полосы быстрого движения и едет на третьей скорости — то ли из лихачества, то ли потому, что забыл про существование четвертой скорости. Гарри спрашивает:

— Ну как, почувствовал машину, Джейми? Если хочешь повернуть назад, тут сейчас будет съезд.

Девчонка сразу поняла:

— Джейми, давай повернем. Человек хочет попасть домой к ужину.

Джейми как раз начал сбавлять скорость у разворота, когда слева, не обращая внимания на поток транспорта, вынырнул «пейсер», самая дурацкая машина, какая встречается на дорогах, — ну прямо стеклянная ванна вверх тормашками. Водитель — толстый итальяшка в гавайской рубахе. Джейми ударяет по рулевому колесу, тщетно пытаясь нащупать сигнал. В «тойоте» сигнал действительно находится в странном месте — на двух маленьких дисках внутри рулевого колеса, до которых легко достать пальцем. Гарри быстро протягивает руку и гудит. «Пейсер» возвращается на свою полосу, бросив на них через плечо, обтянутое гавайской рубахой, мрачный взгляд. Гарри наставляет:

— Джейми, у следующего светофора свернешь налево, пересечешь шоссе и, как только сможешь, свернешь снова налево, и мы выедем к магазину. — А девчонке поясняет: — Эта дорога красивее. — И говорит, как бы думая вслух: — Что же мне еще рассказать вам об этой машине? В ней уйма замков. Эти японцы, они ведь живут один у другого на голове и просто помешаны на замках. Не думайте, мы сами к этому придем, меня-то уже тогда не будет, а вы будете. Когда я был мальчишкой, никому и в голову не приходило запирать свои дома, а теперь все запирают — кроме моей сумасшедшей жены. Запри она дверь — она тут же потеряет ключ. Одна из причин, почему я хочу поехать в Японию — а «тойота» предлагает такие поездки некоторым своим торговцам, только надо иметь больший вал, чем у меня, — так вот, я хочу посмотреть, как они запирают бумажный домик. Вот так-то. Ключи из зажигания можно вынуть, только если нажать на эту кнопку. Багажник сзади открывается с помощью вот этого рычажка. Насчет того, что крышка бензобака запирается, я вам уже говорил. Кто-нибудь из вас слышал про историю, которая произошла около Ардмора на этой неделе: какая-то женщина подъехала без очереди к бензоколонке, а парень сзади нее пришел в такую ярость, что навинтил свою крышку на ее бензобак, и когда она подъехала к насосу, служитель не мог ее отвинтить? Пришлось ее машину тягачом оттаскивать. Хороший урок стерве, я так считаю.

Они сделали свои два поворота и едут теперь по извилистой дороге, где поля подступают так близко, что видны комья красной земли, все еще поблескивающей там, где ее разворотили плугом, а предприятия — ТОЧКА КОСИЛОК ДЛЯ ГАЗОНОВ, ПЕНС. НЕМЕЦКИЕ ЛОСКУТНЫЕ ОДЕЯЛА — словно возникли из прошлого столетия в сравнении с теми, что стоят вдоль шоссе 111, которое пролегает параллельно этой дороге. На обочинах между почтовыми ящиками, на которых намалевано где сердце, где шестигранник, фиолетовыми цветочками пестрит вика. С вершины холма открывается вид на газгольдеры Бруэра серо-слоновьего цвета и склон горы Джадж, испещренный рядами красных кирпичных домиков. Кролик отваживается спросить девчонку:

— Вы здешняя?

— Нет, я живу ближе к Гэлили. У моей мамы там ферма.

«А твою маму зовут не Рут?» — хочется спросить Гарри, но он не спрашивает, чтобы не напугать ее, а в себе не уничтожить легкую дрожь волнения, предвкушение открывшейся возможности. Он пытается еще раз взглянуть на нее, проверить, не подскажет ли ему ответ ее белая кожа и не в него ли ее наивно-голубые глаза, но грузное тело мешает ему, да еще эта тесная машина.

Он спрашивает мальчишку:

— Ты следишь за игрой «Филадельфийцев», Джейми? Как насчет того, что они вчера проиграли семь — ноль? Не часто Бова совершает такие ошибки.

— Бова — это тот, которому платят большие деньги?

Хоть бы скорее забрать «тойоту» из рук этого болвана. При каждом повороте он чувствует, как вжимаются в асфальт шины, и круг за кругом в нем неожиданно разрастается чувство, оно растет, как семя — семя, которое незаметно попадает в землю, и если там приживется, его уже не остановишь, оно примет ту форму, какая запрограммирована, участь его столь же неизбежна, как наша смерть.

— Ты, наверно, имеешь в виду Роуза, — говорит Кролик. — Но и он тоже не слишком помог. В этом году они никуда не поедут — все забрала питсбургская команда «Пираты» или «Стальные» — они всегда выигрывают. Сворачивай здесь налево на желтый свет. Ты как раз пересечешь сто одиннадцатое и сможешь въехать к нам на площадку сзади. Так какое суд выносит решение?

Со стороны парень кажется человеком восточной национальности: широкие, обтянутые кожей скулы между красным ухом и красным носом, опухшие веки, в щелках которых поблескивают ничего не выдающие глаза. У людей, существующих за счет земли, обычно низменные натуры — во всяком случае, так всегда считал Гарри.

— Я ведь сказал — мы только присматриваемся, — говорит Джейми. — Машина уж больно маленькая, но, может, вы как раз к такой привыкли.

— А хочешь покрутить баранку на «короне»? Она покажется тебе дворцом после того, как посидишь в одной из этих, а так ведь в жизни не подумаешь: она всего на два сантиметра шире и на пять длиннее. — Он сам себе поражается: до чего лихо сантиметры слетают у него с языка. Еще пять лет попродает эти машины — и заговорит по-японски. — Но лучше все-таки привыкай снижать свои требования, — говорит он Джейми. — Большим старым колымагам пришел конец. Люди продают их, а мы не можем сбыть их с рук. Половину приходится отдавать оптовикам, а оптовики ставят их в витрины. Если бы я дал пятьсот долларов за твою машину, то лишь в порядке одолжения, поверь мне. Мы любим помогать молодым людям. Если такая молодая пара, как вы, не в состоянии купить себе машину или собственный дом — значит, мир наш ни к черту не годен. Когда человек не может поставить ногу даже на нижнюю ступеньку социальной лестницы, люди начинают терять в него веру. А если дело и дальше так пойдет, шестидесятые годы покажутся раем в сравнении с тем, что нам предстоит.

На площадке для машин под колесами затрещали камешки. Мальчишка ставит «короллу» на прежнее место и никак не может найти кнопку, высвобождающую ключ из зажигания, — приходится Гарри снова ему показать. Девчонка пригибается, горя нетерпением побыстрее выйти, — от ее дыхания на руке Гарри шевелятся белесые волоски. Он встает и чувствует, что рубашка прилипла у него к спине. Все трое медленно распрямляются. Солнце светит по-прежнему ярко, но высоко в небе появляются перистые облачка, что побуждает сомневаться, будет ли завтра хорошая погода для гольфа.

— Отлично прокатились, — говорит Гарри: ясно, что машину продать Джейми не удастся. — Зайдите-ка на минуточку, я вам дам кое-какую литературу.

Внутри, в зале, солнце бьет прямо в бумажный плакат, так что все буквы просвечивают... Ставроса нигде не видно. Гарри вручает мальчишке свою визитную карточку со словом ГЛАВНЫЙ и предлагает расписаться в книге покупателей.

— Я же вам говорил... — заводит мальчишка.

У Гарри лопается терпение.

— Это ни к чему вас не обязывает, — говорит он. — Просто «Тойота» пришлет вам на Рождество поздравительную открытку. Я напишу за вас. Имя — Джеймс?..

— Нунмейкер, — настороженно говорит мальчишка и произносит по буквам. — Гэлили, сельская почта номер два.

С годами почерк у Гарри испортился, длинная рука стала дергаться, но какая она ни длинная, все равно он не видит, что пишет. Ему следует носить очки, но самолюбие не позволяет носить их на людях.

— Сделано, — говорит он и нарочито небрежно поворачивается к девчонке: — О'кей, юная леди, а вас как величать? Фамилия та же?

— Не выйдет, — говорит она и хихикает. — Вам я для этой книги не нужна.

Холодные пустые глаза решительно сверкнули. В этой глупенькой женской науке уловок она прошла все круги. Когда она смотрит прямо на тебя, в очертаниях нижних век есть что-то возбуждающее, а под ними — тени недосыпа. Нос у нее чуточку вздернутый.

— Джейми — наш сосед, я поехала с ним просто прокатиться. Хотела выбрать себе летнее платье у Кролла, если хватит времени.

Что-то глубоко заставленное засверкало в свете солнца. Сегодня солнце добралось до полки, где стоят призы для вручения покупателям «Спрингер-моторс» — овальные изображения блестят на легком белом металле. «Можешь оставить при себе свое имя, маленькая сучка, — у нас пока еще свободная страна». А вот как его зовут, она теперь знает. Она взяла его карточку из широкой красной лапы Джейми, и глаза ее, по-детски вспыхнув, перескакивают с букв на карточке к его лицу, а затем к той части дальней стены, где висят, желтея, старые афиши с его именем, поджаренные временем, точно хлеб. Она спрашивает его:

— Вы никогда не были знаменитым баскетболистом?

На этот вопрос нелегко ответить — ведь это было так давно. Он говорит ей:

— Был — в доисторические времена. А почему вы спрашиваете, вы спрашивали мою фамилию?

— О нет, — весело лжет эта посетительница из давно утраченного времени. — Просто вид у вас такой.

Как только они отъехали на своем «кантри-сквайре», раскачиваясь на расхлябанных амортизаторах, Гарри отправляется в туалет рядом с дверью Милдред Крауст в коридорчике, отделенном переборкой с матовым стеклом, и по дороге встречает Чарли, который возвращается, заперев все двери. И все равно воруют — таинственные недостачи сжирают часть положенных за продажу процентов. Деньги — ну прямо как вода в дырявом ведре: не успеваешь налить — она уже вытекает.

— Как тебе девчонка? — спрашивает Гарри своего помощника, когда они возвращаются в демонстрационный зал.

— Где мне разглядывать девчонок, при моих-то глазах. Да если б и разглядел, при моем здоровье это все равно ни к чему. Слишком уж крупная и тупая, на мой вкус. И ноги прямо из ушей растут.

— Во всяком случае, не тупее этого вахлака, с которым она приехала, — говорит Гарри. — Господи, как посмотришь, с кем некоторые девчонки связываются, прямо плакать хочется.

Черные кустики бровей у Ставроса приподнялись.

— В самом деле? Иным может показаться и наоборот. — Он усаживается за свой столик. — Мэнни не говорил с тобой насчет той «торино», которую ты взял на продажу?

Мэнни возглавляет текущий ремонт — низенький сутулый человечек с носом в черных точках, как будто он этим носом разгребает каждый день всю грязь. Конечно, его возмущает Гарри — женился на дочке Спрингера и теперь расхаживает по залитому солнцем демонстрационному залу и принимает на продажу бросовые «торино».

— Он говорил мне, что нарушена центровка передних колес.

— Ну а если по-честному, он считает, что в машине нужно сменить клапаны. Кроме того, он считает, что владелец скрутил счетчик километража.

— А что я мог поделать, когда у малого был при себе справочник: не мог же я ему дать меньше, чем там сказано. Если я не дам, сколько там значится, «Дифендорфер» или «Пайк-порше» уж наверняка дадут полную цену.

— Надо было тебе попросить Мэнни проверить ее — он бы с одного взгляда сказал, что она побывала в армии. А если бы он заметил махинации со счетчиком, этот поганец вмиг откатился бы на оборонительные позиции.

— А он не может утяжелить передние колеса, чтоб скрыть вибрацию?

Ставрос терпеливо опускает руки на оливково-зеленую доску своего стола.

— Весь вопрос в том, захочет ли. Клиент, которому ты сбагришь этот «торино», больше носа к нам не покажет, гарантирую.

— Так что же ты посоветуешь?

Чарли ответил:

— Продай ее по бросовой цене «Форду» в Поттсвилле. Ты собирался заработать девятьсот долларов на продаже этой машины — пожертвуй двумя сотнями, чтобы не раздражать Мэнни. Ему же придется ставить свою марку на части, которые будет заменять его отдел, а на фордовских частях уже стоит их марка. В Поттсвилле на нее наведут лоск и осчастливят какого-нибудь мальчишку, который погоняет на ней с неделю.

— Неплохо придумано. — Кролику хочется поскорее выбраться из помещения, шагать по вечерней прохладе, раздумывая о своей дочери. — Будь на то моя воля, — говорит он Чарли, — я бы продавал по оптовой цене все американские марки, какие к нам поступают. Никому они больше не нужны, кроме черных и итальяшек, да и они в один прекрасный день очухаются.

Чарли не согласен:

— Да нет, на продаже подержанных машин еще можно неплохо зарабатывать, если только подходишь с выбором. Фред, бывало, говорил, что на каждую машину найдется свой покупатель, вот только не надо обещать за подержанные машины больше, чем ты готов заплатить за них живыми деньгами. Это ведь и *есть* живые деньги. Цифры говорят о деньгах, даже если ты не держишь в руках «зелененьких». — Он откидывается вместе с креслом назад так, что ладони его со скрипом скользят по столу. — Когда я поступил на работу к Спрингеру в шестьдесят третьем, мы продавали только подержанные американские модели — так далеко от побережья иностранные марки никто и в глаза не видал. Машины въезжали к нам прямо с улицы, мы их красили и подновляли, и никакой заводчик не говорил нам, какую брать за них цену, — мы попросту проставляли цену кремом для бритья на ветровом стекле и, если в течение недели машина не уходила, стирали эту цену и ставили новую. Никаких пошлин за импорт, никаких пересчетов — просто и ясно: вор вору помощник.

Воспоминания. Жалко смотреть, как они разъедают Чарли. Гарри уважительно выжидает, пока Чарли вернется в настоящее, затем спрашивает как бы между прочим:

— Чарли, если бы у меня была дочка, как, ты думаешь, она бы выглядела?

— Редкая была бы уродина, — говорит Ставрос. — Выглядела бы как Спятившая Крольчиха.

— Занятно было бы иметь дочку, а?

— Сомневаюсь. — Чарли приподнимает со стола ладони, и передние ножки его кресла с грохотом опускаются на пол. — А что слышно от Нельсона?

В Гарри закипает раздражение.

— Слава Богу, почти ничего, — говорит он. — Парень нам не пишет. В последний раз он сообщил, что отправился на лето в Колорадо с этой своей девчонкой.

Нельсон учится в Кентском государственном университете в Огайо — от случая к случаю, и за его обучение заплачено сполна, а ему осталось учиться еще год, хотя мальчишке в ноябре уже исполнилось двадцать два.

— А что это за девчонка?

— Одному Богу известно, мне за ними не уследить. Каждая новая чуднее предыдущей. Одна была семнадцатилетняя алкоголичка. Другая гадала на картах. По-моему, эта же была вегетарианкой, а может, и другая. Он, наверное, специально выбирает таких, чтобы мне досадить.

— Не ставь на парне крест. Он же — все, что у тебя есть.

— Господи, что за мысль!

— Поезжай домой. Я хочу закончить дела. Я все закрою.

— О'кей, поеду посмотрю, какое очередное блюдо сожгла Дженис нам на ужин. Не хочешь попытать счастья и заглянуть? Ей доставит удовольствие тебя видеть.

— Благодарю, но меня ждет Манна-мау.

Мать Чарли, одряхлев, перебралась к нему на Эйзенхауэр-авеню, и это тоже роднит их с Гарри, поскольку Гарри живет вместе с тещей.

— О'кей. Будь здоров, Чарли. Увидимся в понедельник на мойке.

— Будь здоров, чемпион.

На улице еще стоит золотой день — золотой, но давно знакомый, если учесть, сколько за плечами у Гарри прожито лет. На его памяти лето столько раз приходило и уходило, что его угасание и наступление слились в сердце Гарри воедино, хотя он до сих пор не может назвать растения, которые — каждое в свой черед — цветут в течение лета, или насекомых, которые тоже в предопределенном порядке появляются на свет, живут и погибают. Он знает, что в июне кончаются занятия в школах и открываются детские площадки и что если ты мужчина, то должен снова и снова стричь траву, а если ты ребенок, то можешь играть на улице, пока в теплых родительских кухнях позвякивает посуда перед ужином; потом ты вдруг обнаруживаешь, что с еще голубого неба через твое плечо заглядывает луна, а на колене у тебя таинственно появился серебристый плевок молочая. Счастье повернулось к тебе. В июле продажа машин достигает пика — это значит, что торговец вроде Гарри, пропускающий через свой магазин по триста машин в год, продает на двадцать пять машин больше; двадцать одна из них уже оплачена, а торговать еще шесть дней. В среднем восемь сотен чистого дохода помножить на двадцать пять равняется двадцати косым минус двадцать пять процентов на жалованье и премиальные продавцам остается пятнадцать косых минус что-то между восемью и десятью на жалованье всем этим маленьким сучкам, которые все время меняются в бухгалтерии была одна такая несколько лет назад по имени Сисси полька они даже потаскались в коридоре да еще арендная плата которую «Спрингер-моторс» платит сама себе старина Спрингер не доверял банкам сам хотел своим имуществом владеть но и ему со временем пришлось выплачивать по закладной Бог ты мой проценты теперь такие что прикончат любого новичка открывающего свое дело а Кредитный банк Бруэра уже многие годы дает деньги под двузначные проценты и из двадцати процентов назад к тебе возвращаются два-три процента в восполнение убытков никто не хочет называть это подачкой а Государственное налоговое управление называет это облагаемыми налогом поступлениями и во сколько обойдется электричество потребляемое диагностическим компьютером «Сан-2001» который хочет установить Мэнни а электроинструменты теперь ведь даже гайку на колесе не завернешь без пневматического инструмента *р-р-р-р* а какая жарища слава Богу хоть на несколько месяцев отпустит а эти чертовы арабы которые совсем загнали нас в угол а еще эти механики не желают надевать свитер на комбинезон а с молодыми механиками и вовсе сладу нет у них видите ли немеют пальцы от холода а страхование здоровья это уже сущее убийство платить приходится все больше и больше а в больницах не дают людям умереть хотя на самом деле это уже давно покойники им хорошо а на чьи денежки содержат бесплатную медицинскую помощь а реклама он часто думает много ли от нее пользы где-то он прочел что пристрастие читать журналы приносит торговцам полтора процента валового дохода но если посмотреть на автомобильную страничку воскресной газеты там такая неразбериха а надо бы просто как говорил старина Спрингер давать перечень цен и фамилию торговца которого видят в «Ротари» и городских ресторанах и в загородных клубах право надо бы разрешить списывать на деловые расходы то что он там оставляет ведь жалованье в четыреста семьдесят пять долларов в неделю которое он себе выплачивает установлено без учета костюмов а их приходится менять три или четыре раза в год чтобы иметь пристойный вид и покупает он их уже не у Кролла не нравится ему этот их продавец который измерил ему талию и сказал что он растолстел Уэбб Мэркетт знает один магазинчик на Сосновой где продают вещи сшитые как на заказ а налоги на недвижимость а стеклянная вывеска на улице в которую ребята то и дело швыряют камнями или банками надо бы вернуться к дереву оштукатуренному дереву но у «Тойоты» свои требования на чем же это он остановился да скажем если считать что ежемесячные расходы составляют около девяти косых это значит четыре косых чистой прибыли если вычесть из этого еще тысячу на инфляцию мелкие расходы кражи и всякие непредусмотренные случайности все же остается три косых значит полторы тысячи мамаше Спрингер и полторы тысячи ему с Дженис да еще две тысячи жалованья а покойник отец бедняга каждое утро являлся в типографию в четверть восьмого за сорок долларов в неделю и в ту пору это считалось неплохим заработком. Интересно, раздумывает Гарри, что сказал бы отец, если бы только увидел его сейчас — такого богатого.

Его «корона-универсал» 1978 года выпуска в люксовом исполнении, с пятью дверцами, стоит на отведенном ей месте. Считается, что она цвета «красный металл», а на самом деле скорее бурая, словно перестоявший томатный суп. Если японцы в чем-то и хромают, так это по части цвета: их «медь», на взгляд Гарри, коричневая, как креозот, их «мятно-зеленый металл» скорее похож на цианид, а то, что они называют бежевым, — это пронзительно-лимонный. Во время войны было много карикатур, изображавших японцев в очках с толстыми стеклами, — интересно, может, они и в самом деле плохо видят и путают все цвета спектра. Но его «корона» все равно удобная машина. Большая, солидная; слегка наклоненное, с мягкой прокладкой рулевое колесо; удобный предохранительный пояс для водителя, приемник с четырьмя динамиками, установленный на заводе. А он любит слушать радио, когда мчится по Бруэру, подняв стекла, заперев двери и включив вентиляцию, и из всех четырех углов машины, словно из четырех углов воображаемого танцевального зала, грохочет современная музыка. Бодрящая и нежная, эта музыка напоминает Кролику мелодии, которые он слышал по радио, когда учился в школе. «Как далеко до Луны», где еще так взвизгивает кларнет, они прозвали эту песню «лакричной палочкой», а потом «Воображая, что ты в «Ритус», — городские мелодии, не похожие на народные мелодии кантри шестидесятых годов, которые пытались увести тебя назад, сделать лучше, чем ты есть. Черные девчонки тоненькими мелодичными голосами выводят бессмысленные слова под грохот электрических ритмов, и Гарри это нравится, он представляет себе этих черных девчонок, скорее всего из Детройта, в блестящих переливчатых платьях, которые под крутящимися прожекторами то и дело меняют цвет, а их парни вкалывают на конвейере. Надо им с Дженис съездить хотя бы в это заведение ДИСКО на шоссе 111, мимо которого он сегодня в сотый раз проезжал, но куда ни разу так и не осмелился зайти. Мысленно он пытается сложить из кусочков картину — Дженис, и цветные девчонки, и крутящиеся огни, — но все рассыпается. Он думает об Ушлом. Десять лет тому назад этот черный парень явился к нему и жил с ним и Нельсоном черт знает сколько, а теперь Ушлый умер — Гарри недавно узнал об этом, в апреле. Кто-то, пожелавший остаться неизвестным, прислал ему вырезку в длинном конверте, такие продаются на почте, надписанном аккуратными печатными буквами шариковой ручкой, как это делают бухгалтеры или школьные учителя, — вырезку, набранную знакомым шрифтом бруэрской «Вэт», где Гарри работал линотипистом, пока линотипный набор не сочли устаревшим.

БЫВШИЙ ЖИТЕЛЬ

НАШЕГО ГОРОДА

УБИТ В ФИЛАДЕЛЬФИИ

Хьюберт Джонсон, живший ранее в Бруэре, умер от огнестрельных ран в филадельфийской городской больнице, как утверждают, после перестрелки с полицейскими. Джонсон якобы неспровоцированно выстрелил первым в полицейских, расследовавших сообщение о нарушении санитарных норм и законов общежития в религиозной коммуне, которую, судя по всему, возглавлял Джонсон; в его «Семью мессии, несущего свободу» входила как белая молодежь, так и несколько черных семей. Пение допоздна и вызывающее поведение повлекли за собой многочисленные жалобы соседей. «Семья мессии, несущего свободу» размещалась в доме на Колумбия-авеню. На Джонсона объявлен розыск. Джонсон, проживавший последнее время на Сливовой улице, был известен здесь под кличкой Ушлый, а также под фамилией Фарнсуорт. Местная полиция подтвердила, что его разыскивали в связи с многочисленными жалобами. Лейтенант филадельфийской полиции Роман Серпитски сообщил корреспондентам, что ему и его людям не оставалось ничего другого, как открыть по Джонсону ответный огонь. К счастью, никто из полицейских и никто из членов коммуны при этом не пострадал. Сотрудники уходящего в отставку мэра Фрэнка Риццо отказались комментировать происшествие. «Мы теперь не так часто сталкиваемся с такими сумасшедшими, как раньше», — заметил лейтенант Серпитски.

К вырезке не было приложено никакой записки. Однако тот, кто ее послал, должно быть, хорошо знал его, Гарри, знал кое-что из его прошлого и следил за ним, как якобы следят за нами наши покойники. Жуть. Ушлый умер, и в мире стало мрачнее, исчезла отвага, надежда на то, что все переменится. Ушлый предчувствовал, что умрет молодым. Последний раз Гарри видел его, когда он шел по скошенному кукурузному полю, где среди жнивья сидели лоснящиеся на солнце вороны. Но это было так давно, что вырезка из апрельской газеты, которую он держал в руке, подействовала на него не больше, чем любая другая новость или те спортивные вырезки, что висели в рамках в демонстрационном зале вокруг него. Душа твоя тоже постепенно умирает. Та частица Гарри, которая находилась под обаянием Ушлого, съежилась и покрылась коростой. И хотя за всю свою жизнь Гарри близко не знал ни одного другого черного, он, по правде говоря, ничуть не боялся этого критикана-незнакомца, неожиданно явившегося, словно ангел с небес, и не испытывал ни малейшей неловкости от его внимания, а, наоборот, был польщен: Гарри казалось, что этот одержимый малый как бы по-новому увидел его, будто просветил рентгеном. И, однако же, он был, несомненно, сумасшедшим, его требования были несообразны и бесконечны, и теперь, когда он умер, Кролик чувствовал себя куда спокойнее.

Ему уютно сидеть в своей запертой и отлично собранной машине, за стеклами которой, словно в немом кино, разворачивается панорама достопочтенного города Бруэра. Кролик едет по шоссе 111 вдоль реки к Западному Бруэру, где он жил когда-то с Ушлым, затем пересекает реку по мосту — продолжению Уайзер-стрит, — недавно переименованному в честь какого-то покойного мэра, хотя никто этот мост так не называет, затем, чтобы избежать пешеходной части с фонтанами и березками, которые проектировщики решили насадить вдоль двух самых длинных кварталов Уайзер-стрит с целью подновить центр (смех, да и только: насадили в два раза больше деревьев, чем требовалось, считая, что половина погибнет, а деревья почти все прижились, так что теперь в центре города образовался настоящий лес, где уже не раз совершались ограбления и где теперь спят алкаши и наркоманы), Гарри сворачивает налево, на Третью улицу, проезжает несколько кварталов, где попадаются особнячки — и в каждом втором кабинеты офтальмологов, — и выскакивает на главную артерию, пересекающую город по диагонали и именуемую Эйзенхауэр-авеню, на которой в этом районе стоят старые фабрики и железнодорожные депо. Железные дороги и уголь ведь и создали Бруэр. Теперь в этом городе, некогда четвертом по величине в Пенсильвании, а ныне перешедшем на седьмое место, то и дело попадаются здания — памятники исчерпанной энергии. Высокие стройные трубы, которые уже полвека не дымят. Фонари на литых чугунных столбах, которые не зажигались со времен Второй мировой войны. Вся нижняя часть Уайзер-стрит отдана под продажу товаров по сниженным ценам, и единственное новое заведение на ней, большущее строение из белого кирпича без окон, — похоронная контора Шонбаума. Бывшие текстильные фабрики, отданные под продажу одежды по удешевленным ценам, пестрят веселыми, наспех сделанными объявлениями — ФАБРИЧНАЯ ЯРМАРКА — и плакатами: *Здесь доллар все еще доллар*. Эти акры мертвых железнодорожных путей и депо, где лежат горы колес и стоят пустые товарные вагоны, торчат в сердце города, точно огромный ржавый кинжал. Все это было создано в прошлом столетии теми, кто сейчас кажется нам гигантами, в период бурного внедрения в жизнь железа и кирпича, которые и по сей день определяют облик этого города, где единственные новые здания — похоронные конторы и казенные учреждения, биржа безработных да призывной пункт.

За железнодорожным депо и подземным переходом у Седьмой улицы, который затопило вчера ночью, Эйзенхауэр-авеню круто поднимается вверх среди плотно сбитых основательных домов, построенных рабочими-немцами на свои сбережения и ссуды от кредитных товариществ, — нашествию алюминиевых навесов и обшивки из искусственного камня не поддались лишь веерообразные цветные витражи над дверьми; поляков и итальянцев теснят тут черные и латиноамериканцы — в юности Гарри они селились в нижней части города, у реки. Темнокожие парни, думающие на своем языке, пялятся теперь с треугольных каменных крылечек старых бакалейных лавчонок на углу.

Исчезнувшие белые гиганты, заполняя соты Бруэра, дали улицам, что пересекают Эйзенхауэр-авеню, имена фруктовых деревьев и времен года: Зимняя, Весенняя, Летняя, а вот Осенней улицы нет. Двадцать лет назад Кролик жил три месяца на Летней улице с женщиной по имени Рут Ленард. Там он зачал дочь, которую видел сегодня, если только это его дочь. Ни от чего никуда не уйдешь — твои грехи, твои потомки настигают тебя... Теперь в дискотеках звучат «Большие пчелы», где поют белые мужчины, а кажется, что это черные женщины. Звучит «Выживай» с грохотом и странным гортанным подвыванием, — песня, обычно сопровождающая появление на экране Джона Траволты. Кролик по-прежнему считает его этаким отличником из класса мистера Коттера, но прошлым летом Сосдиненные Штаты какое-то время на сто процентов находились во власти его обаяния, каждая девчушка младше пятнадцати мечтала о том, чтобы засесть с бывшим отличником на заднее сиденье машины, припаркованной в Бруклине. Кролик представляет себе собственную дочь на заднем сиденье «короллы», обнажившую ноги до пупа. Интересно, думает он, волосня у нее такая же рыжая, как у матери, или нет. И этот холмик, в котором сокрыто все нежное естество женщины, находится на расстоянии лишь какого-то дюйма от уродливого пениса с голубыми венами, висящего, как сосиска на крючке. Глаза у девчонки голубые — как у него. Чудно подумать, что он произвел влагалище путем тайного послания своих генов, переданного через все эти многолетние проникновения и изъятия по каналам крови растущего и живого организма, который продолжает жить. Нет, лучше об этом не думать, такие мысли лишь напрасно излишне возбуждают его. Как и некоторые мелодии.

Какая-то машина с двойными фарами — желтый «леман» с широкой вертикальной полосой посреди решетки — так близко прижимается к Кролику, что он сворачивает и приостанавливается за припаркованной машиной, пропуская подлюгу — молодую блондинку с надменно вздернутой красивой головкой; в наши дни такое часто бывает — вскипишь, думаешь, за рулем сидит наглый лихач, а, смотришь, оказывается девчонка, чья-то дочь, и по мечтательному, отсутствующему выражению ее лица видно, что она просто хочет добраться побыстрее и ей в голову не приходит, как нахально она себя ведет. Когда Кролик только сел за руль, на дороге полно было старых чудаков, которые еле ползли, сейчас же такое впечатление, что по дорогам мчится, всех расталкивая, одна молодежь. Пропускать ее — таково его правило. Может, на следующей миле они врежутся в телефонный столб. Он на это надеется.

Путь его лежит мимо величественной бруэрской средней школы, именуемой Замком и построенной в 1933 году — в том году он родился, потому и помнит. Теперь такую не построили бы — никто не верит в образование, к тому же говорят, что прирост населения приближается к нулю и некем заполнить нынче школы, поэтому многие начальные школы приходится закрывать. Здесь строители города исчерпали названия времен года и перешли к названиям деревьев. Вдоль бульвара Акаций, к востоку от Замка, стоят окруженные газонами дома, но стоят настолько тесно, что рододендроны погибают из-за отсутствия солнца. Здесь живут люди более преуспевающие — хирурги-травматологи, юристы высокого полета и среднее звено заводской администрации, — люди, у которых не хватило ума поселиться на юге или которые, наоборот, перебрались оттуда. Дальше бульвар Акаций вливается в городской парк и становится аллеей Панорамного Обзора, хотя деревья там настолько разрослись, что от обзора ничего не осталось; теперь весь Бруэр можно видеть только из гостиницы «Бельведер», ставшей местом разгула вандализма и террора, тогда как раньше там танцевали и целовались парочки. Не любят эти итальяшки, когда белая молодежь живет хорошо, — окружают машину, разбивают камнями ветровое стекло, сдирают с девчонок одежду, а над парнями измываются. Что за мир, как трудно в нем расти — особенно девчонке. Они с Рут раза два ходили к «Бельведеру». Переходы через железнодорожное полотно сейчас, наверное, прогнили. Рут снимала туфли, потому что каблуки тонули в щебенке между железнодорожными путями, он помнит, как шагали впереди ее белые ноги горожанки, обнаженные словно бы специально для него. Люди тогда довольствовались куда меньшим. В парке танк, поставленный в память о Второй мировой войне, нацелил свою пушку на теннисные корты, где то и дело срывают сетки. Сколько сил тратят эти ребята — просто чтобы разрушать. А он тоже был таким в их возрасте? Человеку хочется оставить в жизни какой-то след. Мир кажется вечным, и он держит тебя. Пропускай других.

Светофор, и Гарри, свернув налево, едет теперь мимо домов с остроконечными крышами и башенками — так строили в начале века, когда мужчины ходили в соломенных шляпах, мороженое крутили вручную и люди ездили на велосипедах, — затем мимо торгового центра, где кинотеатр на четыре зала рекламирует свои фильмы высоко в небе, чтобы вандалы не могли сорвать буквы: ЧУЖОЙ ПРОСТОФИЛЯ ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ ПОБЕГ ИЗ АЛЬКАТРАСА. Ни один из этих фильмов у Гарри нет охоты смотреть, хотя ему нравятся вьющиеся волосы Барбары Стрейзанд и этот ее еврейский нос, и не только нос, а и то, как ее еврейская сущность чувствуется в голосе, — этот ее голос волнует его, должно быть, потому, что она принадлежит к избранному народу, который, похоже, чувствует себя лучше всех на Земле — во всяком случае те, кого он знает: энергия из них так и брызжет. Любопытная шутка насчет этой Стрейзанд: если она снимается не с египтянином Шарифом, то с каким-нибудь сверхаристократом вроде Райана О'Нила; то же можно сказать и про Вуди Аллена — в Дайане Китон нет ничего еврейского, хотя волосы у нее так же вьются.

Музыка прекращается, пошли известия. Молодой женский голос читает их так гнусаво, точно женщина знает, что только отнимает у нас время. Горючее, водители грузовиков. Продолжается расследование взрыва на Три-Майл-Айленде[[4]](#footnote-4).

Дата приземления «Скайлэб» перенесена. У Сомосы тоже осложнения. Сообщение об отсрочке казни флоридского убийцы не подтверждается. С бывшего лидера либеральной партии Великобритании сняли обвинение в том, что он участвовал в сговоре, приведшем к убийству его бывшего любовника-гомосексуалиста. Это вызывает у Кролика досаду, но его возмущение тем, что этот надутый гомик выскочил чистым из воды, быстро заглушается любопытством, какое вызывает у него известие об очередном преступлении — речь идет о балтиморском враче, которого обвиняют в убийстве канадского гуся клюшкой для гольфа. Ответчик утверждает, гнусавит равнодушный женский голос, что он случайно попал в гуся мячом для гольфа, а потом, чтобы несчастная птица не мучилась, прикончил ее клюшкой. «Это убийство из сострадания или гнуснейшее преступление?» — спрашивает в заключение голос. Гарри громко хохочет — один, в машине. Надо запомнить это, чтобы рассказать завтра в клубе. Завтра день будет солнечным, заверяет женщина, переходя к сводке погоды. «А теперь хит номер один во всей Америке, от края до края: «Горячая штучка» в исполнении королевы диско Донны Саммер!»

Сижу и скучаю и жду

Жду звонка от моей любви...

Кролику нравится, когда вступает хор девичьих голосов — так и видишь, как они стоят на каком-нибудь темном городском углу, жуя резинку или Бог знает что еще.

Горячую штучку

Хочу горячую штучку

Хочу какую-нибудь горячую штучку

Мне так нужна горячая шту-у-учка!

Все-таки Донна Саммер больше нравилась ему в ту пору, когда выпускала пластинки, где женщина тяжело дышит, задыхается и вскрикивает, точно кончает. Правда, возможно, это была и не она, а какая-то другая стройная черная девчонка. Но Кролику кажется, что это была она.

Теперь он уже едет по шоссе 422, и оно вьется вокруг горы Джадж — справа крутой откос и вид на виадук, по которому когда-то с севера округа в город поступала вода, пересекая черную гладь реки Скачущая Лошадь. Две бензоколонки отмечают начало городка Маунт-Джадж; вместо того чтобы следовать дальше по шоссе 422 в направлении Филадельфии, Гарри выезжает на своей «короне» на Центральную улицу у гранитной баптистской церкви, затем вверх по Джексон-стрит и через три квартала сворачивает направо, на Джозеф-стрит. Если бы он проехал по Джексон-стрит еще два квартала, то очутился бы у своего бывшего дома, первого после пересечения с Кленовой улицей, но с тех пор, как папа отдал Богу душу, продержавшись без мамы лишь несколько лет (все делал сам — и во дворе, и убирал, и готовил, пока его не доконала эмфизема и он не засел в своем кресле, весь скрюченный, словно рука, прикрывшая от ветра пламя оплывающей свечи), Кролик редко здесь ездит: люди, которым они с Мим продали дом, выкрасили его в жуткий яблочно-зеленый цвет, а в большом переднем окне повесили ультрафиолетовую лампу для растений. Должно быть, они, как и эта бруэрская молодежь, считают, что для дощатого дома, пусть даже маленького, все сойдет и вообще они оказывают миру услугу, купив его. Гарри не понравился ни выговор парня, ни его стрижка, ни выходной костюм; понравилась, правда, цена, которую ему заплатили, — пятьдесят восемь тысяч за дом, который стоил маме и папе сорок две тысячи в 1935 году. Даже при том, что Мим забрала свою половину с собой в Неваду, налог на прирост капитала вылился в солидную сумму — семь тысяч долларов, не считая налога на недвижимость и гонораров юристам, а они тотчас возникают, как только деньги переходят из рук в руки; и чтобы не платить налога на прирост капитала, он умолял Дженис купить дом для них двоих, может, в Пенн-Парке, в Западном Бруэре, в пяти минутах от магазина. Так нет же, Дженис считала, что они не имеют права бросать матушку: Спрингеры-де приютили их, когда у них не было крыши над головой, дом их сгорел и брак распадался, а Гарри поступил работать к папочке лишь незадолго до его смерти, и у Нельсона уже было столько потрясений в жизни, и в этой части Бруэра еще не скоро забудут, что дознание в связи с гибелью Джилл ведь продолжается, и полиция работает, и родители Джилл в Коннектикуте намереваются подавать в суд, да еще страховая компания не разберется с выплатой денег, потому что, видите ли, обстоятельства пожара подозрительны, так что бедняжке Пегги Фоснахт пришлось поклясться, что Гарри был с ней и потому никак не мог поджечь дом, — когда такое происходит, лучше затаиться, спрятаться за имя Спрингеров в этом большом оштукатуренном доме; а молодые Энгстромы так и не переселились в собственный дом, а потом Фред неожиданно скончался и Нельсон уехал в колледж, так что в доме стало куда свободнее и еще меньше было оснований куда-либо переезжать. Дом на Джозеф-стрит, 89, с его узким, вытянутым в ниточку газоном вокруг и раскидистыми деревьями, всегда напоминал Гарри сказочный домик, где стены сложены из ванильной помадки, а крыша — из лакричных вафель «Некко». Хотя снаружи дом Спрингеров кажется большим, на первом этаже не повернуться из-за всей этой мебели, доставшейся мамаше Спрингер в наследство от Кернеров, да и жалюзи там всегда приспущены; только на веранде, выходящей во двор, да в маленькой комнате наверху, которая в детстве служила спальней Дженис, а потом в течение пяти лет здесь спал Нельсон, пока не уехал в Кент, Гарри дышится привольно и ничто не заслоняет свет.

Он сворачивает на аллейку, посыпанную крупнозернистой щебенкой, и ставит «корону» в гараж рядом с темно-синим «крайслером» марки «Ньюпорт» 1974 года выпуска, который Фред подарил своей старушке ко дню рождения, за год до смерти, и в котором она ездит по городу, вцепившись обеими руками в руль с таким видом, точно под капотом у нее находится бомба. Дженис всегда оставляет свой «мустанг» со складным верхом у тротуара под кленами — чтобы сок с деревьев побыстрее разъел парусиновую крышу. А в теплую погоду и вовсе оставляет машину на целую ночь открытой, так что сиденья всегда липкие. Кролик опускает дверь гаража и шагает по бетонной дорожке через задний дворик — и внезапно, словно в туннеле включили фары, его пронзает сознание, что у него не один ребенок, а два.

Дженис встречает его на кухне. Что-то стряслось. Она надела свежее платье в полоску цвета мяты, но волосы, все еще влажные после плавания в клубном бассейне, висят патлами. Чуть ли не каждый день она играет в теннис с какой-нибудь из приятельниц в их клубе «Летящий орел», недавно возникшем на нижних склонах соседней с горою Джадж лесистой горы с индейским названием Пемаквид, а потом остаток дня валяется у бассейна, сплетничая или играя в карты и постепенно накачиваясь коктейлями или водкой с тоником. Гарри приятно, что его жена может проводить столько времени в клубе. В свои сорок четыре года Дженис располнела в талии, но ноги у нее все еще крепкие и без вен. И загорелые. Она вообще смуглая и, хоть еще и не июль, выглядит уже как дикарка — ноги и руки у нее почти черные, точно она какая-нибудь полинезийка из старого фильма Джона Холла. К нижней губе ее прилипла крошка белого порошка — это возбуждает, хоть ему и не нравится, когда она вот так упрямо сжимает рот — настоящая щель. Ее еще мокрые волосы зачесаны назад, обнажая высокий, неровно загоревший лоб — точно коричневая оберточная бумага, на которую попала вода, а потом высохла. По ее взбудораженному виду он понимает, что она снова поссорилась с матерью.

— Что еще случилось? — спрашивает он.

— Настоящая буря, — говорит Дженис. — Она теперь сидит в своей комнате и говорит, чтоб мы ели без нее.

— Ничего, сойдет вниз. А что мы будем есть? Я что-то ничего не вижу на плите.

Часы, встроенные в плиту, показывают шесть тридцать две.

— Гарри! Клянусь Богом, я собиралась поехать за покупками, как только вернусь и переоденусь после тенниса, а тут эта открытка, и с тех пор мы с мамой воюем. В любом случае сейчас лето, и тебе не следует много есть. Дорис Кауфман — я бы отдала что угодно, если бы она согласилась нам помогать, — так вот она говорит, что на обед она выпивает один только стакан чая со льдом, даже среди зимы. Вот я и подумала, что, может, поедим супа и этот ростбиф, который я купила, а вы с мамой отказываетесь к нему даже притронуться, — надо же его когда-то съесть. Да и салат так разросся на огороде, что надо его есть, пока он весь в рост не вымахал.

Она разбила маленький огородик во дворе за домом, где раньше висели качели Нельсона, наняла соседа, чтобы он взрыхлил землю своим «рототиллером», земля оказалась удивительно мягкой и пахучей под зимней коркой, и Дженис с превеликим пылом размечала ее бечевкой и ровняла граблями в легкой тени набирающих почки деревьев, а теперь, когда настало лето и густая трава затеняет посадки, в клубе начались состязания в теннис, и Дженис свои грядки забросила.

Все равно он не может проникнуться неприязнью к этой кареглазой женщине, которая, в мае будет тому уже двадцать три года, является его весьма посредственной женой. Он разбогател благодаря полученному ею наследству, и то, что она знает это, соединяет их, как постель, — этакая греющая душу тайна.

— Салат и копченая колбаса — самая моя любимая еда, — смирившись, говорит он. — Только дай я сначала выпью. Какие-то мерзавцы явились в магазин, как раз когда я собирался уезжать. Так скажи же, что это за открытка.

Он стоит у холодильника, смешивая джин с лимонным тоником: он знает, что эти тоники добавляют калории в алкоголь и способствуют прибавлению в весе, но считает, что зато ужин сегодня скудный, да потом, можно ведь и пробежаться; тем временем Дженис идет через темную столовую в затхлую парадную гостиную, где всегда спущены жалюзи и царит недовольный дух мамаши Спрингер, и приносит открытку. На ней изображен белый заснеженный склон под ярко-голубым клинышком неба; две маленькие темные фигурки, согнувшись, прочерчивают на лыжах переплетающиеся «S». ПРИВЕТ ИЗ КОЛОРАДО — гласят красные буквы, нарисованные на небе, похожем на голубую кляксу. На обратной стороне знакомыми каракулями так тоненько, точно мальчишку давили изо всех сил, когда он учился писать, выведено:

Привет, мам, пап и ба!

Гора Джадж по сравнению со здешними просто хиляк! Сейчас, правда, никакого снега, зато травки (шучу) полно. Учусь планеризму. С работой ничего не вышло: малый оказался прощелыгой. Пенсильвания зовет. О'кей если я приеду с Мелани? Она может подыскать себе работу и не будет в тягость.

Целую.

Нельсон.

— Мелани? — спрашивает Гарри.

— Поэтому-то мы с мамой и схватились. Она не хочет, чтобы девчонка жила здесь.

— Это та же, с которой он крутил две недели назад?

— Не уверена, — говорит Дженис. — Ту звали что-то вроде Сью, или Джо, или как-то так.

— А где она будет спать?

— Ну, либо в комнате для шитья, что окнами на улицу, либо в комнате Нельсона.

— *Вместе* с парнем?

— Что ты, Гарри, так удивляешься? Ему ведь уже двадцать два года. С каких это пор ты стал таким пуританином?

— Я вовсе не пуританин, я просто практически мыслю. Одно дело, когда эти ребята резвятся под открытым небом и занимаются планеризмом или чем там еще, и совсем другое, когда они вместе со своими травками и девками оседают в гнезде. Ты же знаешь, что второй этаж у нас довольно нелепый. Большущий холл, а стоит чихнуть или кашлянуть — и слышит весь дом; честно говоря, это же счастье, что, кроме нас да твоей мамаши, в доме никого больше нет. Помнишь, как у парня, пока не ходил в школу, радио орало до двух часов ночи и он засыпал под него? Да и кровать у него односпальная — что же, нам покупать ему и этой Мелоди двуспальную?

— Мелани. Не знаю, она ведь может спать и на полу. У них у всех есть спальные мешки. Можно попытаться поселить ее в комнату для шитья, но я знаю, что она там жить не станет. Мы бы не стали. — Ее темные затуманенные глаза смотрят мимо него, сквозь призму времени. — Сколько сил мы тратили на то, чтобы ускользнуть в коридор или потискаться на заднем сиденье машины, и я считаю, что мы могли бы избавить от этого наших детей.

— У нас всего один ребенок, а не дети, — холодно замечает он, чувствуя, как джин расширяет сосуды. У них были дети, но малышка Бекки умерла. По вине жены. И в том, что вся его жизнь зажата и обкорнана, тоже ее вина: куда бы он ни повернулся, всюду она вставала стеной на его пути к свободе. — Послушай, — говорит он ей, — я многие годы пытался выбраться из этого треклятого унылого дома, и я вовсе не хочу, чтобы этот никудышный наглый бездельник, которого мы вскормили, вернулся сюда и вынудил меня ужаться. Эти ребята воображают, что мир существует для них, а мне надоело быть всегда под рукой и ждать, когда меня попросят об услуге.

Дженис, укрытая, как броней, приобретенным в клубе загаром, смело принимает вызов.

— Он наш сын, Гарри, и мы не откажем в крове гостье, которую он с собой привезет, только потому, что это женщина. Будь это приятель Нельсона, ты бы так не кипятился, ты выходишь из себя потому, что это *приятельница*, приятельница Нельсона. Будь это *твоя* приятельница, ты бы не думал о том, что наверху слишком тесно. Это мой сын, и я хочу, чтобы он тут жил, если ему так хочется.

— Нет у меня никаких приятельниц, — возражает он. Звучит это жалко. Дженис что же, намекает, что у него должны быть приятельницы? Женщины, едва речь заходит о сексе, становятся сущими ведьмами. Ты подонок, если спишь с ними, и ты подонок, если не спишь. Широкими шагами Гарри направляется в столовую, так что стекла в старинном буфете звенят, и, подойдя к темной лестнице напротив буфета, кричит: — Эй, Бесси, спускайтесь вниз! Я на вашей стороне!

Ответа нет, словно он взывал к Господу Богу, затем раздался скрип кровати, избавляемой от тяжести, и неспешные шаги по потолку, нехотя направляющиеся к лестнице. Миссис Спрингер спускается на своих больных, опухших ногах, изрекая по пути:

— Этот дом по закону мой, и эта девчонка ни одной ночи не проведет под крышей, которую отец Дженис сохранил для нас, работая целыми днями в поте лица своего.

Буфет снова сотрясается: в столовую вошла Дженис. Подражая матери, она произносит таким же твердым тоном:

— Мама, тебе бы никогда не сохранить эту огромную крышу над головой, если бы мы с Гарри не участвовали в расходах. Это большая жертва со стороны Гарри — чтобы у человека с его доходами не было собственного дома, и ты *не имеешь права* запретить Нельсону вернуться домой, когда он захочет, никакого права, мама.

Грузная старуха, тяжело вздыхая, добирается до площадки, от которой остается еще три ступеньки до пола столовой, и, приостановившись там, говорит со слезой в голосе:

— Я рада видеть Нелли, когда бы ему ни вздумалось приехать, я люблю этого мальчика всем сердцем, хоть он и вырос не таким, как мы с дедушкой надеялись.

Дженис говорит, тем больше распаляясь, чем больше сетует старуха:

— Вечно ты ссылаешься на папочку, когда он сам уже ничего не может сказать, но, пока он был жив, он был очень гостеприимным и терпеливо относился к Нельсону и его друзьям. Я помню, как Нельсон устроил пикник на заднем дворе по поводу окончания школы, а у папочки уже был первый удар, я пошла наверх посмотреть, не раздражает ли его шум, и он сказал мне со своей иронической улыбочкой... — Теперь уже и в ее голосе появляются слезы. — «Мое старое сердце радуется, когда я слышу молодые голоса».

Эта его типичная для торгашей улыбочка — мелькнет и погаснет. Кролик так и видит ее. Точно лезвие выскальзывает из складного ножа — только без щелчка.

— Пикник на заднем дворе — одно дело, — произносит миссис Спрингер, с трудом спустившись в своих грязных голубых парусиновых туфлях с последних трех ступенек и стоя теперь вровень с дочерью. — А шлюха в кровати мальчика — другое.

«Лихо высказалась старуха», — думает Гарри и хохочет. Дженис и мамаша обе маленькие; точно две куклы-марионетки с головами, насаженными на палки разной длины, они поворачивают лица — со щелью вместо рта и одинаковыми карими глазами — и в ярости смотрят на него.

— Мы же не знаем, шлюха эта девчонка или нет, — оправдывается Гарри. — Мы знаем только, что ее зовут Мелани, а не Сью.

— Ты же сказал, что ты на моей стороне, — говорит миссис Спрингер.

— Я на вашей стороне, ма, на вашей. Просто не понимаю, что это парень мчится домой, — мы же дали ему достаточно денег, чтобы он мог начать там жизнь, мне бы хотелось, чтобы он встал на ноги. Я не позволю ему лоботрясничать тут все лето.

— Ах, деньги, — говорит Дженис. — Ты только об этом и думаешь. А что ты сам делал — разве не лоботрясничал? Твой отец устроил тебя на одну работу, а мой отец — на другую, я бы не назвала это великим достижением с твоей стороны.

— Никакой свой дом Гарри не нужен, — обращаясь к дочери, изрекает мамаша Спрингер. Когда она волнуется и боится, что ее могут не понять, лицо ее раздувается и покрывается пятнами. — Слишком у него неприятные воспоминания о той поре, когда вы жили отдельно.

Дженис стоит на своем: она моложе, лучше держит себя в руках:

— Мама, ты ничего об этом не знаешь. Ты ничего не знаешь о жизни — точка. Ты сидишь дома и смотришь идиотские шоу по телевидению да болтаешь по телефону с приятельницами, которые еще не умерли, и после этого изволишь осуждать Гарри и меня. *Ничего* ты о нынешней жизни не знаешь. Ты *понятия* о ней не имеешь.

— Можно подумать, что, если ты играешь в загородном клубе с людьми, у которых завелись денежки, и каждый вечер являешься домой навеселе, ты очень поумнела, — парирует старуха, вцепившись в шишечку на балясине перил, словно это может облегчить боль в лодыжках. — Ты являешься домой, — продолжает она, — и у тебя не хватает ума даже приготовить мужу приличный ужин, а еще хочешь вселить эту бродяжку в дом, где все хозяйство веду я, хоть и еле держусь на ногах. Это ведь я буду здесь с ними, а ты будешь раскатывать в своей спортивной машине. Да и что скажут соседи? Что скажут прихожане нашей церкви?

— Мне на это плевать, даже если им не наплевать, а я убеждена, что им наплевать, — заявляет Дженис. — И вообще глупо приплетать сюда церковь. Последний священник в церкви Святого Иоанна сбежал с миссис Эккенрот, а новый — голубой, я бы своего мальчика в жизни не пустила в его воскресную школу, будь у меня сын таких лет.

— В любом случае Нелли в воскресную школу не очень-то ходил, — припоминает Гарри. — Он говорил, что у него там разбаливается голова. — Ему хочется разрядить атмосферу, пока страсти не разгорелись и обе женщины не обидели друг друга. Он понимает, что надо с этим кончать и переезжать в собственный дом, пока есть еще порох в пороховнице. Снаружи камень, внутри деревянные балки на потолке и гостиная ниже уровня улицы — вот о чем он мечтает.

— Мелани, — тем временем произносит еще теща, — что это за имя такое? Похоже, она цветная.

— Ох, мама, не вытаскивай на свет все свои предрассудки. Ты сидишь и хихикаешь над «Джефферсонами»[[5]](#footnote-5), точно ты им родня, а Гарри и Чарли сбывают все свои старые драндулеты черным, и если уж мы принимаем их деньги, то можем принять и все остальное.

«Неужели она действительно черная? — спрашивает себя заинтригованный Гарри. — Будут шоколадные младенцы. Вот Ушлый пришел бы в восторг».

— Так или иначе, — продолжает Дженис, и вид у нее становится вдруг измученный, — никто не сказал, что эта девочка черная, мы знаем только, что она занимается планеризмом.

— А может, это другая? — спрашивает Гарри.

— Если она сюда явится, я уеду, — заявляет Бесси Спрингер. — У Грейс Штул полно свободного места — Ральф ведь умер, и она не раз говорила, что надо нам съехаться.

— Мама, это же для нас *унизительно* — то, что ты напрашиваешься к Грейс Штул.

— Вовсе я не напрашиваюсь — эта мысль сама собой пришла нам обеим в голову. Но я, конечно, рассчитываю, что вы мне выплатите мою часть за дом, а стоимость домов здесь сильно поднялась с тех пор, как запретили сквозной проезд для грузовиков.

— Мама! Гарри *ненавидит* этот дом.

Он произносит, все еще надеясь утихомирить разбушевавшуюся стихию:

— Я, собственно, не ненавижу его, просто я считаю, что наверху...

— Гарри, — говорит Дженис, — почему бы тебе не пойти в огород и не нарвать салата, как мы говорили? Тогда мы сядем есть.

Охотно. Он охотно смоется из этого дома, из тисков этих женщин, из накаленной атмосферы. До чего же нелепо они уязвляют друг друга призраками мужчин: ведь папа умер, Нельсона нет, да и сам Гарри для них что-то вроде призрака — они говорят о нем так, точно его тут нет. День за днем мать и дочь живут в одном доме — это же противоестественно. Кровь, как вода, должна течь, иначе возникает закупорка. Старуха Спрингер всегда была толстой, запястья и щиколотки у нее как сосиски, а теперь и лицо распухло, точно у этих кинозвезд, которым за щеки засовывают вату, чтобы они выглядели старыми и опухшими. А у нее лицо не столько опухло, сколько расширилось, будто в череп ей вогнали штопор, и он вращается, раздирая череп на части, и глаза от этого у нее стали меньше; Дженис движется в том же направлении, хоть и старается сохранить фигуру, но наследственности не поставить заслона. Кролик стал замечать, что, когда он устает, в его мозгу порой поселяется отец.

Посасывая горький лимон, сжимая в руке легкие алюминиевые щипцы, он спускается по кирпичным ступеням в благодать сада. Природа обволакивает его, и голоса в его мозгу умолкают. На темной зелени выступила влага — наступает вечер, хотя долгий день все еще слепит глаза, сверкая над массой деревьев. Крыши домов и мансарды на фоне голубого неба начинают приобретать коричневатый оттенок; электрические провода и телевизионные антенны тут же царапают нежную голубизну; как обычно в конце дня, несколько ласточек ныряют в воздухе над задними дворами, разделенными лишь проволочными заграждениями или кустами штокроз. Если прислушаться, слышен звон посуды или звуки игры в этом общем царстве, которому придает жизнь собачий лай, чириканье птиц да доносящиеся издалека ритмичные удары молотка. Несколько домов на их улице заняла компания мужеподобных женщин, и они вечно топают в подкованных металлом сапогах и рабочих комбинезонах, лазают по лестницам, что-то приколачивают — они все умеют, могут починить и водосток, и дверь в подвал, потрясающе. Вечером, когда Кролик бегает, он иной раз помашет им, но разговора не получается: им не о чем с ним говорить, они — существа иной природы.

Кролик распахивает примитивную калиточку, которую он соорудил две весны тому назад, и вступает в огороженный прямоугольник, в тихое царство овощей. Салат цветет между посаженными в ряд бобами, листья которых все изъедены букашками, а стебли рассыпаются от прикосновения, и кудлатой морковью, чья ботва почти неразличима среди разросшихся подорожника, мокричника и жирных сорняков с белыми и желтыми цветочками, которые вырастают на дюйм за ночь. Их легко вытащить, корни у них некрепкие, но их столько, что Кролику через несколько минут уже надоедает вытаскивать их, отряхивать от мокрой земли, прилипшей к корням, и складывать кучками вдоль проволочной загородки в качестве удобрения и преграды от вездесущих трав. Трав, которые не желают расти на лужайке, где их сеют, а здесь дико растут во множестве. И столько семян — до омерзения много, природа так нещадно заваливает ими землю. Мысли его вновь обращаются к покойникам, которых он знал и которых становится все больше, и к живым: к девочке (кто знает, может, и его дочери), которая приходила к нему сегодня — длинноногая, белотелая, в туфлях на высокой пробковой танкетке, — и к сыну (этот уж точно его сын — гены сказываются даже в том, как он испуганно вскидывает на вас глаза), который пригрозил, что вернется. Кролик обрывает самые большие листья салата (но не чересчур толстые у основания — те слишком жесткие и горькие) и ищет в своем сердце слова привета, привета и любви к сыну. Вместо этого он обнаруживает груду опасений, такую же бесформенную и склизкую, как мокрое полотенце, преждевременно вытащенное из сушилки. Он обнаруживает сотни воспоминаний: иные — четкие, как фотоснимки, и ничего не значащие, запечатленные мозгом по каким-то своим соображениям, другие же — просто факты, он знает, что так было, но в мозгу они не запечатлелись. Жизнь наша растворяется в тумане прошлого еще до нашей смерти. Он менял малышу пеленки в унылой квартире в начале Уилбер-стрит, он жил с ним несколько безумных месяцев в зеленом одноэтажном доме под номером 26 по Виста-кресент в Пенн-Вилласе, а потом здесь, на Джозеф-стрит, 89, он наблюдал, как его мальчик стал учеником старших классов, с пробивающимися усиками, которые становились видны на свету, с индейской повязкой на нестриженых волосах, с набором пластинок, стоивших целое состояние, в этой солнечной комнате у Гарри над головой, где сейчас закрыты ставни. Он прожил с Нельсоном столько лет, что за это время дуб мог сгнить, и, однако же, эти сморщенные листья салата, которые Гарри берет и срывает, — они реальны, а сын — нет. Грустно. Кто говорит, что это грустно? В сгущающихся тенях Кролик видит спокойные глаза девчонки, что заходила сегодня в магазин, таинственно появившись как раз в такое время, когда в его жизни — полнейшая пустота и смерть словно снимает с него мерку, стуча по соседству невидимым молотком, и он с каждым днем все меньше боится умереть. Он замечает на листе фасоли японского жука и щелчком ногтя — большого ногтя с заметным полукружием у основания — сбрасывает это существо с блестящим панцирем. Умри.

В доме его встречает возглас Дженис:

— Куда ты столько нарвал — этого на шестерых хватит!

— А где мамаша?

— В передней, звонит Грейс Штул. Нет, право, она невозможна. Я, право, думаю, у нее начинается маразм. Гарри, что же нам *делать* ?..

— Ну, лапочка, это ведь ее дом, а не наш и не Нельсона.

— Ох, да заткнись ты. Никакой от тебя помощи. — В ее карих, затуманенных джином глазах медленно загорается мысль. — Ты и не хочешь помочь, — объявляет она. — Тебе нравится видеть, как мы воюем.

Вечер проходит в атмосфере приевшегося треска телевизора и подавленных обид. «Жду, чтоб позвонил любимый...» Мамаша Спрингер, соблаговолив разделить с ними за кухонным столом трапезу, состоявшую из грибного супа в комьях, который разогрела Дженис, и холодного ростбифа, покрывшегося легкой испариной после чрезмерно долгого пребывания в холодильнике, а также всего этого салата, который он нарвал, удаляется наверх, в свою комнату и так решительно захлопывает за собой дверь, что, наверное, звук донесся до того дома, где живут мужеподобные бабы. Несколько машин в поисках «горячих штучек» медленно проезжают по Джозеф-стрит — шуршание их шин по мокрому асфальту вызывает у Гарри и Дженис такое ощущение, будто они сидят вдвоем на острове. К ужину они откупорили бутылку галло-шабли, и Дженис то и дело выскальзывает на кухню, чтобы подлить себе, так что к десяти часам ее начинает пошатывать, чего Гарри терпеть не может. Он прощает людям многие грехи, но терпеть не может отсутствия координации — это корень всех зол, так он считает, ибо без координации не может быть порядка, взаимосвязи. В таком состоянии Дженис ударяется о косяки, проходя в дверь, и ставит бокал на ручку дивана так, что из него на мохнатую серую обивку вылетает большой прозрачный язык жидкости. Они смотрят до конца «Звездные войны» и достаточно большой кусок «Ладьи любви», чтобы понять, что в это плавание отправляться не стоит. Когда она в очередной раз поднимается, чтобы наполнить свой бокал, он переключает телевизор на бейсбол — играют «Филадельфийцы»... «Экспо» не дает «Филадельфийцам» забросить больше одного мяча — просто невероятно, какая у них силища. В новостях показывают беспорядки из-за бензина в Левиттауне: летят пивные бутылки, заправленные бензином; бутылки взрываются — такое впечатление, что смотришь старые фильмы о войне во Вьетнаме, но происходит это в Левиттауне, совсем рядом, севернее Филадельфии. Показывают бастующего водителя грузовика, который держит плакат со словами: «ШЕЛЛ» НА МЫЛО. А в другую сторону от Филадельфии — на Три-Майл-Айленде — обнаружилась утечка радиоактивных нейтронов. Погода завтра, похоже, будет хорошей, поскольку широкий фронт высокого давления продолжает двигаться из района Скалистых гор на восток, к Мэну. А теперь пора и спать.

Гарри ничуть не сомневается — он это знает по опыту уже столько лет, — что вечером после сражения с матушкой и чрезмерных возлияний Дженис потребует любви. Первые десять лет их брака ему было с ней трудновато — она многого не знала и даже не желала знать, а это как раз тогда и занимало мысли Кролика, но после ее романа с Чарли Ставросом, когда она раскрылась одновременно с полетом на Луну, а время было такое, что никаких барьеров, да и смерть, потихоньку вгрызающаяся в тело, заставила Дженис понять, что не такой уж она бесценный сосуд и что нет на свете сверхчеловека, ради которого стоило бы себя беречь. Гарри уже не на что жаловаться. Собственно, жалобы по этой части теперь были у нее. Где-то в начале правления Картера его интерес к постели, который до тех пор был неизменным, начал убывать, а теперь у него появилась настоящая неуверенность в себе. Он винит в этом деньги — то, что он наконец стал жить в достатке и довольстве, а кроме того, деньги, лежащие без движения в банке, все время уменьшаются, и он постоянно думает, как тут быть, да и многое другое крутится в мыслях: «Филадельфийцы», покойники и гольф. Он страстно увлекся этой игрой, с тех пор, как вступил в клуб «Летящий орел», однако мастерство его не улучшается — во всяком случае, четкость и сила, с какими сокращаются его мускулы, радуют не больше, чем в те первые разы, когда он удачно отбивал мяч. Вот так и в жизни — ее течение нельзя форсировать, а движущий ею принцип навечно не определить. «Руки как веревки», — иногда говорит он себе и весьма преуспевает исправить это, а когда не получается, говорит: «Сбрось вес». Или: «Не махай руками, как курица крыльями». Или: «Держи под углом», — имея в виду угол между клюшкой и рукой, когда сгибаешь запястье. Иногда он думает, что все дело в руках, а потом — что все дело в плечах и даже в коленях. Когда надо сгибать колени — вот тут он не умеет сделать это вовремя. В баскетболе все получалось как-то само собой. Если бы ты шел по улице тем манером, каким играют в гольф, ты свалился бы на мостовую. Однако, когда он наносит прямой удар или тихонько посылает мяч, это преисполняет его такого наслаждения, какое он раньше испытывал, думая о женщинах, представляя себе, что было бы, если бы очутиться с одной из них наедине на острове.

Стукнувшись о косяк, Дженис голая возвращается из ванной в спальню. И, плюхнувшись голышом на кровать, где он пытается читать июльский номер «К сведению потребителей», впивается поцелуем в его рот. Он чувствует вкус вина, копченой колбасы и зубной пасты, в то время как мысль его все еще пытается разобраться в достоинствах и недостатках великого множества консервных ножей, описанных на пяти страницах убористого шрифта. Ножи «Санбим» лучше всего открывают квадратные и рифленые банки, а банки с кофе пробивают с такой силой, что зерна рассыпаются по стойке. Другие ножи открывают так, что вылетают кусочки металла, а магниты до того крепко прилипают, что содержимое банки грозит выскочить, острие ножей не доходит до углублений в крышке, и маленькая пластмассовая прокладка быстро стирается, так что модель «Экко С865К» признана «непригодной». Эти тонкие исследования прерывает появляющийся, словно безглазый угорь, язык Дженис, что злит Кролика. С тех пор как она к сорока годам перевязала себе трубы, чтобы избежать дурных последствий от употребления таблеток, демон утраты (никогда больше не будет детей, никогда) придал ей в сексе ложную живость, что в общем-то ни к чему. В ее глазах, когда она отстраняется, так как он не ответил на поцелуй, он не видит себя — лишь тупость алкоголя и неприкрытое злобное желание. При свете ночника, который он включил, чтобы читать, он видит, как сморщилась, постарела кожа на ее горле, повисла мешком и стала красной, точно от ожога. Он не увидел бы этого так отчетливо, если бы не надел очков для чтения.

— Господи, — говорит он, — подожди хотя бы, пока я выключу свет.

— А мне нравится, когда он включен, — произносит она, с трудом ворочая языком. — Мне нравится видеть седые волоски на твоей груди.

Вот это его заинтересовало.

— И много их у меня? — Он пытается посмотреть, опустив подбородок. — Да они же не седые, а просто светлые, верно?

Дженис спускает простыню до его талии и, пригнувшись, рассматривает его поросль, волосок за волоском. Груди ее свисают, так что соски, похожие по ощущению на булочки в гамбургере, раскачиваются над его животом.

— Вот седой волос и вот. — И она выдергивает их, один за другим.

— Ой! Какого черта, Дженис! Прекрати.

Он надувает живот, так что теперь не только ее соски, а уже груди целиком прижаты к его ребрам. Одной рукой схватив ее за волосы в приступе ярости от такого обращения с собой, в другой руке по-прежнему держа журнал, в котором он пытался прочесть про то, как прилипают к банкам магниты, Кролик выгибает спину, и Дженис перекатывается с его тела на свою сторону кровати. Приняв в пьяном тумане это за игру, она сдергивает с него простыню еще ниже и нащупывает его член. Ее касание холодом проникает в него — она недавно мыла в ванной руки. Следующая страница «К сведению потребителей» напечатана на синем фоне: «Прохлада летом 1979 года: кондиционер или вентилятор?» Кролик пытается вникнуть в перечень преимуществ и недостатков каждого их этих приспособлений («Громоздкий и тяжелый в установке» противопоставляется «Недорогому в использовании» — похоже, вентилятор имеет все преимущества), но не может отключиться из-за того, что происходит ниже его живота, где алчные пальцы Дженис снова и снова просят об одном и том же и не получают желанного ответа. В ярости он швыряет журнат в стену, за которой спит мамаша Спрингер. И уже осторожно снимает очки для чтения, кладет их в ящик ночного столика и выключает лампу.

Теперь докучливой плоти его супруги придется состязаться с призывом ко сну, который несет с собой темнота. День-то ведь был длинный. Проснулся Гарри в шесть тридцать и в семь был уже на ногах. Веки у него стали слишком тонкими и не защищают от утреннего света. Даже сейчас, хотя еще нет и полуночи, он чувствует приближение завтрашней зари. Он снова вспоминает голубоглазое видение, в котором, казалось, слились его гены и гены Рут. И на память приходит далекое прошлое, когда он взял Рут стоя, произнеся «Ого!» в изумлении от ее красоты, представшей в свете фонаря на Саммер, ее тела, такого длинного и стройного, его член, не согнувшись, вошел в нее, в эту спелую, спелую красоту, «Ого!», и так грустно, что после такого чудесного единения он опустился до этого слепого слияния двух стареющих тел — одного сонного, а другого пьяного. Теперь Дженис уже со злостью дергает его член, который не желает вставать, — все ее внимание сосредоточено на нем, как бывают сфокусированы при помощи увеличительного стекла на кусочке шелка солнечные лучи, дети убивают таким способом муравьев, — Гарри видел это не раз, но никогда в этом не участвовал. Мы и так достаточно жестоки, даже когда не проявляем этого. Его возмущает то, что в стремлении забыть о своей заброшенности, о ссоре с матерью и, возможно, даже о страхе перед возвращением сына, Дженис не действует исподволь, что и возбуждает кровь и она прихлынывает к члену, как это было в девятом классе на алгебре, когда он сидел рядом с Лотти Бингамен, а та подняла руку, желая ответить на вопрос учительницы, и он увидел ее волосатую подмышку и чашечку бюстгальтера желтовато-оранжевого цвета, обтянутую тонкой материей блузки. И тут же возник страх, что сейчас прозвонит звонок и ему придется подняться с места, а у него в брюках стоит член.

Кролик решает поцеловать соски Дженис — это позволит ему настроиться, а то как-то стыдно. Нужна пауза, нужна пауза, чтобы генератор заработал. Его слюна заблестела на ее темной массе над ним — изголовье их кровати находится между двух окон, которые заслоняет от солнечных и лунных лучей большой бук, однако листья его все же пропускают немного света с улицы.

«Ох, как хорошо». Ему хотелось бы, чтобы она это сказала. Впрочем, мало сказать «хорошо». В ее возгласе должна чувствоваться неожиданность его атаки или оскорбленная гордость, иначе получается не то. Ведь Лотти тогда очень хотела, чтобы он ее взял. И даже не обязательно он. Она сидела сжав ноги, удерживая грязное желание — именно так пишут на стенах уборных, об этом говорят рисунки и слова, начертанные мальчишками, которые с помощью увеличительного стекла сжигают насмерть муравьев, и те погибают с легким треском, — ты слышишь его, а девчонки, интересно, раскрываются с таким же звуком? Мысль о том, что Лотти знала: если она поднимет руку, то блузка, заправленная в юбку, обтянет ее сосок и чашечка бюстгальтера проглянет сквозь лен, а под мышкой обнажатся маленькие девственные завитки, и он будет ждать этого, чувствуя, как закипает кровь. И в наполненной тревогой темноте, когда за тонкой штукатуркой стены спит мамаша Спрингер, Гарри наконец как бы ненароком выдает Дженис свой затвердевший член. *Горячая шту-у-уч-ка!*Но размышления на разные темы приглушили ее пыл, он чувствует это по ее жесткой ласке и, отчаянно пытаясь спастись, шипит ей в ухо:

— Да пососи же, пососи.

И Дженис покорно переворачивается, голова всей тяжестью ложится на его живот. А он, растянувшись по диагонали на кровати, выбрасывает руку, словно собравшись взлететь, и гладит ее ягодицы, эти нижние сферы ее тела, ставшие менее округлыми, и поросль между ними, которую его пальцам стало легче находить. Дженис научилась сосать за время жизни со Ставросом, но делает это не по-настояшему, а скорее лижет верхушку. Стремясь возбудить себя, Кролик пытается вспомнить, как это делала Рут, как восторженно произносила «Ого!» и даже однажды проглотила сперму, но вместе с воспоминаниями приходит чувство вины за те месяцы, что они провели вместе, и измена изменщику, его бегство и горькое сожаление, что все позади. Дженис вдруг спрашивает:

— О чем ты думаешь?

— О работе, — лжет он. — Меня беспокоит Чарли. Он так о себе печется, что трудно даже попросить его что-нибудь сделать. Теперь мне приходится самому заниматься большинством покупателей.

— А почему бы и нет? Ты положил себе жалованья в два раза больше, чем ему, а он прослужил там всю жизнь.

— Угу, но женат-то на дочке босса я. Мог и он жениться, да вот не женился.

— Мы не стремились к браку, — говорит Дженис.

— А к чему вы стремились?

— Не важно.

Он рассеянно гладит ее длинные волосы, лежащие у него на животе, — такие мягкие после всего этого плавания.

— Сегодня к нам заглянула пара ребятишек, — начинает он рассказывать и умолкает. Теперь, когда она перестала его хотеть, у него набух член — горечь отступила, и мускулы наконец расслабились. А Дженис вся расслабилась и заснула, прижавшись лицом к его члену.

— Хочешь, чтоб я вошел? — тихо спрашивает Кролик и не получает ответа.

Он осторожно сдвигает инертное тело со своей груди, переворачивает жену, так что теперь они лежат оба на боку и он может войти в нее сзади. Она все-таки просыпается и вскрикивает, когда он проникает в нее. Войдя в ее влажное нутро, он натягивает простыню над ними обоими и начинает медленно наяривать. На улице еще не настолько жарко, чтобы включить вентилятор или воздушный кондиционер, оба валяются где-то на чердаке под пыльными стропилами, придется напрячь спину, чтобы их оттуда вытащить, а он никогда не любил холод от воздушного кондиционера, даже когда кондиционеры существовали только в кинотеатрах и тебя так и тянуло нырнуть туда с жаркого тротуара, и ты видел слово ПРОХЛАДА, начертанное сине-зелеными буквами со свисающими ледышками на навесе над входом, ему же всегда казалось здоровее жить в том воздухе, который дал нам Господь, каким бы паршивым ни был этот воздух, — пусть тело приспосабливается к нему: природа ведь может приспособиться к чему угодно. И все же иной раз ночью ты весь покрываешься потом, а внизу мчатся машины, шурша по мокрому асфальту, мальчишки и девчонки едут, опустив стекла окошек или верх машины, и радио взрывается, как раз когда ты засыпаешь, и у тебя мурашки бегут по коже, когда до нее дотрагивается простыня, и ты слышишь, как жужжит в комнате один-единственный комар. Член его как камень лежит в спящей женщине, он гладит ее ягодицы, расщелину между ними, прижатую к его животу, надо снова начать бегать, постепенно за эти годы он понял, что Дженис не возражает, когда он гладит эту расщелину между двумя половинками и то, что находится в глубине, ей даже как будто нравится лежать под ним и чувствовать, как его рука поддерживает ее ягодицы. Теперь он гладит себя и проверяет, так же ли тверд его член, а он твердый и толстый, как дерево в том месте, где оно вылезает из травы, две темные луны Дженис впускают его, поглощают с легким всасывающим звуком. Длинный изгиб ее бока — от ребер до бедер — кажется волной под его пальцами, легко касающимися ее кожи, как чайка касается волны. Ее убаюкала любовь, сморило вино. Какое счастье, что существует хмель.

— Дженис, — шепотом спрашивает он, — ты не спишь?

Его не огорчает то, что она его бросила: когда рядом лежит бодрствующий человек, это накладывает определенную ответственность, ставит препятствие на пути твоих мыслей. В журнале дальше помещена статья «Как договариваться о кредите на машину» — надо будет пробежать ее глазами из профессиональных соображений, и хотя подобные вещи его не интересуют, ему не удается выбросить из головы, как это они заметили, что кофейные зерна выскакивают из банки, когда ее протыкают. Дженис храпит — вздыхает с хрипом, точно она под водой на большой глубине и нос ее там превратился в подобие арфы. Ее необъятные, как ночь, бедра вдруг заполняют всю комнату, где свет от уличных фонарей разрезают лопасти вентилятора под потолком. Надо все-таки потрудиться, а то член до боли затвердел. Да и вообще это ведь она его разбередила. Внезапно в памяти Кролика возникает японский жук, которого он сбросил щелчком, — до чего изящен. А ну, держись, соня. Он кладет три пальца на ее бок, приподняв мизинец, словно в карточной игре. Работает осторожно, чтобы не разбудить ее, но целеустремленно и быстро. От оргазма холодом сковывает голову и на миг останавливается сердце — такого с ним не бывало уже давно. Так что же говорит, что он выдыхается?

— По мячу-то я бью о'кей, — изрекает на другой день Кролик, — но будь я проклят, если мне удастся выиграть. — Он сидит в зеленых плавках за белым столиком в «Летящем орле» со своими партнерами в этом раунде и их женами, ну, а у Бадди Инглфингера, правда, не жена, а приятельница. Когда-то у Бадди тоже была жена, но она ушла от него к линейному телефонному монтеру, работающему близ Уэстчестера. Как это могло произойти, более или менее понятно, поскольку все приятельницы Бадди, несомненно, одна хуже другой.

— А ты когда-нибудь выигрывал? — говорит ему Ронни Гаррисон так громко, что в плавательном бассейне все поворачивают голову.

Кролик знает Ронни уже тридцать лет и никогда не любил его — этакий хвастун из тех, кто в раздевалке вечно перед всеми распускал хвост, угощал младших тумаками и затрещинами, а на баскетбольной площадке лез напролом, точно медведь, весь мокрый, усиленно работая локтями и пытаясь восполнить мускульной силой отсутствие стиля. И, однако, когда Гарри и Дженис вступили в «Летящий орел», кого они прежде всего там увидели — старину Ронни с вполне приличным положением в Скулкиллской страховой компании и славной, вполне пристойной женой, которая уже многие годы преподает в третьем классе и, должно быть, очень хороша в постели, ибо в свое время Ронни в раздевалке только об этом и говорил — он был буквально заклинен на этой теме. Его курчавые волосы цвета меди, начавшие редеть сразу после средней школы, сейчас основательно вытерлись на макушке, а годы и респектабельность лишили его щеки былого румянца, теперь кожа на висках и у глаз стала у него тонкая, как бумага, и голубоватая, и Кролик что-то не помнит, чтобы у Ронни были белесые ресницы. Кролик любит играть с ним в гольф потому, что ему нравится обыгрывать Ронни, что не так уж трудно. Ронни из тех приземистых крепких ребят, что судорожно взмахивают клюшкой, когда волнуются, он бьет наотмашь, и мяч летит прямо в чащу.

— А я слышала, что Гарри лихо забивает, — тихо произносит жена Ронни Тельма.

У нее узкое неприметное лицо, и она все еще носит этакий чудной допотопный купальный костюм с коротенькой плиссированной юбочкой. Она часто набрасывает на плечи или на щиколотки полотенце, словно стремясь защитить кожу от солнца; вся она, за исключением обожженного носа, какая-то землистая. А в волнистых тусклых волосах попадаются седые пряди. Глядя на нее, Кролик всякий раз задается вопросом: как это она умудряется ублажать Гаррисона? Он чувствует, что она неглупа, но ум в женщинах никогда особенно не привлекал его.

— В пятьдесят первом я установил рекорд по забитым мячам в лиге «Б» нашего округа, — говорит он, обороняясь, и, обороняясь дальше, добавляет: — Не шутки.

— Твой рекорд уже давно перекрыт, — считает нужным пояснить Ронни. — Черными.

— Все рекорды перекрываются, — примирительно вставляет Уэбб Мэркетт. — Не знаю, в чем дело, а только такое впечатление, будто мили у наших бегунов стали короче. Да и в плаванье они не в состоянии удержать рекорд.

Уэбб — самый старший из их постоянной четверки, ему за пятьдесят: сухощавый задумчивый господин, подрядчик, занимающийся кровельными работами и наружной обшивкой домов, с убаюкивающим низким голосом, длинным лицом, исполосованным продольными складками, и карими глазами, почти скрытыми мохнатыми желтыми бровями. К тому же он самый заядлый из игроков в гольф. Непостоянство его проявляется лишь в том, что у него третья жена, зовут ее Синди, это пухленькая обаяшка с загорелой спиной, и ее еще вполне можно принять за школьницу, хотя у них уже двое детишек, мальчик и девочка, пяти и трех лет. Ее мокрые стриженые волосы лежат все в одну сторону, будто она только что вынырнула из воды после затяжного прыжка, а когда она улыбается, ее зубы выглядят неестественно ровными и белыми на загорелом лице с розовыми пятнами на круглых щечках там, где слезает кожа; выглядит эта Синди на редкость сексуально и возбуждает, хотя держится безучастно, но груди ее так и перекатываются в маленьком треугольном гамачке бюстгальтера. На ней черный купальный костюм, минимально прикрывающий тело. — всего лишь одна-две ленточки, идущие от шеи до водораздела между ягодицами, а промежуток между грудей заметен больше или меньше в зависимости от того, насколько костюм спускается вниз. Гарри восхищается Уэббом. Уэбб всегда жизнерадостен и многого добивается.

— Это оттого, что люди стали лучше питаться, верно? — пищит девчонка Бадди Инглфингера, и голосок у нее тоненький и детский, никак не вяжущийся с ее изнуренным лицом. Она что-то вроде специалиста по культуре тела, хотя ее собственные формы оставляют желать лучшего. Девчонки, которых приводит с собой Бадди, — секретарши и метрдотели с жестким взглядом; бывшие хиппи, похожие на ведьм, с сединой в хвосте и плоской грудью, увешанной индейскими украшениями; располневшие помощницы начальников отделов кадров в одном из этих мрачных новых зданий без окон, возникших в квартале на Уайзер-стрит, где они весь день только и делают, что вытаскивают из компьютера напечатанные листы и бросают их в корзинку для мусора, с белыми как мел ногами и свернутыми на сторону лицами, словно их втолкнули в третье десятилетие жизни ударом сбоку, — Гарри достаточно взглянуть на них, чтобы понять: не надо связываться с одиночками. Они почему-то напоминают ему пиратов, отчаянных и изувеченных, только без повязки на глазу. Как же, черт побери, эту зовут? Ее ведь представляли меньше получаса назад, правда, когда все еще были поглощены гольфом.

Бадди привел ее с собой, поэтому он не может не поддержать ее грошового замечания, а то молчание становится уж слишком мучительным. И он заполняет паузу:

— Я так думаю, что дело главным образом в тренировке. Даже второстепенные тренеры знают такие технические приемы, которые в старое время вырабатывали лишь выдающиеся атлеты, понимаете ли, путем тренировки. А теперь самый выдающийся уже не такой и выдающийся, потому что за ним стоит с десяток других. Или за ней. — Он оглядывает каждую из женщин, точно хочет приклеить к ней ярлык. Феминизм не застигнет его врасплох — слишком часто он тузил противника в барах для одиночек. — А в таких странах, как Восточная Германия или Китай, спортсменов накачивают стероидами, точно быков, их и людьми-то назвать нельзя. — На Бадди — очки в стальной оправе, какие носили лишь токари у станка, чтобы стружка не попадала в глаза. Бадди имеет какое-то отношение к электронике, у него и ум такой — слишком точный. Он продолжает, чтобы уж поставить точку: — Даже в гольфе. Палмера, а теперь и Никлауса отодвинули на задворки мальчишки, о которых никто и слыхом не слыхал, в южных колледжах их производят в таком количестве, что с одного соревнования до другого забываешь их имена.

Гарри всегда старается подытожить.

— Рекорды ставят, потому что их делают, — говорит он. — Аарон не должен был играть, а его придерживали, чтобы он побил рекорд Рута. Я помню время, когда пробежать милю за пять минут было в школе чудом. А теперь девчонки это делают.

— Это же поразительно, — влезает снова девчонка Бадди, считая себя экспертом по этой части, — на что способно человеческое тело. Любая из нас, женщин, находящихся здесь, могла бы выйти сейчас на улицу и, если нужно, поднять машину за передний бампер. О таких случаях все время пишут в газетах, и в больнице, где я проходила практику, доктора могли тут же дать вам цифру на бумаге. Мы и наполовину не используем нашу мускульную силу.

— Слышишь, Синди! — подтрунивает Уэбб Мэркетт. — Если все бензоколонки закроют, немного поднатужишься и понесешь «ауди» домой на руках. Ну а если серьезно, я всегда удивлялся людям, которые знают дюжину языков. Если считать, что мозг — это компьютер, представляете себе, сколько нужно для этого клеток серого вещества! Правда, судя по всему, так их много больше.

Его молодая жена молча поднимает руки, чтобы выжать воду из волос, но волосы для этого слишком коротки. При этом груди ее в мокром черном маленьком лифчике слегка приподнимаются, и четко обрисовываются их очертания. На ногах у нее лежит полотенце, что избавляет Гарри от необходимости разглядывать ее бедра. Эдгар Кейс приводит пример за примером. Джорджина? Джеральдина? Тем временем девчонка продолжает своим звонким, чересчур возбужденным голоском:

— А как эти йоги поднимают себя над землей или погружаются на тысячи лет в прошлое. — Отвращает его от девчонки Бадди не только то, что у нее прыщи на подбородке и на лбу, а то, что у нее и на ногах, высоко с внутренней стороны, такие же — точно от венерической болезни. — И ничего тут нет сверхъестественного: в Бога я не верю — слишком уж много на земле страданий, религия просто использует то, что заложено в человеке, она ничего не развивает. Всем вам следовало бы прочитать тибетскую Книгу мертвых.

— В самом деле? — сухо произносит Тельма Гаррисон.

Теперь уже молчание прочно овладевает их компанией. От зеленоватой воды бассейна исходит неприятный призрачный отсвет, ложащийся на их лица, и слышно, как судорожно дышит плывущий ребенок. Затем Уэбб, будучи человеком добрым, произносит:

— Обратимся теперь к тому, что происходит у нас дома, а мы недавно пережили страшноватый момент. Я тут купил одну из этих камер, «Полароид», новинку, чтобы занять детишек, и она нас всех буквально заворожила, это что-то сверхъестественное, когда видишь, как у тебя на глазах проявляется фотография.

— Снимок, — говорит Синди, — выскакивает из нее вот так. — И, скосив глаза, она со свистом высовывает язык.

Все мужчины хохочут до упаду.

— В журнале «К сведению потребителей» что-то было на этот счет, — говорит Гарри.

— Это просто чудо, — сообщает им Синди. — Уэбб заводится с пол-оборота. — Когда она склабится, обнаруживаются по-детски здоровые десны и зубы у нее кажутся будто подпиленными.

— Почему у меня пусто в стакане? — спрашивает Дженис.

— Проигравшие угощают! — буквально выкрикивает Гарри.

Несколько лет назад так заорать можно было бы только в мужской компании, но теперь оба пола достаточно насмотрелись рекламы пива по телевидению и знают, что именно так — удало и шумно — надо вести себя по уик-эндам в барах, на пикниках у жаровен с мясом, на палубах и на склонах гор.

— Выигравшие уже заплатили за первый раунд, — без всякой нужды добавляет он, точно находится среди чужих или беспамятных, а тем временем несколько рук уже машут, подзывая официантку.

Команда Гарри не получила приза «Нассау», но он считает, что в этом виноват его партнер. Бадди всегда все заваливает: сделает два хороших удара подряд, а потом вынужден делать три удара, чтобы попасть в лунку. А вот Гарри бьет по мячу как следует, хотя мяч и не всегда летит прямо, — расслабляет руки, медленно размахивается и *смотрит на мяч*, пока тот не становится большущим, как луна. Последний мяч он отправил в птичий полет, в самую дальнюю лунку, что за ручьем с оранжевым песчаным дном, заросшим крессом, почти у самой лужайки перед клубом, эта его победа (звук удара о дерево, когда в лунку попадает дальний мяч) перечеркивает множество неудачных ударов и преисполняет его уверенности в собственной силе и бессмертии при виде пузырчатой хлорированной воды, залитых солнцем лиц и торсов партнеров и изгиба прорезанного тенями склона горы Пемаквид, по которому яркими голыми полосами проложены шоссейные дороги, а над ними начинаются леса. В свете близящегося к вечеру дня Кролик чувствует себя братом этой горы. Пемаквид лишь недавно освоена: на протяжении двух веков, когда гора Джадж торжественно возвышалась над расцветающим Бруэром, расположенная ближе к нему Пемаквид оставалась странным, запретным местом, где отели для отдыха терпели банкротство и горели и куда отваживались заходить лишь любители пеших прогулок, влюбленные да беглые преступники. Клуб «Летящий орел» (взявший это название от птицы, скорее всего от ястреба-перепелятника, которого увидели первым и решили избрать в качестве символа) по дешевке купил триста акров земли на нижнем склоне. Когда бульдозеры начали сгребать в грязные кучи молодые ясени, тополя, пеканы и кизил, расчищая место для шоссейных дорог и теннисных кортов, люди говорили, что этот клуб провалится, в графстве уже есть клуб Бруэрского округа, что расположен к югу от города и предназначен для врачей и евреев, а в десяти милях к северу — клуб «Талпихокен», с каменными стенами и высокой чугунной решеткой, предназначенный для старинных семей заводчиков и их адвокатов, а для крестьян существует несколько полей для гольфа, разбросанных по округе. Но в городе появилась категория людей среднего возраста, занимающихся розничной торговлей и обслугой, а также программным обеспечением для новой техники и не стремящихся видеть барменов в ливреях и сидеть за карточными столами в специально отведенных комнатах; они не возражают ходить в клуб, находящийся в стандартном доме, и на теннисные корты «Летящего орла», которые надо самим убирать; выстланные бобриком раздевалки кажутся им роскошью, а машина, выдающая кока-колу в бетонном коридоре, — милой подружкой. Они готовы ездить все лето по зимним правилам на неровных, выщербленных дорогах и платить за все свои привилегии пять сотен — а ныне шестьсот пятьдесят — в год плюс тратить небольшое состояние на фишки. Фред Спрингер многие годы добивался приема в клуб Бруэрского округа и так и не сумел туда попасть, — «Талпихокен» был столь же недостижим для него, как Коллегия кардиналов, это он понимал, — а теперь его дочь Дженис, вся в белом, выписывает чеки за фишки, точно наследница «Пива подсолнух» и «Франкхаузерской стали». Ну прямо Дюпонша. В «Летящем орле» Гарри чувствует себя подобранным, посвежевшим, обласканным, — самый крупный мужчина за столом, он поднимает руку, и девушка в форме — плотной зеленой блузе и клетчатой, белой с зеленым, юбке — подходит и берет у него заказ на выпивку в это загазованное воскресенье. Она не спрашивает его фамилию: тут все его знают. Ее имя — Сандра — значится на кармашке блузы; у нее молочно-белая кожа, как и у его дочери, но она ниже ростом, и на лице ее уже написана усталость, которая со временем станет доминировать в ее облике.

— Вы верите в астрологию? — внезапно спрашивает Синди Мэркетт девчонка Бадди. Может, она лесбиянка, поэтому Гарри не в силах вспомнить ее имя. Оно какое-то мягкое, округлое — не Гертруда.

— Не знаю, — говорит Синди; расширенные удивлением глаза ее кажутся белыми на загорелом лице. — Я, правда, иногда просматриваю гороскоп в газетах. Некоторые вещи там кажутся очень точными — но нет ли тут какого-то трюка?

— Это не трюк, это древняя наука. Самая древняя, какая есть.

Это стремление вывести Синди из безмятежности нарушает покой Гарри, и, повернувшись к Уэббу, он спрашивает, смотрел ли тот вчера вечером игру «Филадельфийцев».

— Их команда сдохла, — вставляет Ронни Гаррисон. Бадди тут же вылезает со статистикой: из последних тридцати четырех игр они проиграли двадцать три.

— Я воспитана в католической вере, — говорит Синди девчонке Бадди так тихо, что Гарри приходится напрячь слух, чтобы расслышать. — И священники говорили нам, что все это дьявольские ухищрения. — При этом она теребит маленький крестик, который висит у нее на цепочке, такой тоненькой, что на загорелой коже она даже не оставила следа.

— Отсутствие Бовы здорово их подкосило, — с умным видом произносит Уэбб и, машинально приподняв, точно верблюд, дряблую верхнюю губу, так что все лицо пошло складками, сует сигарету в рот.

Дженис спрашивает Тельму, где она купила этот прелестный купальный костюм. Она, видимо, пьяна.

— У Кролла таких просто не бывает, — слышит Кролик ее голос.

На самой Дженис старомодный костюм из лифчика и трусов, на плечи наброшена белая кофточка, которая была куплена к теннисному костюму, Дженис держит в руке сигарету, и Уэбб Мэркетт, нагнувшись, подносит к ней свою бирюзовую зажигалку. «А она совсем не дурна», — думает Гарри, вспоминая, как владел ею, пока она спала. А может быть, и не спала: она ведь завздыхала и перестала храпеть. По сравнению с болезненно-бледным и словно бескостным телом Тельмы у Дженис тело энергичное, с четкими линиями, кожа на круглых коленках натягивается, когда она наклоняется вперед, к огоньку. Делает это она с известной привычной грацией. Уэбб с уважением относится к ней — как-никак дочь Фреда Спрингера.

Интересно, думает Гарри, а где там, в деревне, находится сейчас его собственная дочь? Готовит ужин, накормив скотину, или занимается чем-то еще? Воскресенья в глуши не так уж отличаются от будней: у животных ведь нет выходных. А утром она ходила в церковь? Рут этим не занималась. Он вообще не может представить себе Рут в деревне. Для него она всегда ассоциировалась с городом, с этими крепкими красными кирпичными домами Бруэра, которые вбирают в себя всех, кто сюда приезжает. Появились напитки. Радостные вскрики, совсем как в рекламе пива, и Синди Мэркетт решает, что надо сделать еще заплыв, чтобы заслужить выпивку. Когда она встает, ляжки у нее сзади все в квадратиках, а черный купальный костюм, еще мокрый, двумя полукружиями прилип к ягодицам под двумя ямочками, симметрично расположенными, точно маленькие водовороты на ее пышных бедрах, — от этого зрелища у Гарри все плывет перед глазами. В свое время он часто ходил с Рут в общественный бассейн в Западном Бруэре. День поминовения павших в войнах. Запах травы, примятой влажным полотенцем, расстеленным в тени деревьев, подальше от бассейна, выложенного кафелем. А теперь сидишь в проволочных креслах, покрытых эмалевой краской, которые, если у тебя нет подушки, отпечатываются, точно вафли, на твоих ляжках. Гора словно бы придвигается. Красное солнце за пеленой городских испарений золотит верхушки деревьев — точно трава колышется на хребте горы Пемаквид, а тени между деревьями в лесу, что толстым ковром покрывает все пространство от гребня горы до поля для гольфа, становятся все более глубокими. На далекой одиннадцатой дорожке все еще копошатся люди, похожие на букашек. Пока он смотрит в эти дали, Синди плашмя плюхается в воду, и несколько брызг попадает на голую грудь Гарри, которая кажется ему сейчас такой же широкой, как эта купающаяся в лучах солнца гора. Он мысленно составляет фразу: «Вчера, возвращаясь домой, я слышал по радио забавную историю»...

— ...мне бы ваши красивые ноги, — говорит эта уродка, жена Ронни.

— О, зато вы сохранили талию... А я, по словам Гарри, стала как корнишон. — И Дженис захихикала. Сначала захихикала, потом качнулась.

— Похоже, он спит.

Гарри открывает глаза и объявляет:

— Вчера, возвращаясь домой, я слышал по радио забавную историю.

— Выгнать Озарка, — громко твердит свое Ронни. — Он потерял всякое уважение, он действует деморализуюше. Пока они не выкинут Озарка и не переманят Роуза, «Филадельфийцы» — мертвяки.

— Я жду рассказа, — говорит Гарри эта жуткая Баддина девчонка, так что он вынужден продолжать:

— О, просто какого-то доктора из Балтимора, по словам радиокомментатора, потащили в суд за то, что он на поле для гольфа убил клюшкой гуся.

— На поле для гольфа клюшкой гуся, — хихикает Дженис. Когда-нибудь он с величайшим удовольствием возьмет этакий большущий булыжник и проломит ей башку.

— Где ты это слышал, Гарри? — спрашивает Уэбб Мэркетт; он только что подошел к ним, но делает вид, будто внимательно слушает: вежливо склонил набок свою голову огурцом и прикрыл один глаз от дыма сигареты.

— Вчера по радио, когда ехал домой, — отвечает Гарри, уже жалея, что начал рассказывать.

— Кстати, про вчера, — не выдержав, прерывает его Бадди. — Я видел очередь за бензином на пять кварталов. Началась она у «Саноко», что на углу Эш и Четвертой, тянулась по Четвертой до Баттонвуда, от Баттонвуда к Пятой, по Пятой назад к Эш, а по другую сторону Эш начиналась новая очередь. Там даже выставили регулировщиков и всякое такое. Я глазам своим не мог поверить, а машины все подкатывали и подкатывали. Это надо же — очередь на целых пять кварталов.

— Один наш клиент, — говорит Ронни, — крупный поставщик солярки, говорит, что у них полно сырой нефти — просто они решили поприжать производство бензина и выпускать больше солярки. Нефть-сырец. По их планам зима уже наступила. Я спросил этого малого, что же будет с обычным автомобилистом, а он на меня так странно посмотрел и сказал: «Пусть сидит и ковыряет в носу, вместо того чтобы каждый уик-энд мчаться на побережье в Джерси».

— Ронни, Гарри пытается нам что-то рассказать, — вмешалась Тельма.

— Едва ли это так уж интересно, — говорит Кролик, хотя ему и приятно побыть в центре внимания, подрастянуть комедию. А гора вся залита солнцем. И второй стакан джина растекается по его телу, поднимая настроение. Ему нравится эта компания, его компания, и компании за другими столиками, кто-то может прийти оттуда к ним и пообщаться — все ведь знают всех, — детишки в бассейне, которых непременно кто-нибудь спас бы, даже если бы этой шоколадной девчонки-спасателя, надувающей пузыри из жевательной резинки, и не было тут; нравится ему и то, что все здесь в кредит — клуб требует свое лишь десятого числа каждого месяца.

Теперь все принимаются его упрашивать.

— Да ну же, Гарри, не вредничайте, — говорит Баддина девчонка.

Она уже называет его по имени, значит, придется и ему выяснить, как ее зовут. Гретхен, Джинджер. Может, это и не прыщи у нее на ногах, а аллергическая сыпь от шоколада или от сумаха. Вид у нее как у аллергика — щеки втянуты, точно ей трудно дышать. Недостатки — их всегда несколько.

— Так вот, этого доктора, — снисходит Гарри и продолжает рассказ, — потащили в суд за то, что он на поле для гольфа убил клюшкой гуся.

— Какой именно клюшкой? — спрашивает Ронни.

— Я знал, что ты задашь этот вопрос, — говорит Гарри. — А не ты, так какой-нибудь другой остолоп.

— По-моему, в него угодил ком песка, — говорит Бадди, — прямо в горло. Голова так и отлетела.

— У клюшки ручка слишком короткая, — возражает Ронни. Он прищуривается, словно измеряя расстояние. — Я бы сказал, клюшка должна была бы быть длиной в пятерку или даже четверку. Эй, Гарри, помнишь тот удар, когда я послал мяч в пятнадцатую лунку с другого края той песчаной ловушки?

— Ты подтолкнул его, — говорит Гарри.

— Что?

— Я видел, как ты его подтолкнул, чтоб потом хвастануть.

— Давай напрямик. Значит, ты говоришь, я сжульничал?

— Ну, что-то в этом роде.

— Расскажи же нам, как все было, Гарри, — говорит Уэбб Мэркетт, закуривая новую сигарету, чтобы подчеркнуть свое долготерпение.

Джинджер ушла за мячами. А Тельма Гаррисон наставила на него свои огромные темные солнечные очки, и это отвлекает.

— Так вот, доктор оправдывался якобы тем, что тяжело ранил гуся мячом и потом из милосердия вынужден был его прикончить. Затем диктор — и не диктор, а дикторша — в тот момент мне это показалось забавным...

— Подожди-ка минуту, лапочка, я что-то не понимаю, — говорит Дженис. — Ты хочешь сказать, что тот тип бросил мяч в гуся?

— О Господи, — вырывается у Гарри, — до чего же я жалею, что вообще это затеял! Поехали домой.

— Нет, *расскажи*, — настаивает Дженис, запаниковав.

— Никакой мяч он в гуся не *бросал*, просто гусь оказался на поле, по всей вероятности, около пруда, и малый махнул по мячу или что-то в этом роде...

Безымянная девчонка Бадди обводит всех взглядом и своим деланно детским голоском спрашивает:

— А гусям разве разрешается ходить по полю для гольфа? То есть, может, я задаю глупый вопрос, но Бадди — первый игрок в гольф, с которым я встречаюсь...

— Вы называете *его* игроком в гольф? — прерывает Ронни.

— А я читал где-то, что на Аляске по одному полю для гольфа бродили олени. А может, это было в Швеции.

— А я слышал, что в Мэне по полям для гольфа ходят лоси, — говорит Уэбб Мэркетт. Клонящееся к закату солнце зажигает искорки в его мохнатых бровях. Вид у него грустный. Может, это тоже от выпитого, так как он продолжает: — Интересно, почему мы ни разу не слышали ни об одном шведском игроке в гольф? Вот про Бьерна Борга, теннисиста, слышим и про этого лыжника — Стенмарка.

Кролик решает тут встрять:

— Вот дикторша и говорит: «Так он прикончил гуся из сострадания или совершил гнуснейшее убийство?»

— Ого! — вырывается у кого-то.

— Может, было бы лучше, — размышляет вслух Ронни, — ударить по гусю из-под левой ноги.

— Никто же не слышал, с какого расстояния он ударил, — говорит Гарри.

— Я слышала, — произносит Тельма Гаррисон.

— Мы все слышали, — говорит Бадди. — И меня крайне огорчает, — продолжает он, и лицо у него становится таким суровым в очках в стальной оправе, что женщины сначала воспринимают все всерьез, — что никто тут — я отвечаю за свои слова: *никто* — не выказал сочувствия гусю.

— Кое-кто так посочувствовал, что игрока потащили в суд, — говорит Уэбб Мэркетт.

— Я вижу, что нахожусь среди людей, — жалобно заявляет Бадди, — которые изображают из себя либералов, людей свободомыслящих, а на самом деле выступают против гуся.

— Это кто — я, что ли? — восклицает Ронни пронзительно высоким голосом, подражая гусиному крику.

Кролик терпеть не может подобный юмор, но остальным, включая женщин, это вроде нравится.

Синди, вся в сверкающих каплях воды, возвращается из бассейна. Остановившись перед ними, она одергивает слегка съехавший набок купальный костюм и краснеет, видя, что они смеются.

— Вы говорите обо мне? — Маленький крестик сверкает под впадинкой у ее горла. Ноги на плитках, устилающих края бассейна, выглядят бледными. Странно, что ступни у нее не загорели.

Уэбб сбоку обхватывает жену за широкие бедра:

— Нет, лапочка, Гарри рассказывает нам сказку про белого гуся.

— Расскажи мне, Гарри.

— Не сейчас. Она никому не понравилась. Уэбб тебе расскажет.

Крошка Сандра в зеленой с белым форме подходит к ним:

— Миссис Энгстром!

Гарри чуть не хватила кондрашка — точно из могилы вытащили его мать.

— Да? — деловито восклицает Дженис.

— Ваша матушка на проводе.

— О Боже, что там еще? — Дженис поднимается, ее слегка бросает в сторону, но она берет себя в руки. Снимает полотенце со спинки кресла и обматывается им, чтобы не идти в клуб мимо десятков людей в одном купальном костюме. — Что там могло случиться, как ты думаешь? — спрашивает она Гарри.

Он пожимает плечами:

— Может, она хочет узнать, какая копченая колбаса будет у нас на ужин.

Он таки уколол ее — и при всех. Гарри становится стыдно, тем более когда он вспоминает, как Уэбб обнял Синди за бедра. Эта компания, дай ей волю, способна разрушить любой брак. А он не хочет выглядеть глупо-сентиментальным.

Дженис вызывающе бросает ему:

— Золотко, ты не мог бы заказать мне еще одну водку с тоником, пока я хожу?

— Нет. — И, смягчаясь, добавляет: — Я подумаю.

Но на компанию уже повеяло холодком.

Мэркетты посовещались и решили, что пора ехать: с их ребенком осталась тринадцатилетняя соседка — девочка. То же солнце, что зажигало искорки в бровях Уэбба, высвечивает сейчас крохотные волоски, вставшие дыбом на покрытых гусиной кожей ляжках Синди. Не трудясь прикрыться полотенцем, она не спеша направляется в дамскую раздевалку — бледные ноги оставляют на серых плитках черные следы. Стойте, стойте, сегодня же воскресенье, уик-энд еще не кончился, в стакане есть еще золотистая влага. На прозрачной крышке стола среди кресел из металлических прутьев стаканы оставили призрачный циферблат из кружков, который высветило сейчас закатное солнце. Что, интересно, понадобилось матери Дженис? Она звонит из сумрачного старого мира, который так хорошо знаком Гарри, но который ему хочется похоронить. — мира, где люди ходят всегда одетые, где не проветриваются гостиные, где стоят ведра с углем и в узких домах зловредно спущены жалюзи, где тяжкий труд фермеров и заводских рабочих, словно две большие тучи, придавил землю и город. А здесь чистеньким детишкам, дрожащим от резкого перехода из воды в более разреженную среду, мамы протягивают полотенца. Полотенце Синди висит на ее пустом кресле. Вот стать бы полотенцем Синди и чтобы она села на тебя — при этой мысли у Гарри пересыхает во рту!.. Уткнуться носом в ее промежность и высунуть как можно дальше язык. Вот уж там никаких прыщей. Рай, да и только!.. Он поднимает взгляд и видит, что косматая гора еще больше закрыла солнце, хотя кресла по-прежнему отбрасывают длинные тени, превращая землю в ромбовидную шахматную доску. Бадди Инглфингер говорит Уэббу Мэркетту тихо, злобно, без малейшей иронии:

— Ты себя как-нибудь спроси, кому выгодна инфляция. Она выгодна людям, которые увязли в долгах, неудачникам нашего общества. Выгодна правительству, потому что оно получает больше налогами, не повышая их. А кому это невыгодно? Человеку с деньгами в кармане, человеку, который платит по своим счетам. Вот почему, — тут голос Бадди опускается до заговорщического шипения, — этот человек исчезает с лица земли, как индейцы. Ну зачем мне работать, — спрашивает он Уэбба, — если у меня из кармана выкачивают деньги для тех, кто ничего не делает?

А Гарри мысленно бредет по хребту горы, откуда вверх, словно пар, поднимаются облака. Такое впечатление, что гора Пемаквид движется, рассекая летнее небо и солнце, а бассейн теперь уже весь в тени. Тельма весело объявляет приятельнице Бадди:

— Астрология, гадание по руке, психиатрия — я за все это. За все, что помогает жить.

А Гарри думает о своих родителях. Надо было им вступить в какой-нибудь клуб. А то жили как на войне: мама сражалась с соседками, папа и его профсоюз ненавидели владельцев типографии, где он всю жизнь гнул спину, оба презирали тех немногих родственников, которые пытались поддержать с ними связь, все четверо — папа, и мама, и Хасси, и Мим — забаррикадировались от всего света и винили каждого, кто пытался из этой крепости протянуть руку в поисках друга. *Никому не доверяй! Энди Меллон не доверяет, я тоже.* Милый папка! Так он и не вылез из нужды. А Кролик наслаждается, он вознесся над этим старым, сохранившимся лишь в воспоминаниях миром, — разбогатевший, успокоившийся.

Бадди продолжает жалобно нудить:

— Денежки из одного кармана перекочевывают в другой — они же не испаряются. А заправилы на этом богатеют.

Со скрежетом отодвигается кресло, и Кролик чувствует, что это встал Уэбб. Голос его звучит откуда-то сверху весомо, иронически, примирительно:

— Тебе остается одно — самому стать заправилой.

— Безусловно, — говорит Бадди, понимая, что от него хотят отделаться.

Крошечная точка — птица, возможно сказочный орел, впрочем, нет, судя по тому, как неподвижны его крылья, это канюк, — резвится среди золотистых зубцов горы: то парит над ними, будто крапинка на цветной пленке «Кодака», то ринется вниз и исчезнет из виду, а мимо плывут, плывут облака с голубоватой подбрюшиной. Еще одно кресло царапнуло по плиткам. Резкий возглас: «Гарри!» Голос Дженис.

Он наконец отрывает взгляд от этого великолепия, и, пока глаза его привыкают к окружающему, во лбу возникает боль, возможно, именно с такой несущественной, необъяснимой боли начинается путь человека к смерти — у одних он медленный, будто их кошка лапкой задела, у других стремительный, будто их ястреб унес. Рак, сердечно-сосудистые заболевания.

— Так что же понадобилось Бесси?

Дженис говорит задыхаясь, слегка ошарашенно:

— Она сказала, Нельсон приехал. С этой девицей.

— С Мелани, — говорит Гарри, довольный, что вспомнил. А вспомнив это имя, он одновременно вспоминает, как зовут девчонку Бадди. Джоанна.

— Приятно было с вами познакомиться, Джоанна, — говорит он, прошаясь, пожимая ей руку. Производя хорошее впечатление. Оставляя свою тень.

Гарри везет их домой в «мустанге» Дженис с опущенным верхом; воздушные струи обволакивают их, создавая иллюзию сумасшедшей и опасной скорости. Ветер срывает слова с губ.

— Что же мы, черт бы его побрал, будем делать с парнем? — спрашивает Гарри у Дженис.

— Что ты имеешь в виду? — Когда ветер откидывает назад ее темные волосы, Дженис кажется совсем другой. Глаза сощурены, рот приоткрыт, рука придерживает возле уха шелковую косынку, чтобы не улетела. Прямо Элизабет Тейлор из фильма «Место под солнцем». Даже крошечные морщинки в уголках глаз и те придают ей шику. На Дженис — теннисный костюм и белая кашемировая кофточка.

— Я имею в виду, собирается ли он поступать на работу и вообще, что он намерен делать?

— Послушай, Гарри, он же еще учится.

— По его поведению этого не скажешь. — Он чувствует, что надо кричать. — Мне вот так не повезло — я не ходил в колледж, а ребята, которые ходили, не катались в Колорадо на планерах или черт его знает на чем, пока у отца не кончатся денежки.

— Ты не знаешь, чем они занимались. Да и вообще времена сейчас другие. Так что будь помягче с Нельсоном. После того, что ему пришлось из-за тебя пережить...

— Не только из-за меня.

— После того, что ему пришлось пережить, ты должен быть благодарен, что ему *хочется* приехать домой. Не важно когда.

— Ну, не знаю.

— Не знаешь — что?

— Не по душе мне это. Слишком я был в последнее время счастлив.

— Не сходи с ума, — говорит Дженис.

Это означает, что ей это не грозит. Однако их всегда роднило то, что она поддается смятению с такой же быстротой, как и он. Ветер со свистом несется мимо, и в душе Гарри от испуга возникает любовь к чему-то безымянному. К ней? К своей жизни? К миру? Когда едешь с горы Пемаквид, городок Маунт-Джадж предстает перед тобой совсем иным, чем когда едешь домой из Бруэра: бывшая картонная фабрика — вытянутый брусок с узкими окнами — внизу, у высохшего водопада, загнанного под землю, чтобы давать электричество, и новая реклама «Эксон» и «Мобил», высоко-высоко вознесенная на алюминиевых столбах в небо над шоссе 422, так что кажется, будто это антенны корабля, прилетевшего из космоса. Солнце, чьи лучи тянутся сейчас над долиной, зажигает оранжевым светом многоэтажье городских окон, и таким внушительным кажется отсюда шпиль лютеранской церкви из песчаника, куда Кролик ходил по воскресеньям в школу к сварливому старому Фрицу Круппенбаху, который внушал им на уроках, что жизнь хороша для тех, кто верит, а для неверующих нет ни спасения, ни мира. *Ни мира.* Вывеска гласит: ПЕРЕПОЛНЕНО. Притормаживая машину, Гарри чувствует потребность излить Дженис душу:

— Я вчера вечером начал тебе рассказывать про молодую пару, которая заходила к нам в магазин, так девчонка была очень похожа на Рут. И по летам вполне подходит. Постройнее и говорит иначе, но есть в ней что-то, сам не знаю что.

— Это все твое воображение. Ты узнал, как ее зовут?

— Я спросил, но она не сказала. Схитрила. И при этом кокетничала, хотя ни к чему не придерешься.

— И ты считаешь, что это была твоя дочь?

По тону Дженис он понимал, что не следовало ему изливать ей душу.

— Я ведь так не сказал.

— А что же ты сказал? Сообщил мне, что все еще думаешь об этой бабе, с которой ты спал двадцать лет тому назад, и что у вас, оказывается, есть прелестная крошка.

Он кидает на Дженис взгляд и видит, что сходства с Элизабет Тейлор уже нет и в помине: губы жестко сжаты и сморщились, точно спеклись от злости. Ида Лупино. Куда они деваются, все эти знаменитые голливудские стервы? В городе на перекрестке, где Джексон-стрит вливается в Центральную, многие годы стоял просто указатель «стоп», но в прошлом году, после того, как сын мэра разбил свою машину, налетев на этот указатель, здесь поставили светофор, который почти все время мигает: желтый в одну сторону, красный — в другую. Гарри берется за тормоз и делает левый поворот. Дженис на повороте приваливается к нему, так что ее рот оказывается рядом с его ухом.

— Ты просто ненормальный! — кричит она. — Вечно ты хочешь того, чего у тебя нет, и не радуешься тому, что есть. Весь так и расплылся при одной мысли об этой несуществующей доченьке, в то время как твой *настоящий* сын от твоей собственной *жены* ждет тебя сейчас дома, ты же говоришь, что хотел бы, чтобы он сидел в Колорадо.

— Я действительно этого хочу, — говорит Гарри: он готов сказать что угодно, лишь бы переменить тему разговора. — И ты не права, считая, что я хочу, чего у меня нет. Мне очень даже нравится то, что я имею. Вся беда в том, что начинаешь бояться, как бы у тебя это не отобрали.

— Ну, во всяком случае, отбирать будет не Нельсон, он от тебя ничего не требует, разве что немного любви, но и этого не получает. Просто понять не могу, *почему* ты такой странный отец.

Стремясь закончить препирательство до того, как они подъедут к дому мамаши Спрингер, он сбавляет скорость на Джексон-стрит, где каштаны и клены так переплелись, что из-за густой тени кажется, будто сейчас куда позднее.

— Мальчишка что-то затаил против меня, — мягко произносит он, чтобы посмотреть, что за этим последует.

Дженис тотчас снова распаляется:

— Ты все время так говоришь, но это *неправда*. Он *любит* тебя. Или любил. — Небо там, где оно виднеется сквозь переплетение ветвей, еще светлое, и по их лицам и рукам, словно мотыльки, скользят блики. — Одно я знаю совершенно твердо, — капризным, но уже куда более мягким тоном говорит она, — я не желаю больше слышать о твоей милой незаконной дочке. Это омерзительно.

— Я знаю. Сам не понимаю, почему я о ней упомянул. — Он ошибся, решив, что они единое целое, и поделившись с ней этим видением из тех времен, когда он был один. Ошибка, свойственная женатым людям.

— Омерзительно! — кричит Дженис.

— Я больше никогда не упомяну об этом, — обещает он.

Они сворачивают на Джозеф-стрит, где пожарный гидрант все еще стоит в выцветшем от времени красно-бело-синем клоунском наряде — так раскрасили его школьницы три года тому назад по случаю двухсотлетия Америки. С вежливостью, рожденной новой неприязнью к Дженис, он спрашивает:

— Поставить машину в гараж?

— Оставь ее у крыльца — она может понадобиться Нельсону.

Они поднимаются на крыльцо, и шагать Гарри так тяжело, будто вдруг возросла сила притяжения. Они с сыном много лет назад пережили сложный период — Кролик себя за это простил, а вот сын, насколько ему известно, его не простил. Когда сгорел дом Гарри, там погибла девочка по имени Джилл — девочка, которую Нельсон любил как сестру. По крайней мере как сестру. Но прошли годы, живые залатали раны, да и столько людей, сраженных болезнями, в которых повинен лишь один Бог, с тех пор пополнили ряды мертвецов, что случившееся не кажется больше таким уж страшным, скорее Кролику кажется, что Джилл просто переехала в другой город, где непрерывно растет население. Джилл было бы сейчас двадцать восемь лет. Нельсону — двадцать два. Подумать только, какое бремя вины вынужден нести Господь Бог.

Входную дверь дома мамаши Спрингер заело, и ее удается открыть лишь ударом плеча. В гостиной темно, и ко множеству мягкой мебели добавились еще рюкзаки. На площадке лестницы стоит потрепанный клетчатый чемодан — не Нельсона. С веранды доносятся голоса. Эти голоса ослабляют силу притяжения, гнетущую Гарри, как бы опровергают курсирующие в мире слухи о всеобщей смерти. Он идет на голоса через столовую, затем через кухню и выходит на веранду, сознавая, что хватил немного лишку и потому недостаточно осторожен — раздался, обмяк и представляет собой этакую огромную движущуюся мишень.

Листья бука налипли на сетку, ограждающую веранду. Лица и тела поднимаются с алюминиево-нейлоновой мебели, точно облака взрыва, который видишь на экране телевизора с выключенным звуком. Сейчас, в зрелом возрасте, мир все чаще и чаще предстает перед Гарри в виде картинок на экране неисправного телевизора — такие же вот картинки мелькают в нашем мозгу перед тем, как мы засыпаем, картинки, которые кажутся осмысленными, пока в них не вглядишься, а вглядишься — и просыпаешься потрясенный. Быстрее всех поднялась девица — курчавая, довольно крепкая девчонка с блестящими карими навыкате глазами и рубиново-красной улыбкой с ямочками, точно скопированной с открыток, какие посылали в начале века в Валентинов день. На девчонке видавшие виды джинсы и что-то вроде индийской вышитой рубахи, на которой не хватает блесток. Ее рукопожатие — влажное, нервное — удивляет Гарри.

Нельсон не спеша поднимается на ноги. По обыкновению, встревоженное лицо его покрыто горным загаром, и он выглядит стройнее, шире в плечах. Меньше похож на щенка, больше — на паршивого пса. Где-то — в Колорадо или в Кенте — он коротко подстригся под панка, а в школе носил волосы до плеч.

— Пап, это моя приятельница — Мелани. Мой отец. И моя мать. Мам, это Мелани.

— Приятно с вами обоими познакомиться, — говорит девчонка, к ее губам словно приклеилась веселая, яркая улыбка, точно эти простые слова — преддверие шутки, маленького циркового представления. Вот кого она напоминает Гарри — этих не вполне реальных, но явно храбрых женщин, которые в цирке висят под куполом, держась за что-то зубами, или, зацепившись ногой за бархатный канат, быстро взбираются вверх и летят сквозь переливающийся блестками воздух, — именно их, хоть она и одета в подобие лохмотьев, какие нынче нацепляют на себя девчонки. Странная стена или завеса из слепящего света мгновенно опускается между ним и этой девчонкой — полное отсутствие интереса, которое он объясняет добрым отношением к сыну.

Нельсон и Дженис обнимаются. «Эти маленькие спрингеровские ручки», — вспоминает Гарри слова своей матери, глядя на то, как эти ручки вжимаются сейчас в спину облаченной в теннисное платье Дженис. Обманчивые лапки — что-то в изгибе тупых пальцев указывает на скрытую силу. На ногтях не видно белых окончаний, и они выглядят обкусанными. Нельсон унаследовал от Дженис эту привычку надуться и молча упрямо стоять на своем. Нищие духом.

Однако, когда Дженис отрывается от сына, чтобы поздороваться с Мелани, и отец с сыном оказываются лицом к лицу, и Нельсон говорит: «Привет, пап!» — и колеблется, как, впрочем, и отец, пожать ли ему руку, или обнять, или как-то дотронуться, любовь неуклюже затопляет паузу.

— Ты выглядишь окрепшим, — говорит Гарри.

— А чувствую я себя выпотрошенным.

— Как это вы сумели так быстро сюда добраться?

— Голосовали... вот только в Канзас-Сити сели на автобус и доехали до Индианаполиса. — Кролик в тех местах ни разу не был — его чадо проделало за него этот путь по дорогам его мечты. Тем временем мальчишка рассказывает: — Позапрошлую ночь мы провели в каком-то поле в западном Огайо, не знаю — где-то за Толидо. Жутковато было. Мы накурились до чертиков с парнем, который подвез нас в своем размалеванном фургоне, и, когда он нас выбросил, мы с Мелани понятия не имели, где находимся, — мы все время разговаривали, чтоб не поддаться панике. Да и земля оказалась куда холоднее, чем мы думали. Проснулись мы совсем замерзшие, но хоть деревья больше не казались осьминогами — и то хорошо.

— Нельсон, — восклицает Дженис, — с вами же могло Бог знает что случиться! С вами обоими!

— А кого бы это огорчило? — спрашивает парень. И, обращаясь к бабушке (а Бесси сидит замкнувшись в самом темном углу веранды), говорит: — Тебя бы это не огорчило, верно, бабуля, если бы я выпал из картины?

— Очень даже огорчило бы, — решительно отвечает она. — Дедушка ведь в тебе души не чаял.

— В основном-то люди очень даже неплохие, — говорит Мелани, чтобы успокоить Дженис. Голос у нее странный, булькающий, словно она только что справилась с приступом смеха, певучий. Такой, будто она думает о чем-то далеком, вызывающем радость. — Люди, с которыми трудно поладить, встречаются не часто, да и те ведут себя как надо, если не показывать страха.

— А что думает ваша мама по поводу того, что вы голосуете на дорогах? — спрашивает ее Дженис.

— Ей это неприятно, — говорит Мелани и смеется, тряся кудрями. — Но ведь она живет в Калифорнии. — И, посерьезнев, смотрит на Дженис светящимися, как лампы, глазами. — Право же, это разумно с экологической точки зрения: такая экономия горючего. Гораздо больше народу должно было бы так ездить, но только все боятся.

Роскошный лягушонок — вот как она видится Гарри, хотя сложена, насколько можно судить при этих размахайках, вполне по-человечески и даже недурна. Он говорит Нельсону:

— Если бы ты лучше распоряжался своими деньгами, ты мог бы всю дорогу ехать на автобусе.

— В автобусе такая скукотища и полно всяких чудиков. В автобусе же ничего *не узнаешь*.

— Это правда, — подпевает ему Мелани. — Я слышала жуткие истории от своих подружек о том, что с ними было в автобусах. Водители ничего не могут поделать, они же ведут машину, а если ты выглядишь, ну, понимаете, что у нас называется хиппи, они даже вроде бы натравливают на тебя парней.

— Да, в мире нынче небезопасно, — изрекает мамаша Спрингер из своего темного угла.

Гарри решает сказать свое отцовское слово.

— Я рад, что ты так поступил, — говорит он Нельсону. — Я горжусь тобой, тем, что ты сумел совершить такую поездку. Если бы я в твоем возрасте поездил побольше по Соединенным Штатам, я сейчас был бы куда лучшим гражданином. А я бесплатно съездил только в Техас, когда Дядя Сэм[[6]](#footnote-6) послал меня туда. Выпускали нас, — сообщает он Мелани, — только в субботу вечером на огромное поле, где пасутся коровы. Называлось это место Форт-Худ. — Он пережимает, слишком много говорит.

— Пап, — нетерпеливо обрывает его Нельсон, — теперь страна наша всюду одинаковая, куда ни поедешь. Везде все те же супермаркеты, везде продается одно и то же пластмассовое дерьмо. Смотреть просто не на что.

— Нельсон так разочаровался в Колорадо, — своим веселым тоном сообщает им Мелани.

— Сам штат мне понравился, просто не по душе пришлись эти жмоты, которые там живут. — Лицо какое-то обиженное, злое. Гарри знает, что он никогда не выяснит, что произошло в Колорадо, что заставило парня вернуться к нему. Совсем как в тех историях, что ребята приносят из школы: всегда не они, а кто-то другой начал драку.

— Дети ужинали? — спрашивает Дженис, входя в роль матери семейства. От этого ведь быстро отвыкаешь, если не практиковаться.

Мамаша Спрингер с неожиданно довольным видом объявляет:

— Мелани приготовила чудеснейший салат из того, что нашла в холодильнике и на дворе.

— Мне очень понравился ваш огород, — говорит Мелани, обращаясь к Гарри. — Эта маленькая калиточка. Все здесь так красиво растет.

Гарри никак не привыкнет к этой ее журчащей речи и манере пристально смотреть на тебя, точно она боится, как бы ты чего не упустил.

— Угу, — говорит он. — Но в известном смысле это действует гнетуще. А копченой колбасы у нас не осталось?

Нельсон говорит:

— Мелани — вегетка, пап.

— Вегетка?

— Вегетарианка, — поясняет малый наигранно жалобным голосом.

— А-а. Что ж, законом это не запрещено.

Малый зевает:

— Нам, пожалуй, пора на боковую. Мы с Мелани прошлую ночь поспали всего какой-нибудь час.

Дженис и Гарри застывают и переводят взгляд с Мелани на мамашу Спрингер.

Дженис говорит:

— Пойду приготовлю Нелли постель.

— Я ему уже постелила, — сообщает ее мамаша. — А другую постель приготовила в бывшей швейной. Я ведь сегодня почти целый день была одна — вы оба теперь, похоже, все больше и больше времени проводите в клубе.

— Как было в церкви? — спрашивает ее Гарри.

— Не скажу, чтоб так уж к душе, — нехотя признается мамаша Спрингер. — Когда начался сбор пожертвований, включили музыку, которую привезли из бруэрской церкви Святой Марии, там еще мужчина поет таким высоким голосом, точно женщина.

Это вызывает у Мелани улыбку.

— Альтом. Мой брат пел одно время альтом.

— Ну а потом что с ним стало? — спрашивает, зевая, Гарри. И высказывает предположение: — У него изменился голос.

Мелани с серьезным видом смотрит на него:

— О нет. Он стал играть в поло.

— Выходит, стал настоящим спортсменом.

— На самом-то деле он мне не родной брат, а сводный. Мой отец был женат до нас.

— Мы с бабулей доели копченую колбасу, пап, — сообщает Нельсон отцу. — Мы ведь не вегеты.

— А что же мне есть? — спрашивает Гарри у Дженис. — Из вечера в вечер морите меня голодом.

Дженис царственным жестом, которого десять лет назад у нее и в помине не было, отметает его жалобу:

— Не знаю. Я подумала, мы перекусим в клубе, а тут мама позвонила.

— Я не хочу спать, — говорит Мелани Нельсону.

— Может, показать ей немножко наши места? — предлагает Гарри. — А заодно вы могли бы купить и пиццу.

— На Западе, — говорит Нельсон, — почти не едят пиццу, у них сплошь эта жуткая мексиканская еда — тако и чили. Фу, гадость.

— Я позвоню в «Джордано», помнишь, где это? На Седьмой, через квартал от здания суда?

— Пап, я ведь всю жизнь прожил в этом чертовом округе.

— Мы оба прожили — ты и я. Кто-нибудь возражает против пиццы с перцами? Давайте закажем пиццу — я уверен, что Мелани еще хочет есть. Одну пиццу с перцами и одну смешанную.

— Господи, пап. Мы же без конца твердим тебе: Мелани — вегетарианка.

— Ой! Тогда я закажу одну простую. Ты не возражаешь против сыра, Мелани? Или грибов? Как насчет того, чтоб заказать пиццу с грибами?

— Я по уши сыта, — расплывается в улыбке девчонка и говорит еще медленнее, словно захлестнутая восторгом: — Но я бы с удовольствием прокатилась с Нельсоном — мне и в самом деле нравятся эти места. Такая пышная растительность, и дома все такие аккуратные.

Дженис, чтобы не упустить представившейся возможности, дотрагивается до плеча девчонки — на это она бы тоже прежде не отважилась.

— А вы видели, как у нас наверху? — спрашивает она. — Комната, куда мы обычно селим гостей, находится через коридор от маминой, вы будете пользоваться одной с нею ванной.

— О, я совсем не ожидала, что мне дадут отдельную комнату. Я думала, расстелю спальный мешок на диване и посплю. По-моему, в той комнате, куда мы сначала вошли, есть такой большой спальный диван?

— Вы не захотите спать на этом диване: в нем столько пыли, что вы обчихаетесь до смерти, — уверяет ее Гарри. — А комната наверху, честное слово, славная, если, конечно, вы не против делить ее с манекеном.

— О нет! — восклицает девчонка. — Право же, мне достаточно маленького уголка, чтобы никому не мешать: я ведь собираюсь найти себе работу — наняться подавальщицей.

Старуха, поерзав, переставляет кофейную чашку с колен на складной столик, придвинутый к ее креслу.

— Я многие годы сама себе все шила, но вот как только перешла на бифокальные очки, даже Фреду пуговицу не могла пришить.

— В любом случае к тому времени вы уже разбогатели, — говорит ей Гарри, вновь обретая способность шутить оттого, что история с раздельными постелями вроде бы прошла гладко. Старуха Спрингер, если сделать что-нибудь поперек нее, будет помнить это до конца жизни. В начале брака Гарри был жестковат с Дженис, и по тому, как поджимает губы Бесси, видно, что она до сих пор помнит обиду.

Он выскакивает с веранды на кухню к телефону. Пока «У Джордано» звонит звонок, Нельсон подходит сзади к Гарри и роется у него в карманах.

— Эй, — говорит Гарри, — что ты хочешь у меня украсть?

— Ключи от машины. Мама велела взять машину, что стоит у крыльца.

Гарри прижимает трубку ухом к плечу, выуживает ключи из левого кармана и, передавая их Нельсону, впервые смотрит ему в лицо. В этом лице нет ничего от него — разве что небольшой прямой нос и маленькая загогулина на одной из бровей, отчего кажется, что она ползет вверх, словно человек все время в чем-то сомневается. Удивительная штука — гены. Все так точно закодировано, что они могут взять и проявиться в такой вот крошечной загогулине. А у той девчонки осанка была совсем как у Рут, чуть припухшая верхняя губа и такие же, как у Рут, бедра — крепкие и одновременно мягкие, уютные.

— Только не раскатывай зря. Ничего нет хуже холодной пиццы.

— В чем дело? — спрашивает грубый голос на том конце провода: кто-то наконец снял трубку.

— Извините, ни в чем, — говорит Гарри и заказывает три пиццы: одну с перцами, одну смешанную и одну простую — на случай, если Мелани передумает. Он дает Нельсону десятидолларовую бумажку. — Надо бы нам поговорить, Нелли, когда ты немного отдохнешь. — Эти слова как бы сопутствуют деньгам. Нельсон молча берет банкноту.

Молодежь уезжает, и Гарри, вернувшись на веранду, говорит женщинам:

— Ну, все сошло не так уж и плохо, верно? Она, похоже, не возражает спать в швейной комнате.

— Похоже — еще не значит, что так, — сумрачно произносит мамаша Спрингер.

— А ведь это точно, — говорит Гарри. — Как она вам вообще, эта его подружка?

— Тебе кажется, что она его подружка? — спрашивает Дженис. Она наконец уселась с рюмкой в руке. Что у нее там налито, по цвету не установишь, что-то тошнотворное, пронзительно-красного цвета, какой бывала в старину крем-сода или жидкость в термометрах.

— А как же иначе? Они ведь вчера спали вместе в поле. Одному Богу известно, как они жили вместе в Колорадо. Может, в пещере.

— По-моему, у них теперь это не обязательно. Они пытаются дружить — у нас в молодости так не получалось. Дружба между мальчиками и девочками.

— Вид у Нельсона не слишком довольный, — непререкаемо заявляет мамаша Спрингер.

— А когда он был доволен? — спрашивает Гарри.

— Мальчиком он подавал большие надежды, — говорит бабушка.

— Бесси, как считаете, почему он вернулся домой?

Старуха вздыхает:

— Из-за какого-то огорчения. Из-за чего-то, что он не смог вынести. Только вот что я вам скажу. Если эта девчонка не будет вести себя под нашей крышей как надо, я уеду. Я говорила об этом после церкви с бедной Грейс Штул, и она очень даже будет рада, если я к ней переберусь. Она считает, что это может продлить ей жизнь.

— Мама, — говорит Дженис. — А ты не пропустишь «В кругу семьи»?

— Должны показывать ту часть, которую я уже видела, — ту, где бывшая приятельница Архи возвращается и просит у него денег. Теперь, летом, показывают одно только старье. Но я все же собираюсь посмотреть «Джефферсонов» в половине десятого, до передачи о Моисее, если не засну. Пойду-ка я, пожалуй, наверх, дам отдых ногам. Когда я стелила Нельсону постель, задела за кровать ногой и зашибла вену — теперь она у меня ноет. — Старуха, морщась, поднимается со своего места.

— Мама, — теряя терпение, вставляет Дженис, — я бы сама постелила эти постели, если бы ты подождала. Я поднимусь с тобой, посмотрю, как все там, в комнате для гостей.

Гарри следом за ними уходит с веранды (слишком там становится мрачно: бук стал черным, как чернила, мошки разбиваются о железные сетки) и направляется в столовую. Ему нравится смотреть снизу на ноги Дженис, когда она в своем теннисном костюме поднимается наверх помочь матери устроить все как надо. Надо будет побаловаться с ней как-нибудь ночью. Он мог бы тоже подняться наверх и помочь ей, но его привлекает необычно белое женское лицо на обложке июльского номера «К сведению потребителей», который он сегодня утром снес вниз, чтобы почитать в приятный час между отбытием мамаши в церковь и их с Дженис отъездом в клуб. Журнал по-прежнему лежит на ручке вольтеровского кресла, где по вечерам восседал старик Спрингер. Выкурить его оттуда было просто невозможно, а когда он отправлялся в ванную или на кухню выпить пепси, кресло пустовало. Сейчас Гарри опускается в него. Девчонка на обложке в белом котелке и в белоснежном смокинге, с вымазанным белилами лицом; оно у нее раскрашено красным, синим, белым, как у клоуна, а на приподнятой руке лежит сгусток клейкой белой массы косметического молочка. Сперма... все модели — проститутки, девчонки в порнофильмах мажут лицо спермой. «Бродвей пробует разное косметическое молочко», — сказано под ней, ибо номер за этот месяц посвящен косметическому молочку наряду с творогом (достаточно ли он очищен или только более или менее), кондиционерами, компактными стереопроигрывателями, консервными ножами (и зачем только изготовляют прямоугольные консервные банки?). Гарри решает дочитать материал про воздушные кондиционеры и обнаруживает, что если вы живете в районе повышенной влажности (а, как он полагает, именно в таком районе он и живет, во всяком случае, по сравнению с Аризоной), то кондиционеры почти всех марок имеют склонность капать — иные настолько, что их *не стоит устанавливать над внутренними двориками или дорожками*. Хорошо бы иметь внутренний дворик и утопленную ниже уровня земли гостиную, как у Уэбба Мэркетта. У Уэбба и этой забавной маленькой вертушки Синди всегда такой вид, будто они только что вылезли из душа. Впрочем, Кролик доволен и тем, что имеет. Вот что он любит — домашний покой. Чтобы женщины деловито сновали над его головой, а за окном, словно вода о берег озера, билась в стекла летняя ночь. Он успевает прочесть про компактные стереопроигрыватели и даже начинает читать статью о ссудах на приобретение автомобилей, но тут Нельсон и Мелани возвращаются с тремя перепачканными картонками пиццы. Гарри быстро срывает с носа очки — как ни странно, в них он чувствует себя почему-то голым.

Лицо у мальчишки просветлело и даже, можно сказать, повеселело.

— Ух ты, — говорит он отцу, — а мамашкин «мустанг», когда надо, во дает! Какая-то обезьяна прямо из джунглей в «кадиллаке» этак шестьдесят девятого года вовсю жгла мотор, но я ее мигом обогнал. Так он сидел у меня на хвосте всю дорогу до моста через Скачущую Лошадь. Страшновато было.

— Вы возвращались таким путем? Неудивительно, что у вас ушло на это столько времени.

— Нельсон показывал мне город, — сообщает Мелани со своей поющей улыбкой, уходя с плоскими картонками на кухню и оставляя за собой в воздухе мелодичный след. У нее уже появилась эта приятная прямая осанка, присущая официанткам.

Гарри кричит ей:

— Этот город знавал лучшие дни!

— По-моему, он прекраси-ивый, — долетает ее ответ. — Люди красят свои дома в разные цвета, совсем как на Средиземноморье.

— Это испашки, — говорит Гарри. — Испашки и итальяшки.

— Пап, а ты, оказывается, полон предрассудков. Тебе бы надо больше путешествовать.

— Да нет, я это в шутку. Я всех люблю, особенно когда окна в моей машине заперты. — И добавляет: — «Тойота» собиралась оплатить нам с мамой поездку в Атланту, а потом какой-то агент под Гаррисбергом побил нас по продаже, и поехал он. Это была районная премия. Мне было досадно, потому что меня всегда интересовал юг — люблю жару.

— Не будь таким скупердяем, пап. Возьми себе отпуск и съезди за свои денежки.

— Отпуск — да нас же держит эта хибара в Поконах. — Радость и гордость старика Спрингера.

— Я прослушал в Кенте курс социологии. Так вот, ты жмотничаешь потому, что рос в бедности, во времена Великой депрессии. Ты этим травмирован.

— Да нет, мы не так уж плохо жили. Папка получал приличные деньги: печатники ведь всегда имели работу. А вообще кто говорит, что я жмот?

— Ты должен Мелани уже три доллара. Мне пришлось взять у нее.

— Ты хочешь сказать, что эти три пиццы стоили тринадцать долларов?

— Мы еще прихватили пару картонок пива по шесть бутылок.

— За ваше пиво вы с Мелани сами и платите. Мы тут пива никогда не пьем. Слишком от него толстеешь.

— А где мама?

— Наверху. И вот еще что. Не оставляй мамину машину перед домом со спущенным верхом. Если даже нет дождя, с кленов капает сок, и сиденья становятся липкими.

— Я думал, может, мы еще куда съездим.

— Ты шутишь. Ты же, по-моему, говорил, что прошлую ночь вы всего час спали.

— Пап, кончай баланду. Мне скоро двадцать три.

— Двадцать три года, а ума ни на грош. Давай сюда ключи. Я поставлю «мустанг» в гараж.

— *Ма-ам!* — кричит мальчишка, запрокинув кверху голову. — Папа не дает мне твою машину!

Дженис спускается вниз. Она переоделась в платье цвета мяты и выглядит усталой. Гарри говорит ей:

— Я только попросил его поставить машину в гараж. От сока с этого клена у нас все сиденья липкие. А он говорит, что хочет опять куда-то ехать. Господи, ведь уже почти десять.

— Сок с кленов в этом году уже перестал течь, — говорит Дженис. Нельсону же она говорит только: — Если ты никуда не собираешься больше ехать, лучше поднять у машины верх. Две ночи назад у нас была страшная гроза. Даже с градом.

— А почему, ты думаешь, — спрашивает ее Кролик, — верх у твоей машины весь черный и в пятнах? Потому что на него капает сок или черт знает что, и брезент потом не отчистить.

— Гарри, это же не твоя машина, — говорит ему Дженис.

— Пицца! — кричит Мелани из кухни, голос у нее звонкий и переливчатый. — Mangiamo, prego![[7]](#footnote-7)

— Папка у нас совсем на машинах помешался, верно? — говорит Нельсон, обращаясь к матери. — Они стали для него прямо восьмым чудом света с тех пор, как он их продает.

Гарри спрашивает жену:

— А мамаша? Она будет есть?

— Мама говорит, что ей нездоровится.

— Вот те на! Опять прихватило.

— Сегодня у нее было столько волнений.

— У меня тоже сегодня было много волнений. И еще мне было заявлено, что я жмот и считаю машины восьмым чудом света...

— Ни к чему быть таким вредным.

— А кроме того, Нельсон, я положил мяч в восемнадцатую лунку, ты ведь знаешь, ту, что с длинным пролетом? Так размахнулся, что мяч перелетел через ручей и покатился вправо, а потом я легко попал в пятую. У тебя еще сохранились твои клюшки? Надо нам вместе играть. — И он по-отечески обнимает парня за плечи.

— Я продал их одному малому в Кенте. — Нельсон делает шаг в сторону, быстро высвобождаясь из объятий папаши. С моей точки зрения, это самая глупая на свете игра.

— Расскажи нам, как ты занимаешься дельтапланеризмом, — говорит его мать.

— Это здорово. Ни звука. Ветер несет тебя, а ты ничего не чувствуешь. Некоторые ребята накачиваются до того, как отправиться в путь, но это опасно: может показаться, что ты в самом деле летишь.

Мелани красиво расставила тарелки и выложила пиццу из картонок на блюда.

— Мелани, — спрашивает Дженис, — ты тоже занимаешься планеризмом?

— О нет, — говорит девушка. — Я бы со страху умерла. — Она хихикает, но блестящие шоколадные глаза смотрят твердо. — Нельсон занимался этим с Пру. Я никогда бы не отважилась.

— Кто это Пру? — спрашивает Гарри.

— Ты ее не знаешь, — говорит ему Нельсон.

— Я знаю, что не знаю. Я знаю, что я не знаю ее. Если бы я ее знал, я бы не спрашивал.

— Слишком все мы, по-моему, злые и раздраженные, — говорит Дженис, беря кусок пиццы с перцами и кладя на тарелку.

Нельсон тут же решает, что это для него.

— Скажи папе, чтобы он перестал на меня наседать, — жалобно тянет он, осторожно опускаясь на стул, будто только что слез с мотоцикла и у него все болит.

В постели Гарри спрашивает Дженис:

— Как по-твоему, что грызет парня?

— Не знаю.

— А ведь что-то грызет.

— Да.

Они раздумывают над этим под звуки телевизора, включенного в комнате мамаши Спрингер, — судя по библейски звучащим голосам, крикам, грохоту и музыке, порой взмывающей крещендо, там переживают Моисея. Старуха засыпает, не выключив телевизор, и иной раз он крякает всю ночь, пока Дженис на цыпочках не пройдет в комнату и не повернет ручку. Мелани отправилась спать в комнату с портновским манекеном. Нельсон поднялся было наверх посмотреть с бабушкой «Джефферсонов», но к тому времени, когда родители, в свою очередь, поднялись наверх, он уже ушел к себе, не пожелав никому спокойной ночи. Сплошная болячка. Интересно, думает Кролик, эта провинциальная молодая пара приедет к ним завтра в магазин или нет? Бледное круглое лицо девчонки и экран телевизора, светящийся неизвестно для кого в комнате мамаши Спрингер, сливаются воедино перед его мысленным взором под могучие звуки священных песнопений. Дженис спрашивает:

— Как тебе понравилась девчонка?

— Крошка Мелани? Скрытная. Неужели они все теперь такие, это поколение, точно их шмякнули камнем по башке, а они считают, что ничего приятнее в их жизни не было?

— По-моему, она старается понравиться. Нелегко это, наверное, приехать к приятелю в дом и суметь найти себе в нем место. Я бы с твоей матерью и десяти минут не продержалась.

А она ведь понятия не имеет, сколько яда вылила на нее мама.

— Мама была, как я, — говорит Гарри. — Не любила жить в тесноте. — Новые люди в доме и призрак старика Спрингера сидит внизу в своем вольтеровском кресле. — А они не производят впечатления очень любящей пары, — добавляет он. — Или это так теперь принято? Не нежничать.

— Я думаю, они не хотят нас шокировать. Они же знают, что им надо поладить с мамой.

— Как и со всеми остальными.

Дженис размышляет над этим. Слышится скрип кровати и тяжелые шаги за стеной, затем щелчок, и возбужденные крики по телевизору умолкают. Это Берт Ланкастер как раз начал распаляться. А зубы какие — неужели они у него собственные? У всех звезд надеты коронки. Даже у Гарри — сколько он мучился со своими зубами, а теперь они у него так уютненько, безболезненно и безопасно сидят в футлярчиках из золотого сплава, которые обошлись ему по четыреста пятьдесят долларов каждый.

— Она все еще бродит, — говорит Дженис. — Никак не уляжется. Взвинтила себя. — Она так твердо это произносит — все больше и больше становится похожа на мать. Какое-то время наша наследственность сидит в нас скрыто, а потом вдруг вылезает наружу. Откуда-то, где лежала, свернувшись клубком.

Под порывом ветра — как раньше, перед внезапно пролившимся дождем — возникают тени листьев дуба, отбрасывая свои изрезанные светом фонарей отпечатки туда, где потолок встречается с дальней стеной.

Три машины проносятся одна за другой, и в груди Гарри ширится и растет ощущение, что за окном несется мимо бурная жизнь, а он лежит в полной безопасности в этой фантастически удобной постели. Он — в постели, а зубы его — в коронках.

— Она у нас отличная старушенция, — говорит он.

— Она выжидает и наблюдает, — говорит Дженис зловещим тоном, показывающим, что она в противоположность ему далека от сна. — Ну, — спрашивает она, — а когда до меня дойдет очередь?

— Очередь? — Кровать слегка поворачивается. Ставрос ждет его у большой витрины, залитой утренним светом, в котором танцуют пылинки. «Ты же сама этого хотела».

— Прошлой ночью ты кончил, судя по тому, в каком виде я была утром. И я, и простыня.

Снова налетает ветер. Черт бы его подрал. Машина-то ведь стоит на улице с опущенным верхом.

— Душенька, у меня был такой длинный день. Горючее кончилось. Извини.

— Ты прощен, — говорит Дженис. — Правда, с трудом. — И добавляет: — Я ведь могу подумать, что ты на меня больше не реагируешь.

— Да нет, что ты, как раз сегодня в клубе я думал, насколько ты аппетитнее большинства этих шлюх — этой старухи Тельмы в ее мини-юбочке и этой ужасной приятельницы Бадди.

— А Синди?

— Не мой топ. Слишком пышна.

— Врун.

*Вот и получил по заслугам.* Он до смерти устал, однако что-то удерживает от погружения в черноту сна, и в этом полузабытьи до или сразу после того, как погрузиться в сон, он слышит легкие, более молодые шаги в коридоре, как бы направляющиеся куда-то.

Мелани держит слово: она устраивается официанткой в новом ресторане в центре, прямо на Уайзер-стрит, — собственно, ресторан старый, только название новое: «Блинный дом». Прежде это было кафе «Барселона» — расписной кафель и паэлья[[8]](#footnote-8), чугунные решетки и гаспачо[[9]](#footnote-9), Гарри время от времени обедал там, но по вечерам кафе заполняли не те люди — хиппи и латиноамериканцы из южной части города, приходившие сюда с семьями, а не белые воротнички из Западного Бруэра и с холмов вдоль бульвара Акаций, без которых ресторану в этом городе не прожить. В Бруэре никогда не чувствовалось присутствие испанцев или итальянцев, во всяком случае, со времени Кармен Миранды и всех этих диснеевских фильмов. Кролик вспоминает, что на Уоррен-авеню был клуб «Кастаньет», но единственным испанским в нем было название, а также оборочки на оранжевой форме официанток. До того, как «Блинный дом» был «Барселоной», он многие годы существовал под названием «Отбивные Джонни Фрая», где днем и вечером подавали добротную обильную еду для грузных старорежимных немцев, которые от обжорства давно уже сошли в могилу вместе с поглощенными ими тоннами отбивных и кислой капусты и реками пива «Подсолнух». Нынче, под новой вывеской, бывшее заведение Джонни Фрая процветает: новая раса поджарых канцелярских служащих выходит в центре из банков, государственных учреждений и опустевших универмагов, пересекает в полдень лес, который городские проектировщики устроили на Уайзер-сквер, рассаживается за маленькими столиками с кафельной крышкой, оставшимися от кафе «Барселона», и поглощает прославленные блины с той или иной начинкой. Даже когда едешь из кинотеатра, расположенного в одном из торговых центров, видишь, как они сидят там при свечах, сидят парочками, пригнувшись друг к другу, и с дьявольской жадностью поедают блины — молодежь, идущая в гору: парни в свободных пиджаках и рубашках с отложными воротничками и девчонки в обтягивающих платьях, липнущих к телу от электростатики, — в то время как еще с десяток таких же стоят в вестибюле, дожидаясь, пока их посадят. Наверное, это связано с диетой, думает Гарри. Люди стремятся меньше есть, а блины — это звучит как закуска, тогда как назови эти штуки оладьями, никто бы в это заведение не заглянул, кроме детей да двухтонных матрон. Удивительное дело, думает Гарри, какое появилось новое племя потребителей, причем с деньгами. Мир движется к своему концу, однако возникают все новые люди, слишком тупые, чтобы это понимать, и ведут себя так, будто праздник только начался. «Блинный дом» имеет такой успех, что его владельцы купили почтенное кирпичное здание рядом и превратили бывшие складские помещения в залы, оставив нетронутой лишь старую табачную лавку, где у кассы вместо фонаря по-прежнему горит маленькая газовая горелка. Для этих новых залов «Блинного дома» и потребовались дополнительные официантки. Мелани работает то в обеденную смену — с десяти до шести, — то с пяти часов вечера до часу ночи. Однажды Гарри взял с собой Чарли и отправился туда обедать, чтобы тот посмотрел на новую женщину, вошедшую в жизнь семьи Энгстром, но получилось не очень удачно: увидев отца Нельсона, да еще с каким-то чужим мужчиной, Мелани, красная от смущения, стала их обслуживать среди обеденной толчеи.

— Недурна, — заметил Чарли в тот неудачный день, глядя вслед отошедшей от их столика молодой женщине. В «Блинном доме» официанток одевают в малиновые мини-платья с большим бантом сзади, который колышется на ходу.

— Ты так считаешь? — заметил Гарри. — Я — нет. Это-то меня и удивляет. Что она на меня не действует. Ведь девчонка живет с нами уже две недели, и я бы должен лезть на стенку.

— А ты не староват, чтобы на стенку-то лезть, шеф? Так или иначе, определенные женщины не действуют на определенных мужчин. Вот почему они собирают столько моделей.

— Как говорится, все при ней. И спереди — дай Бог.

— Я заметил.

— Самое забавное, что она и на Нельсона вроде бы не действует. Они как приятели: когда она дома, они часами сидят у него в комнате, ставят его старые пластинки и разговаривают Бог знает о чем, иногда, когда они выходят оттуда, такое впечатление, что он плакал, но спит она, насколько мы с Джен можем судить, в своей комнате, куда мы ее поместили, уступив старухе Спрингер, в ту первую ночь, хотя сами были уверены, что долго это не продержится. А сейчас Бесси вроде бы даже к ней привязалась — прежде всего потому, что она помогает по дому куда больше Дженис, так что теперь, я думаю, старуха не станет цепляться к Мелани, где бы она ни спала.

— Не может быть, чтобы у Нельсона ничего с ней не было, — не отступался Ставрос, решительно и слегка угрожающе ставя руки на стол ладонями вместе, большими пальцами вверх.

— Казалось бы, да, — соглашается Кролик. — Но эти ребята нынче такие скрытные. Из Колорадо потоком идут письма в длинных белых конвертах, и Нельсон с Мелани тратят немало времени, отвечая на них. На почтовом штемпеле стоит «Колорадо», а обратный адрес на конверте — какой-то деканат в Кенте. Может, Нельсона вышибли оттуда.

Чарли едва ли его слышит.

— Может, звякнуть ей, раз Нельсон на нее плюет?

— Перестань, Чарли. Я же не сказал, что он на нее плюет, просто я не чувствую, чтоб дом ходил ходуном. Не думаю, чтобы они занимались любовью в «мустанге» — сиденья там как-никак виниловые, а эти ребята нынче слишком избалованны. — Он отхлебнул «Маргариты»[[10]](#footnote-10) и вытер соль с губ. Бармен здесь остался со времен «Барселоны»; должно быть, в погребе у них еще полно текилы[[11]](#footnote-11).

— Сказать по правде, я не могу себе представить, чтобы Нельсон с кем-нибудь спал — он такой кислятина.

— Он пошел в деда. А ведь Фред был ох какой ходок, так что не обманывайся. Такую волю давал рукам — не мудрено, что у нас столько конторских девчонок сменилось. Так откуда, ты говоришь, она?

— Из Калифорнии. Отец ее, похоже, бездельник, живет теперь в Орегоне, а раньше был юристом. Ее родители разошлись некоторое время назад.

— Далеко она заехала от дома. Наверняка ей нужен друг более зрелого возраста.

— Ну так я рядом — стоит только перейти коридор.

— Ты же член семьи, чемпион. Ты не в счет. А кроме того, ты эту курочку не оценил, и она, безусловно, это чувствует. Женщины — они такие.

— Чарли, но ты же ей в отцы годишься.

— А-а. Эти женщины средиземноморского типа — им нравится, когда грудь в седине.

— А как обстоят дела с твоим паршивым будильником?

Чарли улыбается и опускает ложку в холодный шпинатовый суп, который принесла Мелани.

— Тикает не хуже других.

— Чарли, ты рехнулся! — восторженно произнес Кролик, уже не впервые за долгие годы содружества восторгаясь более цепкой, как ему кажется, хваткой Чарли, его умением выделять главное в жизни, чего Гарри никак не может для себя установить.

— Значит, мы живы, если способны рехнуться, — сказал Чарли, снова отхлебнув супа, и, чтобы лучше его распробовать, закрыл глаза за темными стеклами очков. — Слишком много мускатного ореха. Может, Дженис пригласила бы меня — я ведь уже давно у вас не был. Чтобы я, так сказать, мог прощупать почву.

— Послушай, не стану я тебя приглашать, чтобы ты соблазнил приятельницу моего сына.

— Ты ведь сказал, что она не такая уж близкая ему приятельница.

— Я просто сказал, что они ведут себя как-то не так, — но откуда я знаю?

— У тебя неплохой нюх. Я верю тебе, чемпион. — И он слегка переменил тему: — Что это Нельсон повадился к нам в магазин?

— Не знаю, с тех пор как Мелани поступила на работу, ему делать особенно нечего — вот и торчит дома вместе с Бесси или ездит с Дженис в клуб и плавает там, пока глаза не покраснеют от хлорки. Он поискал работу в городе, но безуспешно. Думаю, не слишком старался.

— Может, мы могли бы пристроить его у нас?

— Я этого не хочу. Он и так уж слишком уютно, здесь устроился.

— А в колледж он вернется?

— Не знаю. Боюсь и спрашивать.

Ставрос осторожно опустил ложку.

— Боишься спрашивать, — повторил он. — И при этом ты платишь по счетам. Если бы мой отец когда-нибудь сказал, что боится меня о чем-то спросить, я думаю, крыша бы рухнула.

— Ну, может, «боюсь» не то слово.

— Но ты же сказал — «боюсь». — Он поднял глаза и, прищурившись, точно от боли, стал рассматривать сквозь толстые стекла очков Мелани, а она, взмахнув малиновыми волнами, как раз ставила перед Гарри crepe con zucchini[[12]](#footnote-12), а перед Чарли — crêpes à la champignons et oignons[[13]](#footnote-13).

После нее облачком остался запах овощей, точно след духов от ее воланов.

— Недурна, — сказал Чарли, имея в виду не еду. — Очень даже недурна.

Кролик же по-прежнему ничего в ней не видел. Он попытался представить себе ее тело без этих воланов и не ощутил ничего, кроме какого-то страха — точно увидел вынутый из ножен кинжал или смотрел на безжалостную машину, к которой его мягкому телу лучше не приближаться.

Тем не менее он счел необходимым сказать Дженис:

— Мы что-то давно не приглашали Чарли.

Она с любопытством смотрит на него.

— Ты хочешь, чтобы мы его пригласили? Тебе что, мало видеть его в магазине?

— Да нет, просто мы давно не виделись с ним в домашней обстановке.

— Мы с Чарли в свое время достаточно навидались.

— Послушай, малый живет вместе с мамочкой, которая с каждым днем становится все большей для него обузой, так и не женился, говорит только о своих племянницах и племянниках, но я не думаю, чтобы они платили ему тем же...

— Хватит, можешь мне его не продавать. Я-то с *удовольствием* встречусь с Чарли. Просто, должна тебе сказать, странновато, что ты на этом настаиваешь.

— А почему, собственно? Из-за той старой истории? Я на него не в претензии. Он же обтесал тебя.

— Покорно благодарю, — сухо говорит Дженис.

Не без чувства вины он старается прикинуть, сколько уже ночей не удовлетворял ее. В эти июльские вечера хочется выпить лишнюю кружку пива, глядя на то, как сражаются «Филадельфийцы», ну и потом в постели чувствуешь жуткую усталость, мечтаешь лежать пластом и начинаешь понимать, почему мужчины охотно готовы умереть, перейти в вечный покой, который избавит их от необходимости что-то вытворять. Когда он несколько дней не притрагивается к Дженис, она начинает отчаянно размахивать руками, и память о том, как он кончает, только усугубляет ее истеричность.

— Так когда же? — спрашивает она.

— Когда хочешь. Как Мелани работает в эту неделю?

— А какое это имеет отношение к Чарли?

— А такое — чтобы он мог с ней познакомиться как надо. Я водил его обедать в этот «Блинный дом», и, хоть она старалась быть приветливой, ее раздирали на части, и знакомства не получилось.

— Что значит «не получилось»?

— Не донимай меня — сегодня так чертовски сыро. Я все думаю предложить мамаше купить пополам новый кондиционер, я читал, что марка «Фридрих» самая лучшая. А под «не получилось» я имел в виду, что обычные человеческие отношения не установились. Чарли без конца донимает меня не слишком приятными вопросами про Нельсона.

— Какими, например? Какие Нельсон может вызвать неприятные вопросы?

— Ну, к примеру, собирается ли он возвращаться в колледж и почему он то и дело появляется в магазине.

— А почему он не должен появляться в магазине? Это как-никак магазин его деда. Да и потом, Нельсон всегда любил машины.

— Во всяком случае, любил на них раскатывать. «Мустанг» стал дребезжать еще сильнее. Ты не заметила?

— Не заметила, — отрезает Дженис, подливая себе кампари. Решив сократить потребление спиртного, она поставила себе за правило летом пить кампари с содовой, вот только содовую она забывает подливать. — Он привык к ровным дорогам Огайо, — добавляет она.

В Кенте Нельсон купил у одного студента-выпускника старый «сандерберд», а когда надумал ехать в Колорадо, продал его за полцены. Вспомнив о таком беспардонном отношении к родителям, Кролик почувствовал, что сейчас задохнется. Он говорит жене:

— У них там тоже предельная скорость пятьдесят пять миль в час. Несчастная страна пытается экономить бензин, чтобы арабы не превратили наши доллары в гроши, а этот твой крошка делает пятьдесят пять миль в час на второй скорости.

Дженис понимает, что он хочет вывести ее из себя, и стремительно, точно в ней повернули выключатель — совсем как в ускоренной съемке, — поворачивается к нему спиной и устремляется в столовую к телефону.

— Я приглашу его на будущую неделю, — говорит она. — Если ты после этого станешь меньше ко мне цепляться.

Чарли всегда приносит цветы — на этот раз в зеленом бумажном конусе, который он вручает мамаше Спрингер. Он столько лет гнул спину перед Спрингером, что знает, как ублажить его вдову. Бесси принимает цветы почти без улыбки: она ведь из Кернеров и никогда не одобряла того, что Фред нанял грека, тем более что ее предубеждение оправдалось, когда Чарли завел роман с Дженис, имевший такие ужасные последствия, да еще в такое время, когда американцы высадились на Луну. А ведь на Луну люди не так часто отправляются.

Цветы развернуты — это оказались розы, бархатные, как шкура арабского скакуна. Дженис, воркуя, ставит их в вазу. Она принарядилась — надела кокетливое летнее платье в маргаритках, обнажающее ее загорелые плечи, и из-за жары уложила длинные волосы в высокую прическу, чтобы напомнить всем, какая у нее стройная шея, и одновременно показать золотое ожерелье из крошечных чешуек, которое Гарри подарил ей к двадцатилетию свадьбы три года тому назад. Заплатил он тогда за него девятьсот долларов, а сейчас оно стоит, наверное, тысячи полторы — золото до чертиков подорожало. Дженис приближает лицо к Чарли и целует его — не в щеку, а в губы, таким путем дает знать тем, кто наблюдает за ними, что эти два тела сливались воедино.

— Чарли, ты слишком похудел, — говорит Дженис. — Ты что, совсем не ешь?

— Уминаю за обе щеки, Джен, но к костям почему-то ничего не прилипает. А ты вот выглядишь здорово.

— Мелани всех нас заставила следить за здоровьем. Правда, мам? Проросшее зерно, и побеги люцерны, и чего только не напридумывала. Йогурт.

— Честное слово, я чувствую себя лучше, — изрекает Бесси. — Только не знаю отчего — то ли от пищи, то ли оттого, что в доме стало больше жизни.

Тупые пальца Чарли продолжают лежать на загорелой руке Дженис. Кролику это кажется таким же естественным, как любое явление природы — японский жук на листке или два сучочка, сцепившиеся на ветру. Потом он вспоминает — если брать совсем уж глубоко, — какое ощущение рождает любовь, когда всем естеством чувствуешь нечто огромное, словно сталкиваются планеты.

— Мы все слишком много едим сахара и соли, — раздается радостный звонкий голосок Мелани, кажется, он никак не связан с нашей грешной землей, словно нежданная благодать, снизошедшая свыше.

Чарли резко снимает руку с локтя Дженис — он, точно воин, стоит по стойке «смирно»; его профиль в полумраке этой комнаты, через которую непременно проходят все гости, блестит — низкий лоб, выпирающая челюсть, на обтянутых кожей скулах ходят желваки. Он выглядит моложе, чем в магазине, — возможно потому, что здесь хуже свет.

— Мелани, — говорит Гарри, — помнишь Чарли — мы еще с ним обедали у тебя на днях, да?

— Конечно. Он ел грибы и каперсы.

— Луковички, — поправляет Чарли, все еще дожидаясь момента, когда можно будет с ней поздороваться.

— Чарли — моя правая рука, хотя он, наверное, сказал бы, что это я его правая. Он продает машины в «Спрингер-моторс» с тех пор, как... — Каламбур не приходит на ум.

— С той поры, когда их еще называли каретами без лошади, — говорит Чарли и пожимает руку Мелани. А Гарри, наблюдая это рукопожатие, удивляется, какая у нее молодая и узкая рука. Мы все так расползаемся. Ноги у старух — это же точно разбухшие батоны хлеба, прочерченные венами, а Мелани, если не считать этого запредельного взгляда, вся такая крепкая, точно плотно связанный носок. Чарли тотчас разворачивает наступление: — Как поживаете, Мелани? Как вам тут у нас нравится?

— Мило, — улыбается она. — Даже своеобразно.

— Гарри говорил мне, что вы дитя Западного побережья.

Она смотрит куда-то вверх, в далекое прошлое — так заводит глаза, что под радужной оболочкой видны белки.

— О да, я родилась в Приморском округе. Мама живет теперь в местечке, которое называется Кармел. Это южнее.

— Я слышал это название, — говорит Чарли. — Оттуда вышло несколько звезд рока.

— Да нет, не думаю... Разве что Джоан Баэз, но она скорее традиционная певица. Мы живем на нашей бывшей даче.

— Почему же?

Вопрос застает ее врасплох, и она сообщает:

— Мой папа работал в Сан-Франциско юристом в одной корпорации. Потом они с мамой разошлись, и нам пришлось продать дом на Пасифик-авеню. Отец теперь в Орегоне учится на лесничего.

— Печальная, можно сказать, история, — говорит Гарри.

— Папа так не считает, — сообщает Мелани. — Он живет с очаровательной девушкой, наполовину индианкой из племени якима.

— Назад к природе, — изрекает Чарли.

— Только в этом направлении и можно двигаться, — говорит Кролик. — Берите соевые бобы.

Это, конечно, шутка, ибо он протягивает им мисочку с жареными кешью — орешками, которые он вдруг взял и купил в бакалейной лавке рядом с государственным винным магазином четверть часа тому назад, когда ездил в дребезжащем «мустанге» запастись всем необходимым для сегодняшней компании. Его чуть не отпугнула цена на банке — 2,89 доллара, на тридцать центов дороже, чем последняя, которую он помнил, и он уже протянул руку к земляным орешкам. Но даже и они стоят больше доллара — 1,09 доллара, а ведь когда он был мальчишкой, можно было купить целый мешок неочищенных орехов за четвертак, вот он и подумал: «Какого черта, зачем же быть тогда богатым?» — и взял банку с кешью.

Он обижается, когда Чарли, взглянув на мисочку, протестующе поднимает ладонь и не берет ни одного орешка.

— Без соли, — уговаривает его Гарри. — Протеина хоть отбавляй.

— Никакой мерзости никогда не ем, — говорит Чарли. — Доктор говорит — ни-ни.

— Мерзости?! — пытается возразить Гарри.

Но Чарли всецело занят Мелани.

— Каждую зиму я на месяц отбываю во Флориду. В Сарасоту, что на берегу залива.

— И какое это имеет отношение к Калифорнии? — встревает в разговор Дженис.

— Такой же рай, — говорит Чарли, поворачиваясь к ней спиной и обращаясь уже прямо к Мелани. — Вот это мне по душе. В туфлях песок, день за днем носишь одни и те же старые обрезанные джинсы. Это на заливе. А то побережье, где Майами, я терпеть не могу. В Майами меня может занести только в чреве крокодила, если он проглотит меня. Там они тоже есть — вылезают из каналов прямо к тебе на лужайку и сжирают твою любимую собачку. Частенько случается.

— Никогда не была во Флориде, — произносит Мелани, и глаза у нее еще больше затуманиваются, хотя, казалось бы, такое просто невозможно.

— Надо съездить туда, — говорит Чарли. — Вот где живут настоящие люди.

— А мы, по-твоему, не настоящие? — спрашивает Кролик, чтобы поддеть Чарли и потрафить Дженис. Ей ведь это, наверное, неприятно. Он зажимает орех в зубах и осторожно разгрызает его, продлевая удовольствие. Вот появилась первая трещинка — язык нащупывает ее, слюна прихлынывает. Он обожает орехи. Они не пачкают зубы — не то что мясо. В райском саду ели орехи и фрукты. Жареный орех немножко обжигает. Кролик предпочитает соленые орешки, но покупает этот сорт из желания угодить Мелани — она просверлила дырку ему в мозгу разговорами про химикалии. И все же при поджаривании наверняка используются какие-то химикалии — нынче на Земле все вредное, что бы ни съел. Дженис, должно быть, терпеть не может такие орешки.

— Живут там не только старики, — продолжает Чарли, по-прежнему обращаясь к Мелани. — Там полно и молодежи, которая ходит нагишом. Потрясающе.

— Дженис, — окликает дочь миссис Спрингер (а получилось у нее «Ченнис»). — Пойдемте на веранду, предложи напитки. — И, обращаясь к Чарли, говорит: — Мелани приготовила чудесный фруктовый пунш.

— А джина там достаточно? — спрашивает Чарли.

Любит Гарри этого малого, хоть он и распустил хвост перед Мелани или Дженис, и, когда они выходят на веранду и усаживаются в алюминиевые кресла со стаканами в руках, а Дженис на кухне следит, чтобы не пригорела еда, он спрашивает Чарли, чтобы дать ему блеснуть:

— Как тебе понравилась речь Картера по поводу энергетического кризиса?

Чарли склоняет голову к розовощекой девчонке и говорит:

— По-моему, она была такая жалкая. Он прав. Я тоже переживаю кризис доверия. К нему.

Никто не смеется, кроме Гарри. Чарли перебрасывает мяч:

— А что вы думаете об этой речи, миссис Спрингер?

Старуха, призванная на авансцену, разглаживает юбку и оглядывает ее, словно в поисках крошек.

— По-моему, им руководят самые добрые христианские чувства, хотя Фред иногда говорил, что демократы — это орудие профсоюзов. Всегда и все. Сиди там, наверху, бизнесмен, может, он бы лучше придумал, как бороться с инфляцией.

— Так ведь Картер же бизнесмен, Бесси, — говорит Гарри. — У него плантации земляных орехов. Торговый оборот у него больше, чем у нас.

— А мне его речь показалась грустной, — неожиданно произносит Мелани и нагибается, так что ее свободная цыганская кофта обнажает ложбинку меж не стянутых бюстгальтером грудей, этакий коридор, по которому течет воздух, — особенно когда он сказал, что люди в нашей стране стали впервые думать о том, что завтрашний день будет хуже, а не лучше.

— Это грустно для таких цыплят, как вы, — говорит Чарли. — А для старых кляч вроде нас в любом случае ничего хорошего не предвидится.

— Ты так считаешь? — спрашивает искренне удивленный Гарри. Ему-то кажется, что жизнь только начинается, перед ним наконец открылась ясная перспектива: ведь у него появился капиталец, и вечно подавляемый страх, который не давал ему ни минуты покоя, слегка поулегся. Да и нужно ему теперь меньше. Стремление к свободе, которое он всегда считал движущим фактором, усыхает, как ручеек в пустыне.

— Конечно, я так считаю, — говорит Чарли, — а как считает эта милая девушка? Что спектакль окончен? Как может она так думать?

— Я считаю... — начинает Мелани. — Ох, сама не знаю... Бесси, помогите мне.

Гарри не знает, что она называет старуху по имени. Ему потребовались годы совместного проживания под одной крышей, чтобы не чувствовать себя при ней скованно, причем перелом в их отношениях произошел лишь после того, как он однажды случайно вошел к ней в ванную, когда она была там, а их ванная была занята Дженис.

— Скажи, что у тебя на уме, — советует пожилая женщина молодой. — Ведь все говорят откровенно.

Мелани внимательно разглядывает их своими блестящими глазищами, потом возводит их к небесам, совсем как святые на картинках.

— Я считаю, можно привыкнуть обходиться без того, в чем мы начинаем испытывать недостаток. Мне, к примеру, не нужны электрические ножи и все такое прочее. Меня куда больше беспокоит судьба улиток и китов, чем истощение запасов железа и нефти. — Она делает упор на последнем слове и смотрит на Гарри. Точно он особо связан с нефтью. А он решает, что его раздражает в ней эта манера вечно как бы гипнотизировать его. — То есть я хочу сказать, — продолжает она, — что, пока в мире что-то произрастает, нет предела возможностям. — Ее мурлыканье еще долго звучит на погружающемся в темноту крыльце. Чужачка. Простофиля.

— Словом, этакий огромный огород, — говорит Гарри. — Куда, к черту, запропастился Нельсон? — Раздражает его, видимо, то, что эта девчонка точно из другого мира и в ее присутствии его собственный мир становится совсем жалким. Он испытывает большее влечение даже к толстой старой Бесси. По крайней мере в ее голосе звучат интонации их округи, много такого, с чем связана его жизнь. Этот голос напоминает ему, как однажды он вломился в ванную, а она сидела на стульчаке, задрав на колени юбку, и закричала; он услышал ее крик, но почти ничего не увидел — лишь кусок бедра, белого, как мраморный прилавок у мясника.

Бесси со скорбным видом отвечает:

— По-моему, он поехал куда-то по делу. Дженис знает.

Дженис подходит к двери на веранду, такая нарядная в своих маргаритках и оранжевом переднике.

— Он уехал около шести с Билли Фоснахтом. Они должны были бы уже вернуться.

— А на какой машине?

— Им пришлось взять «корону». Ты ведь уехал в винный магазин на «мустанге».

— Какая прелесть! А что тут делает Билли Фоснахт? Почему он не в армии? — Гарри хочется порисоваться перед Чарли и Мелани, показать, кто здесь хозяин.

Но и Дженис очень по-хозяйски держит деревянную ложку. Она говорит, обращаясь ко всей компании:

— Дела у него, по слухам, идут отлично. Он занимается первый год на зубоврачебном факультете где-то в Новой Англии. Хочет стать — как же это называется?

— Офтальмологом? — подсказывает Кролик.

— Эндодонтологом.

— Ну и ну, — только и в состоянии вымолвить Гарри. Десять лет тому назад, в ту ночь, когда у Гарри сгорел дом, Билли обозвал свою мать сукой. И хотя все эти годы, пока Нельсон ходил в школу в Маунт-Джадже, Гарри часто видел Билли, он не забыл, как Пегги закатила тогда сыну пощечину, а мальчишке было лет двенадцать или, может, тринадцать, так что на нежной коже от ее пальцев остались красные следы. И тогда Билли назвал ее проституткой — она ведь еще не остыла от объятий Гарри. А позже, ночью, Нельсон поклялся, что убьет отца. «Сволочь, ты погубил ее, из-за тебя умерла Джилл. Я убью тебя... Я тебя убью...» Эта злосчастная жизнь увлекла Гарри далеко от людей, сидевших на веранде; в тишине он слышит вдали грохот молотка, которым соседка что-то забивает. — А как поживают Олли и Пегги? — спрашивает он, голос его звучит хрипло, хоть он и прочистил горло. Он потерял из виду родителей Билли с тех пор, как занялся продажей «тойот» и поднялся на ступеньку выше в их округе.

— Да более или менее все так же, — говорит Дженис. — Олли по-прежнему торчит в музыкальном магазине. А Пегги вроде бы занялась общественной деятельностью. — И она возвращается к своей стряпне.

Чарли говорит Мелани:

— Купите себе билет и слетайте во Флориду, когда вам здесь надоест.

— Что это тебя заклинило на Флориде? — громко спрашивает его Гарри. — Она же сказала, что она из Калифорнии, а ты все пристаешь к ней с Флоридой. Какая тут связь?

Чарли оправляет красный свитер на животе, он выглядит таким жалким, таким старым, кожа еще плотнее обтягивает его черты.

— Дженис, — кричит Мелани в сторону кухни, — я не могу вам помочь?

— Нет, дорогая, спасибо, — все почти готово. Что, вы уже проголодались? Никому ничего не долить?

— А почему бы и нет? — из ухарства откликается Гарри. С этой компанией не взбодришься, если не взбодрить себя изнутри. — А как насчет тебя, Чарли?

— Обо мне забудь, чемпион. Моя норма — стаканчик. Доктора говорят, что даже и один-то ни-ни в моем положении. — И, обращаясь к Мелани, спрашивает: — А как ваше прохладительное себя ведет?

— Не оскорбляй напитка, именуя его прохладительным, — говорит Гарри, словно вызывая Чарли на поединок. — Я восхищаюсь молодыми людьми, которые не отравляют своего организма всякими пилюлями и алкоголем. С тех пор как Нельсон вернулся, картонки с пивом сменяют друг друга в холодильнике с такой быстротой... точно уголь сбрасывают по желобу. — Такое впечатление, что он это уже говорил, и совсем недавно.

— Я вам принесу еще, — поет Мелани и забирает у Чарли стакан, и у Гарри тоже. Он замечает, что она никак его не называет. Отец Нельсона. Некто, движущийся под гору. Вон из этого мира.

— Мне послабее, — говорит он ей. — Джин с тоником.

А мамаша Спрингер все это время сидит и думает свое. И сейчас она говорит Ставросу:

— Нельсон все спрашивает меня про то, как работает магазин, сколько там продавцов, как их оплачивают и все такое.

Чарли усаживается поудобнее.

— Эта история с бензином не может не повлиять на продажу машин. С какой стати людям покупать коров, которых они не в состоянии кормить? Правда, «тойоты» пока неплохо расходятся.

— Бесси, — вмешивается в разговор Гарри, — мы никак не можем взять Нельсона, не ущемив Джейка и Руди. А они оба люди женатые, и им надо кормить детей на свои комиссионные. Если хотите, я могу поговорить с Мэнни и выяснить, не нужен ли ему еще один человек на мойку...

— Он не хочет работать на мойке, — рявкает из кухни Дженис.

Мамаша Спрингер подтверждает:

— Да, он и мне говорил, что хотел бы попробовать себя в торговле: ты же знаешь, как он всегда восхищался Фредом, можно сказать, боготворил его...

— Ох, да перестаньте вы, — говорит Гарри. — Как только он дошел до десятого класса, он и думать о своих дедушках забыл. Как добрался до девчонок и рока, всех старше двадцати стал считать нудилами. Только и мечтал уехать к черту из Бруэра, вот я ему и сказал — о'кей, вот тебе билет, отчаливай. Так чего же он теперь обхаживает свою мамочку и бабусю?

Мелани приносит мужчинам напитки... Держась прямо как официантка, она подает им стаканы на сложенных треугольником бумажных салфетках. Кролик отхлебывает из своего стакана и находит, что получилось слишком крепко, а ведь он просил послабее. Это что, своего рода объяснение в любви?

Мамаша Спрингер упирает руки в боки, расставив локти, а каждый локоть весь в складочках, точно морда у мопса.

— Вот что, Гарри...

— Я знаю, что вы сейчас скажете. Вам принадлежит половина капитала компании. Вот и прекрасно, Бесси, я рад за вас. Будь я на месте Фреда, я бы все вам оставил. — И, быстро повернувшись к Мелани, говорит: — Вот что им надо сделать, чтобы выйти из топливного кризиса: вернуть трамваи. Ты слишком молода и не помнишь. Они ходили по рельсам, а питались электричеством от протянутых наверху проводов. Очень чисто. Всюду были трамваи, когда я был мальчишкой.

— О, я знаю. В Сан-Франциско они по-прежнему ходят.

— Гарри, я хотела только сказать...

— Но делом вы не управляете, — говорит он своей теще, — и никогда не управляли, а пока управляю им я. Нельсон, если он хочет начать там работать, может мыть машины для Мэнни. Я не желаю видеть его в торговом зале. Он не умеет держать себя. Он ведь даже не может стоять прямо и улыбаться.

— А я-то думал, что там канатная дорога, — обращаясь к Мелани, говорит Чарли.

— Да нет, канатная дорога там есть только на некоторых холмах. Все без конца говорят, что на них опасно ездить: канаты лопаются. Но туристам интересно.

— Гарри! Ужинать! — говорит Дженис. Говорит сурово. — Ждать Нельсона мы не будем — уже девятый час.

— Извините, если вам показалось, что я слишком жесток, — говорит Кролик, обращаясь ко всей компании, поднявшейся с места, чтобы идти есть. — Но вот смотрите, даже и сейчас у малого не хватило вежливости вовремя явиться домой к ужину.

— Сын весь в тебя, — говорит Дженис.

— Мелани, а что ты скажешь? Какие у него планы? Он не собирается ехать назад в колледж?

Она продолжает улыбаться, но улыбка растекается, словно намалеванная.

— Возможно, Нельсон считает, — осторожно произносит она, — что провел достаточно времени в колледже.

— Да, но диплом-то где? — Собственный голос звучит в ушах Кролика так пронзительно, будто он попал в западню. — Где у него диплом? — повторяет Гарри, не слыша ответа.

Дженис зажгла на столе свечи, хотя на дворе июнь и еще так светло, что языки их пламени почти не видны. Ей хотелось сделать все поуютнее для Чарли. Милая старушка Джен. Шагая следом за ней к столу, Гарри упирается взглядом в то, что редко видит, — бледную обнаженную впадинку сзади на ее шее. В суматохе, пока все рассаживаются, он задевает руку Мелани, тоже обнаженную, и бросает взгляд за ворот цыганской блузки, прикрывающей спелые плоды. Он бормочет:

— Извини, я вовсе не собирался что-то из тебя сейчас вытягивать. Я просто не могут понять, какую игру ведет Нельсон.

— Конечно, нет, — воркующе отвечает она. Колечки волос упали и затряслись, щеки вспыхнули. И пока мамаша Спрингер вперевалку бредет к своему месту во главе стола, девчонка поднимает на Гарри взгляд, в котором он читает лукавство, и добавляет: — По-моему, одна из причин, знаете ли, в том, что Нельсон стал больше думать, как обеспечить себя.

Гарри что-то не понял. Уж не собирается ли малый поступать на спецслужбу?

Стулья царапают по полу. Все ждут, чтобы призрак молитвы прошелестел над головами. Затем Дженис опускает свою ложку в суп — томатный, цвета машины Гарри. Где она сейчас? Где-то в ночи. Они редко сидят в этой комнате — даже теперь, когда их стало пятеро, они едят за кухонным столом, и Гарри словно впервые видит сейчас расставленные на серванте, где хранится семейное серебро, цветные фотографии: Дженис-старшеклассница с расчесанными и слегка подвитыми, как у пажа, волосами до плеч, малютка Нельсон, сидящий со своим любимым медвежонком (у которого был всего один глаз) на залитом солнцем подоконнике в этой самой комнате, а потом Нельсон — уже такой, как сейчас, выпускник школы, с волосами почти такими же длинными, как у Дженис, только нечесаными, сальными на вид, — улыбается в объектив кривой, полувызывающей улыбкой. В золотой рамке пошире, чем у дочери и внука, — Фред Спрингер, без единой морщинки благодаря волшебству фотоателье, сидит вполоборота и смотрит затуманенным взором на то, что дано видеть мертвецам.

— А вы видели, — спрашивает Чарли, обращаясь к сидящим за столом, — как Никсон давал на островке Сан-Клементе большой прием в честь годовщины высадки на Луну? Этого малого всегда надо держать на виду как образец того, чего можно достичь одним нахальством.

— Но он ведь и хорошее кое-что сделал, — говорит мамаша Спрингер столь знакомым ему оскорбленным тоном, сухим и натянутым. Годы совместной жизни приучили Гарри тотчас реагировать на него.

Он решает поддержать ее в знак извинения за то, что был резковат с нею, когда говорил, кто руководит фирмой.

— Он открыл для нас китайский рынок, — говорит он.

— И каким же скопищем червей оказался для нас Китай, — говорит Ставрос. — Правда, все эти годы они ненавидели нас, и мы не тратили на них ни гроша. Хотя этот его прием обошелся недешево. Там были все — и Ред Скелтон, и Базз Олдрин.

— Видите ли, я считаю, что Уотергейт разбил сердце Фреду, — изрекает мамаша Спрингер. — Он следил за ходом событий до самого конца, когда уже едва мог поднять голову с подушек, и все говорил мне: «Бесси, у нас еще не было президента хуже. Это все ему подстроили, потому что он необаятельный. Будь это Рузвельт или один из Кеннеди, — бывало, говорил он, — вы бы про Уотергейт даже и не услышали». Он этому верил.

Гарри бросает взгляд на фотографию в золотой рамке, и ему кажется, что она кивает.

— Я вполне этому верю, — говорит он. — Старина Спрингер никогда не давал мне неверных советов.

Бесси бросает на него взгляд, проверяя, не иронизирует ли он. Он удерживает мускулы лица в неподвижности, как на фотографии.

— Кстати, говоря о Кеннеди, — вставляет Чарли (право же, он слишком разговорился, а выпил-то всего стаканчик прохладительного), — газеты снова взялись за эту историю на мосту у Чаппаквиддика[[14]](#footnote-14).

Ну что еще можно сказать о человеке, который ехал потаскаться с девчонкой, а вместо этого ухнул в воду с моста?

Бесси, видимо, тоже глотнула немного хереса, потому что она вдруг взвинчивает себя до слез.

— Фред, — говорит она, — никогда бы не согласился, что все так просто. «Смотри на результат, — не раз говорил он мне. — Смотри на результат и крути назад». — Ее темные глаза-вишенки таинственным образом призывают их к этому. — А каков был результат? — Это уже, судя по всему, ее собственные слова. — В результате погибла бедная девочка из далекого угольного района.

— Ах, мама, — говорит Дженис. — У папы был просто зуб на демократов. Я очень его любила, но, право же, он был абсолютно заклинен на этом.

Чарли говорит:

— Не знаю, Джен. Я только слышал, как он говорил, что Рузвельт вовлек нас в войну и что он умер в постели со своей любовницей, — вот и все, причем и то и другое было правдой. — Сказал и уставился на свечу, точно шулер, выложивший на стол туза. — А то, что нам теперь рассказывают про Джона Кеннеди, как он куролесил в Белом доме с любовницами гангстеров и уличными девками, — такое Фреду Спрингеру не могло привидеться даже в кошмарном сне. — Вот вам и второй туз. А он чем-то похож на старину Спрингера, думает Гарри: такая же узкая, тщательно причесанная голова. Даже брови у него торчат, как жерла игрушечных пушек. Гарри говорит:

— Я так и не понял, чем он плохо вел себя в Чаппаквиддике. Он же *пытался* вытащить ее. Вода, огонь, языки пламени — человек бессилен против этого.

— А тем плохо, — говорит Бесси, — что он посадил ее к себе в машину.

— А вы что по этому поводу думаете, Мелани? — спрашивает Чарли, намеренно обращаясь к ней, чтобы позлить Гарри. — Вы какую партию поддерживаете?

— Ох уж эти партии, — мечтательно произносит она. — По-моему, они обе отвратительны. — *От-вра-тительны...* слово повисает в воздухе. — Что же до Чаппаквиддика, то одна моя подруга живет там каждое лето, и она говорит, просто удивительно, что никто больше не слетел с этого моста — там ни перил нет, ничего. Какой чудесный суп, — добавляет она, обращаясь к Дженис.

— Суп из шпината тогда у вас был потрясающий, — говорит Чарли, обращаясь к Мелани. — Может, только чуточку многовато в нем было мускатного ореха.

Дженис курит и прислушивается, не хлопнет ли на улице дверца машины.

— Гарри, не поможешь мне убрать со стола? Кстати, и мясо, пожалуй, лучше резать на кухне.

На кухне можно задохнуться от сильного тошнотворного запаха жареной баранины. Гарри не любит напоминания о том, что мы едим живых существ с глазами и сердцем, — он предпочитает соленые орешки, котлеты, китайскую кухню, пирог с рубленым мясом.

— Ты же знаешь, что я не могу резать ягненка, — говорит он. — Никто не может. Ты решила его приготовить только потому, что это, по-твоему, едят греки, вздумала покрасоваться перед бывшим любовником.

Она протягивает ему доску и ножи с костяными шишковатыми ручками:

— Ты делал это сотни раз. Просто режь ломтями перпендикулярно кости.

— Легко сказать. Вот ты бы и нарезала, если это так легко и просто. — А сам думает: «Ударить кого-нибудь ножом, наверно, труднее, чем это выглядит в кино: надо ведь прорезать сырое мясо, а оно не поддается, волокнистое и жесткое. Лучше было бы, если уж на то пошло, ударить ее камнем по черепу или этим зеленым хрустальным яйцом, что лежит у мамаши в гостиной».

— Слышишь? — шипит Дженис.

У дома хлопнула дверца машины. На крыльце раздаются шаги — на их крыльце, — и непослушная входная дверь с треском отворяется. Хор голосов из-за стола приветствует Нельсона. Но он, не останавливаясь, идет дальше в поисках родителей и обнаруживает их на кухне.

— Нельсон, — говорит Дженис, — мы уже начали беспокоиться.

Мальчишка тяжело дышит — не от усталости, а неглубоко, прерывисто, как бывает от страха. Он кажется маленьким, но мускулистым в своей тенниске винного цвета — налетчик, одевшийся, чтобы лезть в окно. Но застигнутый на месте преступления в ярком свете кухонной лампы. Он старается не встречаться взглядом с Гарри.

— Пап! У меня произошла маленькая неприятность.

— С машиной. Я так и знал.

— Угу. Поцарапали «тойоту».

— Мою «корону»! Что значит — поцарапали?

— Никто не пострадал, так что не распаляйся.

— Покорежена другая машина?

— Нет, так что не волнуйся, никто не будет подавать в суд. — Заверение сделано весьма презрительным тоном.

— Ты со мной не умничай.

— О'кей, Господи, о'кей.

— Ты пригнал ее домой?

Мальчишка кивает.

Гарри возвращает нож Дженис и выходит из кухни, чтобы успокоить компанию, продолжающую сидеть за освещенным свечами столом: матушка во главе, рядом — с сияющими глазами Мелани, по другую сторону Мелани — Чарли, квадратные запонки его поблескивают, отражая пламя свечей.

— Прошу не волноваться. Просто, по словам Нельсона, произошла маленькая неприятность. Чарли, ты не разрежешь вместо меня ягненка? Мне надо взглянуть, что там.

Он хочет взять парня за плечи — то ли чтобы подтолкнуть его, то ли чтобы утешить, он сам не знает зачем, это стало бы ясно, когда Гарри дотронулся бы до него, — но Нельсон, увернувшись от отца, ныряет в летнюю ночь. На улице зажглись фонари, и при их ядовитом искусственном свете красная «корона» выглядит зловеще — просто черная тень, металлического блеска нет и в помине. Нельсон в спешке запарковал ее против правил, поставив к тротуару боком, где сидит водитель. Гарри говорит:

— Этот бок хорош.

— *Другой* бок не в порядке, пап. — И Нельсон объясняет: — Понимаешь, мы с Билли возвращались из Аленвилла, где живет его девчонка, по этакой извилистой проселочной дороге, и так как я понимал, что опаздываю к ужину, то ехал, наверно, чуточку слишком быстро, не знаю — слишком-то ведь быстро по этим проселочным дорогам ехать невозможно, очень они извилистые. И вдруг прямо передо мной выскакивает этот сурок или как там его, и, чтоб его не раздавить, я чуточку съехал с дороги, зад у меня занесло, и я шмякнулся о телефонный столб. Все произошло так быстро, я и опомниться не успел.

Кролик обошел машину и при неверном свете фонарей стал осматривать повреждения. Царапина начиналась с середины задней дверцы и шла, углубляясь, по крышке отверстия для заливки бензина; затем задняя фара и маленький квадратный боковой сигнал задели за столб, и их вырвало с потрохами, разодрав при этом прозрачную пластмассу, кусочки которой валялись, точно фольга с рождественских подарков, и обнажив красивые цветные провода. Уретановый бампер, такой черный, матовый и гладкий, что Гарри испытывает сексуальное влечение всякий раз, как дотрагивается до машины, поставив ее на площадке на место, помеченное: ЭНГСТРОМ, — сейчас этот бампер вырван из рамы. Царапина шла дальше вверх по задней дверце, которая теперь никогда уже не будет как следует закрываться.

— Билли знает одного парня, — продолжал трещать Нельсон, — который работает в автомастерской у моста в Западный Бруэр, и говорит, тебе надо поехать в какой-нибудь шикарный гараж, где тебе оценят убытки, а потом, когда ты получишь чек от страховой компании, отдать этому парню машину, и он тебе все сделает за куда меньшую сумму. Таким образом, мы на этом даже выиграем, а навар поделим.

— Значит, навар, — тупо повторяет Гарри.

Гвозди или заклепки на столбе оставили длинные параллельные царапины по всей длине вмятины. Хромированные и резиновые полоски отделки выдраны и висят под углом, а под рулевым колесом, прикрытым доской для приборов, слегка выступающей, как надбровная дуга, — еще одна удобная деталь, придуманная японцами и оцененная им, — отвалился кусок, оставив лишь несколько маленьких дырочек. Большая вмятина обезобразила даже ребристый колпак на колесе. У Кролика такое чувство, будто ему разбередили весь бок. У Гарри такое чувство, точно это рана на его собственном теле. У него такое чувство, точно он видит в сумрачном свете результаты преступления, к которому приложил руку.

— Да перестань же, пап, — говорит ему Нельсон. — Не делай ты из этого великой трагедии. Ведь платить за ремонт будет страховая компания, а не ты, да и потом, ты же можешь купить себе новую почти задаром — разве тебе не дают огромную скидку?

— Огромную, — повторяет Кролик. — А ты вот так взял и расколошматил ее. Мою «корону».

— Я же не *нарочно*, это был несчастный случай, черт бы его подрал. Ну чего ты от меня хочешь — чтобы я харкал кровью? Упал на колени и плакал?

— Можешь не утруждать себя.

— Пап, это же всего только *вещь*, а у тебя такой вид, точно ты потерял лучшего друга.

Наверху, не затрагивая их, шелестит верхушками деревьев ветерок, и тени колеблются на деформированном металле. Гарри вздыхает:

— Ну что ж. А что произошло с сурком?

2

Когда первые суббота и воскресенье, наполненные беспорядками и слухами, миновали, лето стало складываться совсем неплохо: очереди за бензином уже не были такими длинными. Ставрос говорит, нефтяные компании взвинтили цены как хотели, а правительство сказало им — охладите-ка свой пыл, не то мы установим налог на сверхприбыли. Мелани говорит, мир вернется к велосипеду, как это уже и произошло в красном Китае; она купила на свое жалованье «фудзи» и в погожие дни крутит педали, разъезжая в вихре каштановых кудрей вокруг горы и вниз, через парк, по аллее Панорамного Обзора — в Бруэр. В конце июля наступает неделя рекордной жары: газеты полны графиков температуры и мутных фотографий той поры на переломе столетия, когда на Уайзер-сквер коробились трамвайные рельсы — до того было жарко. В такую жару тебя словно жжет изнутри, распирает — хочется выскочить из одежды и, сменив оболочку, очутиться у моря или в горах. А Гарри и Дженис только в августе поедут в Поконы, где у Спрингеров есть домик, который они сдают на июль. Из воздушных кондиционеров по всему Бруэру капает на дворики и на тротуары.

И вот в один из этих жарких дней Гарри берет в магазине подержанный «каприс», поскольку его «корона» еще ремонтируется, и отправляется на юго-запад в направлении Гэлили. По петляющим проселочным дорогам он едет мимо домов из песчаника, кукурузных полей, цементного завода, рекламного щита, указывающего на пещеру (разве естественные пещеры не вышли из моды давным-давно?), затем другого щита, с огромным силуэтом бородатого меннонита-амиша[[15]](#footnote-15), рекламирующего «Настоящий пенсильванско-немецкий шведский стол». Гэлили — это, что называется, «городок цепочкой»: вытянувшись в ряд, домики карабкаются вверх по горе, с продуктовой лавкой в одном конце и агентством, дающим напрокат тракторы, — в другом. Посредине стоит старая деревянная гостиница с широкой верандой вдоль всего второго этажа и подновленным рестораном на первом, все окно которого заклеено кредитными карточками в качестве приманки для автобусов с туристами, которые приезжают из Балтимора, набитые главным образом черными, — одному Богу известно, что они рассчитывают увидеть в этой глуши. Группа местных парней торчит перед универмагом «Рексолл» — раньше в сельской местности никогда бы такого не увидеть: люди были слишком заняты делом. Есть тут старый каменный желоб для лошадей; несколько черных, отполированных временем столбов коновязи; сверкающий стеклом новый банк, островок среди проезжей части с памятником — в честь чего, Гарри не может понять, — и маленькое кирпичное здание почты с блестящими серебряными буквами ГЭЛИЛИ, стоящее на боковой улочке всего в один квартал длиной, которая обрывается у края поля. Женщина на почте говорит Гарри, где найти ферму Нунмейкера: по дороге номер два. Держась указанных ею ориентиров — овощной киоск, пруд с плакучими ивами, две силосные башни у дороги, — он пробирается по буграм и перекатам красной земли, поросшим переливающейся зеленью, напористо покрывающей своим ковром даже спекшиеся обочины на дороге, где торчат кустики и коврики вики и жимолости, наполняя стоячий жаркий воздух легким благоуханием. Окна «каприса» до конца опущены, и бруэрская станция, транслирующая музыку, то затихает, то снова прорывается с грохотом и треском — в зависимости от ландшафта и близости электрических проводов. НУНМЕЙКЕР — выведено выцветшими буквами на побитом жестяном почтовом ящике. Дом и сарай стоят довольно далеко от дороги, в глубине длинного проселка, некогда выложенного песчаником, но теперь покрытого красноватой пылью.

Сердце у Кролика поет. Он медленно едет, внимательно всматриваясь в соседние почтовые ящики, но Рут, когда он однажды случайно встретил ее в центре Бруэра лет десять тому назад, не назвала своей новой фамилии, а девчонка, которая была в магазине месяц тому назад, отказалась расписаться в его книге в демонстрационном зале. Единственным ориентиром — помимо того, что Нунмейкер живет по соседству с его дочерью, если это его дочь, — может служить ему фраза, оброненная тогда Рут, что у ее мужа — не только ферма, но еще и небольшой парк школьных автобусов. Муж был старше ее и, по подсчетам Гарри, уже, наверно, умер. Значит, и автобусов не стало. На почтовых ящиках, что стоят вдоль этого отрезка дороги, значится: БЛЭНКЕНБИЛЛЕР, МУТ и БАЙЕР. Фамилии как-то не вяжутся с домами, виднеющимися в лощинках, среди деревьев, в конце поросших травою проселков. Гарри кажется, что он привлекает к себе всеобщее внимание, разъезжая в темно-малиновом «каприсе», хотя на всем этом просторе не появилось ни единой души, которая увидела бы его. В этот подернутый дымкой, слишком жаркий для работы в поле день люди сидят в своих домах с толстыми стенами. Гарри наугад сворачивает на какой-то проселок, останавливается и едет задом по утоптанной, исчерченной корнями площадке между строениями, а тем временем в загородке для свиней, мимо которой он проехал, поднимается отчаянный визг, и в дверях дома появляется толстая женщина в переднике. Она ниже ростом, чем Рут, и моложе, чем Рут должна быть сейчас; черные волосы ее гладко зачесаны и убраны под менонитский чепец. Он машет ей и продолжает пятиться. Это Блэнкенбиллеры — он читает фамилию на почтовом ящике, когда снова выезжает на дорогу.

Два других дома стоят ближе к дороге, и он решается подойти к ним пешком. Он останавливает машину на широкой обочине, где на утоптанной земле от колес трактора остались следы в виде елочки. Лишь только он выбирается из машины, в нос ему, невзирая на расстояние, ударяет сладковатый запах свинарника Блэнкенбиллеров, а тишину наполняет неумолчный сухой звон насекомых, пронизывающий все вокруг. Цветущие летом иван-да-марья, кружева королевы Анны и цикорий покрывают все пространство у дороги и хлещут его по брюкам, когда он выходит из машины. Он крадется в своем бежевом летнем костюме, какой надевают для продажи, за изгородью из сумака, эвкалипта и дикой вишни, заросшей ядовитым плющом с большими блестящими листьями, чьи отростки добрались уже до верхушек задушенных им деревьев. В этой зеленой изгороди валяются грубо отесанные куски обрушившейся старой стены из песчаника — ни один из них не лежит на другом. Он останавливается у прорехи в живой изгороди, проделанной машинами, и смотрит на строения внизу — сарай, и дом, и обложенный асбестом курятник, и крытый шифером сруб для хранения кукурузы (последние два явно заброшены), и цементное строение поновее с крышей из рифленого плексигласа. Похоже на гараж. На крыше дома — позеленевший медный громоотвод и телевизионная антенна буквой «Н». Очень высокая, чтобы она могла принимать сигнал. Гарри намеревался лишь понаблюдать, посмотреть, похоже ли это место на участок Нунмейкера, что на соседнем холме, но легкое постукиванье, доносящееся откуда-то из-за строений, и журчание ручейка, вливающегося в маленький прудик, некогда, возможно, предназначавшийся для уток, и наивное нагромождение старых тракторных сидений, топоров и заржавелого железного плуга между поленницей и подстриженной лужайкой влекут его к себе, словно музыкальный мотив, и он уже придумывает, что сказать, если спросят, зачем он здесь. Отсутствие порядка и некоторое запустение наводят на мысль, что на ферме хозяйничает женщина, нуждающаяся в мужской помощи. От непостижимой надежды сердце у него поет под стать окружающему звону насекомых.

И тут Гарри увидел его — за сараем, там, где лес во главе с сумахом и кедром наступает на вырубку, — скособочившийся желтый корпус школьного автобуса. Колес и стекол у него нет, и тупорылый капот отодран, обнажая пустоту, где был мотор, вытащенный варварами, но, подобно затонувшему кораблю, это — свидетельство некогда существовавшей империи, целого автобусного парка, владелец которого умер, оставив вдову с незаконнорожденной дочерью. Кролику кажется, что земля под ним словно взбугрилась оттого, что подземное царство пополнилось еще одним обитателем.

Гарри стоит посреди бывшего фруктового сада, где еще и сейчас кривые, покореженные яблони и груши посылают вверх веера новых побегов. Хотя солнце нещадно палит, замшевые туфли Гарри промокли от влаги в садовой траве. Если он сделает еще несколько шагов, то выйдет на открытое место, и тогда его могут заметить из окон дома. Отсюда ему уже слышны в доме голоса, хотя звучат они глухо и монотонно, как голоса по радио или телевидению. Еще несколько шагов — и он сможет различить их. А если сделать еще несколько шагов, то он выйдет на лужайку у пластмассовой ванночки для птиц, прикрепленной к столбику в виде выкрашенной синей краской трубы, и тогда ему уже, хочешь не хочешь, придется шагнуть вперед, взойти на низкое цементное крыльцо и постучать. Входная дверь, глубоко врезанная в камень, была когда-то зеленой, а теперь нуждается в покраске. От места с побитой черепицей на крышке до жалких жалюзи, закрывающих окна, — на всем лежит мертвящая печать бедности.

Что он скажет Рут, если она ответит на его стук?

*Привет, вы, может, меня и не помните...Господи! Рада была бы не помнить.Нет, подожди. Не закрывай дверь. Я ведь могу помочь тебе.Какого черта, чем ты можешь мне помочь? Проваливай. Ей-богу, Кролик, от одного взгляда на тебя меня тошнит.У меня теперь есть деньги.Мне они не нужны. Я от тебя ничего не хочу. Когда ты был мне нужен, ты сбежал.О'кей, о'кей. Но давай говорить о сегодняшнем дне. У тебя наша девочка...Девочка — да она женщина. Верно, хорошенькая ? Я ею горжусь.Я тоже. Нам бы следовало иметь кучу детей. Великолепные гены.Не подлизывайся. Я живу здесь уже двадцать лет — где ты все это время был?*А ведь и в самом деле он мог бы попытаться найти ее — он даже знал, что она живет где-то около Гэлили. Но он этого не сделал. Не захотел встречаться с нею — слишком много укоров и осложнений в жизни могла принести эта встреча. Ему хотелось, чтобы Рут осталась в его воспоминаниях такой, как была: ублаготворенная его ласками и счастливая, она лежит рядом с ним на кровати, опершись на локоть. Прежде чем он проваливался в сон, она приносила ему воды. Он не знает, любил он ее или нет, но с ней он узнал любовь, испытал такое чувство, будто взлетаешь ввысь, будто снова становишься ребенком, и каждый миг имеет простую волнующую цель, подобно тому, как кустики травы, раздвигаемые его коленями, наполнены семенами.

Внизу хлопает дверь — с той стороны дома, которая ему не видна. Звонкий возглас — так обычно подзывают животных; Гарри отступает за яблоню — она оказывается маленькой, за ней не укрыться. Стремясь увидеть свою дочь, приблизиться к этому таинственному побегу, выросшему из его прошлого, расцветшему без него, но олицетворяющему собой утраченную силу, утраченный смысл жизни, он выставил на обозрение свою крупную фигуру, сделав из нее мишень. Он так близко прижимается к деревцу, что его губы касаются коры, коры гладкой, как стекло, за исключением тех мест, где на ее серой поверхности появляются темные, более жесткие, круги. Какое же это чудо, как все растет, неизменно оставаясь самим собой. Он отрывает губы от этого ненамеренного поцелуя. Живые микроскопические красные существа — он видит их — войдут в него и размножатся.

— Эй! — раздался голос. Голос женский, молодо раскатившийся по воздуху, испуганный и приветливый. Неужели у Рут может быть такой молодой голос после стольких лет?

Вместо того чтобы предстать перед обладательницей голоса, он бежит. Вверх — по густой траве сада, ныряя между старыми фруктовыми деревьями, продирается сквозь неровную живую изгородь так стремительно, точно по другую сторону его ждет баскетбольная корзина, выскакивает на изборожденную тракторами красную дорогу и устремляется назад, к «капрису», на ходу проверяя, не порван ли костюм, чувствуя возраст. Он задыхается; он оцарапал себе руку то ли о машину, то ли о шиповник. Сердце у него так бешено колотится, что он не в состоянии вставить ключ в зажигание. Когда наконец раздается щелчок, мотор несколько раз чихает, прежде чем завестись, перегретый от стояния на солнце. В ушах Гарри еще звучит женский голос, крикнувший так приветливо: «Эй!» — но мотор уже заурчал, а сам он прислушивается, не раздадутся ли крики преследователей или даже выстрел. У всех этих фермеров есть ружья, и они не раздумывая пускают их в ход: когда он работал наборщиком в «Вэте», не проходило и недели, чтобы в округе кого-нибудь не убили, и всегда это было связано с сексом, пьянкой и даже кровосмешением.

Но в мареве, висящем над окрестностями Гэлили, царит тишина, нарушаемая лишь звуком его мотора. Интересно, думает он, отчетливо ли было его видно и могли ли его узнать — Рут, которая давно его не видела, а ведь он с тех пор изрядно располнел, или его дочь, которая видела его лишь однажды, месяц тому назад? Они сообщат в полицию, назовут его, и это дойдет до Дженис, и она устроит страшный тарарам, услышав, что он разыскивал девочку. Да и в «Ротари» на это посмотрят косо. Назад. Надо ехать назад. Боясь заблудиться, он заставляет себя развернуться и возвращается тем путем, каким приехал, — мимо почтовых ящиков. Он решает, что этой ферме, которую он обнаружил в маленькой заросшей лощинке с прудом для уток, соответствует голубой почтовый ящик с фамилией БАЙЕР. Голубой, как небо, свежевыкрашенный этим летом, и на нем переводной цветок — такое могла придумать только молодая женщина.

Байер. Рут Байер. Джейми Нунмейкер, насколько мог припомнить Кролик, имя его дочери ни разу не произнес.

Как-то вечером он спрашивает Нельсона:

— А где Мелани? Мне казалось, она эту неделю работает днем.

— Так оно и есть. Она уехала кое с кем.

— Вот как? Ты хочешь сказать — у нее свидание?

«Филадельфийцы» из-за дождя сегодня не играют, и Дженис со своей мамочкой в который раз смотрят наверху «Уолтонов»[[16]](#footnote-16), а Гарри с сыном сидят в гостиной; Гарри листает только что пришедший августовский номер «К сведению потребителей» («Не опасно ли красить волосы?», «Тесты на дорогах: в случайных грузовиках», «Альтернатива похоронам за 2000 долларов»), а парень уткнулся в книжку, которую стащил из бывшего кабинета Фреда Спрингера при магазине, ставшего теперь кабинетом Гарри. Нельсон не поднимает на отца глаз.

— Можно назвать это и свиданием. Она просто сказала, что едет прокатиться.

— Но ведь с кем-то же.

— Конечно.

— И ты не возражаешь? Против того, что она проводит время с кем-то?

— Конечно, нет. Пап, я же читаю.

Тот самый дождь, который заставил отложить игру между «Филадельфийцами» и «Пиратами» на стадионе Трех Рек[[17]](#footnote-17), переместился к востоку и барабанит теперь по окнам дома 89 на Джозеф-стрит, по низко нависшим ветвям бука, гордости их участка, а то грохочет по крыше и хлещет по навесу над верандой.

— Дай-ка мне взглянуть на твою книжку, — просит Гарри и, не вылезая из глубокого кресла, протягивает руку, благо она длинная.

Нельсон раздраженно швыряет ему пухлую зеленую брошюру — руководство по торговле автомобилями, написанное приятелем старика Спрингера, у которого магазин в Паоли. Гарри раза два заглядывал в нее, речь там идет главным образом о горячем воздухе: как можно увеличить подачу его в районе Филадельфии.

— Тут столько всего порассказано, — говорит он Нельсону, — чего тебе и не нужно знать.

— Я пытаюсь разобраться, — говорит Нельсон, — в финансовой стороне дела.

— А вот тут все очень просто. Банку принадлежат новые машины, торговцу — машины, находившиеся в употреблении. Банк выплачивает деньги «Мид-Атлантик Тойота», когда машина покидает Мэриленд; есть еще так называемые удержания — это когда изготовитель оставляет кое-что себе на случай, если торговец откажется покупать запасные части, но он ежегодно выплачивает эту сумму, в результате, откровенно говоря, прибыль торговца сокращается, если ему попадается этакий умник покупатель, который хорошо разбирается в числах и прикидывает, как поторговаться. «Тойота» требует, чтобы мы продавали все по ценам их прейскуранта, так что особенно не разживешься, зато, с моей точки зрения, это избавляет тебя от головной боли. Если кому-то не понравилась цена, он может прийти через месяц и обнаружить, что она стала на триста долларов выше сообразно курсу иены. Другой морокой в вопросах финансирования является ситуация, когда покупатель берет заем в том месте, куда мы его посылаем, а посылаем мы его обычно в «Бруэр Траст», и хотя вот в этом журнале всего месяц назад была напечатана статья о том, что надо искать наиболее выгодный заем, а не идти туда, куда тебя направляет торговец, на самом деле чертовски трудно сломать эту систему, а выиграть на этом можно полпроцента: банк ведь переводит на наш счет определенный процент, якобы для того, чтобы покрыть потери от продажи старых машин, на самом деле это просто вознаграждение. Понял?

— Да, понял.

— А теперь ты мне скажи, зачем ты хочешь все это знать?

— Просто интересно.

— Тебе бы следовало интересоваться этим, когда был жив твой дедушка Спрингер — вот потолковал бы ты с ним. Он этого дерьма наглотался вдоволь. К тому времени, когда покупатель решал купить у него машину, бедняга был уже убежден, что грабит старика Фреда, тогда как на самом деле эта сделка напоминала паутину. Решив получить у «Тойоты» право на продажу машин, Фред потребовал, чтобы ему дали также место под площадку в шестьдесят тысяч футов, заросшее сорняком, потом он пригласил подрядчика, которому в свое время сделал одолжение, чтобы тот выложил это место плитами и соорудил на них неизолированное строение. Ведь наш магазин до сих пор невозможно зимой обогреть — ты бы слышал, как ругается Мэнни.

— А он когда-нибудь пытался скручивать показания счетчика? — спрашивает Нельсон.

— Откуда тебе такое известно?

— Из книжки.

— Ну-у... — А не так это и плохо, думает Гарри, разговаривать с парнем о серьезных вещах под шум дождя. Он сам не знает, почему его так раздражает то, что парень читает. Точно он замышляет какую-то гадость. Говорят, надо поощрять чтение, но ни разу еще никто не сказал почему. — Видишь ли, скручивать счетчик — это уголовщина. Но в старые времена, когда механик возился с приборной доской, отвертка вполне могла соскользнуть у него на счетчик. Так или иначе, люди, покупающие подержанную машину, знают, что это лотерея. Машина может пройти двадцать тысяч миль без сучка и задоринки, а может случиться и так, что завтра у нее взорвется двигатель. Кто знает? Я видел машины с огромным износом, которые бегали как новенькие. Взять «фольксваген-жук»: его просто невозможно прикончить. Корпус может так проржаветь, что водителю видна земля под ногами, а мотор все работает. — Он швыряет толстую зеленую книжицу назад. Она пролетает мимо Нельсона. Гарри спрашивает: — Как же ты все-таки относишься к тому, что твоя подружка проводит время с кем-то другим?

— Я ведь уже говорил тебе, папа, что она мне не подружка, а приятельница. Неужели нельзя дружить с женщиной?

— Попытайся — проверь на собственном опыте. Как же в таком случае она согласилась двинуть сюда с тобой?

Терпение Нельсона на пределе, но Гарри решает продолжать наступление, а то ведь, играя в молчанку, ничего не узнаешь.

— Ей нужно было смыться из Колорадо, — говорит Нельсон, — а я ехал на восток и сказал ей, что в доме у моей бабки полно пустых комнат. Она ведь вам не мешает, верно?

— Нет, она даже сумела очаровать старушку Бесси. А что там было, в Колорадо, почему ей надо было смыться?

— О, знаешь ли, пристал к ней непутевый парень, а ей захотелось собраться с мыслями.

Дождь вновь затягивает свою песню — изо всех сил колотит по тонким стеклам. Кролику всегда нравилось сидеть в доме, когда идет дождь. Черепица на крыше, стекло не толще картона предохраняют его, не давая промокнуть...

Гарри осторожно спрашивает:

— А ты знаешь, с кем она проводит время?

— Да, пап, и ты его тоже знаешь.

— Билли Фоснахт?

— Еще одна попытка. Бери постарше. Бери в греческом направлении.

— О Господи! Да ты шутишь! Этот старый мерин?

Нельсон смотрит на отца настороженно — он ехидно замер. Он не смеется, хотя мог бы. Он поясняет:

— Он позвонил в «Блинный дом» и пригласил ее, и она подумала: а почему бы и нет? Ты не можешь не согласиться, что здесь довольно скучно. Он пригласил ее просто поужинать. Она не обещала лечь с ним потом. Вся беда вашего поколения, пап, в том, что вы способны думать только в одном плане.

— Чарли Ставрос! — произносит Гарри, думая о том, как повернуть разговор. Похоже, что малый настроен пооткровенничать. И Кролик, осмелев, продолжает:

— Ты помнишь, он ведь встречался какое-то время с твоей матерью.

— Помню. Но все вокруг, похоже, об этом забыли. Вам, похоже, вполне уютно живется.

— Времена меняются. А ты считаешь, что мы не должны жить уютно?

Нельсон фыркает, усаживается поглубже на старый диван.

— Мне на это ровным счетом наплевать. Это не моя жизнь.

— Она была и твоей, — говорит Гарри. — Ты же был тут. Мне тебя было жаль, Нельсон, но я ничего не мог придумать. Эта бедняжка Джилл...

— Папа...

— Знаешь, умер Ушлый. Убили в Филадельфии при перестрелке. Кто-то прислал мне вырезку.

— Мама писала мне об этом. Ничего удивительного. Он же был сумасшедший.

— И да и нет. Знаешь, он говорил, что через десять лет умрет. У него действительно был некий...

— Пап! Давай прекратим этот разговор.

— О'кей. Мне все равно. Конечно.

Дождь. Такой славный, такой упорный. В саду крошечные кусочки земли под салатом и скособочившимися листьями бобов, перфорированными японскими жуками, темнеют, намокая, а листья над ними блестят, с них скатывается влага, и они разделяют с овощами тайную силу дождя. Взгляд Кролика отрывается от упрямо замкнутого лица Нельсона и вновь обращается к журналу. Лучший тип тостера на четыре ломтика, читает он, тот, у которого отдельная регулировка на каждую пару тостов. Ставрос и Мелани — кто бы мог подумать? Недаром Чарли все говорил, что ему нравится, как она держится.

Словно желая загладить свою резкость — он же оборвал отца, когда тот под влиянием дождя предался воспоминаниям, — Нельсон нарушает молчание:

— А как называется должность Чарли там, у вас?

— Старший торговый представитель. Он занимается подержанными машинами, а я новыми. Более или менее так. На практике же каждый занимается и тем и другим. Вместе с Джейком и Руди, конечно. — Он намеренно твердил малому про Джейка и Руди. Это не сынки богатых родителей, они за свой доллар вкалывают вовсю.

— А ты доволен тем, как работает Чарли?

— Абсолютно. Он знает дело куда лучше меня. И он знает половину округи.

— Угу, но вот со здоровьем у него не очень. Он, по-твоему, достаточно энергичен?

В вопросе чувствуется университетский подход. Кстати, он ведь толком не расспросил Нельсона про колледж — может, сейчас воспользоваться моментом? При женщинах Нельсону легче ускользнуть.

— Энергичен? Ему приходится следить за собой и не перегружаться. Но дело свое он делает. Люди нынче не любят, когда на них нажимают, а именно так раньше вели дела в торговле машинами. Мне кажется, люди больше доверяют продавцу, который — как бы это выразиться? — немного вяловат. Так что я не возражаю против того, как Чарли действует. — А сам думает: интересно, как к нему относится Мелани. Где они — в каком-нибудь ресторане? Гарри представляет себе ее лицо: блестящие глаза слегка навыкате, точно она страдает щитовидкой, и раскрасневшиеся щеки, которые всегда кажутся нарумяненными (они были у нее румяные еще до того, как она купила «фудзи»), — молодое лицо, крепкое и гладкое; она сидит напротив старины Чарли с его профилем классического ловеласа и улыбается, улыбается, а он клеит ее. А потом внизу произойдет то, что должно произойти, член у него толстый, иссиня-смуглый, как у всех средиземноморцев, интересно, думает Кролик, волосня у нее такая же кудрявая, как волосы на голове... в нее, из нее, Кролик не может представить себе, что они будут этим заниматься, пока все остальные будут сидеть тут и слушать дождь.

— Я вот думал, — говорит Нельсон, — не стоит ли заняться спортивными машинами со складным верхом. — Он сидит на видавшем виды сером диване, и слова его, точно отяжелев от стыда, падают одно за другим, вываливаются из опущенного лица.

— Машинами со складным верхом? В каком смысле?

— Сам знаешь, пап, зачем же выуживать это из меня. Покупать и продавать. Детройт их больше не производит, поэтому старые машины ценятся все дороже и дороже. Ты мог бы выручать за каждую куда больше, чем заплатил за мамин «мустанг».

— Если ты их для начала не расколошматишь.

Это производит именно тот эффект, какой нужен Кролику.

— Тьфу! — восклицает парень, попав в западню, окидывая взглядом потолок в поисках щели, в которую можно было бы уползти. — Я же не расколошматил твою чертову бесценную «корону», я только немножко ее поцарапал.

— Она все еще в мастерской. Нечего сказать — «поцарапал».

— Я же не специально, Господи, пап, ты так себя ведешь, точно это священная колесница или что-то вроде. До чего же с годами ты стал правильным.

— В самом деле? — вполне искренне спрашивает Гарри, считая, что это может пригодиться как бесценная информация.

— Да. Ты ведь только и думаешь о деньгах и вещах.

— А это что же — плохо?

— Да.

— Ты прав. Забудь про машину. Расскажи-ка мне лучше про колледж.

— Это мура, — следует мгновенный ответ. — Город глупцов. Из-за той стрельбы десять лет назад люди думают, что в

Кенте очень радикальная атмосфера, а на самом деле большинство ребят местные, из Огайо, для которых главное развлечение — накачаться пивом до тошноты да устраивать в общежитии потасовки с помощью крема для бритья. Большинство ведь наследует отцовское дело, так что наука им до фонаря.

Гарри пропускает его слова мимо ушей и спрашивает:

— А тебе никогда не случалось бывать на большом файрстоновском заводе? О нем все время пишут в газетах — там продолжают выпускать радиальные колеса со стальными покрышками по пятьсот долларов, хотя они то и дело отлетают.

— Типичная штука, — говорит мальчишка. — Вся продукция у нас такая. Вся американская продукция.

— А ведь мы когда-то производили все наилучшее, — говорит Гарри, глядя вдаль, точно отыскивая там место, где они с Нельсоном могли бы сойтись и поладить.

— Так мне говорили. — Мальчишка снова утыкается в свою книгу.

— Нельсон, насчет работы. Я сказал твоей маме, что на лето мы поставим тебя на мойку и текущий ремонт. Ты там многому научишься, просто наблюдая за работой Мэнни и ребят.

— Пап, я слишком стар для мойки. И потом, мне, может, нужно что-то более постоянное, чем работа на лето.

— Ты что же, хочешь мне сказать, что намерен бросить колледж, хотя тебе осталось учиться всего какой-то паршивый год?

Он повысил голос, и мальчишка сразу встревожился. Он смотрит на отца раскрыв рот — темный провал рта и глазницы образуют три дыры на узком лице. Дождь барабанит по крыше веранды. Дженис и ее мамаша спускаются сверху, посмотрев «Уолтонов», обе в слезах. Дженис вытирает глаза пальцами и смеется:

— До чего же глупо так расчувствоваться. А ведь в «Пипл» писали, что все актеры перессорились и сериал из-за этого пришлось снять.

— До чего же они повторяют по телевидению одно и то же, — говорит мамаша Спрингер, опускаясь рядом с Нельсоном на серый диван с таким видом, точно небольшое путешествие со второго этажа лишило ее последних сил. — Эту постановку я и раньше видела, а все равно пронимает.

— Малый заявил мне, — объявляет Гарри, — что, наверно, не вернется в Кент.

Дженис, направившаяся было на кухню, чтобы плеснуть себе капельку кампари, застывает на месте. Жара такая, что на ней лишь коротенькое прозрачное неглиже поверх трусиков.

— Ты же это знал, Гарри, — говорит она.

Красные узенькие трусики, подмечает он, которые кажутся сквозь неглиже тускло-малиновыми. На прошлой неделе, когда жара достигла апогея, она отправилась в Бруэр к парикмахеру, к которому ходит Дорис Кауфман. У нее теперь коротко остриженный затылок и челка — Гарри к этому еще не привык, у него такое чувство, будто какая-то чужая женщина болтается тут полуголая.

— Черта с два я знал! — чуть не на крике вырывается у него. — И это после того, как мы вложили такие деньги в его образование?

— Ну, — говорит Дженис, поворачиваясь так стремительно, что колыхнулось неглиже, — может, он там взял уже все, что мог.

— Я этого не понимаю. Тут что-то не то. Парень возвращается домой без всяких объяснений, его девчонка проводит время с Чарли Ставросом, а он сидит тут и намекает мне, чтобы я выставил Чарли и взял на это место его.

— Ну, — миролюбиво произносит мамаша Спрингер. — Нельсон ведь уже взрослый. Фред нашел же место для тебя, Гарри, и я знаю, что, будь он с нами, он бы нашел место и для Нельсона.

На серванте покойный Фред Спрингер слушает шум дождя и глядит затуманенным взором.

— Солидное место — нет, — говорит Гарри. — Во всяком случае, для человека, который бросает колледж, не дослушав нескольких ерундовых курсов, — никогда!

— Ну, Гарри, — говорит мамаша Спрингер, такая спокойная и размягченная, точно она не телевизор смотрела, а выкурила трубку гашиша, — некоторые люди сказали бы, что не таким уж ты был многообещающим, когда Фред взял тебя. Многие его отговаривали.

А там, в деревне, под землей фермер Байер оплакивает свой парк школьных автобусов, ржавеющих под дождем.

— Мне тогда было сорок лет, и я остался без работы не по своей вине. Я же был линотипистом и сидел за линотипом, пока он существовал.

— Ты занимался тем же, чем занимался твой отец, — говорит ему Дженис, — а именно этого хочет и Нельсон.

— Конечно, *конечно*, — кричит Гарри, — когда он окончит колледж — пожалуйста! Хотя, по правде говоря, я-то надеялся, что он захочет большего. Но почему такая спешка? И вообще, зачем он вернулся домой? Если бы мне в его возрасте повезло попасть в такой штат, как Колорадо, уж по крайней мере лето я бы там провел.

Дженис, даже не подозревая, как эротично она выглядит, затягивается сигаретой.

— Почему ты не хочешь, чтобы твой собственный сын жил дома?

— Да слишком он *взрослый*, чтоб жить дома! От чего он бежит?

Судя по их лицам, он, видимо, напал на след, а на какой — не знает. Да и не уверен, что хочет знать. Ответом ему тишина, и в ней снова слышен шум дождя за стенами их освещенного владения — тихий, упорный, неустанный, миллионами крошечных ракет он поражает цель и сбегает ручейками с поверхностей. Где-то там лежат Ушлый, Джилл, от которых остались уже одни кости.

— Забудем об этом, — говорит Нельсон, вставая. — Не хочу я никакой работы у этого омерзительного типа.

— Что это он так обозлился? — обращается к женщинам Гарри. — Я ведь только и сказал, что не понимаю, почему мы должны выгонять Чарли ради того, чтобы малый мог торговать спортивными машинами. Со временем — безусловно. Даже, может, еще в восьмидесятом году. Бери бразды в свои руки, молодая Америка. Заглатывай меня. Но всему свой срок, Бог ты мой. У нас еще куча времени.

— В самом деле? — как-то странно спрашивает Дженис. Она определенно что-то знает. Все сучки все знают.

Он поворачивается к ней:

— И ты туда же! Мне казалось, что уж *ты-то* должна бы относиться лояльнее к Чарли.

— Лояльнее, чем к собственному сыну?

— Вот что я тебе скажу. Вот что я вам скажу. Если уйдет Чарли, я тоже уйду. — Он пытается встать, но глубокое кресло не сразу выпускает его.

— Гип-гип ура! — произносит Нельсон, сдергивает свою джинсовую куртку с вешалки, стоящей у входной двери, и натягивает ее. Он выглядит сгорбившимся и жалким, точно крыса, которую вот-вот утопят.

— Теперь он покалечит «мустанг». — Гарри наконец вылезает из кресла и встает во весь рост, возвышаясь над ними.

Мамаша Спрингер хлопает себя по коленям, растопырив пальцы:

— Ну, это препирательство вконец испортило мне настроение. Пойду согрею воду для чая. От этой сырости у меня в суставах прямо черти расплясались.

Дженис говорит:

— Гарри, попрощайся с Нельсоном по-человечески.

Он возражает:

— Он же не попрощался со мной по-человечески. Я пытался говорить с ним по-человечески о колледже, а впечатление такое, точно я рвал ему зубы. Вечно вы устраиваете из всего секреты! Я теперь даже не знаю, чему он учится. Сначала он готовился стать врачом, но ему, видите ли, оказалась не по зубам химия, потом это была антропология, но там, видите ли, слишком много надо было запоминать; последнее, что я слышал, — он перекинулся на общественные науки, но это оказалось слишком большим дерьмом.

— Я учусь на географа, — заявил Нельсон, топчась у двери: уж очень ему охота удрать.

— На географа! Географию ведь преподают в третьем классе! В жизни не слыхал, чтобы взрослый человек изучал географию.

— А это, судя по всему, считается там серьезной специальностью, — говорит Дженис.

— Что же они целый год делают — раскрашивают карты?

— Мам, мне пора бежать. Где у тебя ключи от машины?

— Посмотри в кармане моего плаща.

А Гарри не может отвязаться от сына.

— Запомни, что дороги у нас здесь скользкие, когда мокро, — говорит он. — И если потеряешься, звони своему профессору географии.

— То, что Чарли пригласил Мелани, тебя уязвляет, верно? — говорит ему Нельсон.

— Нисколько. Меня уязвляет то, что это не уязвляет тебя.

— А я выродок, — сообщает отцу Нельсон.

— Дженис, ну что я сделал парню, чтоб заслужить такое?

Она вздыхает:

— О, я полагаю, ты знаешь.

Надоели ему эти намеки на его небезупречное прошлое.

— Я же заботился о нем, верно? Пока ты где-то болталась, кто ставил ему на стол кашу и отправлял в школу?

— Папочка, — с наигранной горечью произносит Нельсон.

Тут вмешивается Дженис:

— Нелли, ну почему ты не уходишь, раз собрался уходить? Ты нашел ключи?

Парень позвякивает ими.

— Ты обрекаешь свой автомобиль на самоубийство, — говорит ей Гарри. — Этот парень — убийца машин.

— Это же была всего лишь паршивая *царапина*, — кричит Нельсон, обращаясь к потолку, — а он, видно, никогда не перестанет меня *мучить* ! — Дверь хлопает, успев впустить резкий ток воздуха, пахнущего дождем.

— Кто еще хочет чаю? — кричит из кухни мамаша Спрингер.

Они идут к ней. После забитой мебелью душной гостиной в кухне с ее сверкающими эмалированными поверхностями мир кажется менее мрачным.

— Гарри, не надо так наседать на мальчика, — советует ему теща. — У него столько забот.

— Каких, например? — резко спрашивает он.

— Ну-у, — произносит мамаша все так же мягко, ставя тарелки под чашки с блюдцами, как принято у Уолтонов. — Мало ли что у молодых людей бывает.

У Дженис под ночной рубашкой надеты трусы, но лифчика нет, и при ярком свете соски просвечивают сквозь материю, такие же розовые, только потемнее, ближе к красному вину. Она говорит:

— В трудное мы живем время. Казалось бы, перед молодыми людьми открывается столько возможностей, и они должны хотеть того и этого, а когда им исполняется двадцать, они обнаруживают, что деньги-то, оказывается, совсем не легко заработать. У них нет даже тех возможностей, какие были у нас.

Такие речи что-то на нее не похожи.

— А ты-то с кем на эту тему говорила? — презрительно спрашивает Гарри.

С Дженис нелегко справляться; она приглаживает челку растопыренными, как грабли, пальцами и отвечает:

— С некоторыми женщинами в клубе: у них дети тоже вернулись домой и не знают, что с собой делать. Этому даже теперь есть название — какое-то там возвращение в родное гнездо.

— Синдром возвращения в родное гнездо, — подсказывает Гарри: они его успокоили. Вот так же, бывало, они с папой и мамой, уложив Мим в постель, садились за кухонный стол, где стояли каша и какао, и иногда чай. Он чувствовал, что может даже пожаловаться. — Если бы он хоть *попросил* помочь ему, — говорит он, — я бы постарался. Но он же не просит. Он хочет брать без спроса.

— Такова уж человеческая природа, — говорит мамаша Спрингер, взбодрившись. Чай заварился ей по вкусу, и, как бы желая поставить на разговоре точку, она добавляет: — Нельсон ведь премилый мальчик, просто на него сейчас слишком много, по-моему, навалилось.

— А на кого не навалилось? — спрашивает Гарри.

В постели — возможно, это дождь так возбуждает его — Кролик настоятельно требует любви, хотя Дженис сначала сопротивляется.

— Если б знала, я приняла бы ванну, — говорит она, но не от нее хорошо пахнет — он чувствует этакий густой запах джунглей, запах гниения, таящегося глубоко, глубоко под папоротниками.

Кролик не перестает к ней приставать, боясь ударить лицом в грязь, тогда холодная ярость овладевает Дженис, она выгибает бедра, трется клитором об его лицо и дает ему кончить в себя, уже лежа под ним, а он, исчерпав все силы, лежит и снова прислушивается к шуму дождя, который то и дело налетает и с металлическим стуком бьет в окно, в более быстром ритме, чем по железному водостоку, куда сливаются потоки дождя. Гарри говорит жене:

— Мне нравится жить под одной крышей с Нельсоном. Это здорово, когда у тебя есть противник. Обостряет все чувства.

За окнами, но так близко, точно они стоят там, шелестит бук, принимая на себя льющиеся с листка на листок, с ветки на ветку, точно по лестнице, непрекращающиеся потоки дождя.

— Какой же Нельсон тебе противник? Он твой сын и нуждается в тебе сейчас больше, чем когда-либо, только не может этого сказать.

Дождь — последнее оставшееся у Гарри доказательство, что Бог есть.

— Я чувствую, — говорит он, — есть что-то, чего я не знаю.

Дженис признает:

— Есть.

— Что же это? — И, не получая ответа, он задает другой вопрос: — А ты откуда знаешь?

— Мама и Мелани проболтались.

— Это что-то очень скверное? Наркотики?

— Ох, Гарри, нет. — Она невольно обнимает его: в своем неведении он, видимо, кажется ей таким ранимым. — Ничего похожего. Нельсон ведь по натуре похож на тебя. Он избегает грязи.

— Тогда что же, черт побери, происходит? Почему мне нельзя сказать?

Она снова прижимает его к себе и легонько смеется:

— Потому что ты не Спрингер.

Она погрузилась в сон и ровно, легонько посапывает, а он еще долго лежит и слушает дождь, не желает отсекать себя от этого звука, звука жизни. Не только ведь у Спрингеров есть тайна. Те голубые глаза, такие светлые, сзади в «королле». Он все еще чувствует вкус Дженис на губах и думает, что, пожалуй, не такая уж это хорошая идея — съездить в Селтит. Дважды за то время, что он лежит без сна, на улице останавливается машина и в доме открывается входная дверь: в первый раз, судя по тому, как тихо урчит мотор и какие легкие шаги раздаются на крыльце, это Ставрос привез Мелани; во второй раз, всего несколькими минутами позже, слышно, как ревет мотор, потом резко выключается, и шаги звучат громко, вызывающе — это, должно быть, Нельсон, он явно перебрал пива. По звукам, сопровождавшим приезд второй машины, Кролик приходит к выводу, что дождь стихает. Он прислушивается, не раздадутся ли молодые шаги на лестнице, но похоже, что одна пара ног проследовала за другой на кухню: Мелани решила перекусить. Любопытная штука насчет этих вегетарианцев — они, похоже, вечно голодны. Человек ест и ест — и все ему кажется, что еда не та. Кто ему однажды так сказал? Тотеро в конце жизни казался таким старым, а насколько он был старше, чем Гарри сейчас? Нельсон и Мелани без конца болтают на кухне, так что Гарри надоедает подслушивать и он садится. Во сне Гарри кричит на мальчишку по телефону, что стоит на площадке, но — хотя рот его открыт так широко, что он видит все свои зубы как на схеме, на которой дантист помечает кариес, — из него не вылетает ни звука; скулы и веки у него свело точно от мороза, и когда он просыпается, ему кажется, что он состроил рожу утреннему солнцу, отчаянно бьющему в стекла после дождя.

Витрины «Спрингер-моторс» недавно мыли, и Гарри, стоя за стеклом, не видит на нем ни пылинки — даже не поймешь, внутри ты или на улице, где работают свои кондиционеры, где вчерашний дождь омыл мир, оставив после себя лужи, и лишь в листве дерева у «Придорожной кухни», на той стороне шоссе 111, заметно угасание — то тут, то там мертвый или пожелтевший лист висит на кончике пышно убранной ветки, уже тронутой смертью. Транспорт в этот рабочий день течет непрерывным потоком. Картер все твердит, что осенью обложит налогом огромные доходы нефтяных компаний, но Гарри чувствует, что этому не бывать. Картер умен как черт и много молится, но, похоже, он держится той же тактики, что и старина Эйзенхауэр: не совершать крупных акций, а каждый день — по капельке.

Чарли заканчивает оформление покупки — он сбывает молодой черной паре восьмицилиндровый подержанный «бьюик» семьдесят третьего года выпуска: ну как не воспользоваться тем, что эти славные люди отстали от времени, не знают, что все изменилось, что у нас нехватка бензина и ловкачи вкладывают деньги в иностранные марки с моторами для швейных машин. Молодые люди даже приоделись ради такого случая: на жене костюм цвета лаванды с короткой, по отжившей моде, юбкой, обнажающей жесткие бугры икр, высоко посаженных на кривых тощих ногах. Право же, они иначе скроены, чем мы, — Ушлый говорил: по последней моде. Ягодицы у женщины твердые и высоко посаженные, они образуют одну линию с икрами, — Кролик наблюдает, как она ходит по все еще мокрому блестящему асфальту вокруг старого, слишком яркого «бьюика» под иссушающим солнцем. Милая сердцу картина из прошлого. И тем не менее Гарри подташнивает оттого, что он мало спал, и ощущение это не проходит. Чарли что-то говорит, так что оба сгибаются пополам от смеха, затем садятся в свою новую колымагу и уезжают. Чарли возвращается за свой столик в углу прохладного демонстрационного зада, и Гарри подходит к нему.

— Как тебе понравилась вчера Мелани? — Он старается, чтобы в голосе не звучало издевки.

— Славная девушка. — Карандаш Чарли продолжает при этом летать по бумаге. — Очень открытая.

— Что же в ней открытого? — Голос Гарри звенит от возмущения. — Чудная она птица, с моей точки зрения.

— Ничего подобного, чемпион. У нее очень трезвая голова. Она из тех женщин, которые отпугивают людей тем, что насквозь все видят и потому держат себя в узде.

— Ты, значит, доводишь до моего сведения, что с тобой она держала себя в узде.

— Я ничего другого и не ожидал. В моем-то возрасте — кому это надо?

— Ты же моложе меня.

— Не душой. Ты из тех, кто еще учится.

Вот так же бывало и в школе, когда казалось, что всюду тайны, они порхали по коридорам, прыгали вокруг, точно мяч по площадке во время перемены, а Гарри не мог уловить ни одной, девчонки не давали до них добраться, были шустрее его.

— Она вспоминала о Нельсоне?

— Довольно много.

— И как по-твоему, что между ними?

— По-моему, они просто приятели.

— Ты больше не думаешь, что они спят вместе?

Чарли сдается, хлопает ладонями по столу и отъезжает от своих бумаг.

— Черт, я же не знаю, как у них это происходит, у молодежи. В наше время если удавалось переспать с девчонкой, ты перекидывался на другую. А у них, может, все иначе. Они не хотят женщин пачками, как мы. Если Мелани и спит с ним, то, судя по тому, как она о нем говорит, он для нее все равно что одноглазый мишка, которого обнимают, прежде чем заснуть.

— Она так к нему относится? Совсем по-детски.

— «Легкоранимый» — так она его назвала.

— Чего-то в этой картине недостает, — высказывает предположение Гарри. — Дженис вчера вечером обронила несколько намеков.

Ставрос слегка пожимает плечами:

— Может, это что-то там, в Колорадо. Какая-нибудь девчонка.

— Она ничего такого не говорила?

Ставрос отвечает не сразу — задумывается, указательным пальцем поправляет очки с янтарными стеклами и не снимает пальца с переносицы.

— Нет.

Гарри решает откровенно пожаловаться:

— Никак не могу понять, что парень хочет.

— Хочет жить в реальном мире. По-моему, он хочет зацепиться здесь.

— Я знаю, что он *хочет* здесь зацепиться, но я этого *не хочу*. Мне как-то не по себе при нем. Да с такой унылой рожей он не сможет продать...

— ...даже кока-колу в Сахаре, — доканчивает за него Чарли. — Но хочешь не хочешь, а он внук Фреда Спрингера.

— Угу, и Дженис, и Бесси обе наседают на меня — ты это видел в тот вечер. Они доведут меня до бешенства. У нас так славно, симметрично расставлены силы, а сколько машин мы продали в июле?

Ставрос бросает взгляд на листок бумаги, лежащий возле его локтя.

— Поверишь ли, двадцать девять. Тринадцать подержанных, шестнадцать новых. Включая три «селики» по десять кусков каждая. Вот уж никак не думал, что их удастся сбыть, притом что Детройт стал выпускать сейчас эти маленькие спортивные машинки за полцены. Но япошки — они умеют анализировать рынок.

— Поэтому к черту Нельсона. Да и от лета остался всего один месяц. Почему мы должны лишать Джейка и Руди части комиссионных, чтобы потрафить избалованному парню, который не желает работать в мастерской? Тем более, что ему и руки-то не пришлось бы марать — мы могли бы поставить его в отдел запасных частей.

Ставрос говорит:

— Ты мог бы положить ему твердую ставку здесь, в зале. Я бы взял его под свое крылышко.

Чарли, видимо, не понимает, что в таком случае вылетит он. Попробуй встать на чью-то защиту — и этот тип тут же начнет подрывать тебя. Но Чарли под конец все-таки прозревает суть проблемы — он так и говорит.

— Послушай! Ты зять, тебя нельзя трогать. А я, единственно, с кем я здесь связан, — это со старухой, и причем чисто сентиментальными узами: она меня любит, потому что я напоминаю ей о Фреде, о былых днях. Но узы крови сильнее сантиментов. Мне не за что уцепиться. Не можешь победить — уступай. А кроме того, думается, я сумел бы поговорить с парнем, мог бы кое-что для него сделать. Не волнуйся, он здесь не задержится — слишком он непоседливый. Очень уж похож на своего старика.

— Не вижу никакого сходства, — говорит Гарри, хоть ему и приятно это услышать.

— А ты и не можешь видеть. Не знаю, но, по-моему, тяжело нынче быть отцом. Когда я был мальчишкой, все вроде было проще. Скажи парню, что он должен делать, и если он этого не будет делать — выгоняй. Так я считаю. Когда ты с Джен и со старухой поедешь отдыхать в Поконы, Нельсон тоже поедет с вами?

— Они спрашивали его, но он не выразил особого энтузиазма. В детстве он всегда тосковал там. Господи, это же будет сущий ад — там и без того тесно. Даже здесь, в доме, в какую бы комнату ты ни зашел, всюду он сидит с пивом.

— Правильно. Так почему бы не купить ему костюм с галстуком и не попробовать его здесь? Положи ему минимальное жалованье, никаких комиссионных и никаких премий. Тогда он не так будет действовать тебе на нервы, а ты — ему.

— Как же это я могу действовать ему на нервы? Он просто вытирает об меня ноги. Без конца берет машину и еще хочет, чтоб я чувствовал себя виноватым.

Чарли не удостаивает его ответом: все это он слышал уже не раз.

— Что ж, — признает Гарри, — это идея. А потом он вернется в колледж?

Чарли пожимает плечами:

— Будем надеяться. Может, ты сумеешь включить это в условия сделки.

Глядя вниз на узкую голову Чарли, пересеченную прядью темных волос, Кролик лишний раз замечает, какой у него вырос живот, этакая гора, распирающая костюм, он превратился в полтора человека, а некогда плотный Чарли за те же годы постепенно усох. Гарри спрашивает его:

— Ты действительно хочешь сделать это для Нельсона?

— Мне нравится парень. Для меня он как калека. Впрочем, нынче все они такие.

На ярком солнце остановилась машина, из которой вылезла пара и направилась к дверям демонстрационного зала — хорошо одетая пара вроде тех, что живут в Пенн-Парке; скорее всего они возьмут проспекты и отправятся в другое место покупать себе «мерседес», чтоб вложить капитал.

— Что ж, это будет твоя головная боль, не моя, — говорит Гарри, обращаясь к Чарли. А вообще-то все может получиться даже славно. Мелани не останется одна в большом доме. И Кролику вдруг приходит в голову, что это, возможно, идея Мелани, а для Чарли — способ не терять ее расположения.

Лежа с Нельсоном в постели, Мелани спрашивает его:

— Чему же ты учишься?

— О, разному.

Эти недели, пока старшие находятся в Поконах, они решили спать в ее постели в комнате окнами на улицу. За месяц с небольшим своего пребывания в этом доме Мелани постепенно отодвинула безголовый манекен в угол и спрятала подальше другое уродливое имущество Спрингеров: засунула свернутую ковровую дорожку под кровать, а в глубь стенного шкафа, где уже и так полно вышедших из моды и ставших тесными вещей в полиэтиленовых мешках из чистки, перетащила сундук со старыми занавесками и сломанную швейную машину «Зингер» с ножной педалью. С помощью клейкой ленты она прилепила несколько плакатов Питера Макса к стенам, и теперь комната выглядит уже вполне ее спальней. До сих пор они пользовались комнатой Нельсона, но кровать там односпальная, в которой он спал мальчишкой, и, по правде сказать, он чувствует себя там неуютно. Они вообще не собирались спать вместе в этом доме, но долгие неизбежные беседы, которые они ведут, не могли не привести к такому концу. Груди у Мелани, как успел заметить Чарли, в самом деле большие, их теплое колыханье иногда вызывает у Нельсона тошноту, когда он вспоминает о плоскогрудой другой, которую бросил.

— Уйма всякого всего, — продолжает он. — Существует, например, целая система невидимого нажима производителя на торговца. Ты обязан покупать наборы из специальных инструментов на тысячи долларов, кроме того, они не перестают переводить в стандарт то, что раньше считалось добавками, тем самым лишая продавца значительной части его дохода. Чарли рассказывал мне, что радио стоило торговцу около тридцати пяти долларов, а он добавлял к цене на машину этак долларов сто восемьдесят. Ну а раз производители становятся все более алчными и отбирают у торговца эти возможности, торговцам приходится, в свою очередь, что-то придумывать. Например, грунтовку. Или обработку против ржавчины. Даже виниловые сиденья и те обрабатывают якобы для того, чтоб они меньше изнашивались. Вот такие дела. Это, конечно, разбой, но в то же время занятно — как люди обкручивают друг друга. У деда было специальное приспособление для проверки эксплуатационных качеств машин, но папа от него отказался. Похоже, Чарли считает папу лентяем и человеком халатным.

Она рывком садится в постели — груди ее медленно перекатываются и серебрятся в сумеречном свете от дуговых фонарей, проникающем в комнату сквозь листья клена на Джозеф-стрит. Нельсон не может не чувствовать, какая Мелани по-матерински крупная и загадочная.

— Чарли пригласил меня пойти с ним еще раз куда-нибудь, — сообщает она.

— Так пойди, — советует Нельсон, наслаждаясь тем, что Мелани, сев и возвышаясь над ним, углубила ложбинку в смятой простыне, на которой он лежит.

Когда он был маленький и мама с папой жили в той квартире на Уилбер-стрит, а сюда приезжали в гости, его укладывали спать в этой самой комнате, волосы у бабушки были тогда еще черные, но игра светотеней на потолке у окна была такая же, как сейчас. Бабуля пела ему песенки — это он помнит, а вот какие — не помнит. Некоторые — на пенсильванском немецком. «Rudi, nidi, Geile...»[[18]](#footnote-18) Мелани вытягивает из прически заколку и ковыряет ею в пепельнице в поисках закрутки, в которой еще осталось одна-две затяжки. Она подносит ее к своим красным губам и поджигает — бумага вспыхивает. Когда она подняла руку, чтобы извлечь из волос заколку, в поле зрения Нельсона попала ее волосатая, небритая подмышка. И его член невольно, безо всяких оснований, начинает набухать в теплой, запомнившейся с детства ложбинке.

— Ну, не знаю, — говорит Мелани. — По-моему, он просто хочет уравнять счет в их отсутствие.

— А ты как к этому относишься?

— Без большого восторга.

— Он ведь вполне славный малый, — говорит Нельсон, уходя глубже в ложбинку рядом с ее безразличным телом, наслаждаясь все большим разрастанием своей эрекции. — Хоть и спал с моей мамашей.

— А что, если это убьет его — как я потом буду себя чувствовать? Ведь одна из причин, почему я поехала с тобой, объяснялась желанием выбить из головы всю эту дурь насчет любовника-папочки.

— Ты поехала со мной потому, что тебе предложила Пру. — Ему доставляет несказанное удовольствие произнести имя той, другой, словно глоток холодной воды в жаркий день. — Чтобы я никуда не делся.

— Ну да, но все равно я не поехала бы, если б у меня не было своих причин. И я рада, что поехала. Мне здесь нравится. Здесь совсем как прежняя Америка. Все эти кирпичные дома, такие прочные, так близко стоят друг к другу.

— А я все это терпеть не могу. Воздух здесь такой сырой и затхлый и такой душный.

— У тебя в самом деле такое чувство, Нельсон? — (Ему нравится, когда она вот так мурлычет его имя.) — Мне казалось, что в Колорадо ты был какой-то напуганный. Слишком там большие пространства. А может, это из-за ситуации.

Нельсон пропускает мимо ушей упоминание о Колорадо из-за эрекции — у него внизу лежит этакая дубинка из слоновой кости с закругленным концом, а перед глазами — по-женски толстые канаты горла Мелани, набухшие при последней затяжке крошечным окурком, который она зажала в накрашенных губах. Мелани всегда ходит накрашенная — и губы, и румяна на щеках, — чтобы лицо не казалось таким оливковым, а вот Пру никогда не красится, губы у нее такие же бледные, как лоб, и все лицо сухое и четкое, как на фотографии. Пру — при мысли о ней у Нельсона возникает неприятное ощущение, точно кто-то камушком втирает ему в живот песок. Он говорит:

— Больше всего меня здесь не устраивает, пожалуй, папа. — При мысли об отце неприятное саднящее ощущение усиливается. — Меня все в нем раздражает — то, как он сидит в гостиной, развалясь в вольтеровском кресле. Он... — Нельсон с трудом подбирает слова, так ему тошно. — Просто сидит посреди нашего чертова мира и гребет и гребет под себя. Он же и половины не знает того, что знает Чарли. Что он сделал, чтобы создать этот магазин? Мой дед — тот пробивал себе дорогу, а папаша ничего не делал, только был никудышным мужем моей матери. А что он сделал, чтобы заслужить такие деньги, — просто оказался слишком ленивым и никчемным, чтобы уйти от матери, хоть ему и хотелось... По-моему, он со странностями. Ты бы видела его с тем черным парнем, про которого я тебе рассказывал.

— Ты любил своего деда, верно, Нельсон? — Когда она накурится травки, голос у нее становится хриплым и каким-то запредельным, точно она пифия, сидящая над своим треножником, как им рассказывали на уроке антропологии в Кенте. Кент... ощущение, что ему втирают в живот песок, усилилось.

— *Он* любил меня, — убежденно говорит Нельсон, перекатившись с одного бока на другой и нащупав рукой слегка опавший член, больше похожий уже не на изделие из слоновой кости, а на нечто из плоти и крови. — Он не критиковал меня без конца за то, что из меня не вышел великий спортсмен и что я не вырос до десяти футов.

— Я ни разу не слышала, чтобы отец критиковал тебя, — заметила она, — разве что когда ты расколошматил его машину.

— Да не колошматил я ее, черт подери, я только поцарапал мерзавку, а он уже которую неделю держит ее в ремонте и никак не может успокоиться, хочет, чтоб я чувствовал себя виноватым, или ни на что не годным, или не знаю еще как. А ведь там и правда на дороге был зверек, какой-то маленький, не знаю какой, может, сурок, я бы видел полосы, если бы это был скунс, не понимаю, почему у этих дурацких животных такие короткие ноги — он же не шел, а *перекатывался*. Двигался прямиком на фары. Лучше бы я его убил. Эх, расколошматить бы все папочкины машины, всю его чертову наличность.

— Право, Нельсон, ты болтаешь что-то несусветное, — говорит Мелани, вся еще в блаженном трансе. — Тебе же нужен отец. Нам всем нужны отцы. И твой отец по крайней мере к твоим услугам. Он вовсе не плохой человек.

— Плохой, *действительно* плохой. Он понятия не имеет, что происходит, и ему все равно, и он считает себя таким чудесным малым. Вот что меня задевает — то, что он *счастлив*. Так чертовски *счастлив*. — Нельсон чуть не рыдает. — Подумай только, сколько горя он причинил. Из-за него умерла моя сестренка, а теперь он дал умереть этой Джилл.

Мелани все это знает.

— Ты не должен забывать об обстоятельствах, — терпеливо, нараспев произносит она. — Твой отец — не Господь Бог. — Ее рука под простыней ползет вниз, туда, где его пальцы обследовали ситуацию. Она улыбается. Зубы у нее идеальные. Ей их выровняли, а бедняжка Пру этим не занималась: ее родители были слишком бедны, поэтому она не любит улыбаться, хотя то, что зубы у нее неровные, не так заметно — просто клык слегка наехал на соседний зуб. — Ты так расстроен, — говорит Мелани, — из-за создавшейся ситуации. Но ведь в твоей ситуации отец не виноват.

— Виноват, — упорствует Нельсон. — Он во всем виноват, это он виноват, что я ни к черту не годен, и ему это нравится: по тому, как он иной раз на меня смотрит, сразу видно, что он наслаждается тем, что я такой. А как мама танцует вокруг него — можно подумать, что-то он действительно для нее сделал, тогда как на самом деле все наоборот.

— Послушай, Нельсон, ну хватит, — воркует Мелани. — Забудь ты об этом хоть сейчас. А я постараюсь тебя утешить. — Она сбрасывает простыню и поворачивается к нему спиной. — Бери меня сзади. Люблю, когда в меня так входят, особенно если я накурилась. Мне тогда кажется, будто я существую в двух измерениях.

Мелани и не старается кончить, когда они занимаются любовью: она же обслуживает мальчика, а не себя. А вот в Пру всегда чувствовалась женщина, которая всегда стремилась кончить, шептала ему в ухо: «Подожди!» — извивалась как угорь, чтобы таз оказался под нужным углом, и даже если он, не в силах больше сдерживаться, не оправдывал ее надежд, ее старания льстили ему. Эти воспоминания о Пру вызывают где-то глубоко, под ложечкой, чувство вины, и вспыхивает острая боль, как в тот момент, когда в «Челюстях» акула затягивает девушку под воду.

Вода. Кролик не доверяет этой стихии, хотя маленькое, бурое, круглое, как циферблат, озеро, чьи воды лижут песчаный пляж перед стареньким домом Спрингеров в Поконах, выглядит приветливым и покорным, и он плавает там каждый день до завтрака, до того как проснется Дженис и пока мамаша Спрингер в своем стеганом халате хлопочет у старой керосинки, готовя утренний кофе. В будни, когда здесь мало народу, он идет по крупному, специально завезенному песку, завернувшись в полотенце, и, бросив взгляд направо и налево, на коттеджи, соседствующие с их домиком среди сосен, погружается в озеро голышом. Какая роскошь! Серебристый холод обволакивает бедра, пронизывает насквозь. Мошки, кружащие над поверхностью воды, разлетаются и снова слетаются, когда он взмахивает рукой, прорезая жидкую застылость, и вправо и влево к глинистым, утыканным корягами берегам бегут от него круги. Если час ранний, на глади озера лежит дымка тумана. Гарри никогда не любил рано вставать, но теперь увидел в этом смысл — ты с самого начала вступаешь в день, до того, как он зашагал, и ты шагаешь вместе с ним. В туманной дымке чувствуется ночной холодок, незагрязненная свежесть мира, просыпающегося вместе с ним. Мальчишкой Кролик никогда не ездил в летние лагеря — наверное, Нельсон прав, они были слишком бедные, родителям никогда не приходило в голову посылать его туда. Раскаленные, потрескавшиеся тротуары и площадка для игр в Маунт-Джадже были его уделом в летнюю пору, а несколько поездок на побережье Нью-Джерси, предпринятых родителями, остались в его памяти почти как пытка — эти часы, проведенные на захолустных дорогах в старой колымаге, «форде» модели «А», а потом в грязно-коричневом «шевроле», где к жаре добавлялось раздражение, которое выплескивали его мать и сестра, а отец сидел, согнувшись, за рулем, веснушчатая тощая шея его сзади была вся мокрая, тогда как Гарри смотрел в окно на пролетавшие мимо городки Нью-Джерси, похожие, словно искаженное эхо, на его собственный городок, его собственную жизнь, по которой он начинал скучать уже через час. Городок за городком молча демонстрировали ему, сколь жалка его жизнь, более или менее повторяемая миллионами обитателей этих поселений, где дома, и веранды, и деревья были издевательскими слепками с тех, что стояли в Маунт-Джадже, и питали иллюзии других мальчишек, что они пуп земли, что существование их важно, полно смысла и кем-то любовно оберегается. Гарри смотрел на девчонок, шагавших по тротуарам, мимо которых они проезжали, и думал, которая из них станет его женой, а он свою судьбу видел в том, чтобы уехать из Маунт-Джаджа и жениться на девушке из другого городка. Поток машин по мере приближения к побережью становился все гуще, остервенелее, ближе к столичному. Машины с их блеском, их выхлопами всегда казались ему чем-то жестоким. Прибыв наконец на побережье под возмущенные возгласы: на стоянке машин — ни одного свободного места, служитель в купальне грубит, — они чинно проводили несколько часов на незнакомом пляже, где сухой песок обжигал ноги и забирался в купальный костюм, а мокрое ребристое дно океана там, где вода отступила, издавало бесконечно мертвящий запах, запах широко раскинувшей свои владения смерти. От каждой найденной раковины слегка воняло этим кошмаром... Вид родителей в купальных костюмах будоражил его. Мама не выглядела безобразно толстой, как некоторые другие матери, — тело у нее длинное, костлявое и жесткое, а когда она вставала, чтобы подозвать его или маленькую Мим, оказавшихся среди подозрительных чужих людей или в опасной близости от подступающей, по слухам, воды, руки ее взлетали, точно бесперые крылья. И звала она его в таких случаях не Кролик, а «Хасси! Хасси!». А у отца там, где тело закрыто рабочей спецовкой, кожа такая нежная, белая. Кролику втайне нравилось, что отец у него такой белый, он воспринимал это как сокровище, — в бане они с отцом быстро переодевались, не глядя друг на друга, и в конце дня переодевались снова. Возвращение в округ Дайамонд всегда было достаточно долгим, так что ты успевал сгореть под солнцем. Они с Мим начинали лупцевать друг друга — просто чтобы услышать, как вскрикнет другой, и взорвать скуку потерянного дня, который можно было бы плодотворно провести на игровой площадке Маунт-Джаджа в интригах и приятных знакомствах.

Когда он вспоминал об этих поездках за город, ему всегда казалось, что он поднимался вверх к океану, словно ехал к огромной голубой горе. Иногда вечером, перед тем как заснуть, он слышал шепот матери: «Хасси!» Теперь, став богатым, он понимает, что это были выезды бедняков, кончавшиеся тем, что они обгорали на солнце и у них расстраивался живот. Папа любил оладьи и крабов и тушеные устрицы, но стоило их поесть, как его начинало рвать. После того как модель «А» была поставлена в гараж, а маленькая Мим уложена в кровать, Гарри слышал, как в дальнем углу двора блевал отец. Но он никогда не жаловался — ни на рвоту, ни на свою работу: ничего тут не поделаешь, так уж на роду написано, только одно повторяется регулярнее, чем другое. Итак, Кролик ни разу не отдыхал на курорте, когда впервые приехал в этот коттедж, который Фред Спрингер купил под конец своей жизни — после того как благодаря лицензии на продажу «тойот» стал уже не просто торговцем подержанными машинами, после того как его единственная дочь вышла замуж и повзрослела. Гарри и Дженис обычно приезжали сюда на неделю — погостить. Места здесь было совсем мало, и в отношениях быстро возникала напряженность — притом Нельсон, весь искусанный мошкарой, после первого же дня принимался ныть. Когда же старик Спрингер умер, Гарри стал тут хозяином и наконец понял, что природа — это не только нечто такое, что пробивается сквозь трещины тротуаров и держит фермеров безвылазно в захолустье, но это эликсир, роскошь, которую в наш нечистый век счастливчики могут купить, огородить и поддерживать в чистоте. Конечно, этот пятикомнатный, крытый темной дранкой коттедж, который мамаша Спрингер сдает в аренду на все лето, кроме трех недель августа, и, если удается, снова сдает на охотничий сезон, не идет ни в какое сравнение с островерхими особняками, охотничьими домиками и курортными отелями, которых полно в округе и которые либо постепенно приходят в упадок, либо сносятся строителями; но позади коттеджа — два акра леса, у него свой причал с лодкой, что дает Гарри возможность устраивать свою жизнь по выбору, как, скажем, выбирают блюда в меню или лоснящийся фрукт в вазе. Здесь, в Поконах, еда, физические упражнения и сон не вытеснены на задворки, а занимают весь день, становясь чем-то безмерно важным. Запах свежего кофе встречает его, когда он шагает к дому, еще мокрый после купания; утренний туман проникает поцелуем сквозь заржавевшую оконную сетку; день за днем он видит Дженис все в тех же теннисных шортах, из которых торчат загорелые ноги, и в черной майке парня; на перилах веранды сидит синяя сойка и при его приближении перелетает на другое место; гладкий камень в розовых прожилках поддерживает дверь наверху, у которой отлетела задвижка; горки глины и сорняков высятся там, где вбиты свежие столбики. Гарри любит здесь все и уже не впервые за свою жизнь старается привести себя в состояние гармонии с переплетением простых фактов, из которых состоит его существование и которые от рождения заложены в нем. Можно же, наверное, жить хорошо.

Он старается не налегать на джин и закуску. Он плавает, и слушает воспоминания мамаши Спрингер за утренним кофе, и каждый день ездит с Дженис в поселок за покупками. По вечерам они втроем играют в безик при ярком свете напольных ламп со штативами. Он не любит удить рыбу и не очень любит играть с женой в теннис против одной из пар, которые, как и они, могут пользоваться кортом для домовладельцев — старым прямоугольником из глины среди сосен, с закраинами, бурыми иглами, и с провисшей, точно мокрое белье, проволочной оградой. Дженис ведь каждый день практикуется в «Летящем орле», и рядом с ее сильным, грациозным телом он чувствует себя нескладным и неуклюжим. Мяч летит к нему с такой яростью, что его ракетке не справиться с ним. На черной майке Дженис выгоревшие буквы — «Филадельфийцы», эту майку он купил Нельсону в одну из их поездок на Стадион ветеранов, и парень оставил ее, когда уехал в Кент, а Дженис, молодясь, обнаружила майку и присвоила. Типичная ситуация: парень вырос и стал для него угрозой и трагедией, а для нее — оправданием, чтобы взять майку. Кстати, Нельсон в нее сейчас и не влез бы. А на Дженис она сидит отлично, — Кролик чувствует, что она рядом, видит краешком глаза, как она двигается свободнее, чем он, смуглая женщина среднего возраста, с коротко остриженными волосами и подпрыгивающими пейсами. Мяч всякий раз дугой отлетает от ее ракетки, а Кролик либо слишком сильно ударяет по нему, либо, стараясь, как она говорит, «ласково послать» его, отправляет прямо в сетку.

— Гарри, не старайся целиться, — говорит она. — Сгибай колени. Поворачивайся бедром к сетке. — Она взяла немало уроков. Прошедшие десять лет научили ее куда большему, чем его.

И сейчас, ожидая очередной подачи, он думает: что же он все-таки сделал со своей жизнью, которая уже наполовину прошла? Он был хорошим сыном своей матери, потом хорошим, с точки зрения зрителей, игроком в баскетбол, хорошим малым, с точки зрения Тотеро, своего старого тренера, который считал, что в Кролике есть что-то особое. И Рут тоже считала, что в нем есть что-то особое, хоть и видела, что это исчезает. Какое-то время Гарри сражался со страхом смерти, потом плюнул и стал работать. А теперь столько людей вокруг умерло, что он испытывает ко всем живым чувство товарищества. Он любит этих людей, которые вместе с ним находятся в замкнутом прямоугольнике теннисного корта. Эд и Лоретта. Эд — подрядчик из Истона, специалист по установке компьютеров. Гарри любит деревья над головой и августовское голубое небо над ними. Что он знает? Он никогда не читает книг — только газеты, чтоб было о чем говорить с людьми, да и то главным образом хронику, к примеру: куда еще поедет иранский шах и насколько он в действительности болен и про того доктора из Балтимора. Гарри любит природу, хотя и не знает толком, что как называется. Это — сосны, или ели, или пихты? Он любит деньги, хотя не понимает, как они притекают к нему или как утекают. Он любит мужчин, которые не обращают внимания на свои животы и красные морщинистые шеи, но не знают, о чем говорить, когда игра кончена, какой бы она ни была. До чего же пошлой мы делаем жизнь! И тем не менее мозг — удивительная штука, такую машину никто не может сделать, хотя, по словам Эда, есть компьютеры, которые занимают целую комнату, а тело — оно может выполнять тысячу функций, которые ни один завод в мире не может воспроизвести. Гарри любит спать с женщинами, хотя теперь все больше и больше предпочитает лишь рисовать себе это в мыслях, — пусть молодежь этим занимается, встречается в барах и в машинах, просто удивительно, до чего много их развелось: идешь по улице или стоишь в очереди в кино — и часто оказываешься вроде бы самым старым. Ночью, ложась рядом с Дженис, он чувствует, что ей нужно потрахаться, чтобы заснуть, и пытается представить себе что-то такое, что могло бы его завести, но ничего не получается; последнее, что срабатывает, — это видение женщины, которая стоит на четвереньках и трахается с одним мужиком, тогда как сама сосет другого. И в этом видении неясно, какую роль играет Гарри: то ли он наяривает, то ли его сосут; он смотрит на эту троицу со стороны, точно все происходит на экране одного из этих кинотеатров в верхней части Уайзер-стрит, где идут фильмы с названиями вроде «Девушки из гарема» и «На всю катушку», и он почему-то острее испытывает то, что чувствует женщина, ощущая член во рту, точно сладкий цукини, чем то, что чувствует тот, который трудится внизу — туда-сюда, туда-сюда. По вечерам ему случается произнести несколько слов молитвы, но вообще между ним и Богом как бы установилось суровое перемирие.

Он начал бегать. Сначала тяжело топал в лесу по старым проселкам и тропинкам для верховой езды в теннисных туфлях, порыжевших от глинистой пыли, а потом в синих с золотыми полосками кроссовках, купленных в спортивном магазине в Страудсберге специально для этой цели, — туфлях для бега со скошенными на носу и на пятке подошвами, подошвами в упругих кружочках, которые, точно спрессованные пружинки, с силой подбрасывают его вверх, и он бежит — все легче, и быстрее, и ровнее. Сначала он чувствует, каким смертельным грузом давит его вес на сердце и легкие, а мускулы ног так болят по утрам, что он с трудом выползает из постели и громко смеется от удивления. Но, по мере того как идут дни и он бегает после ужина прохладными ранними вечерами, когда еще не весь свет исчез из леса, тело его привыкает к этому новому требованию, ноги становятся крепче, вес не так тяжел, грудь набирает больше воздуха, ветки проносятся мимо ушей точно на крыльях, и он увеличивает расстояние, со временем доводит его до полутора миль: за одну перекидку песочных часов он добегает до ворот старого поместья, преграждающих дальнейший путь. Угольный замок — так именуют поместье местные жители — был построен угольным магнатом из Скрантона и теперь почти заброшен его разъехавшимися по миру и в значительной мере вымершими потомками: из бассейна спущена вода, теннисные корты заросли, вся жизнь ушла отсюда. В охотничьем домике оленьи головы смотрят стеклянными глазами сквозь паутину; большой главный дом с его остроконечными шиферными крышами и зеркальными стеклами в окнах заколочен; правда, десять лет тому назад, по словам обитателей городка, один из внуков владельца пытался устроить тут коммуну. Судя по рассказам, молодежь привела поместье в жуткое состояние, продала все, что можно было сдвинуть с места, включая двух бронзовых бронтозавров, символов угольной эры, охранявших выход. Тяжелые чугунные ворота, ведущие в Угольный замок, обмотаны двойной цепью с висячим замком; Кролик дотрагивается до металла, преграждающего вход, устраивает себе секундную передышку, в то время как мир вокруг все еще бежит и ноги Кролика отзываются на это дрожью, затем поворачивается и трусит назад, стараясь ни о чем не думать и не замечать своего натруженного тела. Есть вдоль дороги пустырь, который был когда-то лугом, а сейчас на нем торчит можжевельник и сорняки с кисточками, куда ныряют ласточки и на лету заглатывают насекомых, оживших в вечерней свежести. И Кролик, подобно ласточкам, словно летит над землей, над лежащими в ней покойниками, сверкая синими с желтым новыми туфлями. Мертвецы смотрят вверх. Папа с мамой снова лежат вместе, как лежали многие годы на этой продавленной кровати, которую купили из вторых рук во время Депрессии и так и не заменили, хотя она скрипела, как трехколесный велосипед, оставленный под дождем, и была такой короткой, что ноги папы торчали из-под одеяла. Белые, как бумага, ноги, которые под конец стали все в прожилках, — если бы он хоть немного занимался собой, то, возможно, прожил бы дольше. И Тотеро лежит там внизу такой большеглазый — глаза у него точно блюдца на голове неправильной формы, а изо рта вываливается распухший язык в поисках слов. И Фред Спрингер, посадивший Гарри на то место, какое он сейчас занимает, не дает ему покоя — он горбится и гримасничает, как хороший покерист, глядящий на плохого игрока. И Ушлый, который, по утверждению газеты, первым выстрелил в филадельфийских полисменов, хотя тогда во дворе и в проходах их было человек двадцать, а на территории коммуны были лишь беременные женщины и дети, — Ушлый лежит, отвернувшись, черный, как сама земля. Луг кончается, и Гарри попадает в туннель, где сейчас темно и хвойные иглы образуют ковер, он бежит бесшумно, — так бесшумно передвигались меж деревьев индейцы, когда хруст сломанной ветки означал смерть, а он так устал, что с трудом владеет ногами, они разболтанно хлопают по устланному иглами ковру, точно рычаги машины, разболтавшейся от долгого употребления. И Бекки — крошечное зернышко, легшее в землю, и Джилл — бледный росток, который держали вдали от солнца, — ему кажется, что обе они бестелесно висят в земле, как звезды, а за ними — мириады звезд, целые народы, как, например, камбоджийцы, которых вогнали в смерть. И он бежит по всем ним, а они пружинят, приветствуют его, и легкие у него уже в огне, сердце болит, он — оболочка, отделившаяся от призраков, лежащих внизу, их волокна ласкают его ноги, он любит землю, он никогда не умрет.

Последние сто футов — вверх по дорожке к покосившемуся крыльцу — Кролик бежит как спринтер. Он открывает затянутую сеткой дверь и чувствует, как гнилые доски прогибаются под ним. Молочные стекла в старых керосиновых лампах, которые считаются теперь антиквариатом и ценятся все дороже, дрожат, как и стекла в буфете. Из кухни, шлепая босыми ногами, появляется Дженис и говорит:

— Гарри, ты же весь красный.

— Я... я... в порядке.

— Садись ты. Ради всего святого. Ну для чего ты себя тренируешь?

— Для эстафеты, — еле выдыхает он. — Так здорово. Жать и жать. Чувствовать границы своих возможностей.

— Слишком ты сильно жмешь, на мой взгляд. Мы с мамой решили, что ты заблудился. Мы хотим сыграть в безик.

— Мне необходимо принять душ. Плохо в этом беге то, что ты весь потный.

— Я все-таки не понимаю, что ты пытаешься доказать. — В этой майке «Филадельфийцев» она выглядит точно Нельсон до того, как он пополнел и стал бриться.

— Сейчас или никогда, — говорит он ей, чувствуя, как кровь приливает к мозгу и начинает играть фантазия. — Там кое-кто хочет меня прикончить. Я могу сейчас сдаться. Или бороться.

— Кто хочет прикончить тебя?

— Уж кому-кому, а тебе это известно. Ты же его высидела.

Горячую воду здесь подает маленький электронагреватель — первые несколько минут течет кипяток, потом вода мгновенно охлаждается. «Вполне можно убить кого-то, — думает Гарри, — если выключить холодную воду, пока человек в душе»... Пройдя в спальню, которая отведена им с Дженис, он надевает жокейские шорты, пеструю, под крокодила, рубашку и мягкую джинсовую куртку «Леви», выстиранную и высушенную в механической прачечной в городке. Он натягивает одну отутюженную вещь за другой — так укладывают плитки кафеля, создавая ровную поверхность, — и постепенно приходит в хорошее настроение. Когда он садится на кровать, чтобы натянуть свежие носки, красный луч закатного солнца пробивается в бреши между соснами и, словно нож, врезается между пальцами его ног с желтоватыми мозолями и волосками между суставов, с прозрачными ногтями, похожими на тонкие слюдяные окошечки в печи. Бывают ноги и похуже, чем у него: летом, когда женщины надевают сандалии, можно заметить, что у многих маленькие пальцы на ногах согнулись оттого, что они годами носили остроносые туфли на высоких каблуках, а большие пальцы лежат на соседних, так что сустав торчит как сломанный, — слава Богу, он мужчина и у него такого никогда не будет. Да и у Синди Мэркетт тоже: у нее пальцы лежат рядышком, как конфеты в коробочке. Пососи. Счастливчик этот деревянный Уэбб. Все еще счастливчик. До чего же хорошо жить! Гарри спускается вниз и для полного счастья разжигает огонь — пусть и четвертая стихия служит ему. Мамаша Спрингер, не желая отставать от времени, купила новую дровяную печку. Ее ярко-черная труба ловко вделана в старый камин из уродливых камней. Старик Спрингер установил на плинтусах электрический обогрев, когда коттедж подключили к электросети, но его вдова не желает тратиться и включать отопление, несмотря на то что в августе с озера несет холодом. Печка изготовлена в Тайване и стоит не менее чистая, чем кастрюля с длинной ручкой, купленная летом. Гарри кладет несколько сухих веток, найденных у коттеджа, поверх спортивной страницы, вырванной из филадельфийского «Бюллетеня», и смотрит, как они разгораются, смотрит, как воспламеняются и чернеют слова «ОРЛЫ»[[19]](#footnote-19) НАГОТОВЕ, потом буквы белеют, превращаясь в пепел, затем он подбрасывает несколько серповидных обрезков грушевого дерева, которые один местный деревообделочник продает у ворот своей фабрики бушелями. Огонь потрескивает в темноте, когда Дженис и ее мамаша, вымыв посуду, входят в комнату и вытаскивают колоду карт для безика.

Мамаша Спрингер сдает карты и говорит, произнося слова раздельно, в такт раскладываемым картам:

— Мы с Дженис говорили, мы считаем, право же, это неразумно — так бегать в твоем возрасте.

— Именно в моем возрасте это и надо делать. Настало время заботиться о себе, до сих пор я на себя поплевывал.

— Мама говорит, тебе надо сначала проверить сердце, — говорит Дженис.

Она надела свитер и джинсы, но ходит по-прежнему босиком. Он бросает взгляд на ее ноги под карточным столом. Какие ровные у нее пальцы. Не видно, чтобы они от чего-то пострадали. Костистые, загорелые. Ему это нравится — то, что здесь, в Поконах, она часто выглядит как мальчишка. Товарищ по игре. Это напоминает ему ту пору, когда он мальчишкой гостил у кого-нибудь из товарищей.

— Ты же знаешь, — говорит мамаша Спрингер, — что твоего отца свело в могилу сердце.

— Он многие годы страдал, — говорит Гарри, — от множества всяких хворей. Ему было семьдесят. Пора было и на покой.

— Ты, пожалуй, так не скажешь, когда настанет твой срок.

— Последнее время я думал о том, сколько людей я знал, которых уже нет, — говорит Гарри, глядя в свои карты. Туз, десятка, король и пиковый валет, но ни одной дамы. Поэтому и расклада не получается. Ни единой четверки. Куча треф. — Я — пас.

— Пас, — говорит Дженис.

— У меня двадцать одно, — со вздохом объявляет мамаша Спрингер и выкладывает веером бубны, девятку и пиковую даму с валетом.

— Ого! — восклицает Гарри. — Вот это сила!

— Кого ты имел в виду, Гарри? — спрашивает Дженис.

Она боится, что он имел в виду Бекки. Но он редко думает об их мертвом ребенке. А если и думает, то как о солнышке, выглянувшем ненадолго зимним днем после ночного снегопада.

— О-о, главным образом папу и маму. Интересно, смотрят ли они на нас. Большую часть жизни так стараешься привлечь к себе внимание родителей, что как-то жутковато жить без них. Я хочу сказать — кому до тебя дело?

— Многим людям, — говорит Дженис.

— Ты не знаешь, каково это, — говорит он ей. — Твоя мама пока жива.

— Поживу еще, — говорит Бесси и выкладывает на стол трефового туза. Ловким движением загребая взятку, она произносит: — Отец твой был хороший работник, никогда не задирал носа, а вот твою матушку, должна признаться, я всегда терпеть не могла. И собой нехороша была, и язык как бритва.

— Мама! Гарри любил свою мать.

Бесси с треском выкладывает червонного туза.

— Ну, я думаю, так оно и должно быть — по крайней мере говорят, что сын должен любить свою мать. Но я жалела его, когда она была жива. Она внушала ему слишком уж высокое мнение о себе, а опоры такой, как мы с Фредом тебе дали, дать не могла.

Она так говорит о Гарри, будто он тоже покойник.

— Я ведь еще тут, вы не заметили, — говорит он, выкладывая самую мелкую червонную карту, какая у него на руках.

Бесси поджимает губы и, надув щеки, опускает черные глаза на карты.

— Я знаю, что ты тут, я и не говорю ничего такого, чего не могла бы сказать тебе в лицо. Твоя мамаша была несчастная женщина, которая наделала гадостей. У вас с Дженис, когда вы начинали жизнь, все было бы иначе, если бы не Мэри Энгстром, да и потом, десять лет назад, тоже ничего не было. Слишком она много о себе воображала, вот что. — В лице мамаши Спрингер появляется этакая истовость, как бывает у женщин, ненавидящих друг друга. Впрочем, и мама не очень высоко ставила Бесси Спрингер: «...жалкая выскочка, женила на себе этого плута, да у нее мозгов столько, что по сковородке не размажешь, а живет в большущем особняке на Джозеф-стрит и на всех свысока смотрит. Кёрнеры — они же из фермеров, сами обрабатывают землю, да и землю-то бросовую: ферма ведь у них в горах была».

— Мать Гарри была прикована к постели, когда у нас сгорел дом. Она же умирала.

— Умирать-то умирала, а успела заварить кашу до того, как уйти на тот свет. Если бы она дала вам самим разобраться в своих отношениях с другими людьми, никогда бы вы не разошлись и не было бы всего этого горя. Завидовала она Кёрнерам, всю жизнь завидовала. Я знала ее, когда она была еще Мэри Реннинджер, на два класса старше меня, в старой школе Теда Стивенса до того, как построили новую школу на том месте, где раньше была ферма Морисов, и она всегда много воображала о себе. Понимаете, Реннинджеры не были деревенскими, они приехали из Бруэра и отличались складом ума обитателей трущоб и зазнайством. Она была слишком высокой для девушки и задирала нос. Твоя сестра, Гарри, вся пошла в отца. А отец твоего отца, по слухам, был из светловолосых шведов, он был штукатуром. — И она с треском выкладывает бубнового туза.

— Козырями можно ходить лишь после третьей взятки, — напоминает ей Гарри.

— Какая ерунда!

Она забирает туза и смотрит на свои карты сквозь недавно купленные, не идущие ей, но модные очки с толстой голубой оправой на низких, похожих на букву S, дужках и серебряной полосой на бровях. Они даже неудобны: ей то и дело приходится приподнимать их на своем маленьком курносом носике.

Она так явно мучается, размышляя, с какой карты пойти, что Гарри напоминает ей:

— Тебе нужно набрать всего одно очко. Ты ведь уже в выигрыше.

— А-а, хорошо... Фред всегда говорил: делай все возможное, пока можешь. — Она шире раздвигает веер карт: — А-а. Я так и думала, что у меня есть еще один, — и выкладывает трефового туза.

Но Дженис бьет его козырем и говорит:

— Извини, мама. У меня одни только трефы — ты же не могла этого знать!

— Я кое-что заподозрила, как только выложила своего туза. Предчувствие.

Гарри смеется: нельзя не любить старушку. Живя с этими двумя женщинами, он стал мягче и доверчивее по сравнению с тем, когда был маленьким и спрашивал у мамы, откуда тети писают.

— Меня в свое время одолевал вопрос, — признается он Бесси, — была ли мама — ну, вы понимаете — когда-либо неверна папе.

— Я бы в этом не сомневалась, — произносит она, поджав губы при виде того, как Дженис выкладывает свои тузы. — Вот видишь, — говорит она, метнув грозный взгляд на Гарри, — дал бы ты мне пойти тем бубновым тузом, она бы так не вылезла.

— Мамаша, — говорит он, — не можете же вы все время выигрывать — не будьте жадной. Я знаю, мама наверно была женщиной сексуальной, потому как посмотрите на Мим.

— Кстати, что слышно от твоей сестры? — спрашивает мамаша вежливости ради, глядя снова в свои карты. Тени от очков в замысловатой оправе падают ей налицо, и она выглядит старше, изможденнее, когда не надувается от гнева.

— У Мим все отлично. Держит парикмахерскую в Лас-Вегасе. Богатеет.

— Я и наполовину не верила тому, что люди говорили про нее, — с рассеянным видом заявляет мамаша.

У Дженис кончились тузы, и она кладет пикового короля под туза, который, по ее расчетам, на руках у Гарри. С тех пор как Дженис вошла в эту компанию, что играет в бридж и в теннис в «Летящем орле», она стала лучше разбираться в картах. Гарри выкладывает ожидаемого туза и, тотчас почувствовав себя хозяином положения, спрашивает мамашу Спрингер:

— А в Нельсоне, по-вашему, много от моей матери?

— Ничуточки, — с довольным видом произносит она и с треском кроет козырем его пиковую десятку. — Не единой капли.

— Как мне быть с парнем? — вопрошает он. Точно это не он, а кто-то другой произнес. Сквозь сетку на окне в комнату проникает туман.

— Будь к нему терпимее, — откликается мамаша со все еще победоносным видом, хоть и начинает ощущать недостаток в козырях.

— Будь потеплее, — добавляет Дженис.

— Слава Богу, он в будущем месяце отчалит назад в колледж.

Их молчание заполняет коттедж, как холодный воздух с озера. Сверчки.

— Вы обе что-то знаете, чего я не знаю, — осуждающе говорит он.

Они этого не отрицают.

Он решает прощупать почву:

— А что вы обе думаете о Мелани? По-моему, она угнетающе действует на парня.

— Ну, скажу я вам, все остальное мое, — объявляет мамаша Спрингер, выкладывая веер мелких бубен.

— Гарри, — говорит ему Дженис, — проблема не в Мелани.

— Если хотите знать мое мнение, — заявляет мамаша Спрингер так решительно, что оба понимают: она хочет переменить тему, — слишком уж Мелани тут у нас расположилась.

На экране телевизора красотки сыщицы гонятся за торговцами героином на целом караване дорогих машин, которые скользят и с визгом затормаживают, перелетают через прилавки с фруктами, сквозь огромные стекла витрин, и наконец две машины сталкиваются, в них врезается третья, крылья и решетки сплющиваются в замедленной съемке, затем все замирает, и справедливость торжествует. Ангелочек, сменивший Фарру Фосетт-Мейджорс, снимает смятое «Малибу» и встряхивает головой — вокруг ее лица образуется кудрявая рамка. Нельсон смеется над всем этим скопищем голливудских машин. Затем комнату заполняет более быстрый темп и более громкий звук рекламы; новая гамма света окрашивает лица, превращая в пухлых клоунов Мелани и Нельсона, которые сидят рядом на старом диване, обтянутом серой ворсистой материей, и смотрят в телевизор, поставленный в переделанной ими гостиной на то место, где раньше стояло вольтеровское кресло. Под их задранными вверх ногами поблескивают на полу бутылки пива; в воздухе висит сладковатый дымок и поднимается к потолку, словно призраки красоток сыщиц.

— Лихо они врезались друг в дружку, — изрекает Нельсон и, с трудом встав, выключает телевизор.

— По-моему, глупость какая-то, — говорит Мелани своим глуховатым, певучим голосом.

— А, черт, ты все считаешь глупым, за исключением — как же его зовут? — Керчифа.

— Дж. Ай. Гурджиефа.

Она просто углубляется в себя — в те сферы, куда, как она знает, он не может проникнуть. В Кенте стало ясно, что существуют области, вполне реальные для других, но нереальные для него, — не только языки, которых он не знает, или теоремы, которые не способен понять, но переменчивые области непрактичных знаний, где тем не менее можно найти свою выгоду. Мелани была загадкой: она не ела мяса и не чувствовала страха, она видела гармонию в хитросплетениях рук богов Азии. В ней не было этого протеста против ограничений, составлявшего часть характера Нельсона с тех пор, как он понял, что никогда не будет выше пяти футов девяти дюймов, хотя отец его был ростом шесть футов три дюйма, а может быть, этот протест появился у него и раньше, с тех пор, как он обнаружил, что не в состоянии удержать отца и мать вместе и спасти Джилл от гибели, к которой она стремилась, а может быть, и еще раньше, когда он смотрел на старших в черных костюмах и черных платьях, стоявших вокруг маленького белого, чем-то сверкавшего гробика с серебряными ручками, в котором, как ему сказали, лежит то, что должно было стать его сестренкой, она родилась, и ей дали умереть, не спросив его разрешения; никто вообще никогда ни о чем его не спрашивал — таков был мир взрослых, он вертится и вертится, и Мелани была частью этого мира и улыбалась ему из своего воздушного пузырика, в котором таинственно заключена власть. Как было бы хорошо, раз уж он встал, взять одну из этих пивных бутылок и разбить ее о кудрявую голову Мелани, а потом взять отбитую половину и ввинтить в ее улыбающееся пухлое личико с большими карими глазами и вишневыми губами, в это издевательское неизменное спокойствие Будды.

— Плевал я, как этого болвана зовут, все это дерьмо, — говорит он ей.

— Тебе следует его почитать, — говорит она. — Он просто чудо.

— В самом деле, что же он говорит?

Мелани перестает улыбаться и думает.

— Это нелегко изложить вкратце. Он говорит, что существует Четвертый путь. Помимо йогов, монахов и факиров.

— О, какая роскошь!

— И если ты пойдешь этим путем, то будешь, как он говорит, пробужден.

— А иначе ты спишь?

— Он очень хочет понять мир, как он есть. Он считает, что у нас у всех много личностей.

— Я хочу выйти, — объявляет он ей.

— Нельсон, но ведь уже десять часов вечера.

— Я обещал встретиться с Билли Фоснахтом и кое-какими ребятами в «Берлоге». — «Берлога» — это новый бар в Бруэре, на углу Уайзер и Сосновой улиц, где собирается молодежь. Раньше бар назывался «Феникс». — Ты же все время уходишь куда-то со Ставросом и оставляешь меня одного, — обвиняет он ее.

— Ты мог бы в это время почитать Гурджиефа, — говорит она и хихикает. — Да и вообще я уходила с Чарли не больше четырех или пяти раз.

— Ну, правильно, а все другие вечера ты работаешь.

— Ты так говоришь, будто мы с Чарли когда-нибудь чем-то этаким *занимались*, Нельсон. В последний раз мы сидели и смотрели телевизор с его мамой. Ты бы видел ее. Она выглядит моложе Чарли. Волосы у нее еще совсем черные. — И Мелани дотрагивается до собственных темных пушистых вьющихся волос. — Она удивительная.

Нельсон надевает джинсовую куртку, купленную в бруэрской лавке, специализирующейся на перепродаже поношенной одежды для полевых рабочих и пастухов. Стоила она в два раза дороже новой.

— Мы с Билли тут обделываем одно дельце, — говорит он Мелани. — Там еще один парень будет. Мне надо ехать.

— А я не могу с тобой?

— Ты же завтра работаешь, верно?

— Ты знаешь, что я не большая любительница спать. Спать — это давать волю телу.

— Я ненадолго. Почитай одну из своих книжек. — Он хихикает, передразнивая ее.

— А когда ты последний раз писал Пру? — спрашивает его Мелани. — Ты не отвечал ей эти дни.

Ярость снова вспыхивает в нем — узкая куртка, да и сами обои этой комнаты давят на него, стискивают, и он словно бы становится меньше и меньше.

— Да разве можно отвечать на все ее письма, она же пишет по два раза каждый чертов день — газеты и те реже выходят. Господи, чего только она мне не сообщает — и свою температуру, и что она ела...

Письма ее напечатаны на машинке, на краденой бумаге со штампом Кента, страница за страницей без единой помарки.

— Она думает, тебя это интересует, — с укором говорит Мелани. — Ей одиноко, и она боится.

— Она боится, — повышает голос Нельсон. — А чего ей бояться? Я тут в целости и сохранности, с таким сторожевым псом, как ты, даже в город съездить не могу выпить пива.

— Поезжай!

Ему стало стыдно.

— Честное слово, я ведь обещал Билли: он приведет с собой этого парня — у его сестры спортивный «триумф» семьдесят шестого года выпуска, который прошел всего пятьдесят пять тысяч.

— Так и поезжай, — спокойно говорит Мелани. — А я напишу Пру и объясню, что ты слишком занят.

— Слишком занят, слишком занят. Ради кого я все это делаю, как не ради этой дуры Пру, чтоб ей пусто было!

— Не знаю, Нельсон. Честное слово, не знаю, что ты делаешь и ради кого ты это делаешь. Знаю только, что я нашла работу, как мы договорились, а ты ничего не сделал, разве что в конце концов заставил своего несчастного отца дать тебе работу.

— Моего *несчастного* отца! *Несчастного* отца! Послушай, кто, по-твоему, посадил его на это место? Кто, по-твоему, владеет компанией — моя мать и бабка владеют, а мой папаша просто их представитель и при этом чертовски плохо справляется со своим делом. Теперь, когда Чарли выдохся, там вообще не осталось ни одного энергичного или предприимчивого человека. Руди и Джейк — просто пешки. А мой отец доведет дело до ручки, и это грустно.

— Можешь говорить что хочешь, Нельсон, и то, что Чарли выдохся, тоже, хотя, по-моему, мне об этом лучше судить, но я что-то не видела у тебя особого стремления стать человеком ответственным.

Он замечает — хотя от досады и чувства вины еле сдерживает слезы, — что в ответ на его упоминание об отсутствии «предприимчивого человека» она намеренно заявила, что его нельзя назвать человеком ответственным. С такими, как Мелани, у него всегда отнимается язык.

— Ерунда, — вот все, что он может сказать.

— У тебя полно эмоций, Нельсон, — говорит она ему. — Но от эмоций до действий далеко. — Она смотрит на него в упор, словно гипнотизируя, только раз моргает.

— О Господи! Я же делаю все так, как вы с Пру хотели.

— Вот видишь, как работают твои мозги — ты все перекладываешь на других. Мы вовсе не хотели, чтобы ты что-то делал, мы хотели одного — чтобы ты вел себя как взрослый. Там у тебя вроде бы не получилось. — Когда она вот так хлопает ресницами — ну прямо кукла, кажется даже, что она полая внутри, — так и хочется стукнуть ее и проверить. — Чарли говорит, — продолжает Мелани, — что ты слишком жмешь на покупателей и этим их отпугиваешь.

— Их отпугивают эти паршивые японские жестянки, которые стоят целое состояние из-за курса поганой иены. Я бы себе такую никогда не купил и не понимаю, почему кто-то должен покупать. Здесь же все-таки Детройт. Но Детройт всех подвел: миллионы людей могли бы получить работу, если бы Детройт выдумал пристойный автомобиль, а эти задницы ни черта не делают.

— Не ругайся, Нельсон. На меня это не производит впечатления. — Она смотрит на него в упор, и белки глаз у нее такие большущие — перед его глазами встают полные белые полушария ее грудей, и у него сразу пропадает интерес продолжать спор, а то она не станет утешать его в постели. Она никогда не сосала его, но он уверен, что делала это для Чарли — ведь только так может у стариков встать. Улыбаясь плоской улыбкой Будды, эдакой Будды с полой головой, Мелани говорит: — Поезжай поиграть с другими мальчиками, а я останусь здесь и напишу Пру и не скажу ей, что ты назвал ее дурой. Но мне начинает очень надоедать, Нельсон, покрывать тебя.

— Ну а кто тебя об этом просил? У тебя ведь свой интерес быть тут.

В Колорадо она спала с женатым мужчиной, партнером того субъекта, на которого Нельсон собирался работать летом — строить кооперативные домики в этом лыжном краю. Жена этого человека начала поднимать шум, хотя сама была не без греха, а другой парень, с которым встречалась Мелани, задумал стать поставщиком кокаина шикарной публике в Аспене[[20]](#footnote-20), однако не обладал для этого ни достаточным хладнокровием, ни контактами, так что впереди его, видимо, ждала тюрьма или ранняя могила — в зависимости от того, на какую ногу он споткнется. Парня звали Роджер, и Нельсону он нравился, нравилось, как он шагал рядом, словно этакий тощий желтый пес, который знает, что его сейчас отшвырнут пинком. Этот Роджер и приобщил их всех к планеризму — Мелани рисковать не хотела, а вот Пру на удивление охотно этим занялась и все шутила, что таким путем можно решить все их проблемы. Личико ее казалось таким маленьким под большим белым шлемом, который они взяли на базе в горах, на Золотом Роге, и за секунду до того, как отправиться в этот удивительный мир, где царит полнейшая тишина, она бросит на него искоса этот острый оценивающий взгляд, как тогда, когда впервые решила переспать с ним в своей маленькой студии в Стоу, в том доме, похожем на фабрику, где ее большое окно выходило на стоянку для машин. С Мелани Нельсон встретился на лекции по географии религий: синтоизм, шаманство, джайнизм[[21]](#footnote-21), различные старинные суеверия, распространявшиеся по свету, если судить по картам, нахлестываются друг на друга, точно вспышки эпидемии, а в некоторых случаях разраставшиеся — уж больно в отчаянном состоянии находится сейчас мир. Пру не училась с ними — она была машинисткой в архиве Рокуэлл-Холла; Мелани познакомилась с нею во время кампании, организованной Студенческой лигой за демократический Кент, стремившейся вызвать недовольство среди сотрудников университета, особенно секретарш. Обычно такой дружбе приходит конец, как только начинается новая кампания, но Пру к ним прилепилась. Что-то ей было нужно. Нельсона привлекала в ней ущербная кривая усмешечка, словно ей тоже трудно было крутиться у всех на виду, не то что эти бойкие ребята и девчонки, которые от телевизора шли прямиком в класс и, что бы ни происходило в реальном мире, продолжали молоть языком. И еще ему нравились ее крепкие длинные руки машинистки — такие руки были у его бабушки Энгстром. Отправляясь на Запад, она взяла с собой внештатную работу в Денвере, потому она и слала ему напечатанные на машинке письма, в которых сообщала, когда легла спать, и когда проснулась, и когда ее тошнило, а он вынужден был писать ей от руки, чего он терпеть не может — такие у него детские каракули. Этот поток безупречно написанных писем потрясает его — он же не знал, что такое начнется половодье. Девчонки вообще почему-то легче пишут, чем мальчишки. Он помнит записи, которые делала Джилл зелеными чернилами, они валялись по всему дому в Пенн-Вилласе. И вдруг вспоминает слова песни, которую пела бабушка: «Reide, reide, Geile Fallt's Bubbli nunner!» Последнее слово, когда младенец падает, — nunner[[22]](#footnote-22), она не пела, а произносила так торжественно, что он всегда смеялся.

— Что я с этого буду иметь, Нельсон? — спрашивает Мелани этим своим раздражающе певучим голосом.

— Кайф, — говорит он ей. — Безобидный кайф, как ты любишь. Будешь более или менее меня контролировать. Очаровывать стариков.

— По-моему, мое очарование начало стираться. — Голос ее перестает звучать напевно, в нем появляется грусть. — Возможно, я слишком много разговариваю с твоей бабушкой.

— Такое может быть. — Стоя во весь рост, он вновь чувствует некое преимущество над ней. Это его дом, его город, его наследство. А Мелани здесь чужая.

— Ну, мне она *понравилась*, — произносит Мелани, почему-то в прошедшем времени. — Меня всегда тянет к старшим.

— Во всяком случае, у нее больше здравого смысла, чем у мамы и папы.

— Так что ты хочешь, чтобы я сообщила Пру, если стану ей писать?

— *Не знаю.* — По плечам его пробегает дрожь, словно через его узкий пиджак пропустили ток; он чувствует, что мрачнеет и дыхание становится жарким. Эти белые конверты, белый шлем, который она надевала, ее белый живот, когда ты пускаешься в полет, под тобой разверзается огромное пространство, но почему-то тебе не страшно, — тебя крепко держит сбруя, а деревья вдоль поросших травою лыжных троп становятся совсем маленькими, и луга внизу лежат под углом, и большое нейлоновое крыло отвечает на каждый нажим на ручку управления.

— Скажи — пусть держится.

Мелани говорит:

— Она и держится, Нельсон, но она не может держаться вечно. Я хочу сказать, теперь-то уже видно. Да и я тоже не могу здесь торчать до бесконечности. Мне еще надо заехать к маме до того, как вернуться в Кент.

Все настолько усложняется, стоит слову слететь с его губ, что он настороженно прислушивается даже к тому, как дышит.

— А мне нужно добраться до «Берлоги», прежде чем все оттуда уедут.

— Ох, да поезжай ты. Поезжай же. Но я хочу, чтобы завтра ты помог мне навести здесь порядок. Они возвращаются в воскресенье, а ты ни разу не прополол огород и не подстриг траву на лужайке.

Подъехав на легком в управлении старом «ньюпорте» мамаши Спрингер по Джексон-стрит к перекрестку с Джозеф-стрит, Гарри прежде всего видит свою томатно-красную «корону», стоящую перед домом, — она выглядит как новенькая и при этом чисто вымыта. Значит, ее наконец-то отремонтировали. Молодец парень, что велел ее вымыть. Это говорит даже о любви. Прилив раскаяния за недоброе отношение к Нельсону стремительно затопляет его, приглушая чувство счастья, какое он испытывает от возвращения в Маунт-Джадж этим сверкающим воскресным днем в конце августа, когда в воздухе пахнет сухой травой, как на футбольном поле, а клены, того и гляди, наденут золотой наряд. Лужайка перед домом, даже этот неудобный кусочек земли возле кустов азалии и полоска травы между дорожкой и тротуаром, где на поверхность вылезают корни и приходится действовать садовыми ножницами, — все подстрижено. А Гарри знает, как натирают ладонь эти ножницы. Когда Нельсон появляется на крыльце и выходит на улицу помочь с багажом, Гарри пожимает ему руку. Он уже собрался расцеловать парня, но насупленная физиономия Нельсона отпугивает его — ему так хотелось быть поприветливее с сыном, но его порыв захлебывается и тонет в какофонии приветствий. Дженис обнимает Нельсона и менее крепко — Мелани. Мамаша Спрингер, распаренная ездой в машине, позволяет обоим молодым людям поцеловать себя в щеку. Оба приоделись ради такого случая: Мелани — в полотняном костюме персикового цвета, который Гарри у нее не видел, а Нельсон — в сером костюме из плотной синтетической ткани, какого — это уж точно — у мальчишки раньше не было. Новый костюм для роли продавца. Общее впечатление какое-то трогательно-торжественное, а в наклоне тщательно причесанной головы малыша отец с удивлением видит сходство с покойным Фредом Спрингером — только Нельсон выглядит артистичнее.

Мелани кажется ему выше — высокие каблуки. Своим приятным певучим голосом она говорит, поворачиваясь к мамаше Спрингер:

— А мы ходили в церковь. Вы ведь сказали по телефону, что постараетесь приехать к службе, и мы решили устроить вам сюрприз, если вы появитесь.

— Я никак не могла их вовремя поднять, Мелани, — говорит Бесси. — Они ворковали там у себя наверху, как голубки.

— Это все горный воздух, только и всего, — говорит Кролик, протягивая Нельсону сумку с грязным постельным бельем. — Мы же как-никак приехали отдыхать, и мне вовсе не хотелось в последний день вставать на заре только для того, чтобы мамаша могла есть глазами этого приготовишку.

— Он не показался мне таким уж приготовишкой, пап. Просто у всех проповедников такая манера говорить.

— А мне он показался очень радикальным, — произносит Мелани. — Как завел про богачей, которым-де придется пролезать сквозь игольное ушко, так остановиться не мог. — И, обращаясь к Гарри, замечает: — А вы похудели.

— Бегал, как идиот, — говорит Дженис.

— А потом, не обедал каждый день в ресторане, — говорит он. — Слишком много в этих ресторанах дают. Просто обжираловка.

— Мам, не споткнись о тротуар, — вдруг вскрикивает Дженис. — Дать тебе руку?

— Я по этому тротуару хожу уже тридцать лет, можешь мне не напоминать, что он тут.

— Нельсон, помоги маме подняться по ступенькам, — тем не менее говорит Дженис.

— «Корона» здорово выглядит, — говорит малому Гарри. — Лучше новой. — Он, правда, подозревает, что эта досадная неполадка в руле так и не выправлена.

— Я по-настоящему насел на них, пап. Мэнни все откладывал починку, потому что это твоя машина, а тебя нет. А я сказал ему, что хочу, чтобы к твоему приезду машина была готова, точка.

— Прежде надо обслуживать тех, кто платит, — говорит Гарри, смутно чувствуя необходимость защитить своего начальника отдела.

— Мэнни — подонок, — бросает малый через плечо, протискиваясь с бабушкой и сумкой в дверь дома под веерообразным витражом, где среди переплетения свинцовых листьев стоит номер 89.

Следом за ними с чемоданами идет Гарри. За время отсутствия дом немного стерся в его памяти.

— Ох! — тихо произносит он. — Ну и запах — точно старая туфля.

Мамаша должным образом оценивает чистоту, цветы, срезанные с бордюров и расставленные в вазах на буфете и на столе в столовой, вычищенные ковры и выстиранные и отутюженные чехлы на ворсистом сером диване и таком же кресле.

— Здесь не было такой красоты с тех пор, как Фред разругался с нашей уборщицей, старушкой Элси Лорд, и нам пришлось ее отпустить.

— Если взять мокрую щетку и прыснуть на нее чистилкой для ковров... — говорит Мелани.

— Мелани, ты все умеешь, — говорит Гарри. — Единственная твоя беда — тебе следовало быть мужчиной.

Эта фраза звучит более грубо, чем он намеревался, но внезапно пришедшая в голову мысль, когда он входил в дом, вывела его из себя. Это его дом и, однако же, не его. Эти ступени, все эти пустячки. Он живет здесь как постоялец, старик постоялец, который ходит в нижней рубашке, у которого капает из носа, который выпивает и потому с трудом двигается. Даже у Рут есть свой дом. Интересно, как поживает его круглолицая дочь на этом заросшем участке, в доме из песчаника с поцарапанной зеленой дверью.

Мамаша Спрингер принюхивается.

— Пахнет чем-то сладким, — говорит она. — Это, должно быть, чистка для ковра, которой вы пользуетесь.

Нельсон стоит возле Гарри — как никогда близко.

— Пап, кстати о делах, я хочу тебе кое-что показать.

— Ничего мне не показывай, пока я не подниму эти чемоданы наверх, просто поразительно, сколько нужно человеку всякого барахла только для того, чтобы походить босиком в Поконах.

Дженис входит с улицы, открывая с треском кухонную дверь.

— Гарри, ты бы посмотрел огород — там все так чудесно прополото! Салат вырос до колен, а кольраби стала просто огромной!

Гарри говорит молодым людям:

— Вы бы ели ее, а то она делается водянистой, когда перерастет.

— У нее *никогда* не бывает никакого вкуса, папа, — говорит Нельсон.

— Угу. Пожалуй, никто ее не любит, кроме меня. — А он любит пожевать, потому такой и толстый. Пока он рос, у него были дырки во многих зубах, а теперь, когда зубы у него в коронках, еда стала для него удовольствием. Никакой зубной боли — рай.

— Кольраби, — мечтательно произносит Мелани. — Я все думала, что это такое, а Нельсон говорит мне, что это репа. В кольраби много витамина С.

— Как поживают нынче блины? — спрашивает Гарри, пытаясь сгладить то, что он сказал, будто ей следовало быть мужчиной. Хотя, возможно, он попал в точку: нормальная для мужчины манера хозяйничать переросла в ней в любовь к сладкому.

— Отлично. Я уже подала заявление об уходе, и остальные официантки собираются устроить мне прощальную вечеринку.

Нельсон говорит:

— Она только и ходит по вечеринкам, пап. Я почти не видел ее, пока мы жили тут вдвоем. Твой дружок Чарли Ставрос все время приглашает ее — он и сегодня за ней приедет.

«Ах ты, бедный слабак», — думает Кролик. Почему это парень так льнет к нему? Он даже слышит его возбужденное дыхание.

— Он везет меня в Вэлли-Фордж, — поясняет Мелани, глаза у нее озорно блестят, скрывая тайну, которую Кролику теперь, наверное, никогда не узнать. Девчонка выходит из игры — умная девчонка. — Я ведь скоро уеду из Пенсильвании, а так толком и не видела ее достопримечательностей, и вот Чарли так мило предложил свозить меня в некоторые места. В прошлый уик-энд мы ездили туда, где живут амиши, и я видела всех этих психов.

— Ужасно унылое зрелище, верно? — на ходу говорит Гарри. — Премерзкие люди эти амиши — премерзко относятся и к детям, и к животным, и друг к другу.

— Папа...

— Если уж вы поедете в Вэлли-Фордж, можете посмотреть на колокол Свободы, проверить, есть ли в нем еще трещина.

— Мы не уверены, что музей открыт по воскресеньям.

— Во всяком случае, Филадельфия в августе — это зрелище. Этакое болото, кишащее несчастными людьми. Там человеку перерезать горло — раз плюнуть.

— Мелани, мне так жаль, что ты уезжаешь, — дипломатично вставляет Дженис.

Гарри иной раз поражается, какой дипломатичной она с годами стала. Оглядываясь назад, он вспоминает, какими они с Дженис были хулиганьем — озлобленные, неотесанные. Совсем неотесанные. Вот какие чудеса творят даже небольшие деньги.

— *Угу*, — говорит их летняя гостья, — но мне надо навестить родных. Я имею в виду — маму и сестер в Кармеле. Не знаю, поеду ли я повидаться с отцом — он стал таким странным. А потом назад, в колледж. Я чудесно провела здесь время — вы все были так добры. Я хочу сказать, притом что вы ведь меня совсем не знали.

— Пустяки, — говорит Гарри, а сам думает: «Интересно, у ее сестер такие же глаза и яркие губы?» — Ты нам ничего не обязана: ты же сама за себя платила. — Неуклюже это, неуклюже. Никак он не может научиться с ней говорить.

— Я знаю, маме по-настоящему будет тебя не хватать, — говорит Дженис и кричит: — Верно, мама?

Но мамаша Спрингер обследует фарфор в буфете, проверяя, не украли ли чего, и, похоже, не слышит.

Гарри вдруг спрашивает Нельсона:

— Так что же тебе так срочно хотелось мне показать?

— Это там, в магазине на пятачке, — говорит малый. — Я думал, мы с тобой могли бы сразу поехать туда.

— А нельзя мне сначала пообедать? Я ведь почти не завтракал — так они торопили меня, чтобы попасть к службе. Проглотил только пару ореховых пирожных, до которых не добрались муравьи.

Желудок мгновенно отзывался болью при одной мысли об этом.

— У нас, наверное, и этого на обед нет, — говорит Дженис.

Мелани предлагает:

— В холодильнике есть немного проросшей пшеницы и йогурт, а в морозильнике — немного китайских овощей.

— Я не голодна, — объявляет мамаша Спрингер. — Я хочу полежать в своей постели. Не преувеличивая, я, по-моему, за все это время спала там кряду не больше трех часов. Эти еноты так кричали.

— Она просто сердится из-за того, что пропустила службу, — сообщает всем Кролик. Из-за этой суматохи, сопутствующей возвращению, у него такое чувство, словно он в капкане. Какая-то напряженность в воздухе, которой раньше не было. Когда возвращаешься, дом всегда немного другой. Подумать только, каково будет мертвецам, когда они воскреснут.

Гарри выходит через кухню в сад и ест сырую кольраби, отрывая листья и сдирая передними зубами кожуру с хрустящей мякоти. Женщины-мужики, что живут выше по улице, все еще чего-то стучат — интересно, что они строят? Как это говорится в том стихотворении? «Построй ты себе пороскошнее, душа моя». Вот Лотти Бингамен знала бы и сообщила бы, размахивая рукой в воздухе. А воздух такой славный. Приятный полдень — лучше, чем раньше, лето приходит в норму. Деревья из светло-зеленых, какими они были в июне, приобрели более тусклый цвет, а гудение насекомых, если прислушаться, превратилось в сухой треск. Салат вымахал в рост и уже дал семена, бобы созрели, выдернутая им морковка — кряжистая, как член толстяка: вся ее сила ушла в зелень. Тем временем Дженис нашла на кухне немного не слишком высохшей салями и приготовила бутерброды ему и Нельсону. Похоже, что на площадку для машин придется все-таки съездить после того, как Гарри побывает днем в клубе, чтобы проверить, не соскучились ли там без него. Он так и видит, как его компаньоны сидят у подрагивающей ярко-голубой хлорированной воды бассейна и смеются, — Бадди со своей очередной собакой, Гаррисоны, хитрая старая лиса Уэбб и его маленькая Синди. Крошка Синди с черными маленькими ножками. Настоящие живые люди, а не тени в углах мрачного дома мамы. На улице у дома гудит Чарли, но не заходит. Стыдно, должно быть, этому похитителю младенцев. Входная дверь хлопает, и Гарри смотрит на Дженис, проверяя, как она это восприняла. В ее лице ничто не дрогнуло. Крепкие штучки эти женщины. Он спрашивает ее:

— Ну а *ты* что сегодня намерена делать?

— Собиралась прибраться в доме, но Мелани, похоже, все уже сделала. Может, поеду в клуб, посмотрю, нельзя ли поиграть. На крайний случай могу и поплавать. — Она там плавала на круглом озере, и действительно талия у нее стала гибче и длиннее. «А женка у меня недурна», — иной раз думает он, пораженный их сродством в этом мрачном мире, где, с одной стороны, все друг другу родственники, а с другой — таинственные незнакомцы.

— Как тебе это нравится — насчет Чарли и Мелани? — спрашивает он.

Она передергивает плечами — совсем как Чарли.

— Нравится — а почему, собственно, нет? Значит, у него еще есть порох в пороховницах. Живем-то мы ведь только раз. Так говорят.

— Почему бы тебе не поехать в клуб, а мы с Нелли присоединимся к тебе, после того как я съезжу посмотрю, что там у него?

На кухню входит Нельсон — рот приоткрыт, глаза смотрят подозрительно.

Дженис говорит:

— Может, мне лучше поехать с тобой и с Нельсоном в магазин, а потом мы втроем отправимся в клуб и таким образом сбережем бензин — поедем все на одной машине.

— Мам, у нас же дело, — возражает Нельсон, и по его помрачневшему лицу родители понимают, что лучше поступить, как он хочет. Серый костюм делает его каким-то особенно уязвимым — так выглядят дети, которых нарядили в непривычную одежду по непонятному для них торжественному поводу.

И вот Гарри за рулем своей «короны» — впервые после месячного перерыва — едет с Нельсоном в воскресном потоке транспорта путем, который оба знают лучше линий собственных рук: по Джозеф-стрит, затем по Джексон-стрит, затем по Центральной и вокруг горы. Гарри говорит:

— А машина-то не прежняя, верно? — Плохое начало. Он пытается выправить положение. — Наверное, машина никогда не кажется прежней, после того как ее стукнули.

Нельсон встает на дыбы:

— Это же была просто царапина, капот ведь не был затронут, а разницу ты бы почувствовал, только если бы он был поврежден.

Гарри сдерживается и, совладав с собой, соглашается:

— Наверное, мне это показалось.

Они проезжают мимо того места, откуда виден виадук, затем мимо торгового центра, где над комплексом из четырех кинозалов горит реклама: АГАТА МАНХЭТТЕН МЯСНЫЕ ШАРИКИ УЖАС В ЭМИТИВИЛЛЕ. Нельсон спрашивает:

— Ты читал эту книжку, пап?

— Какую книжку?

— «Ужас в Эмитивилле». В Кенте ребята передавали ее из рук в руки.

Ребята в Кенте. Никчемные счастливчики. А он — кем бы он стал, имея образование? Натаскивал бы мальчишек в каком-нибудь колледже.

— Это насчет дома с привидениями, да?

— Это про чертовщину, пап. В общем, это о том, как кто-то из обитателей одного дома вызвал дьявола, и тот потом не желал уходить. А дом самый обычный, на Лонг-Айленде.

— И ты веришь такой белиберде?

— Ну... есть доказательства, которые довольно трудно отмести.

Кролик фыркает. Бесхребетное поколение, никакой твердой закваски, ничего основательного, что помогло бы отличить реальный факт от чертовщины. Чушь. Все им подается на тарелочке, они считают жизнь чем-то вроде огромного телеэкрана, где толкутся призраки.

Нельсон читает его мысли и переходит в наступление:

— Ну а ты зато веришь всей этой ерунде, которую говорят в церкви, а это уж действительно глупистика. Посмотрел бы ты, что было сегодня, когда они причащались, просто невероятно: все эти люди так благостно вытирали себе рот и с таким серьезным видом возвращались от алтаря на свои скамьи. Настоящие экспонаты из антропологического музея.

— По крайней мере, — говорит Гарри, — людям вроде твоей бабушки после этого становится лучше. А кому становится лучше после этого «Ужаса в Эмитивилле»?

— А это не для того снято, это же просто рассказ о том, что было. Люди, которые жили в том доме, вовсе не хотели, чтоб у них такое случилось, а вот случилось. — Судя по тому, как звенит его голос, малый окончательно загнан в угол, а Кролик этого совсем не хотел. Так или иначе, не желает он думать о потусторонних силах: всякий раз как он в своей жизни делал шаг в ту сторону, кто-то погибал.

Молча отец и сын едут по аллее Панорамного обзора, откуда меж разросшихся деревьев виден город, похожий по цвету на глиняный горшок, который немцы-рабочие построили на фундаменте, заложенном англичанином-прорабом, и где теперь живут в тесноте поляки, испанцы и черные и слушают через стенку телевизор соседа, и плач детей соседа, и мерзкие ссоры по субботним вечерам. Сложно стало ездить: столько велосипедистов, и мопедов, и, самое страшное, конькобежцев на роликах, которые раскатывают совсем очумелые, в наушниках и в шортах, что делает их похожими на боксеров, и с таким видом, точно улица принадлежит им. «Корона» скользит по бульвару Акаций, где врачи и юристы засели в длинных кирпичных домах, стоящих в тени, чуть отступя от улицы, за каменными стенами и живыми изгородями из можжевельника, посаженными, чтобы удержать склоны от осыпи, и проезжает справа бруэрскую школу, которая в детстве казалась Гарри замком, а ее многочисленные гимнастические залы и ряды шкафчиков в те два или три раза, что он бывал там, когда команда Маунт-Джаджа играла против молодежной команды Бруэра, прежде всего чтобы потешиться (над ними), убегали, казалось ему, в бесконечность. Ему приходит в голову рассказать об этом Нельсону, но он знает, что малый терпеть не может, когда он начинает вспоминать времена своей спортивной славы. Ребята из Бруэра, вспоминает про себя Кролик, были премерзкие: рты у них всегда были какие-то грязные, точно они сосали малиновые леденцы. Девчонки спали с мальчишками, а наиболее порочные из ребят курили то, что когда-то именовалось самокрутками. А сейчас даже дети президента — к примеру, сын Форда — спят с девчонками и курят самокрутки. Прогресс. Теперь он понимает, что в известном смысле вырос в благополучном уголке мира, как сказала однажды Мелани, — так бывает: веточки крутятся, крутятся среди потока и застревают в прибрежной тине.

Когда они вырулили на Эйзенхауэр-авеню и покатили вниз, под уклон, Нельсон спрашивает, нарушая молчание:

— Ты ведь, кажется, жил на одной из этих поперечных улочек?

— Угу. Летом. Месяца два-три, давно. У нас с твоей матерью был тогда трудный период. А почему ты спрашиваешь?

— Просто вспомнил. Бывает такое чувство — тебе кажется, будто ты когда-то уже был здесь, а на самом деле ты видел это, наверно, во сне. Когда я очень по тебе скучал, мама сажала меня в машину и мы приезжали сюда и смотрели на какой-то дом в надежде, что ты оттуда выйдешь. Он стоял в ряду других домов, которые казались мне совсем одинаковыми.

— Ну а я выходил?

— Что-то не помню. Но я вообще об этом времени мало что помню — только то, что я сидел в машине и мама брала с собой печенье, чтобы меня отвлечь, а сама плакала.

— Господи, как неприятно. Я до сих пор не знал, что она привозила тебя.

— Может, это было всего один раз. Но почему-то у меня такое чувство, что не один. Помню, мама казалась мне такой большой.

Эйзенхауэр-авеню выравнивается, становится гладкой, и они без единого слова проезжают дом номер 1204, куда Дженис несколько лет спустя сбежала к Чарли Ставросу, а Нельсон приезжал туда уже на велосипеде и смотрел вверх на окно. Мальчишке тогда отчаянно хотелось иметь мопед, и Гарри теперь жалеет, что не купил его, — теперь в любом случае машина уже давно лежала бы на свалке, а добрые воспоминания остались бы. Странная штука — чувства: вмиг возникают и вмиг исчезают, а вот, поди ж ты, долговечнее металла.

Отец с сыном проезжают заброшенное железнодорожное депо, пересекают фабричный район, сворачивают налево, на Третью авеню, затем направо, на Уайзер-стрит, мимо белого глухого здания похоронной конторы Шонбаума и — через мост. В потоке транспорта больше всего машин, за рулем которых сидят старушки, возвращающиеся из ресторана, где они обедали после церкви, и машин, набитых мальчишками, которые уже успели накачаться пивом и теперь мчатся на стадион в южный конец Бруэра, где играют «Взрывные». Они сворачивают влево, на шоссе 111: Дискотека. Экономьте топливо. Они забыли включить радио, всецело поглощенные возникшим между ними напряжением. Гарри прочищает горло и говорит:

— Значит, Мелани решила возвращаться в колледж. Тебе, наверное, тоже пора.

Молчание. Тема колледжа — это горячо, так горячо, что лучше не касаться. Надо бы ему спросить у малого, чему он научился в магазине СПРИНГЕР-МОТОРС. Они останавливаются. Три недели Гарри не видел магазина, и, как и в доме, ему кажется, что и здесь за это время отравили атмосферу. «Каприса», в котором он иногда ездил, когда «корона» выходила из строя, уже нет — должно быть, продали. Шесть новых «королл» стоят вдоль шоссе, блестя мягкими и ядовитыми красками. Гарри никак не может привыкнуть к тому, что у них такие маленькие колеса — совсем как у трехколесного велосипеда, — не сравнить с американскими машинами, среди которых он вырос. Тем не менее они пользуются наибольшим спросом: стоят дешево, а большинство людей все еще бедные, надо это признать. Задаром ничего не получишь, но надежда не умирает. И машины его стоят на солнце, как небольшое море подтаивающих конфет. Поскольку сегодня воскресенье, Гарри припарковывает машину у самой изгороди, которая чудом уцелела тут у входа и собирает весь мусор, пакеты и салфетки, что ветер несет через шоссе 111 от «Придорожной кухни». Витрины опять надо мыть. Бумажный плакат, воспроизводящий название новой программы телевидения О, ЧТО ЗА НАСЛАЖДЕНИЕ..., занимает верхнюю половину левой витрины. В демонстрационном зале две новые «селики»: одна — черная с желтой полосой по боку, другая — синяя с белой полосой. Под плакатом О, ЧТО ЗА НАСЛАЖДЕНИЕ... виднеется нечто другое — маленькая, низкая, похожая на таракана машина, явно не «тойота». У Гарри нет ключа; Нельсон открывает двойные стеклянные двери своим ключом, и они входят. Непонятная машина — спортивный «Триумф-6», на нее наведен глянец для продажи, но она, несомненно, подержанная, ветровое стекло потускнело и все в царапинах, приобретенных за время дальних пробежек, на крыле — легкая рябь, как это бывает, когда металл был смят, а потом выправлен.

— Это еще, черт возьми, что такое? — спрашивает Гарри, ставший сразу высоким рядом с этим низкорослым пришельцем.

— Пап, это то, о чем я тебе говорил: у меня идея продавать спортивные машины. Честное слово, ведь теперь почти никто их не делает, даже фирма «Ягуар» перестала их выпускать, так что они, безусловно, поднимутся в цене. Мы просим за нее пять пятьсот, и двое ребят уже почти ее купили.

— Почему же владелец решил от нее избавиться, если она так высоко ценится? За сколько ты ее принял?

— Ну, не то чтобы принял...

— А как же?

— Мы ее купили...

— Вы ее купили!

— У приятеля Билли Фоснахта есть сестра, так вот она выходит замуж за одного парня, который переезжает на Аляску. Машина в отличном состоянии — Мэнни ее всю проверил.

— Мэнни и Чарли дали тебе согласие?

— А почему бы и нет? Чарли рассказывал мне, какие они со стариком Спрингером выкидывали трюки — дарили игрушечных зверюшек и ящики апельсинов и устраивали аукционы с девушками в вечерних платьях, где кто больше давал — пусть даже и всего пять долларов — получал машину, на эти аукционы приходили гонщики...

— Все это было в добрые старые времена. А сейчас скверные новые времена. Люди приходят к нам за «тойотами», им не нужны эти чертовы английские спортивные машины...

— Но они будут их покупать, как только мы сделаем себе на этом имя.

— У нас уже есть имя. «Спрингер-моторс» — «тойоты» и подержанные машины». Все знают, чем мы торгуем, и за этим к нам приезжают. — Он слышит, как напрягается голос, чувствует, как гнев, разрастаясь, комком подкатывает к горлу — совсем как в баскетболе, когда противник опережает тебя на десять очков, а играть осталось меньше пяти минут, и тебя совсем измолотили, и все мускулы внезапно расслабились и что-то поднимает тебя ввысь, и ты знаешь, что невозможного не существует, и веришь в это. Гарри старается сдержаться: перед ним ведь очень ранимый юнец, и к тому же его сын. Однако, это ведь его магазин. — Я что-то не помню, чтобы мы говорили с тобой о спортивных машинах.

— Как-то вечером, папа, когда мы сидели в гостиной вдвоем, только ты рассердился из-за «короны» и переменил тему.

— И Чарли действительно дал тебе зеленый свет?

— Конечно, но ему, в общем, было не до этого. Ты ведь уехал, так что ему надо было и новые машины продавать, а тут раньше обычного пришло пополнение...

— Угу. Я их видел. Зря только их поставили так близко к дороге, они там всю пыль собирают.

— ...а потом, Чарли ведь мне не хозяин. Мы с ним на равных. Я сказал ему, что бабуля считает это хорошей идеей.

— О-о! Ты говорил об этом с мамашей Спрингер?

— Ну не совсем в тот момент — она ведь была там с тобой и с мамой, — но я знаю, она хочет, чтобы я включился в работу в магазине, тогда это будет уже третье поколение и всякая такая штука.

Гарри кивает: Бесси будет поддерживать малого — они ведь оба темноглазые Спрингеры.

— О'кей, особой беды я не вижу. Так сколько же ты заплатил за этот драндулет?

— Он просил четыре девятьсот, но я выторговал у него за четыре двести.

— Бог ты мой, это же намного больше, чем по прейскуранту. Ты хоть в прейскурант-то заглядывал? Ты знаешь, что это такое?

— Конечно, я знаю, пап, что такое этот чертов прейскурант. Дело в том, что спортивные машины идут не по цене прейскуранта, они как антиквариат: их на свете столько-то и больше не будет.

— Ты заплатил четыре двести за «триумф» семьдесят шестого года, когда новый стоит шесть тысяч. Сколько миль она прошла?

— На ней ездила девушка, а они не загоняют машины.

— Зависит от того, какая девушка. Я вижу на дороге по-настоящему наглых девчонок. Так сколько, ты говоришь, миль она прошла?

— Ну, в общем, трудно сказать. Этот парень, что уехал на Аляску, пытался что-то сделать под приборной доской и, по-моему, не знал...

— О-хо-хо! О'кей, посмотрим, не удастся ли нам сбыть ее по оптовой цене и списать как эксперимент. Завтра я позвоню Хорнбергеру, он еще торгует этими «триумфами» и «МГ», может, он не в службу, а в дружбу избавит нас от нее.

Гарри вдруг понимает, почему короткая стрижка Нельсона не дает ему покоя: так мальчишка выглядел в средней школе до того, как в конце шестидесятых все пошло наперекосяк, и вид сына напоминает ему об этом. Он тогда еще не знал, что будет маленьким, и хотел стать подающим в бейсболе, поэтому все лето ходил в кепи, отчего волосы над узким веснушчатым лицом были всегда примяты. И вот сейчас этот костюм и галстук, совсем как то бейсбольное кепи, выглядят символом напрасных надежд. Глаза у Нельсона заблестели, точно у него вот-вот потекут слезы.

— Избавит нас от нее по себестоимости? Пап, я же знаю, что мы можем ее продать и выручить на этом тысячу. И потом, у нас еще две таких.

— Еще два «триумфа»?

— Еще две спортивные машины там, сзади. — Теперь парень уже изрядно напуган: он так побелел, что веки и уши его кажутся ярко-красными.

Кролик тоже напуган: не нужны ему эти машины; но ситуация уже неуправляемая — теперь парень вынужден показать их ему, а он вынужден как-то реагировать. Они проходят по коридорчику мимо отдела запасных частей; Нельсон шагает впереди и снимает с доски рядом с металлической дверью связку ключей; затем они выходят в огромный пустой гараж, где по воскресеньям стоит гулкая тишина, — этакий голый, перерезанный незаделанными балками танцзал, пропитанный теплым добротным запахом смазочных масел и ацетилена. Нельсон отключает сигнализацию и отодвигает засов на задней двери. Они снова на воздухе. Далеко за рекой — Бруэр, виден верх высокого здания суда с бетонным орлом, что торчит над зарослями сорняков, чертополоха и лаконоса в дальнем конце площадки, где никто не бывает. Эта пустующая часть площадки больше, чем следовало. Глядя на нее, Кролик почему-то всегда думает — «точно в Парагвае».

Своеобразным островом стоят отдельно на асфальте две спортивные машины американских марок, снятых с производства: «меркури-кугар» семьдесят второго года — верх у него рваный кремовый, а корпус — цвета густой бледной пены, именуемого нильским зеленым, и «Олдс-Дельта 88 Руайял» семьдесят четвертого года, багрово-красного цвета, каким женщины в пору увлечения шпионскими фильмами красили ногти. Гарри вынужден признать, что это доблестные старые машины — все это олово и аэродинамика мчались по Главной улице в полнолуние с вжатой в пол старой педалью скорости. И он говорит:

— Эти поставлены на комиссию или как? Я хочу сказать, ты за них еще не платил? — Он чувствует, что и не следовало говорить.

— Они куплены, пап. Они — наши.

— Мои?

— Не твои, они принадлежат компании.

— А это, черт побери, как ты обтяпал?

— Что значит — обтяпал? Попросил Милдред Крауст выписать чеки, а Чарли сказал ей, что все о'кей.

— Чарли сказал — о'кей?

— Он считал, что мы обо всем договорились. Пап, прекрати. Не такая уж это большая закупка. Ведь вся идея нашего предприятия — верно? — в том, чтобы покупать машины и продавать их с выгодой?

— Но не эти дурацкие машины. Во сколько же они обошлись?

— Могу поклясться, мы заработаем шесть-семь сотен на «меркури», а на «олдс-дельте» еще больше. Какой же ты отсталый, папа. Ведь это же всего только деньги. Имел же я право принимать ответственные решения хоть в какой-то мере, пока тебя не было, или нет?

— Сколько?

— Сколько в точности — не помню. Одна машина что-то около двух тысяч, а другая — она стояла у одного торговца около Поттсвилла, его знает Билли, и я подумал, что надо нам иметь какой-то выбор, так что мне пришлось заплатить за нее две с половиной.

— Значит, две тысячи пятьсот долларов.

Медленно повторяя эти цифры, он почувствовал себя лучше — все-таки позлорадствовал. Если он чего-то недодал Нельсону, сейчас сын взял свое сполна. И Гарри снова принимается за старое:

— Значит, выложил две тысячи пятьсот полноценных американских...

Мальчишка чуть не кричит:

— Мы их вернем, обещаю тебе! Это же как антиквариат, как золото! На этом, пап, нельзя потерять.

Гарри не может удержаться, чтобы не добавить:

— Четыре тысячи двести — за эту штамповку «триумф», четыре тысячи пятьсот...

Мальчишка молит:

— Предоставь мне действовать самому — я все сделаю. Я уже поместил объявление в газете — через две недели они уйдут. Обещаю тебе.

— Ты обещаешь! Через две недели ты будешь в колледже.

— Нет, пап. Не буду.

— Не будешь?

— Я хочу уйти из Кента, остаться здесь и работать. — Лицо испуганное, исступленное — такое белое, что веснушки резче выступают на коже и пестрят, как мушки на стекле.

— Господи, только этого мне не хватало, — вздыхает Гарри.

Нельсон, потрясенный, глядит на него. Он держит в руке ключи от машины. Глаза у него застилают слезы, нижняя губа дрожит.

— Я хотел, чтобы ты прокатился в «олдс-дельте» — получил удовольствие.

Гарри говорит:

— Удовольствие! А ты знаешь, сколько бензина жрут эти машины на старой тяге? Ты думаешь, сегодня, когда галлон бензина стоит доллар, кому-то захочется купить такую восьмицилиндровую никчемную махину, только чтобы почувствовать, как ветер свистит в ушах? Парень, ты живешь в воображаемом мире.

— Да наплевать им, пап. Людям нынче наплевать на деньги — это же дерьмо. Деньги — это дерьмо.

— Для тебя, может быть, но не для меня — и заруби это себе на носу. Давай успокоимся. Подумай о запасных частях. К этим штуковинам наверняка нужно приложить руки — ведь они уже столько лет бегают. А ты знаешь, сколько нынче стоят запчасти шести-семилетней давности, если их вообще удается достать? У нас тут не модная антикварная лавка, мы продаем «тойоты». «Тойоты»!

Малыш весь сжимается под этими громами и молниями.

— Пап, обещаю тебе, я больше ни одной не куплю. А эти у нас уйдут, обещаю.

— Ничего мне не обещай. Обещай лучше, что ты не будешь совать нос в мою торговлю машинами и отвалишь назад в Огайо. Мне неприятно говорить тебе это, Нельсон, но с тобой того и гляди попадешь в беду. Надо тебе наконец браться за ум, только это будет не здесь.

Неприятно говорить такое парню, но что поделаешь, если так оно и есть. И все же настолько неприятно, что он поворачивается и хочет уйти, но дверь, из которой они вышли, как и положено, захлопнулась. Словом, он не может войти в собственный гараж, а ключи — у Нельсона. Кролик трясет металлическую дверь за ручку и бьет по ней ребром руки и даже, словно в яростной потасовке, колотит коленом — от боли глаза застилает красная пелена, так что, когда он слышит, как вдалеке заработал мотор, ему невдомек, что происходит, пока не раздается визг шин и лязг металла, врезающегося на большой скорости в металл. Красную пелену прорезают черные полосы. Кролик оборачивается и видит, как Нельсон откатывается назад для второго удара. Маленькие частицы металла еще со звоном кружатся в пронизанном солнцем воздухе. Кролику кажется, что малый сейчас ринется на него и расплющит о дверь, возле которой он стоит словно парализованный, но этого не происходит. «Олдс» снова врезается в бок «меркури» — машина встает на два колеса. Светло-зеленое крыло смято, и из него вылетает фара — обод катится по земле.

Предчувствуя столкновение, Гарри ожидал, что все произойдет, как на телевидении, в замедленной съемке, а произошло все до смешного быстро — так две собаки сплетутся клубком и разбегутся. Мотор у «олдса» заглох. Сквозь треснутое ветровое стекло видно искаженное лицо Нельсона, сморщившееся от слез, сморщившееся в кулачок. Кролик словно одеревенел, и в то же время, глядя на покореженные машины, он чувствует, как наружу рвется смех. Осколки стекла мельче гравия блестящей крупой рассыпались по асфальту. На широких плоскостях металла появились вмятины там, где их не должно быть. Коротко остриженные волосы мальчишки походят на круглую щетку, когда он, заплакав, уткнулся в руль лицом. А по ту сторону строения шуршит воскресный поток транспорта. Эти странные нелепые пузырьки радости в груди Гарри. О, что за наслаждение!

А через неделю в клубе он уже всем рассказывает об этом:

— На пять тысяч металла — *хрясь*. У меня было отчаянное желание расхохотаться, но парень-то плакал: ведь это были его машины, во всяком случае, так он это понимал. Единственное, что мне пришло в голову, — встать перед «олдсом» и сделать вот так. — Он широко раскидывает руки, стоя под плавным изгибом горы. — Налети на меня парень, из меня бы кишки вон. Но он, конечно, вылезает из машины весь в соплях, и я раскрываю ему объятия. Так близок Нельсон мне не был с тех пор, как ему минуло два года. Но чувствую я себя премерзко, потому что он был прав. Его объявление насчет спортивных машин напечатали в то же воскресенье, и нам звонили, наверное, человек двадцать. К среде «триумф» был продан за пять пятьсот. Люди больше не считают денежки, швыряют их направо и налево.

— Совсем как арабы, — говорит Уэбб Мэркетт.

— Ох уж эти арабы, — вторит ему Бадди Инглфингер. — Как было бы хорошо шарахнуть по всем ним атомной бомбой!

— А вы видели, что на прошлой неделе произошло с золотом? — с улыбкой говорит Уэбб. — Арабы сбрасывают свои доллары в Европу. Почуяли, что запахло жареным.

Бадди спрашивает:

— А вы видели в сегодняшней газете, что в Вашингтоне провели какое-то расследование, и оно показало, что это правительство устроило нам бензиновый кризис в июне?

— Мы это и сами знали, верно? — вопросом на вопрос отвечает ему Уэбб; рыжие волоски, торчащие из его бровей, сверкают на солнце.

Сегодня последнее воскресенье перед Днем труда[[23]](#footnote-23) — в этот день играют только члены клуба. Их четверке отведено позднее время, и они сидят в ожидании у бассейна вместе с женами и выпивают. Жен, правда, всего две: у Бадди Инглфингера вообще нет жены — только эта прыщавая дурища Джоанна, которую он таскает за собой все лето, а Дженис сегодня утром сказала, что пойдет с матерью в церковь и явится в клуб к аперитиву перед банкетом, после игры. Это странно. Дженис любит бывать в «Летящем орле» еще больше, чем он. Но с тех пор как Мелани уехала в среду, что-то там у них происходит. Чарли на две недели взял отпуск, после того как Гарри вернулся из поездки в Поконы, а поскольку Нельсон теперь в магазин не допускается, у главного торгового представителя дел по горло. В конце лета всегда ведь бывает некоторое оживление в делах — рекламируются осенние новинки, ходят слухи, что цены поднимутся, и выставленные на продажу модели начинают представляться удачным приобретением при том, что инфляция все растет и растет. В сентябре в воздухе обычно появляется этакая сухая свежесть — для Кролика она пахнет одновременно яблоками и пылью от классной доски, что он связывает с возобновлением школьных занятий и прибавлением работы, а с другой стороны, напоминает, что он продвинулся на ступеньку выше вверх по лестнице, ведущей во тьму.

Синди Мэркетт вылезает из бассейна. Пылающее солнце отражается в каждой капельке на ее загорелых плечах, таких смуглых, что кожа даже как бы слегка переливается. Ее подстриженные под мальчишку волосы прилипли разрозненными перышками к макушке. Стоя на плитах, она наклоняет голову, чтобы стряхнуть воду с волос. А волосы, растущие высоко на ноге, сливаются с черным треугольником ее бикини. Затем Синди направляется к их компании, оставляя короткие мокрые следы — пятка, подошва и маленькие круглые пальчики. Маленькие темные кружочки от пальчиков.

— Ты считаешь, золото все еще стоит покупать? — спрашивает Гарри Уэбба, но тот отвернул от него узкое, изрезанное морщинами лицо и смотрит вверх на молодую жену. Мягкие полукружия опускаются на его колени, на его клетчатые брюки для гольфа, и на их зелени появляются темные пятна от воды. Длинные волоски на бровях Уэбба, завиваясь, свисают вниз — удивительно, как они не колют ему глаза. Он обхватывает рукой ее бедра — такое впечатление, точно Мэркетты снялись для рекламы на фоне зеленого изгиба горы Пемаквид. За ними кто-то легко прыгает в хлорированную воду бассейна. У Гарри сразу защипало глаза.

Тельма Гаррисон внимательно слушала его рассказ с таким грустным подтекстом.

— Нельсон, наверное, в отчаянии от того, что он натворил, — говорит она.

Ему нравится слово «отчаяние» — такое старомодное в устах этой тихонькой, как мышка, болезненной женщины, которая каким-то чудом держит в руках этого остолопа Гаррисона.

— Во всяком случае, это незаметно, — говорит он. — Был такой момент — сразу после того, как это случилось, — но потом он быстро оправился: совершенно безобразно вел себя по отношению ко мне, особенно после того, как я дал маху и сказал, что его объявление сработало. Он хочет ходить в магазин, но я сказал ему, чтобы он, черт подери, держался подальше. Ты же понимаешь, то, что он натворил, граничит с безумием.

— Возможно, его что-то гнетет, чего он не может тебе сказать? — предполагает Тельма. Судя по тому, как она, глядя на него, прикрывает ладонью глаза, хотя на ней солнечные очки с большими круглыми коричневыми стеклами, более темными к верху, как на ветровом стекле, солнце, видимо, стоит прямо за его головой. Очки закрывают верхнюю половину ее лица, так что кажется, будто губы ее существуют сами по себе; хоть они и тонкие, но на них десяток складочек, так что они наверняка сладко обвиваются вокруг толстого члена Гаррисона, если попытаться представить себе, как это ни трудно, чем она его держит. Она выглядит типичной учителкой в этом купальном костюме с плиссированной юбочкой и к тому же так прямо держится и старательно произносит слова. Сколько она ни втирает лосьон в лицо, нос у нее красный, и краснота расползается по щекам под глазами, прячущимися за темными стеклами очков.

Лежа без жены с почти пустым стаканом у бассейна в ожидании, когда настанет его черед играть, Гарри все время чувствует на себе пристальный привораживающий взгляд разных глаз Тельмы.

— М-да, — произносит он. — Дженис мне все время на это намекает. Но в чем дело, не говорит.

— Возможно, она не может сказать, — говорит Тельма, сдвигая ноги и одергивая юбчонку, чтобы хоть немного прикрыть ляжки. Все ноги у нее в крошечных багровых венах, как это бывает у женщин ее возраста, но Гарри непонятно, почему она должна стесняться такого давнего приятеля, как он, да еще с животиком.

— Похоже, он не хочет возвращаться в колледж, — сообщает он ей, — так что, может, его оттуда уже выставили, а он не говорит нам. Но в таком случае разве мы не получили бы письма от декана или чего-то в этом роде? Ты бы видела, сколько писем идет к нам из Колорадо — целый поток.

— Знаешь, Гарри, — говорит ему Тельма, — многие отцы, которых я и Ронни знаем, жалуются на то, что их мальчики не хотят заниматься семейным бизнесом. У отцов на руках дело, а передать его будет некому. Вот это настоящая трагедия. Ты должен был бы радоваться, что Нельсон интересуется машинами.

— Его интересует только их разбивать, — говорит Гарри. — Это его способ мщения. — И, понизив голос, доверительно говорит: — По-моему, беда в том, что всякий раз, когда я, понимаешь ли, спотыкался, он это видел. Кстати, по этой причине помимо всего прочего я и не хочу, чтобы он был рядом. И маленький прощелыга это знает.

Ронни Гаррисон приподнимает голову и кричит:

— Что этот проныра пытается тебе внушить, а, лапочка? Не давай ему себя обкрутить!

Тельма, откликнувшись на замечание мужа рассеянной улыбкой, напрямик говорит Гарри:

— Я думаю, дело скорее в тебе, чем в Нельсоне. А не могут у него быть неприятности с какой-нибудь девчонкой? У Нельсона.

Может, выпить еще джина с тоником, думает Гарри, чтобы прогнать легкую головную боль, которая начинает его донимать. Когда он пьет среди дня, у него всегда такое бывает.

— Не представляю себе, какие тут могут быть неприятности. Эти ребята нынче прыгают из одной постели в другую, как кузнечики. К примеру, эта девушка, которую он привез с собой, Мелани, между ними, похоже, вообще ничего не было, к концу они стали даже просто грубить друг другу. А она, надо же, по-дурацки втюрилась в Чарли Ставроса.

— Почему — «надо же»? — Она улыбается уже не так рассеянно, скривив тонкие губы, давая тем самым понять, что знает о романе, который Чарли крутил с Дженис в ту пору, когда этого клуба еще не было.

— Да потому, что он ей в отцы годится — это во-первых, и он одной ногой в могиле — это во-вторых. Мальчишкой он перенес ревматическую лихорадку, и теперь его будильник ни на что не годен. Ты бы посмотрела, как он ковыляет по магазину, просто жалость берет.

— Если человек болен, это еще не значит, что он отказывается от жизни, — говорит она. — Ты знаешь, у меня ведь так называемая волчанка, поэтому я должна защищаться от солнца и не могу так красиво загореть, как Синди.

— О-о. В самом деле? — Зачем она говорит это ему? Тельма, судя по сухой улыбке, чувствуется, разоткровенничалась.

— Есть люди, которые всю жизнь живут с шумами в сердце, и ничего, — продолжает она. — Вот сейчас Мелани и Чарли — оба уехали вместе.

Это новая мысль.

— Угу, но только в разных направлениях. Чарли отправился во Флориду, а Мелани — к своим родным на Западное побережье. — Но он вспоминает, как Чарли рассказывал Мелани про Флориду у них за столом, и самая мысль, что они могут быть вместе, действует на него угнетающе. Ведь ни за кого не поручишься, что он ведет себя как монах. Гарри поворачивает голову, подставляя солнцу лицо: глаза его закрыты, веки на просвет кажутся красными. Ему следовало попрактиковаться перед игрой, а не валяться тут, подремывая под звук голосов. По пути сюда он слышал по радио, что к Флориде приближается ураган.

Где-то рядом раздается голос Ронни Гаррисона.

— Что ты, лапочка, сказала, что я буду жить вечно? — кричит он. — Так оно и будет, можешь не сомневаться!

Кролик открывает глаза и видит, что Ронни передвинулся вместе с креслом, чтобы дать место Синди Мэркетт, которая теперь уже достаточно освоилась среди них и не прикрывает ноги полотенцем, как в начале лета, — просто сидит на проволочном плетении кресла у бассейна голая, если не считать нескольких черных тесемочек и маленьких треугольников, которые они удерживают на месте, поэтому когда она не раз и не два, вполне сознавая, что делает, откидывает мокрые волосы с ушей и с висков, груди ее так и перекатываются. В своей счастливой жизни с Уэббом она позволила себе располнеть — в ней многовато стало жира; когда она встает, Гарри знает, что на ее ягодицах отпечатается проволочная сетка, оставив теплые следы, как форма для вафель на двух кусках темного теста. А все-таки до чего хороши ее дрожащие груди — вот полизать бы их, пососать и дать им поочередно упасть на твои глазницы. Кролик закрывает глаза. Ронни Гаррисон старается задурить мозги одновременно Джоанне и Синди какой-то историей, в которой герой-рассказчик без конца рычит басом на некоего злодея. Какое же он самовлюбленное дерьмо!

Уэбб Мэркетт нагибается к Гарри и говорит:

— Отвечаю на твой вопрос — да, я думаю, лучше всего покупать золото. Оно поднялось в цене на шестьдесят процентов меньше чем за год, и вряд ли оно так же быстро обесценится, пока в мире будет продолжаться энергетический кризис. Доллар неизбежно будет падать, Гарри, пока они не придумают, как дешево гнать бензин из хлебного спирта: тогда мы снова окажемся у руля. Чего-чего, а зерна у нас предостаточно.

Бадди Инглфингер, сидящий на другом конце их маленькой группы, объявляет:

— Разбомбить надо арабов, вот что я вам скажу: отобрать у них нефть, как мы отобрали ее у эскимосов.

Джоанна угодливо хихикает: история, которую рассказывал Ронни, на минуту отошла на задний план. А Бадди, чувствуя, что нашел в Гарри аудиторию, кричит:

— Эй, Гарри, ты видел в «Тайм», как люди, которые не могут сбыть с рук свои старые американские машины, дарят их бедным, а потом вычитают стоимость из суммы налога, а то и просто оставляют автомобиль на улице, чтобы его украли и они смогли потом получить по страховке? Там написано, что где-то какой-то торговец отдает задаром «шевроле», если ты покупаешь у него «кадиллак-эльдорадо».

— Мы не получаем «Тайм», — холодно отвечает ему Гарри. Если смотреть на мир под определенным углом, сколько же в нем психов.

— А президент сейчас, — пытается встрять в разговор Джоанна, — плывет по Миссисипи.

— А что ему еще делать? — спрашивает Гарри, чувствуя, что он тоже плывет по течению, ленивый и выпотрошенный.

— Эй, Кролик, — обращается к нему Гаррисон, — а каково ему, по-твоему, было, когда на него напал тот кролик-хищник?

Все хохочут и на время оставляют его в покое. Тельма рядом с ним тихо произносит:

— Трудно с детьми. Рону и мне повезло с Алексом: как только мы дали ему разобрать старый телевизор, он тотчас понял, чем хочет заниматься, — электроникой. А вот наш другой мальчик, Джорджи, судя по всему, во многом похож на вашего Нельсона, хоть он и на несколько лет моложе. Он считает, что его отец занимается отвратительным делом: страхование — это ведь ставка на смерть; а Рон никак не может ему внушить, что страхование жизни — это лишь очень небольшая часть их бизнеса.

— Молодежь разочарована, — заявляет Уэбб Мэркетт своим напыщенным хрипловатым голосом. — С двухлетнего возраста они наблюдают, как мир сходит с ума: сначала убийство Джона Кеннеди, потом Вьетнам, теперь эта заварушка с нефтью. А на днях ни с того ни с сего взорвали старика Маунтбеттена[[24]](#footnote-24).

— Хм, — не очень уверенно буркает Кролик. Ушлый считал, что мир никогда не был приятным местом.

В разговор встревает Тельма:

— Гарри говорил, что Нельсон хочет заняться вместе с ним торговлей машинами, а он против.

— Ничего хуже для него быть не может, — говорит Уэбб. — У меня пятеро детей, не считая двух сорванцов, которых подарила мне Синди, и, когда кто-нибудь из них говорил, что хочет крыть крыши, я отвечал: «Наймись к какому-нибудь другому кровельщику, у меня ты ничему не научишься». Не смог бы я ими командовать, даже если бы и попытался, они все равно не стали бы слушаться. Как только кому-то из них исполнялся двадцать один год, будь то мальчишка или девчонка, я говорил: «Очень было приятно с вами познакомиться, а теперь — скатертью дорожка». И ни один ни разу не прислал мне письма — не попросил ни денег, ни совета, ни чего-либо вообще. В лучшем случае получаю поздравительные открытки к Рождеству. Один из них однажды сказал мне — это был Марти, старший, — так вот он сказал: «Папа, спасибо тебе за то, что ты был такой мерзавец. Зато теперь я готов к жизни».

Гарри рассматривает свой пустой стакан.

— Уэбб, как ты считаешь — выпить мне еще или нет? Мы ведь играем вчетвером, так что ты можешь взять игру на себя.

— Не делай этого, Гарри, ты нам нужен. Ты же специалист по длинным мячам. Оставайся трезвым.

Он повинуется, но не может избавиться от гнетущих мыслей о Нельсоне. «Спасибо, что ты был такой мерзавец». Ему не хватает Дженис. Когда она рядом, родительский груз как бы разделен. Нельсон все-таки их совместное творение, хоть и получилось это почти случайно, но теперь они могут вместе посмеяться, что так вышло. Когда же он раздумывает над этим один, ему представляется, что произвести на свет человека не менее страшно, чем толкнуть в печь.

К тому времени, когда они наконец выходят на поле для гольфа, зелень уже отливает чернотой. Каждая травинка у его ног — это чья-то жизнь, и она угаснет, неизвестно зачем появившись на свет. Он приминает ногами траву, а она одеялом накрывает мертвецов, является крышей царства, где его мать стоит у раковины из облака, и руки у нее красные и все в мыльной пене, когда она вынимает их, о чем-то предупреждая его. Между ее большим и узловатым указательным пальцами — паркинсон еще не слишком испортил ее руки — возникает мыльный пузырь. Маунтбеттен. А на этой неделе умер их старый почтальон мистер Абендрот, веселый толстяк с развевающимися седыми волосами, — умер от тромба в шестьдесят два года. Мамаша Спрингер услышала об этом от соседей — мистер Абендрот разносил по округе счета и журналы с тех пор, как Гарри и Дженис переселились сюда; это он принес в апреле конверт от некоего анонима с вестью о смерти Ушлого. Когда Гарри взял ту вырезку в руки, печатные буквы, точно эти травинки, притянули его взгляд, и он увидел черноту между ними — так сквозь прутья решетки просматривается невидимая черная река, текущая по трубам канализации. В земле — пустоты, мертвецы бродят по пещерам, накрытым тонким слоем зеленой кожи. На солнце наползает тучка, отчего трава отливает серебром. Гарри берет клюшку и встает над мячом. Ударяй *понизу*. Одно из слабых мест в игре Гарри — то, что он не умеет катить мяч по дерну, он старается с ненужной нежностью столкнуть его с травы и бьет тихонько. А на этот раз он бьет сильно и посылает мяч в песчаную канавку по эту сторону десятой лунки. Должно быть, при ударе он качнулся вперед — тоже ошибка. Обычно взмах руки у него ровный, длинный и он далеко посылает мяч, но когда волнуется, начинает спешить.

— Тупица! — кричит ему Ронни Гаррисон. — Ну зачем ты это сделал?

— Чтоб досадить тебе, ублюдок, — отвечает Кролик.

Когда играют вчетвером, один из четверых должен попадать в каждую лунку, иначе вся команда страдает. Из этой четверки Гарри бьет дальше всех. Посмотрим, как он это делает. Вдавливает ноги в песок, переносит всю тяжесть тела на пятки и размахивается в слепой вере в себя, — обычно мяч перелетает через поле, а сейчас от злости на Ронни и безразличия ко всему на свете удар получается что надо: мяч взлетает в вихре поднявшегося песка и подбирается так близко к флажку с номером, что трое его партнеров разражаются приветственными криками. Он загоняет мяч в лунку, чтобы сравнять счет. Но игра все равно кажется ему сегодня чересчур затянувшейся — возможно, из-за выпитого в полдень джина или из-за наступающей в конце лета хандры, только промежутки между лунками видятся ему откосами, ведущими в никуда, и его не покидает мысль, что ему следует быть совсем в другом месте, что-то там произошло или *происходит*, а он опаздывает: ведь была назначена встреча, а он об этом забыл. Интересно, возникло ли у Ушлого подобное чувство под ложечкой, когда он решил достать револьвер и выстрелить в себя, чувствовал ли он нечто подобное, когда в тот день проснулся утром. Неровное поле покрывают чахлые цветы — золотая розга и дикая морковь. Миллионы травинок блестят, готовясь умереть. Этим все и кончается — листок бумаги желтеет, газетную новость вырезают и без записки отправляют кому-то по почте. Или кладут в подборку и забывают. История неустанно роет эти пустоты. Мертвый Ушлый, посмеиваясь, бродит там, внизу. Когда он был моложе и только начинал играть в гольф двадцать лет тому назад, да и потом, когда вновь стал играть лет восемь тому назад, у него бывали не удары, а чудо, мяч летел прямо, точно заостренное стекло, и дальше, чем могла послать его чья-либо сила, и Кролик играл ради того, чтобы соприкоснуться с этим ангелом, но когда он овладел мастерством и начал посылать мячи уже не в небо, а в шестнадцатую лунку, у него стали реже получаться эти суперудары, даже самые удачные броски были с хвостиком и мяч летел чуть отклоняясь в ту или другую сторону, а игра стала похожа на работу, работу приятную, но все же работу, где совершенство бывает то лучше, то хуже и возникает лишь нормальная здоровая радость. И Гарри считает себя повинным в том, что добивается этой радости на поле, где по мере того, как текут часы, удлиняются тени, и где он играет в обществе этих трех мужчин, которые без своих женщин выглядят бесконечно нудными, какими они, должно быть, кажутся и Богу.

Дженис не ждет его ни в холле, ни у бассейна, когда наконец около 5.45 они возвращаются с поля... Вместо нее к нему подходит одна из этих девиц в зеленой с белым форме и говорит, что жена просила его позвонить домой. Он не узнает девушки, ее имя не Сандра, а вот она знает его имя. Все в «Летящем орле» знают Гарри. Он проходит в холл, салютует приподнятой рукой сидящим там членам клуба и, опустив в автомат тот же четвертак, каким маркировал мячи на поле, набирает номер. Дженис снимает трубку после первого же звонка.

— Эй, приезжай сюда, — просит он ее. — Мы без тебя скучаем. Я довольно хорошо сыграл, стоило только разойтись. Уэбб считает, что наш лучший мяч пролетел шестьдесят три, что, наверно, стоит по крайней мере рубашки под крокодила. Ты бы видела, как я попал с песка в десятую лунку.

— Мне бы хотелось приехать, — говорит Дженис так осторожно и голос ее звучит так издалека, что ему приходит в голову, уж не захватили ли ее в плен террористы, иначе зачем бы ей так осторожно говорить, — но я не могу. У нас тут кто-то есть.

— Кто же?

— Кто-то, кого ты еще не знаешь.

— Кто-то важный?

Она смеется:

— Думаю, что да.

— Почему, черт побери, ты устраиваешь какие-то тайны?

— Гарри, приезжай — и все.

— Но ведь тут будет банкет и раздача призов. Я же не могу бросить мою четверку.

— Если тебе присудят приз, Уэбб передаст его тебе потом. Я не могу до бесконечности с тобой разговаривать.

— Потише на поворотах, — предупреждает он ее и вешает трубку. Что там такое может быть? Опять что-нибудь случилось с Нельсоном, за ним приехала полиция. Парня так и тянет что-нибудь натворить.

Гарри возвращается к бассейну и сообщает остальным:

— Эта безумная Дженис говорит, что мне надо ехать домой, но не говорит почему.

На лицах женщин отражается обеспокоенность, а мужчины пьют уже по второму разу, и им все нипочем.

— Эй, Гарри, — окликает его Бадди Инглфингер. — Подожди уходить, а то ты ведь, наверно, не слышал одну новость у себя там в Поконах. Почему русский танцовщик сбежал в США?

— Не знаю. Почему?

— Потому что коммунизм для Годунова недостаточно хорош.

Смех трех женщин, поднявших глаза на Гарри в красноватом свете солнца, приятен, как фрукты — фрукты трех разных пород, которые зреют на одной ветке и продолжают на ней висеть, хотя он поворачивается к ним спиной. Синди накинула на голые плечи шелковую рубашку персикового цвета, и в вырезе на ее груди горит маленький золотой крестик, которого Гарри не заметил, когда она была почти голая.

В раздевалке он снимает туфли для гольфа и, даже не приняв душ, берет вешалку со спортивным пиджаком и брюками, которые собирался надеть на банкет, и, перекинув их через плечо, выходит на стоянку. С «короной» по-прежнему что-то не так. По радио он слышит, что «Филадельфийцы» одержали победу в Атланте — 2:1. Его компаньоны по гольфу никогда больше не упоминают «Филадельфийцев» — они ведь на пятом месте. Упади немного в этом обществе, и ты все равно что мертв — одна докука. Недостаточно хорош. Содержите наш город чистым. По радио выступает не эта всезнайка, а молодой человек, который произносит все так, точно с каждым слогом на воде выскакивает пузырек жира. От урагана «Дэвид» в районе Карибского моря уже погибло шестьсот человек и, наконец, что, по мнению некоторых ученых, на Титане, самом крупном спутнике Сатурна, возможно, существует жизнь. Гарри проезжает мимо старой картонной фабрики и снова наслаждается широким обзором города с горы Джадж — он виден как на ладони, когда выезжаешь на шоссе 422. Дощатые домики взбираются как ступеньки по склону горы, их окна золотит заходящее солнце, и они кажутся прорезями в тыкве в канун Дня всех святых. Вот если бы он родился на Титане — каким бы он себя ощущал? Он думает об этих покрытых пеплом планетах, о людях в белых костюмах, неуклюже прыгающих по ним, навечно оставляя свои следы в лунной пыли. Он вспоминает, как они приезжали к Спрингерам или как в первый год после пожара жили тут и как они с Нельсоном, сидя на сером диване, смотрели «Затерянные в космосе», как ерзали и вздыхали, когда доктор Смит делал какую-то глупость и только робот с мужским голосом и маленький мальчик Уилл оказывались достаточно смышлеными и, дернув за рычаг, высвобождали космический корабль из пожирающих людей растений или из лап злодеев, которых показывали на этой неделе. Интересно, думает он сейчас, считал ли себя Нельсон Уиллом, спасающим взрослых от самих себя, а еще он думает, где сейчас этот мальчик-актер, кем он стал, — Кролик надеется, что он не стал мусором, как многие дети-кинозвезды. Космос, в котором они затерялись, выглядел вполне настоящим, а не какой-то придуманной жижей, как теперь на ТВ, когда все трюки сопровождаются музыкой и световыми эффектами, — трюками, какие он видел в фильме «2001», малоприятная ассоциация, поскольку он смотрел этот фильм в ту пору, когда Дженис сбежала с Чарли и дома творилось черт знает что. Проблема в том, что даже если существует рай, неужели кто-то способен находиться там вечно? А на земле, когда от скуки поднимаешь взгляд, видишь, что все изменилось, что ты стоишь гораздо ближе к могиле, и это волнительно. Достаточно представить себе, как ты лезешь выше и выше, словно по огромному дереву, в ночное небо. Ух, голова закружилась. Жуть. Кролик не любил залезать слишком высоко даже на чахлые клены, что растут вокруг города, хотя как-то раз на виду у мальчишек все-таки влез на дерево, и чем тоньше становились ветки, тем крепче и крепче он хватался за них. С определенной точки зрения, самое страшное на свете — это твоя жизнь, та, что твоя и ничья больше. Грудь его словно стягивает петлей, как бывает, когда связанного человека подвешивают, а он бьется. Что же такое могло случиться, чтобы Дженис пропустила банкет?

Он мчится по Джексон-стрит, и тут загораются фонари — теперь их включают с каждым днем все раньше. «Мустанг» Дженис стоит у тротуара с опущенным верхом — должно быть, она куда-то ездила после церкви, она бы не повезла Бесси в церковь в машине с опущенным верхом. Открыв входную дверь, Гарри обнаруживает множество сумок и чемоданов в гостиной, словно тут побывала небольшая армия. На кухне горит свет и слышен смех. Компания выходит ему навстречу на затененную ничейную полосу между лестницей и буфетом. Над мамашей Спрингер и Дженис возвышается какая-то новая женщина, более высокая, с гладко расчесанными на пробор волосами, которые в свете, падающем из кухни, кажутся яркими, точно морковка, тогда как курчавые волосы Мелани в таком свете стояли бы ореолом. Привык он к Мелани.

— Пап, это вот Пру, — произносит Нельсон. «Это вот» продиктовано желанием пошутить со страху.

— Невеста Нельсона, — добавляет Дженис напряженным тоном, старательно делая хорошую мину при плохой игре.

— Это уже решено? — слышит Гарри собственный вопрос.

Девчонка выходит вперед — тонкая, сутуловатая, — и он берет протянутую ему тощую руку. В свете гаснущего дня, сочащегося из окон столовой, она стоит у всех на виду — невзрачная, рыжая, не такая уж молоденькая, с непомерно длинными руками и непомерно широкими бедрами при таком-то узком лице, по-своему даже красивая, беспомощно выставив себя на всеобщее обозрение, ибо она уже связала себя, — стоит с кривой, чуть вымученной, исполненной решимости улыбкой, по ней сразу видно, что, несмотря на молодость, она уже побита жизнью, только это еще не отразилось в глазах, прозрачно-зеленых, однако настороженных. Доверив ему свою руку, она улыбается не сразу — видно, сначала должна убедиться, что есть чему улыбаться, но потом улыбка стремительно расползается по лицу, образуя морщинку в углу рта. На ней свободный коричневый свитер и джинсы по новой моде — широкие наверху, в белесых пятнах. Волосы, зачесанные за уши, гладким покровом лежат на спине, такие прямые, что кажется, их отутюжили, и настолько яркие, даже красноватые, что трудно поверить, будто это естественный цвет.

— Я бы не сказала — невеста, — говорит Пру, обращаясь непосредственно к Гарри. — Видите, кольца ведь нет, — и показывает дрожащую руку.

Гарри вдруг понимает, что девушка старше Нельсона, и одновременно инстинктивно делает другое, более важное открытие, а сам тем временем произносит этак весело, по-отечески:

— Ну, так или иначе, приятно познакомиться с вами, Пру. Мы рады здесь любому другу Нельсона. — Это, пожалуй, не производит должного впечатления, поэтому он добавляет: — Могу поспорить, вы и есть та девушка, которая слала все эти письма.

— Слишком много, наверное, — говорит она.

— Мне-то что, — говорит он. — Я ведь не почтальон.

Она поднимает на него глаза — зеленые, как распускающаяся листва.

Пру беременна. Есть преимущество в том, что ты родился не вчера: подобно тому, как ты черпаешь из вечернего воздуха представление о завтрашней погоде, ты получаешь известное представление о психологии и умонастроении противоположного пола. Талия у Пру толще, чем бывает обычно у молоденькой женщины, а светлая зелень глаз и мягкие замедленные движения — то, как она отворачивается, услышав шутку Гарри, и смотрит на Нельсона, указывает на наличие тяжести, которую боятся потревожить, на некое вздутие под волнами. Кролик подозревает, что она на третьем или четвертом месяце. А заподозрив это, по-иному видит и прошедшие месяцы. И стены дома, оклеенные обоями с пятнистым рисунком, меняют смысл от того, что в них было заложено это семя. И мягкий серый диван, и такой же стул, и вольтеровское кресло, и телевизор («Адмирал»), и безвкусные лампы мамаши Спрингер из раскрашенного фарфора и тусклой меди, и старые акварели в рамах, утратившие цвет под слоем пыли, поскольку никто ими не любуется, и дорожки на столах, которые когда-то связала мамаша, и ее собрание хрупких, ярких безделушек, расставленных на тройных полочках в углах комнаты, щербатых и оттертых песком под старое дерево, а на самом деле сооруженных в подвале Фреда Спрингера за его долгую супружескую жизнь, — все эти памятки о покойном видятся в новом свете, приобретают новое назначение, если, как подозревает Гарри, тайна этой молодой женщины состоит в том, что она ждет ребенка.

Гарри чувствует, как его тело наливается свинцом. Его оглушило сделанное открытие, а он чувствует с этой девушкой родство, она его волнует, заводит — не то что Мелани...

В постели он спрашивает Дженис:

— Ты давно знала об этом?

— Ну, — говорит она, — около месяца. Сначала Мелани намекнула, а тогда я уже напрямую спросила Нельсона. Он так обрадовался, что мог поговорить со мной об этом, даже заплакал. Он только не хотел, чтобы ты знал.

— Почему же? — Гарри обижен. Отец он этому малому или не отец?

Дженис медлит.

— Не знаю, думаю, он боялся, что ты взорвешься. Или будешь смеяться над ним.

— Почему бы я стал над ним смеяться? Ведь то же самое было и со мной.

— Он этого не знает, Гарри.

— Как он может не знать? Ведь день его рождения — через семь месяцев после дня нашей свадьбы.

— Ну да. — Когда она теряет терпение, то говорит совсем как мать, подчеркивая каждое слово. Кровать скрипит, так резко она поворачивается. — Дети не хотят об этом знать, а когда они становятся взрослыми и начинают интересоваться такими вещами, это уже все в прошлом.

— Когда он переспал с девчонкой, он хоть помнит?

— Смешной ты все-таки — как быстро догадался, что она в положении! Мы не собирались тебе сразу говорить.

— Благодарю. Это первым делом бросилось мне в глаза. Такой свободный свитер. Словом, я заметил это, а также что она выше Нельсона.

— Да нет, Гарри. Он на дюйм выше ее, он мне сам это сказал, просто он сутулится.

— А на сколько она его старше? Сразу же видно, что она старше.

— На год или немного больше. Не забывай, что он на своем курсе переросток: ведь он столько пропустил. Она работала секретаршей в архиве...

— Угу, а почему он не мог спать с какой-нибудь студенткой? Ему что — непременно надо было связаться с секретаршей?

— Гарри, тебе надо говорить с ними, если ты хочешь знать все подробности. Хотя ты ведь знаешь — он не раз говорил нам, какие кривляки эти студентки: ему с ними всегда было не по себе. По моей линии он из дельцов, а по твоей — из рабочих, так что среди его родных ни у кого не было университетского образования.

— Да и не будет, судя по всему.

— А это совсем не плохо, что у девушки есть профессия. Ты же слышал, как она сказала за ужином, что хотела бы, чтобы он вернулся в Кент и закончил образование, а она может печатать и на дому.

— Угу, но я слышал и то, как этот сопляк сказал, что он в гробу видел Кент.

— Окриками ты не заставишь его вернуться в университет.

— Я на него не кричал.

— А лицо у тебя было именно такое.

— О Господи! Только потому, что парень наградил девушку ребенком, он уже думает, что имеет право управлять «Спрингер-моторс».

— Да он вовсе не хочет управлять, Гарри, он просто хочет получить там место.

— А место ему можно дать, только если отнять его у другого.

— Мы с мамой считаем, что ты должен взять его, — говорит Дженис так решительно, что кажется, будто он слышит голос ее мамаши из темноты спальни, где старуха всегда дает знать о своем присутствии то бурчанием телевизора, то храпом, проникающим сквозь стену.

Гарри повторяет свой вопрос:

— Так когда же он все-таки наградил ее ребенком?

— Ну, такое обычно случается весной. В мае у нее не пришли месячные, но они только в Колорадо сделали исследование мочи. Оно оказалось положительным, и Пру заявила Нельсону, что не собирается делать аборт, она в это не верит, да и потом многих ее подруг изуродовали.

— Это в наши-то времена она говорит такое.

— А кроме того, по-моему, дело тут и в католической вере — ведь ее мать католичка.

— Похоже, у нее есть здравый смысл.

— Может, именно здравый смысл в ней и говорит. Раз она решает оставить ребенка, значит, Нельсон должен чем-то заниматься.

— Бедный чертенок. Прежде всего, ну как она могла забеременеть? Разве все женщины не глотают таблетки и не перевязывают себе трубы и не делают черт знает чего еще? Я читал в одном из номеров «К сведению потребителей», что теперь трубы временно затыкают полиуретаном.

— О некоторых этих новшествах плохо пишут в газетах. Они приводят к раку.

— В ее возрасте этого не случится. Словом, пока она там, в Скалистых горах, высиживала своего цыпленка, Мелани держала тут Нельсона на коротком поводке.

Дженис явно начинает засыпать, а Гарри боится, что никогда не заснет, зная, что через коридор от него находится эта невесть откуда взявшаяся большая рыжая девчонка. Мамаша Спрингер довольно ясно дала понять, что Пру должна спать в комнате, которую занимала Мелани, и протопала наверх смотреть «Джефферсонов». Старая ворона весь вечер просидела молча, но вид у нее был как у котла, который вот-вот разорвет. Жестко она играет. Гарри толкает сонную, размякшую Дженис, побуждая ее продолжить разговор.

— Мелани сказала, — говорит она, — с Нельсоном сладу не было, как только результаты анализов подтвердили их подозрения: он связался с дурной компанией, заставлял Пру заниматься планеризмом. А когда увидел, что она не меняет своего решения, надумал сбежать сюда. Они не могли его отговорить, он уехал и бросил хорошее место, а он работал у того человека, что строит кооперативные дома. А у Мелани, по-моему, были свои причины уехать, и она попросила Нельсона взять ее с собой. Нельсон не хотел, но тогда, по-моему, они сказали ему, что Пру-де сообщит родителям и нам о своем положении, и тогда он попросил дать ему время, чтобы он мог подготовить здесь для нее гнездышко, а может быть, он надеялся, что все как-нибудь еще уладится, не знаю.

— Бедняга Нельсон, — говорит Гарри. Сострадание к сыну фонтаном бьет в потолок, испещренный пятнами света, который проникает с улицы сквозь ветки бука. — Это же был ад для него.

— Ну, по теории Мелани, не такой уж ад: ей не нравилось, что он болтался с Билли Фоснахтом и его компанией, вместо того чтобы все выложить нам и сказать, почему на самом деле он хочет работать в магазине.

Гарри вздыхает:

— Так когда же свобода?

— Как только сумеем все устроить. Ведь она уже на пятом месяце. Даже ты это заметил.

Это «даже ты» обижает его, но он не хочет говорить Дженис, что почувствовал сродство с этой девчонкой. Пру похожа на его мать — такая же нескладная и худющая, с такими же большими руками, но не такая некрасивая.

— Отчасти потому я сегодня утром и повезла маму в церковь — хотелось поговорить с преподобным Кэмпбеллом.

— С этим занудой? О Господи...

— Гарри, ты же ничего о нем не знаешь. Он был необычайно мил с матушкой и действительно много делает для прихода.

— Особенно, не сомневаюсь, для хора маленьких мальчиков.

— Ты так узко смотришь на мир. Матушка при всех своих «но» шире смотрит, чем ты. — Она отворачивается и говорит в подушку: — Гарри, я очень устала. Все это меня тоже расстраивает. Ты еще что-то хотел спросить?

Гарри спрашивает:

— А Нельсон любит девчонку, как ты думаешь?

— Ты же видел ее. Она эффектная.

— Я-то вижу, а видит ли Нельсон? Ты знаешь, говорят, история повторяется, но в точности не повторяется никогда. В ту пору, когда мы с тобой поженились, все так поступали, но теперь, когда они просто живут друг с другом, брак, наверно, представляется чем-то необычным. То есть, наверно, чем-то более страшным.

Дженис снова поворачивается к нему спиной и замечает:

— По-моему, это хорошо, что она немного старше его.

— Почему?

— Ну, Нельсону нужна твердая рука.

— Девчонка, которая ложится под мужика, а потом отстаивает право на жизнь ребенка, не представляется мне «твердой рукой». А что у нее за родители?

— Обычные люди из Огайо. Отец ее, по-моему, слесарь-паропроводчик.

— Ага, — говорит он. — Рабочий. Значит, она выходит замуж не за Нельсона, она выходит замуж за «Спрингер-моторс».

— Совсем как ты в свое время, — говорит Дженис.

Он должен был бы обидеться, но ему это даже нравится — то, что она теперь считает себя как бы наградой. Он кладет руку на мягкий изгиб ее талии.

— Послушай, — говорит он, — когда я женился на тебе, ты продавала соленые орешки у Кролла, а мои родители считали твоего папашу пронырой, который кончит свою жизнь в тюрьме.

Но кончил он жизнь не в тюрьме, а на небе. Фред Спрингер завершил свое долгое восхождение по древу в звездное небо. Затерялся в пространстве. Сейчас этим путем следует Дженис — касание его руки погружает ее в сон, а он чувствует, как запульсировало ниже живота, что может служить сигналом успешной эрекции. Ничто так не возбуждает, как мысль, что ты трахаешь деньги. Он недостаточно часто владеет ею, его бедной тупой мошной. Она заснула голая. А когда они только поженились, да и многие годы потом, она надевала бумажные ночные рубашки, в которых выглядела как на рекламе «Пора на пенсию», но в семидесятых начала иногда появляться в постели без ничего, ее маленькое, все еще аккуратное, гладкое, как змея, тело было смуглым там, где его не закрывает теннисный костюм, с менее смуглым животом там, где его оставляет открытым купальник из двух частей. Как быстро высыхали сегодня отпечатки ног Синди на плитах! Странная вещь: он никак не может представить себе соитие с ней — ведь это все равно что смотреть на солнце. Он поворачивается на спину, раздосадованный и в то же время довольный, что остался один в тихой ночи, когда можно всесторонне обдумать все новое, что на тебя обрушилось. В зрелом возрасте ты в определенном смысле несешь на своих плечах весь мир, и, однако, как и прежде, ничто в нем от тебя не зависит; твое детское «я» все растаскано и роздано, как хлеба, о которых говорится в Евангелии. Гарри прислушивается к звуку шагов, выскальзывающих из комнаты Мелани — нет, Пру: она ведь проделала сегодня большой путь и увидела столько новых лиц, этот вечер был для нее наверняка нелегким. Пока мамаша и Дженис наскребали что-то на ужин — тоже своего рода чудо, — девчонка сидела в бамбуковом плетеном кресле, принесенном с веранды, и они все обходили ее, как машины обходят на шоссе место аварии. А Гарри почти не отрывал глаз от этой взрослой женщины, которая сидела такая скромная и чужая и заметно раздавшаяся. От нее исходила забытая им атмосфера чудесных школьных лет, когда девчонки нежданно-негаданно расцветают в тени железнодорожных переходов, у телефонных столбов, близ шоссе с покореженными алюминиевыми разделителями посредине, вырвавшись от разжиревших матерей и отцов, придавленных беспросветными днями труда в этой Америке, усеянной пробками от бутылок, этикетками и осколками разбитых глушителей. Кролик вспоминал, как вот такая же красота, какую он увидел в Пру с ее длинными руками в пушке, тонкими запястьями, на которых звенят браслеты, и небрежной волной блестящих волос, попала в бурный поток жизни и, словно прутик, канула в водовороте.

Дженис вздыхает во сне. Мимо проносится машина с открытым окном, следом за ней летят передаваемые по радио танцевальные ритмы. Канун Дня труда — конец чего-то. Кролик чувствует, как дом под ним разбухает, наполняясь проснувшимися мертвецами. Ушлый, папа, мама, мистер Абендрот. На буфете выцветает фотография Фреда Спрингера — по-прежнему пылают лишь красные пятна на щеках да там, где на переносице остались следы от очков. Гарри вспоминает девчонок из Верхнего Маунт-Джаджа, какими они были в сороковые годы: толстые свитера и дешевые бусы под жемчуг, белые блузки, сквозь которые просвечивают бежевые лифчики, юбки, всегда только юбки, длинные, как халаты, развевавшиеся в уставленных шкафчиками коридорах и проходах и вдоль железных труб, ограждавших глубокие цементные колодцы, по которым проникает свет в подвал магазина, длинные юбки, сидящие рядами в музыкальных комнатах, туфли на котурнах и короткие белые носки, — девчонки, от которых исходил зимний холод, как сигаретный дым, их жакетки в горошек — никто тогда не ходил в куртках, — темная помада, так что все они выглядели как Рита Хейуорт на старых ежегодниках. Как дразнили эти юбки, доходившие почти до носков, — найди меня, если можешь, сделай смелое открытие — волосня, ноги, застенчиво раздвигаемые в узком пространстве машины, влажная промежность трусов, первой его девушкой была Мэри-Энн, трусы ее спущены на туфли-котурны, похожие на ловушку для зверей, мотор продолжает работать, чтобы обогревать папину старую «де-сото», которую ему разрешали брать один вечер в неделю, невзирая на все возмущения и насмешки Мим. А Мим была плоскогрудой девчонкой почти до семнадцати лет, когда у нее начались свои тайны. Запах между ног Мэри-Энн напоминал о раздевалке, только был нежнее. Она вышла замуж, пока он был в армии. Он просто поверить не может, что она предложила кому-то другому приобщиться к своей тайне из тайн. Отошедшие в прошлое дни, погребенные в глубине его мозга, в серых клетках, миллионы которых, как он где-то читал, отмирают каждый день, унося с собой во тьму его жизнь, его единственную жизнь, триллионы, говорят, электрических разрядов, даже самый большой компьютер по сравнению выглядит недотепой, — вспомнив и снова войдя в то время, он замечает, что член не опал, а лишь еще больше затвердел, процесс продолжается, крошечные мешочки крови ждут, когда вновь оживет нужная часть мозга и пошлет им приказ. Стараясь не разбудить Дженис, он мастурбирует левой рукой, по-прежнему лежа на спине и вспоминая Рут. Ее комнату на улице Саммер. Их первый вечер, когда после этого печального бега с покойным Тотеро он очутился в уединении той комнаты. На этом островке, среди четырех стен, в ее комнате. Она сбросила одежду с полного белого тела и принялась тыкать в его жокейские трусы. Руки ее, такие тонкие-тонкие, пригвоздили его к постели, и над ним появился длинный гладкий торс.

*Эй.*

*Эй.*

*Ты красивая.*

*Перестань, работай.*

Он входит и кончает, потолок нависает над ним, тело его изгибается, словно привязанное к шару, который все набухает, набухает, и он чувствует, как его семя извергается на простыню. С большей силой, чем когда накачиваешь в темную глубь. Странно, чтоб такое случилось с немолодым мужчиной. Он соскальзывает с кровати и ищет в ящике носовой платок, стараясь не скрипеть, чтоб не разбудить Дженис, или мамашу Спрингер, или эту Пру — столько дырок окружает его. Вернувшись в постель и постаравшись как можно лучше убрать после себя, хотя мокрое место появляется там, где его не ждешь, возможно, ты не сразу чувствуешь, когда началось извержение, — и он пытается заснуть. Думая о своей дочери — ее бледное круглое лицо появляется перед его мысленным взором, молочно-белое, спокойное. И слышится шепот: «Хасси!»

Преподобный Арчи Кэмпбелл является с визитом несколькими днями позже — как условились. Он маленький, щупленький, зато голос у него глубокий и бархатный — не говорит, а изрекает, и так небрежно, улыбчиво и звонко роняет слова, что они летят по улице и заворачивают за угол. У него слишком крупная, по сравнению с телом, голова. И длинные заметные ресницы — он иногда закрывает глаза, словно желая продемонстрировать дрожащие веки. Обрядовый воротничок он носит с тонкой черной рубашкой без пуговиц и пиджаком в крекированную полоску. Когда он улыбается, его толстые, как у президента Картера, губы обнажают ровные, но мелкие зубы с чернотой в промежутках. Гарри интересуют педики — что ими правит, зачем они стали такими.

Мамаша Спрингер предлагает ему кофе, но он говорит:

— Что вы, благодарю вас, Бесси. Это мой третий визит за вечер, еще немного кофеина — и меня начнет трясти.

Фраза заворачивает за угол и удаляется к Джозеф-стрит.

— В таком случае, — говорит ему Гарри, — чего-нибудь более стоящего, преподобный отец. Виски? Джина с тоником? Официально-то у нас ведь еще лето.

Кэмпбелл окидывает взглядом компанию, проверяя их реакцию, — Нельсона и Пру, сидящих на сером диване, Дженис, присевшую на принесенный из столовой стул, мамашу Спрингер, неловко переминающуюся с ноги на ногу: ведь ее предложение выпить кофе отвергнуто.

— Что ж, я, пожалуй, не против, — растягивая слова, произносит священник. — Немножко горячительного может быть очень кстати. Нет ли у вас, случайно, водки, Гарри?

Дженис тотчас приходит на выручку:

— Там, в глубине углового буфета, Гарри, бутылка с серебряной этикеткой.

Он кивает.

— Кому-нибудь еще? — И смотрит на Пру, поскольку за эти несколько дней пребывания под одной с ними крышей она показала, что не чурается горячительного. Ей нравятся ликеры: они тут с Нельсоном привезли из поездки по магазинам вместе с картонками пива «Калуа» квадратные бутылки «Круэнтро» и «Амаретто ди Саронно» — долларов на двадцать, а то и на тридцать. А кроме того, они обнаружили в угловом буфете немного мятного ликера, оставшегося от ужина, который Гарри и Дженис давали в феврале Мэркеттам и Гаррисонам, и зеленая жидкость поблескивает у локтя Пру в самые неожиданные минуты — даже утром, когда они с мамашей смотрят «На краю ночи».

Нельсон говорит, что не отказался бы от пива. Мамаша Спрингер говорит, что она будет пить кофе — если преподобный отец хочет, у нее есть кофе без кофеина. Но Арчи держится своего, лишь слегка наклоняет голову в знак благодарности и подмигивает остальным. Кролику ясно: этот малый не просто чудак. Они собирались посадить гостя в серое кресло под цвет дивана, но он опередил их и, вытащив кособокий старый сирийский пуф из-под столика рядом с напольной лампой, где мамаша хранит всякие мелочи, оседлал его. Устроившись таким образом, преподобный отец с улыбкой смотрит на всех них снизу вверх, проворно, как обезьяна, вытаскивает из нагрудного кармана трубку и коричневым указательным пальцем утрамбовывает в ней табак. Дженис встает и отправляется с Гарри на кухню, куда тот идет готовить напитки.

— Ну и простор у вас тут, — тихо говорит он ей.

— Не язви.

— Что же в моих словах такого язвительного?

— Все. — Она наливает себе немного кампари в стакан для апельсинового сока и молча наполняет мятным ликером одну из восьми маленьких круглых ликерных рюмочек, которые она купила вместе с графинчиком у Кролла несколько лет тому назад, примерно в то время, когда они вступили в «Летящий орел». Они почти никогда этими рюмочками не пользуются. Когда Гарри возвращается в гостиную с водкой и тоником для Кэмпбелла, с пивом для Нельсона и с джином и тоником для себя, Дженис идет за ним следом и ставит ярко-зеленый кругляшок на край стола у локтя Пру. Пру вроде бы и не замечает.

Преподобный Кэмпбелл уговорил мамашу Спрингер сесть в вольтеровское кресло, где намеревался устроиться Гарри, и даже вытянул мягкую подставку, чтобы она могла положить на нее ноги.

— Прямо скажем, — говорит она, — сразу стало легче лодыжкам.

Уложенная таким образом в кресло, старуха выглядит хрупкой и как бы задвинутой на семейные задворки. Дженис, взглянув на лежащую в кресле такую неприглядно-беспомощную мать, предлагает:

— Мама, я принесу тебе кофе.

— Прихвати и блюдо с шоколадным печеньем — я его как раз выложила. Хотя я не думаю, чтобы кто-нибудь из нас, пьющих спиртное, захотел печенье.

— Я, бабуля, захочу, — говорит Нельсон. Со времени приезда Пру лицо его стало совсем другим: угрюмая замкнутость сменилась выжидательной пустотой, какой-то наивной покорностью, которая ничуть не меньше раздражает Гарри.

Поскольку священник отказался сесть в серое кресло, занять его приходится Гарри. Опускаясь в кресло, Гарри невольно вытягивает ноги, и Кэмпбелл отпрыгивает, точно лягушка, вместе с пуфом на несколько футов в сторону, чтобы его не задели большие замшевые туфли Гарри. Ухмыляясь собственному проворству, шупленький человек говорит звонко:

— Ну что ж. Как я понимаю, кое-кто здесь хочет жениться.

— Только не я, я уже женат, — быстро выдает Кролик доморощенную шутку. У него возникает нелепое опасение, что Кэмпбелл сейчас протянет ручку, лежащую на краю пуфа, в нескольких дюймах от туфель Гарри (а ручки его, как и зубы, кажутся немытыми — под каждым ногтем залегла тень), нагнется и развяжет ему шнурок. Гарри отодвигает ноги подальше.

Пру грустно улыбнулась его шутке, не поднимая глаз, — рюмочка с зеленой жидкостью стоит пока нетронутая у ее локтя. А сидящий рядом с нею Нельсон сосредоточенно смотрит прямо перед собой, не чувствуя, что на верхней губе у него пена от пива. Пьет и ест как младенец — Кролик помнит, как Нельсон барабанил ложкой, держа ее в левом кулаке, сколько они ни старались, чтобы он держал ее в правой руке, по подносу своего высокого стулика в их старой квартире на Уилбер-стрит, высоко над городом. Но он никогда не был неаккуратным ребенком — всегда старался быть хорошим. Отсюда этот его вечно сосредоточенный вид. Гарри хочется плакать при виде этих невинных усов из пены на губе парня. Продают они его с потрохами. Пру осторожно, не глядя, обхватывает пальцами рюмку.

Из глубины вольтеровского кресла раздается усталый голос мамаши Спрингер:

— Да, они хотят, чтобы это было в церкви, но не на широкую ногу. Только ближайшие родственники. И как можно быстрее, мы даже думали — на будущей неделе. — Ноги ее в грязных голубых кроссовках с закругленными носами и поцарапанной полоской белой резины выглядят по-детски маленькими, когда они не на полу, а на подушечке подножки.

Ее прерывает резкий голос Дженис:

— Мама, в такой спешке нет необходимости. Надо дать время родителям Пру устроить свои дела, чтобы они могли приехать из Огайо.

Ее мать говорит, устало поведя рукой в сторону Пру:

— Она говорит, ее родители, может, и не станут беспокоиться и не приедут.

Девчонка вспыхивает и крепче обхватывает пальцами рюмку — видно, намеревается приложиться к ней, как только перестанет быть в центре внимания.

— Мы не так близки, как ваша семья, — говорит она. И, подняв свои прозрачные зеленые глаза на священника, поясняет: — Нас семеро детей. Четыре моих сестры замужем, и два брака из четырех уже лопнули. Отец очень этим недоволен.

Мамаша Спрингер поясняет:

— Она воспитана в католической вере.

Священник широко улыбается:

— А по-моему, Пруденс — типично протестантское имя.

Румянец на щеках Пру, словно от порывистого ветра, снова разгорается.

— При крещении меня назвали Терезой, а подружки в школе считали меня скромницей — вот и прозвали Пру[[25]](#footnote-25).

Кэмпбелл хихикает:

— В самом деле! *Потрясающе!*Хоть он и молод, волосы у него на макушке, как видит Кролик, поредели. Благодарение Всевышнему, эта возрастная проблема не волнует Гарри: у его предков с обеих сторон до конца жизни были хорошие волосы — правда, у папы к концу жизни волосы из седых стали желтыми, тонкими, как кукурузные рыльца, и слишком сухими, так что было трудно расчесать. Говорят, решающую роль играют гены матери. Кролику никогда не нравилось, что у Дженис такой высокий лоб, точно она вот-вот начнет лысеть. А Нельсон еще слишком молод, так что ни о чем нельзя судить. Старик Спрингер обычно зализывал волосы назад и потому всегда, даже субботним утром, выглядел точно парень на рекламе воротничков рубашки, а когда лежал в гробу, ему неправильно расчесали волосы: в газете перевернули фотографию при воспроизведении и в похоронном бюро работали по ней. А Мим, насколько он помнит, в качестве первых знаков бунта высветлила себе пряди волос, свой естественный цвет она называла в десятом классе цветом «протестантской крысы», а мама говорила ей: «Лучше так выглядеть, а не как скунс». И в самом деле, с этими светлыми патлами у Мим был вид этакой крутой девчонки, позора семьи. Такая уж она, жизнь — вечно ты себя чем-то позоришь. Голос молодого священника легко перекатывает слог за слогом, его неожиданных взвизгов не слышно.

— Бесси, прежде чем мы условимся по поводу деталей — таких, как дата и список гостей, — мне думается, мы должны еще выяснить некоторые основные моменты. Нельсон и Тереза, любите ли вы друг друга и готовы ли вы оба навеки принять на себя обязательство, на котором, по представлению церкви, зиждется каждый христианский брак?

Вопрос вызывает недоумение. Пру шепотом говорит: «Да» — и делает глоточек из своей рюмки.

У Нельсона такой остекленелый взгляд, что мать окликает его:

— Нельсон!

— Я же сказал, что я это сделаю, верно? — жалобно произносит он, вытирая рот. — Я все время торчал здесь, стараясь что-то придумать. В университет я не вернусь: я теперь уже никогда его не окончу из-за этой истории. Чего же вы еще от меня хотите?

Все замыкаются в молчании, кроме Гарри, а он говорит:

— Я считал, что тебе никогда не нравилось в Кенте.

— Мне действительно там не очень нравилось. Но я потратил на это время, а раз так, то почему бы не получить диплом, чего бы он ни стоил, а он немногого стоит. Все лето, пап, ты шпынял меня по поводу колледжа, и мне хотелось сказать тебе: о'кей, о'кей, ты прав, но ты же не знал всего, ты не знал насчет Пру.

— В таком случае не надо на мне жениться, — быстро, тихо произносит Пру.

Мальчишка искоса — а она ведь сидит рядом с ним на диване — бросает на нее взгляд и еще глубже уходит в подушки.

— Да нет уж, лучше женюсь, — говорит он. — Пора мне остепениться.

— Мы можем пожениться и вернуться на год в Кент, чтобы ты закончил. — Руки Пру лежат теперь на коленях, и в них рюмочка с зеленой жидкостью; она смотрит в нее и говорит размеренно, точно вытаскивая из этого крошечного колодца давно отрепетированные слова — ответы на жалобы Нельсона.

— Не-а, — говорит пристыженный Нельсон. — Это, по-моему, глупо. Если уж жениться, так по-настоящему, чтоб была и работа, и старый разбитый «универсал», и тесный домишко, и прочая бодяга. В Кенте меня не научат лучше сбагривать людям эти папины японские игрушки. Вот если бы мамашке и бабуле удалось выкрутить ему руки, чтоб он взял меня.

— Бог ты мой, как ты все искажаешь! — восклицает Гарри. — Мы тебя возьмем — как может быть иначе? Но ты будешь куда ценнее для компании и, что гораздо важнее, для себя самого, если окончишь колледж. И только потому, что я это твержу, на меня смотрят здесь так, точно я зверь. — Он поворачивается к Арчи Кэмпбеллу и, забыв, как низко тот сидит, говорит поверх его головы, словно обращаясь к кому-то стоящему сзади: — Извините за эту перепалку — к вашим делам она не имеет никакого отношения.

— Да нет, — медоточиво возражает священник, — это вполне вписывается в картину. — И спрашивает Пру: — А вы где предпочли бы жить ближайший год? Первый год супружества, как сказано в книгах, задает тон всей остальной жизни.

Пру каким-то сердитым жестом откидывает на спину волосы.

— У меня нет особенно радостных воспоминаний о Кенте, — признается она. — Я была бы рада начать жизнь в новом месте.

Трубка Кэмпбелла наполняет комнату сладковатым уютным ароматом. Скорее всего ему еще и тридцати не исполнилось, а уже нет такого мяча, который бы он не отбил на своем поле. Профессионал — это Кролик уважает.

— Вы, возможно, удивляетесь, почему они не хотят выждать этот год, — ядовитым тоном произносит мамаша Спрингер.

Большая голова на хлипком туловище поворачивается, и молодой священник широко улыбается:

— Нет, я об этом не думал.

— Она же в положении, — без всякой надобности объявляет старуха.

— Не без помощи Нельсона, конечно, — улыбается священник.

— Мама, такое ведь бывает, — пытается утихомирить ее Дженис.

— Можешь мне этого не говорить, — отрубает мамаша. — Я не забыла, что так было и с тобой.

— *Мама!*— Это ужасно, — объявляет Нельсон с дивана. — Зачем мы притащили сюда этого несчастного человека? Мы с Пру вовсе не просили, чтобы нас венчали в церкви, я вообще не верю во все это.

— Не веришь? — спрашивает Гарри: он потрясен, оскорблен.

— Нет, пап. Если человек умер, так умер.

— Вот как?

— Да перестань ты, ты же знаешь, что это так, в душе все это знают.

— Никто не знает наверняка, — спокойно произносит Пру.

Нельсон в ярости спрашивает ее:

— Сколько мертвецов ты за свою жизнь видела?

Гарри помнит, что у Нельсона, даже маленького, вот так же белело вокруг рта, когда он выходил из себя. У него на нервной почве случались колики в животе, и он хватался за балясины лестницы, поднимаясь наверх за своими учебниками. Но они его все равно отправляли в школу. Гарри тогда еще вкалывал в «Верити», а Дженис полдня работала в магазине, и у них не было няни. Няней была школа.

Преподобный Кэмпбелл, невозмутимо попыхивая своей ароматной трубкой, задает Пру новый вопрос:

— А как относятся ваши родители к тому, что вы собираетесь вступить в брак с человеком, не принадлежащим к римско-католической церкви?

Легкий румянец возвращается, глаза становятся еще более зелеными.

— Собственно, католичкой была только мама, да и она, по-моему, к тому времени, когда я появилась на свет, почти отошла от веры. Меня, правда, крестили, но конфирмации не было, хотя у нас хранилось платье для конфирмации, которое надевали сестры. Пожалуй, можно сказать, что папа выбил это из нее. Не желал он кормить такую ораву.

— А какой он был веры?

— Никакой.

Гарри ударяется в воспоминания:

— Прадедушка Нельсона был из католиков. Его мать была ирландка. Это я говорю о моем деде. Черт подери, а я считаю, что...

Все взгляды устремлены на него.

— ...если хоть немножко не верить, то потонешь.

Произнося это, он смотрит на Нельсона главным образом потому, что взволнованное, побелевшее вокруг рта лицо мальчишки у него как раз перед глазами. Короткий ежик, на взгляд Гарри, делает его похожим на бритого каторжника, у которого отросли волосы. Мальчишка фыркает:

— Делай что хочешь, пап, но только не тони.

Дженис наклоняется к Пру и грудным голосом зрелой женщины, как она теперь завела моду говорить, манерно изрекает:

— Хотелось бы мне, чтобы ты сумела убедить своих родителей приехать на свадьбу.

Мамаша Спрингер говорит более умиротворяющим тоном, поскольку тут ведь священник:

— Так или иначе, у нас тут к епископалианцам относятся почти так же, как к католикам.

Пру трясет головой, рыжие волосы ее взлетают — затравленный зверь. Она говорит:

— У нас произошел разрыв. Они не одобряли кое-чего, что было до Нельсона, не одобрили бы и того, что я в таком положении.

— А что же ты такого натворила? — спрашивает Гарри.

Она словно не слышит и произносит, как бы разговаривая сама с собой:

— Я научилась заботиться о себе без их помощи.

— Вот что я вам скажу, — мягко говорит Кэмпбелл; трубка у него погасла, и его внимание целую минуту было поглощено тем, чтобы ее разжечь. — Мне несколько затруднительно прийти к решению... — на губах его появляется хитрая улыбочка, как у парня из фильма «Сумасшедший», — относительно того, как венчать такую пару, когда одна принадлежит к римско-католической церкви, а другой, как он только что нам сообщил, является атеистом. В данном случае. — Он кивает на Нельсона. — Теперь епископ дает нам больше свободы в этих вопросах, чем раньше. На днях я обвенчал разведенного японца — родители его, правда, принадлежали к епископальной церкви — с молодой женщиной, которая хотела, чтобы слова «Наша всеобщая Матерь Божия» заменили во время службы на слово «Господь». Мы сумели отговорить ее от этого. В данном случае, люди добрые, я, право же, не вижу, чтобы Нельсон и его совершенно очаровательная невеста были вообще готовы или хотели принять, если можно так выразиться, наш вариант чуда. — Он выпускает большое облако дыма и, как обычно делают курильщики трубок, поджимает губы, ожидая возражений.

Мамаша Спрингер зашевелилась — кажется, хочет подняться из своего глубокого кресла.

— Так вот: не бывать тому, чтобы внук Фреда Спрингера венчался в римско-католической церкви! — Голова ее снова падает на мягкий подголовник. Подбородок багровеет.

— О! — весело восклицает Арчи Кэмпбелл. — Я не думаю, чтобы мой дорогой друг отец Макгэри тоже мог их обвенчать. Юная леди даже не ходила к конфирмации. Знаете что, — добавляет он, сцепив руки на колене и глядя в пространство, — множество прекрасных здоровых браков было совершено в мэрии. Или в унитарианской церкви. Мой друг Джим Хэнкок из этой церкви в Мэйден-Стринге не раз брал на себя венчание, которое представляло для нас проблему.

Кролик вскакивает. Здесь происходит что-то ужасное — правда, он не очень понимает, что так ужасно и для кого.

— Кто-нибудь, кроме меня, хочет еще выпить?

Кэмпбелл, не глядя, протягивает ему пустой стакан, да и у Пру в рюмочке уже ничего нет. Зелень мятного ликера вся переместилась в ее глаза. А священник говорит ей и Нельсону:

— Право же, в определенных обстоятельствах даже для самих верующих это, возможно, наиболее правильный путь. А потом можно устроить свадьбу и в церкви — мы сплошь и рядом наблюдаем такое скрепление брачных уз.

— А почему бы им просто не жить здесь во грехе? — спрашивает Гарри. — Мы не возражаем.

— Очень даже возражаем, — произносит мамаша: она так и кипит.

— Эй, пап, — обращается к нему Нельсон, — ты не принесешь мне еще пива?

— Сходи сам. У меня полные руки. — Тем не менее он останавливается перед Пру и берет ее маленькую рюмочку: — Ты уверена, что это хорошо для малыша?

Во вскинутом на него взгляде — холод. Он-то держится так по-отцовски и тепло, а у нее глаза точно прихваченная морозом трава.

— О да, — говорит она ему. — Вот пиво и вино пить плохо — от них раздуваешься.

К тому времени, когда Кролик возвращается из кухни, Кэмпбелл уже дал себя уговорить. Есть возможность сделать так, как они хотят: свадьба в церкви, свадьба, приемлемая в глазах всех этих Грейс Штул. Теперь, зная это, он уже не спешит. Под поистине девичьими ресницами глаза у него такие же черные, как у Дженис и у матушки, глаза Кернеров. Речь держит мамаша Спрингер — закругленные носы ее голубых кроссовок подрагивают.

— Не надо принимать все, что говорит мальчик, буквально. В его возрасте я сама не знала, во что я верю: я считала, что в правительстве сидят одни дураки, а вот гангстеры — люди правильные. Это было в пору сухого закона.

Нельсон сумрачно смотрит на нее такими же темными, как у нее, глазами.

— Бабуля, раз это так много для тебя значит, мне, право, все равно — пусть будет как будет.

— А что думает на этот счет Пру? — спрашивает Гарри, ставя перед ней любимый напиток. А может, думает он, эта ее застылость и маленькие паузы перед тем, как дать волю улыбке, объясняются просто страхом: ведь это в ней растет новая жизнь, а не в ком-то другом.

— Я думаю, — произносит она так тихо, что все замирают, чтобы услышать ее, — что в церкви было бы приятнее.

Нельсон говорит:

— А я — это уж точно — не хочу идти в эту жуткую новую бетонную мэрию, которую они построили на том месте, где был «Бижу». Один знакомый парень рассказал мне, что подрядчик положил себе в карман миллион, а в цементе уже появились трещины.

— Гарри, — с облегчением произносит Дженис, — я не прочь выпить еще кампари.

Кэмпбелл приподнимает свой вновь наполненный стакан — он ведь сидит чуть ли не на полу:

— Выпьем, люди добрые. — И излагает свои условия: — Обычно делается так: первая встреча, затем по крайней мере три беседы-поучения и наставление в христианстве. Будем считать, что это и есть первая встреча. — И дальше обращается уже непосредственно к Нельсону, при этом Гарри слышит, как в мягком бархатном голосе появляются вкрадчивые нотки: — Нельсон, церковь отнюдь не считает каждую брачующуюся пару парой святых. Но она требует, чтобы брачующиеся представляли себе, на что они идут. Не я даю клятву — ее даете вы с Терезой. Брак — это не просто обряд, это таинство, предложение Господа приобщиться к святости. И не только на миг. Каждый день, проведенный вместе, должен быть таинством. Вы чувствуете, какой это имеет смысл? В старом молитвеннике были прекрасные слова: там говорилось, что в брак «не следует вступать легкомысленно и вопреки совету, а должно вступать благоговейно, осторожно, по совету, на трезвую голову и в страхе Божьем». — Произнеся это, он осклабился и добавил: — В новом молитвеннике о страхе Божьем ничего не говорится.

— Я же сказал, я не против, — жалобно говорит Нельсон.

— И сколько эти беседы и наставления будут продолжаться? — несколько суховато спрашивает Дженис. Такое впечатление, будто она сидит на этом столовом стуле, а под ней — яйцо, из которого вот-вот вылезет цыпленок; Гарри говорит себе, что надо будет потрахаться с ней сегодня ночью, чтобы расслабилась.

— О-о, — тянет Кэмпбелл, закатывая глаза к потолку, — я думаю, принимая во внимание разные обстоятельства, мы могли бы провести все три за две недели. У меня тут, как сказал один священнослужитель, случайно при себе книжка-календарь. — Прежде чем добраться до нагрудного кармашка своего пиджака, Кэмпбелл с наигранным спокойствием выбивает табак из чубука трубки, и этот жест показывает Гарри все преимущества быть гомиком: весь мир для этого малого — сплошной спектакль. Он шагает по водам — вся грязь, предшествующая появлению на свет младенцев, никогда не пачкает его туфель. Перед таким снимаешь шляпу: ничто не трогает его. Вот это настоящая религия.

Какое-то чувство протеста, желание уязвить священника, возмутиться против этой так гладко прошедшей сделки побуждает Гарри сказать:

— Угу, мы ведь хотим, чтоб их обкрутили до появления младенца. А он ожидается к Рождеству.

— Это уже как Господу будет угодно, — с улыбкой произносит Кэмпбелл и добавляет: — Будь это он или она.

— В январе, — шепотом произносит Пру, поставив на стол рюмку.

Гарри не может сказать, довольна она или недовольна тем, как он с поистине рыцарской галантностью то и дело вспоминает о младенце, тогда как остальные стараются обходить это молчанием. Пока они договариваются о времени, Нельсон и Пру сидят на диване, точно пара больших тряпичных кукол, которых невидимые руки держат из-под подушек за торс и голову.

— У Фреда день рождения был в январе, — объявляет мамаша Спрингер и со вздохом пытается вылезти из вольтеровского кресла, чтобы проводить священника.

— Ох, мама, — говорит Дженис. — Да у одной двенадцатой земного шара день рождения в январе.

— *Я* тоже родился в январе, — произносит Арчи Кэмпбелл, вставая. И широко ухмыляется, показывая плохие зубы. — Родился после долгих молитв. Мои родители были люди пожилые. Удивительно, как я вообще появился на свет.

На другой день теплый дождь сбивает с деревьев в парке вдоль аллеи Панорамного Обзора пожелтевшие листья, когда Гарри и Нельсон едут через Бруэр в магазин. Парень там все еще persona non grate[[26]](#footnote-26), но он попросил разрешения проверить, в каком состоянии находятся разбитые им машины, одну из которых Мэнни взялся отремонтировать. «Меркури», получивший два удара в бок, поврежден более серьезно, и для него труднее подобрать запчасти. Кролик-то думал продать его как лом, когда парень уедет в колледж, и списать в убыток. Но у него не хватило духу сказать мальчишке, чтобы он хотя бы не смотрел на останки. Потом Нельсон возьмет «корону» и съездит навестить Билли Фоснахта, пока тот не отбыл в Бостон учиться на врача-эндодонтолога. Однажды Гарри сверлили канал — у него было впечатление, что ему щекочут под глазным яблоком. Какой ужасный способ зарабатывать себе на жизнь! Но может быть, стопроцентно хорошего способа и не существует. Дворники на ветровом стекле, шурша резиной, безостановочно поют свою песню, а поток транспорта по Бруэру замедляет свой бег — по всему бульвару Акаций горят хвостовые красные огни. В Замке снова начались занятия, и желтые школьные автобусы маячат среди машин. Жаль, что он больше не курит, думает Гарри. У него возникает желание поговорить с парнем.

— Нельсон!

— Угу?

— Как ты себя чувствуешь?

— О'кей. Когда я проснулся, у меня немного болело горло, но я принял две таблетки витамина С по пятьсот миллиграммов, которые Мелани уговорила Бесси приобрести.

— Она была прямо помешана на здоровье, верно? Мелани. У нас до сих пор стоит на кухне ее «Гранола».

— Угу. Ну это было частью ее игры. Вы же знаете: игры в цыганку-мистификатора. Она все время читала этого гуру — забыл, как его звали. Произносится как чих.

— Ты скучаешь по ней?

— По Мелани? Нет. А почему я должен скучать?

— Разве вы не были по-своему близки?

Нельсон избегает прямого ответа.

— Слишком много она стала брюзжать под конец.

— Ты думаешь, они с Чарли поехали вместе?

— Понятия не имею, — говорит мальчишка.

Шуршание дворников, переключенных на среднюю скорость, заставляет Кролика вздрагивать всякий раз, как они проходят по стеклу, точно не он, а кто-то другой распоряжается в машине. Призрак. Совсем как в том фильме о «встречах с третьим миром», когда грузовик с Ричардом Дрейфуссом начинает весь сотрясаться и фары сзади светят вверх, а не сдвигаются в сторону. Кролик переводит скорость со средней на малую.

— Когда я спросил тебя, я имел в виду не здоровье. Скорее я имел в виду твое настроение. После вчерашнего.

— Ты имеешь в виду — из-за этого вонючего священника? А я не возражаю разика два сходить послушать его белиберду, если это нужно для чести Спрингеров или чего-то там еще.

— Я имел в виду, наверно, брак вообще. Нелли, я не хочу, чтобы тебя приневоливали.

Мальчишка так сидит, что попадает лишь в самый край поля зрения Гарри; впереди желтые автобусы сворачиваются к бруэрской средней школе, и цепочка машин снова начинает медленно ползти вдоль припаркованных автомобилей, усыпанных листьями, сброшенными с деревьев дождем.

— Кто говорит, что меня приневоливают?

— Никто не говорит. Пру кажется славной девушкой, если ты вообще готов к браку.

— Ты считаешь, что я не готов. Ты считаешь, что я ни к чему не готов.

Гарри выжидает, чтобы улеглась вспышка враждебности, и старается говорить рассудительно, как Уэбб Мэркетт:

— Знаешь, Нельсон, я не уверен, что есть такой мужчина, который был бы на сто процентов готов к браку. Про себя я точно знаю, что не был готов — иначе я не вел бы себя так по отношению к твоей матери.

— Что ж, да, — говорит малый несколько угасшим голосом: не удалось отца зацепить. — Но она свое взяла...

— Я никогда не имел на нее за это зуб. Да и на Чарли тоже. Ты бы должен это понять. После того как мы снова съехались, оба мы вели себя примерно. Даже изрядно веселились вместе. Мне только жаль, что нам пришлось склеивать свои отношения у тебя на глазах.

— Ну. — Нельсон произносит это словно задыхаясь, напряженно и продолжает смотреть себе в колени, даже когда Гарри резко сворачивает на Эйзенхауэр-авеню. Парень прочищает горло и говорит: — Если не считать истории с Джилл. Вот этого, могу поспорить, они не переплюнут.

При этом он издает нечто похожее на хмыканье. Джилл — священное имя для парня: он никогда не говорит о ней. Машина набирает скорость, спускаясь с холма, и детишки испанцев и черных, поднимающиеся на холм в школу, бездумно играют с опасностью, когда крылья машины чуть не задевают их, тем временем Гарри неуклюже продолжает:

— Времена, наверно, были такие.

— Многие ребята, которых я знаю по Кенту, рассказывали истории похуже.

— В этих новых традициях не все, по-моему, правильно. Девчонка переспала с парнем — о'кей, танго в одиночку не танцуют, на парне лежит определенная ответственность, никто не отрицает. А потом, насколько я понимаю, девчонка категорически отказывается делать аборт, хотя за эти двадцать лет вместе с уймой всяких не очень хороших вещей появилось и нечто хорошее, а именно: можно сделать аборт в открытую, в больнице, в чистоте и безопасности, все равно как вырезать аппендикс.

— Ну и что?

— Так почему она отказывается?

Мальчишка взмахивает рукой — Кролику кажется, что он сейчас схватит баранку; пальцы его крепче сжимают ее. Но Нельсон просто повел рукой, как бы показывая широту возможностей.

— У нее на это была уйма причин. Я сейчас забыл, какие именно.

— Я хотел бы услышать какие.

— Ну, во-первых, она говорила, что знает женщин, которых так изуродовали абортами, что они потом не могли иметь детей. Ты говоришь, это все равно как вырезать аппендикс, но тебе же *никогда* не делали аборта. Она *не считает это* правильным.

— Я не думал, что она такая рьяная католичка.

— Она и не была ею, да и не является. Просто она говорила, что это противоестественно.

— А что естественно? В наши дни и в наше время, чтобы так попасться, это же неестественно.

— Ну, пап, она застенчивая. Недаром ее прозвали Пру. Пойти по такому поводу к доктору — да она в жизни не согласится.

— Еще бы она согласилась. Значит, застенчивая, а как ребенка сообразить, так не постеснялась. На сколько ты моложе ее?

— На год. Немного больше. Какое это имеет значение? Она ведь не просто хотела иметь ребенка, она хотела иметь ребенка от меня. Во всяком случае, так она говорила.

— Очень мило. По-моему. А ты как это воспринял?

— Я, наверно, решил — о'кей. Это ведь ее тело. Они все теперь так говорят — «это мое тело». Я просто не видел, что тут можно сделать.

— Значит, ты как бы хоронишь ее, да?

— То есть?

— Я хочу сказать, — говорит Гарри и, кипя от возмущения, гудит мальчишкам, которые чуть не бросаются под машину на перекрестке со Сливовой улицей: в начале учебного года на перекрестках еще не стоят регулировщики. — Значит, она решила сохранить беременность, чтобы уже не было пути назад, а тем временем другая девушка стережет тебя, и твои мама и бабушка, а теперь еще и этот священник в юбке решают, когда и как обвенчать несчастную потаскушку. А твоя-то роль во всем этом какая? Нельсона Энгстрома. Я имею в виду, чего ты хочешь? Ты это знаешь? — От досады он ударяет рукой по сигналу на рулевом колесе — тут улица ныряет в выложенный почерневшими камнями туннель, сооруженный в девятнадцатом веке под скрещением Эйзенхауэр-авеню и Седьмой улицы; в сильные дожди его обычно затопляет, но сегодня там сухо. Этот туннель, сооруженный без замкового камня мастерами, которых уже давно нет в живых, считается архитектурным сооружением. Кролику даже в раннем детстве он всегда напоминал о склепе, о смерти.

Они выскакивают из туннеля уже в той части улицы, где на веревках висят мокрые флажки, ограждающие стойки, где по дешевке продают товары прямо с фабрик.

— Ты вот, я хочу...

Опасаясь, как бы парень не сказал, что он хочет получить место в «Спрингер-моторс», Гарри прерывает его:

— Вид у тебя напуганный — это я вижу. Ты боишься сказать «нет» любой из этих женщин. Я тоже не очень-то умел говорить «нет», но только потому, что это у нас в крови, ты не должен отдавать себя на заклание. Тебе вовсе не обязательно повторять мою жизнь — вот, пожалуй, что я хочу тебе сказать.

— А мне твоя жизнь кажется вполне уютной.

Нельсон явно полез в бутылку — так нахально, так хладнокровно он это произносит, что ясно: его оттуда нелегко будет извлечь. Они сворачивают на Уайзер-стрит; лес, выросший на городской площади, возникает туманным зеленым пятном в зеркале заднего обзора.

— Что ж, да, — говорит Гарри, — у меня ушло немало времени на то, чтобы добиться такой жизни. А когда ты этого добиваешься, твоя лодка уже зачерпнула воды. В мире, — говорит он сыну, — полно людей, которые так и не узнают, что их ударило: не успели проснуться, как жизнь уже кончена.

— Папа, ты все говоришь о себе, но я не вижу, какое ко мне-то это имеет отношение. Разве я могу не жениться на Пру? Она не такая и плохая — я хочу сказать, я знал достаточно девчонок и понимаю, что у каждой есть свой потолок. А Пру — личность, она друг. Такое впечатление, точно ты не хочешь, чтоб мы были вместе, точно ты завидуешь или что-то еще. Эта твоя манера без конца напоминать, что она ждет ребенка.

Нет, парня надо бы при случае выпороть.

— Я вовсе не завидую, Нельсон, как раз наоборот. Я жалею тебя.

— Не жалей меня. Не трать на меня своих чувств.

Они проезжают мимо похоронной конторы Шонбаума. Перед зданием в такой дождь — никого. Гарри проглатывает комок в горле и спрашивает:

— Неужели тебе неохота выбраться из этой ситуации, если мы сумеем сблефовать?

— А как же можно сблефовать? Она на пятом месяце.

— Пусть себе рожает, но жениться на ней тебе не обязательно. Эти агентства по усыновлению прямо схватят белого ребенка, ты только окажешь кому-нибудь услугу.

— Пру никогда на это не пойдет.

— Не будь так уверен. Мы можем облегчить ей решение. Их ведь было семеро детей, так что она знает цену доллару.

— Пап, это какой-то сумасшедший разговор. Ты забываешь, что будущий младенец — человек Энгстром!

— Господи, да как же я могу это забыть?

В конце Уайзер-стрит, у моста, горит красный свет. Гарри сбоку бросает взгляд на сына — такое впечатление, будто он только что вылупился из яйца, еще мокрый и не вполне расправивший крылышки. Загорается зеленый свет. На бронзовой дощечке, прикрепленной к столбу из цемента пополам с каменной крошкой, значится имя мэра, в честь которого назван мост, но дождь слишком сильный, так что не прочтешь.

Гарри снова заводит свое:

— Ты мог бы, не знаю, ну, не принимать никаких решений, а просто исчезнуть на время. Я бы дал тебе денег.

— Денег — вечно ты мне предлагаешь деньги, только чтобы я был подальше от тебя.

— Может, это потому, что, когда я был в твоем возрасте, мне хотелось уехать подальше от родителей, но я не мог. У меня не было денег. Не было на это ума. Мы пытались отослать тебя, чтобы ты вдали от нас поднабрался ума, а ты показал нам нос.

— Никакого носа я не показывал, просто я там не нашел для себя ничего подходящего. Все совсем не так, как ты думаешь, пап. Колледж — это обдираловка, профессора учат тебя потому, что им за это платят, а не потому, что это может тебе пригодиться. География или что там другое интересует их не больше, чем тебя. Все это сплошное шарлатанство: тебя учат, потому что родители после определенного возраста не хотят иметь детей в доме и отправляют их в колледж — это красиво выглядит. «Мой маленький Джонни в Га-арварде», «Мой маленький Нелли в Ке-енте».

— Ты действительно так на это смотришь? А в мое время ребята хотели вырваться на волю. Мы, конечно, боялись, но не настолько, чтобы бегом мчаться назад, к маме. И бабуле. Что ты будешь делать, когда не станет женщин, которые могли бы подсказать тебе, что надо делать?

— То же, что и ты. Помру.

Диско. Дацун. Экономьте горючее. Шоссе 111 в дождь выглядит даже красиво: разноцветные пятна автомобилей, и флажки, и голубоватый асфальт стоянок — на ходу все сливается в непрерывную ленту, лишь шуршат машины да постукивают дворники. Словно взлетают вверх резиновые руки — *помогите, помогите*. Кролик всегда любил дождь. Он как бы накрывает мир крышей.

— Я просто не хочу, чтобы ты попал в капкан, — вырывается у него. — Ты слишком мне дорог.

— Я не ты! — повышает голос Нельсон. — Я и не попаду!

— Нелли, ты же в капкане. Тебя зацапали, а ты даже не пискнул. Мне ненавистно это видеть — вот и все. Я тоже пытаюсь сказать тебе: я лично не считаю, что ты должен непременно лезть в эту петлю. Если ты хочешь выбраться, я тебе помогу.

— Не хочу я такой помощи! Мне нравится Пру. Мне нравится ее внешность. Она и в постели очень хороша. Я нужен ей, она считает, что я порядочный малый. Она не считает меня младенцем. Ты говоришь, я попал в капкан, но я этого не чувствую, я чувствую, что становлюсь мужчиной.

*Помогите, помогите!*— Прекрасно, — говорит тогда Гарри. — Желаю счастья.

— Там, где мне нужна твоя помощь, пап, ты не хочешь помочь.

— Где же это?

— Да вот здесь. Перестань чинить мне препятствия — дай попробовать свои силы в магазине.

Они сворачивают к магазину. Шины «короны» со всплесками разрезают воду, стремительно катящуюся к водостоку вдоль парапета. Кролик молчит с каменным лицом.

3

На Уайзер-стрит, в одном из этих замызганных, неопрятных кварталов между мостом с торговым центром, напротив старой, видавшей виды мелочной лавки, где продают иногородние газеты, горячий очищенный арахис и непристойные журнальчики для извращенцев и для обычных людей, открылся новый магазин. С виду можно подумать, что новый магазин торгует тоже чем-то непристойным: витрина его затянута длинными тонкими светлыми жалюзи, а буквы на стекле выглядят удивительно скромно. Золотые буквы, обведенные черным и отнюдь не большие, гласят: ФИНАНСОВЫЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ; а под ними буквами поменьше: «Старые монеты, серебро и золото покупаем и продаем». Гарри каждый день проезжает мимо этого магазина, и однажды, когда у обочины есть два свободных места со счетчиком, так что можно поставить машину, не задерживая движения, он припарковывается и заходит туда. А на другой день, проделав определенную операцию в своем банке — Кредитном банке Бруэра, находящемся в двух кварталах оттуда, — он выходит из «Финансовых альтернатив» с тридцатью кругеррандами, приобретенными за 377,14 доллара каждый, включая комиссионные и налог на товары, — словом, всего на 11 314,20 доллара. Эта цифра выскочила на машинке в магазине у девушки с платиновыми волосами: длинные малиновые ногти не мешали ей работать на клавишах компьтера. Во всем магазине, кроме этой девушки за длинным стеклянным прилавком со светлыми боковинами и вращающимся креслом, не было ни души. Но из задних комнат доносились голоса, свидетельствовавшие о присутствии людей, — девушка исчезла туда и вновь появилась вместе с предназначенным ему золотом. Монеты лежали по пятнадцать штук в изящных пластмассовых цилиндрах с круглыми голубыми крышечками, почему-то напоминавшими сиденья кукольного туалета, тем более что кусочки бумаги, похожей на туалетную, были засунуты в выемки крышечек, чтобы они плотнее прилегали, и священный металл даже не проблескивал сквозь щель. Такие тяжелые эти цилиндры, что кажется — вот-вот прорвут карман пальто Гарри, пока он взбегает по ступенькам крыльца мамаши Спрингер навстречу своей семье. Открыв входную дверь, он видит Пру, сидящую с вязанием на сером диване, и мамашу Спрингер, захватившую вольтеровское кресло, чтобы можно было положить ноги повыше, в то время как некий разбитной мулат передает скороговоркой из Филадельфии шестичасовые новости. Мэр Фрэнк Риццо снова опроверг обвинения, предъявляемые полиции в совершении жестокостей, — он произносит это быстро, сухим голосом, точно вытаскивая из-под каждого слова мягкую подстилку. Филадельфия казалась раньше таким далеким местом, куда никто не смел ездить, но телевидение приблизило город, и все в нем — и ограбления, и убийства, и политика — происходит теперь как бы по соседству.

— А где Дженис? — спрашивает Гарри.

Мамаша Спрингер говорит:

— Ш-ш-ш.

Пру говорит:

— Дженис повезла Нельсона в клуб, а то у некоторых дам не хватает пары для тенниса, а потом они, по-моему, собирались поехать по магазинам, чтобы купить ему костюм.

— Мне казалось, он уже покупал себе костюм этим летом.

— То был деловой костюм. А для свадьбы, они считают, ему нужна тройка.

— Господи, свадьба! А как тебе нравятся ваши собеседования с Как-Его-Там?

— Мне это безразлично. А Нельсон лезет от них на стенку.

— Он это говорит специально, чтобы позлить свою бабушку, — изрекает мамаша Спрингер, слегка поворачиваясь, чтобы ее услышали, несмотря на подголовник. — А я считаю, что это ему очень даже на пользу.

Ни одна из женщин не замечает, как отвисли карманы его пальто, хотя у него такое чувство, точно там лежат бычьи яйца. Ему нужна Дженис. Он идет наверх и засовывает два компактных, чистеньких цилиндрика в глубь ящика ночного столика, где он держит запасные очки и резиновую насадку на пластмассовой ручке, которой надо массировать десны, чтобы не попасть в руки зубного врача, а также затычки из розового воска, которые он иногда сует в уши, если чем-то взвинчен и не может отключиться от шума в доме. В этом же ящике он обычно держал презервативы в тот период, когда Дженис решила, что таблетки ей вредны, а потом отправилась и перевязала себе трубы, но это было давно, и Кролик все презервативы выбросил, целую цинковую коробку, после того как ему показалось, поскольку крышка была неплотно закрыта, — а возможно, он это вообразил, — что Нельсон или кто-то еще лазал в коробку и вытащил оттуда парочку презервативов. Примерно в это время ему начало казаться, что им тесно жить с парнем. Пока Нельсона ничто не интересовало, кроме статистики бейсбола, или игры на гитаре, или даже пластинок рока, который грохотал, проникая сквозь все фибры дома, его пребывание в комнате в глубине коридора мешало не больше, чем воспоминание о собственном детстве Кролика, сохранившееся в анналах его мозга, но когда начались гормоны, и девушки, и машины, и пиво, тут Гарри захотелось перестать быть отцом. Два видения определили его отношение к мужчинам, происходящим от мужчин. Когда ему было лет двенадцать или тринадцать, он вошел в спальню родителей в том доме на Джексон-роуд, не ожидая застать отца дома, и увидел старика, стоявшего перед письменным столом в одних носках и нижней рубашке и рывшегося в ящике в поисках трусов — боксерских трусов, которые всегда казались Гарри такими унылыми и нелепыми, и перед ним был голый зад отца, белые, обвислые ягодицы без волос, безгласная беспомощная плоть, которая раз в день выдавливала из себя экскременты, а остальное время висела, как неглаженое белье; и второе видение явилось ему, когда Нельсон был примерно того же возраста, возможно, на год старше, так как они уже жили в этом доме, а они переехали сюда, когда мальчишке было тринадцать лет, и Гарри вошел в ванную, не предполагая увидеть там Нельсона, как раз выходившего из-под душа: он увидел волосню и, хотя тело мальчика было все еще стройным, тяжелый овал мужского по величине члена, не обрезанного, как у Кролика, и, возможно, поэтому выглядевшего таким грубым и большим. Большущим. Это было за много лет до того, как у него украли презервативы. Ящик застрял и трещит, и Гарри, стараясь задвинуть его, слышит, что вернулись Дженис и Нельсон: по всему нижнему этажу разносятся их рассказы о достижениях в теннисе и новостях из широкого мира. Гарри хочется приберечь свою новость для Дженис. Сразить ее. Ящик неожиданно закрылся, и Гарри улыбается, представляя себе, как она удивится при виде его драгоценного, сверкающего, тяжелого, как свинец, секрета.

Как это бывает со многими событиями, которые мы рисуем себе в воображении, все получается не так, как представлялось. Гарри и Дженис поднимаются наверх гораздо позднее обычного, оба расстроенные и взвинченные. Ужинать пришлось рано, потому что Нельсон и Пру должны были ехать к Манной Каше, как они прозвали Кэмпбелла, на третье собеседование. Вернулись они около половины десятого, причем Нельсон так кипел, что пришлось снова откупорить вино, которое подавали к ужину, а он с банкой пива в руке изображал, как молодой священник долбил церковные заповеди, влезая в их интимную жизнь.

— Он все твердит, что церковь — это Хри-истова н-невеста. Мне так и хотелось спросить его: «А вы чья будете невеста?»

— Нельсон, — остановила его Дженис, бросив взгляд в направлении кухни, где ее мать готовила себе овальтин.

— Я хочу сказать, это *непристойно*, — не отступал Нельсон. — Чем он занимается — трахает церковь через зад?

Гарри заметил, что Пру рассмеялась. Нельсон тоже ее так трахает? Это, пожалуй, последнее, что еще не вошло у деток в обиход, а в журналах нынче об этом только и разговору, есть такой фильм «Шампунь», где Джуди Кристи, с которой связано представление о костюмных драмах и дамах в чепцах, вдруг прямо с экрана заявляет, что она хочет пососать Уоррена Битти, и фильм не помечен даже звездочкой, это самый обычный фильм, и его смотрят все эти юнцы и девчонки, что сидят, так мило держась за руки, точно это повторный показ «Парохода» с Кэтрин Грэйсон и Говардом Килом, и девчонки смеются вместе с мальчишками. Длинное безгласное тело Пру не рассказывает, чем она занимается, этого не произносят и ее бледные губы, которые выглядят такими сухими и сморщенными — должно быть, она научилась так поджимать их на курсах для секретарш. «В постели ей равных нет», — сказал ему в свое время Нельсон.

— Извини, мам, но он, право же, выводит меня из себя. Он заставляет меня говорить то, во что я не верю, а потом ухмыляется и веселится, точно все это дурацкая шутка. Бабуля, и как только ты и все прочие пожилые дамы можете его выносить?

Бесси вышла из кухни с кружкой горячего овальтина, на которую она смотрит не сводя глаз, волосы ее, уложенные на ночь в сетку, словно приклеены к черепу.

— Что ж, — говорит она, — он лучше некоторых и хуже других. По крайней мере он не душит нас всех ладаном, как тот, который стал потом православным священником. И он хорошо потрудился, заставив твердолобых принять новую форму. Мой язык до сих пор с трудом произносит слова некоторых ответов.

— Он, по-моему, очень гордится тем, что по новым правилам не обязательно «повиноваться», — заметила Пру.

— А люди никогда и не повиновались, поэтому, я думаю, это вполне можно было исключить, — заявила мамаша.

Дженис вроде решила сама наставить Нельсона:

— Право же, Нельсон, ты не должен так противиться. Кэмпбелл весь наизнанку вывернулся, чтобы обвенчать вас в церкви, и мне кажется, судя по тому, как он себя ведет, он искренне хорошо к вам расположен. Он действительно понимает молодых людей.

— Вот как, — говорит Нельсон достаточно тихо, чтобы мамаша Спрингер не могла расслышать, и, подражая Кэмпбеллу, громко добавляет: — Дорогие матушка и батюшка такие *дремучие*. Это же *чудо*, что я вообще сюда попал. Я это говорю на случай, если вы удивляетесь, *почему* я выгляжу таким грибом поганкой.

— Не следует винить людей в том, как они выглядят, — сказала Дженис.

— Ох, матушка, но именно так и *происходит*.

Какое-то время они продолжали в том же духе — это не менее интересно, чем смотреть телевизор: Нельсон подражал медоточивому голосу пастора, Дженис взывала к разуму и милосердию, мамаша Спрингер пребывала в собственном мирке, где епископальная церковь царила с момента мироздания, а Гарри возвышался над всеми ними, владелец золота, который не мог дождаться той минуты, когда он поведет свою жену наверх и покажет их сокровище.

По телевидению начинается повторная демонстрация «Военно-полевого госпиталя», фильма, который хотелось посмотреть Нельсону, — лица молодых людей вдруг становятся усталыми, опустошенными; они сидят рядышком на диване — молодая пара, которую усиленно пытаются сплотить. У каждого из них уже появилось свое привычное место. Пру сидит в конце дивана, возле маленького столика вишневого дерева, где стоит ее рюмочка ликера и лежит ее вязанье, а Нельсон — на средней подушке, задрав ноги в кроссовках фирмы «Адидас», с подошвами в кружочках на стилизованную скамейку сапожника. Теперь, когда он перестал бывать в магазине, он не утруждает себя и не бреется каждый день, так что на подбородке и верхней губе появилась щетина, а на щеках — все еще пушок. А ну его к черту, этого неряху. Кролик решил жить для себя.

Когда Дженис выходит из ванной нагая и влажная под своим махровым халатом, он уже запер дверь спальни и лежит в одних трусах на постели.

— Эй, Дженис, — окликает он ее вдруг охрипшим вкрадчивым голосом, — посмотри-ка! Я сегодня кое-что нам купил.

Ее темные глаза очумело смотрят после всего выпитого да еще всех этих стараний строить из себя добрую мамочку — она и душ-то приняла, чтобы прочистить голову. Постепенно взгляд ее становится осмысленным, и она, должно быть, видит на его лице такой безмерный восторг, что это озадачивает ее.

Он вытягивает непослушный ящик и сам не без удивления смотрит, как два цветных цилиндрика скользнули к нему — они по-прежнему тут, по-прежнему рядом. А ведь, казалось бы, нечто столь ценное должно излучать сигналы, и грабители должны были примчаться сюда, точно псы по следам распаленной сучки. Гарри вынимает из ящика один цилиндрик и кладет его на руку Дженис — от неожиданной тяжести рука у нее опускается, незавязанный халат распахивается. Ее стройное загорелое потасканное тело в этом распахнутом одеянии кажется привлекательнее девичьего, и у него возникает желание протянуть руку к тому месту, где темно и влажно.

— Что это, Гарри? —спрашивает она, широко раскрыв глаза.

— Открой, — говорит он ей, и, поскольку она слишком долго копается с прозрачной клейкой лентой, удерживающей на месте крышечку в виде сиденья на стульчаке, он поддевает ее своим крупным ногтем. Затем вытаскивает папиросную бумагу и вытряхивает на стеганое лоскутное покрывало пятнадцать кругеррандов. Они краснее, чем, насколько он помнит, бывает золото. — Золото, — шепчет он, поднося к ее лицу ладонь с двумя монетами, которые лежат разными сторонами кверху: на одной — профиль какого-то старого бура, на другой — что-то вроде антилопы. — Каждая из этих штук стоит около трехсот шестидесяти долларов, — сообщает он ей. — Только не говори об этом ни твоей матери, ни Нельсону, никому.

Она смотрит на них словно завороженная и берет одну монету. Ее ногти при этом царапают его ладонь. В карих глазах загораются золотые искорки.

— А это не против правил? — спрашивает Дженис. — Где, черт побери, ты их взял?

— В новом магазине на Уайзер, напротив лавки, где торгуют арахисом, там продают драгоценные металлы, покупают и продают. Все было очень просто. Надо было только принести заверенный чек в течение суток с момента, когда тебе назвали цену. Они гарантируют, что возьмут их обратно в любое время по цене на тот момент, так что теряешь ты на этом только шесть процентов комиссионных, которые они берут себе, да налог на товары, который окупится за неделю при том, как золото растет в цене. Вот. Я купил две упаковки. Смотри.

Он достает из ящика второй волнующе тяжелый цилиндрик, снимает крышечку и вытряхивает на покрывало одну за другой пятнадцать антилоп, тем самым выставленное на обозрение богатство сразу удваивается. Покрывало — легкий стеганый шедевр пенсильванских немцев — состоит из маленьких квадратных лоскутков, сшитых вместе терпеливыми мастерами с переходом от светлых тонов к темным, чтобы создать пространственный эффект: получилось как бы четыре коробки, у каждой из которых есть более светлая и более темная сторона. Гарри ложится на этот мираж и кладет себе на каждое веко по кругерранду. Красноватые золотые кругляшки холодят веки, он слышит голос Дженис:

— Боже мой! Я-то думала, что только правительство может держать золото. Разве на это не нужно разрешение или что-то еще?

— Только деньги. Только треклятые деньги, Чудо-Женщина[[27]](#footnote-27).

Он лежит слепой и чувствует, как от непривычной тяжести золота в нем вспыхивает желание.

— Гарри, сколько же ты на это потратил?

А он думает о том, как бы внушить ей, чтобы она спустила ему трусы и сосала, сосала, пока не задохнется. Но ему не удается это ей внушить, тогда он снимает с век монеты и смотрит на нее — лежит и глядит, воскресший мертвец. Перед его глазами не гробовая мгла, а очумелое лицо жены, обрамленное темными обвисшими патлами, с мокрой после душа челкой на лбу — вылитая Мейми Эйзенхауэр[[28]](#footnote-28).

— Одиннадцать тысяч пятьсот с чем-то, — отвечает он ей. — Лапочка, ведь эти деньги лежали в банке на жалкие шесть процентов. А в наши дни получать всего шесть процентов годовых — значит терять деньги: инфляция ведь составляет двенадцать процентов в год. Золото прекрасно тем, что дурные вести ему на пользу. Когда доллар падает, цена на золото идет вверх. Все арабы превращают свои доллары в золото. Это мне сказал Уэбб Мэркетт в тот день, когда ты не поехала в клуб.

Она продолжает разглядывать монету, поглаживая пальцем изящный рельеф, а ему так хочется, чтобы она обратила внимание на него. Он уже не помнит, когда у него вставал вдруг член в брюках. Разве что когда он общался с Лотти Бангамен.

— Красиво, — признает Дженис. — Но следует ли поддерживать Южную Африку?

— А почему бы и нет — ведь золотые рудники дают работу черным. Преимущество ранда, как мне сообщила девушка в «Финансовых альтернативах», в том, что монета весит точно одну тройную унцию и ее легче продать. Можно при желании купить мексиканское песо или этот маленький канадский кленовый листок, по ее словам, золото там такое, что на пальцах остается золотая пыль. А потом, мне понравился этот олень на обратной стороне. А тебе?

— Мне тоже. Он возбуждает, — признается Дженис, взглянув наконец на Гарри, лежащего среди разбросанных на постели золотых монет. — Где же ты собираешься их хранить? — спрашивает она. В задумчивости она высовывает кончик языка, и он остается лежать на ее нижней губе. Гарри нравится, когда она такая задумчивая.

— В твоей необъятной утробе — говорит он и притягивает ее к себе за отвороты халата.

Из уважения к остальным обитателям дома — а мамашу Спрингер отделяет от них лишь толща стены, сквозь которую слышно, как у нее бормочет телевизор, изображая корейскую войну сущим пустяком, — Дженис старается не взвизгнуть, когда он срывает халат с ее еще влажного тела и кожа ее соприкасается с монетами на постели. Сухожилия на ее горле натягиваются, лицо темнеет от возмущения и наслаждения. А он, стянув с себя белье, не выключая света, видя, как стоит его член, словно розовый обломок кораблекрушения, ласково удерживает ее в неподвижности и кладет по ранду на каждую грудь, одну монету на ее живот и выкладывает внизу треугольник из скользящих монет в виде золотой чешуи. Если Дженис сейчас рассмеется и живот ее дернется, вся конструкция рухнет. Опустившись на колени у ее бедер, Гарри держит кругерранд так, точно собирается всунуть его в щель.

— *Нет!* — так громко вскрикивает Дженис, что мамаша Спрингер, спящая за стенкой, просыпается, а монеты рассыпаются между ног Дженис.

Гарри затыкает ей рот, прильнув к нему губами, затем постепенно передвигает их на юг — через пустыню, к оазису, пока не добирается до косматых джунглей, которые его жена движением бедер раскрывает перед ним. Что-то толкает его при виде красного золота, прижатого к ее лбу, высунуть язык и поискать ее клитор. Ему кажется, что он обрел нужный ритм, но не чувствует, что дело пошло, — возможно, ее отвлекает яркий свет над головой, а он боится, что член опадет, если он выскочит из постели, чтобы добраться до выключателя возле двери. Он поворачивается и видит, что она тоже повернулась, встала на колени, упершись локтями в матрас, — этакое существо, родившееся под знаком Рака; мягкое углубление между ее ягодицами возвышается над ним, а лицо обращено к нему через плечо. Он входит в нее осторожно, с трудом удерживая сперму и далеко улетая мыслями. Автомобильная гонка, недавнее повышение в производственной стоимости «королл». Он ласкает низ ее живота, эту беззащитную дряблую плоть, — его живот выпирает упругой массой. Ее спина кажется такой хрупкой и узкой — длинная линия позвоночника, пересеченная бледной полоской от купального бюстгальтера. Откуда-то сзади долетает слабый кисловатый запах его голых ног. Монеты позвякивают, соскальзывая вниз, к ее коленям, в выемки, образованные их общей тяжестью в матрасе. Он хлопает ее по ягодице и спрашивает:

— Не хочешь перевернуться?

— Угу. — И добавляет: — Хочешь, чтобы я сначала на тебе посидела?

— Угу. — И добавляет: — Только не давай мне кончать.

Гарри ложится на спину, и ему кажется, что он лег на лед. Монеты — они ведь хуже сухих крошек. Но он такой потный, что почти не чувствует этого, и Дженис седлает его, широкая и округлая в пятнистом свете фонаря, который проникает в окно сквозь листья большого бука. Она берет монету и вставляет ее в глазницу, как монокль. Господствуя над ним, держа его в плену, она начинает работать своими влажными ягодицами, ублажая себя и его.

— Не кончай, — говорит она и сморщивается от страха, как бы это не произошло, при этом ее лжемонокль со стуком падает на его напряженный живот.

— Лучше ляг под меня, — буркает он.

Вот теперь ее тело кажется тощим и темным, обрисованным кругами теней, которые перемещаются в зависимости от наклона веток.

— Боги спали среди звезд, — шепчет он ей в ухо, и она уже безраздельно принадлежит ему.

Отпраздновав таким образом это событие, они дают дыханию успокоиться и, собирая в полутьме на смятом, вздыбленном зелеными волнами покрывале ранды, насчитывают только двадцать девять монет. Гарри включает верхний свет. Глазам становится больно. При этом резком свете кожа у них обоих тоже выглядит мятой. Паника наполняет обессилевшее тело Гарри; он не может успокоиться, пока, ползая нагишом на коленях по ковру, не находит между матрасом и бортиком кровати драгоценную тридцатую монету.

Он стоит рядом с Чарли и смотрит на улицу, на унылый сентябрьский день. Дерево за «Придорожной кухней» словно бы стало тоньше, и крона его пожелтела: над его оголенными ветками, точно полоски жира в грудинке, плывут по небу перистые облака, обещая назавтра дождь.

— Бедный старина Картер, — произносит Гарри. — Ты видел, он чуть не сдох, когда бежал вверх по горе в Мэриленде?

— Жмет вовсю, — произносит Чарли. — Кеннеди-то сидит у него на хвосте. — Чарли вернулся после своего двухнедельного отпуска с легким загаром — поцелуем флоридского солнца, — который, однако, не может скрыть его изначальной бледности, а может быть, сказалось и то, что он приехал не прямо оттуда. В понедельник одновременно с его возвращением в «Спрингер-моторс» пришла открытка из Огайо, написанная его косым бухгалтерским почерком:

Привет, ребята...

На обратном пути из Флориды завернул в большие горы.

Миля за милей — сплошь южные красотки. Приближаюсь к Акрону, осколку столицы мира.

Экономии горючего здесь — ни-ни: большехвостые восьмицилиндровые машины царят вовсю.

По всем соскучился.

Чарли.

Весь смысл открытки — прежде всего для Гарри — была обратная сторона: там было изображение большого здания с плоской крышей, похожего на кусок пирога, и надпись под ним: СТУДЕНЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС КЕНТСКОГО УНИВЕРСИТЕТА *с самой обширной открытой библиотекой в северо-восточном Огайо*.

— Ты сам, я смотрю, жмешь вовсю, верно? — замечает Гарри. — Как там вела себя Мелани?

— А кто сказал, что я был с Мелани?

— Ты сказал. Этой открыткой. Господи, Чарли, путаться с такой молоденькой девчонкой — это же убьет тебя.

— Что за манера, а, чемпион? Ты не хуже меня знаешь, что приканчивают мужика не девчонки, а дамочки среднего возраста, которые знают, что их время на исходе.

Кролик вспоминает свое соитие с Дженис среди золотых монет и все равно ревнует.

— Что же вы там с ней делали, во Флориде?

— Путешествовали. Сарасота, Венес, Сент-Питерсберг. Я никак не мог уговорить ее не ездить на Атлантику, поэтому мы смотались из Нейпла по Семьдесят пятой, бывшей Крокодильей Тропе, и прокатились по краю героина — Корал-Гейблс. Затем по Океанскому бульвару — до острова Бока и Уэст-Палм-Бич. Мы собирались прихватить и мыс Канаверал, но времени не осталось. Глупышка не взяла с собой даже купального костюма, а тот, что мы ей купили, был из новомодных, с открытыми боками. Фигура — роскошная. Просто не понимаю, как ты ее не оценил.

— Да не мог я ее оценить — ведь это же Нельсон привез ее. Это было бы все равно, как если б я стал трахаться с собственной дочерью.

Чарли прихватил с обеда в ресторане зубочистку оранжевого цвета, и сейчас она лежит на его нижней губе, а он смотрит сквозь несвежее стекло витрины.

— А как Нельсон и его невеста?

— Пру. — Гарри видит, что Чарли не намерен делиться подробностями своего путешествия и их придется извлекать из него по одной. «Миля за милей сплошь южные красотки». Вот ведь чертов мужик. Но у Кролика тоже есть секреты. Правда, при мысли об этом перед его внутренним взором возникает лишь ферма со своими строениями, сгрудившимися в глубокой лощине.

— У Мелани есть свои соображения насчет Пру.

— Например?

— Например, она считает, что Пру с причудами. У Мелани такое впечатление, что при всей своей застенчивости Пру хваткая девчонка — росла-то ведь в жесткой среде, и в плане эмоциональном она не очень стабильна.

— Ну, тут можно только сказать, что девчонка, которой нравится спать с таким старым сычом, как ты, сама с причудами.

Чарли отрывает взгляд от витрины и в упор смотрит на Гарри — такое впечатление, что его глаза за темными стеклами очков полны слез.

— Ты не должен говорить мне такое, Гарри. Нас с тобой здесь двое, а два мужика, работающие вместе, должны ладить друг с другом.

Интересно, думает Гарри, знает ли Чарли, как шатко его положение — ведь Нельсон наступает ему на пятки.

А Чарли продолжает:

— Можешь задавать мне любые вопросы про Мелани. Как я уже сказал, она славная девушка. Эмоционально уравновешенная. Вся беда твоя, чемпион, в том, что ты только и думаешь о постели. А я получал огромное удовольствие от того, что показывал этой молодой женщине кусочек мира, который она прежде не видела. Она все с жадностью поглощала — и кипарисы, и эту колокольню. Но сказала, что все равно предпочитает Калифорнию. Флорида-де слишком плоская. Она сказала, что, если бы я мог выбраться в Кармел на Рождество, она бы охотно все мне там показала. Познакомила бы со своей матерью и со всеми, кто там окажется. Никаких обременительных страстей.

— Сколько же... сколько времени вам, по-твоему, осталось вдвоем провести?

— С кем угодно, Гарри, времени у меня осталось немного. — Он произносит это шепотом, еле слышно.

Гарри так и хочется взять щетку и прочистить ему горло.

— Это нельзя знать заранее, — заверяет он своего более мелкого коллегу.

— Да нет, вообще-то всегда знаешь, — настаивает Ставрос. — Знаешь, когда твое время истекает. Так что, если жизнь предлагает тебе что-то, бери.

— О'кей, о'кей, я так и поступаю. Да, так и поступаю. А как же без тебя обходилась твоя бедная старушка матушка, пока ты скакал с чувихой по Эверглейдс[[29]](#footnote-29)?

— А-а, — говорит он, — это вышло забавно. Одна моя кузина, лет на пять, по-моему, моложе меня, вела довольно разгульный образ жизни, и муж этим летом вышвырнул ее из дома, а детей оставил себе. Они жили в Норристауне. Так вот, Глория поселилась на Янггквист, в двух кварталах от нас, и охотно согласилась посидеть со старушкой в мое отсутствие и сказала, что я могу на нее рассчитывать в любое время. Так что теперь я менее связан, чем раньше.

Всюду, видно, рушатся семьи, подумал Гарри, и осколки этих семей, точно потерпевшие кораблекрушение, сбиваются вместе в одну лодку, а вот они с Дженис, безнадежно отстав от времени, по-прежнему сидят под крылышком мамаши Спрингер.

— Нет ничего ценнее свободы, — говорит он своему приятелю. — Только не перебери через край. Ты спрашивал про Нельсона. Свадьба назначена на субботу. Одни только родственники. Извини.

— Ух ты! Бедняга Нелли! Сцапали-таки его!

Гарри пропускает это мимо ушей.

— Судя по некоторым высказываниям Дженис и Бесси, мать Пру, видно, приедет. Отец слишком обозлен.

— Посмотрел бы ты на Акрон, — говорит ему Чарли. — Я бы тоже был обозлен, если бы мне пришлось там жить.

— Разве там нет поля для гольфа, где каждый год проходят состязания?

— Ничего похожего на поле для гольфа я там не видел.

Чарли вернулся из своего путешествия каким-то размягченным, словно на него напала ностальгия по жизни, хотя она от него еще и не ушла. Он кажется постаревшим и умудренным, и Гарри отважился спросить его:

— А как относится ко мне Мелани, она не говорила?

Очень толстая пара блуждает по площадке, рассматривая маленькие машины, присаживается рядом с дверцей водителя, примеряясь, какая модель им больше подойдет. Чарли, прежде чем ответить, с минуту следит взглядом за этой парой, передвигающейся среди сверкающих крыш и капотов.

— Она считает тебя порядочным человеком, вот только слишком уж тобой вертят твои женщины. Она подумывала развлечься с тобой, но у нее сложилось впечатление, что вы с Дженис очень крепко спаяны.

— Ты лишил ее этой иллюзии?

— Не мог. Малышка права.

— Ну а как было лет десять назад?

— Тогда было крепко, как цемент.

Гарри нравится, как этот соблазнитель Дженис все уточняет, — он любит этого умного грека, у которого такое доброе сердце под летним клетчатым пиджаком. Парочка устала пробовать машины и, сев в свой старый «Понтиак-77» с крышей цвета слоновой кости, уезжает. Гарри вдруг спрашивает:

— Как ты все-таки относишься к тому, что происходит? Думаешь, сможем мы тут ужиться с Нельсоном?

Чарли передергивает плечами скупым, еле заметным движением.

— А он сможет ужиться со мной? Он ведь хочет быть на ступеньку выше Джейка и Руди, а в таком заведении, как наше, не так уж много ступенек.

— Я сказал им, Чарли, если ты уйдешь, и я уйду.

— Ты не можешь уйти, шеф. Ты член семьи. А я — осколок прежних времен. Я уйти могу.

— Ты знаешь дело до самого нутра — это для меня главное.

— Эх, да разве это торговля! У нас теперь все равно что супермаркет: разложили по полкам — и пробивай чеки. Когда мы торговали только подержанными, мы пытались подобрать машину для каждого покупателя. А теперь — бери или не бери. При таком рынке не развернешься. У твоего мальчишки была правильная мысль: заняться спортивными машинами, антиками, чем-то таким, что могло бы немного увлечь. А к этим японским клопам я не могу относиться серьезно. Эта новая штука под названием «терсел», которую мы должны внедрить с будущего месяца, — ты видел ее данные? Мотор — на полтора литра, шины — двадцать дюймов шириной. Это вроде тех машинок, которые устанавливали на каруселях для детишек, боявшихся сесть на лошадь.

— Сорок три мили на галлон по шоссе — это то, что людям нравится, в такой скорости крутится мир.

— Во Флориде что-то не видно большого количества маленьких машин, — говорит Чарли. — Старики по-прежнему ездят в этих больших колымагах — «континенталях», «торнадос», они красят их в белый цвет и раскатывают. Ну, конечно, там и дороги соответствующие: во всем штате ни единого холмика и никогда не бывает мороза. Я подумывал о Солнечном Поясе. Отправиться туда и показать фигу счетам за отопление. Правда, тебя там прищучат на воздушных кондиционерах. Так что своей доли не избежать.

— Нужны натриевые крылья — вот выход из положения, — говорит Гарри. — Электричество из солнечной энергии, ждать нам этого осталось еще лет пять — так сказано в журнале «К сведению потребителей». Тогда мы сможем послать этих арабов подальше вместе с их чертовой нефтью — пусть мажут ею задницы своим верблюдам.

Чарли говорит:

— А число автомобильных аварий растет. Хочешь знать — почему? По двум причинам. Во-первых, ребята нынче отошли от наркотиков и снова ударились в выпивку. Во-вторых, все помешались на малолитражках, а они сплющиваются, как бумажный мешок.

Он хмыкает и крутит прижатую нижней губой душистую зубочистку — оба стоят и смотрят сквозь стекло на текущую мимо реку грязных жестянок. Старый, низко сидящий «универсал» сворачивает к ним на стоянку, но наверху у него нет сбитой из досок клетки; сердце у Гарри тем не менее подпрыгивает, хотя это приехала не его дочь. «Универсал» тычется носом по площадке и снова выезжает на шоссе 111 — обозрел и уехал. Число грабежей растет. Гарри спрашивает Чарли:

— Мелани в самом деле подумывала... — он приостанавливается, не желая употреблять слово «трахаться», это ведь слово не его поколения, — переспать со мной?

— Так эта дамочка говорила. Но ты же знаешь молодежь: они вываливают все, что мы держали про себя. Это еще вовсе не значит, что такое говорится всерьез. Скорее всего не так. Но к тому времени, когда им исполняется двадцать пять, они уже все перевидали.

— Сказать по правде, меня никогда не тянуло к ней. А вот эта новая девчонка Нельсона...

— Я не хочу об этом слышать, — говорит Чарли и поворачивается, чтобы идти к своему столу. — Они же собираются пожениться, черт возьми.

Бег. Гарри продолжает бегать по возвращении из Покон, где он начал этим заниматься, чтобы снова стать таким, каким он был до этих отупляющих лет, когда не думал о своем теле — просто ел напропалую и все себе позволял, обедал в ресторанах в центре Бруэра да еще в «Ротари» по четвергам, вот и начал набирать вес. Город, по которому он бежит, еще погружен в темноту, полный покатых переулков и потрескавшихся, вздутых тротуаров — целые куски цемента вздыблены корнями, точно приподнявшиеся надгробья в фильме ужасов: мертвецы протягивают к нему руки, хватают его за ноги. Он бежит, держа темп, преодолевая сопротивление легких, его потерявшие эластичность мускулы и усталая кровь становятся чем-то вроде машины, которая движется, куда ее направляет мозг, — вверх по холму, мимо дома с широким скатом, напоминающим китайский, где все чего-то забивают стриженные под мальчишку женщины; их окна по фасаду никогда не освещены: должно быть, все время смотрят телевизор, или спозаранку укладываются в постель, или просто экономят электричество — женщинам ведь платили меньше, чем мужчинам, пока не приняли закон о средних ставках; но, во всяком случае, лучше уж иметь таких соседок, чем черных или пуэрториканцев: они хоть не размножаются.

Здесь улицы затенены остролистными кленами. Они не намного выросли с тех пор, как он был мальчишкой. Ухватись за нижнюю ветку, подтянись — и ты во вражеском гнезде. Раздели крылатое семя, зажми им, как прищепкой, нос — и ты носорог. Тяжело дыша, он прорезает тени кленов. Легкая боль возникает высоко в левом боку. Держись, сердце. Старик Спрингер испустил дух, когда глаза застлало красной пеленой, — во всяком случае, Кролик всегда представлял себе, что человек, когда его хватает инфаркт, видит красное, однако почему-то считает, что его ждет иное — скорее всего долгая, медленная борьба с черным призраком рака. Просто удивительно, до чего же темные стоят американские дома, а ведь только девять вечера. Какой-то поистине призрачный город — на тротуарах ни души, все цыплята в курятнике, лишь бурая полоска света мелькнет в окне то тут, то там: ночник в комнате ребенка. Его захлестывает бездонная скорбь, стоило вспомнить о детстве. Крошка Нелли в его комнате на Виста-кресент, его медведи сидят рядышком с ним, глаза его, как и глаза мишек, не закрываются, от боится умереть во сне, думая о крошке Бекки, которая вот так ушла, умерла. Еще много часов вода в ванне продолжала стоять, покрывшись серой пленкой от пыли, и ведь достаточно было поднять маленькую резиновую затычку, но Господь Бог при всей своей силе не сделал этого. Под ногами шуршат и ломаются сухие листья — звуки осени, в воздухе чувствуется волнение. Приезжает Папа Римский, и венчание назначено на субботу. Дженис спрашивает его, почему он так очерствел, так придирается к Нельсону. Да потому, что тот мальчишка, каким был Нельсон, исчез и на его месте появился еще один нахал с волосатыми руками и большим членом. В мире для всех не хватает места. Люди двинулись на север из солнечного Египта и поселились в отопляемых домах, а теперь отоплению приходит конец: и на одну нефть для обогрева демонстрационного зала, конторских помещений и гаража уходит в два раза больше денег, чем в 1974 году, когда он впервые увидел бухгалтерские книги «Спрингер-моторс», а в будущем году эта цифра еще удвоится, и через два года — опять, а если попытаться снизить ее до уровня, о котором говорил президент, то начнут жаловаться люди в гараже: им же приходится работать голыми руками, стоя на бетоне, — для этого они надевают толстые носки и ботинки на платформе; одно время он подумывал, не купить ли им всем такие перчатки для гольфа без пальцев, вот только трудно было бы найти перчатки на правую руку, а парни моложе тридцати нынче ни за что не станут работать, если им не создать условий и не платить премий...

Теперь он бежит по Поттер-авеню все вверх, оставляя спуски на обратный путь, — бежит вдоль канавы, куда когда-то стекала вода из фабрики искусственного льда, а теперь все затянуло зеленью: жизнь всюду пытается зацепиться — на земле, конечно, не на луне; кстати, это еще одно обстоятельство, почему ему неохота лезть к звездам. Однажды, валяя дурака по дороге в школу, которая пролегала вдоль сточной канавы, а теперь канава высохла, он поскользнулся на липкой грязи и упал, вымочил штанишки, бархатные штанишки до колен, которые тогда все носили и которые шуршали при ходьбе, и высокие носки, — просто невероятно, как далеко он уходит нынче мыслью, он помнит девочек в первом классе, ходивших в сапожках на пуговках: Маргарет Шелкопф — она была такая живая, что у нее из носа то и дело шла кровь. Когда он упал в канаву, полную воды из фабрики искусственного льда, его штанишки так намокли, что он с плачем кинулся домой переодеваться: он не любил опаздывать в школу. Да и вообще куда угодно — мама сумела ему это внушить, она никогда не интересовалась, куда он идет, но он должен был вовремя вернуться домой, и это довлело над ним всюду — в раздевалке, на автобусе 16-А, во время соития: ему всегда казалось, что он куда-то опаздывает и что он попал в жутко трудное положение, в его мозгу открывалось что-то вроде туннеля, в конце которого стояла мама с плеткой в руке. «Хочешь, чтоб я тебя выпорола, Хасси?» — спрашивала она его так, словно спрашивала, хочет ли он десерта, плетка была из прутьев от маленького грушевого деревца в саду, что был позади их дома на Джексон-роуд, — и до чего же жадно птицы налетали на упавшие с него подгнившие груши. Последнее время он перестал мучиться мыслью, что куда-то опаздывает, в жизни его наступило странное успокоение — так брошенный мяч на секунду замирает в высшей точке своего полета. Его золото растет в цене, теперь оно уже стоит десять долларов за унцию — это каждый день можно увидеть в газетах; десять помножить на тридцать — это будет три сотни, притом что ты и пальцем не шевельнул, а подумать только, как выбивался из сил в свое время папка. То, что Дженис вставила в глаз монокль, было сюрпризом; единственный ее недостаток в постели — то, что она не любит сосать, что-то не в порядке у нее со ртом, всегда так было, а у Мелани такие забавные сочные губы-вишенки — можно лишь удивляться, что у Чарли еще не лопнула аорта в каком-нибудь мотеле среди песков, ведь это так красиво, когда женщина, забывшись, широко раскрывает рот и хохочет или восклицает, и ты видишь всю округлую пещеру с розовым рифленым верхом, и язык, похожий на коврик в коридоре, и черноту, которая бабочкой, распустившей крылья, уходит в глубину горла, — Пру на днях вот так раскрыла рот на кухне, когда мамаша Спрингер что-то сказала, хотя обычно она в улыбке лишь приоткрывает губы с одной стороны, так осторожно, точно боится обжечься. Все девчонки знают всякие трюки в любви — это стало частью образования, чем-то само собою разумеющимся, а какие нынче фильмы показывают — прямо в открытую, и ты можешь пойти туда с девушкой, на эти новые фильмы для взрослых каждую пятницу, в старый кинотеатр «Багдад», что в верхней части Уайзер-стрит, куда в дни юности Кролика они ходили смотреть на Рональда Рейгана в роли пилота, летавшего бомбить япошек. В определенном смысле Нельсон счастливчик. И все же не может Кролик ему завидовать. Уж очень выдохся мир, в котором ему придется прокладывать себе путь. Чудная штука — рот: ему приходится так много трудиться, но он не говорит, что проглотил, даже минуту спустя. Вот только Кролик терпеть не может, когда кусочки пищи застревают на губах — рисинки, или крошки, или что бы там ни было, застрявшие в волосках на лице во время еды. Бедная мама отличалась этим в последние годы.

Колени у него дрожат. Большой живот подпрыгивает. Каждый вечер он старается увеличить пробег между тихими темными домами, сквозь конусы света, падающего от фонарей, под ледяной однобокой луной, которую накануне вечером он видел сквозь затененную верхнюю часть стекла, когда ехал в «короне» домой, и вдруг подумал: «Бог мой, да она же зеленая». Сегодня Кролик дотягивает до Киджирайз-стрит, этакого проулка между домами, идущего уже под гору, и бежит мимо почерневших маленьких фабричек с таинственными новыми названиями вроде, например, «Линнекс» и «Компьютерный прогресс», и старой каменной фермы, которая все годы, пока он рос, стояла заколоченная, во дворе полно было сорняков — перекати-поля, молочая и чертополоха, — а в изгороди не хватало планок, теперь же все привели в порядок, и аккуратная маленькая дощечка гласит: «Крестьянский двор Альбрехта Штамма», а внутри — мебель тех времен ручной работы и чудная кухонная утварь — словом, все, как было в фермерском доме примерно в 1825 году, а в сенях под стеклом — фотографии первых домов Маунт-Джаджа до начала века, но ни одной, где были бы запечатлены поля, на которых вырос городок и которые по большей части принадлежали Штаммам: в ту пору еще не было переносных фотоаппаратов, а если и были, то никто не снимал пустые поля. Старик Спрингер, кстати, заседал в совете Исторического общества Маунт-Джаджа и помогал созданию фонда на реставрацию; когда он умер, Дженис и Бесси думали, что на его место могут выбрать Гарри, но этого не произошло: сказалось его сумбурное прошлое. Хотя теперь в этом доме наверху живет молодая пара хиппи и они водят по ферме посетителей, для Гарри старое обиталище Штаммов полно призраков — эти старые фермеры страшновато жили: запирали сумасшедших сестер на чердаке, душили, ошалев от рома, забеременевшую девчонку-помощницу, а потом запихивали тело в ларь с картофелем, откуда лет пятьдесят спустя извлекали на свет скелет. Рядом находилась спортивная ассоциация «Солнечный свет» — мальчиком Гарри считал, что там полно спортсменов, и надеялся когда-нибудь в нее вступить, но когда двадцать лет спустя он зашел туда, там пахло сигарами и высохшим на дне кружек пивом. Затем в шестидесятые она захирела и потеряла свою респектабельность — мужики, которые там пили и играли в карты, постарели, их стало меньше, и они помрачнели. Здание выставили на продажу, его купило Историческое общество, сломало и на его месте устроило автостоянку для тех, кто заезжал на «Крестьянский двор Штамма» по пути в Ланкастер посмотреть на амишей или по пути в Филадельфию посмотреть на колокол Свободы. Казалось, эту парковку трудно будет найти в проулке Киджирайз, но поразительное количество народу останавливалось там, главным образом люди пожилые. История. Чем длиннее она, тем дольше тебе приходится ею жить. А через какое-то время она становится такой бесконечной, что всего не упомнишь, вот тогда-то, наверное, и начинают рушиться империи.

Теперь Гарри уже мчится вовсю — проулок круто спускается вниз, мимо белошвейной мастерской и курятника, превращенного в маленькую кожевенную фабрику, — этих бывших хиппи всюду полно, они стараются зацепиться за что могут: поезд ушел, но свою долю удовольствия они успели схватить; первая волна усталости, когда кажется, что ты не в силах сделать больше ни шагу, а ноги — сплошная боль, прошла. Затем появляется второе дыхание, и тело твое уже делает все само собой, точно машина, а твой мозг — как астронавт в острие ракеты, мысли пролетают одна за другой. Вот если бы Нельсон женился, и уехал, и вернулся лет через двадцать богатым. Ну почему дети не могут сами стать на ноги, а вместо этого приползают назад домой? Да потому, что не пробиться — слишком много народу. Папа — Господи, будем надеяться, что его не пристрелят: ведь в Америке вполне может найтись какой-нибудь псих, который выстрелит, чтобы имя его попало в газеты, — и этот Писклявый Фромм, который набирал стариков ковбоев на ранчо Мэнсона, а ведь у Мэнсона столько было девок, что, казалось бы, он мог быть поприятнее, злобятся-то люди сексуально озабоченные, как где-то прочел Кролик. Однако он знает, как относится Папа к противозачаточным средствам, он сам терпеть не может эти резинки, никогда не пользовался ими даже в армии, где их выдавали бесплатно, — в последнем номере «К сведению потребителей» есть на этот счет статья, страница за страницей все эти тесты: одни якобы предпочитают ребристые презервативы ярких цветов, чтобы они слегка щекотали женщину внутри, — сотрудники журнала, что просили секретарш потрахаться с такими, — а есть люди, которые даже любят презервативы из кишок — при одной мысли об этом у него мурашки идут по спине, а названия-то: «Голый горизонт», «Натуральный ягненочек», — Гарри не смог дочитать статью до конца, до того ему стало тошно. Интересно, думает он, чем пользуется его дочь, а может, обходится деревенскими методами, про которые они вкручивали девчонкам в школе, — садится на стебель кукурузы; она выглядела девственницей, когда он ее видел, да и кто выглядит иначе в деревне? Рут воспитает ее как надо, расскажет, какие все мужчины свиньи. Да и этот пес своим лаем кого угодно заставит убежать.

Есть более длинный путь домой — вниз по Джексон-стрит до Джозеф-стрит и дальше, но сегодня Кролик выбирает сокращенный маршрут — наискосок через лужайку у каменной громады баптистской церкви: ему нравится чувствовать траву под ногами, а церковь стоит такая темная; потом по бетонной лестнице вниз, на Миртовую улицу, и дальше — мимо красно-бело-синих почтовых грузовичков, вытянувшихся цепочкой позади почты, на фасаде которой ярким пятном свисает поникший американский флаг; раньше на ночь флаг снимали, а теперь во всех городах его освещают прожектором, только зря тратят электричество, тратят последние капли энергии, зато у них висит флаг; Миртовая улица выводит на Джозеф-стрит с другой стороны. Они там сидят и ждут его, уставясь в этот дурацкий ящик или обсасывая свадьбу, совсем помешались на ней теперь, когда осталось так мало времени и Манная Каша дал зеленый свет; они все-таки пригласили Чарли Ставроса, и Грейс Штул, и еще целый выводок старых куриц, а также двух-трех друзей из «Летящего орла», да еще, оказывается, у Пру, или Терезы, как именуют ее в объявлении о бракосочетании, которое поместят в газете, есть тетя и дядя в Бингемптоне, штат Нью-Йорк, которые приедут, хотя отец ее — озлобленный тип, готовый задушить дочь и засунуть ее труп в ларь с картошкой. Вот сейчас Гарри вбежит в дом, и Дженис, по обыкновению, начнет квакать, что он себя убивает и что у него будет инфаркт, и правда, его обычно белое лицо действительно становится очень красным — он видит это в зеркале, что висит в прихожей; при таких голубых глазах он настоящий Санта-Клаус, только без бороды, и ему приходится перегнуться через спинку стула, чтобы выровнять дыхание, но это тоже удовольствие — попугать Дженис, несчастную дурочку, ну что она будет без него делать, ведь ей же придется отказаться и от «Летящего орла», и от всего прочего и снова пойти продавать орехи у Кролла. Вот сейчас он вбежит в дом, и там на диване рядом с Нельсоном будет сидеть Пру, точно полицейский, везущий в поезде преступника из одной тюрьмы в другую, но тщательно скрывающий, что они скованы; теперь, когда Пру стала членом их семьи, Гарри боится только одного — как бы не провонять комнату потом. Тотеро страдал этим — от него пахло стариковской кислятиной. По утрам, вылезая из постели, он порой чувствует этот запах, слабый, сладковатый запах начинающего разлагаться трупа. Зрелый возраст — это страна чудес: все, что, ты думал, никогда не сбудется, — сбывается. В пятнадцать лет ему казалось, что сорок шесть — это конец всему, он бы никогда не дотянул, если бы ему открылся смысл жизни таким, как он его сейчас понимает.

Однако минутами казалось, что жизнь из этого и состоит, — просто нет слов это выразить, ты не пытаешься это откопать, — оно стоит перед тобой на столе как невскрытая затуманенная от холода банка пива. Не только Папа приезжает, но и далай-лама, которого вытащили из Тибета двадцать лет тому назад, разъезжает по США, выступает в монастырских школах и появляется на телевидении, — Гарри всегда интересовало, каким представляет себя такой человек, как далай-лама. Мячом, взлетевшим в небо, листом, плавающим на поверхности пруда. Идущим по воде, оставляя за собой впадинки — там, где ноги слегка разрывают поверхность воды. Когда Гарри был маленьким, Бог лежал, распластавшись в темноте над его кроватью, а когда кровать стала ему неудобна и у девчонки на соседней парте появились под мышкой волосы, Бог вошел в его кровь, и в плоть, и в нервы и отдавал чудные команды, а теперь ушел из уважения к Гарри, как один джентльмен — к другому, но в виде визитной карточки оставил в желудке ватерпас, который, словно затычка в ванне, тянет Гарри вниз, ко всем этим свинцовым мертвецам, что лежат в земле.

Фонари у входа в большой затененный дом мамаши Спрингер ярко горят: все они в таком волнении перед свадьбой, Пру ходит раскрасневшаяся, Дженис не играла в теннис уже несколько дней, а Бесси явно встает среди ночи и спускается вниз смотреть на большом телеэкране старые голливудские комедии, где мужчины в широкополых шляпах и с маленькими усиками ведут остроумные перепалки в конторах газет и номерах роскошных отелей с широкоплечими, узкобедрыми женщинами; мамаша, наверное, видела эти фильмы, когда в волосах у нее еще не было седины, а центр Бруэра был сплошь белый. Гарри бежит на месте, пропуская машину, пересекает улицу под фонарем, замечает, что «мустанга» Дженис нет перед домом, пробегает по выложенной кирпичом дорожке и вверх по ступенькам крыльца, вот он наконец на крыльце под номером 89, и тут он останавливается. Разгон у него такой, что окружающий мир еще секунду или две бежит мимо, устремляя свои деревья и крыши домов вверх, к усеянному звездами пространству.

В постели Дженис говорит:

— Гарри!

— Что? — После того как пробежишься, ощущение такое, точно из тебя вытянули все мускулы и заново их уложили, и сон приходит быстро.

— Я должна тебе кое в чем признаться.

— Ты снова спишь с Чарли.

— Не хами. Нет. Ты не заметил, что «мустанга» нет, как обычно, перед домом?

— Заметил. Я подумал: как это мило.

— Это Нельсон поставил его сзади, в проулке. Нам, право же, надо как-нибудь почистить в гараже — там столько этих старых велосипедов, которыми никто не пользуется. Да и «фудзи» Мелани по-прежнему там.

— О'кей, прекрасно. Прекрасно, что Нельсон об этом подумал. Послушай, ты что же, собираешься всю ночь разговаривать или как? Я совсем выдохся.

— Он поставил там машину, чтобы ты не увидел переднего крыла.

— Ох нет! Вот сукин сын! Вот сучонок!

— Он в общем-то не виноват — тот человек ехал прямо на него, хотя, насколько я понимаю, на улице, по которой ехал Нельсон, горел красный свет.

— О Господи!

— По счастью, оба изо всех сил затормозили, так что стукнулись совсем легонько.

— А другой малый пострадал?

— Ну, он сказал, что у него сотрясение мозга, но теперь все так говорят, пока не потолкуют со своим адвокатом.

— А крыло смято?

— Ну, немного вдавлено. Передняя фара светит чуточку вкось. Днем это не имеет значения. В общем-то это, можно сказать, лишь царапина.

— Стоимостью в пятьсот монет. По крайней мере. Таинственный незнакомец, специалист по расколошмачиванию крыльев, нанес нам новый удар.

— Нельсон был просто в ужасе — так боялся тебе сказать. Он взял с меня слово, что и я не скажу, так что, пожалуйста, никаких с ним объяснений.

— Нет? Тогда зачем же ты мне это говоришь? И как я теперь усну? Голова у меня так и гудит. Точно он зажал ее в тиски.

— Я просто не хотела, чтобы ты сам это заметил и устроил сцену. Прошу тебя, Гарри. Подожди хотя бы до свадьбы. Ему, право же, очень стыдно.

— Да ни черта подобного — ему это нравится. Зажал мне голову в тиски и знай завинчивает гайки. Испортить твою машину — после того, как ты для него так выкладывалась, нечего сказать, хороша благодарность.

— Гарри, он же накануне женитьбы, он просто невменяем.

— Ну а теперь я, черт побери, невменяем. Где моя одежда? Я должен выйти и посмотреть, что там повреждено. Этот фонарик, что на кухне, — в него наконец вставили новые батарейки?

— Жаль, что я тебе сказала. Нельсон был прав. Он говорил, что ты не сможешь это вынести.

— Ах, он так сказал?..

— Да успокойся ты. Я сама заполню бланки страховок и займусь всем прочим.

— А кто, ты думаешь, выплачивает эти все растущие проценты по страховке?

— Мы, — говорит она. — Мы оба.

Епископальная церковь Святого Иоанна в Маунт-Джадже маленькая: ее ни разу не расширяли; построена она была в 1912 году в стиле того времени — низкая, с крутоскатной крышей, из темно-серого камня, привезенного с севера округа, тогда как лютеранская церковь — из местного красного песчаника, а реформатская, рядом с пожарной каланчой, — из кирпича. Плющу дали обвить стрельчатые окна церкви Святого Иоанна. Внутри темно еще и от скамей и панелей темного ореха, которыми обшиты стены; в простенках между окнами с витражами, изображающими Иисуса Христа в фиолетовых одеждах за разными занятиями, — маленькие дощечки в память об именитых покойниках, щедро жертвовавших на церковь в те дни, когда Маунт-Джадж обещал стать модным пригородом. Уайтло. Стовер. Леггетт.

Носители английских фамилий в населенном немцами округе, которые, прослужив тридцать лет церковными старостами и членами приходского совета, отошли в мир иной, чтобы и там задавать тон. Старик Спрингер тоже внес свою тарелку, но к тому времени, когда он туда отбыл, все простенки были уже заняты.

Хотя свадьба скромная и невеста — дочь рабочего из Огайо, однако маленькая группка, собравшаяся около четырех часов в этот сентябрьский день 22-го числа на паперти у красновато-ржавых дверей, выглядит со стороны пестрой и оживленной. Тому или тем, кто проезжал этим субботним днем мимо по пути на рынок или в скобяную лавку, наверняка захотелось быть среди приглашенных. Органист, подхватив свое красное одеяние, нырнул в боковую дверь. У него бородка клинышком. Маленький заскорузлый мужичонка в зеленом комбинезоне — настоящий тролль — дожидается Гарри, чтобы получить за цветы, мамаша Спрингер сказала, что приличия требуют украсить хотя бы алтарь. Фред умер бы, если бы увидел, что Нелли венчают у Святого Иоанна, не украсив алтарь. Два букета белых и розовых хризантем обходятся в 38,50 доллара. Кролик расплачивается двадцатками — плохой это признак, когда банки начинают выдавать двадцатки вместо десяток, однако двадцатидолларовая бумажка пока еще не привилась. Люди суеверны. Вот ведь не собирались устраивать настоящую свадьбу, а во сколько она обходится. Пришлось снять три номера в мотеле «Четыре времени года», что на шоссе 422: один для матери невесты, миссис Лубелл, маленькой испуганной женщины, которая, видно, считает, что надо без конца улыбаться, иначе они все на нее накинутся; другой номер — для Мелани, которая приехала с миссис Лубелл из Акрона на автобусе, и для Пру, которую временно выселили из ее комнаты, где раньше обитала Мелани и до нее манекен, и поместили там прибывшую из Невады Мим, хотя Бесси и Дженис совсем не хотели иметь ее в доме, но Гарри настоял: она ведь единственная сестра и единственная тетка Нельсона; третий номер — для этой пары из Бингемптона, тети и дяди Пру, которые должны приехать сегодня, но в половине четвертого, когда Гарри, перевозивший гостей в своей «короне», заехал за двумя молодыми женщинами и матерью Пру, чтобы везти их в церковь, еще не прибыли. Голова у него гудит. Эта мать Пру раздражает его — она так долго держала на лице улыбку, что та высохла, точно цветок между страницами книги; она производит впечатление человека другого, чем он, поколения — точно старая газета, которую, наводя порядок в доме, вытащили из комода со дна ящика и пытаются прочесть; должно быть, Пру унаследовала свою внешность от отца. В мотеле мать Пру все время волновалась, что запаздывавшие брат и невестка не поймут записки, оставленной у портье, и расплакалась, так что улыбка у нее размокла и слиняла. Ящик второсортного шампанского марки «Мумм» ожидает их в кухне на Джозеф-стрит, где они потом ненадолго соберутся все вместе — приемом это не назовешь; Дженис и ее мамаша решили, что закуску надо заказать у внука Грейс Штул, который заодно привезет и свою подружку, чтобы она помогла обслуживать. А кроме того, они заказали свадебный торт у одного итальяшки на Одиннадцатой улице, который взял за него сто восемьдесят пять американских долларов — это за торт-то... Гарри просто не мог такому поверить. Всякий раз, как дело касается Нельсона, раскошеливайся папаша.

Гарри стоит некоторое время под высоким ребристым сводом пустой церкви, читает таблички, слышит, как хихикает Манная Каша, приветствуя трех припараженных женщин в боковой комнате, одном из этих скрытых от глаз помещений, где переодевается хор и старосты пересчитывают пожертвования и где хранят вино для причастия, чтобы прислужники не могли его выпить, и вообще готовят весь бредовый спектакль. Шафером был намечен Билли Фоснахт, но он уехал в Университет Тофтса, поэтому их приятель из «Берлоги» по прозвищу Тощий стоит с гвоздикой в петлице, дожидаясь, когда начнут прибывать приглашенные. Почувствовав себя неуютно под взглядом раскосых глаз парня, Кролик выходит на улицу постоять у церковных дверей — жар исходит от их ржаво-красной краски под сентябрьским солнцем, и он почему-то вспоминает, как стоял однажды зимним днем в Техасе в свежей бежевой форме у стены барака, подальше от ветра, этого непрестанного ветра, который дует с огромного высокого неба по безлесной земле, завывая и возбуждая тоску по дому в солдате, никогда прежде не выезжавшем из Пенсильвании.

Стоя на свежем воздухе, в этом мирном уголке, он вдруг понимает, что ему придется приветствовать гостей, а они начинают прибывать. Величественный темно-синий «крайслер» мамаши Спрингер подкатывает к церкви, шелестя шинами, и три сидящие в нем старухи хватаются за ручки дверец, стремясь побыстрее выбраться наружу. У Грейс Штул немного сбоку на подбородке бородавка, тем не менее она не забывает демонстрировать ямочки на щеках.

— Могу поклясться, что, кроме Бесси, я тут единственная, кто был и на вашей свадьбе, — сообщает она Гарри на паперти.

— Я не уверен, что был там сам, — говорит он. — И как же я себя вел?

— С большим достоинством. Больно уж высокий муж у Дженис, говорили мы все.

— А все так же хорош, — добавляет Эми Герингер, наиболее приземистая из трех матрон. Лицо ее расцвечено румянами и потеками тона, напоминающего оранжевую заправку для салата. Больно ткнув его в живот, она острит: — Даже кое-что приобрел.

— Пытаюсь от этого избавиться, — говорит он, точно обязан ей отчетом. — Почти каждый вечер бегаю. Верно, Бесси?

— Ох, это меня так пугает, — говорит Бесси. — После того, что случилось с Фредом. А ведь у него, вы же знаете, ни унции лишнего веса не было.

— Не пережимай, Гарри, — говорит Уэбб Мэркетт, поднимаясь по ступенькам следом за Синди. — Говорят, если бегать, можно повредить стенки кишечника. Вся кровь ведь приливается к легким.

— Эй, Уэбб, — волнуясь, говорит Гарри, — ты ведь знаком с моей тещей.

— Рад вас видеть, — говорит Уэбб, подходя к ним вместе с Синди.

Синди — в черном шелковом платье, что делает ее похожей на молодую вдову. Стать бы ей вдовой, Господи! Волосы у нее распушены феном, поэтому голова уже не кажется такой маленькой, как у морской выдры, что очень нравится Гарри. Острый глубокий вырез платья скреплен на груди брошью в виде шмеля.

А подружки Бесси настолько заворожены галантным Уэббом, что Гарри вынужден напомнить им:

— Заходите в церковь, там молодой человек проведет вас на ваши места.

— Я хочу сидеть впереди, — говорит Эми Герингер, — чтобы хорошенько разглядеть этого молодого священника, которым прямо бредит Бесси.

— Боюсь, гольф у нас на сегодня пропал, — извиняющимся тоном говорит Гарри Уэббу.

— О-о, — говорит Синди. — Уэбб уже свои восемнадцать прошел: он приехал туда в половине девятого.

— А кто играл вместо меня? — ревниво спрашивает Гарри, не разрешая взгляду слишком долго задерживаться на загорелой груди Синди, обнаженной глубоким вырезом. Самое красивое место — верх ее грудей: слишком угрожающе торчат ее соски. Как раз над родинкой — белое местечко, которое даже бюстгальтер сумел скрыть от солнца. Маленький крестик подтянут повыше, под самую волнующую ямочку между ключицами. Ух, конфетка!

— Тот молодой адъютант-профессор был с нами, — признается Уэбб.

Гарри обиделся, но уже надо приветствовать Фоснахтов, которые теснятся сзади. Дженис не хотела их приглашать, особенно поскольку они решили не приглашать Гаррисонов: и так много народу. Но Нельсон хотел, чтобы шафером был Билли Фоснахт, и Гарри понял, что у них нет выбора, хотя Пегги и сильно сдала — правда, женщину, которая когда-то раздевалась перед тобой, всегда окружает ореол, как бы печально потом все ни кончилось. Какого черта, это же свадьба, и Гарри нагибается и целует Пегги в уголок большого влажного жадного рта, который ему так знаком. На ее расплывшемся лице отражается испуг. Она вскидывает на него глаза, но, поскольку они косят, он никогда не знает, на который надо смотреть, чтобы понять ее чувства.

Рука Олли, вялая и костлявая, робко пожимает ему руку — робкий маленький неудачник: и уши стоят торчком, и волосы цвета грязной соломы. Гарри слегка сжимает костяшки, сдавливая ему руку.

— Как торгуем музыкой, Олли? Все еще трубим?

Олли из тех голосистых типов, что часто встречаются в Бруэре и могут подобрать любую мелодию, но ничего сенсационного из этого не выходит. Он работает в музыкальном магазине «Струны и пластинки», переименованном в «Фиделити аудио», что находится на Уайзер-стрит, недалеко от старого «Багдада», где нынче показывают фильмы для взрослых.

— Он теперь иногда садится за синтезатор с группой дружков Билли, — говорит Пегги, и голос ее после поцелуя звучит агрессивно.

— Валяй так и дальше, Олли, станешь вторым Элтоном Джоном восьмидесятых. Я серьезно: как вы оба? Мы с Джен все говорим, что надо вас к нам пригласить.

Дженис скорее умрет, чем это сделает. Смешно: невинное, давно забытое траханье, а Дженис до сих пор не может ему простить, — он-то ведь простил ей Чарли, собственно единственного оставшегося у него друга.

А вот и Чарли.

— Пришел на слияние фирм, — шутит Гарри.

Чарли хрюкает, слегка передергивает плечами. Он знает, что этот брак обернется против него. Но есть в нем запас сил, некая защитная философия, которая не дает ему удариться в панику.

— Ты видел подружку невесты? — спрашивает его Гарри, имея в виду Мелани.

— Нет еще.

— Они втроем отправились вчера вечером в Бруэр и, если судить по Нельсону, напились до положения риз. Как тебе нравится такое поведение накануне свадьбы?

Чарли медленно наклоняет голову к плечу: он-де не верит, но из вежливости препираться не станет. Однако удержать степенность ему не удается: Мим в брючном костюме зеленоватого цвета, с оборочками, подскакивает к нему сзади, обхватывает поперек груди и не отпускает. Лицо Чарли искажается от испуга, а Мим, чтобы он не догадался, кто это, прижимается лицом к его спине, так что Гарри боится, как бы вся косметика не осталась на клетчатом костюме Чарли. Мим теперь в любой час дня и ночи раскрашена точно для выступления на сцене — каждый оттенок краски, каждый локон тщательно продуман, но, право же, все краски и кремы мира косметики не способны сделать упругой кожу, а обводить глаза черным, может быть, хорошо для этих зеленых девчонок, что ходят в дискотеку, но когда женщине за сорок, это просто придает ей затравленный вид, глаза таращатся, словно пойманные петлей лассо. Она оскаливается, продолжая бороться с Чарли, точно одиннадцатилетняя девушка с залепленными пластырем коленями.

— Господи! — бормочет Чарли, глядя на сцепленные на его груди руки с малиновыми длинными, как ноги кузнечика, ногтями, но не в состоянии быстро перебрать в уме всех женщин, которых он знает.

Стесняясь за нее, волнуясь за него, Гарри просит:

— Да перестань, Мим.

А она не отпускает; ее раскрашенное, с длинным носом лицо искажено и перекошено от старания удержать Чарли.

— Попался! — говорит она. — Греческий сердцеед. Разыскивается за перевоз несовершеннолетних через границу штата и подтасовку при продаже подержанных машин. Надевай на него кандалы, Гарри.

Вместо этого Гарри берет ее за запястья, чувствуя под пальцами браслеты, которые он боится сломать — на тысячи долларов золота на ее костях, — и разводит ее руки, крепко упершись в пол, в то время как Чарли, с каждой секундой все больше мрачневший, распрямляется, держась за свое слабое сердце. Мим жилистая, всегда была такой. Как только ее удалось оттянуть наконец от Чарли, она тотчас принимается охорашиваться, поправляя прическу, костюм, укладывает на место каждый волосок и каждую оборочку.

— Решил, что это оборотень на тебя напал, да, Чарли? — смеется она.

— Не подержанных, а машин, принадлежавших кому-то, — поправляет ее Чарли, одергивая рукава пиджака, чтобы привести себя в пристойный вид. — Теперь никто их не называет подержанными.

— У нас на Западе мы называем их развалюхами.

— Ш-ш-ш, — молит ее Гарри. — Там, внутри, могут услышать. Церемония ведь вот-вот начнется.

Все еще возбужденная борьбой с Чарли, Мим решает поддразнить брата, ставшего таким ревнителем приличий, обвивает руками его шею и крепко прижимает к себе. Оборочки и складочки на ее нарядном костюме трещат, придавленные его грудью.

Тем временем Чарли ускользает в церковь. Закрытые веки Мим блестят на солнце, точно жирные следы столкнувшихся машин, — Гарри часто попадаются на шоссе темные клубки резины и покореженный металл, отмечающие то место, где с кем-то вдруг случилось что-то невообразимое. И тем не менее дневной поток транспорта продолжает течь. «Держи меня, Гарри!» — закричала маленькая Мим, сидя в своем капоре между его колен, когда сани выскочили на пепел, усыпавший Джексон-роуд, и в воздух взлетели оранжевые искры. Несколько лет тому назад здесь погиб ребенок под молочным фургоном, спускаясь на санках с горы, и все дети это помнят: из каждого снежного бугра на них глядит застывшее лицо того ребенка. Гарри видит, как блестят веки Мим — будто спинки японских жуков, которые обычно собирались по нескольку штук на больших пожухлых листьях виноградной лозы за домом Болджеров. Видит он и то, как вытянулись мочки ее ушей под тяжестью серег и как дрожат ее оборочки от прерывистого дыхания, а она с трудом переводит дух после своих дурачеств. Он видит, что разгульная жизнь и ночные бдения уже превращают ее в жалкую старуху: глядишь на такую женщину — и не веришь, что ее когда-либо могли любить; спасает Мим лишь хороший, как у мамы, костяк лица. Гарри медлит, все еще не решаясь войти в церковь. Городок спускается от нее вниз, словно лестница, широкими ступенями крыш и стен, этакая рухлядь, где умерло уже столько американцев.

Он слышит, как открылась боковая дверь, куда нырнул органист, и заглядывает за угол: а вдруг это Дженис разыскивает его. Но из церкви выходит Нельсон, Нельсон в своей кремовой, купленной к свадьбе тройке с зауженной талией и широкими лацканами; кажется, что костюм ему велик, возможно, потому, что брюки почти совсем закрывают задники туфель.

Всякий раз, как Гарри неожиданно видит сына, ему становится стыдно. Он уже раскрывает рот, чтобы окликнуть мальчишку, но тот не смотрит в его сторону, он словно нюхает воздух, смотрит на траву, и вниз, на дома Маунт-Джаджа, а потом в другую сторону — вверх, на небо у гребня горы. «Беги!» — хочется крикнуть Гарри, но ни единого звука не слетает с его губ, он лишь сильнее чувствует резкий запах духов Мим, когда втягивает в себя воздух. А малыш, не зная, что его видели, тихонько закрывает за собой дверь.

За распахнутыми красновато-ржавыми дверями церковь погружается в тишину, готовясь к вековечному действу. И мир тогда расколется на тот, где небольшая группка людей будет праздновать, и на весь остальной, широкий субботний мир счастливцев, мир будней, занятый повседневным трудом. Кролик с детства не любил церемоний. Он берет Мим за локоть, чтобы вести ее в церковь, и тут поверх ее стеклянно-застывших под пленкой лака взбитых волос видит, как грязный, старый «форд-универсал» с низкой посадкой и хромированным багажником на крыше, надстроенным грубо сколоченными зелеными досками, медленно едет по улице. Гарри не успевает разглядеть пассажиров, лишь замечает толстое злое лицо в заднем окне. Толстое, мужеподобное лицо, однако лицо женщины.

— Что случилось? — спрашивает Мим.

— Не знаю. Ничего.

— У тебя такой вид, точно ты увидел привидение.

— Волнуюсь я за малыша. Вот ты — как ты ко всему этому относишься?

— Я? Тетушка Мим? На мой взгляд, все в порядке. Цыпка возьмет бразды правления в свои руки.

— А это хорошо?

— На какое-то время. Ты не должен вмешиваться, Гарри. У мальчика своя жизнь, а у тебя — своя.

— Вот и я все время себе это твержу. Но я словно с чем-то не сладил.

Они входят в церковь. Далеко впереди маячит жалкая горстка голов. Таинственный раскосый Тощий — галантно, точно ему за это платят, — ведет Мим по проходу ко второму ряду и изящным вкрадчивым жестом сначала указывает Гарри его место рядом с Дженис. Оно свободно. По другую сторону Дженис сидит мать невесты. Миссис Лубелл какая-то вся блеклая: она, как и дочь, рыжая, но от частого мытья волосы у нее утратили яркость, лежат бесцветными колечками, да и ростом она не вышла — не то что Пру, — и нет у нее этой приятной глазу стройности. «Совсем точно уборщица», — невольно думает Гарри. Она выдает ему свою бездушную, но, как ни странно, идеальную улыбку, — улыбку, похожую на те, что сверкали в старых черно-белых фильмах, одновременно застенчивую и уверенную, безупречную, как чистая мелодия, улыбку, которая, когда она была моложе, могла, казалось, вывести ее в жизни куда выше того, где она осела. Дженис, откинув голову, переговаривается с матерью, сидящей позади. Мим посадили в один ряд с мамашей Спрингер и ее старыми курицами. Ставрос сидит с Мэркеттами в третьем ряду — он хоть может заглядывать Синди в вырез платья, когда ему станет скучно... Словно нарочно эти разгильдяи Фоснахты уселись — а может быть, их посадили — через проход, где должны были бы сидеть родственники невесты, явись они в достаточном количестве, и сейчас шепотом препираются: Пегги отчаянно шипит, а Олли, стоически глядя перед собой, что-то буркает ей в ответ. Органист пробегает пальцами по клавишам, исполняя какую-то фугу, чтобы дать присутствующим возможность покашлять и вытянуть ноги. Когда мелодия течет спокойно, кончик его маленькой рыжей бородки опускается и повисает в каком-нибудь дюйме над клавиатурой. То, как он ударяет по клавишам, напоминает Гарри старый линотип, на котором он когда-то работал, нажимал на клавишу, регулирующую пробелы, и выскакивал кусок горячего свинца, а теперь компьютер печатает с дисков. Слева от алтаря в стене открывается одна из больших панелей с закругленным верхом — словно потайная дверь в фильме ужасов, — и оттуда выходит Арчи Кэмпбелл в черном облачении и белом стихаре. Улыбка его, обнажив нездоровые зубы, как бы говорит: «Что? Это я-то волнуюсь?»

За ним следует Нельсон, свесив голову, не глядя ни на кого.

Тощий скользит по проходу, гибкий, как кошка, и становится рядом с ним. В свободное от работы время он, наверно, занимается грабежом. Он на добрых шесть дюймов выше Нельсона. У обоих короткая стрижка под панков. На затылке у Нельсона хохолок, так хорошо знакомый Гарри, что у него вдруг свербит в горле, словно туда что-то попало.

Злобный шепот Пегги наконец замирает. Орган все это время безмолвствовал. Приподняв пухлые руки, Манная Каша просит всех встать. Под этот шорох Мелани выводит Пру из боковой комнаты с другой стороны. Беременность, о которой все догадываются, лишь подчеркивает ее красоту. На ней длинное, до щиколоток, креповое платье цвета овса — по словам мамаши Спрингер, а по словам Дженис и Мелани — цвета шампанского, вообще оно с коричневым поясом, который решили не надевать, иначе ей пришлось бы слишком высоко его завязывать. Должно быть, это Мелани сплела веночек из полевых цветов, уже тронутых увяданием, который, словно корона, украшает голову невесты. У нее нет ни шлейфа, ни фаты — ничто не прикрывает ее, кроме природной гордости. Опущенное лицо Пру с поджатыми губами горит; ее морковно-красные волосы гладко зачесаны назад, обнажая нежные раковины ушей с продетыми в них крошечными золотыми колечками; глаза, когда она поднимает их на Нельсона, а потом на священника, излучают зеленый свет. Гарри достаточно было бы протянуть руку, чтобы ее задержать, но она проходит мимо, не глядя на него. Мелани же смеющимися глазами смотрит на старших; в длинных, с красными костяшками, пальцах Пру дрожит букетик белых цветов. Вот она остановилась перед священником, торжественно-серьезная и величественно-медлительная, — женщина, которая несет в чреве дитя.

Манная Каша обращается к ним — «дорогие брачующиеся». Голос у этого человека звучит как труба — Гарри заметил это еще дома, но здесь, в почти пустой церкви, эхом отдаваясь от балясин орехового дерева и дощечек с именами усопших и от уходящих ввысь изогнутых стропил, он звучит под большим центральным окном с изображением Христа, отбывающего на небо со стартовой площадки, окруженной группой апостолов в одеяниях пастельных тонов, вдвое сильнее, богаче, с какой-то мягкой грустью, которой Кролик раньше в нем не замечал; голос сплачивает прихожан в единую паству, заглушая опасения, что эта церемония — лишь фарс. Можно сколько угодно смеяться над священниками, но есть у них слова, которые нам так нужны, — слова, изреченные теми, кого уже нет.

— Господь создал союз супруга и супруги, — объявляет он громовым, как раскаты органа, голосом, — для совместной радости... — И дальше словно пыль оседает слоями: — ...процветания, продолжения рода, воспитания потомства. — Манная Каша закрывает глаза между фразами — единственный его недостаток. Гарри слышит сзади легкое покряхтыванье: мамаша Спрингер устала слишком долго стоять. По другую сторону Дженис миссис Лубелл достала из сумочки грязный на вид платок и прикладывает к лицу. А Дженис улыбается. В уголках ее рта залегла чернота. В этой своей маленькой белой шляпке, похожей на цветок, она выглядит полинезийкой.

Голос Манной Каши, звеня, возносится к стропилам:

— Если кто-то из вас может привести вескую причину, мешающую этой паре сочетаться законным браком, — говорите сейчас, а потом уже не нарушайте мира.

Мир. Скрипнула скамья. Это пара из Бингемптона. Мертвый Фред Спрингер. Рут. Кролик борется с дурацким желанием закричать. В горле у него саднит.

Теперь священник обращается непосредственно к брачующимся. Нельсон, державшийся сбоку, — глаза глядят мрачно, гвоздика в петлице съехала, — теперь выходит на середину и становится рядом с Пру. Он одного с ней роста. Шея у него сзади такая тощая и голая. Как тростинка!

Теперь спрашивают Пру. Тонюсеньким голоском она отвечает — да.

Теперь вопрос к Нельсону, и у его отца пропадает желание закричать, разыграть из себя этакого злого клоуна — у него начинает щекотать в носу, в двух маленьких протоках что-то набухает.

— Утверди обручение их в вере, и единомыслии, и истине, и любви... оставит человек отца и матерь и прилепится к жене.

Нельсон не так звучно, как Манная Каша, и не так жалобно, как Пру, говорит — да.

К глазам его подступают слезы и в горле невыносимо першит, и все бедные, забытые, больные, никчемные свидетели этого брака выкатываются из-за спины Гарри со своим страшным всезнанием, с неожиданно ощутимой массой грусти, которая жжет затылок Нельсону, пока он и девчонки стоят молча, в то время как остальные быстро листают пухлые красные новенькие молитвенники, отыскивая по названию и номеру нужный псалом, а Манная Каша гремит: «Жена твоя, как плодовитая лоза», перекрывая хор разрозненных голосов, среди которых не слышно голоса Кролика, так как он плачет, заливая слова, вымывая страницу, которая становится такой же белой и чистой, как тонкая сзади шея несчастного, стоящего молча Нельсона. Дженис с веселым изумлением смотрит на мужа из-под своей белой шляпы, а миссис Лубелл с грустной улыбкой женщины-поденщицы передает ему свой грязный носовой платок. Кролик трясет головой — нет, он же крупный мужчина, для него такой платок мал; потом все-таки берет его, пытаясь остановить хлынувшие потоком слезы.

— Да проживете вы долго и да увидите детей ваших, — нараспев произносит Манная Каша своим громким сладким, обволакивающим голосом. — Да будет мир в Израиле, — добавляет он.

На улице, когда все уже завершено, и на пальцы надеты кольца, и все клятвы произнесены дрожащими молодыми голосами под пестрым, как пасхальное яйцо, взлетом Христа в космос, и молитва Господу Богу вознесена, и бледная пара, обменявшись положенным поцелуем (бедняга Нелли, что бы ему вырасти еще хоть на дюйм) и став теперь уже по всем правилам таинства частицей их общей плоти, их племени, поворачивается к ним лицом под нездоровым послеполуденным небом, в котором ветер, дышащий вечером, нагнал облака, нелепые слезы длинными полосами высыхают на лице Гарри, и его уже снова обнимает Мим, обнимает как сестра, и перед ним встают все семейные горести, какие они пережили с той поры, когда он держал ее за крошечную ручонку; будущее сумрачной громадой навалилось на них, его единственный отпрыск женился, а Мим скорее всего никогда не узнает этого повседневного бремени — тощая, похрустывающая сейчас в его объятиях, она так и останется старой девой: ведь и женщина легкомысленная может остаться старой девой; надо же, чего только ей не пришлось вытерпеть за эти годы, его маленькой сестренке, которая по его примеру плачет сейчас здесь, на воздухе, где слезы быстро высыхают, а вокруг мелькают улыбки вышедших из церкви, словно бабочки, что рождаются и живут всего один день.

Ах, этот день, этот праздник, в который они превратили прозаичную субботу, последний день лета. А какую уйму горючего они переводят, когда вереница машин спускается под гору по улочкам городка к дому мамаши Спрингер. Гарри и Дженис в «короне» следуют за голубым «крайслером» Бесси на случай, если старушка во что-нибудь врежется, а Мим везет миссис Лубелл в «мустанге» Дженис со все еще свернутыми набок задними фарами.

— Отчего ты так расплакался? — спрашивает его Дженис. Она сняла шляпу и сейчас причесывает челку, глядя в зеркальце заднего обзора.

— Не знаю. От всего, от того, как выглядел Нелли со спины. Оттого, что, глядя на затылки детей, понимаешь: они тебе *доверяют*. Я хочу сказать, им действительно все это *нравилось* — *нравилась* эта маленькая молчаливая кучка людей, которые собрались посмотреть на них.

И он бросает на молчащую жену взгляд. На нижней губе ее лежит кончик языка — она явно прикусила его, чтобы не сказать лишнего.

Она говорит:

— Если ты такой слезливый, мог бы не чинить ему препятствий в магазине.

— Да я не чиню. Ему же плевать на магазин — он просто хочет болтаться тут при тебе и твоей матушке, чтобы вы квохтали вокруг него, а легче всего устроить себе такую жизнь, если топтаться на площадке, где у нас стоят машины. Знаешь, во сколько эта его причуда со спортивными машинами обошлась фирме? Догадайся.

— Он говорит, ты так его расстроил, что он просто рехнулся. Он говорит, ты нарочно его завел.

— Четыре с половиной тысячи монет — вот сколько стоили эти дерьмовые коробки. Да плюс еще запасные части, которые Мэнни пришлось заказать, да стоимость гаража, где они простоят, пока их будут чинить, — это еще добавь тысячу.

— Нельсон сказал, что «триумф» продали тут же.

— Это была счастливая случайность. Теперь ведь «триумфов» больше не выпускают.

— Он говорит, «тойоты» исчерпали свой рынок. По всему Восточному побережью теперь больше покупают «дацуны» и «хонды».

— Вот видишь, потому-то мы с Чарли и не хотим брать парня в магазин. Все не по нем.

— Разве Чарли сказал, что не хочет видеть Нельсона в магазине?

— Ну, не такими словами. Слишком он славный малый.

— Вот уж никогда не замечала, чтобы он был славным малым. Славным в этом смысле. Я спрошу его у нас дома.

— Не смей нападать на беднягу Чарли потому, что он переключился на Мелани. Я вообще не помню, чтобы он говорил что-нибудь о Нельсоне.

— Переключился?! Гарри, да ведь с тех пор прошло десять лет. Перестань ты жить прошлым. Если Чарли угодно выставлять себя в глупом свете, гоняясь за двадцатилетней девчонкой, мне-то что? Когда ты подвел черту под отношениями с кем-то, у тебя остаются к этому человеку лишь добрые чувства.

— Что значит «подвел черту»? Слишком много ты смотришь телевизор.

— Так говорят.

— Эти твои тетки, с которыми ты общаешься в клубе. Дорис Кауфман, черт бы ее подрал.

Его уязвило то, что она считает, будто он живет прошлым. Почему именно он разревелся на свадьбе? Мистер Славный Малый. Мистер Ручной Малый. А, пошли они к черту.

— Но Чарли по крайней мере увиливает от женитьбы, а значит, он не такой болван, как Нельсон, — изрекает он и включает радио, чтобы покончить с разговором. Половина пятого, передают новости: землетрясение на Гавайях, двух американских бизнесменов выкрали в Сальвадоре, советские танки на улицах Кабула после прошедшей в воскресенье в Афганистане непонятной смены правительства. В Мексике подписано соглашение с США о поставке природного газа, что может надолго покончить с нехваткой энергии. В Калифорнии за десять дней пожарами уничтожено больше акров леса, чем за все время с 1970 года. В Филадельфии магнат-издатель Уолтер Анненберг пожертвовал пятьдесят тысяч долларов епархии католического архиепископа, желая отчасти покрыть расходы на строительство возвышения, с которого Папа Иоанн Павел II 3 октября будет служить мессу, хотя многие считают это расточительством. Анненберг, торжественно объявил диктор, — еврей.

— Зачем они нам об этом сообщают? — спрашивает Дженис.

Господи, до чего же она все-таки тупа. Эта мысль его успокаивает. Он говорит ей:

— Да затем, чтобы мы, так называемые христиане, чувствовали себя мерзавцами из-за нашего жмотства — жалко денег на возвышение для Папы.

— Должна сказать, — говорит Дженис, — мне действительно кажется расточительством строить такую штуку для одного только раза.

— Такова жизнь, — говорит Гарри, припарковывая машину к тротуару на Джозеф-стрит. Перед домом 89 столько машин, что ему приходится остановиться за полквартала оттуда, перед домом, где живут эти мужеподобные бабы. Одна из них, еще довольно молодая, здоровенная баба в купленной на распродаже армейской рабочей куртке, как раз втаскивает на крыльцо большую розовую бобину изоляционной ленты с боковиной из станиоля.

— У меня сегодня сын женился! — неожиданно крикнул ей Гарри.

Стриженая соседка растерянно моргает и кричит в ответ:

— Счастья ей!

— Ему!

— Я хочу сказать — невесте!

— О'кей, я ей передам!

Лицо женщины с узкими, как у фигуры индейца над табачной лавкой, глазами слегка смягчается; она видит Дженис, вылезающую с другой стороны машины, и, решив пообщаться, кричит ей:

— Джен, а *вы* как к этому относитесь?

Дженис так долго раскачивается с ответом, что Гарри отвечает за нее:

— Она на седьмом небе. Разве может быть иначе?

Одного он не в состоянии понять — не того, почему эти бабы его не любят, а почему он хочет, чтобы они его любили, почему один стук их молотков вдали оскорбляет его, словно ему что-то не дозволено.

Каким-то образом этот Тощий, что ведет канареечно-желтый «ле-кар», чье название крупными буквами выведено на боку машины, сумел привезти из церкви невесту, жениха и Мелани раньше Гарри и Дженис; и Олли с Пегги тоже приехали раньше в своем коричневом «Додже-73» с крылом, залатанным стеклопластиком; и даже Манная Каша опередил их: его трескучий маленький черный «опель-манта» тоже стоит у кромки тротуара за кленом, который мамаша Спрингер вот уже больше тридцати лет видит из своей спальни. В гостиной уже толпится народ, а раскрасневшаяся толстушка в форме официантки обносит гостей закусками, которые стоят целое состояние, — какие-то наспех сляпанные штуковины, что-то вроде печенья с расплавленным сыром, украшенного петрушкой. Гарри устремляется сквозь толпу, расставив по старой баскетбольной привычке локти на случай, если кто-то налетит на него: надо принести из кухни шампанское. Бутылки «Мумм» по двенадцать долларов каждая — даже при том, что их покупали ящиком, — заполняют всю вторую полку в холодильнике, красиво уложенные валетом — блестящее серебряное горлышко к толстому стеклянному донышку. «Шампанское на свадьбе под дулом ружья, — думает Гарри. — По счету с Энгстрома». Внук Грейс Штул оказывается здоровенным парнем — не меньше двухсот пятидесяти фунтов весом — с пышной пиратской бородой; на сковороде у него жарятся разные штучки-дрючки, а в духовке — что-то завернутое в бекон. А также пиво, которое он достал из холодильника, стоит открытое на столе. Шум в гостиной все нарастает, входная дверь то и дело хлопает. Вслед за Мим и мамашей вваливаются Ставрос и Мэркетты, и все начинают трещать как сороки, лишь только хлопают первые пробки. Батюшки, струю не остановить, как когда кончаешь, а пластиковые бокалы для шампанского, которые Дженис нашла в «Акме», стоят на круглом китайском подносе на столе за пивом, поставленным внуком Грейс Штул слишком далеко, трудно добраться до них и не пролить рыжеватую пену на линолеум. Наполняя бокалы, Гарри вспоминает о золотых монетах, сохраняющих свою ценность на протяжении веков, и в душе его словно приподнимается трап, выпуская печаль. Какого черта, мы же все вместе летим по желобу вниз. А в гостиной, стоя перед буфетом, мамаша Спрингер взволнованно произносит заранее приготовленный маленький тост, который заканчивает на пенсильванском немецком: «Dir seid num eins: halt es Selle Weg».

— Что значит, бабуля? — спрашивает Нельсон, опасаясь, как бы ему чего-то не навязали, такой ребенок по сравнению с краснеющей взрослой женщиной, на которой он по глупости взял и женился.

— Я хотела сказать, — раздраженно произносит Бесси, — вы теперь единое целое — держитесь этого пути.

Все кричат «ура» и пьют — а кое-кто уже успел выпить.

Грейс Штул проскальзывает вперед, в освобожденный гостями круг, — возможно, пятьдесят лет тому назад она была великой танцовщицей, а сейчас принадлежит к тем старухам, что сохраняют тонкие щиколотки и маленькие ноги.

— Или, как всегда говорили: «Bussie waiirt ows, kocha dut net. Поцелуи истощаются, хорошая кухня — нет».

Все громко выражают одобрение. Гарри откупоривает новую бутылку и решает напиться. Это печенье с расплавленным сыром не так уж и плохо — надо только успеть донести его до рта, пока оно не раскрошилось. А у маленькой толстушки — приятельницы внука Грейс Штул — потрясающая грудь. Женская плоть — вот в этом по крайней мере нет недостатка — продолжает прибывать. Кажется, прошла целая вечность с тех пор, как он лежал в своей комнате без сна, взбудораженный появлением в доме Пру Лубелл, ныне Терезы Энгстром. Гарри обнаруживает, что стоит рядом с ее мамашей. Он спрашивает ее:

— Вы когда-нибудь раньше бывали в наших краях?

— Только проездом, — произносит она тонюсеньким голоском, так что ему приходится нагнуться, как к умирающему на смертном одре, чтобы услышать. А как тихо произносила Пру слова клятвы во время венчания! — Моя родня — из Чикаго.

— Вы можете гордиться своей дочкой, — заявляет он ей. — Мы ее уже полюбили. — Ему самому кажется, что он произнес это совсем как она: жизнь — это и впрямь игра во взрослых.

— Тереза старается вести себя правильно, — говорит ее мать. — Но это было ей всегда нелегко.

— Вот как?

— Она пошла в родню отца. Понимаете, всегда все доводит до крайности.

— В самом деле?

— О да. Упрямая. Не смеешь ничего сказать против.

Глаза у нее расширяются. А у Гарри такое чувство, точно его с этой женщиной поставили делать бумажные цепи, а клей дали негодный, звенья все время распадаются. Нелегко тут вести разговор, ничего не слышно. Теперь еще Манная Каша и Тощий хихикают вместе.

— Мне очень жаль, что ваш муж не мог приехать, — говорит Гарри.

— Вы бы не жалели, если б знали его, — спокойно отвечает миссис Лубелл и покачивает пластмассовым бокалом, как бы показывая, что он пуст.

— Разрешите наполнить. — Гарри вдруг с ужасом осознает, что она его ровесница — хоть она и выглядит старухой, ей столько же лет, сколько и ему, и вместо того, чтобы в мечтах лежать голышом с красотками вроде Синди Мэркетт или подружки внука Грейс Штул, он должен удовольствоваться постелью с кем-то вроде миссис Лубелл. Он спешит на кухню, чтобы проверить, как обстоит дело с шампанским, и обнаруживает там Нельсона и Мелани, откупоривающих бутылки. Кухонный стол завален маленькими проволочными клетками, в которые заключена каждая пробка.

— Пап, может ведь не хватить, — нудит Нельсон.

Ну и парочка.

— А почему бы вам, молодежь, не перейти на молоко? — предлагает он, отбирая у парня бутылку, тяжелую, зеленую и холодную, как монеты. С гравированной этикеткой. Его бедный покойный папка никогда в жизни не пил такой шипучки. Семьдесят лет одно только пиво да ржавую воду. Он говорит Мелани: — Этот твой шикарный велосипед все еще у нас в гараже.

— О, я знаю, — говорит она, глядя на него невинными глазами. — Если я увезу его в Кент, у меня его непременно украдут. — Ее карие навыкате глаза ничем не показывают, что она заметила его грубость, объясняемую тем, что он считает: она его предала.

Он говорит ей:

— Надо бы тебе пойти поздороваться с Чарли.

— О, мы уже здоровались. — Она что, уехала из номера в мотеле, который он оплачивает, и провела ночь у Чарли? Что-то Гарри это непонятно. А Мелани, словно желая все загладить, говорит: — Я скажу Пру, что она может пользоваться велосипедом, если захочет. Это прекрасная тренировка для мускулов.

Каких мускулов? Его место рядом с матерью невесты пустует — ни у кого недостало доброты заняться ею. И он, с готовностью наполняя протянутый ею бокал, говорит:

— Спасибо за носовой платок, там, в церкви.

— Тяжело это, должно быть, — говорит она, поднимая на него теперь уже не такие испуганные глаза, — когда всего один ребенок.

Вовсе не один, чуть не сообщает он ей: видно, здорово он перебрал. Во-первых, есть мертвая сестренка, похороненная там, высоко на холме, а потом — эта длинноногая девчонка, что бродит по полям и лугам к югу от Гэлили. Кого она ему напоминает, эта миссис Лубелл, когда она вот так кокетливо приподнимает голову, глядя на него? Тельму Гаррисон у бассейна. Пожалуй, следовало бы пригласить Гаррисонов, но тогда мог бы обидеться Бадди Инглфингер. Да и Ронни вел бы себя агрессивно. Органист с бородкой клинышком (его-то кто пригласил?) присоединился к Манной Каше и Тощему, и они веселятся вовсю, но священник в какой-то момент все же вспоминает о своих обязанностях перед остальными. Он подходит к Гарри и к матери Пру — настоящий акт христианского милосердия.

— Что ж, — обращается к нему Гарри, — что сделано, того не переделаешь, верно?

Преподобный Кэмпбелл обнажает в угодливой улыбке мелкий частокол потемневших от табака зубов.

— Невеста выглядела очаровательно, — говорит он миссис Лубелл.

— Ростом она пошла в родню отца, — говорит та. — И волосы прямые — тоже от них. Мои от природы вьются, а у Фрэнка стоят торчком — он никогда не может их уложить. Тереза, конечно, не такая упрямая, она все-таки девушка.

— Совершенно очаровательна, — произносит Манная Каша, и улыбка его кажется приклеенной.

Гарри спрашивает его:

— А какую скорость развивает этот ваш «опель»?

Он вынимает изо рта трубку:

— Когда ездишь тут с горы на гору, оптимальную скорость не разовьешь, верно? Я бы сказал, двадцать пять — двадцать шесть в лучшем случае. Я только и делаю, что торможу, а потом снова включаю скорость.

— А вы знаете, — сообщает ему Гарри, — эти машины ведь делают японцы, хотя продает их «бюик». Я слышал, что после модели восьмидесятого года фирма не станет больше их ввозить. Тогда с частями будет худо.

Манная Каша развеселился и подмигивает миссис Лубелл. А на Гарри он обращает наигранно строгий взгляд и спрашивает:

— Вы что, пытаетесь продать мне «тойоту»?

Если подумать, то мама ведь тоже станет скелетом. Ее крупные кости будут лежать в земле, как кости динозавра.

— Видите ли, — говорит Гарри, — у нас появилась новая маленькая машина с передними ведущими колесами, которая называется «терсел», — не знаю, откуда они берут эти названия, но это не столь важно, так вот она делает свыше сорока на шоссе и места в ней для одного человека вполне достаточно.

Ждут возрождения Христа. А что, если этого никогда не произойдет?

— А что, если я *женюсь*, — возражает маленький человечек, — и у меня появится *большущее* потомство?

— А вам и надо бы жениться, — неожиданно раздается писклявый голос миссис Лубелл. — Священники по зову плоти пачками уходят из церкви. Весь этот секс в кино, в книгах, всюду, даже на телевидении, если смотришь телевизор достаточно поздно, — неудивительно, что они не в состоянии противиться. Благодарите Бога, что вам не приходится с этим бороться.

— Я часто думал, — произносит Манная Каша слегка приглушенным, но все же раскатистым голосом, каким совершал венчание, — что из меня мог бы выйти отличный священник. Обожаю определенный порядок вещей.

Кролик говорит:

— Вот только что в машине мы слышали, что Анненберг в Филадельфии дал католикам пятьдесят тысяч на возвышение для Папы, чтобы заткнуть рот защитникам гражданских свобод.

Манная Каша фыркает:

— А вы знаете, какая для него реклама эти пятьдесят тысяч? Это же чистая выгода.

Тощий и органист, видно, говорят об одежде, судя по тому, как они щупают рубашки друг друга. Если Гарри придется разговаривать с органистом, он спросит, почему тот не сыграл «Гряди, гряди, голубица».

Миссис Лубелл говорит:

— Надеялись, что Папа приедет в Кливленд, но не может же он побывать всюду.

— Я слышал, он собирается поехать на какую-то ферму, в полную глушь, — говорит Гарри.

Манная Каша дотрагивается до руки матери невесты и склоняет к ней голову, словно желая показать Гарри свою лысину.

— Мистер Анненберг — бывший наш посол при английском дворе. Рассказывают, что когда он вручал свои верительные грамоты королеве, она протянула ему руку для поцелуя, а он пожал ее и сказал: «Как живете-можете, королева?»

Ух, как он грохнул. Миссис Лубелл тоже так и залилась, даже взвизгнула и, устыдившись, быстро прикрыла костяшками пальцев рот. Манная Каша в восторге и вторит ей громоподобными раскатами — точно хохочет могучий широкоплечий старик. Ну, если они собираются так дальше продолжать, считает Кролик, он может их оставить и, воспользовавшись Манной Кашей как багром, отталкивается от них. Он смотрит поверх голов собравшихся, выискивает просвет. В гостиной всегда темновато, сколько бы лампочек ни было включено или какое бы ни было время дня — деревья и навес над входом перекрывают солнце. А ему хотелось бы иметь дом, где было бы много света, который заливал бы красные квадратные пространства. Ну зачем хоронить себя заживо?

А мамаша Спрингер зажала Чарли у буфета: лицо у нее налилось и побагровело, точно виноградина, от усилий, каких ей стоит вталкивать ему в ухо неслышные отсюда слова; Чарли вежливо склонил к ней аккуратно причесанную голову, когда-то крупную, как у барана, а теперь словно усохшую и ставшую похожей на голову старой козы, и усердно кивает, точно клюющий зерно петух. В передней части комнаты, вырисовываясь силуэтами на фоне большого окна, Мэркетты беседуют с Фоснахтами, старина Олли несомненно внушает этим новым людям, какой он знающий музыкант, а Пегги весело смеется, поддерживая его и тая про себя то, что дома он — ленивая крыса. Мэркетты принадлежат к новым друзьям Гарри, а Фоснахты — к старым, и ему не нравится то, что они общаются: хотя Пегги была отличной подружкой в постели, он вовсе не хочет, чтобы эти школьные прилипалы влезли в компанию его загородного клуба, однако он видит, что это происходит благодаря лести и шампанскому; Олли таращится на Синди (не смей и думать об этом!), а Пегги телячьими глазами оглядывает Мэркетта, да она под кого угодно ляжет — должно быть, Олли никак не удовлетворяет ее своим, по всей вероятности, очень тоненьким, как тростинка, членом. Гарри подумывает, не подойти ли к ней и не разбить ли это содружество, но предвидит, сквозь какую стену ему придется осторожно пробираться после всех этих слез в церкви и воспоминаний о Бекки, и папе, и маме, и даже старике Фреде, которых больше нет. Мим сидит на диване с Грейс Штул и с другой старой курицей, Эми, — Бог ты мой, какое эта парочка устроила себе развлечение, вполголоса рассказывая Мим истории из ее детства, — этот акцент округа Дайамонд и манера выражаться вызывают у нее смех, а она — накрашенная, вся в мишуре, как цветочный горшок, — напоминает тех шлюх, которых они видят весь день и вечер по телевизору, старушки даже и не понимают, что смотрят на шлюх, какими на самом деле являются эти знаменитые женщины, что играют в «Опережая время» или в «Скверах Голливуда» или подмигивают Мерву, или Майку, или Филлу в телепрограммах, сидя с голыми коленями в креслах, где все они лежали под кем-то, а теперь они никому не нужны, время настигло и Мим и посадило на серый диван вместе с прихожанками. Нельсон, Мелани и эта деревенщина, внук Грейс Штул, все еще торчат на кухне, а его приятельнице, видимо, надоело обносить гостей штучками-дрючками на хитроумной подставке, сохраняющей тепло, и блюдечком с кетчупом, она решила, что хватит, и присоединилась к ним; у них там маленький переносной телевизор «Сони», по которому Дженис, готовя ужин, смотрит иногда старые комедии с Кэрол Бэрнетт, и сейчас, судя по звукам — крики, гремит оркестр, — эта никчемная пьяная молодежь включила передачу о матче между командами Пенсильвании и Небраски. А Пру в своем подвенечном платье цвета шампанского, уже без веночка на голове, стоит одна у трехногой лампы и разглядывает тяжелый зеленый стеклянный шар мамаши Спрингер с запечатанным внутри пузырьком воздуха, снова и снова поворачивает его под тусклым светом в своих длинных красных пальцах, на одном из которых блестит обручальное кольцо. В группе Фоснахтов — Мэркеттов, к которой присоединилась и Дженис, раздается взрыв смеха. Мимо Гарри на кухню протискивается Уэбб с пластмассовыми бокалами в руках.

— Как тебе нравится этот сумасшедший Роуз? — проходя мимо, произносит он, чтобы что-то сказать.

Пит Роуз недавно набрал свыше шестисот очков, и ему надо забить еще всего четыре мяча, чтобы стать первым игроком, когда-либо забивавшим двести мячей за десять сезонов.

— Выдрючивается, — произносит Кролик: так говорили о нем самом около тридцати лет тому назад.

Возможно, Пру из-за своей уже заметной беременности стесняется пройти сквозь толпу и присоединиться к своему поколению на кухне. Гарри подходит к ней, нагибается и целует, пока она не успела воспротивиться, в гладкую теплую щеку, шампанское многое облегчает.

— Разве не положено поцеловать невесту? — говорит он ей.

Она поворачивается к нему и награждает этой своей нерешительной и вдруг освещающей все лицо улыбкой, от которой уголок рта ползет вверх. Глаза ее стали еще зеленее от стекляшки, этого странного блестящего яйца, которым Гарри не раз хотелось шмякнуть Дженис по голове.

— Конечно, — говорит она. Из яйца, прижатого к ее животу, из самого его центра — там, где пузырек воздуха, — исходит бледное острие света.

Гарри чувствует, что краешком глаза она заметила его приближение и ждала, застыв, как почуявший опасность олень. Конечно, ей страшно среди всех этих чужих людей — теперь, когда судьбу ее уже решил свадебный обряд, и Кролик хочет приободрить свою невестку:

— Ты наверняка совсем вымоталась. Не тянет поспать? Помню, Дженис ужасно спать хотела.

— Я как-то странно себя чувствую, — соглашается Пру и обеими руками ставит зеленый стеклянный шар на круглый столик, который деревянным листом окружает ножку напольной лампы. И вдруг спрашивает: — Как вы думаете, я сделаю Нельсона счастливым?

— Конечно. Мы как-то с малым долго об этом говорили. Он очень высокого мнения о тебе.

— Он не считает, что попал в западню?

— Ну, откровенно говоря, как раз это меня и интересовало, потому что я на его месте мог бы именно так себя чувствовать. Но, ей-богу, Тереза, его это, похоже, не волнует. У него с самого детства было развито чувство справедливости, и в данном случае он, видимо, считает, что так будет справедливо. Слушай. Не мучь ты себя. Единственное, что сейчас волнует Нельсона, — это его старик.

— Он очень высокого мнения о вас, — говорит она еле слышно, словно боясь показаться дерзкой.

Гарри хрюкает: он любит, когда женщины дерзят ему, а малейший признак живости в Пру только радует его.

— Все устроится, — обещает он ей, но Тереза по-прежнему вся во власти страха, который, того и гляди, передастся ему. Когда молодая женщина, осмелев, широко улыбается, видно, что ей следовало в свое время надеть на зубы шины, но никто об этом не позаботился.

Вкус шампанского снова напоминает Гарри об отце. Пиво и ржавая вода, грибной суп из банки.

— Постарайся развлечься, — говорит он Пру и идет через набитую людьми комнату мимо шумной группы Мэркеттов, Фоснахтов и Дженис к дивану, где между двумя старухами сидит Мим. — Вы что, развращаете мою сестричку? — спрашивает он, обращаясь к Эми Герингер.

Грейс Штул смеется, а Эми трепыхается, пытаясь встать с дивана.

— Не вставайте из-за меня, — говорит ей Кролик. — Я подошел, просто чтобы посмотреть, не требуется ли кому чего.

— То, что мне требуется, — буркает Эми, продолжая елозить по дивану, так что он вынужден помочь ей встать, — я должна сделать сама.

— Что же это? — спрашивает он.

Она смотрит на него несколько остекленелым взглядом — совсем как Мелани, когда он посоветовал ей пить молоко.

— Зов природы, — отвечает Эми, — если можно так выразиться.

Грейс Штул, в свою очередь, протягивает ему руку, и, когда он берет ее, чтобы поднять старуху с дивана, у него такое ощущение, точно он держит мешок из тончайшего пергамента, полный обкатанных камешков и почему-то теплый.

— Пора, пожалуй, прощаться с Бесси, — говорит она.

— Вон она там — заговорила до полусмерти Чарли Ставроса, — подсказывает ей Гарри.

— Да, и скорее всего уже наболтала лишку. — Похоже, старуха знает, о чем там речь, — или, может, ему это показалось?

— Так, — говорит Мим.

— Следующей выдавать замуж я буду тебя, — говорит Кролик.

— Мне, собственно, время от времени предлагали.

— Ну и что ты отвечала?

— В мои годы слишком это хлопотно.

— А со здоровьем у тебя в порядке?

— Я все делаю, чтоб было в порядке. Больше не курю, заметил?

— А как насчет того, что ты сидишь допоздна и смотришь по телевизору Мистера Голубые Глаза? Я, кстати, знал, что его зовут Мистер Голубые Глаза. Не знал только, о каком мистере ты говоришь, думал, может, кто-то новый объявился с таким же прозвищем.

Когда он позвонил ей по междугородному телефону, чтобы пригласить на свадьбу, она сказала, что условилась с одним очень дорогим ей человеком посмотреть шоу с Мистером Голубые Глаза, и он спросил: «А что это за мистер?» Она сказала: «Так зовут Синатру, дурачок. Где ты был всю жизнь?» И он ответил: «Ты прекрасно знаешь, где я был, — здесь». И она сказала: «Угу, оно и видно». Господи, до чего же он любил Мим: в общем, никто не понимает тебя так, как твои родные.

Мим говорит:

— Поспать можно и днем. Так или иначе, я свое отпрыгала — теперь я деловая женщина. — И, движением руки указав в другой конец комнаты, спрашивает: — Что это Бесси такое затеяла — решила помешать мне поговорить с Чарли? Она уже целый час его держит.

— Понятия не имею, что происходит.

— И никогда не имел. За это все мы тебя и любим.

— Прекрати. Эй, а как тебе нравится новая Дженис?

— А что в ней нового?

— Неужели не видишь? Она стала куда увереннее в себе. В большей мере женщина.

— Твердая, как орех, Гарри, всегда была и будет. А ты всегда ее жалел. Вот уж напрасно.

— Скучаю я по папке, — неожиданно объявляет он.

— А ты все больше и больше становишься похож на него. Особенно в профиль.

— У него никогда не было такого живота, как у меня.

— У него не было и зубов, чтобы так обжираться, как ты.

— А ты заметила, что эта Пру чем-то на него похожа? И руки у нее крупные, красные, как у мамы. Я хочу сказать, она больше похожа на Энгстромов, чем Нельсон.

— Вы, мужики, любите хватких женщин. Я думала, что такие номера уже не проходят, а у нее вот прошел.

Он кивает, а сам представляет себе, как она накладывает беззубый профиль отца на его профиль.

— Да она до смерти перепугана.

— А ты-то как? — спрашивает Мим. — Что поделываешь, чем радуешь свою душу?

— Играю в гольф.

— И по-прежнему развлекаешься с Дженис?

— Иногда.

— Да, из вас вышла настоящая пара. Мы с мамой считали, что вы больше полугода не протянете — ведь она же тебя просто поймала.

— Может, я сам поймался. Ну а ты? Как там у вас с денежками, в Лас-Вегасе? У тебя действительно своя парикмахерская или ты всего лишь подставное лицо у больших воротил?

— Мне принадлежит тридцать пять процентов капитала. Столько я получила за то, что согласилась стать подставным лицом.

Он снова кивает:

— Звучит знакомо.

— А у тебя еще кто-нибудь есть? Можешь мне сказать — я ведь завтра буду уже в самолете. Как насчет этой толстозадой с раскосыми глазами?

Он качает головой:

— Не-а. После Джилл — ни разу. То, что с ней произошло, меня здорово тряхнуло.

— О'кей, но ведь это было десять лет назад, это же ненормально, Гарри. Ты превращаешься в ничтожество.

— Помнишь, как мы спускались на санях к Джексон-роуд? — спросил он. — Я часто об этом думаю.

— Это было, может, однажды или дважды, а здесь никогда не идет снег. Поезжай на озеро Тахо — вот там сейчас *снег*. Отправимся в Альта или в Таос — увидишь, как я катаюсь на лыжах. Можешь поехать туда и один — мы тебе устроим какую-нибудь симпатичную девочку. Блондинку, брюнетку, рыжую — какую захочешь. Хорошую, чистенькую девочку из маленького городка — никаких неприятностей.

— Мим, — говорит он, вспыхнув, — ну и язычок. — И только хочет сказать ей, как он ее любит, но тут у входной двери возникает сутолока.

Тощий и органист вместе выходят из комнаты и сталкиваются в дверях с невзрачно одетой парой, которая уже некоторое время тщетно звонила в неработающий звонок. По внешнему виду они похожи на разносчиков, торгующих энциклопедиями — правда, те обычно работают в одиночку, — или на Свидетелей Иеговы, которые ходят по домам; вот только вместо «Сторожевой башни» в руках большой пакет со свадебным подарком, завернутым в серебряную бумагу. Это родственники из Бингемптона. Они не там свернули с Северо-Восточного шоссе и заблудились в западной Филадельфии. Женщина, очутившись наконец под крышей, плачет от облегчения и усталости.

— Квартал за кварталом — и сплошь черные, — говорит мужчина, рассказывая о своих злоключениях: он все не может прийти в себя от изумления.

— О-о! — восклицает Пру с другого конца комнаты. — Дядя Роб! — И бросается к нему в объятия, наконец почувствовав себя дома.

Мамаша Спрингер предоставила домик в Поконах в распоряжение молодых — пусть попользуются в медовый месяц последними золотыми неделями тепла, правда, березы уже начинают желтеть, а лодки и байдарки вытащены на сушу. Парень ничего этого не заметит — им повезет, если он не подожжет дом, отравляя себе мозги и гены марихуаной. Но Гарри это не касается. Теперь, когда Нельсон женат, в сознании Гарри словно захлопнулась дверь, наконец он выплатил долг, и мысли его снова возвращаются к той ферме, к югу отсюда, где другое его дитя, наверное, ходит, ходит и ждет, когда начнется настоящая жизнь.

Как-то вечером, когда по телевизору нет ничего для мамаши интересного, она созывает небольшое совещание в гостиной, кладет ноги, обмотанные бинтами телесного цвета (нововведение, прописанное ее доктором, — когда Гарри пытается представить себе человека, для которого делают такие бинты, даже Тощий по сравнению покажется здоровяком), на скамеечку, а вольтеровское кресло предоставляет единственному в доме мужчине. Дженис садится на диван с положенным после ужина глоточком какой-то белой густой, как крем, отравы — ликера из кокосового молока, который ребята принесли в дом, — рядом с матерью она выглядит совсем девчонкой, особенно когда сидит вот так, подобрав под себя ноги. А ноги красивые, крепкие. Она сумела сохранить их такими, и он готов за это снять перед ней шляпу. Ну чего еще можно требовать от жены, если она не дает от тебя деру и вместе с тобой ждет, что будет дальше?

Мамаша Спрингер объявляет:

— Мы должны сейчас решить, как быть с Нельсоном.

— Отослать его назад в колледж, — говорит Гарри. — У нее там есть квартирка — вот пусть оба там и живут.

— Он не хочет уезжать, — уже не впервые заявляет Дженис.

— А почему, черт подери? — спрашивает Гарри: вопрос этот все еще волнует его, хотя он и знает, что карта его бита.

— Ох, Гарри, — говорит Дженис, — этого никто не знает. Ты ведь не ходил в колледж, так почему же он должен?

— Это, конечно, объяснение. Посмотри на меня. Я не хочу, чтобы он повторил мою жизнь. Достаточно того, что я так живу.

— Милый, я же говорила с его точки зрения, я вовсе не хочу спорить с тобой. Конечно, мы с мамой предпочли бы, чтобы он окончил Кент и не связывался с этой секретаршей. Но вышло иначе.

— Не может он жениться и вернуться в колледж, точно ничего не произошло, — заявляет Бесси. — Она ведь работала, все ее знают, и я думаю, в этом для него камень преткновения. Он должен работать.

— Отлично! — говорит Гарри, получая удовольствие от своего упрямства: пусть женщины конструктивно думают. — Может, его тесть найдет ему работу в Акроне.

— Ты же видел ее мать, — говорит мамаша Спрингер. — Никакой помощи с этой стороны ждать не приходится.

— Зато дядя Роб — ух какой пробивной малый. Что он там делает, на обувной фабрике? Протыкает дырки для шнурков?

— Гарри! — Дженис, подражая матери, говорит размеренно, решительно. — Нельсон должен работать в магазине.

— О Господи! Почему? *Почему?* У нас же огромная страна. В ней есть старые заводы, новые заводы, фермы, магазины — почему это ленивое отродье не может добыть себе работу в одном из них? Ни разу за все эти годы, когда он летом приезжал из Кента, он не пытался найти себе работу. Последний раз он работал в четырнадцать лет, когда ему понадобились деньги на пластинки и он подрядился разносить газеты.

Дженис говорит:

— Он ведь каждое лето выезжал на месяц в Поконы, а значит, ничем серьезно заняться не мог — он сам на это жаловался. Ну а кроме того, он все-таки кое-что делал. Он там сидел с детьми и помогал тому учителю строить дом с панелями, нагревающимися от солнца, и погребом, набитым камнями, чтобы сохранять тепло.

— Ну и почему бы теперь ему снова чем-то таким не заняться? В этом будущее, а не в продаже машин. Автомобили отжили свой век. Пир окончен. Лет через двадцать у нас будет сплошь общественный транспорт. Даже, может быть, через десять. Почему бы ему не походить вечером на курсы и не научиться работать на компьютере? Если посмотреть на колонки «Требуется...», так там сплошь компьютерные программисты и инженеры по электронике. Помнишь, как Нельсон разобрал систему на части и даже вывел динамики на веранду? Он ведь умел все это — что же произошло с тех пор?

— А произошло то, что он стал взрослым, — говорит Дженис и, приканчивая свой кокосовый ликер, запрокидывает голову так, что на горле видны светлые полоски, которые, когда она держит голову нормально, превращаются в складочки. Языком она выбирает капельки со дна рюмки. Теперь, когда Нельсон и Пру — часть семьи, Дженис пьет уже почти не стесняясь, они все вместе сидят, накачиваясь до одурения, в ожидании, когда по телевизору выступит Джонни Карсон[[30]](#footnote-30) или покажут шоу «В субботу вечером»; она снова стала курить больше пачки в день, хотя Гарри и уговаривает ее бросить. Сейчас она говорит с ним так, точно он стихийное бедствие, которое надо перетерпеть.

А он все больше распаляется.

— Я же предлагал ему поступить в отдел ремонта — там всегда найдется чем занять лишнюю пару рук, и Мэнни мигом натаскал бы его, сделал бы полноценным механиком. А вы знаете, сколько сейчас механики заколачивают за час? По семь монет, мне же они обходятся свыше восьми со всеми этими добавками. А когда они осваивают дело и работают быстрее положенного, то получают премиальные. Наши лучшие работники приносят домой больше пятнадцати тысяч в год, а двое из них ненамного старше Нельсона.

— Нельсон, как и ты, — говорит Дженис, — не желает возиться в грязи.

— Самые счастливые дни моей жизни, — лжет он, — были, когда я работал руками.

— Нелегкое это дело — старость, — признается мамаша Спрингер, — да еще когда ты вдова. Что бы я ни делала, я сначала молюсь, а потом спрашиваю себя: «А как бы хотел Фред, чтобы я поступила?» И вот тут я абсолютно уверена: он хотел бы, чтобы наш маленький Нелли пошел работать в магазин, раз мальчику так хочется. Многие молодые люди нынче не взялись бы за такую работу: слишком у них тонкая кожа, чтобы быть продавцом, да и не такая это завидная работа, разве что на взгляд тех, кто для начала целый день ходил за лошадью, как люди моего поколения.

— Бесси, — взрывается Кролик, — у каждого поколения свои проблемы. Давайте посмотрим фактам в лицо. Сколько вы собираетесь платить Нельсону? Какое жалованье, какие комиссионные? Вы же знаете предел доходов торговца. Три процента, три жалких процентика, да и те урезаются множеством новшеств, за которые ты не можешь взять с покупателя: на «тойоты» ведь установлены твердые цены. Повышение цен на нефть все уносит: за те пять лет, что я возглавляю дело, стоимость отопления возросла вдвое, плата за электричество взлетела вверх, стоимость доставки тоже, плюс социальное обеспечение, которое все растет, и взносы на безработных, которые надо платить, чтобы лодырям в нашей стране не пришлось расставаться со своими яхтами, — ведь половина молодежи у нас работает ровно столько, чтобы можно было получить пособие по безработице; а проценты за хранение товара — это же уму непостижимо. У нас совсем как было в веймарской Германии: сбережения точно в трубу вылетают; все считают, скоро наступит такое снижение спроса, что волосы дыбом встанут. Экономика убита, мамаша, нам ее не оживить — у нас нет дисциплинированности япошек и немцев, а вы еще хотите, чтобы я взвалил на плечи фирмы мертвый груз, каким, к сожалению, является мой сын.

— Отвечаю на твой вопрос, — говорит мамаша, передвигая больную ногу по скамеечке и слегка покряхтывая. — Минимальное жалованье мы ему установим в три доллара десять центов за час, так что, если он будет работать по сорок часов в неделю, ты должен платить ему в неделю сто двадцать пять долларов и, кроме того, премиальные из обычного расчета — сейчас это, кажется, что-то около двадцати процентов от общей прибыли, а если продано больше определенного минимума, то и двадцать пять! Я знаю, раньше платили пять процентов от общей суммы проданного, но Фред говорил, что с иностранными марками так почему-то не получается.

— Бесси, при всем моем уважении и любви к вам, вы сумасшедшая. Вы собираетесь для начала платить Нельсону пятьсот долларов в месяц, да еще сверх того комиссионные, так что домой он будет приносить по тысяче в месяц, а фирме принесет дохода тысячи две с половиной. Такую сумму Нельсон мог бы получать, если бы продавал — с учетом соотношения между новыми и подержанными машинами — от семи до десяти машин в месяц, а наше предприятие на круг больше двадцати пяти машин в месяц не реализует!

— Ну, может, с Нельсоном вы будете реализовывать больше, — говорит мамаша.

— *Фантазерка*, — говорит ей Гарри. — Детройт наконец оснастил свои заводы, чтобы выпускать сборные малолитражки по центу за дюжину, к тому же вот-вот введут более жесткий налог на импорт. Так что двадцать пять машин в месяц — это оптимально, клянусь Богом.

— Людям, которые помнят Фреда, приятно будет видеть в магазине Нельсона, — не отступает она.

— Нельсон говорит, — замечает Дженис, — что надбавка на новые «тойоты» составит по крайней мере тысячу долларов.

— Это когда модель со всеми добавками. А люди, покупающие «тойоты», не интересуются добавками. Мы ведь главным образом продаем простые «короллы» — четыре машины к одной. И даже более крупные модели стоят лишь на пару сотен дороже при том, как деньги падают, к черту, в цене.

Но она упряма и тупа.

— По тысяче на машину, — говорит она, — значит, ему надо продавать всего пять штук в месяц, если исходить из твоих расчетов.

— А как быть с Джейком и Руди?! — восклицает он. — Да если малый продаст хотя бы пять машин, это уже ущемит Джейка и Руди! Послушайте, если вы хотите знать, кто ваши преданные работники, — это Джейк и Руди. Они работают столько, сколько их просишь, — торчат тут вечерами и в выходные, а потом подрабатывают, чтобы добрать за все те часы, на которые их отпускают, когда нет работы: ведь у Руди в гараже маленькая мастерская по починке велосипедов, а нынче все просят помочь, и берут они по-божески. Таких ребят не выставляют за дверь.

— Я в общем-то думала не о Джейке и Руди, — говорит мамаша Спрингер, насупясь и положив ногу на ногу. — А сколько зарабатывает Чарли?

— Ох нет, только не это. Мы ведь об этом уже говорили. Если Чарли уйдет, то и я уйду.

— Просто для моего сведения.

— Что ж, Чарли зарабатывает около трехсот пятидесяти в неделю... на круг, вместе с премиальными, свыше двадцати тысяч в год.

— Ну что ж, — изрекает мамаша Спрингер, снова перекладывая больную ногу, — значит, ты сэкономишь, если возьмешь вместо него Нельсона. Он так интересуется подержанными машинами, а ведь как раз этим и занимается Чарли, верно?

— Бесси, я просто ушам своим не верю. Дженис, да поговори ты с ней насчет Чарли.

— Мы уже говорили, Гарри. Слишком много ты взбиваешь вокруг этого пены. Мама говорила со мной, и я подумала, что Чарли будет, пожалуй, даже полезно переменить работу. Она разговаривала и с Чарли, и он согласен.

Гарри не может этому поверить.

— Когда вы говорили с Чарли?

— На свадьбе, — признается мамаша Спрингер. — Я видела, как ты поглядывал на нас.

— Бог ты мой, и что же вы ему сказали?

Ну и старуха, думает Кролик, ну и старуха: ходит в кроссовках, носит повязку на волосах, платье выше колен, грудь вперед, смешные очки с серебряной полоской на бровях и вообще. Время от времени с тех пор, как Фреда не стало, она является зимой на автоплощадку в норковой шубке, которую муж подарил ей на двадцать пятую годовщину свадьбы, — мех на шубке блестит стальными иголочками, точно посылает сигнал.

Она говорит:

— Я спросила его насчет здоровья.

— Мы так волнуемся по поводу здоровья Чарли, можно подумать, ему пора инвалидную коляску покупать.

— Дженис говорила мне, что уже десять лет назад он принимал нитроглицерин. А ему было тогда всего лет тридцать — куда же это годится?

— Ладно, но что он-то сказал насчет своего здоровья?

— Мол, сносно, — отвечает мамаша Спрингер. — Дженис вот утверждает, ты сам жаловался, что он не тянет — сидит сгорбившись за своим столом и перебирает бумажки, вместо того чтобы предоставить это Милдред.

— Я в самом деле такое говорил? — Гарри смотрит на предательницу Дженис. Он всегда считал, что смуглая кожа и черные волосы у Дженис от Спрингеров, но ведь старик Спрингер был блондин с тонкой розовой кожей, — значит, это кровь матери, кровь Кернеров, определила ее расцветку.

Она нетерпеливо стряхивает пепел с сигареты в пепельницу.

— Не один раз, — говорит она.

— Но ведь не затем, чтобы твоя матушка гнала парня с работы.

— Я ни разу не сказала «гнать», — говорит мамаша Спрингер. — Фред никогда бы не выгнал Чарли — разве что он слишком напозволял бы себе в личной жизни.

— Ну, нынче для этого нужно очень далеко зайти, — говорит Гарри, возмущаясь тем, что в этом все и дело.

Мамаша Спрингер с трудом перекатывает свои телеса по дивану.

— Ну, должна сказать, эта погоня за девчонкой до самого Огайо...

— Он и во Флориду ее возил, — говорит Гарри, так что обе женщины мгновенно выпучивают на него свои черные глаза-пуговки. А ведь правда, вся эта история непомерно раздражает и его: сам-то он не воспылал ведь к Мелани, да и везти ее ему было бы некуда.

— Мы беседовали о Флориде, — говорит мамаша Спрингер. — Я спросила Чарли, не стоит ли ему перебраться туда — ведь зима наступает. Зять Эми Герингер, который работал на асбестовом заводе в Нью-Джерси, пока там не началась паника, вышел на пенсию с компенсацией и уехал во Флориду, а ему и пятидесяти нет. Она говорит, он сказал ей, что туда понаехало сейчас уйма молодежи, спасаясь от энергетического кризиса, и сейчас там живут вовсе не одни старики, как говорится во всех этих анекдотах, ну и работу, конечно, там тоже можно найти. Чарли — малый умный. Фред с самого начала это понял.

— Мамаша, у него на руках мать. Старая гречанка, которая не говорит по-английски и едва ли когда выезжала за пределы Бруэра.

— Ну что ж, может, пора ей и выехать. Люди, знаешь ли, думают, что нас, стариков, домкратами с места не сдвинешь, а вот сестра Грейс Штул — она, заметь, старше ее и похоронила двух мужей у нас в округе — отправилась навестить сына в Финикс, и так ей там понравилось, что она купила себе маленькую кооперативную квартирку и, по словам Грейс, даже место на кладбище — значит, перебралась туда насовсем.

— Чарли — это не ты, Гарри, — вставляет Дженис. — Он не боится перемен.

Он мог бы взять сейчас это зеленое стеклянное яйцо, шагнуть к дивану и изо всей силы шмякнуть им по ее тупой башке. Вместо этого, не обращая внимания на ее слова, он говорит мамаше:

— Я до сих пор так и не слышал, что же вы все-таки сказали Чарли и что он сказал вам.

— О, мы занимались воспоминаниями. Разговаривали о тех временах, когда Фред был еще жив, и оба пришли к мнению, что Фред хотел бы, чтобы у Нелли было место в магазине. Он всегда горой стоял за родных, Фред, даже когда родные подводили его.

Должно быть, намекает на него, думает Кролик. А он этого маленького пронырливого торгаша никогда не подводил, такого греха у него на совести нет.

— Чарли понимает, что такое семья, — вставляет Дженис этаким мягким, женственным тоном, к которому Гарри никак не может привыкнуть, да он и звучит сейчас деланно. — Все время, пока я, ну, вы понимаете, встречалась с ним, он был абсолютно готов в любую минуту отступить в сторону и позволить мне вернуться.

Говорить о любовнике в присутствии собственной матери! Да, быстро мир катится вниз.

— Ну и вот, — со вздохом продолжает мамаша Спрингер; она уже от всего этого устала, ноги у нее по-прежнему болят, словом, старикам необходимо уединение, — мы пытались понять, как хотел бы Фред, чтобы все устроилось, и пришли к выводу, что Чарли уйдет в отпуск на полгода с половинной оплатой, а к тому времени мы увидим, что получается у Нелли. Если за это время Чарли предложат в другом месте работу, он волен принять предложение, и тогда мы выдадим ему жалованье за два месяца в качестве вознаграждения и, кроме того, рождественскую премию за семьдесят девятый год. Обо всем этом мы договорились не только на свадьбе — я ездила сегодня в магазин, пока ты играл в гольф.

А он набрал бы 83 очка, если бы попал в последнюю лунку, но мяч улетел в ручей, так что получилось лишь 8 очков. Похоже, он никогда не наберет 90 — разве что во сне. Неспешный удар Уэбба Мэркетта действует ему на нервы.

— Тихой сапой, — говорит он, — а я-то считал, что вы из-за движения боитесь теперь водить «крайслер» по Бруэру.

— Меня возила Дженис.

— Ага. — Он спрашивает жену: — И как понравилась Чарли твоя роль в этой благородной миссии?

— Он был очень мил. Ведь все решали они с мамой. Но он понимает, что Нельсон — наш сын. Чего ты, кажется, не понимаешь.

— Да нет, нет, понимаю, в том-то вся и беда, — говорит ей Гарри. И обращаясь к старухе Спрингер: — Значит, вы готовы заплатить не одну тысячу Чарли, чтобы дать Нельсону работу, которую он скорее всего не сможет выполнить. Где же тут экономия для фирмы? И потом, без Чарли мы потеряем покупателей: я знаю в городе вдвое меньше народу, чем он, при этом не только среди греков. Поскольку он человек одинокий, он ходит по барам, а там-то и завязываются знакомства.

— Что ж, может быть. — Мамаша Спрингер поднимается на ноги и осторожно топает то одной, то другой ногой по ковру, проверяя, не затекли ли они. — Может, это и ошибка, но в нашей жизни нельзя вечно бояться ошибок. Мне никогда не нравилось, что Чарли не женился. Это тревожило и Фреда, я знаю. Ну а теперь мне пора наверх смотреть моих красоток сыщиц. Правда, они уже не те с тех пор, как Фарра ушла.

— А у меня что же, нет права голоса? — чуть ли не кричит Гарри, не в силах сразу выбраться из глубокого кресла. — Я голосую против. Я не желаю, чтобы мне на голову сажали Нельсона.

— Что ж, — говорит мамаша и делает долгую паузу; за это время Гарри успевает понять, какая она большая, широкая, если смотреть снизу, — будто ствол дерева, на который глядишь-глядишь и вдруг думаешь, сколько же из него выйдет зубочисток; а все эти завтраки, обеды и ужины, если их помножить на дни, сколько их отправлено в эту утробу, а эти могучие, тяжело раскачивающиеся бедра, а испещренные печеночными пятнами руки. — Как я понимаю, Фред в своем завещании оставил магазин мне и Дженис, а мы, по-моему, единого мнения.

— В любом случае, Гарри, двое против троих, — говорит Дженис с обезоруживающей улыбкой.

— А, пошли вы к черту, — говорит он. — Пошел он к черту, этот «Спрингер-моторс». Видно, если я не сложу лапки, вы обе проголосуете за то, чтоб и меня вышвырнуть.

Они этого не отрицают. Мамаша, тяжело ступая, взбирается по лестнице, а Дженис с рассеянным видом, который появляется у нее в конце дня, когда начинает сказываться все выпитое, поднимается на ноги и доверительно сообщает ему:

— А знаешь, мама считала, что ты примешь это хуже. Не принести чего-нибудь с кухни? От этого кокосового ликера просто не оторваться.

Первое октября приходится на понедельник. Осень начинает поворачиваться малоприятной стороной: из низких облаков, точно из выложенных в ряд продранных матрасов, сеется серый дождь, сбивая один за другим листья с деревьев. Старый одинокий клен, что стоит за «Придорожной кухней» через шоссе 111, почти совсем оголился — только нижние ветки висят, будто подстриженные скобкой волосы монаха. В такой день не жди покупателей — Гарри и Чарли стоят у витрины и смотрят сквозь зеркальное стекло на улицу, а над ними плакаты, на которых теперь начертано: СКОРО — СОВСЕМ НОВЫЕ «КОРОЛЛЫ». *Новый мотор на 1,8 литра. Новое аэродинамическое устройство. Алюминиевые колеса на моделях «СР-5». Съемная противосолнечно-противолунная крыша. Самая популярная в мире модель!..* Другой плакат возвещает: *«Королла-терсел» — первая «тойота» с передним приводом. «Тойота» с самой высокой скоростью по самой низкой цене.*— Ну вот, — произносит Гарри, прочистив горло, — «Филадельфийцы» с треском вылетели из турнирной таблицы. Выбросив из списка «Монреаль Экспо» в последний день соревнований со счетом 2:0, они позволили «Питсбургу» стать чемпионом в Национальной Восточной лиге.

— Я болел за «Экспо», — говорит Чарли.

— Ну конечно, ты не можешь допустить, чтобы «Питсбург» снова выиграл. Они такие чертовски энергичные. Унаследовали от пап и мам.

Ставрос пожимает плечами:

— Ну, такая команда черных требует хорошей рекламы. Все они выросли на рекламе по телевидению, касса была для них единственной матерью. В этом трагедия черных в наши дни.

Гарри становится легче оттого, что Чарли разговаривает. Он был почти уверен, что найдет его раздавленным.

— По крайней мере «Орлы» вырвали победу у «Стальных», — говорит он. — Так было приятно.

— Им повезло. Эта промашка в конце поля. Можно ожидать от Брэдшоу, что он устроит помеху, но нельзя ожидать, чтобы Фрэнко Харрис промахнулся и мяч ушел в конец поля.

Гарри хохочет, с наслаждением вспоминая игру.

— А как насчет этого босоногого, который появился у «Орлов»? Ну не красота?

Чарли говорит:

— Бить по мячу — это еще не футбол.

— Попасть в ворота на сорокавосьмиярдовом поле, забив мяч голой ногой! У этого парня большой палец, должно быть, каменный.

— На мой взгляд, они могут отправить всех этих старых игроков назад в Аргентину: Футбол — это контактная игра. Ловушка! Вот в этом «Стальные» в конечном счете могут перехитрить. Я за «Стальных» не беспокоюсь.

Гарри чувствует закипающую злость и, бросив взгляд в окно, заговаривает о погоде. На стекле появляются капли, растут и потом начинают сбегать вниз — упорно, оставляя за собой полоски. Вот так же и он плакал. С самого раннего детства, когда сознание его еще только пробуждалось, Гарри любил стоять возле радиаторов в старом, разделенном пополам доме на Джексон-роуд и смотреть в окно на дождь: ты всего в нескольких дюймах от стекла — и сухой, а по ту сторону был бы мокрый.

— Интересно, пойдет ли дождь, когда будет выступать Папа. — Папа сегодня днем прилетает в Бостон.

— Никогда в жизни. Он взмахнет руками, и небо наполнится певчими птицами. Певчими птицами и конским дерьмом.

Хоть Гарри и не католик, но это коробит его — да, Чарли сегодня кусается.

— Ты видел эти толпы по телевидению? Ирландцы просто рехнулись. Сказали, что в одном месте их собралось больше миллиона.

— Тупицы они, эти мики[[31]](#footnote-31), — говорит Чарли и отворачивается от окна.

Но Гарри не может дать ему уйти. Он говорит:

— А вчера вечером отдали назад Панамский канал.

— Угу. Меня просто тошнит от того, что происходит. Грустно у нас стало жить — отовсюду нас выталкивают.

— Ты же хотел, чтобы мы ушли из Вьетнама.

— Это тоже была грустная история.

— Послушай!

— Да?

— Я слышал, у тебя была беседа с мамашей Спрингер.

— Последняя из целой серии. Вот в ней нет ничего грустного. Старуха — кремень.

— Куда же ты предполагаешь двинуться? Нельсон и Пру в пятницу возвращаются из Покон.

— Да пока никуда. Похожу в кино. Пооколачиваюсь по барам.

— А что, если поехать во Флориду — ты ведь все время говоришь про Флориду?

— Да что ты! Я же не могу предложить моей старушке перебраться туда. Что она там будет делать — тасовать карты?

— По-моему, ты говорил, что у тебя теперь появилась двоюродная сестра, которая может о ней заботиться.

— Глория. Не знаю, что-то там намечается. Они с мужем, возможно, снова сойдутся. Ему не нравится по утрам самому готовить себе яичницу.

— О-о. Извини. — Некоторое время Гарри молчит. — Извини за все.

Чарли передергивает плечами:

— А ты-то что тут можешь сделать?

Именно это Гарри и хотелось услышать — чувство облегчения затопляет его, словно вдруг включили яркий свет. Когда лучше себя чувствуешь, то и видишь лучше: он вдруг видит в кустах за окном все эти клочья бумаги, пакеты и стаканчики, которые принесло ветром через шоссе от «Придорожной кухни», — теперь они лежат и мокнут под дождем. Он говорит:

— Я бы сам мог уйти.

— Это глупо, чемпион. Что ты станешь делать? Я — я могу торговать где угодно. За меня не волнуйся. Ко мне уже подкатывались. Новости в нашем деле распространяются быстро. В нашем бизнесе люди пуганые.

— Я сказал ей: «Мамаша, Чарли — это душа «Спрингер-моторс». Половина клиентов приходят к нам благодаря ему. Больше половины».

— Спасибо, что замолвил за меня словечко. Но, знаешь, всему наступает конец.

— Наверное. — Но не для Гарри Энгстрома. Никогда, никогда.

— А как Джен? Что она сказала, когда возникла идея выставить меня за дверь?

Нелегкий вопросец.

— Не так уж много. Ты же знаешь, ей не выстоять против старухи — у нее это никогда не получалось.

— Если хочешь знать, сгубила меня, по-моему, эта поездка с Мелани. Обе спрингеровские дамы сразу охладели ко мне.

— Ты думаешь, что до сих пор не безразличен Дженис?

— Человек никогда не становится совсем тебе безразличен, чемпион. Ты все еще не равнодушен к той девчушке, чьи штанишки видел в детском саду. Если кто-то был когда-то тебе дорог, то не будет безразличен никогда. Вот так глупо мы устроены.

У Кролика его слова вызывают определенные ассоциации: камень, вылетевший в космос, тоже крутится вечно. Кролика интересует космос, и он каждый день выискивает в газетах хоть что-нибудь об этих гигантских казармах где-то на краю вселенной, а в воскресном приложении изучает новые увеличенные фотографии Юпитера в надежде найти что-то, упущенное учеными, — Бог ведь еще не сказал насчет него последнего слова. В вакууме души любовь падает, падает, но так и не достигает дна. Дженис приревновала Чарли: чувство зарождается в нас, и мы не хотим с ним расставаться; прошло уже двадцать лет с тех пор, как он спал с Рут, но всякий раз, когда в каком-нибудь магазине в центре городка или на Уайзер-стрит он видит сзади женщину с рыжеватыми волосами, небрежно собранными в пучок, так, что выбивается несколько прядей, сердце его подскакивает. А Нельсон — он же был тогда совсем еще мальчишкой, но человек никогда не бывает слишком молод для любви, — Нельсон был влюблен в Джилл, и если подумать, то у Пру тот же тип, очень похожа на хиппи: прямые длинные волосы так же лежат на спине, и это тупое сонное лицо, так и хочется ущипнуть ее, чтобы вывести из этого состояния, хотя, конечно, Джилл была классом выше, она не была дочкой акронского паропроводчика. Гарри говорит Чарли:

— Ну, по крайней мере теперь ты сможешь время от времени удирать в Огайо.

Чарли говорит:

— Там ничего меня не ждет. Мелани мне больше как дочь. Она, знаешь ли, неглупа. Послушал бы ты, как она рассуждает насчет трансцендентальной медитации и этом сумасшедшем русском философе. Она хочет учиться дальше и защитить докторскую, если ей удастся выудить деньги из своего папаши. А он на Западном побережье гоняется за индейскими девчонками.

От одного берега до другого, думает Кролик, вся страна — сплошное увеселительное заведение. С кривыми зеркалами.

— И все же, — говорит он Чарли, — хотелось бы мне иметь такую свободу, как у тебя.

— А у тебя она есть, эта свобода, только ты ею не пользуешься. Ну зачем вы с Джен живете в этом облезлом, старом сарае вместе с ее мамашей? Это плохо для Джен — никак она не станет взрослой.

Облезлом? Вот уж никогда Гарри не считал дом Спрингеров облезлым; старомодным — пожалуй, но с просторными комнатами, где полно было самых дорогих новшеств, — во всяком случае, таким он увидел этот дом впервые, когда начал ухаживать за Дженис в то лето, что они вместе работали у Кролла. Все выглядело новеньким и пахло свежестью, а в комнате рядом с гостиной стоял длинный чугунный стол с тропическими растениями, этакий уголок собственных джунглей, — ему это представлялось верхом роскоши. Теперь стол стоит пустой и на паркете видны ржавые пятна, оставшиеся от капавшей с него воды. Гарри приходит на память, что и серый диван, и обои, и акварели не меняли с той поры, когда он заезжал за Джен и увозил ее на ночь, которую они бурно проводили на заднем сиденье папкиной старой «де-сото»; да, вполне возможно, что дом действительно выглядит облезлым. У мамаши уже нет былой энергии, а что она делает со своими деньгами, никому не известно. Во всяком случае, новую мебель не покупает. А теперь еще наступила осень, и бук, что растет у окна их спальни, стал ронять свои орешки — маленькие треугольные семенные коробочки раскалываются, и под их треск и шуршанье совсем нелегко спать. Эта комната никогда не отличалась удобством.

— Значит, никак не станет взрослой, да?

— Кстати о детях, — перебивает его Чарли, — помнишь тех двоих, что приезжали к нам в начале лета, ты еще так завелся при виде девчонки? Так вот парень — не могу вспомнить его имя — снова явился к нам в субботу, когда ты играл в гольф.

— Нунмейкер.

— Правильно. Так он купил ту оранжевую «короллу-универсал» со стандартной трансмиссией. Старую машину продавать не стал, а к нам скоро прибудут новые модели, так что я сбросил ему две сотни. Я считал, что ты будешь доволен, если я отнесусь к нему получше.

— Правильно. А девчонка была с ним?

— Я что-то не видел.

— И он не захотел продавать свой «кантри-сквайр»?

— Ты же не знаешь этих фермеров — они любят держать всякий хлам у себя на дворе. Наверное, подключил машину к ленточной пиле.

— О Господи, — произносит Гарри. — Значит, Джейми купил оранжевую «короллу».

— Ну, видишь ли, не такое уж это и чудо. Я спросил его, почему он так долго ждал, а он сказал, что решил: если подождет до осени, то машины семьдесят девятого года немного упадут в цене. И доллар будет стоить меньше. Да, как известно, и иена тоже.

— Когда же он ее забирает?

— Он сказал — завтра около полудня...

— Черт! Я в это время как раз буду в «Ротари».

— Девчонки с ним не было, так не все ли тебе равно? Ты вот обо мне говоришь, а она ведь моложе Мелани. Этой девчонке лет шестнадцать-семнадцать.

— Должно быть девятнадцать, — говорит Кролик. — Но ты прав. Мне все равно.

Струи дождя, барабанящего вокруг, словно на ниточках приподнимают его сердце — у него, как и у Чарли, есть выбор.

Во вторник после «Ротари», когда в крови Гарри еще бродит алкоголь, он возвращается в магазин и обнаруживает, что оранжевая «королла» исчезла, — от счастья у него все плывет перед глазами: Господь Бог послал ему из космоса поцелуй. Около четырех тридцати, когда Руди работает в торговом зале, а Чарли уехал в Ален-Вилл, чтобы попытаться сбыть несколько подержанных машин оптовому торговцу и немного подправить бухгалтерию, перед тем как сдать дела Нельсону, Гарри выскальзывает из своего кабинетика, проходит по коридору, затем через мастерскую, где ребята Мэнни все еще бьют по металлу, только голоса их звучат громче, по мере того как приближается блаженный момент окончания работы, и через заднюю дверь, стараясь не запачкать манжеты о задвижку, выбирается на воздух. Рай земной! На этой ничейной земле по-прежнему стоит «меркури» со вдавленным левым боком, крылом и решеткой и ждет решения своей участи. Оказалось, что Чарли сумел сбагрить отремонтированную «дельту» за три тысячи шестьсот молодому доктору из Ройерсфорда, притом даже не обычному доктору, а одному из этих гомеопатов или новомодных специалистов, которые приходят к больному корью и говорят, что надо есть морковку или три часа в день мычать на определенной ноте, но, видно, он все-таки прилично зарабатывает, раз схватил эту старую машину; он сказал, что у одного парня, которым он восхищался в колледже, была «дельта», а ему всегда хотелось иметь машину такого цвета — пурпурно-красную, как лак для ногтей. Гарри втискивается в свою «корону» цвета перестоявшего томатного супа, мягко выводит ее со стоянки и направляется по шоссе 111 от Бруэра в сторону Гэлили. Когда «Спрингер-моторс» остался далеко позади, он включает радио, и такой грохот электроинструментов несется из стереодинамиков, что Гарри боится, как бы их не разорвало... Он возвращается мыслями назад, к обеду в «Ротари» и к Эдди Пасторелли из компании «Недвижимость Пасторелли», с грудью кадушкой и маленькими кривыми ножками, который меньше чем за пятьдесят секунд промчал их по предполагаемой застройке верхней части Уайзера, где в те дни были в основном стоянки для машин и бары да мелкие предприятия вроде ремонта пылесосов и корма для кошек, у которых не было денег на то, чтобы перебраться в торговые ряды, а Эдди пытался им внушить, что большие стеклянные коробки и многоэтажные гаражи из бетона вернут сюда покупателей, невзирая на испанских мальчишек, которые бродят тут с транзистором у уха и с ножом за ремнем брюк. Гарри не мог не рассмеяться — он-то помнил Эдди, когда тот был второстепенным охранником в хеммингтаунской школе — паршивом грязном заведении, которого не коснулись никакие реформы. Донна Саммер поет: «Притуши огни, дорогой мой...» Когда смотришь на ее фотографию, она кажется куда менее черной, чем ты думал, — на тебя смотрит желтое существо с ввалившимися щеками и как бы говорит: «Ну и что тут можно поделать?» Любопытная штука насчет этих членов «Ротари»: если ты знал их детьми, то и сейчас невольно видишь в них тех же детей, только располневших, облысевших, разбогатевших, — так под смокингами из плотной бумаги просматриваются на школьном спектакле мальчишки. Ну как можно после этого уважать мир, когда видишь, что в нем правят дети, ставшие стариками? Кролик любит эту шутку, которую часто слышит в «Ротари». Проглотив одно-два мартини, Эдди может быть чертовски забавным, особенно когда рассказывает про пятерых мужчин, летящих в самолете, — кончик его носа опускается, точно его потянули за веревочку, и смех звучит как хриплый кашель старухи. *Кха-кха-кха.* Надо Кролику это запомнить и рассказать ребятам в «Летящем орле». Пятеро мужчин: хиппи, священник, полицейский и Генри Киссинджер, — самый умный мужик на свете. А кто же был пятый? Донна Саммер поет, что надо сделать смуглое тело белым — во всяком случае, он считает, что она именно это поет, хотя ни в чем нельзя быть уверенным при этой манере петь с подвыванием, — должно быть, какой-то накурившийся оператор утопил кнопку и получился такой звук, а слова не имеют значения, главное, чтобы ритм бил тебя по ребрам как ножом и душа трепыхалась.

Дома из песчаника. Рекламный щит, указывающий на природную пещеру. Интересно, думает он, неужели туда кто-нибудь еще ходит — мода на природные пещеры, как и на водопады, осталась ведь в прошлом. Мужчины тогда носили соломенные шляпы. А женщины не показывали даже щиколоток. Чудеса природы. Эта разбитная девка-дикторша (он какое-то время не слышал ее, думал, может, ее уволили — слишком уж наглая или забеременела) говорит, что Папа выступил в ООН и по пути на стадион «Янки» остановится в Гарлеме. Гарри видел вчера вечером по телевизору этого задиристого петуха, который стоял в Бостоне под проливным дождем в своих белых одеждах; восхитительно говорит по-английски — это, кажется, его седьмой язык, — а кто был тот истукан, что держал над ним зонтик? Какой-то ватиканский деятель, но Пру, как выяснилось, знала не больше его: какой в таком случае прок от того, что ты выросла в католической семье? В Европе золото сегодня еще подскочило — четыреста сорок четыре доллара за унцию, — а доллар снова упал. Станция замирает и снова возвращается к жизни, едва дорога поворачивает среди холмистых полей. Гарри подсчитывает: золото подскочило больше чем на восемьдесят долларов меньше чем за три недели, восемьдесят помножить на тридцать — это будет две тысячи четыреста; да, когда человек богат, то, как говорил папка, он становится только богаче. На некоторых полях кукуруза стоит высокая, на других — лишь короткая щетина стерни. Гарри медленно едет по уродливому, вытянувшемуся цепочкой поселку Гэлили, высматривая оранжевую «короллу». На этот раз спрашивать дорогу на почте уже не нужно. Овощной киоск с окончанием сезона закрыт. На пруду несколько гусей — он не помнит, чтобы они раньше там были: видно, уже начался перелет, они оставляют маленькие земные кучки на всех шоссе, возможно, поэтому тот доктор... Он выключает радио. БЛЭНКЕНБИЛЛЕР, МУТ, БАЙЕР. Он останавливает машину на той же обочине — широкой полосе красной глинистой земли. Сердце у него колотится, руки распухли и онемели от долгого лежания на рулевом колесе. Он выключает зажигание, упершись телом в подушки сиденья. Он же ничего противозаконного не делает. Вылезши из машины, он замечает, что в воздухе больше не разит свинарником — ветер дует с другой стороны — и не гудят насекомые. Они погибли — миллионы их исчезли. Тишину прорезает далекий взвизг и вой цепной пилы. Новый национальный гимн: «Эй, скажи-ка, ты пилишь...» Лес виднеется в полумиле и едва ли может принадлежать ферме Байеров. Гарри вступает на их территорию. Живая изгородь, скрывшая каменную ограду, сейчас уже не такая пышная и не может служить ему укрытием. Прохладный ветерок шелестит спутанными листьями эвкалипта и дикой вишни и лижет его руки. Листья сумаха стали темно-красными, некоторые — лишь наполовину, точно их не взяла краска. Медленно, шаг за шагом продвигаясь по старому фруктовому саду, он то и дело наступает на яблоки, валяющиеся в высокой траве. Только бы не подвернуть ногу, а то будешь тут лежать и гнить, как эти яблоки. Бедные деревья: столько произвести любимых червями плодов — и все напрасно. А может быть, и не напрасно, с их точки зрения: ведь они делали все то же самое, когда людей еще не было на земле. Странная мысль. Теперь Гарри видит в низине ферму, зеленую дверь, ванночку для птиц на голубом столбе. Из трубы идет дым — до Гарри долетает вызывающий ностальгию запах горящего дерева. Так близко; он останавливается за умирающей яблоней с разветвлением как раз на уровне его головы. В бархатистом красноватом дупле копошатся муравьи — сталкиваются носами, рассказывают друг другу новости, спешат дальше. Ствол дерева распахнут, точно незастегнутое пальто, но жизненные соки продолжают бежать вверх по его шершавой коре к маленьким круглым листочкам, которые подрагивают там, где веточки молодые и гладкие. Такое впечатление, что пространство опускается не только перед глазами Гарри, но и со всех сторон — земля словно уходит из-под ног, и у Гарри мелькает мысль, что же он тут делает в своем хорошем бежевом костюме: ведь любой фермер, который случайно пройдет сзади по полю с ружьем, может выстрелить ему в спину, а его лицо в развилке дерева, если кто-то случайно взглянет из дома вверх, можно принять за консервную банку, прибитую вместо мишени, это он-то, у которого есть кабинет с его именем на двери и визитные карточки со словами ГЛАВНЫЙ ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ; он, который всего два-три дня тому назад принимал других мужчин в таких же хороших костюмах на столь дорого обошедшейся ему и чреватой немалыми осложнениями свадьбе сына, органист еще ушел потом с этим Тощим, а эта пара приехала так поздно, что он подумал, уж не из Свидетелей ли Иеговы они, — Гарри недоумевает и в течение нескольких панических секунд не может сам себе это объяснить, разве что, стоя здесь, на воздухе, где никто не знает его имени, он чувствует, что живет полной жизнью. Потом вспоминает: он же надеется взглянуть на свою дочь. А что, если он соберется с духом, спустится туда, вниз, постучит в зеленую, глубоко всаженную в каменные стены дверь и девчонка ему откроет? В это время года она будет в джинсах и майке или в свитере. Волосы у нее будут менее растрепанные и влажные, чем летом, — может быть, зачесаны назад и перетянуты резинкой. Ее широко расставленные глаза будут точно маленькие голубые зеркала:

*Привет! Ты меня не помнишь...*

*Конечно, помню. Вы — торговец машинами.*

*Думаю, что не только это.*

*То есть?*

*Твою маму, случайно, зовут не Рут Байер?*

*Ну-у... да.*

*А она никогда не говорила тебе о твоем отце?*

*Мой отец умер. Он держал автобусы для городской школы.*

*Это был не твой отец. Я — твой отец.*

И глаза на широком бледном лице, в котором он узнал себя, уставятся на него со злостью, недоверием, опаской. И если он все-таки сумеет заставить ее поверить его словам, она будет зла на него за то, что он отнял у нее ту жизнь, какой она жила, и дал взамен ту, какой она никогда жить не будет. Он видит, что урожай на этих полях, где, возможно, взошло его семя, не для него, но, если он все же схватит этот плод, ему есть куда бежать. Однако он продолжает стоять в своем мятом летнем костюме (давно пора отдать его в чистку и потом повесить в большой пластиковый мешок до будущего апреля), завороженный этой застывшей, если не считать дымка, картиной внизу. Сердце его без устали бьет тревогу — слишком он далеко зашел. Жизнь идет, и по обе стороны ее тянутся пространства, куда ты никогда не ступаешь; вместе с поворотом земного шара настанет день — и довольно скоро, — когда ты будешь лежать в той земле, на которой сейчас стоишь, мертвый, как эта мошкара, гудения которой он больше не слышит, а трава будет по-прежнему расти, неумная и ко всему слепая.

Его успокоившееся было сердце подпрыгивает от хруста, раздавшегося позади во фруктовом саду. Он уже поднял руки и приготовил первую фразу, чтобы объяснить свое присутствие, как вдруг увидел, что позади него не человек, а собака, старый колли, один глаз у него красный и шерсть вся в катышах. Кролик вообще побаивается собак и знает, что колли — псы особо нервные и склонные нападать на человека, а Лесси наоборот. Только этот пес более черный, чем Лесси. Пес стоит на расстоянии длинного броска, склонив набок голову; волосы у него за ушами вздыбились, он вот-вот залает.

— Привет! — хриплым шепотом произносит Гарри, чтобы не услышали в доме.

Колли резче склоняет набок свою узкую голову, словно чтобы не напрягать больной глаз, и длинные белые волосы, нагрудником окружающие его шею, шевелятся, приглаженные ветерком.

— Ты хорошая собака? — спрашивает Гарри. А сам мысленно прикидывает расстояние до машины: вот он сейчас побежит, собака в два счета настигнет его, рванет за брюки, обнажив желтые зубы — собаки обычно приподнимают свою черную расщепленную верхнюю губу и в ярости обнажают мелкие передние зубы; он чувствует, как его щиколотку зажимает двумя шестеренками, и падает, вскидывая руки в тщетной попытке уберечь лицо.

Но в сплющенной голове собаки уже созрело решение. Она осторожно машет опущенным хвостом и с этой жуткой, бесшумной легкостью четвероногих летит к нему прыжками сквозь высокую траву. Она обнюхивает колени Гарри и прижимается к его ногам, подставляя шею, чтобы ее почесали, что Гарри и делает, шепотом твердя:

— Славный мальчик, хорошая девочка, откуда у тебя столько катышей, пло-охих катышей?

Только не дай им почувствовать твой страх. Когда вот так встречаешь собаку, разгуливающую без ошейника, как медведь, уже точно знаешь, что находишься за городом.

Вдалеке хлопает дверца машины. Звук эхом отдается от стены сарая, так что Гарри в первую минуту смотрит не в ту сторону. Затем в развилке яблони, внизу под склоном, он видит оранжевую «короллу» на пустой площадке между домом и гаражом, за которым стоит желтый остов школьного автобуса.

Значит, надежда не обманула его, но мысли по-прежнему почти всецело заняты этим комком мускулов и зубов у его колен: как удержать пса, чтобы он не залаял, как удержать его, чтобы не укусил? Крошечные мозги, которые реагируют за секунду: колли, принадлежавший старушке миссис Хаас на Джексон-роуд, жил в бочке и однажды выскочил оттуда, когда никто не ожидал, — у Кролика до сих пор еле заметный белый шрам на двух средних пальцах, которые он вытаскивал из пасти пса, ощущение было такое, будто чистишь морковку, он до сих пор это помнит.

Собака тоже услышала, как хлопнула дверца машины, и, прижав уши, со скоростью ракеты устремилась вниз по саду. Она поднимает вокруг «короллы» лай, отчаянный, но долетающий с опозданием из-за эха и большого расстояния. Улучив момент, Гарри перебегает к соседнему дереву, дальше от дома. Оттуда он видит, как из машины вылезает длинноногий Джейми, уже не в грязных бумажных штанах, а в розовых расклешенных брюках и красной рубашке со стойкой. Колли прыгает вокруг, приветствуя его, извиняясь, что облаял незнакомую машину. Протяжный говор парня разносится по саду — он сюсюкает собаку, но слов не разобрать. Кролик на секунду опускает взгляд и видит, как на земле две осы заползают в гнилое яблоко. Когда он снова поднимает глаза, девчонка, та самая девчонка с круглым бледным лицом — ее ни с кем не спутаешь, только волосы у нее подстрижены короче, чем в июне, — вылезает из «короллы» со стороны пассажира и, присев на корточки, принимается возиться с собакой. Она отворачивает лицо, чтобы собака не тыкалась в него мордой, и смотрит вверх, как раз туда, откуда, замерев, наблюдает за ней Гарри. Когда она поднимается на ноги, он видит, что она приоделась: на ней темно-коричневая юбка и рыжий свитер, короткий жакет в клеточку делает квадратными ее плечи, так что она выглядит бойкой студенткой, горожанкой. Однако движется она, когда делает два-три шага к дому, с ленивой медлительностью. Она громко зовет кого-то. Они с парнем оба стоят, повернув молодые лица к дому, и Кролик, воспользовавшись моментом, перебегает подальше, прячась на этот раз за еще более тонкое деревцо. Зато теперь он ближе к живой изгороди и, возможно, благодаря светлому костюму менее заметен на фоне просвечивающих кусочков неба.

Внизу, в лощине, возгласы привета и радости, эхом отдаваясь от оштукатуренных и шлаковых стен, звучат почему-то грустно. Легонько хлопает дверь, и из дома появляется толстая пожилая женщина — она так осторожно идет, неся свою тяжесть, что колли подталкивает ее, крутится возле ее ног. Вполне возможно, именно эту женщину Гарри мельком и видел в старом «универсале», когда машина проезжала мимо церкви в день свадьбы, но это не может быть Рут — у той волосы были мягкие, летучим огненным ореолом окружавшие голову, а у этой они черной с проседью шапкой плотно лежат на голове, и сама она такая огромная, такие у нее просторные одежды, что издали кажется, будто на ней парус. Эта особа в брюках и рубашке подходит вперевалку полюбоваться новой машиной. Никаких поцелуев, однако по тому, как все трое общаются друг с другом, видно, что это люди близкие. До Гарри доносятся их голоса, но слов не разобрать.

Мальчишка показывает «универсал». Девчонка похлопывает пожилую женщину по плечу, подначивает — давай, мол, залезай. Затем они вытаскивают из машины два больших бумажных пакета — продукты, а колли, которому все это надоело, поднимает голову и поворачивает нос в ту сторону, где с сильно бьющимся сердцем, застыв, неподвижно стоит Гарри, словно тот человек, скрытый среди завитков картинок-загадок, которые в свое время печатали в воскресных газетах.

Пес вдруг принимается лаять и мчится по саду к Гарри — Гарри ничего не остается, как повернуться и бежать. Возможно, ему удастся продраться сквозь живую изгородь до того, как те люди поднимут глаза и увидят его. Два женских голоса окликают собаку: «Фрицци! Фрицци!» Ветки царапают Гарри руки; шаткие камни в старой стене качаются, он чуть не падает и обдирает туфлю. Теперь он уже бежит сломя голову. Красная земля, исчерченная колесами трактора, мелькает у него под ногами. Однако пес — Гарри, оглянувшись, видит это — настигнет его прежде, чем он добежит до машины: оглаженный током стремительно прорезаемого воздуха, пес уже пролетел сквозь живую изгородь и мчится вдоль поля с кукурузной стерней. О Господи! Кролик останавливается, закрывает локтями лицо и ждет. Отсюда дома не видно — он внизу, за пригорком, — и Кролик наедине со зверем. Он слышит по стуку когтей, что пес пронесся мимо, и лай затихает, переходя в урчанье. Гарри чувствует, как пес обнюхивает его брюки, затем прижимается к ногам. Значит, он вовсе не намерен повалить его, просто хочет загнать назад, точно овцу в стадо.

— Славная Фрицци, — говорит Гарри. — Хорошая Фрицци! Пойдем к моей машине. Давай пошли вместе. — Осторожно, шаг за шагом он преодолевает небольшое расстояние, отделяющее его от обочины, и пес все это время трется о его ноги, обнюхивает. Время от времени снизу, от невидимого отсюда дома, все еще доносятся окрики; колли неуверенно машет хвостом, шлепая Гарри по икрам, задранная вверх сплющенная голова вопрошает красным больным глазом. Гарри подтягивает руки повыше, к лацканам. Грязные желтые мокрые зубы, точно терка, могут ободрать ему пальцы. Он говорит Фрицци: «Ты красивая девочка, замечательная девочка», — и осторожно обходит сзади «корону». Пила по-прежнему звенит. Гарри открывает дверцу со стороны водителя и втискивается на сиденье. Дверца захлопнута. Колли с озадаченным видом стоит на обочине красной земли, поросшей травой: вот он и загнал свою овцу. Гарри выуживает из кармана ключ от машины, мотор оживает. Сердце у него все еще стучит. Он перегибается к окну со стороны пассажира и царапает ногтями по стеклу.

— Эй, Фрицци! — кричит он и царапает по стеклу, пока собака не заливается лаем. *Гаф, гаф, гаф.* Хохоча, Кролик включает сцепление и дает деру, а в груди его бултыхается что-то хрупкое и переливчатое, как большой мыльный пузырь. Пусть лопнет. Ни разу еще Гарри не был так близок к тому, чтобы сорваться, если не считать того случая, когда Нельсон расколошматил спортивные машины.

Уэбб Мэркетт — человек домовитый: у него в погребе полно дорогих электроинструментов и он подписывается на такие журналы, как «Искусная работа по дереву» и «Сделай сам». В каждом уголке этой крепости в колониальном стиле, которую они с Синди делят вот уже семь лет, полно всяких вещиц ручной работы: обточенные, покрашенные, полированные полки, шкафчики, вращающиеся этажерки со множеством отделений, замысловатые, как раковины, — все это говорит о прилежании и любви хозяина к дому. Есть способ обработать подгнившее дерево и сделать его крепким, как мрамор, и, как мрамор, со многими вкраплениями и оттенками, — это можно видеть в основании нескольких ламп и маленьком стаканчике, где стоит на сервировочном столике нетронутая спираль сигарет, все это тоже сделал Уэбб, вплоть до сверкающих, похожих на бабочки, медных петель. Некоторые из этих предметов, должно быть, находились раньше в домах предыдущих жен Уэбба, и Гарри думает, сколько же всего было у тех призрачных женщин, если так много вещиц Уэбб сумел сохранить. Предшествующие браки Уэбба представлены в этой большой, длинной, утопленной гостиной лишь в виде цветных фотографий в рамках необычных пропорций, которые сам Уэбб вырезал, отлакировал и склеил, — фотографии Люситы, а также детей, слишком взрослых, чтобы быть детьми его и Синди, запечатленных, когда они сидели под солнцем на ступеньках другого пригородного дома, или на яхте на фоне голубого озера, которое на пленке «Кодак» выцвело и стало желтым, или во время свадьбы или выпуска из школы, ибо некоторые из этих детей сейчас уже стали взрослыми, старше Нельсона, и теперь уже младенцы третьего поколения смотрят без улыбки с фотографий, сидя в подушках или на крепких молодых руках улыбающихся членов семейства. Бывая в доме Уэбба, Гарри не раз исподволь высматривал его предыдущих жен, но на снимках остались лишь обезглавленные или ополовиненные рамкой или соседней фотографией женщины да тут и там чья-то взрослая рука или плечо поверх детских головок, лица же исчезнувших хозяек недолговечного семейного очага не сохранились.

Когда Уэбб и Синди принимают гостей, скрытые динамики наполняют комнаты нижнего этажа сладкозвучным пением скрипок и безликими аранжировками, мелодиями из старых шоу или облегченными вариантами классического рока — без голоса, без перерыва звуки плывут, нудные, как зубная боль. Позади бара из красного дерева, который Уэбб раздобыл, когда сносили таверну при гостинице для фермеров в Бруэре, и установил с окружающим его медным поручнем в углу своей гостиной, он соорудил нечто вроде алтаря богу вина: за двумя высокими дверцами с закругленным верхом скрыты полки, выезжающие на шарнирах и уставленные не только элементарными напитками — виски, джином и водкой, но и экзотическими — ромом, текилой и саке, а также всеми видами добавок, от горьковатых тоников до «Старомодной смеси» в виде порошка в маленьких пакетиках. При баре есть свой небольшой встроенный холодильник. Хотя Гарри и восхищается Уэббом, но, когда у него будет свой дом, он считает, что обойдется без этой писклявой музыки и такой сложной конструкции для хранения спиртного.

А вот ванная приводит его в восторг своими небольшими эмалированными мыльницами, в которых лежат розовые бутоны мыла, пушистым голубым чехлом на стульчаке и слепяще ярким зеркалом, окруженным голыми лампочками, точно в актерской уборной. Все здесь если не сверкает, то радует глаз или обоняние. Туалетная бумага очень мягкая, с рисунками из старых комиксов, на каждом куске своя картинка. Бедненький Поппи ест говно вместо шпината. А на полотенцах крупные буквы У, М и Л (начальная буква имени Люсинда) переплетены в такую выпуклую монограмму, что ему страшно даже подумать, как Синди может разодрать себе кожу, если в забывчивости начнет слишком крепко растираться. Но Гарри сомневается, чтобы Мэркетты или их бледненькие, хилые на вид детишки когда-либо пользовались этой ванной на нижнем этаже — скорее всего она предназначена для гостей. Некоторые таинственные вещицы расставлены на открытых полках, что висят на двух черных крюках между ванной и туалетом, кажется, больше для вида, чем для пользования: большой сосуд, похожий на сахарницу, белый, с крышкой шишечкой, на которой нарисованы две женщины в прозрачных одеяниях, сидящие то ли на облаке, то ли на кушетке, ноги у них в розовых балетных туфлях, щиколотки скрещены, и пальцы ног одной женщины касаются другой, а голая рука каждой из них обнимает шишечку, однако когда поднимаешь крышку, там внутри пусто, так пусто, что кажется, никогда ничего и не было; а еще розовая пластмассовая рука на палке, очевидно предназначенная для того, чтобы чесать спину; а еще сосуд в виде яйца, на одну треть наполненный кристалликами лаванды; а еще бидончик, в котором, как полагает Гарри, хранится масло для ванны; а еще качающийся пластмассовый цилиндр, в котором, словно стопка блинов, лежат разноцветные пуховки. Однако при мысли, что крошка Синди капает маслом в воду ванны, а потом ложится туда, гладит себя палкой для чесания спины, и соски ее торчат, прорезая пелену мыльных пузырей, Гарри чувствует прилив похоти. В зеркале, слишком безжалостном в своей яркости, глаза его кажутся почти белыми, точно комочки инея, которые покрывают поверхность машины по утрам, а губы синими: он пьян. Он выпил два коктейля с текилой до ужина, за столом — галло-шабли, сколько успел заглотать, а после — полторы рюмки коньяку. В середине второго возлияния он почувствовал потребность помочиться и воспринял ее как нечто радостное, доказывающее, что он здоров, преуспевает и сидит тут за кофейным столиком напротив Синди, наблюдая, как изгибается ее тело под странной грубой материей экзотического арабского одеяния, руки у нее и ноги голые, если не считать сандалий, и она в этом одеянии волнует не меньше, чем внутренняя сторона ее ног в бикини. Помимо него и Дженис Мэркетты пригласили еще Гаррисонов и — для обновления компании — этих придурков Фоснахтов, с которыми они познакомились на свадьбе Нельсона всего две недели назад. Гарри думает, что Мэркетты не знают о его связи с Пегги много лет назад, когда у Олли случилась очередная неприятность, а может быть, и знают куда больше, чем ты думаешь, и, как выясняется, это не так уж важно. Взять, к примеру, что люди каждую неделю читают в журнале «Пипл»[[32]](#footnote-32), телевизор — ты же смотришь его, хоть и знаешь, что все актеры — наркоманы и бабники. У Гарри так и чешутся руки заглянуть в аптечку рядом с рамкой из электрических лампочек, и он ждет, чтобы из гостиной долетел взрыв смеха пьяной компании, который заглушил бы щелчок, а он может раздаться, когда Гарри откроет зеркальную дверцу. Щелк. А шкафчик-то битком набит — вот уж чего Гарри никак не предполагал: толстые банки матового стекла с кремами для лица, и мягкие, телесного цвета пластиковые бутылочки с лосьонами, и коричневые тюбики с лосьонами для загара, и парепектолин от поноса, и деброкс, чтобы чистить уши от серы, и ментоловый хлорасептик, и полосканье, именуемое «Сепакол», и разные типы аспирина, и тайленол, от которого не болит желудок, и большая, белая как мел, бутылка жидкого маалокса[[33]](#footnote-33).

Интересно, думает Гарри, кому из Мэркеттов нужен маалокс — у обоих всегда такой спокойный, умиротворенный вид. Розовый гель против ядовитого плюща пригодится детям, как и пластыри, а вот как насчет маленькой плоской желтой коробочки против геморроидов? У Картера, у этого мрачного типа, который хочет все делать по плану, не важно, готов ты или нет, он толкает тебя, толкает, конечно, есть геморроид, но представить себе, что старина Уэбб Мэркетт с его зычным голосом, каким он вещает в ритме суинга — так обычно поют певцы на конкурсах, — снимает оболочку с одного из этих маленьких восковых тюбиков и вставляет его себе в задницу?! Для этого надо присесть и нелегко найти нужное место, — Кролик знает это по собственному опыту, когда много лет тому назад весь день сидел за матрицами, с грохотом опускавшимися по его команде, — стоило не на ту кнопку нажать, и шрифт будет испорчен, и все вокруг будут расстроены, а ведь он был еще совсем мальчишкой и его жизнь была такой зажатой, хотя не зажата душа. А что это за янтарные бутылочки с таблетками, где на этикетках бледно-голубыми печатными буквами значится: «Люсинде Р. Мэркетт»? Белые таблетки, детально крошечные. Надо было ему захватить с собой очки. Гарри так и подмывает взять одну из этих бутылочек с полки, в надежде выяснить, какая болезнь нашла дорогу в это пухлое и гибкое, такое аппетитное тело, но боязнь оставить отпечатки пальцев вынуждает его воздержаться. В аптечках, как он видит при этом ярком свете, есть что-то трагическое, и он тихо прикрывает дверцу, чтобы никто не услышал щелчка. Затем возвращается в гостиную.

Все громко обсуждают визит Папы.

— А вы слышали, — кричит Пегги Фоснахт, — что он сказал вчера в Чикаго по поводу секса? — За годы, прошедшие со времени их связи, она стала держаться свободнее, не носит больше темные очки, чтобы скрыть косоглазие, и стала небрежнее во внешности и в высказываниях, словно из протеста превратилась в героиню современной пьесы, вечно бунтующую против чего-то. — Он заявил: внебрачные связи порочны. И не только если ты замужем, но и до замужества тоже. Да что этот человек знает? Он же ничего не знает о жизни — жизни, какой живут люди.

Уэбб Мэркетт, стараясь утихомирить свою гостью, мягко произносит:

— А мне понравилось то, что несколько лет тому назад сказал Эрл Батц: «Кто не играет в игры, тот и правил не устанавливает».

На Уэббе тонкий коричневый свитер под толстым серым пуловером грубой вязки, в котором, по мнению Кролика, Уэбб напоминает скандинавского рыбака. Тем, как пуловер подходит под самое горло. Гарри и Ронни пришли в костюмах; Олли же достаточно поднаторел в таких делах и знает, что теперь даже в субботу вечером никто не надевает костюм. Он явился в обтягивающих линялых джинсах и вышитой рубашке, отчего выглядит ковбоем, слишком, правда, низкорослым, чтобы скакать по прериям.

— «Кто не играет в игры!» — взрывается Пегги Фоснахт. — Хорошенькие игры, интересно, что бы вы сказали, если б были беременной матерью многодетного семейства, жили в трущобе и не могли законно сделать аборт.

Кролик говорит ей: «Уэбб вполне согласен с тобой», — но она не слушает его, продолжая трещать, раскрасневшаяся от вина и такого высокого общества; волосы ее обмякли, как конфеты, тающие на солнце.

— Кто-нибудь, кроме меня, смотрел, — а я просто не могу не смотреть, такая меня разбирает злость, — какой спектакль Папа устроил в Филадельфии: он там категорически высказался против женщин-священников. И улыбался — вот что меня доконало, — улыбался, неся весь этот сексистский вздор насчет того, что священниками могут быть только мужчины: так-де постановила церковь и так решил Господь Бог и прочее, — а сам весь лучился. И все так мягко — это, наверное, больше всего меня раздражало: люди вроде Никсона или Гитлера — те по крайней мере хоть неистовствовали.

— Он этакий вкрадчивый старый поляк, — произносит Олли, чувствуя себя явно неловко после взрыва жены. Сразу видно, что он предпочитает спокойствие. Музыка, травка. Понемножку, но достаточно, чтобы взбодриться.

— Он, конечно, может целовать этих негритят, — вставляет Ронни Гаррисон, возможно стараясь разрядить атмосферу.

Кролик всякий раз с удивлением смотрит на то, какие длинные пряди волос Ронни зачесывает, чтобы скрыть лысину, — если хоть одну прядь перекинуть в другую сторону, она опустится ниже уха. В наше время и в таком возрасте стоит ли с этим бороться? Выглядишь лысым — ну и выгляди. Пусть она будет голая, розовая и выпуклая, как задница. А задницы все любят. Эти восковые шарики в желтой коробке — неужели они для Синди? У нее там, может, саднит, но от Уэбба ли? Гарри где-то читал, что гомикам много хлопот доставляют геморроиды. Поразительно, чего только они туда не втыкают — и кулаки, и электрические лампочки. Он заерзал на своей подушке.

— По-моему, он очень сексуален, — решительно заявляет Тельма Гаррисон.

Все, что она произносит, звучит так, точно говорит школьная учительница. Гарри смотрит на нее сквозь увеличивающийся от алкоголя туман: тонкие губы и этот нездоровый желтый цвет лица. Глядя на нее, Гарри всегда чудится, будто он видит член Ронни, толстый и плоский наверху как доска.

— Он красивый мужчина, — настаивает Тельма.

Глаза ее полузакрыты. Она явно выпила лишнюю рюмку-другую. И вытянула шею, точно старается не икать.

Его взгляд ползет по ее бархатному платью, мышино-голубому, как кресла в старых кинотеатрах. Ничего особенного. Надо быть монашкой, чтобы увидеть что-то сексуальное в этом маленьком крепыше в белом с золотыми пуговицами одеянии и в забавных шапочках, которые он то и дело меняет. Вообще-то Ронни ведь тоже крепыш. Значит, она любит толстяков. Гарри снова проводит глазами по ее платью сверху вниз. Возможно, оно скрывает куда больше, чем кажется.

Дженис — а она знает Пегги нескончаемое множество лет — делает попытку вывести ее из этого состояния и говорит:

— А мне, Пегги, понравилось сегодня — не знаю, видела ли ты, — как он вышел к балюстраде собора в Вашингтоне, перед тем как ехать в Белый дом, вышел к этой толпе, которая кричала: «Хотим видеть Папу, хотим видеть Папу!» — помахал рукой и крикнул: «Иоанн Павел Второй, он хочет видеть тебя!» В самом деле.

«В самом деле» было добавлено, потому что мужчины рассмеялись: они не смотрели этой передачи. Трое из них провели весь день на полях «Летающего орла»: лето в последний раз вернулось в округ Дайамонд, и на магнолиях, что окружают шестую лунку, появились толстенькие почки. Четвертым у них был молодой младший профессор, тот самый, что набрал семьдесят три очка в день венчания Нельсона. Он далеко посылает мяч, Уэбб прав, но Гарри не нравится его удар — слишком крученый. Пройдет еще два-три года, он пополнеет и станет забрасывать мячи во все лунки подряд. Недавно они отказались от Бадди Инглфингера: он паршиво играет в гольф и женам не нравятся его подружки-проститутки. Но Олли Фоснахт ему не замена. Единственное, что он умеет, — это играть на синтезаторе, да к тому же его неряха жена болтает без умолку.

— Я была бы рада увидеть в этом что-то забавное, — говорит Пегги, повышая голос, чтобы заглушить смех, — но для меня эти проблемы, которые он походя закрывает, слишком, черт побери, серьезны.

Неожиданно в разговор включается Синди Мэркетт:

— Он был священником в коммунистической стране, так что привык постоять за себя. Американские церковники-либералы говорят о sensus fidelium[[34]](#footnote-34), но я никогда об этом не слыхала, — вот уже две тысячи лет как мы исповедуем magisterium[[35]](#footnote-35).

— Что вас так оскорбляет, Пегги, вы же не католичка и не обязаны его слушать!

Вслед за ее словами наступает тишина, так как все, кроме Фоснахтов, знают, что сама Синди была рьяной католичкой, пока не вышла замуж за Уэбба. До Пегги это дошло сейчас, но, точно упрямая белая телка, мчащаяся вперед, она уже не может свернуть.

— Вы что, католичка? — напрямик спрашивает она.

Синди вздергивает подбородок — она не привыкла быть в центре внимания, она же в их компании считается младенцем.

— Я воспитана в католической вере, — говорит она.

— Моя невестка, оказывается, тоже, — вставляет Гарри. Его забавляет мысль, что теперь у него есть невестка, новое приобретение, пополняющее его богатство. И кроме того, он надеется переключить разговор. Терпеть он не может, когда женщины ссорятся, — ему бы очень хотелось отвлечь их обеих от этой темы. Синди выходит из бассейна словно влажная мечта, а Пегги по доброте сердечной даже пустила его к себе в постель, когда ему было худо.

Но ни ту, ни другую уже не отвлечь.

— Когда я вышла замуж за разведенного, — ровным тоном поясняет Синди другой женщине, — я больше не могла принимать причастие. Но я по-прежнему время от времени хожу к мессе. Я по-прежнему верую. — Голос ее при этом смягчается: она же здесь хозяйка, хоть и моложе всех.

— А вы пользуетесь средствами против беременности? — спрашивает Пегги.

Снова всех заводят в тупик эти Фоснахты. Гарри доволен — ему нравится их маленькая компания.

Синди медлит с ответом. Она может, как девчонка, хихикнуть и ускользнуть от ответа или может промолчать с видом оскорбленного достоинства. И вот со скромнейшей улыбкой, указывающей на оскорбленное достоинство, она говорит:

— Я не уверена, что это вас как-то касается.

— И Папы тоже — к тому-то я и веду! — победоносно объявляет Пегги, но даже и она, видно, чувствует, что битва затихает. Больше ее сюда не пригласят.

Уэбб, неизменный джентльмен, присев на подлокотник кресла, откуда ведет наступление на Папу громоздкая Пегги, изгибается к своей гостье так, чтобы слышала только она, и говорит:

— Насколько я понимаю, Синди считает, что Иоанн Павел излагает свои доктрины для католиков, а всем американцам выказывает благорасположение.

— По мне, так он свое благорасположение вместе со своими доктринами может держать при себе, — заявляет Пегги: она и хотела бы сдержаться, но не в силах совладать с собой.

Кролик помнит, как тогда, десять лет тому назад, ее соски казались ему круглыми леденцами и как грустно было сознавать, что она научилась так лихо трахаться после ухода Олли.

— Но он видит, сколько у церкви появилось неприятностей с тех пор, как возник второй Ватикан, — идет в атаку Синди. — Священники...

— У церкви неприятности потому, что она монументально лжива и в ней правят допотопные шовинисты, которые *ничего* не знают.

— Извините, — говорит Пегги, — я слишком разболталась.

— Ну мы же в Америке, — говорит Гарри, приходя ей на помощь. — Будем считать, что никто в этом споре не победил. Сегодня я расстался со своим единственным в жизни другом — Чарли Ставросом.

Дженис говорит: «Ох, Гарри!» — но никто не поддерживает этой темы. Собственно, мужчины должны бы сказать, что всегда считали себя его друзьями.

Уэбб Мэркетт склоняет голову набок и, движением бровей указывая на Ронни и Олли, спрашивает:

— Кто-нибудь из вас видел в сегодняшней газете, где Никсон наконец купил себе дом? На Манхэттене, рядом с Дэвидом Рокфеллером. Я не большой поклонник этого ловкача Никсона, но должен сказать: когда его не пускали ни в один многоквартирный дом в большом городе, я счел это позором для нашей конституции.

— Точно он ниггер, — говорит Ронни.

— Ну а как бы *вам* понравилось, — не может не сказать свое слово Пегги, — если бы свора полицейских в штатском проверяла вашу сумку всякий раз, как вы выходите из лавки?..

Пегги сидит на громоздком современном кресле, обтянутом светлой материей, толстой, как фанера; другое такое кресло и длинный диван окружают своеобразный столик, именуемый парсонским, он состоит из квадратов светлого и темного дерева с завитками, из какого делают ручки клюшек для гольфа. Вся эта утопленная комната, которую Уэбб пристроил к дому, когда они с Синди приобрели его при застройке Бруэр-Хейтс, обставлена таким образом, чтобы все вещи гармонировали друг с другом. На рыжих обоях проложены вертикальные нити, соответствующие вертикальным сборкам на слегка более темных занавесках, репродукции акварелей Вайэта, освещенные сверху, перекликаются с оттенками того же цвета на шершавой обивке мебели, и это же освещение заставляет поблескивать, совсем как кусочки слюды на пляже, находящие друг на друга изгибы грубо оштукатуренного потолка. Стоит передвинуть голову, и блестки на потолке тоже меняют положение и переливаются волнами скрытого серебра.

— Я тут на днях, — объявляет Гарри, — слышал в «Ротари» презабавную историю с Киссинджером. По-моему, Уэбб, тебя там не было. В самолете, терпящем аварию, летят пятеро: священник, хиппи, полицейский, еще какой-то тип и Генри Киссинджер. А парашютов всего четыре.

Ронни говорит:

— И в конце хиппи поворачивается к священнику и говорит: «Не волнуйтесь, святой отец. Самый ловкий человек в мире только что прыгнул с моим рюкзаком». Все знают этот анекдот. Кстати, мы с Тельмой гадали: ты вот это видел? — И он протянул Гарри вырезку из газеты — колонку Энн Лендерс, опубликованную в бруэрском «Стэндарде», весьма уважаемой газете, не чета «Вэт». Второй абзац отчеркнут тонкой шариковой ручкой. — Прочти вслух, — требует Ронни.

Гарри не нравится, когда всякие потные плешаки вроде Гаррисона командуют им, он же приехал приятно провести время с Мэркеттами, но все взгляды устремлены на него, а кроме того, это хоть отвлечет их от разговора о Папе. Он объясняет — прежде всего Фоснахтам, поскольку Мэркетты, видно, уже в курсе дела:

— Это письмо, которое кто-то прислал Энн Лендерс. В первом абзаце говорится об одном малом, которому впился в живот его любимец питон, да так, что не оторвешь, а когда явились медики из парашютно-десантных войск, этот малый заорал на них и сказал, чтобы они убирались из его квартиры — он-де не позволит трогать его змею. — Раздается легкий смех, к которому присоединяются и несколько озадаченные Фоснахты. — Следующий абзац гласит:

Вторая новость: один вашингтонский врач в загородном клубе на 16-й лунке гольф-поля нанес клюшкой смертельный удар канадскому гусю. (Гусь крикнул как раз когда врач занес клюшку для удара.) Мы напечатали эти два письма, чтобы показать, что правда бывает удивительнее вымысла.

Прочитав заметку вслух, Гарри поясняет Фоснахтам:

— Они суют мне в нос эту историю, потому что летом я слышал об аналогичном случае по радио, и когда принялся рассказывать им в клубе, они не стали даже слушать: никто мне не поверил. Так вот доказательство, что я ничего не сочинил.

— Да не в этом дело, чемпион, — говорит Ронни Гаррисон.

— Дело, Гарри, в том, — говорит Тельма, — что все было *иначе*. Ты говорил, что врач был из Балтимора, а здесь сказано, что он из Вашингтона. Ты говорил, что мяч попал в гуся случайно и потом врач из милосердия прикончил его.

Уэбб говорит:

— Помнишь: «Прикончил из милосердия или совершил гнуснейшее убийство?» Это меня тогда страшно расстроило.

— Что-то незаметно было, — говорит Гарри, довольный, однако, тем, что история подтвердилась.

— Значит, по мнению Энн Лендерс, это все-таки было гнуснейшее убийство, — говорит Тельма.

— А не все ли равно? — из зловредности говорит Ронни. Значит, идея вырезать статью принадлежала Тельме. Она же и отчеркнула ее шариковой ручкой.

Дженис слушала все это мрачная, с остекленевшими глазами, какие бывают у нее, когда она основательно напьется. Они с Уэббом пробовали ирландский ликер под названием «Гринсливз», который только недавно стали импортировать.

— Нет, не все равно, если гусь крикнул, — говорит она.

Олли Фоснахт говорит:

— Я не могу поверить, чтобы крик гуся мог повлиять на удар.

Все игроки в гольф заверяют его, что мог.

— Черт побери, — говорит он, — в музыке добиваешься наилучших результатов в два часа ночи, когда ты наполовину одурел от курева и тебе подпевает хор пьянчуг.

Упоминание о музыке заставляет их всех осознать, что из спрятанных колонок Уэбба непрерывно звучит музыка — сейчас это гавайская мелодия.

— Может, это был вовсе и не гусь, — говорит Гарри. — Может, это был совсем маленький кадди с перышками.

— Вот так получается музыка, — ехидно произносит Ронни в ответ на высказывание Олли. — Эй, Уэбб, — говорит Ронни, — как это у тебя тут нет пива?

— Есть, есть пиво — «Миллер лайт» и «Хайнекен». Кому чего принести?

Уэбб что-то нервничает, и Кролик опасается, что вечеринке может прийти конец. Ему не хватает — вот бы никогда не подумал — Бадди Инглфингера, и он представляет себе, что сказал бы Бадди, будь он здесь.

— Кстати, о мертвых гусях, — говорит Гарри, — я на днях вычитал в газете умозаключение какого-то антрополога или кого-то в этом роде, что к двухтысячному году одна четверть всех животных, существующих на земле, вымрет.

— Ох, не надо, — громко вырывается у Пегги Фоснахт, и ее так передергивает, что даже жир трясется на толстых руках. На ней платье с не по сезону короткими рукавами. — Только не говорите о двухтысячном годе — при одной мысли об этом у меня мурашки.

Никто не спрашивает почему.

Наконец Кролик произносит:

— Почему? Ты же будешь еще жива.

— Нет, не буду, — отрезает она, явно намереваясь даже по этому поводу затеять спор.

Красные пятна все еще покрывают горло и грудь разгоряченной спором Синди; маленький золотой крестик блестит в прорези расстегнутого на две пуговки или незавязанного арабского одеяния, ее запястья выглядят по-детски хрупкими в широких рукавах, голые ноги в сандалиях из тонких золотых ремешков виднеются из-под расшитого подола. Воспользовавшись тем, что Уэбб принимает заказы на напитки, а Дженис, пошатываясь, отправляется в ванную, Гарри подходит к молодой хозяйке и садится рядом с ней на стул.

— А знаешь, — говорит он, — по-моему, Папа большой молодец. Умеет пользоваться телевидением.

Синди говорит, резко мотнув головой, точно ее кто-то ужалил:

— Мне тоже не нравится многое из того, что он говорит, но он вынужден где-то установить границу. Это его обязанность.

— Боится он, — высказывает предположение Кролик. — Как и все вокруг.

Она смотрит на него — в разрезе ее глаз, как сказала Мим, есть что-то китайское, а припухлости под нижними веками создают впечатление, будто ее избили или у нее сенная лихорадка: она подмигивает, даже когда говорит вполне серьезно; здесь, посреди комнаты, вдали от света, зрачки ее кажутся огромными.

— Ох, я не могу так думать о нем, хотя, возможно, ты и прав. Слишком много во мне еще от приходской школы. — Коричневый ободок вокруг ее зрачков словно из шоколада: ни искорки, ни огня. — Уэбб так бережно ко мне относится: он на меня не нажимает. После того, как родилась Бетси и мы решили, что отец — он, Уэбб, я не могла заставить себя пользоваться диафрагмой: мне это казалось преступным, а он не хотел, чтобы я сидела на таблетках: он ведь столько об этом читал, поэтому он предложил что-то сделать с собой, ну вы знаете, как мужчин заставляют делать такое в Индии, как же это называется — вазэктомия. Ну и чтобы не заставлять его это делать, а ведь Бог знает, как это могло сказаться на его психике, я взяла и пошла к доктору, чтобы мне вставили диафрагму, я до сих пор не знаю, правильно ли я ее вставляю, но мне жалко бедного Уэбба. Ты же знаешь, у него пятеро детей от двух других жен, и они обе вечно тянут из него деньги. Ни та, ни другая не вышли замуж, хотя живут не одни; вот это я бы назвала аморальным — так пить кровь из него.

Такого Гарри не ожидал. Он пытается ответить ей тоже признанием.

— В прошлом году Дженис перевязала себе трубы, и должен сказать, как это здорово, когда не надо волноваться, — трахайся когда захочешь, днем или ночью, и никаких кремов, никакой гадости. Но она все равно вдруг начинает плакать — безо всякой причины. Плачет, потому что стала стерильной.

— Ну конечно, Гарри. Я бы тоже плакала. — Губы у Синди длинные, накрашенные и мудро сомкнутые, в конце каждой фразы она опускает уголки, чего он раньше никогда не замечал.

— Но ты же совсем ребенок, — говорит он ей.

Синди спокойно искоса смотрит на него и весьма категорично произносит:

— Уже нет, Гарри. В апреле мне будет тридцать.

Двадцать девять... значит, ей было двадцать два, когда она стала спать с Уэббом — вот хитрый старый козел; Гарри представляет себе ее тело под свободной шершавой хламидой, смуглое, с шелковистыми скатами и валиками жирка, с потаенными закоулками, которые так приятно гладить — телу ведь надо дышать в эту тропическую жару; под стать ее одеянию и золотые ремешки на ногах, и браслеты на запястьях, еще тонких и округлых, как у ребенка, без вен. Он поднимается долить себе коньяку, но, пошатнувшись, задевает коленом громоздкое квадратное кресло Пегги Фоснахт. Ее уже там нет — накинув на плечи старомодное уныло-зеленое суконное пальто, Пегги стоит наверху приступки, ведущей из гостиной. И смотрит на них сверху вниз, словно ее вознесли над ними и сейчас умчат прочь.

А Олли продолжает сидеть за столиком с кафельной крышкой в ожидании пива, которое обещал принести Уэбб, не обращая внимания на то, что жена уходит. Ронни Гаррисон совсем пьяный — губы мокрые, длинная прядь волос, которую он обычно зачесывает на лысину, висит запятой, — спрашивает Олли:

— Как идет торговля музыкой? Я слышал, увлечение гитарой сошло на нет вместе с революционным духом.

— Теперь перешли на флейты — чудеса, да и только. Не одни девушки, но и парни, которые играют в джазе. Особенно много негритосов. Один зашел тут ко мне — хотел купить флейту из платины ко дню рождения дочки, ей исполняется восемнадцать лет, говорит, читал, что у какого-то француза была такая. Я сказал: «Милый, вы сумасшедший. Я даже представить себе не могу, сколько такая флейта может стоить». А он сказал: «Да плевал я, милый», — и вытащил пачку денег, наверно, в дюйм толщиной, и все сотенные. Во всяком случае, сверху были сотенные.

Прощупывать дальше настроение Синди сейчас, пожалуй, не стоит; Гарри тяжело опускается на диван и присоединяется к мужской беседе.

— Вроде этих клюшек для гольфа с золотыми головками, которые были в моде несколько лет назад. Вот уж они-то, пари держу, выросли в цене.

На него, как и на Пегги, никто не обращает внимания. Гаррисон отстает. Ох уж эти страховые агенты — придвинет голову к твоему уху и ну долбить, пока ты либо не накричишь на него, либо не скажешь: конечно, застрахуйте меня еще на пятьдесят тысяч.

Гаррисон говорит Олли:

— А как насчет электроинструментов? Этот парень, что выступает по телевизору, он играет даже на электроскрипке. Должно быть, такая немало стоит.

— Целое состояние, — говорит Олли, с благодарностью глядя на Уэбба, который ставит перед ним на светлый квадратик столика стакан с пивом «Хайнекен». — Одни динамики стоят тысячи, — говорит он, радуясь возможности поговорить, радуясь возможности оперировать большими цифрами. Бедный простофиля, ведь всем известно, что он главным образом торгует пластинками, от которых балдеют тринадцатилетние подростки. Как это Нельсон говорил? Не музыка, а сопли-вопли. Нельсон в свое время серьезно занимался гитарой — у него была та, которую он вынес из пожара, потом другая, отделанная перламутром, которую они ему подарили, но после того, как он окончил школу и получил водительские права, гитары из его комнаты не слышно.

Ронни склоняет голову набок и делает заход с другой стороны:

— Вы знаете, я занимаюсь клиентами Скулкиллской страховой компании, и вот мой босс говорит тут мне на днях: «Рон, ты стоил нашей компании в прошлом году восемь тысяч семьсот». Это не жалованье, это добавки. Взносы на пенсию, страхование здоровья, долевое участие. А как у вас обстоит с этим делом? В наше время и в наш век, если хозяин не обеспечивает тебя страховкой и пенсией, ты в пиковом положении. Люди на это рассчитывают и без этого выкладываться не будут.

Олли говорит:

— Ну, я в известном смысле сам себе хозяин. Я и мои партнеры...

— А как насчет «Кеога»? Тебе надо непременно этим воспользоваться.

— Мы стараемся работать по-простому. Когда мы начинали...

— Ты шутишь, Олли. Ты же обираешь себя. «Шуйкилл мьючуал» предлагает дивные условия по плану «Кеога», и мы могли бы тебя подключить, собственно, мы советуем тебе подключиться на корпоративной основе, тогда ни одной монеты не уйдет из твоего личного кармана — все пойдет из кармана корпорации, к тому же это вычитается из налогообложения. Эти несчастные простофили, что выплачивают страховки без помощи со стороны компании, живут в доисторические времена. А пользоваться планом отнюдь не противозаконно, — как раз наоборот: мы действуем по законам, которые установило правительство. Оно *хочет*, чтобы люди преуспевали, чтобы все работало на увеличение национального продукта. Ты ведь знаешь, что такое «Кеог», верно? А то вид у тебя озадаченный.

— Это что-то вроде социального обеспечения.

— В тысячу раз лучше. Социальное обеспечение — это крохи, которые выдают нахлебникам, ты же никогда не увидишь ни пенни из того, что заплатил. А по плану «Кеога» каждый год из налога изымается до семи тысяч пятисот долларов — эти деньги просто откладываются с нашей помощью. Обычно мы предлагаем в зависимости от обстоятельств... сколько у тебя иждивенцев?

— Двое, если не считать жену. Мой сын Билли окончил колледж и сейчас изучает в Массачусетсе зубоврачебное дело.

Ронни присвистывает:

— Ух ты, ну и умен! Ограничил себя одним отпрыском. Я вот посадил себе на шею целых троих и только последние два-три года почувствовал, что твердо стою на земле. Старший мальчик, Алекс, занялся электроникой, а среднего, Джорджи, с самого начала пришлось поместить в специальную школу. Дислексия. Я никогда об этой болезни не слыхал, но теперь, прямо скажем, наслышан. Ни черта не может понять из написанного, а по разговору никогда этого не подумаешь. Так язык подвешен, что в один миг меня обставит, а вот понять ничего не может. Хочет быть художником, Бог ты мой! На этом же не заработаешь, Олли, ты это знаешь лучше меня. Даже когда у тебя один ребенок, все равно не хочется, чтобы он голодал, если с тобой или с твоей женушкой вдруг что случится. В наши дни и в наше время, если у человека жизнь не застрахована на сто — сто пятьдесят тысяч, он просто не реалист. Да одни приличные похороны стоят четыре-пять косых.

— М-да, ну...

— Давайте на минутку вернемся к «Кеогу». Мы обычно рекомендуем соотношение сорок на шестьдесят, сорок процентов от семи тысяч пятисот идут прямо на страховку, которая обычно составляет около ста тысяч — при условии, что ты пройдешь экзамен. Ты куришь?

— Случается.

— Хм. Что ж, дай-ка я вызову тебе доктора, который тебя хорошенько обследует.

Олли говорит:

— По-моему, жена собралась уходить.

— Не вкручивай мне, Фостер.

— Фоснахт.

— Не вкручивай. Сегодня же субботний вечер, милый. У тебя что, шило в заду, что ли?

— Да нет, просто моя жена... ей завтра утром надо идти на какое-то собрание против атомных испытаний в универсалистской церкви.

— Ничего удивительного в таком случае, что она так окрысилась на Папу. Я слышал, Ватикан и Три-Майл-Айленд — одна шайка-лейка, спросите нашего друга Гарри. Олли, вот моя карточка. Могу я получить вашу?

— М-м...

— О'кей. Я знаю, где вас найти. Рядом с порнокиношкой. Я зайду. Это не ерунда, вам действительно следует послушать, какие предоставляются возможности. Люди говорят, экономика сдохла, но она вовсе не сдохла — там, где я сижу, она процветает. И люди просят им помочь.

Гарри говорит:

— Прекрати, Рон. Олли хочет уйти.

— Ну, собственно, не я, а Пегги.

— Иди! Иди с миром, милый. — Ронни поднимается и пухлой рукой делает знак креста. — Бог да хранит Америку, — произносит он с сильным иностранным акцентом так громко, что Пегги, разговаривающая с Мэркеттами, чтобы немного загладить свою неловкость, оборачивается. Она тоже ходила в одну школу с Ронни и знает, какой он гнусный остолоп.

— Господи, Ронни, — говорит ему Кролик, после того как Фоснахты ушли. — Зачем надо было все это городить!

— А-а, — произносит Ронни. — Мне хотелось посмотреть, сколько дерьма он может съесть.

— Собственно, я и сам никогда его не жаловал, — признается Гарри. — Он так плохо обращается со старушкой Пегги.

Дженис, советовавшаяся с Тельмой Гаррисон по поводу чего-то, одному Богу известно чего — может быть, их паршивых детей, — услышав это, поворачивается и поясняет Ронни:

— Гарри спал с ней много лет назад, поэтому он не терпит Олли. — Ничто так не растравляет старые раны, как спиртное.

Ронни хохочет, чтобы привлечь всеобщее внимание, и хлопает Гарри по колену:

— Ты спал с этой толстой косоглазой хрюшкой?

Кролик мысленно видит тяжелое стеклянное яйцо с запечатанным в нем пузырьком воздуха, что лежит в гостиной мамаши Спрингер, ощущает его гладкую поверхность в своей руке и представляет себе, как он разворачивается, шмякает им по упрямой тупой башке Дженис и тем же ударом проламывает розовую башку Гаррисона.

— В то время это меня вполне устраивало, — признается он и вытягивает ноги поудобнее, готовясь просидеть так весь вечер.

После того как Фоснахты уехали, в комнате словно стало легче дышать. Синди, хихикая, говорит что-то Уэббу, прильнув к его толстому серому свитеру в своей свободной арабской хламиде, — ну прямо влюбленная пара, позирующая для рекламы отдыха за границей.

— А Дженис в ту пору сбежала к этому паршивому греку Чарли Ставросу, — объявляет Гарри всем, кто готов его слушать.

— О'кей, о'кей, — говорит Ронни, — можешь нам об этом не рассказывать. Мы все это слышали, это истории с бородой.

— А не с бородой, лысый ты хам, то, что я сегодня распрощался с Чарли: Дженис и ее матушка выставили его из «Спрингер-моторс».

— Гарри нравится так это изображать, — говорит Дженис, — но Чарли сам этого хотел.

Ронни не настолько одурел, чтобы не понять, что к чему. Он склоняет голову и смотрит на Дженис — Гарри видны его пушистые белесые ресницы.

— Ты уволила своего бывшего дружка? — спрашивает он ее.

— И все ради того, — развивает дальше мысль Гарри, — чтобы мой неприкаянный сынок, который не желает кончать колледж, хотя учиться ему осталось всего один год, мог занять это место, для которого у него не больше данных, чем, чем...

— Чем было у Гарри, — доканчивает за него Дженис (в былые дни она никогда не сумела бы быстро дать сдачи) и хихикает.

Гарри тоже смеется — еще прежде Ронни. До этого толстокожего не сразу все доходит.

— Вот это мне нравится, — хриплым голосом произносит Уэбб Мэркетт с высоты своего роста. — Старые друзья. — Они с Синди стоят рядом, словно сопредседатели их кружка, в то время как стрелки часов уже близятся к полуночи. — Что кому принести? Еще пива? А как насчет чего-нибудь покрепче? Виски шотландского. Ирландского? «Три семерки»?

Груди Синди приподнимают этот кафтан, или бурнус, или что там на ней надето, точно углы палатки. Молчание пустыни. Молодой месяц. Пора спать верблюдам.

— Так-ак, — произносит Уэбб с таким удовольствием, что ясно: сказывается действие «Гринсливза», — и что же мы думаем о Фоснахтах?

— Не проходят, — говорит Тельма.

Гарри даже вздрагивает, услышав звук ее голоса: так тихо она все время сидела. Если закрыть глаза и на время ослепнуть, у Тельмы приятнейший голос. Ему становится грустно и легко теперь, когда пришельцы из жалкого мира, что лежит за пределами «Летящего орла», выдворены.

— Олли от рождения тупица, — говорит он, — но она не была такой пустомелей. Верно, Дженис?

Дженис осторожничает, не желая нападать на старую приятельницу.

— У нее всегда была к этому склонность, — говорит она. — Пегги ведь никогда не считала себя привлекательной, в этом все и дело.

— А ты себя считала? — не без осуждения говорит Гарри.

Она смотрит, не вполне поняв его, лицо ее блестит, словно обрызганное из распылителя.

— Конечно, считала, — галантно вмешивается Уэбб. — Дженис действительно привлекательная женщина. — И, обойдя сзади ее кресло, кладет руки ей на плечи, под самую шею, так что она приподнимает плечи.

Синди говорит:

— Когда перед уходом она болтала со мной и с Уэббом, она показалась мне куда приятнее. Она сказала, что ее иногда просто заносит.

Ронни говорит:

— По-моему, Гарри и Дженис часто видятся с ними. Я бы выпил пива, раз уж ты на ногах, Уэбб.

— Ничего подобного. Просто Нельсон дружит с этим их противным сынком Билли, и потому они попали на свадьбу. Уэбб, ты не мог бы принести два пива?

— А как Нельсон? — спрашивает у Гарри Тельма, понизив голос, чтобы слышал ее только он. — Он давал о себе знать с тех пор, как женился?

— Пришла открытка. Дженис раза два говорила с ними по телефону. По ее мнению, они там скучают.

— Не по моему мнению, — прерывает его Дженис. — Он мне сам сказал, что они скучают.

— Если ты спал с женщиной до свадьбы, — высказывает свое мнение Ронни, — медовый месяц, наверно, сплошная нудота. Спасибо, Уэбб.

Дженис говорит:

— Он сказал, что в домике холодно.

— Видно, поленились принести дров со двора, — говорит Гарри. — Угу, спасибо.

Банка делает «пфтт», и этот звук так приятен, поскольку знаешь, что язычок на ней сделан для того, чтобы идиоты не захлебнулись.

— Гарри, я же сказала, что они целый день топят печку.

— И сожгут все запасы дров — пусть другие снова колют. Весь в мамочку пошел.

Тельма, очевидно устав от препирательств Энгстромов, произносит громко, запрокинув назад голову и выставив на всеобщее обозрение поразительно длинную желтую шею:

— Кстати, о холоде, Уэбб. Вы с Синди куда-нибудь собираетесь этой зимой?

Они обычно ездят на какой-то остров в Карибском море. Гаррисоны много лет назад ездили с ними. А Гарри и Дженис — никогда.

Уэбб как раз обходит сзади кресло Тельмы, неся кому-то стакан.

— Мы обсуждали это, — говорит он Тельме.

От пива, выпитого после коньяка, все словно в дымке, и кажется, что между Тельмой, которая сидит запрокинув голову, и склонившимся к ней, тихо что-то говорящим Уэббом происходит какой-то сговор. Давние друзья, думает Гарри. Все складывается воедино, как кусочки головоломки. Уэбб нагибается ниже и через плечо Тельмы ставит перед ней на темный квадрат столика высокий стакан с виски, сильно разбавленным содовой.

— Мне б хотелось поехать, — продолжает он, — куда-нибудь, где есть поле для гольфа. Можно по вполне приличной цене купить путевку.

— Поехали все вместе! — предлагает Гарри. — Мой парень в понедельник принимает магазин, давайте уедем к черту отсюда.

— Гарри, — говорит Дженис, — зачем ты так: никакой магазин он не принимает. Уэбб и Ронни потрясены — как ты можешь так говорить о своем сыне?

— Нисколько они не потрясены. Их детки тоже живьем их сжирают. Я хочу этой зимой поехать на Карибское море и поиграть в гольф. Давайте дернем. Предложим Бадди Инглфингеру быть четвертым. Я ненавижу здешнюю зиму — ни снега, ни на коньках покататься, просто месяц за месяцем скука и холод. Когда я был мальчишкой, снег лежал всю зиму — куда он весь девался?

— В семьдесят восьмом снегу у нас было хоть отбавляй, — замечает Уэбб.

— Гарри, нам, пожалуй, пора домой, — говорит Дженис. Рот ее превратился в щель, лоб под челкой блестит.

— Я не хочу домой. Хочу на Карибские острова. Но сначала я хочу в ванную. В ванную, домой и на Карибские острова — в таком порядке. — Интересно, мелькает у него мысль, такие жены, как у него, когда-нибудь умирают своей смертью? Такие вот смуглые жилистые бабы — да никогда: достаточно посмотреть на ее матушку, которая все еще командует. Похоронила бедного старика Фреда, и хоть бы хны.

Синди говорит:

— Гарри, уборная на нижнем этаже засорилась. Уэбб только что заметил. Кто-то, видно, спустил слишком много туалетной бумаги.

— Пегги, кто же еще? — говорит Гарри, встает и никак не может понять, почему ковер, лежащий на полу от стены до стены, вздыбился посредине, точно палуба корабля. — Сначала нападает на Папу, а потом забивает канализацию.

— Пойди в ванную, что возле нашей спальни, — говорит ему Уэбб. — Поднимись по лестнице, поверни налево и пройди мимо двух стеклянных шкафов.

«...Вытирая слезы...» — выходя из комнаты, слышит Кролик сухой деловитый голос Тельмы Гаррисон.

Вверх по двум застланным бобриком ступенькам — голова его плывет где-то высоко над ногами. Потом через холл и вверх по лестнице, застланной бобриком уже другого цвета, грязновато-зеленоватого, более изношенного, — здесь явно более старая часть дома... Голоса внизу затихают. Уэбб сказал: повернуть налево. Дверцы шкафов. Гарри останавливается и заглядывает внутрь. Женская одежда, разноцветная, пахнущая Синди. Взять ее тут прямо на песке — недаром ведь она говорила с ним про диафрагму. Он находит ванную. Все лампочки в ней горят. Какая растрата энергии! Большой корабль, именуемый Америкой, идет ко дну, пылая всеми огнями. Эта ванная меньше той, что внизу, и темнее по тонам: кафель на стенах, и обои, и коврики, и полотенца, и цветные фаянсовые приспособления — все коричневое с примесью оранжевого. Он расстегивает брюки и наполняет одно из ярких вместилищ золотистой жидкостью. Точно дождь золотых монет. Они с Дженис вынули свои ранды из ящика тумбочки у кровати, отправились вместе в центр города, в Кредитный банк Бруэра, и поставили маленькие цилиндрики с голубыми, напоминающими туалетные сиденья, крышечками в крепкий длинный ящик — сейф, а потом в ознаменование этого события выпили за обедом в «Блинном доме», и он поехал к себе в магазин. Поскольку он не был обрезан, у него всегда застревает капля-другая, и он промокает кончик члена кусочком лимонно-желтой туалетной бумаги, гладкой, без комиксов, которые на ней бывают напечатаны для развлечения гостей. Кто, сказала Тельма, будет вытирать ей слезы? Длинное белое горло, мускулистое, глотательные мускулы развиты — должно быть, в ней есть что-то, чем она удерживает Гаррисона. Возможно, она хотела сказать, что Пегги вытирала ей слезы туалетной бумагой и засорила туалет. А у Синди глаза сверкнули, но она слишком застенчива, чтобы спорить с бедняжкой Пегги, вместо этого она рассказала ему про диафрагму. Господи, она же предлагала ему подумать об этом, о ее сладкой темно-красной глубине, — неужели она в самом деле имела это в виду? «Войди же туда, Гарри», и голос ее при этом звучал так серьезно и хрипло, как никогда раньше, а глаза опухли — это так сексуально, когда у женщины мешки под глазами, точно рюмочки для яиц, он заметил в тот день, что у его дочери как раз такие веки. Его окружают вещи, которые видели Синди без ничего. Гарри смотрит на свое отражение в этом менее ярком зеркале, по обе стороны которого установлены флуоресцентные трубки, и видит, что губы у него менее синие, — значит, он трезвеет и скоро можно будет ехать домой. А синева осталась в глазах, она окружает маленькую черную точечку, через которую мир входит в него, — синева с примесью белого и серого, унаследованная от холодных предков, этих могучих блондинов в остроконечных шлемах, которые молотили по волосатой мякоти мамонта своими дубинками, пока не превращали ее в пульпу, и узкоглазых финнов, живущих среди снегов, таких чистых и таких безбрежных, что от их белизны заболели бы менее светлые глаза. Глаза, волосы и кожа — мертвецы живут в нас, хотя их мозг уже почернел, а глазницы пусты. Он пригибается ближе к зеркалу — так, что лицо оказывается в тени, а зрачки расширяются, — и вглядывается, пытаясь понять, есть ли у него душа. Он всегда считал, что именно это стремятся выяснить глазные врачи, когда направляют тебе в глаз маленький горячий лучик света. Что они там видели, они ни разу ему не сказали. А он не видит ничего, кроме черноты, слегка расплывающейся, потому что глаза у него уже не молодые. Кран из тех смесителей фирмы «Лейвомастер», у которых на конце ручки шишечка, похожая на нос клоуна или большой прыщ, — он никогда не помнит, в какую сторону надо поворачивать ручку, чтобы шла горячая вода, а в какую — чтобы шла холодная; зачем надо было выдумывать такой смеситель, что было плохого в двух кранах, где на одном стояло X, а на другом Г? Однако сам умывальник хороший, с широкой закраиной, на которую можно ставить мыло так, что оно не соскользнет, на большинстве умывальников закраины узенькие, из дешевого лжемрамора, и на них ничего нельзя поставить, но если ты связан с кровельщиками, то, как он полагает, наверняка знаешь поставщиков, которые все еще могут поставлять добротные вещи, хотя на них и не такой уж большой спрос. Изогнутое мыло цвета лаванды в его руках, должно быть, утратило выдавленные на нем буквы, намыливая загорелую кожу Синди, образуя пену в ее промежности — волосы у нее там, наверно, иссиня-черные, такие же, как брови: чтобы узнать цвет волосни, надо смотреть на брови женщины, а не на волосы на ее голове. Эта ванная не была прибрана для гостей, как та, что внизу: на соломенном коврике рядом с туалетом валяется «Попьюлар мекэникс», полотенца на пластмассовых сушилках висят смятые, и видно, что они еще влажные, — должно быть, Мэркетты принимали душ за несколько часов до прихода гостей. Гарри подумал было открыть шкафчик, как он это сделал с другим, но вовремя вспомнил, что оставит отпечатки пальцев на хромированных закраинах, и отказался от этой мысли. И он не вытирает руки, не желая дотрагиваться до полотенца, которым пользовался Уэбб. Он ведь видел это длинное желтое тело в гардеробной «Летящего орла». У малого вся спина и плечи в родинках — скорее всего они не заразные, но все же.

Идти вниз с мокрыми руками нельзя. Это дерьмо Гаррисон непременно отпустит какую-нибудь остроту. «Смотри, как мастурбировал, — на пальцах до сих пор сперма». Кролик топчется в коридоре, прислушиваясь к доносящемуся снизу шуму, бессловесному гулу голосов — им весело и без него; голоса женщин звучат четче, у них свой ритм, точно вхолостую работает изношенный мотор, — песня эта звучит так отчетливо, что кажется, сейчас услышишь слова. Холл здесь затянут не зеленоватым, а тускло-сливовым бобриком, и, шагая по нему, Гарри подходит к порогу спальни Мэркеттов. Вот здесь оно и происходит. У Гарри образуется пустота в желудке, его начинает подташнивать при одной мысли о том, какой счастливчик этот Уэбб. Кровать низкая, в современном стиле, похожая на поднос с закраинами из красноватого дерева, и накрыта наспех — просто взяли и натянули одеяло. Здесь только что занимались любовью? Перед тем как принять душ до прихода гостей, потому и полотенца в ванной сырые? В воздухе над низкой кроватью Гарри мысленно видит ее влажные идеальные пальчики, эти вкусные маленькие пальчики, чьи отпечатки он часто замечал на плитах в «Летящем орле», а здесь ноги высоко подняты, позволяя раскрыться ее промежности, их маленькие пальчики ложатся на родинки на спине Уэбба. Прямо-таки обидно, где же справедливость, почему Уэббу так повезло — не только в том, что у него молодая жена, но и в том, что за стеной у него нет старухи Спрингер. А где же у Мэркеттов дети? Гарри поворачивает голову и видит в дальнем конце сливового бобрика закрытую белую дверь. Там. Спят. Он в безопасности. Бобрик заглушает его шаги, и он тихо, как привидение, вступает по нему в спальню. Пещера — вход запрещен. При виде чьей-то туманной фигуры у него скачет сердце: мужчина в синих брюках и мятой белой рубашке с засученными рукавами и распущенным галстуком, излишне дородный и грозный, наблюдает за ним. Господи! Это же он сам, это свое отражение во весь рост он видит в большом зеркале между двумя одинаковыми комодами из некрашеного дерева — в нем словно сквозь слой пудры проступает зернистый рисунок. Зеркало смотрит на кровать со стороны изножья. Ого! Эти двое! Значит, он ничего не выдумал. Они действительно совокуплялись перед зеркалом. Гарри редко видит себя вот так, с головы до ног, разве что когда покупает костюм у Кролла или у этого портного на Сосновой улице. Но там ты стоишь среди трех зеркал и нет этого страшноватого пространства вокруг, когда между тобой и зеркалом почти половина комнаты. Вид у него как у неопрятного уголовника — ни дать ни взять вор, слишком разжиревший для такой работы.

Удвоенная зеркалом тихая комната хранит очень мало следов живого присутствия Мэркеттов. Никаких маленьких кружевных вещиц, валяющихся повсюду и пахнущих Синди. На окнах — занавеси из толстой, в красную полосу материи, точно пышные штаны гигантского клоуна, а кроме того, жалюзи, не пропускающие свет, — он все время просит Дженис приобрести такие: теперь, когда листья облетают, свет бьет сквозь ветви бука прямо ему в лицо в семь утра; он же зарабатывает почти пятьдесят тысяч в год, а вот как вынужден жить, никогда они с Дженис толком не устроятся. Дальнее окно спальни со спущенными для сна жалюзи, должно быть, выходит на бассейн и на вытянувшиеся в ряд деревья, которые тут отделяют друг от друга дома, но Гарри не хочет далеко проникать в комнату: он и так уже злоупотребил гостеприимством. Руки у него высохли, пора спускаться вниз. Он стоит у края кровати — ее безликая поверхность начинается где-то ниже его коленей; атласное, персикового цвета покрывало наспех подоткнуто, и Гарри вдруг делает шаг к закругленной тумбочке кленового дерева и тихонько вытягивает ящик. Собственно, он был уже приоткрыт. Никаких диафрагм — такие штуки наверняка в ванной. Шариковая ручка, коробочка с пилюлями без названия, несколько коробков со спичками, две-три смятые квитанции, маленький желтый блокнотик с маркой компании кровельщиков и записанный в нем по диагонали номер телефона, маникюрные ножницы, несколько скрепок и... сердце у него так застучало, что даже заглушило шум, поднимаемый гостями внизу. В глубине Гарри обнаруживает несколько моментальных снимков, сделанных «Полароидом». Снимки, которыми хвастался Уэбб. Он берет пачечку, переворачивает и изучает снимки один за другим. Черт! Ему следовало взять очки, они остались внизу в кармане пиджака, надо перестать делать вид, будто они ему не нужны.

На верхнем снимке в этой самой комнате на этом атласном одеяле лежит голая Синди, разбросав ноги. Ее волосня даже чернее, чем он предполагал, она выглядит, если смотреть под таким углом, как буква «Т» — крышка буквы приходится на красноту, похожую на потертость, а нога буквы уходит в незагорелый зад, образующий бледное полукружие с каждой стороны. Гарри вытягивает руку с фотографией и подносит ее ближе к ночнику; глаза у него начинают слезиться от усилия все рассмотреть — каждую складочку, каждый волосок. Лицо Синди вне фокуса, его перекрывают груди, которые растеклись в обе стороны больше, чем предполагал Гарри, — она нервно улыбается фотографу. Снятый снизу подбородок кажется двойным. Ноги выглядят огромными. На другой фотографии Синди перевернулась и показывает зрителю пару ягодиц — рыбья белизна растекается в обе стороны от похожего на глаз проема. Для следующих двух фотографий камера сменила руки, — на них запечатлен стесняющийся тощий старина Уэбб: Гарри часто видел его таким после душа, вот только сейчас член у него стоит, и он поддерживает его рукой. Не так уж и стоит, а как стрелка на десяти часах, даже не на десяти, а скорее на девяти с чем-то, ну в общем-то нельзя и ожидать, чтобы у мужчины за пятьдесят член стоял на двенадцати, — предоставим это прыщавым юнцам; когда Кролику было четырнадцать, достаточно было солнечного луча, темноты под мышкой Лотти Бингамен, когда она поднимала руку с карандашиком, и материя вместе с «молнией» натягивались у него от прилива крови. У Уэбба член длинный, но не слишком толстый в основании, тем не менее Уэбб стоит с задорным видом и, несмотря на животик, тощие узловатые ноги и кислое выражение лица, явно доволен собой, — ни один волосок его волнистых волос не сместился. Следующие фотографии сделаны в порядке эксперимента при естественном свете — должно быть, все ставни были подняты и день впущен в комнату: какие-то глыбы и уступы плоти, сцепленные вместе и окрашенные фиолетовым цветом от недостаточной выдержки. Гарри узнает в одной из округлостей щеку Синди, и тут разгадка наступает: она работает ртом и эта фиолетовая палка — его член в ее растянутых губах, загогулины на переднем плане — волосы на груди Уэбба, который снимает. На следующей фотографии он подправил угол съемки и свет, и теперь в фокусе — черные ресницы одного глаза. За блестящим загорелым кончиком носа Синди ее пальцы, бескостные, с голубоватыми суставами и обгрызанными ногтями, держат испещренный венами орган, маленький палец приподнят, точно она играет на флейте. Что это Олли говорил про флейту? Для следующей фотографии Уэббу приходит в голову использовать зеркало: он становится сбоку с камерой, закрывающей его лицо, а милое личико Синди перерезано — она стоит голая на коленях, зажав в губах этот его крюк, который показывает на десять часов. В профиль у нее курносый нос и соски торчат. Эти трюки старого мерзавца завели-таки маленькую сучку. А головка ее, такая маленькая и кругленькая, торчит над его членом, точно сладкое яблочко. Гарри ожидает увидеть на следующем снимке ее лицо, покрытое будто слоем зубной пасты, как в порнофильмах, но Уэбб повернул ее и взял сзади, его член исчез в белорыбьем изгибе ее ягодиц, а рукой он удерживает ее с помощью большого пальца, погруженного во влагалище; груди ее свисают, точно тяжелые груши, а ноги рядом с ногами Уэбба кажутся толстыми. Она набирает вес. И станет еще толще. И превратится в уродину. А сейчас она смотрит в зеркало и смеется. Возможно, с трудом удерживая равновесие, так как Уэбб одной рукой снимает. Синди хохочет, расплылась в широкой, как на плакате, улыбке, удерживая в своем заду этот его желтый член. День, видимо, догорал, так как кожа у обоих Мэркеттов выглядит золотой, а мебель, отраженная в зеркале, кажется голубоватой, точно все происходит под водой. Это последняя фотография. Снимков восемь, а такая камера снимает десять. В «К сведению потребителей» некоторое время тому назад было немало написано о «Лэнд-камере СХ-7», но так и не было объяснено, что означает СХ. А теперь Гарри знает. У него болят глаза.

Шум внизу затихает — возможно, они прислушиваются к тому, что происходит наверху, не понимая, что могло с ним случиться. Гарри кладет снимки назад в ящик изображением вниз, черной оборотной стороной кверху и старательно задвигает ящик так, чтоб он был слегка приоткрыт. В комнате ничего больше не тронуто — его изображение в зеркале тут же сотрется. Останется лишь возбуждение, вызванное фотографиями. Не может он в таком виде идти вниз, и он пытается выбросить из головы это видение — ее смех при виде того, как ее трахают, — ну кто бы мог подумать, что крошка Синди может быть такой распутной? Не сразу понимаешь, что другие мужчины такие же распутники, как и ты, а потому нужно жизнь прожить, чтобы понять, что и девушки могут быть такими же. Кролик старается выбросить из головы этот смех, но он столь же воздушен, как носовой платок. Он старается переключиться мыслью на другие тайны, чтобы забыть об увиденном. Думать о своей дочери. О своем золоте. О сыне, возвращающемся завтра из Покон, чтобы потребовать себе место в магазине. Вот это помогло: образ Синди тускнеет. Раздумывая о мрачном Нельсоне, Гарри идет в ванную и открывает кран, точно собирается мыть руки, — на всякий случай, если кто-то внизу прислушивается, — а сам расстегивает пояс и приводит себя в порядок. Убивает то, что она вот так же хохотала у бассейна над чем-то, что сказал кто-то — то ли он, то ли Бадди Инглфингер, то ли какой-то шутник не из их компании. Значит, она под кого угодно ляжет.

Когда он сходит по лестнице, к нему возвращается это ощущение, будто голова его болтается на шестифутовой веревке, привязанной к его большим туфлям. Компания в длинной гостиной сидит теперь тесным кружком вокруг столика с кафельной крышкой. Ему вроде бы и сесть негде. Ронни Гаррисон поднимает на него взгляд:

— Ну и ну, чем же это ты там занимался?

— Я что-то не очень хорошо себя чувствую, — с достоинством отвечает Кролик.

— У тебя глаза красные, — говорит Дженис. — Ты что, снова плакал?

Но они слишком чем-то увлечены, чтобы долго его поддразнивать. А Синди — та даже не обернулась. Шея у нее сзади толстая и загорелая, гладкая и бесчувственная. Шагая к ним по пружинящему бесконечному светлому ковру, Гарри на секунду приостанавливается перед камином, заметив то, чего не замечал раньше, — два снимка, сделанные «Полароидом», выставленные на каминной доске, на обоих детишки Мэркеттов: пятилетний мальчик в чрезмерно для него большой бейсбольной рукавице стоит с грустным видом на их выложенном кирпичом дворике, и трехлетняя девочка, снятая ярким, подернутым легкой дымкой летним днем, перед тем как ее родители отправились соснуть, с покорной и глупой полуулыбкой глядит, прищурясь, прямо на источник света. Это и есть те две фотографии, которых не хватает в пачке.

— Эй, Гарри, как насчет второй недели января? — кричит ему Ронни.

Значит, они обсуждали поездку на Карибские острова, и женщин эта перспектива соблазняет не меньше, чем мужчин.

Уже во втором часу ночи Гарри и Дженис едут домой. Бруэр-Хайтс, поселок, где каждый участок — величиной в два акра, расположен недалеко от шоссе, ведущего к Мэйден-Спрингс, минутах в двадцати от Маунт-Джаджа. Дорога плавными петлями спускается вниз — строители оставили здесь деревья, и когда шесть часов тому назад Гарри и Дженис ехали по этой дороге, каждый дом среди не тронутых бульдозерами лесов горел, напоминая витрины на фасаде длинного серого универсального магазина. Сейчас все дома, кроме дома Мэркеттов, стоят темные. Осенний ветер срывает с деревьев мертвые листья, и они, крутясь в свете фар, сыплются каскадом, точно их вытряхивают из больших корзин. Времена года настигают тебя. В небе появляются просветы, деревья поднимаются выше. Гарри ничего не приходит на ум — он молчит, сосредоточенно ведя машину по этим извилистым улочкам, именуемым аллеями и бульварами. Звезды, поблескивающие сквозь голые верхушки деревьев в Бруэр-Хайтс, меркнут перед яркими фонарями, заливающими светом шоссе на Мэйден-Спрингс. Дженис затягивается сигаретой — краешком глаза Гарри видит, как огонек разрастается и затухает. Она прочищает горло и говорит:

— Мне, наверное, следовало решительнее выступить в защиту Пегги — как-никак она старая приятельница. Но мне казалось, она говорила что-то совсем не к месту.

— Слишком сильно сказывается на ней борьба за эмансипацию женщин.

— Может быть, слишком сильно сказывается Олли. Я знаю, она не оставила мыслей о разводе.

— А ты не рада, что у нас все это позади?

Он говорит это из озорства, чтобы посмотреть, будет ли она отрицать, но она просто отвечает:

— Да.

Он молчит. Язык у него словно присох. Вот сейчас Уэбб раздевает Синди или она его. И опускается на колени. Язык у Гарри словно прилип к нёбу, как у тех детишек, которые каждую зиму непременно лижут зимние перила.

Дженис говорит ему:

— Твоя идея поехать всем вместе пустила корни.

— Будет здорово.

— Вам, мужчинам, да: вы играете в гольф. А мы что целый день будем делать?

— Лежать на солнце. Что-нибудь там же будет. Уж теннисные-то клубы там есть наверняка. — Эта поездка дорога ему, он говорит о ней осторожно.

Дженис снова затягивается сигаретой.

— Сейчас все твердят, что долгое лежание на солнце приводит к раку.

— Не больше, чем курение.

— Тельме вообще нельзя находиться на солнце — это может быть для нее смертельно, так она мне сказала. Удивляюсь, почему ей взбрело в голову ехать.

— Может быть, утром она и раздумает. Я вообще не представляю себе, откуда у Гаррисона на это средства — при том, что их парень в школе для дефективных детей.

— А у нас откуда? Мы себе можем это позволить? После того, как потратились на золото.

— Лапочка, конечно. Золото, поднявшись в цене, уже принесло нам больше, чем будет стоить поездка. Мы такие ленивые — нам уже много лет назад следовало начать путешествовать.

— Тебе же никогда никуда не хотелось ехать вдвоем со мной.

— Конечно, хотелось. Просто мы не решались. И потом, у нас ведь были Поконы, куда мы ездили.

— Я вот еще о чем думаю: это ведь, значит, придется оставить Нельсона и Пру в самое такое время.

— Забудь об этом. Она так держится за Нельсона, что продержится и с ребенком до конца января. До Валентинова дня.

— Как-то это подловато выглядит, — говорит Дженис. — И потом — оставить Нельсона в магазине одного, взвалив на него такую ответственность.

— Он же этого хотел, вот и получил. Ну что может случиться? Джейк и Руди будут под боком. Мэнни будет заниматься своим делом.

Огонек еще раз вспыхивает, затем Дженис — и это всегда так раздражает Гарри — неуклюже тычет в пепельницу сигаретой, в клочья раздирая ее. Гарри терпеть не может, когда пепельница в «короне» забита окурками: от нее потом, даже когда их выбросишь, долго пахнет. Дженис вздыхает:

— Почему-то мне хочется поехать с тобой вдвоем, если уж ехать.

— Мы же там ничего не знаем. А Уэбб знает. Он там уже бывал, по-моему, он стал ездить туда задолго до Синди, еще с другими женами.

— Я не против Уэбба, — признается она. — Он славный. Но, сказать по правде, я вполне обошлась бы без Гаррисонов.

— А мне казалось, ты неравнодушна к Ронни.

— Это ты к нему неравнодушен.

— Я его терпеть не могу, — говорит Кролик.

— Он тебе нравится этой своей вульгарностью. Он напоминает тебе те дни, когда ты играл в баскетбол. Да и дело не только в нем. Меня беспокоит Тельма.

— Почему? Она же мышка.

— По-моему, она очень неравнодушна к тебе.

— Вот уж никогда не замечал. С чего бы это? — Только не касайся Синди, иначе он выдаст себя. Он пытается снова увидеть эти фотографии, прокрутить их перед своим мысленным взором, но они уже выцветают. Увидеть то, какими золотыми выглядели их тела в конце, точно это были боги.

С неожиданной сухостью Дженис вдруг произносит:

— Не знаю, на что ты рассчитываешь, но слишком резвиться там мы не будем. Чересчур мы старые, Гарри.

Высоко посаженные яркие фары какого-то пикапа ослепляют его сзади, затем под аккомпанемент подтрунивающих мальчишеских голосов пикап с грохотом проносится мимо.

— Пьянчуги разгулялись, — говорит он, чтобы переменить тему.

— Кстати, что ты так долго делал там, в ванной? — спрашивает она.

— Ждал, пока кое-что произойдет, — поджав губы, отвечает он.

— О-о! Тебя вырвало?

— Мне казалось, что вот-вот. Все этот коньяк, потому я дальше и перешел на пиво.

Синди настолько прочно овладела его мыслями, что он просто понять не может, почему Дженис не упоминает о ней — наверное, нарочно. Вся эта работа губами. Бог ты мой. Это, конечно, предупреждает рождаемость. Вот она и качает белую жидкость, глотает ее сквозь эти маленькие зубки и здоровые, как у младенца, десны, которые она обнажает, когда смеется. Уэбб спереди или сзади, или наоборот — Гарри все равно. Снимает Ронни. Член его вновь проснулся — в его жизни еще раз наступил полдень, и рулевое колесо, когда они сворачивают на Центральную улицу, лаской проходит по вздутию под материей. Дженис должна это оценить... если он донесет все до постели.

Но мысли ее уже перешли на другое, и, когда они мчатся сквозь исчерченные ветвями конусы света по Уилбер-стрит, она громко произносит:

— Бедный Нельсон. Он выглядел до того юным, верно, когда шел рядом с невестой?

Этот городок они так хорошо знают — каждую обочину, каждую водоразборную колонку, где какой почтовый ящик висит. Он выступает перед ними, точно вдруг сдергивает вуаль, — дома стоят темные, фары Кролика светят низко.

— М-да, — соглашается он. — Иной раз удивляешься, — слышит он свои слова, — сколько ненужных сложностей ты для парня сам создал.

— Мы сделали что могли, — говорит Дженис снова решительно, совсем как ее мать, — мы же не боги.

— Никто не Бог, — говорит Кролик и сам пугается собственных слов.

4

Заложники взяты[[36]](#footnote-36). Нельсон работает в «Спрингер-моторс» уже пять недель. Тереза — на восьмом месяце и огромная, как дом, этакий дом в бабулином доме, где она бродит с унылым видом в специальных брюках для беременных и в старых папиных рубашках, которые он ей отдал. Когда она выходит из ванной в верхний коридор, то загораживает весь свет, а когда пытается помочь на кухне, разбивает блюдо. Их ведь теперь пятеро, так что приходится брать хороший фарфор, который бабуля держит в буфете, и блюдо, разбитое Пру, как раз из сервиза. Хотя бабуля почти ничего не говорит, шея у нее покрывается пятнами — сразу видно, как это для нее важно: такого рода вещи очень важны для старых людей — она ведь без конца говорит об этих блюдах, которые они с Фредом купили пятьдесят лет назад у Кролла, когда по Уайзер-стрит еще каждые семь минут пробегали трамваи и в Бруэре кипела жизнь.

Чего Нельсон не выносит, так это того, что Пру стала рыгать. А потом, она спит теперь на спине, потому что спать на животе не может, и оттого храпит. Храп у нее негромкий, но хриплый и прерывистый, и, когда Нельсон лежит без сна в этой комнате, выходящей окнами на фасад, где свет фонарей скрадывают жалюзи, а по улице мчатся свободные, как ветер, машины, это невольно действует ему на нервы. Нельсон скучает по своей тихой комнате в глубине дома. А может, думает он, у Пру что-то не в порядке с носовой перегородкой. До женитьбы он как-то не замечал, что ноздри у нее чуточку разные: одна больше похожа на слезу, чем другая, точно там, в Акроне, когда хрящи у нее были мягкие, кто-то сдвинул на сторону ее тонкий, остренький, усыпанный веснушками нос. Ну а к тому же ее теперь все время тянет лечь пораньше, сразу после ужина, когда на улице самое оживленное движение и Нельсона так и подмывает удрать из дому — съездить в «Берлогу» и пропустить стаканчик-другой пивка или хотя бы в супермаркет на шоссе 422 посмотреть на новые лица, а то ведь замучит клаустрофобия, если целый день торчать в магазине, стараясь объехать папашу, а потом возвращаешься домой и снова только и думаешь о том, как бы его объехать, а он расхаживает, чуть не упираясь своей большой башкой в потолок, и этим своим дурацким голосом знай читает по любому поводу наставления, унижает Нельсона, нервно так посматривает на него грустными глазами и с легким смешком спрашивает, если сказал что-то смешное: «Это я так сказал?»

Вся папашина беда в том, что он слишком давно живет в гареме — мама и бабуля ради него в лепешку расшибаются. С любым мужчиной, который появляется в доме, — кроме Чарли, умирающего прямо на глазах, да этих остолопов, с которыми папаша играет в гольф, — он ведет себя премерзко. Никто в мире, кроме него, Нельсона, кажется, не понимает, какой мерзкий тип Гарри К. Энгстром, и это Нельсону до того тяжело, что иной раз кричать хочется, если отец входит в комнату — большущий, уверенный в себе и ловкий, а ведь на самом-то деле он — убийца, уже двое покойников на его счету и на очереди — собственный сын, которого он охотно прикончил бы, если бы придумал, как это сделать и не попортить себе репутацию. А папаша нынче очень заботится о своей репутации, тогда как раньше ему было наплевать, и это как раз и восхищало в нем: ему было все равно, что думали о нем соседи, когда он, например, взял к себе Ушлого, у него была эта сумасшедшая, необъяснимая вера в себя, оставшаяся от тех дней, когда он играл в баскетбол и был всеобщим любимцем и мог при случае сказать: «А пошли вы!..» Эта искра погасла, и теперь рядом с Нельсоном большой мертвец. Он пытается объяснить это Пру, и она слушает, но не понимает.

В Кенте, тоненькая и стройная, она ходила быстро, гордо неся голову с поразительными, морковного цвета волосами, стянутыми в пучок или лежавшими у нее на спине точно отутюженные. Когда он, студент, отправлялся на свидание с ней в новую часть Рокуэлла часам к пяти, он чувствовал себя точно рыба, вынутая из воды, и одновременно словно бы вырастал в собственных глазах от сознания, что вот сейчас увезет эту работающую женщину, которая на год старше его, от ее машинок, и картотек, и холодного яркого света; административные помещения казались ему чем-то вроде небес, где вершатся настоящие дела, а под ними по лабиринтам аудиторий изо дня в день, точно червь, ползает он. Пру не принадлежала к числу показных всезнаек, она не сыпала именами модных мертвецов, а могла говорить лишь о событиях сегодняшнего дня: о фильмах и пластинках, да что показывают по телевизору, да о ежедневных скандалах на работе — кого довели до слез да к кому приставал один из деканов. Секретарша, работавшая с Пру, жила со своим начальником, хотя он не так уж ей и нравился, просто ей было наплевать и на свою жизнь, и на свое тело, и мысль, что так могло быть и с Пру, приятно щекотала самолюбие Нельсона, — в Пенсильвании люди чувствуют себя скованно, а здесь они немного расслабляются и плывут по течению. Приятно щекотало его самолюбие и то, как Пру небрежно и решительно — кому-де какое дело? — шагала рядом с ним, распространяя запах духов и еще чего-то теплого, под этими деревьями, которыми так гордятся в Кенте, — деревьями да еще гимнастическими залами в студенческом комплексе, а также тем, что в студенческом городке самая разветвленная в мире автобусная сеть; нагромождают все это дерьмо в надежде заставить людей забыть, как 4 мая 1970 года гвардейцы стреляли в студентов с горы Блэнкетт — единственное, чем может гордиться Кентский государственный университет. Правда, Нельсон считал, что всех этих подонков следовало перестрелять. Когда в 1977 году началась заваруха по поводу палаточного городка, Нельсон оставался в общежитии. Он тогда еще не был знаком с Пру. Она позже расскажет ему в одном из баров на Прибрежной улице жуткие истории из своего детства — о побоях и вспышках гнева и о непонятных долгих отсутствиях отца, а потом о похождениях сестер, которые, повзрослев, начали буквально разносить дом. Его рассказы бледнели по сравнению с этим. Благодаря Пру он стал считать, что ему повезло в жизни. Со многими студентками, включая Мелани, он чувствовал себя посмешищем, они всегда оставляли его далеко позади в игре, в которую ему вовсе не хотелось играть, а с этой секретаршей Пру Лубелл он посмешищем себя не чувствовал. Они одинаково смотрели на многое, на главное. Они знали, что в основе своей мир жесток, никакой отец не защитит тебя, ты один должен вести борьбу, чего не сознавали эти ребята, раскатывающие на лошадях, готовясь к спортивным состязаниям, или разыгрывающие из себя радикалов, или горланящие на собраниях, или ушедшие с головой в свои дела. И то, что Нельсон понимал, какая это ерунда, делало его в глазах Пру человеком серьезным. Сидя с ней за фанерным столиком в разделенном перегородками баре того типа, что посещают рабочие в северном Акроне, — они приезжали туда на машине Пру, у нее ведь была своя машина, разъеденный солью старенький «плимут» с оторванным передним крылом, которое хлопало, как флаг на ветру (и это ему в ней тоже нравилось — то, что она ездила на таком уродливом, старом драндулете и приобрела его на заработанные деньги), — Нельсон чувствовал, что выглядит в ее глазах совсем неплохо. Она понимала, что с точки зрения общественного положения он стоит на ступеньку выше ее. А с точки зрения внешней среды, местной географии она выше. У нее не только была машина, но и квартирка, маленькая, но своя, с плитой, на которой она готовила себе обеды, и с запасами спиртного — она ставила на проигрыватель пластинку и наливала ему. С самой первой их встречи, кроме тех случаев, когда он проводил время с Мелани и ее чокнутыми приятелями из Студенческой лиги за демократический Кент, Пру привозила его к себе домой в этот городок, именуемый Стоу, считая без всякого жеманства, что их обоих прежде всего интересует постель. Она кончала, быстрыми решительными движениями вгоняя его в себя и давая ему возможность тоже кончить. Он трахался и раньше с другими девчонками, но никогда не был уверен, кончали они или нет. А вот с Пру был уверен. Она всегда вскрикивала и даже подпрыгивала, точно рыба, выскакивающая на поверхность мрачного озера. А потом, разогревая ему какую-нибудь еду, расхаживала голышом, волосы ее свисали вдоль спины до шестого позвонка, — расхаживала голышом, несмотря на то что много окон выходило во двор, откуда ее могли видеть. Ну не все ли равно? Ей нравилось, когда на нее смотрят — и в дансингах, куда они иногда ходили по вечерам, и в уединении, — пусть он смотрит на нее под любым углом, своим крупным гладким телом она походила на куклу, у которой все на месте: руки, ноги и голова. Его неизменная благодарность — в то время как любой другой принял бы это как должное — прибавляла ему добродетелей в ее глазах, и она так к нему привязалась, что уже не могла расстаться с этой драгоценностью — никогда.

А теперь она сидит все дни напролет и смотрит с бабулей, а иногда и с мамой всякие слюнявые фильмы: «В поисках завтра» по каналу десять, потом «Дни нашей жизни» по каналу три, и снова канал десять — «Покуда вертится Земля», а потом канал шесть — «Жизнь всего одна», и снова канал десять —»Путеводный свет»; Нельсон знает всю их программу с той поры, когда его еще не подпускали к работе в магазине. Теперь Пру рыгает, потому что из-за ребенка у нее сместилось что-то внутри, и вечно все роняет, и говорит, что отец у Нельсона на редкость милый.

Нельсон рассказал ей про Бекки. Рассказал про Джилл. Пру в ответ на все это заметила лишь:

— Но это же было давно.

— Только не для меня. Для него — да. Он забыл, этакий дерьмак, по всему видно, что забыл. Забыл и как вел себя с нами. Что он творил с мамой — уму непостижимо, а ведь я, наверное, и половины не знаю. Он такой самодовольный, такой ублаготворенный — вот что меня бесит. Если бы мне удалось хоть один разок заставить его увидеть, какое он дерьмо, может, я б и успокоился.

— А что бы это дало, Нельсон? Я хочу сказать, твой отец не идеал, а кто идеал? Он хоть вечерами сидит дома — мой этого никогда не делал.

— Пороху не хватает, потому и сидит. Думаешь, ему не хотелось бы каждую ночь шляться по бабам? Достаточно вспомнить, как он смотрел на Мелани. Вовсе не великая любовь к маме удерживает его, уж ты мне поверь. Все дело в магазине. Хлыст-то теперь у мамы в руках — вот почему, а не из-за нее самой.

— Да что ты, милый! По тому, что я вижу, твои родители очень любят друг друга. Если люди столько времени прожили вместе — значит, их что-то связывает.

Нельсону противно даже думать об этом. Обои вселяют страх своим рисунком, на котором вещи вылезают из других вещей. Ребенком он боялся этой гостиной, где они теперь спят через коридор от бормочущего телевизора бабули. Машины, проезжающие по Джозеф-стрит под голыми ветками липы, кажутся остроугольными панелями на колесах, их пестрые силуэты быстро меняются, как в компьютерных играх, в которые теперь всюду играют. Когда какая-нибудь машина тормозит перед тем, как свернуть за угол, сноп красных полосок появляется на обоях и на бледной выцветающей фотографии, которая всегда висела здесь и на которой изображен бородатый фермер, стоящий с деревянным ведром у каменного колодца. Этот фермер тоже казался ребенку страшным, этаким ухмыляющимся дьяволом. Теперь же Нельсону он кажется просто нелепой, сентиментальной фигурой. Однако привкус чего-то недоброжелательного остается, застрявши в прозрачном стекле. Красные вспышки дрожат и исчезают — мотор чихает, колеса вжимаются в землю. Да поезжай же — чего ты злишься, невидимая машина, беги дальше, превращайся в тихое жужжание вдали, искупи свою вину, дай покой Нельсону.

Они с Пру лежат на старой, шаткой кровати, которую он делил с Мелани. Он думает о Мелани — она не беременна, свободна, наслаждается жизнью в Кенте, раскатывает по студенческому городку на автобусах, слушает лекции по восточной религии. Пру спит рядом с ним мертвым сном в старой папиной рубашке, застегнутой на груди и расстегнутой на животе. Нельсон предлагал ей свои рубашки — теперь, когда он ходит на работу, он вынужден покупать себе рубашки, — но она сказала, что они слишком маленькие и узкие. В комнате жарища. Прямо под ними расположена печь, и от нее идет тепло — ничего не поделаешь: на дворе середина ноября, а они по-прежнему спят под простыней. Он лежит с раскрытыми глазами и еще долго не заснет, взволнованный истекшим днем. Приятели Билли атакуют его, подстрекая покупать спортивные машины, и, хотя «дельту» ведь продали этому доктору за три тысячи шестьсот долларов, папаша все твердит и твердит — и Мэнни поддерживает его, — что, если вычесть положенную сумму из страховки и прибавить к этому стоимость стоянки машины в гараже, они на этом в общем-то ничего не заработали.

Что же до «меркури»... Мэнни считает, что починка машины будет стоить на четыреста или пятьсот долларов дороже продажной цены, а продать машину по более высокой цене, чем значится в прейскуранте, они не могут; когда же он спросил Мэнни, неужели кто-нибудь из механиков не может поработать над ней в свободное время, тот напыжился так, что угри на носу, казалось, сейчас выскочат, и торжественно объявил: «Ты что, малый, откуда же у них свободное время, они приходят сюда зарабатывать, чтобы дома был хлеб с маслом», — подразумевая, что Нельсону, сынку богатого папаши, на пропитание зарабатывать не надо. И не потому, что отец ему потакает, нет, — он стоит в сторонке и наслаждается, глядя на то, как учат сына. Нельсон же учится только одному: он видит, что каждый лишь стремится положить в карман свою кучку долларов и ни у кого нет времени посмотреть на вещи шире. Ничего, он им покажет, когда продаст этот «меркури» за четыре пятьсот, а то и больше: он знает немало ребят в «Берлоге», для которых выложить такие деньги — тьфу. Из-за этой истории с заложниками в Иране цены на бензин подскочат еще выше, но это пройдет — не посмеют так долго их там держать, этих заложников. Папаша все твердит, что, пока машина значится в инвентарной ведомости, они теряют на этом ежедневно от трех до пяти долларов, но Нельсон никак не может понять почему: она же стоит в магазине, который им уже принадлежит, фирма даже, как он это обнаружил, сама себе выплачивает аренду, — голова его лежит на двух подушках, живот поблескивает, точно этакий гриб дождевик, что встречаются в лесу на гнилом пне. Внизу папа и мама смеются над чем-то — последнее время они постоянно под парами, хуже молодых ребят, и стали чаще выезжать с этими своими вшивыми дружками, — у ребят хоть есть оправдание, что им делать больше нечего. Он думает об этих заложниках в Тегеране, и у него словно в горле застряла таблетка, одна из тех больших сухих витаминных таблеток, которые Мелани вечно заставляет его глотать, а таблетка застревает — и ни туда ни сюда. Отправить туда в безлунную ночь большой черный вертолет, команду с зачерненными лицами, кусок струны от рояля вокруг горла этих арабов-радикалов и шепотом: женщины и дети, вперед, — увезти их. А в качестве кредитной карточки сбросить маленькую тактическую атомную бомбочку на минарет. Или прорыть туннель, или воспользоваться бурильным молотком, как это сделал бы Джеймс Бонд. Эта фантастическая сцена в «Спящем наяву», когда его выбрасывают из самолета без парашюта и он падает прямо на одного из мерзавцев и отнимает у него бурильный молоток, наверное, свободное падение не намного хуже дельтапланеризма. В лунном свете пупок Пру отбрасывает крошечную тень, он словно проклюнулся изнутри, — Нельсон никогда раньше не видел голую беременную женщину и не представлял себе, как это ужасно. Точно пушечное ядро влетело в тело сзади и застряло.

Изредка они с Пру все же выбираются из дому. У них есть друзья. Билли Фоснахт уехал в Университет Тафтса, но в «Берлоге» по-прежнему собирается молодежь: ребята и разные шалопаи из окрестностей Бруэра, застрявшие здесь и работающие на новых электронных предприятиях, или в никому не нужных государственных учреждениях, или в магазинах, какие еще остались в центре: ведь теперь, чтобы пройти к Кроллу, где мама познакомилась с папой в доисторические времена, надо пересечь лес, где раньше была Уайзер-сквер, а когда входишь в универмаг, словно попадаешь на пустынную палубу боевого корабля сразу после того, как япошки разбомбили Пёрл-Харбор, — лишь две-три перепуганные продавщицы стоят за прилавками, скрытые до половины табличками с надписью: «Распродажа». Мама работала в секции соленых орешков и сладостей, теперь такой больше нет: по всей вероятности, после того, как она просуществовала тридцать лет и за это время шесть человек умерло от глистов, было решено, что продажа таких товаров у Кролла не отвечает санитарным нормам. Но ведь если бы там не продавали орешки, то не было бы и Нельсона или был бы кто-то другой, а это уж никак не укладывается у него в голове. Он и Пру даже не знают, как зовут многих из друзей — какие-то странные имена, точно клички, — но если ты часто заглядываешь в «Берлогу», тебя начинают приглашать на вечеринки. Живут они в этих новых кооперативах со стенами из крашеных, грубо сколоченных досок и с островерхими крышами, или в домиках для лыжников, построенных на склоне Пемаквид, близ «Летящего орла», или в этих городских особняках, кирпичных, крытых черепицей, со множеством чугунных украшений и печных труб, которые фабриканты понастроили в свое время в северной части Янгквиста или за железнодорожными депо, а теперь их разбили на квартиры, если не превратили в частные лечебницы, или помещения для таких приятных заведений, как магазины кожаных изделий и мастерские по изготовлению рамок, а также студии молодых архитекторов, строящих дома, обогреваемые солнечными панелями, чтобы экономить энергию, или конторы молодых юристов, умело сочетающих пышные гривы и бандитские усики с деловым костюмом и деловой хваткой, позволяющей обдирать молодых клиентов, беря с них по триста долларов независимо от того, идет ли речь о разводе или о том, чтобы избежать решетки. В этих местах возникли магазины натуральных продуктов, и этакие маленькие, вытянутые в длину ресторанчики в полуподвалах с вегетарианской и европейской кухней, где готовят блюда из естественно выращенных продуктов, и книжные магазинчики под вывесками вроде «Карманные издания Кармы», и маленькие лавочки, увешанные изделиями из макраме и батика, и мексиканскими расшитыми свадебными рубахами, и индийскими шелками, и летними шляпами, какие носят разные бездельники, при этом вид у них такой, будто им срезали ту часть головы, где находятся мозги. В бывших механических мастерских со стенами из шлакобетона теперь продают части для некрашеной сборной мебели, которую покупают те, что живут коммунами.

Квартира, которую Тощий делит с Джейсоном и Пэм — Нельсон знает их по «Берлоге», — находится на третьем этаже высокого старого дома в верхней части бульвара Акаций, в нескольких кварталах от школы в направлении Мэйден-Спрингс. Большой эркер из трех четырехстворчатых окон выходит на вымерший центр города; там, где когда-то возвышались вычерченные неоном огромный сапог, земляной орех, цилиндр и большущий подсолнух, образуя гирлянду из светящихся реклам над Уайзер-сквер, сейчас прожекторы на Кредитном банке Бруэра освещают собственный гранитный фасад, который служит мерой центра города, — четыре большие колонны точно четыре белых пальца, торчащих из жирного черного пирога, и темное пятно деревьев, посаженных в так называемом торговом центре. Отсюда стандартные желтые фонари разбегаются во все стороны вдоль городских улиц, этакая паутина линий расходится вниз, к извивам реки, и тянется дальше, в пригороды, озаряя небо до самого горизонта, поглощенного горами, сливающимися с ночными тучами. В эркере у Тощего поверху идут цветные стекла — пурпурные, янтарные и молочно-зеленые кусочки образуют примитивные цветы; эти витражи вместе с соленым печеньем составляют гордость Бруэра. Их сохранили, а вот старый дубовый паркет накрыли от стены до стены дешевым мохнатым бобриком в красноватых крапинках, напоминающих стручки перца, и просторные комнаты наспех разделили перегородками из сухой штукатурки. Высокие потолки опустили — для тепла — и выложили белыми панелями из чего-то вроде перфорированного дерева. Нельсон сидит на полу, откинув голову, зажав между лодыжками банку холодного пива; он уже выкурил с Пру две закрутки, и червоточины в потолке словно хотят ему что-то сказать — есть там такое место, где они кажутся живыми и угрожающе лезут тебе в глаза, совсем как черные поры на носу Мэнни тут на днях; потом они тускнеют, и оживают другие, точно по потолку передвигается, неся с собой заряд энергии, прозрачная медуза и вселяет в них жизнь. За его спиной на стене — большой плакат с изображением гримасничающего Илие Настейзи. Тощий является членом теннисного клуба, что рядом с торговым центром Хеммингтауна, и обожает Илие Настейзи. Настейзи весь в капельках пота, ноги у него толстые как столбы. Волосатые, бугристые столбы. На стерео звучит Донна Саммер — поет что-то насчет телефона, очень громко. В центре комнаты, между Нельсоном и какими-то папоротниками в горшках, а также растениями с широкими листьями вроде тех, какие стояли у бабули в той комнате рядом с гостиной (Гарри помнит, как он однажды сидел там с отцом и смотрел на них, когда случилось нечто ужасное — под растениями вдруг возникла огромная пустота, в то время как их листья продолжали вбирать в себя солнечный свет, как, должно быть, вбирают в себя эти большие растения, когда солнечные лучи попадают сбоку в высокие панорамные окна), есть пустое пространство, и на этом пространстве Тощий танцует, как змея на веревочке, с другим худющим парнем с коротко остриженными волосами по имени Лайл. У Лайла узкий череп со впадинами сзади, он в обтянутых джинсах и рубашке с длинными рукавами, похожей на те, что носят футболисты, с широкой зеленой полосой посередине. Тощий — гомик, и Нельсону это вроде должно быть безразлично. Зато он заботится о том, чтобы на вечеринке всегда была парочка стройных черных парней, и эта маленькая белая девчонка с сероватым острым польским личиком, что живет на юге Бруэра, сдирает, танцуя, с себя майку, хотя у нее, можно сказать, и грудей-то нет, а теперь сидит на кухне по-прежнему полуголая и накачивается «Южной радостью» и пепси. На этих вечеринках кто-то всегда торчит в ванной — либо его рвет, либо он колется, либо назюзюкивается, — и Нельсону это противно. Впрочем, не столько противно, сколько просто надоело быть молодым. Какая уйма энергии растрачивается зря. Он понимает: эта медуза, перемещающаяся по дырочкам потолка, — та же энергия, что питает бинарные части компьютеров, но дальше этого мысль его не идет. В Кенте его заинтересовала компьютерная наука, но дело ограничилось вводными лекциями: математика оказалась ему не по плечу, а все эти молодые евреи и корейцы с лицами плоскими, как блюдце, легко все усваивали, точно это ясно, как дневной свет, они сразу понимали, что такое функция, а это просто так не ухватишь, все равно как амебу, но как же ее вытащить? Бабуля ведь не вечна, и, когда она отдаст концы, магазин достанется ему и маме, а папаша будет играть роль вывески — этакой картонной фигуры в натуральную величину, какие стояли в демонстрационных залах автомобильных салонов до того, как картон подорожал. При мысли об этих черных, которые расхаживают вокруг с видом превосходства, об этой их рассчитанно-холодной манере здороваться и смотреть на тебя в упор, как бы бросая вызов и при этом ни за что не отвечая, он в ярости начинает весь чесаться, хотя закрутки должны были бы сработать и он уже должен был бы расслабиться. Может, надо еще выпить пива. Тут он вспоминает, что у него между коленями стоит банка, холодная и тяжелая, потому что она полная и пиво свежее, прямо из холодильника этого Тощего, и отхлебывает глоток. При этом Нельсон внимательно смотрит на свою руку, потому что у него впечатление, когда он берет банку, что на руке у него надета рукавица.

Почему папаша не умирает? В этом возрасте у людей полно всяких болезней. Тогда бы они остались с мамулей, а уж с мамулей-то он справится — это он знает.

Он ведь не такой и молоденький — ему уже стукнуло двадцать три, — и вдобавок он человек женатый, потому и чувствует себя так глупо среди этих ребят. Здесь ведь больше никто, похоже, не женат. И уж конечно, больше нет ни одной беременной — во всяком случае, не заметно. От всего этого он чувствует себя как на витрине: малый-де явно без головы. К чести Пру надо сказать, что она не хотела сюда ехать, ее вполне устраивало сидеть там и, точно пальма, нежиться в лучах телевизора и смотреть «Ладью любви», а потом «Придуманный остров» вместе с бедной старенькой бабулей; последнее время бабуля стала сдавать, папа с мамой раньше сидели с ней дома, но теперь — вот и сегодня тоже — они болтаются где-то с этой компанией из «Летящего орла», просто невероятно, до чего безответственно могут вести себя так называемые взрослые, когда считают, что они всех обскакали: мамуля ведь рассказала ему про это их дурацкое золото; может, ему следовало предложить остаться дома, чтобы они с Пру посидели с бабулей — в конце-то концов, все карты ведь у нее на руках, — но, пока он об этом раздумывал, Пру уже принарядилась, считая, что нельзя совсем лишать Нельсона развлечений: он так много работает и вынужден из-за нее сидеть все время дома. Ох уж эта семейная жизнь — вечно каждый считает себя обязанным сделать что-то для другого, а в итоге все только мешают друг другу, этакая неразбериха. А как только Пру очутилась здесь и назюзюкалась, в ней взяла верх шалая девка из Акрона, и, пустившись во все тяжкие, несмотря на беременность, она принялась отплясывать, притом в таких туфлях, в каких ей не то что плясать, но и ходить бы не следовало, — в туфлях на тяжелых высоких танкетках, прикрепленных к ноге лишь тонкими зелеными пластиковыми ремешками, похожими на канитель, из которой инструкторы на спортплощадке в Маунт-Джадже заставляли плести ремешки для ключей, как будто ребята носили когда-либо ключи. Может, она это делает назло ему. Но он и сам уже распустил вожжи, и ему даже доставляет удовольствие издали следить за ней сквозь дым. В ней есть шик, в этой Пру, шик и блеск в этом ядовито-зеленом платье без пояса, которое она купила в новом магазине на бульваре Акаций, откуда нынешняя аристократия выживает стариков пенсионеров: средний класс ведь возвращается в города. Пру крутится, и широкие, как крылья, рукава взлетают, живот торчит, точно пушечное ядро, приподнимая платье, так что можно вдоволь любоваться оранжевыми эластичными чулками, которые доктор велел ей носить, чтобы не испортить свои молодые вены. Ее блестящие танкетки не хотят скользить по мохнатому ковру, но она их не сбрасывает, показывая, что может и в них плясать — опять-таки назло ему; ее тело, словно насаженное на вертел между лопатками, извивается в такт музыке, а зеленые руки и эти поразительные длинные волосы взлетают, образуя круг, снова и снова.

Нельсон не может танцевать, вернее, не желает — разве нынче танцуют: топчись на месте и жди, когда демон музыки овладеет тобой, нет, он на это не способен. Не хочет он выглядеть идиотом. Вот папаша — папаша станцевал бы, будь он здесь, — ведь заткнул же он за пояс Ушлого, когда тут была Джилл, и всегда шел своим путем, даже когда произошло самое страшное, так уж он устроен: он в самом деле думает, что существует Бог, который заботится о нем. Взгляд Нельсона упирается в дырочки на потолке — за эту преграду не проникнуть, и он снова опускает глаза на Пру, ослепительно яркую в своем платье, переливающемся, как расплавленный драгоценный камень, лицо сонное, убаюканное музыкой, крепкий живот торчит, и то, что там, внутри, принадлежит не только ей, но и ему, а раз так, значит, и он танцует. На секунду он становится ненавистен себе — что-то мешает ему танцевать, вот так же он не мог заставить себя ни предаться прихотливой игре ума, какой требует компьютерная наука и обучение в колледже вообще, ни стать спортсменом и бездумно скользить по жизни, как его отец. Но возникшее было мрачное настроение проходит, сменяясь уверенностью, что настанет день, когда он еще всем им покажет.

Некоторое время Пру танцует с одним из этих бруэрских черных, большущим парнем в рабочем комбинезоне и ковбойских сапогах, затем из-за растений в кадках выныривает Тощий и попадает в орбиту Пру, а она продолжает трястись, есть кто рядом или нет, — присела, выпрямилась, взмахнула руками, вскинула голову. Лицо у нее действительно совсем сонное. С этим горбатым носом, таким острым в профиль. Все то и дело дотрагиваются до ее живота, точно на счастье, — щелкают пальцами, крутят ими, проводят по священному вздутию, где лежит то, что принадлежит и ему. Но как избавиться от их касаний, как защитить ее, не дать запачкать? Слишком она крупная — глупо он будет выглядеть, если вмешается, к тому же она любит грязь, она же из грязи и вышла. Как-то раз они проезжали мимо ее бывшего дома в Акроне, она не предложила Нельсону зайти, — этакий унылый ряд домишек с деревянными верандами, на которых стоят старые холодильники. У Мелани дом наверняка был лучше — ее брат ведь даже играл в поло. Во всяком случае, Пру могла бы хоть снять туфли. Нельсон представляет себе, как он сейчас поднимется и скажет ей об этом, но слишком он перебрал и вынужден сидеть тут и киснуть, — внизу — пушистые червячки ковра, и наверху — червоточины на потолке... Мальчишка, с которым Тощий плясал раньше, протягивает Пру закрутку — та посасывает влажный кончик и втягивает в себя дым, продолжая в такт двигать ногами и животом. Нельсон понимает, что для чувих из акронской трущобы Бруэр — это сборище деревенских вахлаков, вот она им всем и покажет, что к чему.

Девчонка, которую Нельсон раньше приметил — она приехала с большим краснорожим олухом, нацепившим по такому случаю пиджак и галстук, — подходит к Нельсону, садится на пол рядом с ним и, вытянув зажатую у него меж лодыжек банку пива, отхлебывает из нее. На ее бледном круглом улыбающемся лице читается растерянность, но ей явно хочется нравиться.

— А ты где живешь? — спрашивает она, точно продолжая разговор, начатый с кем-то другим.

— В Маунт-Джадже. — Он не считает нужным входить в подробности.

— У тебя квартира?

— Я живу с родителями и бабушкой.

— А почему? — Ее милое лицо блестит от пота. Она тоже немало выпила. Но в ней есть какое-то спокойствие, и ему это приятно. Она вытягивает рядом с ним ноги в белых брюках, которые начинают поблескивать, когда эта непонятная медуза растекается над ними.

— Так дешевле. — И, чтобы не быть невежливым, добавляет: — Мы решили не искать себя жилья, пока не родится ребенок.

— У тебя есть жена?

— Вон она. — Он жестом указывает на Пру.

Девчонка внимательно ее оглядывает.

— А она потрясная.

— Можно и так сказать.

— Это как же понимать — почему такой тон?

— А так, что она все кишки из меня выматывает.

— А ей можно так прыгать? Я имею в виду — из-за ребенка.

— Ну, говорят, нужны упражнения. А ты где живешь?

— Недалеко. На Янгквист. У нас квартирка, но не такая шикарная, как эта, — мы на первом этаже, окнами не на улицу, а во двор, где собираются все коты. Говорят, наш дом, может, сделают кооперативным.

— Это хорошо или плохо?

— Хорошо, когда есть деньги, и, наверное, плохо, когда их нет. Но мы только начали работать в городе, и мой... мой парень хочет пройти в колледж, когда мы немножко поправимся.

— Скажи ему — пусть забудет об этом. Я учился в колледже, и это сплошная морока. — Верхняя губа у нее такая приятно пухлая, но по тому, как она поджала рот, он с сожалением видит, что закрыл тему. — А чем ты занимаешься? — в свою очередь, спрашивает он.

— Я работаю санитаркой в доме для престарелых. Едва ли ты знаешь, где это. Саннисайд, в направлении старой ярмарки.

— А не слишком тяжело там работать?

— Считается, что да, но я не против. Старики разговаривают со мной — людям ведь главным образом и надо поговорить.

— Вы с этим парнем женаты?

— Нет еще. Он хочет сначала выбиться в люди. Я думаю, это правильно. А потом, мы ведь можем и передумать.

— Разумно. А эта курочка в зеленом, что танцует там, понесла, и у меня уже не было выбора.

Тут тоже разговора не получается. Однако девчонке с ним явно не скучно, а ведь очень многие начинают с ним скучать. В магазине он наблюдает, как лихо болтают Джейк и Руди, и завидует им — трещат вовсю, и вид при этом у них совсем не идиотский. А сейчас перед ним это незнакомое лицо — спокойное, довольно даже внимательное, глаза такие голубые, что кажется, светлее быть не может, кожа молочно-белая, и нос чуточку вздернут, а рыжие волосы свободно отброшены назад. Видно, что уши у нее проколоты, но серег нет. В состоянии одурения, в котором он находится, белые, чуть угловатые раковины ее ушей кажутся живыми.

— Ты сказала, что вы недавно перебрались в город, — говорит Нельсон. — А откуда?

— Из-под Гэлили. Знаешь, где это?

— Более или менее. Когда я был маленьким, мы раза два ездили туда на парные автогонки.

— Ночью, когда тихо, у нас слышен гул моторов. Моя комната выходит в торец, и я всегда их слышу.

— А там, где мы живем, мимо дома всегда идет транспорт. Раньше моя спальня выходила во двор, а теперь моя комната выходит на фасад.

Прелестные маленькие ушки, такие же маленькие, как у него, хотя остальное у девчонки не такое уж и маленькое. Бедра, к примеру, основательно натягивают эти ослепительно белые брюки.

— А чем занимается твой отец — он фермер?

— Мой отец умер.

— Ох, извини.

— Ничего, жизнь у него была, правда, тяжелая, но концы с концами сводил. Он был фермером — ты правильно угадал, а потом, у него еще были автобусы, и он возил школьников по договору с городом.

— Все равно скверно, что он умер.

— Зато у меня чудесная мама.

— А что в ней такого чудесного?

В своей тупости он как бы все время препирается с ней. Но она вроде не возражает.

— Видишь ли, просто она все понимает. И бывает очень занятой. И потом: у меня еще есть два брата...

— Вот как?

— Да, и мама никогда не требовала, чтоб я уступала им и вообще только потому, что я девчонка.

— Ну а почему, собственно, она должна была это требовать? — Ему стало завидно.

— Есть матери, которые потребовали бы. Они считают, что девочки должны быть тихими и разумными. А вот моя мама говорит, что женщины получают куда больше от жизни. Ведь с мужчинами как — если он всякий раз не одерживает верх, значит, он ничто.

— Вот это мама. Все разложила по полочкам.

— А потом, она еще толще меня, и за это я ее тоже люблю.

«Нисколько ты не толстая, ты очень даже миленькая», — хочется ему сказать ей. Вместо этого он говорит:

— Приканчивай пиво. Я принесу нам еще.

— Нет, спасибо... А как тебя зовут?

— Нельсон. — Ему бы спросить, как ее зовут, но слова не слетают с языка.

— Значит, Нельсон. Нет, спасибо, мне только хотелось глотнуть. Надо пойти посмотреть, что там делает Джейми. Он на кухне с какой-то девчонкой.

— Которая всем показывает свои титьки.

— Точно.

— Те, кому есть что показывать, этого не делают, так я считаю.

Он проводит взглядом по ее телу. Полы ее рыжей вязаной кофточки слегка расходятся на мягком широком буфе посередине тела. А ниже — белая материя брюк, собравшихся в складочки там, где живот встречается с бедрами, и, образовав треугольник, блестит, обнажая диагональное расположение нити, то, как была соткана и разрезана материя. А еще ниже — ее голые ноги с розовыми кончиками больших пальцев, только что вынутых из сброшенных туфель.

Девчонка вспыхивает от такого обследования.

— А чем ты теперь занимаешься, Нельсон, с тех пор, как ушел из колледжа?

— Просто существую. Нет, в общем, торгую машинами. Не обычными жалкими драндулетами, а старыми спортивными машинами, которых никто уже больше не выпускает. Цена на них будет все подниматься — непременно будет.

— Звучит завлекательно.

— Так оно и есть. Бог ты мой, тут на днях я увидел в городе припаркованный белый «сандерберд» с красными кожаными сиденьями — владелец держал крышу опущенной, хотя уже довольно холодно, — так я чуть не рехнулся. Она стояла — ну прямо яхта. Когда выпускали такие машины, не было ведь всего этого жмотства.

— А мы с Джейми только что купили «короллу». Она записана на него, но вожу я: теперь ведь к старой ярмарке автобусы не ходят, а Джейми работает совсем близко, так что может добираться и пешком, это там, где делают такое приспособление против мошкары, ну, ты знаешь, электрические решетки, которые накаляются докрасна, люди ставят их у бассейнов или когда готовят жареное мясо.

— Похоже, прибыльное дельце. А сейчас у него, наверно, спад в работе.

— Вроде должно быть так, а вот нет же: они сейчас делают эти решетки уже для будущего года и рассылают их по всему Югу.

— Хм. — Может, уже хватит разговаривать. Ему вовсе неохота слушать про эти решетки против мошкары, которые делает Джейми.

Но девчонку уже не остановишь — она с ним освоилась, и потом она такая юная, ей все внове. Нельсон полагает, что она года на три, на четыре моложе его. А Пру на год старше, и это вдруг его раздражает — вместе с этими ее вызывающими плясками, ее беременностью и всеми этими черномазыми и извращенцами, которых она вовсе не боится.

— Так что по правилам я должна выплатить ему половину стоимости машины, — объясняет тем временем девчонка, — хоть он и зарабатывает в два раза больше меня. Его родители и моя мама одолжили нам поровну денег на аванс, хотя я знаю, что маме это было трудно. В будущем году, если мне удастся куда-нибудь пристроиться на пол-оклада, я хочу пойти на курсы медицинских сестер. Те, у кого есть диплом, зарабатывают кучу денег, а ведь я делаю все то же самое, кроме уколов, которые им разрешены, а мне — нет.

— Господи, неужели ты хочешь всю жизнь возиться с больными?

— Мне нравится о ком-то заботиться. Пока был жив отец, мы всегда держали у себя на ферме разных животных. Я даже сама стригла наших овец.

— Хм. — Нельсон всегда терпеть не мог животных.

— А ты танцуешь, Нельсон? — спрашивает она его.

— Нет. Я сижу, и пью пиво, и жалею себя.

Пру раскачивается теперь с каким-то пуэрториканцем. У Мэнни двое таких работают в мастерской. Нельсон не знает, чем они болеют в детстве, но только щеки у них все в рытвинах — хуже оспы.

— Джейми тоже не хочет танцевать.

— Пригласи кого-нибудь из этих ублюдков. Или начни танцевать сама — кто-нибудь непременно подстроится.

— Я обожаю танцевать. А почему ты себя жалеешь?

— Ох... отец у меня — сукин сын. — Нельсон сам не понимает, почему он это сказал. Наверное, потому, что эта девчонка так хорошо говорит о своих родителях. При мысли об отце перед глазами Нельсона возникает большое добродушное лицо, и его поражает застывшее на этом лице выражение мрачной беспомощности. Затем оно расплывается, точно снятое крупным планом не в фокусе, как это бывает в военных фильмах, когда в центре сражения вдруг появляется и тут же исчезает чье-то лицо...

— Ты не должен так говорить, — замечает девчонка и встает.

Ноги у нее длинные, обтянутые блестящими брюками. Они трутся друг о друга, даже когда она стоит. Розовые пальцы ее ног зарылись в лохматый коврик совсем рядом с ним, так что он чуть не умирает от желания. Зачем она это сказала? Чтобы ему стало стыдно и он чувствовал, что она его не одобряет. У нее-то отец умер. После ее слов Нельсону начинает казаться, что он убийца своего отца. А, пошла она подальше. Она и пошла и, застенчиво постояв с минуту у стены, задвигалась, расслабляясь. Он не хочет смотреть на нее и завидовать; тяжело поднявшись, он отправляется на кухню — взять новую банку пива и посмотреть на полуголую девчонку. Она сидит печальная, голые грудки спокойно лежат, как обычно у сидящей женщины. Миленькие, лишь наполовину наполненные кошелечки. Там же сидит и Джейми, лицо и руки у него широкие, все в царапинах, он распустил галстук, чтобы не слишком стягивал могучую, как у быка, шею. Другая девушка гадает по его ладони, они все сидят вокруг маленького кухонного столика с фаянсовой крышкой, потемневшей в тех местах, где обычно лежат салфетки, — Нельсону кажется, что он давно знает этот столик. Здесь висит плакат с Марлоном Брандо в черном кожаном костюме из фильма «Дикий». На другом плакате — Элис Купер с зелеными веками и длиннющими ногтями. Холодильник, где на прохладных полках стоит йогурт в бумажных стаканчиках и пиво в упаковках по шесть банок с четко отпечатанным названием, кажется островком порядка среди царящего в кухне хаоса. Холодильник напоминает Нельсону площадку с рядами новеньких «тойот», и у него екает внутри. Иногда он стоит в демонстрационном зале один, без покупателей, и вдруг чувствует, как из детства на него наползает знакомый страх: ему кажется, что он заблудился и что жизнь идет по правилам, которые никто не желает ему объяснить. Он возвращается в большую комнату с ее двойным потолком и тотчас замечает, как нелепо выглядит Пру, насколько она старше всех остальных танцующих: маленькой кудрявой девчонки по имени Доди Вайнстайн, работающей моделью «У Кролла», и Тощего с этим Лайлом в рубашке футболиста, и Пэм, их хозяйки, в широком платье, в котором трясется ее тело в гаснущем свете бруэрского дня за окном, а также безымянной девчонки в белых брюках, которая стоит в сторонке, раскачиваясь в такт музыке, и дожидается, пока кто-нибудь к ней подойдет. «Одна ночь в жизни, одна жизнь за ночь». Она немного стесняется, но явно рада быть здесь, выбраться из своей глухомани. Черные дырочки динамиков, кажется, сейчас разорвет от грохота, который все нарастает и нарастает, а его жена с этим своим пушечным ядром вот-вот рухнет на пол ничком. Нельсон подходит к ней и, схватив за руку, оттаскивает в сторону. Ее смуглый бандит-партнер разворачивается с невозмутимым видом и подкатывает к девчонке в белых брюках. «Детка, это будет непременно сегодня, детка, это будет непременно сегодня». Нельсон изо всех сил сжимает руку Пру, чтобы она почувствовала боль. А она, выбившись из ритма, шатается, и это еще больше злит его — надо же, чтоб его жена так накачалась. Сосуд с изъяном, который рассыпается, только чтобы привлечь внимание к нему. И у него возникает желание шмякнуть ее как следует, чтоб совсем уж сбить с ног.

— Ты мне делаешь больно, — говорит она. Голос ее, писклявый и тоненький, проникает в его сознание сквозь коробочку, которая висит в воздухе где-то возле его уха. Пытаясь высвободить из его пальцев руку, она больно царапает их висящими на браслетах брелками, и это приводит его в полную ярость.

Надо увести ее отсюда, он тащит жену через холл, выискивая свободную стену, к которой можно было бы ее прислонить. И обнаруживает таковую в боковой комнатушке, где выключатель, оказавшись рядом с плечом Пру, сделан в виде лица с разинутым ртом, из которого торчит язык, а нажмешь — уползает. Нельсон приближает лицо к лицу Пру и шипит:

— Слушай, ради всего святого, приди в себя. Ты же можешь покалечиться. И покалечить ребенка. Ты что, хочешь так его растрясти, чтоб он выскочил? А ну успокойся.

— Я спокойна. Это ты не спокоен, Нельсон. — Ее глаза — у самых его глаз, так что кажется, он сейчас потонет в их зелени. — Да и кто тебе сказал, что это будет он? — Рот Пру дернулся в кривой усмешке. Губы у нее накрашены по последней моде — кроваво-красные, как у вампира, и это ей не идет, лишь подчеркивает застылость ее узкого, бесконечно спокойного, без кровинки лица. Тупо вызывающего, как часто бывает у бедняков, — такую ничем не испугаешь.

— Ты вообще не должна пить и курить марихуану, — увещевает он ее. — Ты можешь испортить гены. Ты ведь это знаешь.

Она отвечает, медленно складывая слова:

— Нельсон! Тебе же наплевать на гены.

— Ах ты, глупая сучка! Да не наплевать мне. Конечно, не наплевать. Это же мой ребенок. Или не мой? Вы, акронские, готовы спать с кем угодно.

Комната, в которой они очутились, какая-то чудная. Вокруг сплошные фламинго. Тот, кто живет в этой боковушке с видом на два узеньких дворика и кирпичную стену за ними — первоначально она скорее всего предназначалась для служанки, — коллекционирует шутки ради фламинго. Фламинго из розового блестящего атласа перекинул свои нелепые длинные черные ноги через спинку дивана-кровати. Пустотелые пластмассовые птицы с ногами-палочками стоят на полках вдоль стен. Есть тут и пепельницы в виде фламинго, и кофейные чашечки, и объемные картинки с нарисованными на них розовыми птицами, озерами, пальмами и закатами — сувениры из Флориды. На одном из сувениров они стоят в кроссовках и шотландских шапочках на покрытой бобриком лужайке вокруг лунки. У тех, что побольше, на горбатых клювах — солнечные очки, похожие на обертки для конфет, какие продают в десятицентовках. Тут их сотни. Другие гомики, должно быть, надарили их ему. Очевидно, здесь живет Тощий — Джейсону и Пэм не уместиться на этом диване-кровати.

— Твой, — заверяет его Пру. — Ты знаешь, что твой.

— Нет, не знаю. Ты сегодня ведешь себя как последняя шлюха.

— Я ведь не хотела сюда ехать, помнишь? Это тебя вечно тянет из дому.

Он плачет — из-за чего-то в лице Пру, из-за этой ее акронской жесткости, которой она отгородилась от него как стеной, из-за того, что она задевает его животом, этим своим телом большой куклы, которое он так любил, из-за того, что она так легко, запросто может отдаться другому и этот другой будет ласкать все ее изгибы и складочки, а его она так же легко и запросто может всего этого лишить, потому что он ровным счетом ничего для нее не значит. Вся пора их нежности — когда он помогал ей взбираться в гору, и гулял с ней под деревьями, и ходил в бары на Прибрежной улице, и сам поехал вперед, а ее оставил там, в Колорадо, и она думала, что он лоботрясничает, а он надрывался здесь, в округе Дайамонд, — все это ничто. Он для нее — ничто, как был ничто для Джилл, недоносок, которого надо только гладить по шерстке, — и вот смотрите, что получилось. Любовь разъедает его тело, будто ржавчина, она проникает вниз, до самых колен, которые подгибаются под ним, точно гнилое дерево.

— Ты же навредишь себе, — всхлипывая, произносит он; от его слез ее зеленое платье заблестело на плече еще больше, а у него перед глазами стоит собственное сморщенное лицо так четко, словно изображение на экране телевизора.

— Странный ты, — говорит ему Пру; голос ее звучит тише, словно возле уха шелестит листок.

— Пошли отсюда, из этого жуткого места.

— А эта девчонка, с которой ты трепался, что она тебе говорила?

— Ничего. Ее парень делает решетки против мошкары.

— Вы что-то долго трепались.

— Ей хотелось потанцевать.

— Я видела, как ты указывал ей на меня и смотрел. Тебе же стыдно, что я беременна.

— Ничуть. Я горжусь.

— Ни черта подобного, Нельсон. Ты стесняешься.

— Не настаивай. Поехали, хватит ссориться.

— Вот видишь, ты стесняешься. У тебя нет никаких чувств к этому ребенку — ты только стесняешься его.

— Пожалуйста, поедем. Чего ты добиваешься, хочешь, чтоб я встал на колени?

— Слушай, Нельсон! Я отлично развлекалась, танцевала, а тут являешься ты и начинаешь командовать. Мне до сих пор руку больно. Может, ты ее сломал.

Он неуклюже берет ее за руку, чтобы поцеловать, но она не дается; ему порою кажется, что она — и телом и душой — точно плоская шершавая доска. А потом у него возникает опасение, что она и есть такая плоская, что ничего она не скрывает, нет в ней глубины — такая она и есть. Вот сядет на своего конька и, похоже, не может слезть. Он снова завладел ее рукой и тянет к себе, хочет поцеловать, но она не дается, только злится еще больше, и лицо у нее краснеет, заостряется, каменеет.

— Знаешь, кто ты есть? — говорит она ему. — Ты маленький Наполеон. Ты, Нельсон, — ничтожество.

— Эй, прекрати.

Кожа вокруг ее красных, как у вампира, губ напрягается, и голос звучит ровно — так мчится по рельсам паровоз.

— Я по-настоящему тебя не знала. Вот теперь смотрю, как ты ведешь себя с родными, и вижу, до чего ты избалован. Избалован, Нельсон, и груб.

— Заткнись. — Только бы снова не разреветься. — Никто меня никогда не баловал, совсем наоборот. Ты понятия не имеешь, сколько горя причинили мне родители.

— Я слышала об этом тысячу раз, и мне это никогда не казалось чем-то таким уж страшным. Ты же считаешь, что твоя мама и бедная старенькая бабуся должны заботиться о тебе, что бы ты ни творил. Ты отвратительно относишься к отцу, а он хочет только любить тебя, хочет, чтобы у него был хоть отчасти нормальный сын.

— Он не хотел, чтобы я работал в магазине.

— Он считал, что ты не был к этому готов, и ты действительно не был готов. И сейчас не готов. Ты и отцом стать еще не готов, но тут уже мой просчет.

— А, значит, и ты допускаешь просчеты. — До чего же отвратителен этот ядовито-зеленый цвет, до того ядовитый — такое платье могла бы надеть разве что толстая черная проститутка, чтобы привлечь внимание на улице. Он переводит взгляд на бюро и видит на крышке гибких игрушечных фламинго, расставленных в позах соития: одна птица сидит на спине другой, а другая пара, как полагает Нельсон, сосет, но длинные клювы портят впечатление.

— И очень даже часто, — продолжает Пру, — а как я могу их не допускать, когда никто ничему меня не учил. Но вот что я скажу тебе, Нельсон Энгстром: я рожу этого ребенка, что бы ты ни вытворял. А ты можешь катиться ко всем чертям.

— Могу, значит, да?

— Да. — Она чувствует, что надо слегка отступить. Даже ее живот, упирающийся в него, становится как бы мягче. — Я вовсе этого не хочу, но можешь. Я не в силах тебя удержать, и ты не в силах меня удержать — мы же все-таки разные люди, хоть и женаты. Ты не хотел на мне жениться, и не надо мне было на это идти, как теперь выясняется.

— Но я же все-таки женился на тебе, женился, — говорит он, боясь, как бы от этого признания снова не разреветься.

— В таком случае перестань мною командовать. То ты командовал, чтоб я сюда ехала, теперь командуешь, чтоб я уезжала. А мне нравятся эти люди. Они лучше понимают юмор, чем там, в Огайо.

— В таком случае давай останемся. — Он теперь видит, что в комнате не только фламинго, а много и всякой другой мерзости. Гипсовый бюст Элвиса Пресли на подставке со свечами в красных подсвечниках, точно это икона. Аквариум без рыб, но полный кукол Барби и пластмассовых штучек, похожих на полипы. На стенах налеплены открытки — на них женщины в серебристых бикини, кувыркающиеся или застывшие в мечтательных позах, придерживают руками в серебристых перчатках огромные груди, — открытки, напечатанные в Германии на ребристой бумаге: на них в зависимости от угла зрения ты видишь либо вполне пристойную, либо непотребную картинку. В комнате все напоминает рвоту — зеленые горошины и оранжевые куски морковки на обед, который был час тому назад. Тем не менее он продолжает смотреть вокруг.

Пока он разглядывает эту мерзость одну за другой, Пру, пожав ему руку — возможно, в знак извинения за то, что они друг другу наговорили, — выскальзывает из комнаты. А что они, собственно, друг другу наговорили? На кухне девчонка, сидевшая с голой грудью, натянула на себя майку, на которой написано: «Поправка о равных правах», а Джейми снял пиджак и галстук. Нельсону кажется, что он вдруг вырос, так вырос, что даже сам себя не слышит, но это не имеет значения, и они все смеются. В затемненной спальне рядом с кухней кто-то смотрит специальное сообщение из Ирана, которое передают в 11.30, — время на вечеринках, как всегда, движется быстрыми спазматическими скачками. Неожиданно рядом с ним возникает Пру и просит отвезти ее домой — он замечает, что она смертельно бледна, точно призрак в кино, с губами цвета крови, слегка стершейся посередине, там, где соприкасаются губы. Что-то произошло у него в голове, и все кажется синим, а ее зубы — кривыми, когда она еле слышно сообщает ему, что сняла туфли, как он просил, и теперь не может их найти. Она плюхается на кухонный стул и вытягивает свои оранжевые ноги, так что живот торчит ядром, и хохочет вместе со всеми. Ну прямо свиньи! Нельсон, отправившись на поиски ее туфель, обнаруживает в боковой комнате с этими омерзительными серебристыми открытками и фламинго девушку в белых брюках, заснувшую на диване-кровати. Сейчас, когда лицо ее в покое, она кажется еще более юной. Возле курносого носа лежит ладонью кверху белая рука. Крутой, с легкой россыпью веснушек лоб без единой морщинки — спит. Только в волосах притаилась великая сила женщины — в этих освобожденных от заколок, отливающих разными оттенками провалах и взвихрениях спутанной гривы. Нельсон хочет накрыть девчонку, но одеяла нигде не видно — одни только полипы да куклы Барби в аквариуме. Полоска молочно-белой кожи выглядывает там, где рыжий свитер вылез из брюк. Нельсон смотрит на нее и думает: почему женщина не может быть просто другом, без всякой примеси эротики? Почему надо все время тешить свое самолюбие, бить наотмашь, только чтобы защитить себя? Глядя вниз, на эту молочно-белую полоску кожи, он забывает, зачем сюда пришел. И вдруг чувствует, что ему срочно надо в ванную.

А там, справившись со своими делами, он замечает толстую глянцевую книгу на корзине для белья, видимо принадлежащую Тощему, — альбом с репродукциями фотографий и плакатов времен нацизма в Германии: молодые красавцы блондины стоят рядами и поют; импозантный толстяк в белой форме, увешанный орденами и медалями; Гитлер, этакий молодой стройный рыцарь, смотрит вдаль, на Альпы. Держать такую вещь в ванной — это своеобразный вызов, как и те серебристые открытки с изображением омерзительных женщин, и, кажется, не спастись от всей этой мерзости — столько ее на свете, — не спастись ни этой спящей девочке, ни ему. Пру нашла свои жуткие зеленые туфли и сидит в кухне на стуле, а пуэрториканец с лицом, испещренным мелкими шрамиками, словно следами ножевых ран, с которым она отплясывала, стоит перед ней на коленях и застегивает пряжечки на тоненьких, как позумент, ремешках ее туфель. Когда она встает, ее швыряет в сторону — что это они ей дали? Она покорно позволяет надеть на себя бархатный жакет, который носила осенью и весной в Кенте, — жакет красный, а платье у Пру зеленое, так что она выглядит точно елка, наряженная на полтора месяца раньше срока. Джейсон танцует в большой комнате; туда же переместились теперь и Джейми с девчонкой, на чьей груди написано «Поправка о равных правах», — они тоже стараются не отставать, поэтому Нельсон и Пру прощаются с Пэм и Тощим, Пэм целует Пру в щеку очень по-женски, точно потихоньку хочет шепнуть ей на ухо пароль, а Тощий прикладывает, словно Будда, сложенные руки к груди и кланяется. Этот взгляд искоса, — интересно, думает Нельсон, это у него от природы или от того, что он извращенец. Медуза напряжения проползает по губам Тощего. Последний взмах руки, улыбки, и дверь закрывается, отсекая Нельсона и Пру от шума вечеринки.

Дверь старинная, тяжелая, из светлого дуба. Нельсон и Пру стоят на площадке третьего этажа — тишина плотно накрыла их, словно колпаком. Над головой по стеклу темного слухового окна, затянутого проволочной сеткой, барабанит дождь.

— По-прежнему считаешь меня ничтожеством? — спрашивает он.

— Нельсон, ну почему ты никак не повзрослеешь?

Толстые деревянные перила справа двойной головокружительной петлей спускаются вдоль двух маршей на первый этаж. Заглянув вниз, Нельсон видит крышки двух пластмассовых контейнеров для мусора, стоящих в подвале, далеко под ними. Пру нетерпеливо обходит его слева — он ей осатанел, и к тому же она хочет поскорее выбраться на воздух, — а он потом вспомнит, как она толкнула его своим широким бедром и какая в нем поднялась злость на эту ее намеренную неуклюжесть, но не вспомнит, не толкнул ли и он ее — совсем немножко, в отместку. Слева у лестницы нет перил и штукатурка на стене вся в дырках от гвоздей — должно быть, раньше там была деревянная обшивка, но ее ликвидировали при ремонте. Таким образом, когда Пру подворачивает ногу на этих своих высоких танкетках, ей не за что ухватиться; она слегка вскрикивает, но бледное лицо ее остается невозмутимым, как и в те минуты, когда, занимаясь планеризмом, она брала старт. Нельсон протягивает руку, чтобы схватить ее за бархатный жакет, но Пру пролетает мимо — ноги уже не держат ее; Нельсон видит, как ее лицо скользит на фоне дырочек от гвоздей, когда она переворачивается к стене, пытаясь хоть за что-то ухватиться, но хвататься не за что. И она летит боком, вниз головой, ударяясь животом об окантованные металлом ступени. Все происходит так быстро, однако мозг Нельсона успевает зарегистрировать последовательность ощущений и чувств: вот мягкий бархат жакета коснулся его пальцев, затем она раздраженно толкнула его бедром, затем он разозлился на тяжелые танкетки и на тех, кто отодрал перила от лестницы, — все разложилось по полочкам. Он отчетливо видит темно-оранжевое пятно, расползающееся в ее промежности, точно сердцевина яркого зеленого цветка, когда платье вздувается над её ногами. Она обхватывает себя руками, пытаясь уберечь свое летящее вниз тело, и, когда наконец останавливается на середине крутой лестницы, рука у нее вывернута, туфля слетела с ноги и висит на ремешке, головы не видно под разметавшейся массой чудесных волос, и крупное тело неподвижно.

А дождь мягко постукивает по стеклу слухового окна. Сквозь стену доносится музыка с вечеринки. Но видимо, Пру упала с таким грохотом, что дверь светлого дуба распахивается и вокруг уже шумят люди, в ушах же у Нельсона стоит лишь слабенький вскрик Пру, когда она полетела вниз, — с таким звуком лопаются под ногой пластмассовые игрушки, какие дают детям в ванну.

Манная Каша чувствует себя в больнице точно рыба в воде — подтрунивает над сестрами и сиделками и, словно не подвластный никаким правилам веселый микроб, передвигается по этому белому миру в своей черной одежде. Он подходит к мамаше Спрингер с таким видом, будто собирается заключить ее в объятия, но вместо этого лишь весело хлопает по плечу. Дженис и Гарри он озорно улыбается, обнажая мелкие зубы; к Нельсону обращает вмиг посерьезневшее лицо — только в глазах еще прыгают живчики:

— Она выглядит лучше некуда, вот только рука в гипсе. Но и тут ей повезло. Рука-то левая.

— Она левша, — говорит ему Нельсон. Малый бухтит и сутулится от недосыпа. Он пробыл с Пру в больнице с часу ночи до трех утра и сейчас, в половине десятого, уже снова здесь. В четверть второго он звонил домой, но никто не подошел к телефону, что сразу увеличило счет накопленных им за двадцать лет обид. Бабуля была дома, но слишком она стара и одурманена лекарствами, чтобы слышать во сне телефон, а его родители отправились с Мэркеттами и Гаррисонами в этот новый стриптиз на шоссе 422, что за «Четырьмя временами года», по дороге на Потстаун, после чего еще заехали к Мэркеттам пропустить по стаканчику перед сном. Таким образом, семейство узнало новость лишь в девять утра, когда Нельсон, залезший в пустую постель в половине четвертого, проснулся. По дороге в больницу, сидя в «мустанге» матери, он утверждал, что заснул, лишь когда птицы уже начали чирикать.

— Какие еще птицы? — заметил Гарри. — Они же все улетели на юг.

— Пап, не донимай меня: как раз за нашим окном живут такие черные птицы.

— Скворцы, — подсказывает Дженис, стремясь восстановить мир.

— Так они же не чирикают, а пищат, — не унимается Гарри. — Пищат, пищат.

— Теперь разве не поздно светает? — прерывает их спор мамаша Спрингер. Это постоянное напряжение между зятем и внуком отнимает у нее последние силы.

А Гарри действительно раздражает Нельсон — сидит рядом, весь еще пропахший вчерашними возлияниями, глаза красные, из носа течет; Гарри и сам мало спал и еще не пришел в себя с похмелья. Он еле удерживается, чтобы не сказать еще раз «пищат».

— Как это вы сумели так быстро здесь очутиться? — спрашивает он в больнице Манную Кашу, искренне восхищаясь священником. Можно сколько угодно над ним издеваться, но малый в самом деле маг-волшебник.

— Сама больная призвала, — весело изрекает священник, сделав шажок в сторону и смахнув при этом на пол один из журналов, лежащих на низеньком столике: «День женщины», «Поля и реки». В больнице, конечно, не выписывают «К сведению потребителей». Некоторое время тому назад там была напечатана совершенно убийственная статья о стоимости медицинского обслуживания и фантастических ценах на такие вещи, как аспирин и таблетки от простуды. Манная Каша нагибается поднять журнал и, выпрямившись, с трудом переводит дух.

— После того как милой женщине дали успокоительного, — принимается он рассказывать, — и вправили руку, и заверили, что зародыш вроде не пострадал, она тем не менее продолжала тревожиться и проснулась в семь утра; она понимала, что Нельсон еще спит, и не знала, кому бы позвонить. Вот и подумала обо мне. — Он расплывается в широкой улыбке. — Я, конечно, еще покоился в объятиях Морфея, но быстро собрался и сказал ей, что заскочу между причастием и десятичасовой службой, — и вот я здесь. Ecce homo[[37]](#footnote-37).

Так сказал Понтий Пилат, указывая на Христа. Евангелие от Иоанна, 19:5. Она хотела помолиться со мной, чтобы Бог сохранил ее младенца, она постоянно об этом молилась, и по крайней мере на данный момент, как принято говорить, вроде бы сработало! — Его черные глаза обегают лица одно за другим, вверх, вниз и поперек. — Доктор, принимавший ее, сменился в восемь утра, но дежурная сестра торжественно поклялась мне, что, хотя мать и расшиблась, маленькое сердечко бьется в ней с нормальной силой и ни следа кровотечений или каких-либо других неприятностей. Матушка-природа — крепкий орешек, все вынесет. — Он произносит это, обращаясь к мамаше Спрингер. — А теперь я должен бежать, иначе паства будет алкать и не обретет пищи. Посетителей здесь пускают только с часу, но я уверен, что начальство не станет возражать, если вы заглянете к ней на минутку. Скажите им, что я вас на это благословил. — И его рука машинально поднимается, словно он в самом деле хочет их благословить. Но не благословляет, а кладет руку на рукав дорогой меховой шубы мамаши Спрингер. — Если вы не успеете к службе, непременно приходите на собрание, которое состоится потом, — просит он ее, — на этом собрании будет решаться вопрос о новом органе, и уйма мелочных людей приедет из своей глубинки. Они никогда больше доллара в неделю церкви не жертвуют, а право голоса имеют такое же, как мы с вами. — И он быстрым шагом удаляется по коридору, осеняя воздух знаком мира — двумя растопыренными в виде буквы «V» пальцами.

Господи, до чего же эти мальчишки любят наблюдать беду, думает Гарри. Так или иначе, это почва, которую никому не хочется иметь. Больница Св. Иосифа расположена на севере центральной части Бруэра — там, где раньше находился дом Ассоциации молодых христиан, который потом снесли и построили еще один банк с заездом для машин, и где раньше железную дорогу пересекал деревянный мост, который заменили бетонным, а он тут же стал давать трещины. Поговаривали даже о том, чтобы запрятать здесь железнодорожное полотно в туннель, но потом поезда почти перестали ходить, и, таким образом, проблема была решена. Здесь Дженис произвела на свет Ребекку — тогда все сестры были монашки, может, они и сейчас монашки, только теперь уже не разберешь. Во всяком случае, дежурная сестра на этаже — в брючном костюме розовато-оранжевого цвета. Нельсон с родителями и бабулей идут следом за ее пышным задом и покатыми плечами. Сквозь полуоткрытые двери видны исхудавшие люди, которые лежат под белой простыней, уставясь в белый потолок, — уже не люди, а призраки. Пру находится в четырехместной палате, и две женщины в легких больничных пижамах поспешно ныряют в постель, застигнутые врасплох ранними посетителями. На четвертой кровати спит пожилая негритянка. Да и Пру тоже, по сути дела, спит. Под глазами у нее еще остались следы туши, но в остальном она выглядит так, словно только что родилась, особенно чистым и светлым выглядит гипс, покрывающий от локтя до кисти ее руку. Нельсон легонько целует ее в губы и, опустившись на единственный возле кровати стул, тогда как старшие члены семьи продолжают стоять, зарывается лицом в матрас у бедра Пру. «Какой же он еще младенец», — думает Гарри.

— Нельсон вел себя поразительно, — сообщает им Пру. — Такой был заботливый.

Голос ее звучит мелодичнее и нежнее обычного. Гарри ни разу не слышал, чтобы она так говорила. Интересно, думает он, может, когда женщина лежит, меняется угол, под которым у нее из горла вылетает звук.

— Угу, он болезненно это пережил, — говорит Гарри. — Мы услышали о случившемся только утром.

Нельсон поднимает голову:

— Они были на стриптизе, представляешь?

— Господи! — вырывается у Гарри. — Кто все-таки кому должен давать отчет? — спрашивает он Дженис. — Он что, хочет, чтоб мы все время сидели дома и потихоньку старели?

— Вот что, — объявляет мамаша Спрингер, — через минуту мы уезжаем: я хочу попасть в церковь. Мне кажется, нехорошо будет, если я появлюсь только на собрании, как преподобный Кэмпбелл.

— Непременно поезжайте на собрание, мамаша, — говорит Гарри, — они вас там обштопают на целое состояние; органы ведь не растут на деревьях.

— Милая ты моя бедняжка, — обращается Дженис к Пру. — С рукой очень худо?

— О, я как-то не обращала внимания на то, что говорил доктор. — Голос у Пру замирает: должно быть, ее накачали транквилизаторами. — Есть там косточка с наружной стороны с таким смешным названием...

— Фемур, — подсказывает Гарри. Чем-то эта история взвинтила его, и он держится вызывающе. Да еще эти девицы вчера вечером — среди них были совсем молоденькие, почти как его дочь. Заведение называлось «Золотая вишенка».

Нельсон снова приподнимает голову с постели:

— Фемур — это в бедре, пап. А Пру хотела сказать — гумерус.

— Ха-ха, — произносит Гарри.

У Пру вырывается что-то вроде стона.

— Доктор сказал — просто перелом.

— И сколько же это протянется? — спрашивает Гарри.

— Он сказал — шесть недель, если я буду его слушаться.

— Значит, к Рождеству ты поправишься, — говорит Гарри. Рождество в этом году занимает в его мыслях немало места, так как после него и после встречи Нового года они отправляются в свое путешествие — у них уже зарезервированы места в гостинице, билеты на самолеты, они снова все обсудили вчера вечером, возбужденные стриптизом.

— Милая ты моя бедняжка, — повторяет Дженис.

Пру словно запела, но без мелодии. Однако звучит это все равно как песня:

— Ах, Боже мой, я ведь не жалуюсь, я даже рада — это мне в наказание. Право, я уверена, — при этом она не отрываясь смотрит на Дженис с такой твердостью, какой раньше за ней не замечалось, — это Господь послал мне испытание — такую цену я должна заплатить, чтобы не потерять ребенка. И я готова ее заплатить, путь даже косточки в моем теле будут переломаны, мне все равно. Бог ты мой, когда я почувствовала, что ноги меня больше не держат, и поняла, что полечу с этой страшной лестницы, какие только мысли не пронеслись у меня в голове! Вы-то меня понимаете.

Она имеет в виду, что Дженис понимает, каково это — потерять ребенка. Дженис вскрикивает и всем телом валится на лежащую молодую женщину, так что Гарри, внутренне содрогнувшись, хватает ее сзади за платье и тянет. Почувствовав под грудью жесткий валик гипса, Дженис выгибает спину — кожа у нее под материей натягивается как на барабане, такая горячая. Но Пру явно не больно — она лежит спокойно, смежив веки со следами вчерашних синих теней, и улыбается своей скупой кривой улыбочкой, не пытаясь сбросить с себя навалившуюся Дженис. Рукой, свободной от гипса, Пру обнимает свекровь и похлопывает по спине — пальцы ее почти соприкасаются с пальцами Гарри. Шлеп, делают они, шлеп, шлеп. Он думает о закругленных пальчиках Синди Мэркетт, — интересно насколько более детскими они выглядят, чем эти костистые, хотя и молодые, покрасневшие на суставах: у его матери были такие же загрубелые руки. Дженис все всхлипывает, а Пру все похлопывает ее, и две другие больные в палате все смотрят на них. Такие сложные моменты действуют Гарри на нервы. Он чувствует себя отторгнутым, поскольку официально в семье считают, что это он виноват в смерти ребенка, умершего по вине Дженис. Однако сейчас, похоже, все считают, что он просто устранился. Нельсон, отодвинутый матерью в сторону, — а ее захлестнули горестные воспоминания, — сидит уставясь в пространство, бледный, измученный. Эти чертовы женщины так обожают горевать сообща, что мы всегда остаемся за бортом. Наконец Дженис выпрямляется, сильно хлюпнув носом, так что вся верхняя губа у нее покрывается слизью.

Гарри протягивает ей носовой платок.

— Я так рада, — говорит она, звучно сморкаясь, — за Пру.

— Да ну же, возьми себя в руки, — буркает Гарри, отбирая у нее платок.

Мамаша Спрингер подливает масло в разбушевавшиеся воды: не повредить. В этих старых бруэрских домах верхними лестницами пользовались только служанки.

— Я пролетела не всю лестницу, — говорит Пру. — Я потому и руку сломала, что сумела задержаться. И боли в тот момент не почувствовала.

— Угу, — вставляет Гарри. — Вот и Нельсон сказал, что ты не чувствовала боли.

— Да-да. — После объятий Дженис волосы у Пру разметались по подушке, и кажется, будто она падает навзничь в белизну, выводя нараспев: — Я почти ничего не чувствовала, и доктора говорят, что не должна была чувствовать, а все случилось из-за этих жутких высоченных танкеток, которые мы все носим. Ну не идиотская мода? Непременно сожгу их, как только вернусь домой.

— А когда же это будет? — спрашивает мамаша, перекладывая черную сумочку из руки в руку. Она оделась для церкви еще до того, как проснулся Нельсон и началась вся катавасия. Настоящая раба церкви, одному Богу известно, что это ей дает.

— Мне придется провести здесь еще с неделю, так он сказал, — говорит Пру. — Чтобы я лежала спокойно, ну, словом, чтобы ничего не случилось. С ребенком. Я сегодня утром проснулась, и мне показалось, что у меня начались схватки, я так испугалась, что позвала Манную Кашу. Он такой чудесный.

— О да, — говорит мамаша.

Гарри не нравится, что они употребляют слово «ребенок». Ему представляется, что на этой стадии зародыш все еще выглядит как свинка или большая лягушка. А что, если бы у нее произошел выкидыш — он бы выжил? Теперь умеют сохранять жизнь пятимесячным, а скоро и вообще будут выращивать в пробирке.

— Нам все-таки надо доставить маму в церковь, — объявляет Гарри. — Нельсон, ты собираешься проснуться и поехать с нами или останешься здесь спать? (Голова у мальчишки снова лежит на больничном матрасе:)

— Гарри, — говорит Дженис, — не хами ты всем.

— Он считает, уж очень все мы носимся с этим будущим ребенком, — сонным голосом произносит Пру, слегка поддразнивая Гарри.

— Да нет. Я считаю, это замечательно, что у нас будет ребенок. — Он наклоняется, чтобы поцеловать ее на прощание, и хочет шепнуть ей, сколько у него было детей, мертвых и живых, видимых и невидимых. Но, так ничего и не шепнув, выпрямляется и говорит: — Не волнуйся. Мы еще заедем потом и посидим с тобой подольше.

— Только не за счет гольфа, — говорит она.

— В гольф сыграть уже не удастся. В клубе не любят, когда на поле выходят позже назначенного часа.

Нельсон спрашивает жену:

— Как ты хочешь — чтобы я уехал или остался?

— Уезжай, Нельсон, ради Бога. Дай мне немного поспать.

— Знаешь, извини, если я вчера вечером что-то не то говорил. Я совсем одурел. А когда мне ночью сказали: они думают, что ты не потеряешь ребенка, я от облегчения даже заплакал. Честное слово. — Он бы и сейчас заплакал, но они не одни, и на его лице появляется смущенное выражение: ведь это слышала не только она.

Вот почему мы любим несчастья, понимает вдруг Гарри: у нас возникает чувство вины, и мы на коленях ползем назад, к Богу. Без сознания своей вины мы ничуть не лучше животных. А Нельсон думает: что, если бы выкидыш произошел в тот момент, когда он смотрел на эти омерзительные открытки, как бы ужасно он потом себя чувствовал.

Пру спокойно произносит, словно не замечая, как дрожит голос мужа и какие перевернутые у всех лица:

— Я чувствую себя отлично. Я вас всех так люблю. — Волосы ее разметались по подушке — она жаждет погрузиться в сон, в исступленную молитву, в то, что происходит в ее израненном животе. И в знак прощания приподнимает с груди свой обрубок крыла в белоснежном гипсе.

Они оставляют ее на попечение антисептических ангелов-хранителей и шагают, стуча каблуками, назад по больничным коридорам, решив про себя отложить выяснение отношений до машины.

— Еще целую неделю! — произносит Гарри, как только «мустанг» трогается с места. — Кто-нибудь из вас представляет себе, сколько стоит теперь неделя пребывания в больнице?

— Папа, ну как ты можешь все время думать только о деньгах?

— Кто-то должен же об этом думать. Неделя — это минимум тысяча долларов. Минимум.

— У тебя же есть карточка «Голубого креста»[[38]](#footnote-38).

— Для невестки она недействительна. Да и для тебя тоже, после того как тебе исполнилось девятнадцать.

— Ну, не знаю, — говорит Нельсон, — но мне не нравится, что она лежит в общей палате со всеми этими женщинами, а они стонут ночи напролет, и их рвет. Одна из них даже черная, вы заметили?

— Откуда у тебя эти предубеждения! Уж во всяком случае, не от меня. Так или иначе, это не общая палата, а так называемая полуиндивидуальная, — говорит Гарри.

— А я хочу, чтобы моя жена лежала в отдельной палате, — говорит Нельсон.

— Вот как? Ты хочешь, ты хочешь! А кто будет платить по счету, задавала? Не ты, конечно.

Мамаша Спрингер говорит:

— Я помню, когда у меня случился дивертикулит, я лежала в отдельной палате — Фред и слышать ни о чем другом не хотел. Причем палата была угловая. Из окон открывался чудный вид на дендрарий — магнолии были как раз в цвету.

— Ну а в магазине, — спрашивает Дженис, — разве на Нельсона не распространяется групповая страховка?

— На помощь в связи с родами имеют право лишь те, кто проработал в «Спрингер-моторс» больше девяти месяцев, — сообщает ей Гарри.

— Сломанную руку я бы родами не назвал, — говорит Нельсон.

— Угу, но если бы ей не предстояли роды, она гуляла бы сейчас со своей рукой.

— Может, Милдред посмотрела бы, что тут можно сделать, — подает идею Дженис.

— О'кей, — нехотя соглашается Гарри. — Я в точности всех наших правил не знаю.

Нельсону бы тут успокоиться. Вместо этого он перегибается через спинку переднего сиденья, так что голос его грохочет в ушах Гарри, и говорит:

— Только Милдред и Чарли и выручают тебя — сам-то ты вообще ничего не знаешь. Я имею в виду...

— Я знаю, что ты имеешь в виду, и я знаю о торговле машинами куда больше, чем ты когда-либо будешь знать, если не возьмешься за ум и не перестанешь играть в эти старые детройтские игрушки, на которых мы и так уже немало потеряли; пора сосредоточиться на том, чем мы занимаемся.

— Я бы не возражал, если бы ты торговал «дацунами» или «хондами», но, честно, пап, «тойоты»...

— Старик Фред Спрингер получил лицензию на торговлю «тойотами» — «тойоты» мы и продаем. Бесси, ну почему вы не дадите малому шлепка? Мне до него не дотянуться.

После паузы до него доносится с заднего сиденья голос тещи:

— Я все думаю, надо ли вообще ехать в церковь. Я знаю, что преподобный Кэмпбелл спит и видит купить орган, а сторонников у него не так уж много. Если я там появлюсь, они еще могут поставить меня во главе комитета, а я для этого слишком стара.

— Верно, Тереза была такая милая? — громко произносит Дженис. — Точно за одну ночь повзрослела.

— Угу, — говорит Гарри, — а если бы пролетела по лестнице оба марша, то стала бы даже старше нас.

— Господи, папа, — говорит Нельсон, — ты хоть кого-нибудь любишь?

— Я люблю всех, — говорит Гарри. — Просто я не люблю, когда меня загоняют в капкан.

Из Сент-Джозефа в Маунт-Джадж надо переехать через железнодорожные пути, затем по Локусту мимо Верхнего Бруэра и дальше по парку Панорамного Обзора, потом, как всегда, свернуть налево мимо торгового центра. В воскресное утро в машинах едут по большей части американцы старшего поколения — женщины с волосами голубоватых или розоватых оттенков, похожими на перья куриц, которых раскрашивали на Пасху, пока это не запретили законом, и мужчины, с такою силой вцепившиеся обеими руками в руль, точно иначе машина сейчас вырвется и начнет скакать и брыкаться: еще бы, теперь, когда из-за старика аятоллы бензин без свинца на некоторых городских заправочных станциях стоит доллар тринадцать центов, водители стараются каждую каплю использовать. Собственно, люди считают, что надо жечь горючее, пока оно есть, а когда цена на него упадет, президент Картер сможет понтировать. В кинотеатре торгового центра идут четыре фильма: «Ломая традиции», «Все сначала», «Бегство» и «10». Гарри охотно посмотрел бы «10»: он знает из рекламы, что там играет эта девушка, похожая на шведку, которая, точно уроженка Заира, заплела себе волосы мелкими косичками. Мир един: все спят друг с другом. Стоит ему представить себе, сколько в мире пар занимаются любовью и сколько еще будет заниматься, а его это не коснется, он так и будет сидеть и постепенно умирать в этой душной машине, — у него падает сердце. Он уже ни с кем не будет спать, кроме бедной Дженис Спрингер, — эта перспектива расстилается перед ним прямая и унылая, как хорошо известная дорога. Желудок у него после вчерашнего развлечения бунтует, как бывало, когда он опаздывал в школу. Он вдруг говорит Нельсону:

— Как ты все-таки, черт подери, дал ей упасть, почему не удержал? Да и вообще, что вы так поздно там делали? Когда твоя мама была тобой беременна, мы никуда не ходили.

— Хоть по крайней мере побыли вместе, — говорит парень. — Ты-то, насколько я слышал, был ходок.

— Но не тогда, когда она была тобой беременна, тогда мы вечер за вечером просиживали перед этим дурацким ящиком, смотрели «Я люблю Люси» и прочую белиберду, верно, Бесси? И не нюхали никакой травки.

— Травку не нюхают, ее курят. А нюхают кокаин.

Мамаша Спрингер с запозданием отвечает на его вопрос.

— Ну, я ведь в точности не знаю, как вы с Дженис себя вели, — устало произносит она голосом человека, который смотрит из окна на то, что происходит на улице. — Молодежь нынче другая.

— Прямо скажем, другая. Ты выставляешь за дверь человека, чтобы дать место более молодому, а этот молодой на все корки разносит твой товар.

— Твой товар вполне о'кей, если ты этим довольствуешься, — объявляет Нельсон.

Гарри в ярости прерывает его, думая о бедной Пру, которая лежит в палате и ждет мужа, а является хнычущий младенец и тычется головой ей в бок; о Мелани, которая в поте лица трудилась в «Блинном доме», обслуживая всех этих банковских недоумков, которые предпочитают обедать в городе; о своей милой, полной надежд дочери, которая вынуждена довольствоваться этим большим краснорожим Джейми; о бедной маленькой Синди, которая вынуждена с улыбкой терпеть старика Уэбба с его манией фотографировать ее в разных позах, иначе он не может возбудиться; о Мим, которая столько лет удовлетворяла прихоти этих головорезов-итальяшек; о маме, стиравшей своими старыми руками в серой мыльной воде и плакавшей под звуки блюзов на кухне, пока ей не повезло и болезнь Паркинсона не уложила ее отдыхать в спальне; обо всех женщинах в мире, которых используют и губят мужчины, чтобы вот такие желторотые юнцы могли появиться на свет.

— Дай-ка я тебе кое-что расскажу про «тойоты», — говорит Гарри сидящему сзади Нельсону. — Их собирают маленькие желтые человечки в белых халатах, которые работают на одном и том же заводе от колыбели до могилы и прямо-таки сходят с ума, если в систему зажигания попала хоть одна пылинка, а эти драндулеты, что выпускает Детройт, сколачивают черномазые в наушниках, из которых им прямо в уши наяривает музыка, да к тому же до того накачавшиеся наркотиками, что не могут отличить винт с прорезанной головкой от гайки-барашка, и при этом ненавидят фирму, где работают. Половина машин, которые сходят с конвейера на заводах Форда, преднамеренно испорчены — забыл, где я об этом читал, но не в журнале «К сведению потребителей».

— Папа, ты полон предрассудков. Что бы сказал об этом Ушлый?..

Ушлый! И уже совсем другим голосом Гарри говорит:

— Ушлого убили в Филадельфии в апреле, разве я тебе не говорил?

— Ты *без конца* говоришь мне об этом.

— Я же не говорю, что черные плохо работают на конвейере, я их не виню, просто говорю, что они производят плохие машины.

Но Нельсон уже настроился на атаку — он оскорбился и весь в раздрызганных чувствах, бедняга.

— И какое ты имеешь право критиковать меня и Пру за то, что мы поехали к друзьям, когда сам ты отправился со своими друзьями любоваться этими дурацкими экзотическими танцовщицами? Как тебе-то это может нравиться, мам?

— Это было совсем не так плохо, как я думала, — говорит Дженис. — И все в рамках приличий. Право же, ничуть не хуже, чем когда-то на старых ярмарках.

— Нечего перед ним оправдываться, — говорит ей Гарри. — Кто он такой, чтоб нас критиковать?

— Самое забавное, — продолжает Дженис, — что нам с Синди и Тельмой всегда нравились одни девушки, а мужчинам — совсем другие. Нам всем понравилась эта высокая восточная женщина, такая грациозная и артистичная, а мужчинам, мама, понравилась маленькая блондинка без подбородка, которая танцевать-то не умела.

— Зато создавала атмосферу, — поясняет Гарри. — Я хочу сказать, она все делала всерьез.

— А потом эта коротконогая черная толстуха, которая завела тебя. Ну та, что с пером.

— С оливковой кожей. Она была тоже славная. А насчет пера — я бы обошелся без него.

— Бабуле вовсе не интересно слушать эту мерзость, — объясняет Нельсон с заднего сиденья.

— Бабуля не возражает, — говорит ему Гарри. Ничто не раздражает Бесси Спрингер. Бабуля любит жизнь.

— Ну, не знаю, — со вздохом говорит старуха. — Когда мы могли этим интересоваться, такого не было. Помню, Фред иногда приносил домой «Плейбой», но мне это казалось скорее грустным, все эти восемнадцатилетние девчонки, совсем как дети, только тело у них взрослое.

— А кто не дети? — спрашивает Гарри.

— Говори от своего имени, пап, — вставляет Нельсон.

— Нет, я хотела сказать, — не отступается мамаша Спрингер, — смотришь на то, как нынешние девчонки расхаживают совсем голые, в чем мать родила, и удивляешься, чего ради родители их растили. Да и вообще, что думают по этому поводу родители. — Она вздыхает. — Да, мир стал другим.

Дженис говорит:

— По-моему, в том же месте по понедельникам устраивают вечера для дам с мужскими стриптизерами. И мне говорили, Дорис Кауфман говорила, что молодые ребята в самом деле боятся этих вечеров, потому что женщины бросаются на них и даже пытаются взобраться на сцену. Говорят, хуже всех женщины, которым за сорок.

— Это такая мерзость! — говорит Нельсон.

— Следи за тем, что говоришь, — поучает его Гарри. — Твоей матери как раз за сорок.

— *Па!*— Ну, я бы так себя не вела, — говорит Дженис, — но я могу себе представить, что есть женщины, которые способны так себя вести. Я думаю, многое зависит от того, насколько их удовлетворяют мужья.

— *Мама!* — возмущается мальчишка.

Они объехали гору и свернули на Центральную улицу; судя по часам в витрине химической чистки, уже без трех минут десять.

— Похоже, мы успеем, Бесси! — кричит сидящим сзади Гарри.

Флаг на мэрии наполовину приспущен из-за заложников в Иране. Люди в праздничной одежде все еще стекаются к церкви под звон колоколов, сзывающих их своими железными языками под серым, разодранным ветром ноябрьским небом, отсвечивающим кое-где серебром. Выпуская мамашу из «мустанга», Гарри говорит ей:

— Только не заложите магазин ради этого органа Манной Каши.

Нельсон спрашивает:

— Как ты будешь добираться домой, бабуля?

— Меня, наверное, подвезет внук Грейс Штул — он обычно приезжает за ней. Ну а нет, так и пешком дойду — не помру.

— Ах, мама, — говорит Дженис, — тебе же в жизни не дойти. Если тебя некому будет подвезти, позвони нам, когда собрание кончится. Мы будем дома.

В клубе сейчас сократили до минимума обслугу, поэтому подают лишь заранее приготовленные бутерброды, половина сеток на теннисном корте спущена, а на полях для гольфа переставлены указатели лунок. Возвращаясь домой с Дженис и Нельсоном, Гарри вспоминает, как они ездили раньше втроем, жили вместе, были моложе. Между малым и Дженис эта связь сохранилась. А он ее потерял. Вслух он произносит:

— Значит, тебе не нравятся «тойоты».

— Вопрос не в этом, пап, там нечему нравиться или не нравиться. Вчера на вечеринке я разговаривал с одной девчонкой, которая только что купила «короллу», так мы с ней говорили только о старых американских машинах — какие они были замечательные. Вот и «вольво» тоже стали не те, и никто тут ничего не может поделать. Как говорится, всему свой срок.

Мальчишка явно стремится поддержать разговор и уладить ссору; Гарри же помалкивает, раздумывая: «Всему свой срок — будешь так гнать, так крутиться да еще наркотиками накачиваться, хорошо, если до моих лет дотянешь».

— «Мазды», — говорит Нельсон. — Вот чем бы я хотел торговать.

— В таком случае иди к Эйбу Шафетцу и проси работы. Я слышал, он вроде прогорает — столько у «мазд» дефектов. Мэнни говорит, никогда им всех не исправить.

— По-моему, — говорит Дженис, пытаясь внести дух умиротворения, — реклама «тойот» по телевизору на редкость умная и шикарная.

— О, реклама — загляденье, — соглашается Нельсон. — Реклама — просто чудо. Я-то говорю про машины.

— А тебе не нравится, — спрашивает Гарри, — эта новая, там, где она хрюкает и трогается с места? — Он хрюкает, и Дженис с Нельсоном смеются, и последний квартал до дома они едут по Джозеф-стрит под голыми кленами, весело вспоминая все втроем, какая у «тойот» была реклама со вскакивающими в машины мужчинами и женщинами, обычными мужчинами и женщинами, их одежда взвивается складками ангельских одеяний, точно произошло бурное химическое соединение или появилось крупным планом крыло колибри, взмывающей и падающей вниз, а мужчины и женщины улыбаются и застывают в воздухе, бросая вызов земному притяжению.

— Надо нам отсюда съезжать, — внезапно охрипшим голосом произносит Гарри несколькими днями позже, накануне возвращения Пру из больницы, где она пролежала целую неделю. Они с Дженис в спальне, на дворе ночь; бук, сбросив с себя листья и трескучие коробочки семян, пропускает теперь в их комнату куда больше света, чем летом. Два стекла в окне со стороны, что ближе к улице, с той стороны, где спит Кролик, не идеально гладкие, а слегка волнистые, все в каких-то продолговатых пузырьках, которые днем едва видны глазу, зато ночью образуют на дальней стене медальоны крапчатых теней, резко увеличенных, более ярких по цвету, чем на самом деле, так что над заставленным туалетом красного дерева, который перешел к Дженис от Кернеров, у четырехстворчатой двери, отгораживающей от них мир, вся стена пестрая, цветная, как витраж. За десять лет, что они здесь живут, в те минуты и часы, что проходят, когда уже потушена лампа и еще не наступил сон, эти светящиеся квадратики отпечатались в мозгу Гарри, как драгоценности, яркие камушки, образовавшиеся из воздуха, — ему будет их не хватать, когда он уедет отсюда. Но уезжать надо. На абстрактный рисунок накладываются тени от ветвей бука, которые треплет и качает холодный ветер.

— Куда же мы поедем? — спрашивает Дженис.

— Купим себе дом, как все, — говорит он тихим, хриплым голосом, точно мамаша Спрингер может услышать это его предательство сквозь стену, несмотря на бормотание, а потом грохот телевизора в момент кульминации; затем взрывается реклама, затем начинает нарастать новая кульминация. — В другой части Бруэра, ближе к магазину. Эти ежедневные поездки через центр города сводят меня с ума. Да и сколько бензина уходит.

— Только не в Пенн-Виллас, — говорит она. — Назад в Пенн-Виллас меня ни за что не заманишь.

— Меня тоже. А как насчет Пенн-Парка? Там соседями у нас будут все эти славные адвокаты — специалисты по разводам и дерматологи. Я всегда мечтал — еще в ту пору, когда мы играли в баскетбол, — поселиться там где-нибудь. Чтобы дом, по крайней мере по фасаду, был облицован камнем, ну и, может быть, с утопленной гостиной — тогда мы могли бы пристойно принимать Мэркеттов. А сюда просто неудобно кого-то звать: мамаша, правда, после ужина уходит к себе наверх, но здесь так чертовски мрачно, да еще теперь тут Нельсон со своей командой.

— Он говорил, что они собираются снять квартиру, когда дела наладятся.

— Дела у него никогда не наладятся при его отношении к работе. Ты это знаешь. А здесь он живет бесплатно; и потом, мы не будем так угрызаться, оставляя твою мамашу. Такой шанс нельзя упускать. — Его рука забирается глубоко под ее ночную рубашку; стремясь заставить жену посмотреть на вещи его глазами, он ласкает ее груди, берет их в ладони, а они похожи на воздушные шары, из которых начали выпускать воздух, это и неудивительно при ее возрасте, но все равно благодаря теннису, плаванию и генам старика Фреда Спрингера тело у нее в лучшем состоянии, чем у большинства. Соски ее набухают, и его член без особого труда твердеет. — Или, может, — продолжает он все так же хрипло, — купить такую псевдотюдоровскую штуковину, похожую на пряничный домик, у них еще такие островерхие крыши, как у ведьминых домов на картинках. Бог ты мой, как бы возгордился папка, если б увидел, что я живу в таком доме!

— А нам это по карману, — спрашивает Дженис, — притом, что теперь надо платить тринадцать процентов по закладным?

Он передвигает руку по шелковистой, гладкой выпуклости ее живота к волосне, которая словно ощетинивается от его прикосновения. Надо будет ему как-нибудь пожевать ее. Положить на спину, чтобы ноги свисали с края кровати, опуститься на колени и жевать ее промежность, пока она не кончит. Он ведь так делал, когда они еще только встречались в квартире той девчонки, что выходила на старые серые бензобаки у реки, опускался на колени и часами пасся на ее жестком лугу, терся носом, веками об это чудо. Любая женщина — все они заслуживают того, чтобы их время от времени вот так жевали, они кончают, и во рту у тебя словно появляется устрица, интересно, как проститутки такое выдерживают — член за членом, а глотать приходится, за неделю, должно быть, проглатывают не одну пинту. Вот Рут это не нравилось, но некоторые сучки, если верить порностатейкам в «Уи», заглатывают по милую душу, одна даже сказала, что это для нее как шампанское. Возможно, утопленной надо делать не гостиную, а кабинет, просто должно быть такое место, где одна-две обтянутые бобриком ступеньки были бы вниз, чтобы ты чувствовал, что находишься в современном доме.

— В этом прелесть инфляции, — говорит он Дженис, изо всех сил стараясь ее обольстить. — Чем больше ты должен, тем лучше твои дела. Спроси Уэбба. Платишь-то ты долларами, которые все обесцениваются, а проценты Дяде Сэму вычитаешь из подоходного налога. Даже после того как мы купили ранды и заплатили налог в сентябре, у нас в банке осталось слишком много денег, а деньги в банке держат нынче только тупицы. Внесем их в качестве аванса за дом, и пусть банк тревожится по поводу того, что доллар падает, а наш дом тем временем будет каждый год подниматься в цене на десять — двадцать процентов. — Он чувствует, что Дженис начинает отвечать на его ласки.

— По-моему, это будет тяжело маме, — говорит Дженис слабым голосом, какой появляется у нее в минуты близости. — Она ведь собирается оставить нам этот дом, и я знаю, она рассчитывает, что до тех пор мы будем жить здесь с нею.

— Она проживет еще двадцать лет, — говорит Гарри. — А через двадцать лет тебе будет шестьдесят четыре.

— И потом — не покажется ли это странным Нельсону?

— Почему? Ведь именно этого он и хочет — чтобы я не маячил перед ним. Я подавляю парня.

— Гарри, я не уверена, что это ты на него так действуешь. По-моему, он просто боится.

— Чего же ему бояться?

— Того, чего боялся и ты в его возрасте. Жизни.

Жизнь. Слишком она длинная и одновременно короткая. Боишься, что она кончится, и боишься, что завтра будет таким же, как вчера.

— Ну, не надо было ему возвращаться домой, если он так настроен, — говорит Гарри. Он явно теряет интерес к любовным утехам.

— Он же не знал, — говорит Дженис. Гарри чувствует, что и ее мысли уходят от зова плоти в грустную сферу семейной жизни. — Он же не знал, что ты будешь так придираться. Почему ты так к нему относишься?

Чертов парень, которому не было еще и тринадцати, попытался увести у него Джилл в Пенн-Вилласе после того, как Дженис ушла.

— Это он придирается ко мне, — говорит Гарри. Он перестал шептать. Телевизор у мамаши Спрингер еще включен — что-то там шуршит, грохочет, гул нарастает, но это, пожалуй, не человеческие голоса, а шум деревьев или океана. Мамаша пристрастилась смотреть в половине двенадцатого специальное сообщение Эй-би-си о заложниках и каждое утро пересказывает им последние сведения о том, что ничего не происходит. Хомейни и Картер — оба попали в ловушку, расставленную группой заросших волосами парней, которые ни черта ни в чем не смыслят, несут всякую чушь насчет того, что старики гонят молодежь на войну, — вот избавиться бы от всех этих парней, тогда в мире стало бы куда спокойнее жить. — Стоит мне раскрыть рот, как у него на лице появляется раздраженное выражение. Что бы я ему в магазине ни сказал, он идет и делает наоборот. Явился тут один малый покупать машину из тех двух спортивных, что Нельсон расколошматил тогда, и попросил поставить у нас на продажу мотосани. Я решил, что это шутка, но тут на днях прихожу в магазин и вижу — спортивная машина ушла, а эти желтые мотосани «кавасаки» стоят себе в переднем ряду рядом с новенькими «терселами». Я так и подскочил, а Нельсон говорит мне: хватит ехать по старым рельсам; он, оказывается, пообещал парню за них четыре сотни, а нам эта история принесет такую известность, какой мы бы в жизни не имели, истрать мы в два раза больше на рекламу: еще бы — нашелся сумасшедший торговец, который взял мотосани для продажи!

Дженис издает какой-то легкий звук, который, будь она менее усталой, означал бы смех.

— Именно так поступал папа.

— И потом, он набрал за моей спиной на десять тысяч старых спортивных машин, которые жрут по галлону бензина на десять миль, кому они нужны такие, да еще эта история с Пру, которая обойдется нам в целое состояние. Ведь она же никак не застрахована.

— Ш-ш! Мама может услышать.

— А я и хочу, чтоб она услышала: это она потворствует парню и его «гениальным» идеям. Ты же слышала вчера вечером, как они рассуждали, что у них с Пру будет своя машина, хотя этот старый «ньюпорт» мамаши шесть дней в неделю стоит в гараже?! — Приглушенные выкрики проникают сквозь оклеенную обоями стену — это иранцы вышли на демонстрацию перед американским посольством, на радость телевизионщикам. У Кролика от досады даже перехватило дыхание.

— Я просто не могу больше здесь, лапочка.

— Расскажи мне лучше про дом — говорит Дженис, возвращая его руку к себе на живот. — Сколько там будет комнат?

Он начинает гладить ее, ведет пальцами вдоль складочки с одной стороны, потом с другой стороны треугольника, а потом задумчиво проводит посередине. Волосня у Синди была темнее, чем у Дженис, менее кудрявая, возможно, более живая при падавшем на нее свете, светясь иголочками, как мех на старой шубе мамаши Спрингер.

— Нам ведь не нужно много спален, — говорит он Дженис, — достаточно одной большой для нас с тобой и чтоб там было большущее зеркало, в которое можно смотреть с кровати...

— Зеркало?! Откуда у тебя эта идея — насчет зеркала?

— У всех теперь есть зеркала. Лежишь в постели и видишь себя.

— Ох, Гарри, нет...

— А я думаю — да. Ну и потом, скажем, еще одну спальню — на случай, если вдруг твоя мамаша вздумает пожить с нами или приедет кто-то в гости, но только чтоб не рядом с нашей, чтобы нас разделяла по крайней мере ванная, а то телевизор уж больно мешает; а внизу у нас будет кухня с новейшим оборудованием, включая электрокомбайн...

— Я их боюсь. Дорис Кауфман говорит, что первые три недели у нее все превращалось в кашу. Разница лишь в том, что один вечер каша была розовая, другой — зеленая.

— Ничего, научишься, — мурлыкает он, описывая рукой круги по ее телу, — круги, которые, расширяясь, захватывают ее соски и низ живота, а потом сокращаются, так что пальцы касаются лишь пупка, похожего на дырку в заднице этой оливковой сучки на шоссе 422. — Для этого существует специальное руководство, а потом, у нас будет холодильник с автоматической заморозкой и встроенная в стену плита, где духовка — на уровне твоего лица, чтоб не нагибаться, и еще микроволновка, которая для меня является загадкой: я читал где-то, что эти печки могут поджарить твои мозги, даже если ты находишься в соседней комнате... — Влага, ее промежность такая влажная, что он даже пугается, дотронувшись до нее, точно касается слизняка под листом в саду. Член его так вздувается, что даже больно. — И потом, у нас будет утопленная гостиная с освещением, скрытым в стенах, — мы там сможем принимать гостей.

— Кого же мы будем звать в гости? — Голос ее едва слышен: подушка поглощает его, как пыль с лица мумии.

— О-о. — Рука его продолжает скользить по ее телу кругами, кругами, перенося влагу на соски и оставляя ее сначала на одном, потом на другом, точно навешивая мишуру на кончики веток рождественской елки. — Да кого угодно. Дорис Кауфман и всех прочих лесбиянок, которые играют в теннис в «Летящем орле», Синди Мэркетт и ее верного спутника Бадди Инглфингера, всех этих славных девчонок, которые вертят своими красивыми задами в «Золотой вишенке», чтобы Америке веселее жилось, всех этих роскошных самцов, которые работают в отделе ремонта и запасных частей «Спрингер-моторс»...

Дженис хихикает, и в этот момент внизу хлопает входная дверь. Навестив Пру, Нельсон теперь обычно отправляется в бар — тот, что раньше назывался «Феникс», и болтается среди этого жуткого сброда, который убивает там время. Гарри возмущает эта свобода, которой пользуется парень: ему разрешили не работать по вечерам, чтобы он мог навещать Пру, так нечего шататься по барам и накачиваться. Если парня так потрясло, когда она свалилась, он должен бы заняться чем-то более стоящим — из благодарности, что ли, или в качестве искупления, или почему-то еще. Внизу слышны его пьяные шаги, они бухают один за другим — бум, бум — по гостиной, между диваном и вольтеровским креслом и дальше, мимо подножия лестницы, так что зазвенела посуда в буфете, — на кухню, за пивом. У Гарри перехватывает дыхание, когда он представляет себе это надутое, озадаченное лицо, прикладывающееся еще к одной банке с пивом, — пьет и жрет до отвала и при этом презирает весь мир. Он чувствует, как рядом с ним застыла мать Нельсона, прислушиваясь к шагам сына, и кладет ее руку на свой член — ее пальцы умелыми движениями начинают накачивать кожицу по бокам. Снизу доносятся шаги Нельсона, возвращающегося в гостиную, в вольтеровское кресло, а Дженис и Гарри предаются любви, и Гарри, имея в виду дом, который ему так хочется купить, хрипло заверяет жену:

— Тебе он понравится. Понравится.

Въезжая в Бруэр на величественном старом темно-синем «крайслере» мамаши Спрингер, Нельсон говорит Пру:

— В жизни не догадаешься. Он уговорил маму купить дом. Она сказала, что они посмотрели уже штук шесть. Все эти дома показались ей слишком большими, но папа говорит, что она должна привыкать думать масштабно. По-моему, он слегка рехнулся.

— Интересно, насколько это связано с тем, что мы к ним переехали? — спокойно произносит Пру. Она хотела, чтобы они нашли себе квартиру приблизительно в том же районе, где живут Тощий, Джейсон и Пэм, и никак не может понять, зачем Нельсону нужно жить с бабушкой.

А в нем, как защитная реакция, закипает злость.

— Не вижу, почему это должно было так на него подействовать, да любой приличный отец был бы рад, что мы живем с ними. В доме уйма места, и бабулю нельзя оставить одну.

— А я думаю, — говорит его жена, — когда люди в возрасте, вполне естественно иметь свой дом.

— И естественно — бросать старух, чтоб умирали в одиночестве?

— Но мы же теперь тут.

— Только временно.

— Я тоже так сначала думала, Нельсон, но теперь я вижу, ты не хочешь, чтобы у нас был свой дом. Ты не вынесешь такой жизни, когда останемся только ты да я.

— Я терпеть не могу тесных квартир и кооперативных домов.

— Да ладно, я ведь не жалуюсь. Я теперь уже привыкла. И мне нравится твоя бабушка.

— Терпеть не могу этих старых домов в центре города, хоть они нынче и снова ожили благодаря пестрым лавчонкам, которые поставляют товары всяким выродкам да одуревшим от наркотиков смешанным парам. Все это напоминает мне Кент. А ведь я сбежал сюда, спасаясь как раз от такого выдрючивания. Взять хотя бы этого Тощего: он вроде бы отрицает всю нашу культуру, нюхает кокаин, балуется мескалином и прочей мерзостью, а знаешь, чем он зарабатывает себе на жизнь? Выписывает счета в электрокомпании округа Дайамонд и запечатывает их в конверты; если он продержится на этом месте еще лет десять, то станет старшим, — так разве он не работает на систему?

— А он вовсе и не строит из себя революционера, он любит красивые вещи и общество других парней.

— Надо быть все-таки последовательным, — говорит Нельсон, — как-то это непорядочно — доить общество и одновременно издеваться над ним. Ты мне как раз и нравилась больше Мелани потому, что вроде не была помешана на всех этих радикальных идеях, как она.

— Я не знала, — говорит Пру еще спокойнее, — что мы с Мелани были соперницами. И что же — вы вдоволь насладились друг другом этим летом?

Нельсон смотрит прямо перед собой, жалея, что своими признаниями довел до этого разговора. В Бруэре уже зажглась рождественская иллюминация — красные и зеленые огоньки и трепещущие украшения из фольги кажутся засохшими и скукожившимися на лишенных снега улицах, — жалкое подобие того праздника, какой сохранился в его детских воспоминаниях, когда было сколько угодно электричества и почти не было вандализма. Тогда на каждом фонаре висел огромный венок из настоящих еловых веток, срезанных в окрестных горах, а смеющийся Санта-Клаус в натуральную величину на белых с серебром санях, запряженных восьмеркой оленей со стеклянными глазами, в настоящей с виду шкуре, висел на канатах, натянутых между вторым этажом «Кролла» и крышей дома, в котором была табачная лавка и которого уже нет. Все витрины в центре между Четвертой и Седьмой улицами были уставлены раскрашенными деревянными солдатиками, и верблюдами, и волхвами, и золотыми органными трубами в облаках стекловолокна, а по вечерам тротуары заполняли покупатели, и из перегретых магазинов неслись рождественские песнопения, растворяясь в морозном воздухе, колючем, как елка, и так верилось, что где-то там, во тьме, окружающей освещенный город, родился младенец Христос. Сейчас же Рождество было какое-то жалкое. Городской бюджет резко сократили, и в центре на месте половины магазинов стоят пустые коробки.

— Ну, расскажи же, — пристает к нему Пру. — Я ведь знаю, что между вами все было.

— Откуда ты знаешь?

— Знаю.

Он решает пойти в наступление: уступи сейчас молодой жене, и она сядет тебе на голову.

— Ничего ты не знаешь, — говорит он ей. — Знаешь только, что надо держаться за эту чертову штуку, которая сидит в тебе, вот *в этом* тебе нет равных. Рехнуться можно.

Теперь она смотрит прямо перед собой — повязка на ее руке маячит белым пятном на самом краю его поля зрения. А у него режет глаза от этих праздничных огней, буравящих декабрьскую тьму. Пусть изображает из себя мученицу сколько хочет. Пытаешься сказать правду, а получается одно расстройство.

Бабулина старая машина катит как по маслу, но она довольно неповоротливая: еще бы — столько в ней металла, даже отделение для перчаток выложено металлом. Когда Пру вот так замолкает, в горле Нельсона возникает привкус — привкус содеянной несправедливости. Ведь он же не просил ее рожать ему ребенка, никто ее об этом не просил, а теперь, когда он на ней женился, у нее хватает нахальства жаловаться, что он не покупает ей квартиры: дай им одно, они тут же требуют другое. Ох уж эти женщины — точно бездонная яма: вкладываешь в них и вкладываешь — и все им мало, отдаешь всю свою жизнь, а они улыбнутся этакой кривой грустной усмешечкой и жалеют, когда все уже позади, что ты не сумел сказать лучше. Он предостаточно связал себя, и больше связать его ей не удастся. Иной раз, глядя на нее сзади, он только диву дается, как она раздалась — бедра широкие, точно сарай, можно подумать, что там приютилось не маленькое розовое существо, а рогатый белый носорог, который имеет к Нельсону столь же мало отношения, как тот расплывающийся человек на Луне, вот что происходит, когда Природа начинает командовать, — все выходит из-под контроля. Привкус во рту становится невыносимым — он просто должен высказаться, выбросить это из себя.

— Кстати, — говорит он, — а как насчет того, чтобы побаловаться?

— Я не думаю, чтобы это разрешалось на таком месяце. Да и потом, я чувствую себя жуткой уродиной.

— Уродина или не уродина, ты — моя. Моя старушка.

— Я все время такая сонная, ты и представить себе не можешь. Но ты прав. Давай побалуемся сегодня. Давай вернемся домой пораньше. Если кто-нибудь в «Берлоге» пригласит нас к себе, давай не поедем.

— Вот видишь, если бы у нас была квартира, на которой ты совсем помешалась, нам бы тоже пришлось приглашать к себе людей. По крайней мере у бабули мы от этого избавлены.

— Мне там так спокойно, — говорит она, вздохнув. Что она хочет этим сказать? Не надо ему вытаскивать ее из дома по вечерам: он ведь женатый человек, он работает, ему должно быть не до развлечений. А как он боится идти на работу — каждое утро просыпается с гложущим ощущением под ложечкой, точно это не у нее, а у него сидит внутри белый носорог. Эти спортивные машины, которые стоят некупленные и каждый день мозолят ему глаза, и то, что Джейк и Руди никак не примирятся с его решением взять мотосани для продажи и смотрят с таким видом, будто он сыграл злую шутку со своим папашей, тогда как на самом деле у него и в мыслях ничего подобного не было — просто малый очень просил, а Нельсону хотелось поскорее избавиться от «меркури», всякий раз, как он видел эту машину, она напоминала ему о той поре, когда папаша презирал его, даже слушать не хотел — это было несправедливо, так что он вынужден был расколошматить эти две машины, чтоб стереть издевательскую усмешку с лица отца.

Демонстрационный зал для него — все равно как сцена, на которую он вышел, не выучив до конца роли. Может, это от всего, чем он накачивается, кокаин вроде пережигает носовую перегородку, а теперь говорят, марихуана разрушает клетки мозга, а тетрагидроканнабиол оседает в жировых тканях, и потом ты месяцами ходишь как идиот, сколько сейчас появилось мальчишек с излишне развитой грудью, потому что организму чего-то не хватало, когда они росли, в тринадцать лет; последнее время Нельсону видятся — не во сне, а наяву, когда он стоит с открытыми глазами, — люди с дырками вместо носа, должно быть, оттого, что перебрали кокаина, или Пру в больнице — она лежит в постели, а под боком у нее маленький красноглазый носорог, может, это ему так кажется из-за гипса на ее руке, уже грязного и осыпающегося по краям, с торчащей наружу бахромой бинта. И еще папаша. Он все больше и больше раздается, перестал бегать, и кожа у него блестит, точно поры всасывают питание прямо из воздуха.

В детстве у Нельсона была книжка с такой твердой блестящей рисованной обложкой и черным, точно изоляционная лента, корешком: на обложке был изображен великан с шишковатым, зеленым, заросшим волосами лицом, который, осклабясь — это и было самое страшное, то, что он ухмылялся своими толстыми губами, скаля большущие, редкие, как у всех великанов, зубы, — заглядывал в пещеру, где мальчик и девочка — скорее всего брат и сестра, герои сказки, — сидели съежившись, еле различимые в темноте (читателю видны были только их затылки — ага, вот вы где!), загнанные, до смерти перепуганные, не смея ни пошевелиться, ни вздохнуть — такого страху на них нагнало это огромное, шишковатое, торжествующее лицо, заслонившее солнце у входа в пещеру. Таким же представляется Нельсону в последнее время и папаша: он, Нельсон, стоит в туннеле, а дальний конец, через который он мог бы выйти на солнечный свет, перегораживает лицо отца. Старик понятия не имеет, что он играет такую роль в жизни сына, а виноваты эта скупая печальная улыбочка, этот взмах руки, каким он ставит крест на сыне и с разочарованным видом поворачивается на каблуках — именно с разочарованным: не такого сына он хотел иметь; а теперь весь мужской персонал магазина — не только Джейк и Руди, но и Мэнни, и его механики, все перепачканные маслом, только вокруг глаз бело, — смотрит на него и тоже видит: нет, он не в отца, и ростом не вышел, да и не умеет так же легко смотреть на вещи, как Гарри Энгстром. И в целом мире кто еще, кроме Нельсона, может засвидетельствовать, что во всем виноват отец, что он обманщик, и трус, и убийца, а когда Нельсон хочет об этом сказать, то не может выдавить из себя ни звука, и мир хохочет, глядя, как он стоит раскрыв рот и молчит. Великан смотрит и ухмыляется, а Нельсон глубже уползает в свой туннель. Он и «Берлогу» любит за то, что в ней уютно, как в туннеле, дымно и пьяно, и под столом передают друг другу закрутки, и все дозволено, они все вместе в этом дымном туннеле, трусы и неудачники, какая разница, и не надо вслушиваться, кто что говорит, потому что никто не собирается приобретать «тойоту», или страховку, или что-либо еще. Ну почему бы не создать такое общество, где людям дают, что им нужно, и разрешают делать, что они хотят? Папаша сказал бы, что это фантазия, но ведь именно на таком принципе существует мир животных.

— А я все-таки думаю, ты спал с Мелани, — говорит Пру своим сухим ровным голосом обитательницы трущоб. Одна звуковая дорожка, и только.

— Ну даже если и так, что с того? — говорит он. — Мы же с тобой тогда еще не были женаты, так какое это имеет значение?

— Для тебя — никакого: всем известно, ты хватаешь все, что подвернется, такой ты охочий, а вот то, что это была она, имеет значение, она же моя подруга. Я ей верила. Я верила вам обоим.

— Только, ради всего святого, не хнычь.

— Я и не хнычу.

Но он уже представляет себе, как она будет сидеть рядом с ним в «Берлоге» в одной из кабинок, надувшись и не говоря ни слова, не слыша ничего, кроме ударов младенца в животе; из-за этой сломанной руки она выглядит так нелепо, этот живот и гипс, и вообще, когда он смотрит на нее, ему становится ее жаль, а потом он говорит себе, что таким образом проявляет заботу о ней: берет ее с собой, тогда как многие ребята в жизни бы этого не сделали.

— Эй, — буркает он, — я тебя люблю.

— И я тебя люблю, Нельсон, — откликается она и приподнимает с колен руку, которая не в гипсе, и он, сняв руку с руля, пожимает ее. Чудно: чем больше она раздается в ширину, тем тоньше и суше становятся у нее руки и лицо.

— Выпьем по паре стаканчиков пивка и уедем, — обещает он ей. Может, там будет девчонка в белых брюках. Она иногда приезжает туда с этим здоровым дубарем Джейми, и Нельсон понимает, она притаскивает его: ей там нравится, ему — нет.

«Берлога» пользуется таким успехом, что на Сосновой улице трудно найти место для машины, а Нельсону охота избавить Пру по крайней мере от необходимости шагать по холоду, хотя доктор и говорит, что физические упражнения ей на пользу. Нельсон терпеть не может холода. В детстве он обожал декабрь, потому что в конце этого месяца было Рождество, и он с таким волнением ждал всех радостей, которые сулит жизнь, что просто не замечал, как тьма и холод наступают на человека, окружая его плотной стеной. А тут еще папаша отправляется с мамой шиковать на какой-то там остров вместе с этими своими вонючими приятелями — валяться на песке и греться на солнышке, тогда как Нельсон должен держать оборону в магазине и замерзать, — несправедливо это. А та девчонка не всегда в белых брюках — в прошлый раз на ней была юбка по новой моде с большим разрезом сбоку. Вон там есть место перед длинным низким кирпичным зданием, в котором раньше располагалась типография «Верити», — похоже, удастся втиснуться между старым двухтонным «фэйрлейном» и бронзовым «хондой-универсалом», тютелька в тютельку. Когда паркуешь машину, задача состоит в том, чтобы задник оказался прямо перед фарами другой машины и твой автомобиль не стоял слишком далеко от тротуара, иначе ты никогда не выедешь. И не бойся подрезать слева — у тебя всегда будет больше места, чем кажется. И Нельсон останавливается впритирку к «фэйрлейну», так что у Пру вырывается резкий возглас:

— Нельсон!

Он говорит:

— Я же вижу его, вижу, заткнись и не мешай мне сосредоточиться. — Он крутит тяжелый, обтянутый бархатом руль «крайслера» — машины настолько мощной, что кажется, это не автомобиль, а броненосец, — рассчитывая, что, став на место, она мгновенно замрет, как конькобежец на льду. Ух, до чего же эротично выглядят фигуристки в своих костюмах с разлетающимися юбочками, когда они едут задом. Нельсон, стараясь не упустить из виду довольно низко сидящие фары «хонды», вспоминает, как у той девчонки распахнулась разрезанная юбка, обнажив длинную блестящую ногу до бедра, когда она садилась у бара, и как, узнав Нельсона, она наградила его застенчивой мимолетной улыбкой. Монументальный «крайслер» бабули откатывается назад, и Нельсон, уверенный в том, что он идеально гладко запаркует машину, даже не слышит неожиданного скрежета металла, раздираемого металлом, и приходит в себя, лишь когда машина до середины изуродована и Пру взвизгивает:

— Ой! — точно она рожает.

Уэбб Мэркетт говорит, что цена на золото достигла на сегодняшний день предела: маленького человека в Америке захлестнула эта эпидемия, а когда маленький человек вскакивает на подножку удачи, ловкие дельцы с нее соскакивают. Вот серебро — другое дело: братья Хант в Техасе скупают акции серебряных рудников на миллионы в день, а люди с такими деньгами знают, что делают. Гарри решает сменить свое золото на серебро.

Дженис все равно собиралась в центр за рождественскими покупками, так что они встретятся в «Блинном доме», пообедают, а потом поедут в бруэрский Кредитный банк с ключом от сейфа и вынут тридцать раундов, которые Гарри три месяца тому назад купил за 11 313,20 доллара. В помещении, отведенном банком для общения клиентов со своими ящиками-сейфами, Гарри вытаскивает из-под страховых бумаг и государственных займов два голубых цилиндрика с крышечками, как туалетные сиденья в кукольном доме, и кладет их Дженис на ладони — по одному на каждую ладонь, улыбается, видя, как ее вновь изумляет тяжесть золота. Сразу став более солидными гражданами, они выходят между двумя большими гранитными колоннами из банка на слабый декабрьский солнечный свет, пересекают лес, где стоят неработающие фонтаны и парковые скамейки из цемента с именами молодых парней и девчонок, выведенными краской из распылителя, и по восточной части Уайзер-стрит проходят два квартала, сплошь состоящие из магазинчиков, где идет вялая предрождественская торговля. Истощенные маленькие пуэрториканки — единственные покупатели, которые вбегают и выбегают из дверей этих дешевых магазинчиков, да еще ребята, которым следовало бы быть в школе, да пенсионеры с тупым выражением опухших от виски, заросших щетиной лиц, в грязных стеганых куртках и охотничьих шляпах, — заводы использовали этих стариков и вышвырнули на улицу.

Проходя мимо алюминиевых фонарей, Гарри слышит, как шелестят, подрагивая на ветру, венки из фольги. Золото, золото, поет сердце Гарри, — он ощущает эту тяжесть в двух глубоких карманах своего пальто, раскачивающуюся в такт его шагам. Рядом, мелко перебирая ногами, спешит Дженис — подтянутая, сосредоточенная женщина в теплой дубленке, доходящей до сапог, — спешит, придерживая несколько пакетов, которые тоже шелестят, как и венки из фольги. Он видит их обоих в пятнистом, поцарапанном зеркале рядом со входом в обувной магазин: он — высокий, прямой, белолицый; она — маленькая, смуглая, бегущая рядом с ним в кожаных сапогах цвета бычьей крови, на высоких каблуках и на молнии, плотно облегающих щиколотку, ноги ее отбрасывают на ходу полы дубленки, и ее изящный силуэт — столь же непреложно, как и его черное ворсистое пальто и ирландская шляпа, — свидетельствует о том, что это люди, хорошо в жизни устроенные, что они могут позволить себе шагать с улыбкой мимо тех, кто злобно поглядывает на них на улице и отводит глаза.

Магазин «Финансовые альтернативы», с окнами, забранными жалюзи в тонкую полоску, находится в следующем квартале — квартале, который когда-то пользовался дурной славой, но теперь, когда весь центр стал таким, ничуть не отличается от соседних. В магазине девушка с платиновыми волосами и длинными наманикюренными ногтями улыбается, узнав Гарри, и подтягивает к прилавку бежевое кресло для Дженис. После телефонного звонка в какое-то дальнее помещение она отщелкивает несколько цифр на своем маленьком компьютере и сообщает Гарри и Дженис — а они сидят, как два мешка, в своих толстых пальто у края ее прилавка, — что цена на золото сегодня утром достигла почти пятисот долларов за унцию, но она может предложить им лишь 488,75 доллара за монету. Таким образом, это составит... пальцы ее легко бегают по клавишам, не задевая их ногтями, и в сером окошечке компьютера выскакивают, словно вытянутые магнитом, цифры: 14 622,50 доллара. Гарри подсчитывает в уме, что он заработал на своем золоте по тысяче в месяц, и спрашивает девушку, сколько серебра он мог бы купить на эту сумму. Девушка бросает на него из-под ресниц взгляд — так посмотрела бы маникюрша, решая, сказать или не сказать, что помимо маникюра она делает еще и массаж в задней комнате. Дженис, сидящая рядом с Гарри, закурила, и дым ее сигареты, протянувшись над прилавком, отравляет атмосферу взаимопонимания, установившуюся между девушкой с платиновыми волосами и Гарри.

— Мы не занимаемся продажей серебра в брусках, — поясняет девушка. — У нас серебро есть только в виде долларов, выпущенных до шестьдесят пятого года, но мы их продаем по стоимости сплава.

— По стоимости сплава? — переспрашивает Гарри. Он-то представлял себе, что это будет небольшой брусок, который ляжет в металлический ящик сейфа, как пистолет в кобуру.

Продавщица терпелива, в ее бесстрастности есть что-то сладострастно-сонное. Точно частица шелковистой тяжести драгоценных металлов перешла к ней.

— Ну, вы знаете, этакое колесо от телеги. — Для ясности она образует круг, сведя вместе острые, как кинжал, ногти указательного и большого пальцев. — Их раньше выпускал Монетный двор США, а пятнадцать лет назад их перестали чеканить. В каждой монете — ноль семьдесят пять тройской унции серебра. Сегодня серебро идет по... — она бросает взгляд на бумажку, лежащую на ее столике рядом с кнопочным телефоном ванильного цвета, — двадцать три доллара пятьдесят пять центов за тройскую унцию, следовательно, каждая монета независимо от коллекционной ценности стоит... — снова в ход идет калькулятор, — семнадцать долларов шестьдесят шесть центов. Но некоторые монеты поистерлись, так что, если вы с женой надумаете сейчас их покупать, я могу дать вам скидку.

— Значит, это старые монеты? — спрашивает Дженис голосом мамаши Спрингер.

— Есть старые, а есть и нет, — ровным тоном отвечает девушка. — Мы покупаем их по весу у коллекционеров после того, как они отобрали то, что представляет для них ценность.

Гарри думал, что все будет иначе, но Уэбб ведь поклялся, что именно в серебро умные люди вкладывают сейчас деньги. И Гарри спрашивает:

— А сколько серебра мы могли бы купить на то, что получим за золото?

На клавиши компьютера обрушивается настоящий шквал: 14 622,50 доллара дают магическую цифру — 888. Значит, восемьсот восемьдесят восемь серебряных долларов по 16,50 каждый, включая комиссионные и налог на продажу товаров в Пенсильвании. Кролику цифра 888 представляется огромной, даже если речь идет о спичках. Он смотрит на Дженис:

— Крошка! Так что ты думаешь?

— Право, Гарри, я не знаю, что тут и думать. Это же ты вкладываешь капитал.

— Но деньги-то ведь наши общие.

— Ты же не хочешь больше держать золото.

— Уэбб говорит, серебро может удвоиться в цене, если нам не вернут заложников.

Дженис поворачивается к продавщице:

— Я вот подумала, что если мы найдем дом, который нам понравится, и захотим внести за него аванс, серебро легко будет продать?

Блондинка смотрит на Дженис с уже куда большим уважением и говорит мягче, как женщина с женщиной:

— Очень легко. Гораздо легче, чем ценные бумаги или землю. Кроме того, «Финансовые альтернативы» гарантируют, что купят у вас все, что мы продали. Если бы вы принесли эти монеты нам сегодня, мы бы заплатили... — она снова взглянула на бумаги, лежащие перед ней на столике, — по тринадцать пятьдесят за каждую.

— Значит, мы бы потеряли на этом по три доллара, помноженные на восемьсот восемьдесят восемь, — говорит Гарри. Руки у него вспотели, возможно, из-за того, что он в пальто. Получи в этом мире хоть маленькую прибыль, и мир тотчас начинает придумывать, как бы отобрать ее у тебя. Ох, взять бы назад золото. Монеты были такие красивые, с этими маленькими изящными оленями на обратной стороне.

— О, но при том, как растет цена на серебро, — произносит девушка и, вдруг умолкнув, снимает какую-то крошечку, приставшую к уголку рта, — вы возьмете свое за неделю. По-моему, вы поступаете очень умно.

— Так-то оно так, но что, если в Иране все утрясется? — никак не может успокоиться Гарри. — Не лопнет все как мыльный пузырь?

— Драгоценные металлы — это не мыльный пузырь. Драгоценные металлы — предел надежности. Я лично думаю, арабская валюта стала золотой не столько из-за событий в Иране, сколько из-за оккупации Большой Мечети. Когда саудисты в беде, вся раскладка идет по новой.

Значит, раскладка идет по новой.

— О'кей, — говорит Гарри, — ударим по рукам. Мы покупаем серебро.

Хотя платиновая девушка, как и подобает продавщице, уговаривала их, она тем не менее несколько удивлена и теперь ведет долгие переговоры по телефону, пытаясь набрать нужное количество монет. Наконец появляется парень, которого она называет Лайлом, с серым парусиновым мешком, в каких носят почту; он слегка покачивается под его тяжестью и, крякнув, ставит мешок на столик перед девушкой, — правда, он худющий и похож на чудилу, возможно, из-за короткой стрижки. Забавно, как все перевернулось: люди нормальные носят нынче длинные волосы, а всякие выродки и панки ходят коротко остриженные. Интересно, думает Гарри, как теперь с этим обстоит в морской пехоте — наверное, носят волосы до плеч. Этот Лайл принимается рассуждать, с подозрением взглянув на Гарри, точно он купил себе не только массаж, но и доску, обтянутую черной кожей, и плетку.

Поначалу Гарри и Дженис считают, что только девушка с платиновыми волосами и почти идеальной кожей имеет право дотрагиваться до монет. Она отодвигает все бумаги в сторону и с трудом приподнимает за угол мешок. Из него высыпаются доллары.

— А, черт! — Она сосет ушибленный палец. — Если не возражаете, помогите мне считать.

Гарри и Дженис снимают пальто и погружают руки в мешок, вытаскивая оттуда монеты, и кладут их стопочками по десять штук. Серебро разложено по всему столу — сотни статуй Свободы; некоторые монеты — стершиеся, более тонкие, другие — толстенькие, точно прямо с Монетного двора. Дженис начинает хихикать — такое множество профилей, надписей и орлов проходит через ее руки, и Гарри понимает: это от ощущения, будто она лепит их из глины. От обилия. Стопки множатся, они уже образуют ряды — десять по десять. Наконец мешок выдает последнюю монету вместе с обрывком корпии, которую девушка щелчком сбрасывает со столика. Затем с серьезным видом обводит рукой с малиновыми ногтями свою часть монет:

— У меня триста девяносто.

Гарри похлопывает по своим стопкам и объявляет:

— У меня двести сорок.

— А у меня двести пятьдесят восемь, — говорит Дженис. Она его обскакала. Он гордится ею. Значит, она может стать кассиром, если он вдруг умрет.

Призван на помощь калькулятор — 888.

— Абсолютно точно, — говорит девушка, не менее удивленная, чем они. Она заполняет нужные бумаги и вручает Гарри две монеты по 25 центов и десятидолларовую бумажку сдачи. У него мелькает мысль, не вернуть ли ей эти деньги в качестве чаевых. Монеты укладываются в три картонные коробки величиной с толстые кирпичи. Гарри ставит коробки одну на другую, и, когда пытается их поднять, лицо у него делается такое, что Дженис и девушка разражаются смехом.

— Ну и ну! — восклицает он. — Сколько же они весят?

Платиновая девушка колдует на компьютере.

— Если считать, что каждая монета весит по крайней мере тройскую унцию, значит, в целом это будет семьдесят четыре фунта. В фунте ведь всего двенадцать тройских унций.

Гарри поворачивается к Дженис:

— Одну коробку понесешь ты.

Она берет коробку, и теперь хохочет уже он, глядя на выражение ее лица, на котором глаза чуть не вылезают из орбит.

— Я не могу, — говорит она.

— Придется, — говорит он. — Нам же донести только до банка. Пошли, мне ведь надо назад в магазин. Зачем же ты в теннис играешь, если не нарастила себе мускулов?

А он гордится тем, что они играют в теннис, — это он сейчас старается для блондинки, изображая из себя эксцентричного аристократа из Пенн-Парка.

— Может, Лайл проводит вас? — предлагает девушка.

Но Кролик не желает, чтоб его видели на улице с этим полумужиком-полубабой.

— Мы справимся. — И, обращаясь к Дженис, говорит: — Представь себе, что ты беременна. Давай. Пошли. — И к сведению девушки добавляет: — Она потом зайдет за своими пакетами.

Он поднимает две коробки и, плечом открыв дверь, вынуждает Дженис следовать за ним. Выйдя на Уайзер-стрит, освещенную холодным солнцем и трепещущую от ветра, он старается не гримасничать и не реагировать на взгляды прохожих, которые с недоумением смотрят на то, как он, обеими руками крепко прижав к себе две небольшие коробки, с трудом удерживает их на уровне бедер.

Какой-то черный в голубой кепке сторожа, с налитыми кровью глазами — точно камушки плавают в апельсиновом соку, — останавливается на тротуаре и, спотыкаясь, делает шаг к Гарри:

— Эй, приятель, не поможешь другу...

Что это черных как магнитом тянет к Кролику? Он круто поворачивается, чтобы телом прикрыть серебро, и, пошатнувшись под его сместившейся тяжестью, делает шаг вперед. И продолжает идти, не смея оглянуться и посмотреть, следует ли за ним Дженис. Но, остановившись у края тротуара рядом с поцарапанным счетчиком на стоянке машин, слышит ее дыхание и чувствует, как она с трудом догоняет его.

— Еще эта шуба, тоже тяжеленная, — задыхаясь, произносит она.

— Переходи на другую сторону, — говорит он.

— Посреди квартала?

— Не спорь со мной, — буркает он, чувствуя, что озадаченный его видом черный уже двинулся следом. И сходит с тротуара, так что автобус, находящийся в полуквартале от них, с визгом тормозит. Посреди улицы, где на расплавившемся за лето асфальте двойная белая полоса образует волнистую линию, он останавливается, поджидая Дженис. Девушка дала ей мешок из-под почты, чтобы нести в нем третью коробку с серебром, но Дженис, вместо того чтобы перекинуть мешок через плечо, несет его на левой руке, точно ребенка.

— Как ты там? — спрашивает он.

— Ничего. Иди же, Гарри.

Они переходят на другую сторону. В лавке, где прежде торговали земляными орешками, теперь не только предлагают порнографические журналы, но еще и разложили их у входа. Молодые, мускулистые, блестящие от масла парни позируют по одному или парами под титрами «Барабанщик» или «Голыш». Из двери выходит шикарный японец в темной, в тонкую полоску тройке и в сером котелке, держа под мышкой свернутые «Нью-Йорк таймс» и «Уолл-стрит джорнэл». Как японец мог очутиться в Бруэре? Дверь не спеша закрывается, но на холодном тротуаре успевает появиться, как в старом цирке, запах теплых жареных орешков.

Гарри говорит Дженис:

— Давай положим все три коробки в мешок, и я взвалю его себе на спину. Ну, знаешь, как Санта-Клаус. Ха-ха!

Пока они совещаются, вокруг них уже начинают собираться щербатые темнокожие уличные ребята и какие-то пьянчуги в обтрепанной одежонке, по-зимнему надетой в несколько слоев для тепла. Гарри крепче прижимает к себе свои две коробки. Дженис обхватывает поплотнее свою третью и говорит:

— Пошли, нам в эту сторону. До банка остался всего квартал. — Лицо у нее раскраснелось от ветра и холода, сощуренные глаза слезятся, губы решительно поджаты — не рот, а щель.

— Не квартал, а добрых полтора, — поправляет он ее.

Мимо «Бруэрской компании обоев», в пыльных витринах которой стоят навытяжку, точно свернутые саваны, рулоны образцов, мимо «Сандвичей Блимлайна» и «Оптовой торговли для офисов Мандербаха», а также узкого магазинчика «Рай для хобби», заставленного плоскими коробками, мимо магазина сигар с гигантской заржавелой вывеской и забранных витиеватой железной решеткой окон старого заведения Конрада Уайзера «Для устриц», на черных дверях которого безумно красными буквами начертано теперь «Живой дивертисмент», через Четвертую улицу, где наконец загорается зеленый свет, мимо длинного стеклянного с вкраплением бетона фасада «Акме», который, говорят, к концу года обанкротится, мимо «Косметических продуктов Голливуда» и «Императорских ковровых покрытий», а также «Автозапчастей и приспособлений фирмы «Зенит» со сладковатым запахом новых шин и витриной, где выставлены хромированные выхлопные трубы, они идут, муж с женой, а ветер усиливается, и блестящие от дождя тротуары вырастают на глазах.

Тяжесть, которую тащит Гарри, невыносимо оттягивает ему руки, у него горят ладони, твердые коробки то и дело больно бьют по животу. Теперь он был бы чуть ли не рад, если б его ограбили, но здесь, в западной части улицы, люди, наоборот, обходят их с Дженис, словно в них появилось что-то угрожающее и они сейчас ринутся в атаку со своими коробками. Гарри вынужден то и дело останавливаться, чтобы подождать Дженис, и тяжесть — а ведь он несет вдвое больше, чем она, — тотчас начинает оттягивать ему руки. Фольга, навешанная на алюминиевые фонарные столбы, отчаянно раскачивается. Гарри чувствует, как пот сбегает по его спине под дорогим пальто, а намокший воротничок рубашки, высыхая, холодным скользким краем режет шею. Во время этих остановок он смотрит вдоль Уайзер-стрит и видит лиловато-бурую громаду горы Джадж; в детстве ему мнилось, что Бог отдыхает на склонах этой горы, а теперь ему мнится, что Бог смотрит оттуда на него и Дженис и видит двух муравьев, пытающихся взобраться по краю раковины в ванной. Они проходят фотомагазин, рекламирующий пленку «Агфа», магазинчик «Хексерей» с манекенами, выставляющими напоказ титьки без сосков под прозрачными блузками и пиджаками из золотой пряжи, магазин фирмы «Рексолл» с пастельными вибраторами, разложенными среди рождественских подарков в украшенных ватой и серебряной мишурой витринах, «Блинный дом», где обедают парочки, знаменитый в здешних местах магазин сигар, сохраненный в качестве исторической достопримечательности, и новый магазин под названием «Педализ», специализирующийся на мужской и женской обуви для бега, тенниса, даже тенниса у стенки и сквоша, чем нынче занимаются молодые пары или одиночки, судя по большим картонным изображениям в витрине. Девушка в дакроне с медвяными волосами, развевающимися на ветру, точно они плывут по воде, со смехом бьет по мячу. Наконец впереди возникает первая из четырех больших гранитных колонн Кредитного банка. Гарри прислоняется усталой спиной к ее по-римски массивной толщине в ожидании Дженис. Если ее сейчас обкрадут, пока она не добралась до него, это им обойдется в одну треть от 14 622 долларов, или почти в пять тысяч долларов, но опасность ограбления не кажется ему реальной. В отдалении он видит на спинке одной из бетонных скамеек среди деревьев написанные спреем слова: «Ушлый жив!» Подойди он поближе, Гарри мог бы удостовериться, что не ошибся. Но он не может сдвинуться с места. Наконец Дженис возникает рядом с ним. Когда она раскраснеется, то становится ужасно похожей на мать.

— Не надо здесь стоять, — задыхаясь, произносит она.

Даже путь вокруг колонны кажется бесконечно долгим, когда Гарри следом за женой обходит ее и, пропустив Дженис вперед, протискивается во вращающуюся дверь банка.

Внутри под гулкими сводами звучат рождественские гимны. Высокий узорчатый потолок выкрашен синей краской, и независимо от времени года на нем ровно сияют золотые звезды. Когда Гарри ставит свои две коробки на стойку, за которой клиенты заполняют чеки, он ощущает во всем теле такое облегчение, что кажется, сейчас вознесется в это фальшивое небо. Кассир, женщина в светло-малиновом брючном костюме, улыбается, видя, что они так скоро вернулись за своим сейфом. Ящик у них четыре дюйма на четыре — гораздо уже, как они обнаруживают, чем нужно: три коробки с серебряными долларами, если их поставить в ряд, не влезают туда. Когда дверь из матового стекла закрылась и Гарри с Дженис, еще не отдышавшись, еще чувствуя боль в руках, остались вдвоем в святая святых, они не сразу это замечают. Гарри несколько раз примеряет ширину картонной коробки и ширину жестяного ящика и наконец приходит к выходу:

— Нам нужен ящик побольше.

И Дженис отправляется в банк попросить другой сейф. Ее отец — приятель управляющего. Возвращается она с известием, что в последнее время большой спрос на сейфы и банк может лишь поставить Энгстромов на очередь. А управляющий, которого знал папочка, ушел на пенсию. Нынешний, на взгляд Дженис, очень молоденький, хотя и не грубиян.

Гарри хохочет:

— Ну не можем же мы вернуть сейчас серебро блондинке — мы потеряем на этом состояние. А нельзя ли свалить все снова в мешок и постараться засунуть его в сейф?

В тесном помещении они с Дженис толкаются, мешая друг другу, и он впервые чувствует, что в ней нарастает сомнение, правильно ли он распорядился их деньгами в этом раздираемом инфляцией мире; а может быть, это сомнение возникает у него самого. Но назад уже не повернешь. Они сваливают серебряные доллары из коробок в мешок. Всякий раз, как серебро издает звон, Дженис вздрагивает:

— *Ш-ш-ш*.

— В чем дело? Кто нас слышит?

— Да все, кто там, в банке. Кассиры.

— А не все ли им равно?

— Мне не все равно, — говорит Дженис. — Здесь такая духота, просто ужас. — Она снимает дубленку и, за неимением вешалки, складывает ее и бросает на пол. Гарри снимает свое черное пальто и бросает его сверху. От усталости Дженис вспотела, и волосы у нее завились мелким барашком — челка приподнялась, обнажая высокий блестящий лоб, такой родной сейчас, как и двадцать лет назад; Гарри целует его и чувствует на губах соль. Интересно, кто-нибудь занимался здесь когда-нибудь любовью, думает он, и ему кажется, что железная камера, где они находятся, очень даже подходящее для этого место — какая-нибудь из этих чопорных молодых кассирш и сластолюбивый пожилой чиновник, занимающийся оформлением закладных, поставили бы таймер на зарю и уж потрахались бы всласть. Дженис осторожно опускает стопочки монет в толстый серый мешок, стараясь, чтоб они не звенели.

— Неловко как-то, — говорит она, — а что, если кто-нибудь из этих дам войдет? — Такое впечатление, будто серебро голое, и Гарри, не впервые за двадцать с лишним лет, чувствует, как в нем поднимается любовь к жене, запечатанной вместе с ним в узком пространстве. Он берет один из серебряных долларов и опускает за шиворот ее льняной блузки. Как он и предвидел, она взвизгивает от холода и тотчас гасит визг. От этого он любит ее еще больше, а она расстегивает пуговку на блузке и, насупясь, выуживает из лифчика монету. Гарри, несмотря на возраст, все возбуждает вид женщины, которая возится со своим нижним бельем.

Через некоторое время она объявляет:

— Этот мешок просто туда не влезет.

Как они ни запихивают и ни перекладывают монеты, в сейф влезает едва половина. Они вытаскивают свои страховые полисы и облигации, свидетельство о рождении Нельсона и так и не выброшенные закладные на дом в Пенн-Пилласе, который сгорел, — все эти бумажки, хранимые как свидетельство того, что в их жизни был период, когда им приходилось зажиматься и обращаться к крючкотворам-законникам, — снова их кладут, но ничего не меняется. Толстая материя мешка, склонность монет то выпирать горой, то рассыпаться, узкий прямоугольник серой жестяной коробки — все это положительно приводит их в отчаяние, пока они стоят рядом, точно два хирурга во время безнадежной операции, и пытаются затолкать и запихнуть монеты. А восемьсот восемьдесят восемь монет никак не влезают и то и дело выскакивают из мешка, падают на пол и раскатываются по углам. Когда Гарри и Дженис удалось наконец набить до предела жестяной ящик, так что у него даже стенки выпятились, на руках у них еще осталось триста серебряных долларов, которые Гарри рассовывает по карманам пальто.

Они выходят из помещения, где совершали свою операцию, и любезная кассирша в светло-малиновом костюме хочет забрать у них сейф.

— Он довольно тяжелый, — предупреждает ее Гарри. — Лучше давайте я отнесу.

Она удивленно приподнимает брови, отступает и ведет его в бронированное хранилище. Они входят через высокую дверь, уступчивые края которой отливают металлом, в помещение, где все стены сплошь в сверкающих прямоугольных отверстиях, обмазанных по краю восковой белой краской. Неподходящее это место для траханья. Он ошибся. Кассирша указывает Гарри на пустое отверстие, чтобы он вставил туда свой сейф. Гарри нагибается, весь в поту от усилий. Выпрямившись, он извиняющимся тоном говорит:

— Вы уж нас простите, мы его так перегрузили.

— Ну что вы, — говорит дама в светло-малиновом костюме. — Очень многие так поступают нынче — ведь такое воровство.

— А что будет, если воры проникнут сюда? — шутит он. Оказывается, так шутить нельзя.

— Ну что вы... это невозможно.

А на улице день клонится к вечеру, и блеск фольги уже не так слепит глаза, приглушенный тенью от домов. Дженис игриво похлопывает Гарри по карману, чтобы послушать, как звенят денежки.

— А с этими что ты будешь делать?

— Раздам бедным. Чертова баба, эта продавщица, больше никогда у нее ничего покупать не стану.

От холода пот на его лице высыхает и кожу стягивает. Несколько знакомых по клубу «Ротари» выходят из «Блинного дома», явно как следует набив себе живот, и Гарри, не останавливаясь, приветственно помахивает им рукой. Ведь одному Богу известно, что там без него творится в магазине, парень, может, уже берет на продажу роликовые коньки.

— Ты мог бы воспользоваться магазинным сейфом, — подсказывает Дженис, — можно сложить монеты в одну из этих коробок. — И она протягивает ему одну из пустых картонок.

— Нельсон стянет, — говорит он. — Он теперь ведь тоже знает комбинацию, открывающую сейф.

— Гарри! Ну как ты можешь говорить такое!

— А ты знаешь, во сколько обойдется эта царапина на «крайслере» твоей мамаши? Восемь сотен чертовых монет как минимум. Нельсон, видно, совсем рехнулся. А вот Пру, сразу видно, чувствует себя неловко; интересно, сколько она еще вытерпит, пока не поумнеет и не потребует развода. Это еще тоже будет стоить нам целое состояние. — Пальто у него такое тяжелое, что оттягивает плечи. У него такое чувство, будто тротуар идет под гору, вообще весь этот год почва уходит у него из-под ног — одна потеря за другой. И серебро-то его в разных местах — точно жестянки. Вот сейф развалится — и служитель выметет монеты метлой. Так или иначе, все это — мишура! Великая печальная сказочка для детей, именуемая Рождеством, разукрасила Уайзер-стрит из конца в конец, и в темноте Гарри вдруг прозревает истину: человек богатеет, чтобы его грабили, человек богатеет, чтобы стать бедным.

Голос Дженис возвращает его к реальности:

— Прошу тебя, Гарри! Не делай из всего трагедии. Пру любит Нельсона, и он любит ее. Никакого развода не будет.

— Я думал об этом. Я думал о том, что серебро начнет падать в цене.

— Ну и что, если даже начнет? В любом случае все это игра.

Слава Богу, есть такая дура, которая все еще старается. Дочка старика Фреда Спрингера, местного шефа любителей покататься. Вот он и прикатил себя в обитый атласом гроб. В старину хоронили вместе с серебром и трупы клали в выемки в стенах.

— Я пройду с тобой до машины, — говорит Дженис, заботливая жена. — Мне нужно забрать пакеты от этой сучки, как ты ее называешь. Кстати, тебе очень хотелось лечь с ней в постель? — Она явно старалась найти тему, которая была бы ему интересна.

— Вовсе нет, — признается он. — Просто даже страшно, насколько мне этого не хотелось. Ты обратила внимание на ее ногти? *Цап-царап!*

Неделя между праздниками — Рождеством и Новым годом — всегда тихая для торговцев машинами: люди жмутся после Рождества, а тут еще зима на носу — дороги покроются льдом и солью, и по краям установят барьеры, о которые можно смять крыло, так что все склонны оставаться при своем металлоломе. Езди до износа, пока не наступит весна, — таков закон. Хорошо, что хоть сани задвинули подальше, где никто их не видит, а то они стояли рядом с новенькими маленькими «терселами», точно их дальний родственник. Откуда они берут свои названия? Взять хотя бы «тойоту» — слишком много в коротком слове «о». А «дацун» и «хонда» — откуда они взялись? «Дацун» по звучанию мог происходить от немецкого. В «Придорожной кухне», что напротив, через шоссе 111, дела тоже идут не блестяще: обедать на улице да и в машине — холодно, вот разве что не выключать мотор, но люди каждую зиму умирают от этого, вздумав заняться в машине любовью. И все равно у магазина Гарри скапливаются ужасающие горы промасленных бумаг от сандвичей, картонок из-под молока и просто пыли. А в декабре пыль особая — более серая и колючая, чем летом, — может, на холоде воздушные течения не закручиваются вверх, и потому пыль стелется ближе к земле; а кроме того, холодный воздух выталкивает из себя влагу, и утром, когда просыпаешься, все стекла изнутри в росе. Подумать только, сколько всяких проблем. Металлы ржавеют. Дерево гниет. Мотор утром не заводится, пока не отвинтишь крышку и не протрешь клеммы. Не было бы конденсации — мир мог бы существовать вечно. К примеру, на Луне этой проблемы не существует. На Марсе, оказывается, тоже. На Новый год Бадди Инглфингер устраивает у себя пьянку — наверно, испугался, что может выпасть из компании: узнал, что они отправляются на острова и его не позвали. Интересно, кто будет помогать ему принимать гостей — эта полногрудая зануда с прямыми черными волосами, у которой какой-то идиотский магазин в Бруэре, или та девчонка, что была до нее, у которой все ноги в сыпи и даже сыпь меж грудей — это заметно, когда она в купальном костюме. Как же ее звали? Джинджер? Джорджина? Гарри с Дженис решили, что заглянут к Бадди лишь ненадолго, из вежливости, — в определенном возрасте ты уже все знаешь про эти вечеринки — и смоются сразу после полуночи. А потом еще шесть дней, и — *фьють!* — на острова. Вшестером. Крошка Синди будет там валяться на песке. Да и Гарри необходимо отдохнуть — все эти события просто доконали его. Если ты продаешь меньше одной машины в день, не считая воскресений, — худо твое дело. Все эти железки мигом становятся пыльными и ржавеют, а на хромированных частях появляются пузыри. Коррозия металла. Да еще серебро упало на два доллара за унцию в ту минуту, когда он купил его у этой стервы.

Нельсон, который все это время приставал к Мэнни по поводу починки «крайслера» — малый хочет, чтобы ему сбросили цену и не брали с него по восемнадцать пятьдесят, как с клиентов, а Мэнни снова и снова, точно он полный кретин, объясняет, что, если брать меньше со служащих, это сразу отразится в бухгалтерских книгах, и тогда прости-прощай премия в конце месяца, — подходит сейчас к отцу и останавливается рядом с ним у витрины.

Гарри никак не может привыкнуть к виду парня в костюме: он кажется почему-то еще ниже и напоминает лилипута-конферансье в смокинге, да еще эти длинные волосы, которые он теперь укладывает после каждого душа с помощью фена Пру, — право, Нелли выглядит злобным пижоном, человеком, совершенно незнакомым Гарри. В ярком свете, падающем сквозь стекло витрины, Гарри замечает, что у Нельсона в складке носа вскочил прыщ, который вот-вот лопнет. Солнце в это время года светит под этаким углом — и с каждым днем оно клонится все ниже, — что зеркальное стекло кажется покрытым золотой пленкой пыли. Малый старается проявить дружелюбие. Давай. Расковывайся.

— Ты остаешься смотреть финальную игру «Филадельфийцев»? — спрашивает его Гарри.

— Не-а...

— Этот Джервин, что играет за Сан-Антонио, был черт-те что, верно? Я слышал сегодня утром по радио, что он закончил игру, имея сорок шесть очков.

— В баскетбол теперь играют одни идиоты, если хочешь знать мое мнение.

— Да, там многое изменилось с моих времен, — признает Кролик — Судьи по крайней мере время от времени допускали пробежки с мячом, а теперь, Господи, игроки не вылезают из свалок.

— Я люблю хоккей, — говорит Нельсон.

— Я это знаю. Когда на поле играют эти чертовы «Флайерс», крик стоит такой, что хоть беги из дома. Все эти обезьяны идут на стадион и только и ждут, когда вспыхнет драка и кому-нибудь выбьют зубы. Авось удастся увидеть кровь на льду. — Нет, разговор как-то не так пошел, и Гарри решает переменить тему: — А что ты думаешь по поводу русских в Афганистане? Хорошенький они себе подарок сделали к Рождеству.

— Глупо это, — говорит Нельсон. — Я имею в виду, глупо, что Картер так взбесился. Мы ведь тоже были во Вьетнаме — с той только разницей, что Афганистан-то у русских под боком и у них там многие годы было марионеточное правительство.

— Марионеточное правительство — это совсем не плохо, верно?

— Ну, у *всех* оно есть. По всей Южной Америке наши марионеточные правительства.

— Уверен, что для испашек это будет новостью.

— Во всяком случае, пап, русские если что задумали, так они делают. Мы же только пытаемся что-то сделать, а потом увязаем в политических передрягах. Ни на что мы больше не способны.

— Да, если люди будут рассуждать так, как ты, — говорит Гарри сыну. — А что бы ты сказал, если бы тебя сейчас послали воевать в Афганистан?

Парень хмыкает.

— Пап, я ведь теперь женатый. И к тому же мне давно перевалило за призывной возраст.

Неужели возможно такое безразличие? Гарри, к примеру, не чувствует себя слишком старым, чтобы воевать, а ему в феврале будет сорок семь. Он всегда жалел, что его не послали в Корею, когда он служил в армии, хотя в то время рад был пооколачиваться в Техасе. Там у людей был до смешного примитивный взгляд на жизнь: деньги, пьянки и бабы — и больше ничего. Как это любит говорить Мим? Бог не дошел до Запада — он умер по дороге.

— Ты что же, хочешь сказать, что женился, чтобы не участвовать в будущей войне? — спрашивает он Нельсона.

— Да не будет никакой войны, Картер пошумит-пошумит и махнет рукой: пусть делают что хотят — спускает же он Ирану, хотя они там держат наших заложников. Собственно, Билли Фоснахт говорит, что мы их получим назад, только если Россия оккупирует Иран. Тогда они вернут нам заложников и станут продавать нам нефть, потому что им нужна наша пшеница.

— Билли Фоснахт... этот подонок снова тут объявился?

— Приехал на каникулы.

— Не обижайся, Нельсон, но как ты выносишь этого типа?

— Он мой друг. Но я знаю, почему ты не выносишь его.

— Почему же? — спрашивает Гарри, и сердце у него заколотилось в предчувствии ссоры.

Мальчишка поворачивается к отцу на фоне покрытого золотой пылью стекла, и лицо у него сморщивается от ненависти — ненависти и страха, что он сейчас схлопочет по физиономии за свои слова.

— Да потому, что Билли был в доме в ту ночь, когда ты спал с его матерью, в то время как Ушлый поджег дом и в нем сгорела Джилл, хотя мы должны были бы находиться там и оберегать ее.

Та ночь. Десять лет прошло, а она все не выходит у парня из головы, живет в нем, как клещ, мешающий его росту.

— Это все не дает тебе покоя, да? — мягко произносит Кролик.

Мальчишка даже не слышит его — глаза у него совсем провалились, точно в глину вогнали большие пальцы, чтобы вытащить застрявший комок.

— Это из-за тебя умерла Джилл.

— Не из-за меня и не из-за Ушлого. Неизвестно, кто поджег дом, но, во всяком случае, не мы. Надо перестать об этом думать, мальчик. Мы вот с твоей мамой перестали.

— Я знаю, что перестали.

Электрическая машинка Милдред Крауст стучит в отдалении, по магазину расхаживает пара в коричневых куртках, разглядывая цены, приклеенные к стеклам машин с внутренней стороны, мальчишка смотрит прямо перед собой, словно оглушенный голосом отца, который тщетно пытается достучаться до его сознания.

— Что прошло, то прошло, — говорит Гарри, — надо жить настоящим. Джилл была на это нацелена, и никто из нас не мог бы ничего тут поделать. Когда я впервые ее увидел, на ее лице уже была печать смерти.

— Я знаю, тебе так хочется думать.

— А только так и можно думать. Доживешь до моих лет и поймешь. В моем возрасте, если носить в себе все горе, какое ты видел в жизни, так просто не встанешь утром. — Что-то мелькнуло в лице мальчишки на долю секунды: Гарри чувствует, что сын слушает, и это побуждает его продолжать. — Как только у тебя родится малыш, — говорит он сыну более задушевным, более теплым тоном, — хлопот появится хоть отбавляй. Ты иначе и смотреть будешь на многое.

— Хочешь, я тебе кое-что скажу? — спрашивает Нельсон, каким-то мертвым голосом, глядя сквозь отца глазами, совершенно обесцвеченными косыми лучами солнца.

— Что? — Сердце у Кролика замирает.

— Когда Пру полетела с лестницы. Я не уверен, что не я толкнул ее. Не могу вспомнить.

Гарри смеется — с перепугу.

— Конечно, ты ее не толкал. С чего бы тебе толкать ее?

— Потому что я такой же сумасшедший, как и ты.

— Ни ты, ни я — мы не сумасшедшие. Просто иногда тошно становится.

— Правда? — Похоже, малый благодарен за такую информацию.

— Безусловно. Во всяком случае, никакой беды не произошло. Когда же вы его ждете? Его или ее?

От парня исходит такой густой дух страха, что Гарри не хочется поддерживать с ним разговор. Какие прозрачные стали у него глаза — каряя радужная оболочка словно вдруг вся растворилась.

Нельсон, снова насупясь, опускает взгляд.

— Они считают, еще около трех недель.

— Отлично. Мы как раз успеем вернуться. Слушай, Нельсон. Может, я не все правильно делал в жизни. Я знаю, что это так. Но самого большого греха я не совершил. Я не сложил руки и не умер.

— А кто сказал, что это самый большой грех?

— Все так говорят — церковь, правительство. Это против природы — сдаваться, человек должен все время идти вперед. А с тобой именно это и происходит. Ты не идешь вперед. Ты не хочешь быть тут и продавать драндулеты старика Спрингера. Ты хочешь быть там. — Он указывает на запад. — Чему-то учиться. Планеризму, или работе на компьютере, или чему-то еще.

Слишком долго он говорил, и та брешь, которая на секунду образовалась было в стене, воздвигнутой Нельсоном, закрылась,

— Ты же сам не хочешь, чтобы я был тут, — обвиняюще говорит Нельсон.

— Я хочу, чтобы ты был там, где ты будешь чувствовать себя счастливым, а здесь счастливым ты себя не чувствуешь. Я не хотел сейчас тебе об этом говорить, но мы с Милдред просматривали цифры, и они не радуют. С тех пор как ты у нас появился, а Чарли ушел, продажа машин сократилась примерно на одиннадцать процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года, то есть ноябрем — декабрем.

У мальчишки слезы появляются на глазах.

— Я же стараюсь, пап. Стараюсь держаться дружелюбно и быть напористым и все такое, когда приходят покупатели.

— Я знаю, Нельсон, что стараешься. Знаю, что стараешься.

— Не могу же я выскакивать на улицу и втаскивать покупателя силой.

— Ты прав. Забудь, что я сказал. Понимаешь, дело в том, что у Чарли были связи. Я вот всю жизнь прожил в этом округе, если не считать двух лет армии, а у меня таких связей нет.

— Но я знаю уйму людей моего возраста, — возражает Нельсон.

— Угу, — говорит Гарри, — ты знаешь людей, которые продают тебе старые спортивные машины по фантастической цене. А Чарли знает тех, которые приходят и покупают машины. Он уверен, что они придут, и, когда они являются, это его не удивляет и их не удивляет. Может, все дело в том, что он грек, не знаю. А что бы люди ни говорили обо мне и о тебе, малыш, мы с тобой не греки.

Шутка не помогает: мальчишку ранило куда сильнее, чем хотелось Гарри.

— Не думаю, чтоб дело было во мне, — говорит Нельсон. — Дело в экономике.

Поток транспорта на шоссе 111 возрастает: люди спешат в сгущающихся сумерках домой. Гарри тоже мог бы уехать — ведь Нельсон будет в магазине до восьми. Залезть в «корону», повернуть ручку приемника, подключенного к четырем динамикам, и послушать, как там обстоит дело с серебром. Привет, серебро! Гарри говорит, и голос его — для собственного уха — звучит так солидно, совсем как у Уэбба Мэркетта:

— М-да, экономика, конечно, имеет свои причуды. Эта история с нефтью ударяет по японцам еще больше, чем по нам, а то, что ударяет по ним, нам на пользу. Иена падает, японские машины нынче стоят в долларах дешевле, чем в прошлом году, и это должно было бы отразиться на продаже. — Лицо Синди на фотографии — Гарри никак не может выбросить это из головы: взбудораженная, изумленная, счастливая, точно она сидит в корзине воздушного шара и вдруг почувствовала, что оторвалась от земли. — Цифры, — в заключение сухо изрекает он. — Цифры — они не врут, и они не прощают.

Именно в Новый год Гарри и Дженис решили сообщить мамаше Спрингер новость, которую вот уже неделю хранят про себя. Задержка вызвана их страхом перед тем, как старуха это воспримет, а кроме того, желанием обставить все торжественно, выказать уважение к священным семейным узам, объявив о разрыве этих уз в немаловажный день, первый день нового десятилетия. Однако теперь, когда день этот наступил, они чувствуют лишь похмелье и пустоту в голове после того, как накануне проторчали у Бадди Инглфингера до трех часов ночи. Они поздно двинулись в путь и еще больше задержались из-за того, что никак не могли выехать: на подъездной аллее застряла машина, принадлежавшая двоюродному брату Тельмы Гаррисон, который приехал погостить из Мэриленда. Много было пьяного крика и неумелых попыток завести машину при свете фар, наконец нашли тросы, и «вольво» Ронни подвели нос к носу к «нова» двоюродного брата, а все светили карманными фонариками, помогая Ронни соединить полюс с полюсом и не сжечь батареи. Гарри приходилось видеть, как в подобных обстоятельствах буквально расплавлялись тросы. Какая-то женщина, которую он едва знал, сумела засунуть себе в рот карманный фонарик, и щеки ее светились, как абажур. Бадди и его новая пассия, шалая тощая дылда с мелко завитыми волосами и тремя детьми от неудачного брака, приготовили что-то вроде пунша из ананасового сока, рома и коньяка, и сейчас, хотя уже полдень, Гарри по-прежнему то и дело ощущает вкус ананасового сока во рту. У Гарри болит голова, а тут еще Нельсон и Пру, которые провели вчера вечер дома с бабулей у телевизора — шла передача из Нью-Йорка, непосредственно с Таймс-сквер, где выступал брат Ги Ломбарде, занявший его место после того, как сам Ги Ломбарде умер, — засели в гостиной и смотрят парад с фестиваля хлопка из Техаса, поэтому Гарри и Дженис приходится отозвать мамашу Спрингер на кухню, чтобы поговорить с ней наедине. Какая-то мертвечина и застой отмечают начало нового десятилетия. Когда они садятся за кухонный стол для разговора, Гарри кажется, что они уже так сидели и сейчас повторяют для дубля.

Дженис — глаза у нее от усталости обведены черными кругами — поворачивается к нему и говорит:

— Начинай ты, Гарри.

— Я?

— Господи, что же это такое может быть? — спрашивает мамаша, делая вид, будто сердится, а на самом деле очень довольная торжественностью, с какою они под руки привели ее сюда. — Вы ведете себя так, точно Дженис беременна, но я-то знаю, что у нее перевязаны трубы.

— Выжжены, — тихо, с болью произносит Дженис.

— Видите ли, Бесси, — начинает Гарри, — мы ищем себе дом.

Игривость слетает с лица старухи, точно в нее стрельнули из рогатки. Гарри вдруг замечает, что кожа в уголках ее плотно сжатых губ вся в тоненьких, сухих, пересекающихся морщинках. А ему-то казалось, что теща все такая же крепко сбитая, какою он впервые ее увидел, тогда как на самом деле незаметно для него кожа у Бесси обвисла и потрескалась, как замазка на слуховом окне, стала похожей на бумагу, когда ее скомкаешь, а потом расправишь. Он снова чувствует во рту привкус ананасового сока. Тошнота, черным шариком засевшая внутри, быстро разрастается, катясь по великой пустыне сурового, выжидающего молчания старухи.

— Ну вот, — продолжает он, сглотнув слюну, — мы считаем, что нашли подходящий дом. Небольшой двухэтажный особняк в районе Пенн-Парка. Агент полагает, что это был, очевидно, домик садовника, который продали, когда ликвидировали поместья, а затем владельцы пристроили к нему более просторную кухню. Это возле съезда с Франклин-драйв, за большими домами; стоит он совсем обособленно.

— И всего в двадцати минутах отсюда, мама.

Гарри никак не может оторваться от созерцания старухиной кожи в холодном свете, заливающем кухню. Таинственная жизнь вен под кожей, придававшая ее лицу румяный здоровый вид, который унаследовала Дженис, сейчас как бы прикрыта налетом серой пыли, в которой морщины на ближайшей к нему освещенной щеке проложили ряд за рядом неразборчивые письмена вроде тех, что встречаешь на далекой известковой скале. Он чувствует себя таким огромным, словно башня, неуверенно возвышающаяся над обеими женщинами, и все жалкие слова, которые он со стыдом из себя выдавливает, перелетают через огромное пространство, страшную, все расширяющуюся пропасть, которая отделяет его от мамаши, безмолвно ожидающей решения своей участи.

— Буквально рядом, — говорит он ей, — и с тремя спальнями наверху, там есть комнатка, в которой раньше играли детишки, а кроме того, две настоящие спальни, и мы будем счастливы приютить вас в любое время на столько, на сколько будет нужно. — Он чувствует, что не то говорит: ведь это значит, что старуха снова будет жить с ними и ее телевизор будет бормотать за стеной.

— Право же, мама, — встревает тут Дженис, — куда разумнее, чтобы мы с Гарри сейчас поселились отдельно.

— Но мне пришлось уговаривать ее, ма: это ведь была моя идея. Когда вы с Фредом так по-доброму приняли нас после того, как мы снова съехались, я вовсе не думал, что мы осядем здесь навсегда. Я считал эту ситуацию временной, пока мы снова не встанем на ноги.

А нравилось ему в этой ситуации — теперь он это понимал — то, что было бы легко расстаться с Дженис: вышел на улицу и оставил с родителями. Но он не ушел от нее и теперь уже не может уйти. Она же его богатство.

Дженис пытается смягчить мать, побудить ее нарушить молчание.

— И потом, это вложение капитала, мама. У всех наших знакомых есть собственный дом, даже у того холостяка, у которого мы были вчера вечером, а ведь многие зарабатывают куда меньше Гарри. Недвижимость — единственное, во что при такой инфляции можно вкладывать деньги, если они у тебя есть.

Мамаша Спрингер наконец раскрывает рот, с каждым словом непроизвольно повышая голос:

— Вы же получите этот дом, когда меня не станет, подождите немного. Неужели вы не можете еще немного подождать?

— Мама, ты же ужас что говоришь. Не хотим мы дожидаться *твоего* дома, мы с Гарри хотим иметь *свой* дом, сейчас. — Дженис закуривает и, чтобы спичка не дрожала, крепко упирается локтем в стол.

— Бесси, вы будете жить вечно, — заверяет старуху Гарри. Но теперь, увидев, какой стала ее кожа, знает, что это не так.

А она, широко раскрыв глаза, вдруг спрашивает:

— Что же в таком случае будет с этим домом?

Кролик чуть не расхохотался — такое детское стало у старухи лицо, да и голос совсем тоненький.

— Все будет отлично, — заверяет он ее. — Раньше, когда строили, так строили на века. Не то что эти сараи, которые наспех сколачивают теперь.

— Фред всегда хотел оставить этот дом Дженис, — объявляет мамаша Спрингер, снова сощурясь и глядя в пространство между головами Гарри и Дженис. — Чтобы обеспечить ее на будущее.

Теперь смеется Дженис:

— Мама, мое будущее вполне обеспечено. Мы же рассказывали тебе про золото и серебро.

— Когда ты играешь с деньгами, что-то непременно теряешь, — говорит мамаша. — Я вовсе не хочу, чтобы после меня дом продали с аукциона какому-нибудь бруэрскому еврею. Они теперь перебираются сюда, после того как черные и пуэрториканцы поселились в северной части города.

— Да перестаньте, Бесси, — говорит Гарри, — не все ли вам равно? А кроме того, как я уже сказал, вам еще жить и жить, ну а когда вас не станет, значит, не станет. Отпустите нас — всегда приходится ведь от чего-то отступаться и перекладывать заботы на другие плечи. В Библии на каждой странице об этом говорится. Отпустите — Господу виднее[[39]](#footnote-39).

Судя по тому, как дергается Дженис, он, очевидно, наговорил лишнего.

— Мама, мы ведь можем еще и вернуться сюда...

— Когда старая ворона умрет. Почему вы с Гарри не сказали мне, что мое присутствие вам так тяжко? Я ведь старалась как можно больше сидеть в своей комнате. Спускалась на кухню, только когда видела, что некому, кроме меня, приготовить...

— Мама, прекрати. Ты чудесно себя вела. Мы оба тебя любим.

— Грейс Штул взяла бы меня к себе — она много раз предлагала. Хотя дом у нее и вполовину меньше этого, а крыльцо такое высокое. — Она шмыгнула носом так громко, что это звучит точно крик о помощи.

Нельсон громко спрашивает из гостиной:

— Бабуля, когда обед?

— Вот видишь, мама, — тотчас вставляет Дженис. — Ты забываешь про Нельсона. Он же будет жить здесь со своим семейством.

Старуха снова шмыгает носом, уже менее трагично, и, поджав губы, глядя покрасневшими глазами прямо перед собой, говорит:

— Может, будет, а может, и нет. На молодежь трудно рассчитывать.

— Вот на этот счет вы совершенно правы, — говорит Гарри. — Они не желают бороться и не желают учиться, им только бы сидеть сиднем и накачиваться.

Нельсон входит на кухню с газетой, сегодняшним бруэрским «Стэндардом», под мышкой. Вид у него на этот раз веселый — должно быть, выспался. Он сложил газету так, чтобы видна была викторина о семидесятых годах, и, обращаясь ко всем, спрашивает:

— Скольких из этих людей вы знаете? Рене Ришар, Стивен Уид, Меган Маршак, Марджо Гортнер, Грета Райдаут, Спайдер Сэйбич, Д.Б. Купер. Я знаю шестерых из семи, а Пру — только четверых.

— Рене Ришар был приятелем Пэтти Херст, — произносит Кролик.

Увидев выражение лица бабушки, Нельсон спрашивает:

— Что тут у вас происходит?

— Мы тебе потом объясним, лапочка, — говорит Дженис.

А Гарри сообщает:

— Мы с твоей мамой подыскали себе дом и намереваемся туда переехать.

Нельсон смотрит на одного, потом на другую, и кажется, он сейчас закричит — так побелело у него вокруг рта. Но вместо этого он спокойно произносит:

— Значит, удираете. Удираете, артисты. Ну и черт с вами обоими. Папочка и мамочка. Катитесь ко всем чертям.

И он возвращается в гостиную, где грохот барабанов и тромбонов заглушает слова, которыми обмениваются они с Пру, запутавшись в лабиринте своего такого еще недавнего брака. Малый испугался. Почувствовал себя брошенным. Обстоятельства захлестывают его. Кролику знакомо это чувство. Несмотря на все расхождения между ним и сыном, бывают минуты, когда у него возникает впечатление, будто между их с Нельсоном душами проложена короткая стальная трубка — настолько точно он знает, что чувствует в данный момент парень. И тем не менее только потому, что человек боится остаться один, не должен же он, Гарри, торчать здесь, будто этакий большой толстый увалень, всеобщая палочка-выручалочка, как выразилась однажды Мим.

Дженис и ее мать сидят держась за руки, лица у обеих в слезах. Когда Дженис плачет, лицо у нее расплывается, и она становится такой уродиной — совсем как в детстве.

— О, я знала, что вы искали себе дом, — причитает ее мамаша, словно бы разговаривая сама с собой, — но мне как-то не верилось, что вы действительно станете его покупать, если со временем получите это бесплатно. Может, нам что-то тут изменить, перестроить, чтобы вы передумали, или, может, вы хотя бы дадите мне попривыкнуть к этой мысли? Слишком я стара — вот в чем дело, слишком стара, чтобы нести такое бремя. Мальчик, он, конечно, полон добрых намерений, но у него сейчас такая каша в голове, а девочка — не знаю. Она готова все на себя взять, но я не уверена, что она это может. Честно говоря, я боюсь появления младенца — я все пыталась вспомнить, как это было, когда родилась ты, а потом Нельсон, и, сколько ни стараюсь, не могу. Помню только, что с молоком у тебя вышли какие-то неполадки и доктор был с тобой так груб, что Фреду пришлось вмешаться и сказать ему пару слов.

Дженис кивает, кивает, от слез у нее сбоку блестит, жилы на шее с каждым всхлипом обозначаются резче.

— Хоть мы и сказали, что подпишем бумаги, но, может, нам подождать, раз ты так к этому относишься, — подождать, по крайней мере пока не родится ребенок.

Обе сидят и раскачиваются, сцепив руки на столе, касаясь друг друга головами.

— Делай то, что ты считаешь нужным для своего счастья, — говорит мамаша Спрингер, — иди вперед, а мы, оставшиеся, как-нибудь справимся. Ну не умру же я, а ничего хуже случиться не может; если же умру, так, глядишь, и к лучшему.

От этих ее слов Дженис совсем раскисает: лицо все в слезах, под глазами, обведенными чернотой, набрякли мешки, она приникает к матери, отказывается от нового дома, умоляет простить ее:

— Мама, мы думали, Гарри был уверен, ты не будешь чувствовать себя одиноко с...

— С такой морокой, как Нельсон, в доме?

Крепкий орешек. Пора Гарри вмешаться, не то Дженис совсем капитулирует.

— Послушайте, Бесси, — говорит он жестко. — Вы хотели иметь эту мороку, вы ее и получили.

Свобода? Бетон летит назад под колесами; вот они оторвались от земли, и под одним из закругленных огромных крыльев мелькает старый рыжий Форт, а бензохранилища южной Филадельфии превращаются в белые шашечки. Шасси со стуком уходят в пазы, и пронзительно-яркие огни вспыхивают на неподвижной алюминиевой поверхности рядом с окном. Самолет так стремительно поднимается вверх, что тело наливается тяжестью, рука Дженис стала влажной в его руке. Она попросила его сесть к окну, чтобы ей не приходилось смотреть вниз. А внизу — болота, высохшие и прочерченные полосками соленой воды. Гарри поражается обилию промышленных зданий за заливом Делавэр — плоские серые крыши размером со стоянки для машин и стоянки для машин — сплошь сверкающие автомобильные крыши, точно пол в ванной, выложенный вместо кафеля драгоценными камнями. Почти такое же впечатление производят и свалки старых машин. Надпись НЕ КУРИТЬ гаснет. За спиной Энгстромов звучат голоса Мэркеттов и Гаррисонов. Они выпили в аэропортовском баре, хоть было всего одиннадцать утра. Гарри летал и раньше — в Техас, когда служил в армии, а также на совещания торговцев автомобилями в Кливленд и Олбани, однако ни разу вот так, на отдых, прямо на восток, навстречу солнцу. Как быстро, как бесшумно «Боинг-747» пожирает милю за милей — расстояния сверху кажутся игрушечными. Солнечный свет передвигается вместе с ними, вмиг пересекая озера, словно это зеркала. Зима до сих пор была на редкость мягкой — назло аятолле: на полях для гольфа лужайки кажутся живыми кругами и овалами, а на дорожках он видит движущиеся точечки — это игроки. Теннисные корты с этой высоты выглядят как кости домино, кинотеатры под открытым небом — как веер, а бейсбольные поля — как рассыпанные монеты. Внизу машины еле ползут по идеально прямой дороге, будто по рельсам. Дома Камдена постепенно разбегаются, нехотя уступая место вспаханному полю или усадьбе с затейливым домом и глазком бассейна, упрятанного среди леса; а через минуту самолет Гарри, продолжая набирать высоту, уже летит над черно-красным ковром сосновых крон Нью-Джерси, прорезанным желтыми дорогами и вырубками, однако по большей части еще не испорченным человеческим присутствием и прочерченным среди темных массивов вечнозеленых растений, следуя холмистому рельефу и водным потокам, венам более светлых листьевых деревьев — отсюда, с высоты, глазу видны все оттенки, соперничающие на земле. Дженис выпускает руку Гарри — значит, преодолела свой страх.

— Что ты там видишь? — спрашивает она.

— Побережье.

И в самом деле, могучая машина, бесшумно сделав рывок, домчала их до конца зеленого океана, и теперь под ними песчаная коса, отделенная от материка лентой поблескивающей воды и легкомысленно застроенная вытянувшимися в одну линию летними курортами, воздвигнутыми строителями, которые — в противоположность Гарри — не могли видеть, как легко океан может приподнять свое широкое блестящее плечо и затопить все, стереть всякий след присутствия людей. Там, где океан наступает на белый песок, медленно колышется прибой, словно кружевная змея. Затем самолет летит над Атлантикой на такой высоте, откуда на раскинувшейся внизу голубизне не видно белых гребешков и вокруг одна безбрежная пустота. И самолет со своим гулом снаружи и перешептываниями и позвякиваниями внутри становится для тебя всем миром.

Стюардесса с лицом, словно нарисованным на эмали, приносит им на подносе из светлого пластика обед, упакованный в целлофан. Хотя она сильно накрашена, Гарри кажется, что он видит под гримом, когда она с улыбкой наклоняется к нему, чтобы спросить, что он будет пить, тени — следы бурно проведенной ночи. Он где-то читал — в «Клубе» или в «Уи», — что у этих девиц по дружку в каждом городе — словом, по двадцать — тридцать мужчин у каждой из этих девчонок, фантастических путешественниц нашего времени по морю секса. Еще в аэропорту его поразили люди: в выстланных бобриком коридорах толпились всякие чудилы, люди немыслимых размеров и немыслимых одеяний, смертельно бледные девицы в огромных очках и с такой копной мелко завитых волос, что можно было бы заполнить ими корзину; враскачку шли черные мужчины в длинных меховых шубах и приталенных бархатных костюмах, высокий бледный юноша в тюрбане и стеганой куртке на пуху, карлик в клетчатом шотландском берете, какая-то женщина, такая толстая, что, не умещаясь на пластиковом кресле в зале ожидания, вынуждена стоять, опираясь на алюминиевый «ходунок» о трех ногах. Да, жизнь за пределами Бруэра пестрая и шалая. Все точно разряженные клоуны. Кролик и его пятеро спутников тоже вырядились — на них под зимними пальто легкая летняя одежда. Синди Мэркетт — в открытых туфлях без пятки, на высоком каблуке, Тельма Гаррисон шлепает в шерстяных носках и теннисных туфлях. Они все то и дело смеются друг над другом, выдавая тем самым, что они из округа Дайамонд, где принято так себя вести. Гарри не прочь немножко поднакачаться, но он боится утратить восприятие яркости окружающего мира, явившееся ему откровением, что за пределами Бруэра планета еще способна вызывать восторг. В такие минуты его раздражает собственное тело, то, что у него всего пять окон в мир, — этого недостаточно, чтобы охватить вселенную. От счастья сердце его подпрыгивает. Бог, который теперь, в зрелые годы Гарри, значит для него не больше виноградины, закатившейся под сиденье машины, вдруг снова приобрел огромное значение — он всюду, словно всепроникающий бодрящий ветер. Свобода — мертвые и живые остались внизу, на расстоянии пяти миль под ними, в дымке, застлавшей землю, словно мутный налет от дыхания на зеркале.

Гарри отворачивается от маленького окошечка с двойными рамами, забранными каким-то цветным материалом, который весь в горизонтальных царапинах, точно прошел град из метеоритов. Дженис листает рекламный журнал авиакомпании.

— Как ты думаешь, они справятся? — спрашивает он ее.

— Кто?

— Твоя мамаша, Нельсон и Пру — кто же еще?

Она перелистывает глянцевую страницу. Точная копия матери в профиль — губы крепко сжаты с таким выражением, будто она только что произнесла печальную истину и не намерена отступать.

— Думаю, лучше, чем при нас.

— Они тебе что-нибудь говорили про дом?

Гарри и Дженис два дня тому назад, во вторник, подписали купчую, а накануне, в понедельник, седьмого января, продали свое серебро «Финансовым альтернативам». Серебро под влиянием паники, обуявшей в связи с событиями в Афганистане тех, кто нажил большие деньги на нефти, стоило в тот день 36 долларов 70 центов; таким образом, каждый из серебряных долларов, которые они купили по 16,50 за штуку, включая налог на продажу товаров, стоил теперь, согласно подсчетам платиновой блондинки, 23,37 доллара. Дженис, которая недаром время от времени все эти годы работала в магазине отца, повернула к себе маленький компьютер и, пощелкав на нем, вежливо указала продавщице, что если серебро стоит 36,70 доллара за тройскую унцию, то семьдесят пять процентов от этой суммы составляют 27,52 доллара. Но, заметила молодая женщина, не хотите же вы, чтобы «Финансовые альтернативы» продавали серебро дешевле слитков, а покупали по той же цене. Выглядела она менее ухоженной — крошечный прыщик в уголке губ превратился в нечто такое, что пришлось прикрыть круглым кусочком пластыря. Однако, позвонив куда-то в глубину здания — сама-то она сидит в помещении, отделенном от улицы лишь тоненькими жалюзи, — она сообщила, что они могут получить ровно по двадцать четыре доллара за монету. Таким образом, восемьсот восемьдесят восемь штук составили 21 312 долларов, иными словами, меньше чем за месяц они нажили 6 660 долларов. Гарри пожелал оставить себе на память восемь красивых старых колес, так что цифра на чеке сократилась до 21 120 долларов — в любом случае более магическое число. Они достали свое неподъемное богатство из жестяного ящика в бруэрском Кредитном банке и из сейфа в «Спрингер-моторс», на сей раз заранее позаботившись о том, чтобы меньше нести его на руках, и запарковав «корону» вопреки правилам во втором ряду на Уайзер-стрит. На другой день, когда цена на серебро упала до 31,75 доллара за унцию, они подписали все в том же бруэрском банке обязательство на 62 400 долларов сроком на двадцать лет из расчета по тринадцать с половиной процентов годовых, на полтора процента меньше текущей ставки и при условии возобновления обязательства через три года. Каменный домик в Пенн-Парке, некогда бывший приютом садовника, стоил 78 000 долларов. Дженис хотела внести 25 000 долларов, но Гарри заметил, что во времена инфляции хорошо иметь долг, что проценты по закладной вычитаются из налога и сертификат на минимальную сумму в 10 тысяч долларов, положенных на шесть месяцев, дает нынче около 12 процентов. Таким образом, они решили договориться о 20-процентной марже или внести 15 600 долларов, на что банк, учитывая отличную кредитоспособность мистера Энгстрома и его семьи, с удовольствием согласился. И вот Дженис и Гарри вышли из банка между монументальными колоннами, щурясь от света зимнего дня, уже домовладельцами, которые через день улетят туда, где еще лето. Проходят годы, и ничего не происходит, а потом одно событие следует за другим. Закипает вода, расцветает кактус, объявляется рак.

— Мама, кажется, смирилась, — говорит Дженис. — Она рассказала мне длинную историю о том, как ее родители, которые, насколько тебе известно, занимали в округе более высокое положение, чем Спрингеры, предложили ей с папой поселиться у них, пока он изучал счетоводное дело, и он сказал — нет, если он не в состоянии дать своей жене крышу над головой, не следовало ему жениться.

— Надо бы ей рассказать эту историю Нельсону.

— Я не стала бы слишком жать сейчас на Нельсона, что-то его грызет.

— Я не жму на него, это он на меня жмет. Так нажал, что выставил из дома.

— Возможно, наш отъезд перепугал его. Он почувствовал, что у него есть обязанности.

— Пора бы уже малому проснуться. А как, по-твоему, смотрит на все это Пру?

Дженис вздыхает — еще один звук, потонувший в шуршании, сопровождающем полет. Маленькие тупорылые насадки над их головой шипят, подавая кислород. Гарри так хочется услышать, что Пру ненавидит Нельсона, что она жалеет о своем браке, что рядом с отцом сын выглядит психопатом.

— Да, по-моему, никак, — говорит Дженис. — Мы иногда с ней беседуем, и она знает, что Нельсон несчастен, но она верит в него. Тереза ведь так рвалась уехать подальше от своих родных из Огайо, что теперь она не может быть слишком разборчивой — с кем свела ее жизнь, с тем и свела.

— Она по-прежнему продолжает хлебать этот мятный ликер?

— Она немного легкомысленная, но в этом возрасте они все такие. Кажется, что ни случись — со всем ты справишься и дьявол никогда не попутает тебя.

Гарри дружески подталкивает ее локтем, показывая, что все помнит. Дьявол ведь попутал ее двадцать лет тому назад. Общая вина лежит на них, как пристяжные ремни, и держит их крепко, но чувствуют они ее, только когда пытаются пошевелиться..

— Эй вы, влюбленные птички! — раздается громкий голос пустозвона Ронни Гаррисона, он смотрит на них сверху, из-за спинок кресел, дыша виски. — Уделите нам немного внимания, а ворковать будете дома.

И остальные три часа полета они проводят со своими четырьмя друзьями — пересаживаются, стоят в проходе, передвигаются по широкому нутру «боинга», точно они в длинной гостиной Уэбба Мэркетта. Они накачиваются спиртным и вспоминают, как вместе проводили время: такое впечатление, что забудь они все и замолчи, и эта задуманная ими совместная поездка лопнет, как мыльный пузырь, а они все шестеро вылетят в пустоту, окружающую и держащую в высоте эту подрагивающую скорлупу — самолет. Синди все это время ведет себя любезно, но отчужденно, словно младшая сестра или посторонняя женщина, случайно очутившаяся среди людей, настроившихся на отдых. Она сидит на краешке своего кресла у окна, нагнувшись вперед, стараясь не пропустить их шуток; глядя на нее, трудно поверить, что у этой женщины в строгом темном костюме и блузке с пышным белым бантом, напоминающим Гарри портреты Джорда Вашингтона, есть укромные местечки — складочки, волосня, влажные пленки — и что Гарри поставил себе целью во время этой поездки обследовать их. Самолет начинает снижаться, в желудке у Гарри все сжимается; вещий голос пилота объявляет с техасским акцентом, что пассажирам надлежит вернуться на свои места и приготовиться к посадке. Теперь, когда Дженис уже под парами, Гарри спрашивает, не хочет ли она сесть к окну, но она говорит — нет, ей страшно смотреть вниз, пока они не приземлились. А Гарри сквозь поцарапанный плексиглас видит молочно-бирюзовое море, испещренное пурпурно-зелеными тенями затонувших островов. Одинокая яхта. Затем неровный абрис каменистой косы, оканчивающейся белым песчаным пляжем, — словно рука в манжете. Домики с красными крышами летят на него. Шасси со стоном высвобождаются из пазов и замирают. Самолет облетает болото. Гарри приходит в голову помолиться, но он не может сосредоточиться, к тому же Дженис так крепко сжала его руку, что больно костяшкам. Мимо мелькают дом с флюгером, брошенный бульдозер, безлистные деревья, которые на самом деле пальмы; глухой удар, легкий разворот, громкое шипенье и грохот, затем взвизг и скрежет. Взвизг прекращается, они сбавляют скорость, они на земле, и в поле их зрения появляется длинное низкое розовое здание аэровокзала, к которому подкатывает «Боинг-747». Внезапно вспотев, держа на руке зимние пальто и поспешно отыскивая солнечные очки, они устремляются к выходу. На вершине серебряной лестницы, ведущей вниз, на бетон, тропический воздух, такой теплый, влажный и ласковый, закручиваясь крошечными воронками, ударяет, точно из распылителя, Кролику в лицо, но все портит Ронни Гаррисон, шепнув ему сзади в ухо:

— Ух ты! Ни одна девка так ласкать не умеет.

Еще омерзительнее, чем голос Ронни, испоганивший эту бесценную хрупкую минуту первой встречи с новым миром, звучит смех женщин, для чьих ушей это и было произнесено. Дженис хохочет, этакая тупица. И стюардесса, чье лицо, словно нарисованное на эмали, покрылось капельками пота от жары, хлынувшей в дверь, стоит у порога и говорит: «До свиданья, до свиданья», — и улыбается всем без разбора.

Смех Синди взлетает девчоночьим взвизгом, и почти тотчас раздается ее протяжное:

— Ронни!

Кролику противно это слышать и одновременно сладостно при воспоминании о полароидных снимках, которые он видел в ящике.

Дни отдыха сменяют друг друга, и кожа Синди постепенно приобретает оттенок красного дерева — как всегда летом у бассейна в «Летящем орле», — и, когда она выходит из бериллового Карибского моря в том же черном бикини с тонюсенькими лямочками, с нее так же стекает вода, только на коже поблескивает соль. Тельма Гаррисон в первый же день сильно сгорела и из-за этой своей непонятной болезни плохо себя чувствует. Весь второй день она сидит в своем бунгало, тогда как Ронни почти не вылезает из воды, а на суше ведает пополнением напитков из бара, сооруженного из бамбука прямо на песке. По пляжу расхаживают чернокожие старухи, предлагая бусы, ракушки и пляжные принадлежности, и на третий день утром Тельма покупает у одной из них широкополую соломенную шляпу и розовый халат до полу, с длинными рукавами, так что теперь, полностью в него укутанная, намазанная кремом против загара и прикрыв кончики ног полотенцем, она сидит в тени железного дерева и читает. Ее лицо под широкополой шляпой, когда она взглядывает на лежащего на солнце Гарри, кажется серым, худым и злокозненным. Рядом с ней он почему-то хуже загорает, но он твердо решил вести себя как все. Там, где кожу нажгло солнце, она болит, и это вызывает у него ностальгию — так болели мускулы, когда он занимался спортом. В море он плавает на мелководье — из страха перед акулами.

Каждое утро мужчины отправляются на поле для гольфа рядом с курортом, ездят на тележках с навесами по дорожкам между зарослями ежевики, от которой нет спасения, — в самом деле, в поисках пропавшего мяча можно оступиться и попасть в глубокую яму. Остров стоит на коралловых рифах, изрытых пещерами. По вечерам развлечения сменяют друг друга в строго установленном на неделю порядке. Прилетели они на остров в четверг — в этот вечер были состязания крабов; на другой вечер они любовались танцем живота, а на следующий — в субботу — сами танцевали под джаз. Каждый вечер гремит музыка и танцы у «олимпийского» бассейна под звездами, которые здесь кажутся гораздо ближе и как-то даже угрожающе мигают в небе — словно застывшие осколки взрыва. Есть созвездия совсем незнакомые: Уэбб Мэркетт. который узнал звезды во время своего пребывания на флоте — он записался в армию в 45-м году, когда ему было восемнадцать, и в конце войны пересек Тихий океан на авианосце, — показывает им Южный Крест, а расплывающееся пятно в небе, по его словам, — это другая галактика, и они все видят, что Большая Медведица здесь как бы стоит на своем хвосте, чего они никогда не видели в юго-восточной Пенсильвании..

Ах, эта крошка Синди, к каждому ужину она является все более загорелой, всем своим видом взывая о любви. Призывно блестят даже ее зубы — такие они стали белые; а этот цветок олеандра, который она каждый вечер срывает с куста возле своего бунгало и втыкает себе в волосы, распушившиеся от долгого плавания, а ее смуглые пальчики, на которых ногти кажутся светлыми лепестками. Стремясь подчеркнуть свой загар, она носит белые платья, которые ярко блестят, когда она выходит из дамской комнаты за бамбуковым баром и ты смотришь на нее с другой стороны бассейна, где на дне по ночам зажигаются лампы, так что кажется, будто там затонула луна. Синди утверждает, что она толстеет: эти ананасные коктейли, и банановые дайкири, и ромовые пунши — в них столько калорий, просто стыд и срам. Однако она еще ни разу не отказалась выпить — никто из них не отказывается: начинают утром с «Кровавой Мэри» для подкрепления сил игроков в гольф и кончают «Горячительным», который выпивают после полуночи, непрерывно болтая.

— Гарри, во что же это выльется при расчете? — недоумевает Дженис. — Ты только и делаешь, что подписываешь счета за всех.

— Успокойся, — говорит он ей. — Лучше истратить деньги, чем отдать на съедение инфляции. Ты слышала, как Уэбб говорил, что доллар нынче стоит ровно половину того, что стоил десять лет назад, в семидесятом году? Так что в действительности это уже не доллар, а пятьдесят центов. Успокойся.

На самом-то деле он относит все затраты на счет компании по завоеванию Синди — он просто должен с ней переспать до того, как истечет эта неделя. Он чувствует, что этот момент приближается, приближается для всех них, что стены, разделяющие их, словно бы утончаются: он, к примеру, в точности знает, когда Уэбб откашляется и потом закурит; постоянное пребывание друг у друга на глазах и непринужденное молчание час за часом ослабляют сдерживающие центры, пока они под солнцем и при луне лежат вытянувшись в шезлонгах с виниловым плетением, которые повсюду тут стоят. Их руки соприкасаются, передавая напитки, или спички, или лосьон для загара, они то и дело заглядывают друг к другу в бунгало — собственно, Кролик случайно видел голую Тельму Гаррисон как-то днем, когда возвращал им масло от солнечных ожогов. Она лежала на кровати, чтобы немного охладить обожженное солнцем тело, и поспешно нырнула в ванную при звуке его голоса у двери, но все же недостаточно поспешно. Он успел увидеть проем между ее ягодицами, все ее длинное бледное тело и без единого слова или извинения отдал масло Ронни, который тоже был голый, — они ведь целый день ходили полуголые, если не считать Тельмы, обычно прятавшейся под деревом: Дженис натирала лосьоном для загара складки на красной шее Уэбба, крупное хозяйство Ронни образовывало холмик на его непристойно маленьких, европейского стиля трусах, крошка Синди развязывала черную лямку на спине для ровного загара и показывала в профиль для всеобщего обозрения одну из своих титек, когда протягивала руку, чтобы взять с подноса «Плантаторский пунш», который приносил им бой. У черных здесь более шелковистая кожа, чем у американских черных, они чернее и двигаются мягче. Часам к четырем, когда по песку, словно узловатые пальцы, протягивается тень от железного дерева, а лица у мужчин становятся такими красными, точно их вынули из печки, хотя тележки с клюшками для гольфа снабжены небольшими навесами, они уходят с пляжа (до чего же шуршание пальм действует Гарри на нервы: по ночам ему все кажется, что идет дождь, хотя дождя за все время ни разу не было) и перебираются на затененную площадку возле «олимпийского» бассейна, где местные парни в белых куртках официантов обходят их, принимая заказы на напитки, а раскаленное добела солнце медленно опускается к горизонту и ровно в шесть среди всплеска золота и багрянца стремительно погружается в море. Потрясенный этой картиной, доставляющей ему острое наслаждение, Гарри смотрит вслед исчезнувшему светилу, в то время как Синди перекатывается в своем шезлонге — плетение его изрезало продольными полосами ее чудесное пухлое тело, оставив на нем следы, точно колеи в глине. Тельма сидит настороженная, вся укутанная; Уэбб о чем-то разглагольствует; Ронни заводит у бамбукового бара новых друзей. Это в нем живет торгаш — он должен все время тренировать свое умение общаться. Его голос несется над океаном по зыби, а какой-то одинокий блондинчик, уже намокший до осатанения, ныряет и уплывает вдаль в то время, как надо идти ужинать. В иные вечера после заката на горизонте появляется зеленая полоса. Дженис, хотя время от времени Гарри испытывает приливы любви ней, сейчас представляется ему помехой, стоящей на пути сигналов, которые, возможно, посылает ему Синди; по счастью, Уэбб занимает Дженис разговором на неиссякаемую тему — о деньгах, видя в ней даму из бруэрской элиты.

— Нам кажется, четырнадцать процентов налога — это катастрофа, и в Израиле людям приходится платить сто одиннадцать процентов, цветной телевизор стоит там тысячу восемьсот долларов. А в Аргентине платят сто пятьдесят процентов в год, можете мне поверить — я не обманываю. В Токио фунт вырезки стоит двадцать долларов, а в Саудовской Аравии пачка сигарет идет за пятерку. Пять долларов пачка. Может показаться, это мы их обираем, но, так или иначе, у американского потребителя самый высокий жизненный уровень по сравнению с любой другой промышленной нацией.

Дженис внимательно его слушает и таскает у него сигареты. Волосы у нее с лета отросли, и она стягивает их сзади в маленький толстенький хвостик; она сидит у ног Уэбба и болтает ногами в бассейне. На длинных тощих ногах Уэбба завитки волос образуют как бы полоски на столбе, его лицо в складках глубокомыслия загорело и стало цвета полированной сосны. Гарри приходит в голову, что вот так же она слушала всякую белиберду, которую нес ее отец, и это ему приятно.

К воскресенью им настолько приелась рутинная жизнь курорта, что они берут такси и едут на другой конец острова в казино. В темноте они проезжают деревни, где у дороги играют черные детишки — их присутствие выдают лишь сверкающие белки глаз. Внезапно в свете фар показывается стадо коз, которые трусят по шоссе, таща за собой веревки с колышками. В темной хижине, сооруженной на фундаменте из шлака, вдруг открывается дверь, и оказывается, это таверна, с полками, уставленными бутылками, с группкой посетителей у бара. Сквозь стрельчатые незастекленные окна старой каменной церкви видны горящие свечи и доносится жалобная строка псалма, быстро замирающего позади. Такси, «понтиак» 1969 года с целым набором кукол-талисманов над приборной доской, нахально мчится по левой стороне дороги — это ведь бывшая английская колония. Деформированные конусы заброшенных сахарных заводов, вырисовывающиеся на звездном небе, помнят прошлое, всех этих погибших здесь рабов, а Дженис, Тельма и Синди как ни в чем не бывало болтают в темноте, перемывая косточки своим бруэрским знакомым: какая у Бадди Инглфингера жуткая новая приятельница, этакая дылда, да еще с детьми, — Бадди вечно кто-то садится на шею; и эта зануда Пегги Фоснахт — говорят, она ужасно обиделась, что ее и Олли не пригласили в это путешествие на Карибские острова, хотя всем известно, что оно им не по карману.

Казино находится на берегу, возле другого курорта, который немного побольше. На освещенных коралловых рифах проложены мостки для прогулок. Сколько же в большом мире маленьких миров, думает Гарри. Он приехал сюда проветриться. А сам прилип к рулетке и, стремясь восполнить потери, стал удваивать и утраивать ставки, обменял на триста долларов чеков и на глазах у своих потрясенных друзей все проиграл. Ну что ж, все равно это меньше половины дохода с продажи одного «терсела», меньше трех процентов того, во что обошлись проделки Нельсона. Тем не менее в голове у Гарри гудит, у него дрожат руки, и ему стыдно. Черный крупье даже не взглянул на него, когда, обчищенный до нитки, он отодвинул стул и встал из-за покрытого ярким сукном стола. Он шагает по мосткам к черному горизонту, а тропический воздух ласкает его разгоряченное лицо, завихряясь нежно, как поцелуй. Так, наверно, можно дойти и до Южной Америки, а там — рай земной; он тепло вспоминает о том уголке земли, где за асфальтовой площадкой у магазина разрослись сорняки, и о той ферме, к которой он пробирался, как вор, продираясь сквозь живую изгородь, вымахавшую за рухнувшей оградой из песчаника. Сейчас, зимой, трава во фруктовом саду полегла и пожухла, из одинокого дома в лощинке поднимается дымок. Другой мир.

Внезапно рядом с ним оказывается Синди — она дышит в такт шелесту моря. Наконец-то настал долгожданный миг, думает Гарри, только он сейчас не очень к этому готов, тем временем Синди высоким сочувственным голосом произносит:

— Уэбб говорит, что, садясь за карточный стол, надо всегда ставить себе предел, тогда ты не дашь игре захватить тебя.

— А она меня и не захватила, — говорит ей Гарри. — Я действовал по правилам.

Возможно, Синди решила, что надо как-то компенсировать его проигрыш и такой компенсацией будет она. Белая вязаная шаль оттеняет смуглость ее плеч; цветок над ухом придает ей кокетливый вид. Вот бы вжаться своим большим круглым лицом в ее крепкие, как у яблока, округлости — щеки, и лоб, и нос, в ее растянутые губы и черные глаза, поблескивающие хитринкой, как у ребенка! Сентиментальщина! Их лица совместятся? Она поднимает на него взгляд, и он отводит глаза, устремляя их на тропическую луну, которая лежит на боку под таким углом, какой никогда не увидишь в Пенсильвании. Он переводит взгляд на море и как бы случайно касается кончиками пальцев ее руки. От ее тела, жарившегося на солнце, исходит электрический ток. Бурые водоросли шлепают о сваи причала, о берег разбивается волна — настал момент действовать. Но что-то жесткое, появившееся в чертах Синди, удерживает его, хотя она слегка улыбается и приподнимает лицо, словно хочет помочь ему быстрее отыскать ее губы.

Тут раздаются шаги, и Уэбб с Дженис — в неверном свете луны, к которому примешиваются голубоватое свечение моря и яркие отсветы огней казино, кажется, что они держатся за руки, потом их разнимают, — чуть не бегом настигают их и взволнованно объявляют, что там внутри Ронни Гаррисон срывает банк.

— Пойди взгляни, Гарри, — говорит Дженис. — Он уже выиграл по крайней мере восемь сотен.

— Ох уж этот Ронни, — говорит Синди укоризненным тоном пай-девочки и устремляется к огням казино, на фоне которых отчетливо вырисовываются ее ноги под длинной юбкой.

К себе они добираются уже после двух. Ронни невозможно было оторвать от рулетки, а когда он наконец поднялся из-за стола, выигрыш его составлял всего несколько монет. По дороге домой они с Дженис спят, Тельма, напряженная, как струна, сидит на коленях у Кролика, Уэбб и Синди сидят впереди с шофером — Уэбб расспрашивает его про остров, и тот нехотя бурчит что-то в ответ на языке, лишь отдаленно похожем на английский. Сторож в форме впускает их в ворота поселка. Все здесь охраняется: страшно много воровства — воры и даже убийцы вылезают из темных недр острова поживиться за счет осевших на побережье богатых приезжих. К бунгало, где они живут, ведут дорожки из зеленого бетона, проложенные по песку под шуршащими пальмами, между цветущими кустами, на которые по утрам слетаются птицы. Пока мужчины обсуждают, на какой час перенести завтрашний гольф, три женщины шепчутся, остановившись чуть поодаль — там, где от бетонной дорожки ответвляются тропинки к их трем бунгало.

Дженис, Синди и Тельма хихикают, поглядывая в сторону мужчин, их взгляды, точно птицы, перелетают с одного на другого в подсвеченном луною теплом ночном воздухе.

Шаль Синди блестит, словно клок пены на волне. Наконец, разорвав тишину пальмовой рощи криками «Спокойной ночи», каждая жена уводит своего мужа к себе в бунгало. Кролик трахает Дженис просто от раздражения на весь мир и мгновенно засыпает, надеясь, что утро не настанет никогда.

Но оно возвещает о себе в положенное время полосками солнечного света, которые, проникая сквозь жалюзи на окнах, ложатся на выстланный шестиугольными плитками пол, тогда как маленькие желтенькие птички, о которых поется в местной песенке, летят вдоль бетонных дорожек вслед за чайными подносами и позвякивающей посудой. Гарри встает и, оказывается, чувствует себя не так уж и плохо. Тело его натренировано преодолевать неприятные ощущения. У него уже вошло в привычку делать небольшой осторожный заплыв с пустынного пляжа, где в песке все еще торчат оставшиеся со вчерашнего вечера пластмассовые стаканы. Это единственный момент дня или ночи, когда Гарри остается наедине с собой, если не считать старичков, которые тоже любят купаться и идут по песку, ведя за руку жен. Море между волнорезами цвета сетчатой дыни — молочно-зеленое. Покачиваясь на спине, Гарри видит на дорогах, вьющихся по крутым склонам холмов, окружающих залив, тех, кто живет на этом острове не для отдыха, — чернокожие в ярких одеждах идут на работу; иные женщины несут на голове узлы и даже ведра. В самом деле. Их голоса далеко разносятся в свежем утреннем воздухе — вместе со шлепаньем, шуршанием и шипением теплой соленой воды, накатывающей на берег и отступающей у его ног. В белом пористом песке полно дырочек, чтобы крабы могли дышать. Гарри никогда еще не видел такого белого, мелкого, как сахар, кораллового песка. Раннее солнце легко касается чувствительной кожи на его плечах. Вот оно — здоровье. Тут девушка с завтраком на подносе подходит к их домику — у них бунгало 9, — и Дженис в махровом халате открывает решетчатую дверь и кричит: «Гарри!» — крик ее пересекает пространство, где старый слуга в брюках цвета хаки уже сгребает в кучку морские водоросли и пластмассовые стаканчики, и праздник, охота начинаются сначала.

В гольф Гарри играет сегодня плохо: когда он устал, то слишком резко размахивает рукой, вместо того чтобы плавно вести по воздуху клюшкой. Держи запястье, не крути им. Не раскачивайся на пальцах — представь себе, что ты носом прижался к стеклу. Думай, что ты на рельсах. И идешь по ним. Все эти рекомендации сегодня мало помогают — утро тянется бесконечно между жадными крыльями коралловых джунглей, на зеленых лужайках в буграх, точно они сшиты из кусочков, хотя он полагает, что это вообще чудо, чтобы под таким солнцем могла сохраниться зеленая трава. Он ненавидит Уэбба Мэркетта за то, что тот сегодня бьет без промаха, если лунка находится в пределах двадцати футов. Ну почему этот жилистый старый петух не только имеет такую фантастическую пышечку жену, но еще и обыгрывает его в гольф? Гарри жалеет, что нет Бадди Инглфингера — в его присутствии Гарри чувствует себя королем. А у Ронни волосы такие редкие да еще такой высокий лоб, что, когда он нагибается для удара, голова его выглядит этаким розовым яйцом. Размахивает руками, точно обезьяна, волос на голове почти нет, зато плечи ужасно волосатые — и как только Тельма терпит его? Женщины, они, видно, с чем угодно готовы мириться, лишь бы мужик был хорош в постели. И снова в голове Гарри возникает мысль о трехстах долларах, которые он продул за вчерашнюю ночь, а ведь его отец полтора месяца потел бы за такие деньги. Бедный папка, не дожил он до этих времен, когда деньги стали бумажками.

Однако днем, после двух коктейлей и сандвича с крабовым салатом, на душе у Гарри становится повеселее. Компания решает взять напрокат три маленькие яхты, все разбиваются на пары, и Гарри оказывается вместе с Синди. Они никогда не плавали под парусом, поэтому Синди, стоя по грудь в воде, отлаживает руль, а он сидит наверху сухонький и держит концы, управляющие полосатым треугольным парусом, который, на взгляд Гарри, недостаточно прочно прикреплен к двум алюминиевым трубкам — они постукивают друг о друга, парус хлопает на ветру, надувается то в одну сторону, то в другую. Все сооружение кажется на редкость хрупким. На станции заставляют надеть черный резиновый спасательный жилет, и Синди выглядит в нем презабавно — с этой своей короткой стрижкой она кажется женщиной-полицейским, каких показывают по телевидению, или женщиной-водолазом. До сих пор он не замечал, какие у нее черные и густые брови: они устремлены друг к другу и почти цепляются на переносице, пока ей не удается наконец выправить руль. Тогда со вздохом облегчения она подтягивается и ложится плашмя на борт — при этом груди ее сплющиваются, так что видно, какие они белые там, куда не добралось солнце, а ноги бьют по воде, и над краем яхты показывается обтянутый черной блестящей материей зад, — нет, слишком много в этой женщине плоти для такой лодчонки, и она резко накреняется. Гарри хватает Синди за руку выше локтя и втаскивает, в этот момент нижняя трубка, на которой укреплен парус, разворачивается и хлопает его по затылку. Синди, не выпуская рукоятки руля, выхватывает у него концы и кричит: «Шверт, шверт», но он не сразу понимает, чего она от него хочет. Ах, надо заткнуть в эту щель длинную доску, что у него под ногой; Гарри вытаскивает ее из-под ноги и вставляет в прорезь. Синди же, вместо того чтобы сказать спасибо, произносит: «А, черт!»

Скорлупа из плексигласа развернута параллельно берегу, где уже стоят полукругом зеваки-купальщики, и лодчонку с каждой волной все ближе прибивает к ним. Внезапно ветер надувает парус, туго натягивает его, так что трещит алюминиевая мачта, и они начинают медленно подпрыгивать на волнах в направлении мыса, который закрывает справа бухту.

А как только ты сдвинулся с места, то уже не ощущаешь скорости — на воде ведь нет опознавательных знаков. Гарри сидит ближе к носу, пригнувшись, чтобы его снова не ударило трубкой по голове. А Синди, сидя, точно йог, в своем тугом спасательном жилете и бикини, центральная часть которых едва прикрывает ее промежность, следит за рулем и наконец впервые улыбается:

— Гарри, тебе вовсе не обязательно держать шверт: мы вытянем его, только когда пристанем к берегу.

А берег, пальмы, бунгало — все стало крошечным, точно на открытке.

— Ничего, что мы так далеко заплываем?

Она снова улыбается:

— Мы вовсе не далеко.

Веревки впиваются Синди в руки, яхта накреняется. Вода здесь уже не зеленоватая, как сетчатая дыня, а зеленая, как желчь, даже местами, в водоворотах, — черная.

— Значит, не далеко, — повторяет он.

— Взгляни туда. — А там виднеется парус не больше гребешка на волне. — Это Уэбб с Тельмой. Они куда дальше нас.

— Ты уверена, что это они?

Синди становится жаль его.

— Мы сменим галс, когда подойдем к тем скалам. Ты понимаешь, что значит сменить галс, Гарри?

— Не совсем.

— Повернуть. При этом гик-трубка с парусом тоже повернется, так что смотри, чтоб тебя не ударило.

— Как ты думаешь, тут есть акулы? — А все-таки обстановка создалась интимная, твердит он себе: они вдвоем, и те же брызги окатывают ее и его, а ветер и плеск воды заглушают все звуки, и ее плечо блестит, словно отлитое из металла, в безжалостном свете добела раскаленного солнца; вдруг в его памяти встает солнце, к которому он привык с детства, — оранжевое, расплывшееся.

— А ты видел «Челюсти», фильм второй? — спрашивает она.

— Тебе не кажется, что в наше время идут сплошь многосерийные фильмы? — в свою очередь, спрашивает он. — Точно у людей вдруг иссякла фантазия. — Он настолько физически измотан и так устал от долго сдерживаемого желания, что ему вдруг становится безразлично, останется ли он жив среди этих неукротимых стихий. Здесь даже солнечные блики на воде кажутся жестокими, словно само небо посылает на землю зло, они как пламя, вырывающееся из-под крыльев садящегося самолета.

— Меняем галс. Приготовится, — говорит Синди. — Поворот оверштат.

Он пригибается, и гик проходит над его головой. Он видит еще один парус — это Ронни и Дженис плывут к горизонту. Похоже, она сидит на корме и держит руль. Когда она успела этому научиться? В каком-нибудь летнем лагере. Надо с самого начала быть богатым, тогда будешь пользоваться жизнью на всю катушку.

— А теперь, Гарри, — говорит Синди, — садись на руль ты. Это несложно. Вон та тряпочка, что висит на верхушке мачты, называется вымпелом. Она показывает, откуда дует ветер. А потом — следи за волнами. Надо, чтобы парус стоял под углом к ветру. Передний край паруса ни в коем случае не должен хлопать. Это называется идти в бейдевинд. Значит, ты идешь прямо против ветра. Ты отжимаешь от себя румпель, отжимаешь его от паруса. Ты это почувствуешь, обещаю. Раздвинуть румпель и линь — все равно что разомкнуть ножницы. Лихо. Да ну же, Гарри, ничего не случится. Давай меняться местами.

Им удается удачно провести эту операцию — правда, лодка под ними раскачивается, как гамак. Маленькое облачко набегает на солнце, окрашивая воду в темные тона, потом вдруг снова отдает ее солнцу. Гарри берется за руль и пытается найти нужное положение, пока ветер не становится попутным. И тогда это уже настоящее удовольствие: парус и руль тянут яхту вперед, невидимый морской бриз подталкивает ее, расстояния сокращаются и уже не кажутся такими безнадежно огромными, когда ты хозяин положения.

— Ты отлично справляешься, — говорит ему Синди; она сидит скрестив ноги, и ему видны подошвы всех пяти пальцев на ее голой ноге, тонкая голубоватая кожа здесь вся в морщинах, самый маленький, такой милый пальчик плотно прижался к соседу, точно пытаясь спрятаться. Синди доверяет ему. Гарри ей нравится. Теперь, немного освоившись, он уже осмеливается командовать яхтой и больше и больше натягивает парус, так что брызги летят мимо, а ладонь начинает гореть. Земля скачками приближается к ним, вот они почти достигли ее, как вдруг, нацеливаясь на то место, где уже причалили Дженис и Ронни и вытащили на берег свою лодку, он чуть-чуть отпускает парус, и ветер, налетев сзади, мигом надувает его; нос яхты в ярости резко зарывается в волну, и вся скорлупка, накренившись, черпает воду, а они с Синди соскальзывают с палубы, запутавшись в концах. Над головой смыкается прозрачная, вся в прожилках, толща воды. «Воздух!» — мелькает паническая мысль, и он выныривает — в глубокой тени яхта громадой вздымается над ними. Возле него в воде — Синди. Задыхаясь, желая как-то загладить свою вину, он обнимает ее. Такое ощущение, что в руках у него акула, скользкая и шершавая. Их резиновые жилеты, набитые поролоном, сталкиваются под водой. Каждый волосок на бровях Синди сверкает при этом странном освещении, среди рожденных волнами теней и тишины — ветра ведь не слышно, только вода слегка пошлепывает по плоскому днищу яхты. Синди с гримасой отталкивает его, глубоко вбирает в себя воздух и ныряет под яхту. Он пытается последовать за ней, но жилет выбрасывает его назад. Он слышит, как она пыхтит и плескается по другую сторону торчащего вверх шверта, сначала хватается за него, затем взбирается наверх, встает на него ногами, и лодка возвращается в нормальное положение, а с полосатого паруса, пересекающего солнце, летят крупные жемчужины воды. Гарри залезает на борт, и Синди ловко подводит яхту к берегу.

Происшествие не из тех, каким можно хвастаться, однако на берегу они весело смеются вчетвером, а в уме Гарри, умеющего быстро все себе прощать, их подводное объятие представляется нежным и многообещающим.

Обед на курорте подают у бассейна или приносят на подносе на пляж, а ужин — это уже нечто официальное, его подают в большом павильоне, где с балок свисают длинные пушистые гроздья цветов, а позади, у дверей, ведущих на кухню, устроена жаровня для мяса, и пламя с ревом устремляется вверх, отбрасывая пляшущие тени на плетеную стену и деревянные маски и осыпая искрами черные потные лица поварят. Главный повар, тощий бельгиец, в промежутках между обедами и ужинами всегда сидит в баре, и вид у него совсем больной, или же он удрученно что-то рассказывает строгим, как миссионерки, туземным женщинам, которые восседают за стойкой портье. По понедельникам вечером здесь устраивают пикник, для чего приглашают исполнителя калипсо, а потом — танцы под электромаримбы; но все шестеро отдыхающих из округа Дайамонд решают, что они слишком устали после ночи, проведенной в казино, и рано лягут спать. Гарри, чуть не утонувший в объятиях Синди, как только вылез на берег, сразу уснул, потом пошел к себе и вздремнул еще. Пока он спал, по его жестяной крыше минут десять барабанил внезапно налетевший тропический дождь; когда же он проснулся, дождь уже перестал, и солнце, окруженное оранжевой каймой, садилось в заливе, а его приятели, приняв душ, более часа накачивались в баре. Что-то явно затевается. Женщины то и дело подталкивают друг друга — их сообщество здесь заметно укрепилось, вызванное к жизни пробудившимися сестринскими чувствами. Сегодня у Синди в волосах желтый цветок, а это ее арабское одеяние до половины расстегнуто. Она уже раза два протягивала руку и, дотронувшись поверх стакана Уэбба и его лежащих на скатерти узловатых смуглых рук до запястья Дженис, вспоминала того нахального цветного мальчишку, который сегодня прислуживает в баре: «Я сказала ему, что я тут с мужем, а он только передернул плечами — мол, ну и что?» Уэбб мудро помалкивает, не нарушает течения их беседы, а Ронни сидит опухший, сонный, но, как всегда, полный всяких затей в своем мрачноватом стиле. Гарри и Ронни три года играли вместе в баскетбольной команде маунт-джаджской средней школы, и Кролику не раз приходилось бороться с ощущением, что хоть он и звезда, а тренер Тотеро все равно больше любит Ронни, который никогда не отступает и нахрапистее действует под щитом. Все в мире надо брать нахрапом. Кролик же считает, что если что-то не получается само собой — так и не надо. А как же тогда быть с Синди? Да ради такой аппетитной штучки человек может на убийство пойти. Овладеть ею, а там хоть и умереть, как паук. Исполнитель калипсо подходит к их столику и затягивает грязную песню про Большой Бамбук. Гарри не понимает всех намеков, но дамы хихикают после каждого куплета. Певец улыбается, и песня улыбается, но его налитые кровью глаза блестят, как у ящерицы, застывшей на стене, а на голове, когда он пригибается к гитаре, видна седина. Умирающее искусство, Гарри не знает, следует ли дать ему на чай или просто поаплодировать. Они аплодируют, и рука певца стремительно, точно язык ящерицы, протягивается к Уэббу и берет банкнот, который тот для него приготовил. Пожилой певец идет к следующему столику и запевает что-то насчет «Спина к спине и живот к животу».

— Вот уверена, — раздается вдруг голос Синди, и она, хихикнув, дотрагивается до плеча Дженис, — там у нас, в Бруэре, будут считать, что мы все тут друг с другом переспали.

— А может, стоит попробовать, — произносит Ронни, не в силах подавить отрыжку усталости.

Дженис хрипловатым голосом зрелой женщины, который появился у нее благодаря сигаретам и возрасту (однако Гарри, услышав его, всякий раз удивляется), тихонько спрашивает Уэбба, который сидит с ней рядом:

— А как ты насчет таких вещей, Уэбб?

Старый лис знает, что ему придется в таком случае отдать свое сокровище, и не спешит с ответом, слегка приподнимается со стула, чтобы высвободить полу, на которой сидит, — а на нем темно-синий капитанский китель с медными пуговицами, — и вынимает из бокового кармана пачку «Мальборо-лайт». У Кролика заколотилось сердце, и он уставился на стол, где лежат в ожидании, чтобы их убрали, окровавленные кости, ребра и всякие остатки их шашлыка. Уэбб медленно произносит:

— Ну, после двух браков, которые, я полагаю, следует назвать не слишком успешными, и после того, что я видел и делал до, после и между ними, должен признать, что мне не кажется таким уж скверным поделиться с друзьями, если это будет происходить по-дружески и с уважением друг к другу. Главное тут — уважение. Все, кто будет в этом участвовать, — я хочу подчеркнуть: все, все участники — должны идти на это добровольно, и следует четко понимать, что такое может произойти один-единственный раз и не будет иметь продолжения. Тайные связи — вот что губит браки. Когда люди впадают в романтику.

Вот в нем, в этом короле полароидных порноснимков, нет никакой романтики. Гарри чувствует, как у него пылает лицо. Возможно, это от специй в мясе, или от слишком длинной проповеди Уэбба, или из благодарности к Мэркеттам за то, что они устроили этот выезд. Он представляет себе, как зароется лицом между ног Синди, уткнется в эту черную волосню, похожую на чащобу волосков с ее бровей, только примятых и теплых от пребывания в трусах и обрамленных белыми полями незагоревшей под бикини кожи. Он проведет языком вниз по ее щели, ее ноги раздвинутся так же невесомо, как сегодня под водой, и его язык поползет ниже, а за углом, рядом с его носом, будет эта большая сладкая ягодица, которую он тысячи раз видел, когда Синди вытиралась после купания в бассейне «Летящего орла», укрывшись в зеленой тени от горы Пемаквид. А ее груди — как они свисают, когда она покорно сгибается. В его брюках что-то происходит, словно пестик одного из этих пышных цветов, что лежат на скатерти, приподнимается в мерцающем свете свечи.

— «Там, — поет певец уже у другого столика, — где такие веселые ночи, а солнце заливает днем вершины гор».

Черные руки неслышно убирают со стола обглоданные кости и раздают меню с десертом. Тут у них есть ореховый торт, который особенно любит Гарри, — правда, нельзя сказать, чтобы это было чисто карибское изобретение, скорее всего его доставляют сюда из Форт-Лодердейла.

Тельма, нацепившая на себя прозрачную кофточку, под которой просвечивает бюстгальтер цвета какао, смотрит куда-то в пространство и, точно учительница, обращающаяся поверх голов к сидящему классу, произносит:

— ...просто чтобы удовлетворить наше женское любопытство. Об этом почти никогда не пишут в статьях о женской сексуальности, но я думаю, именно этим объясняется желание видеть мужской стриптиз, а вовсе не жаждой некоторых женщин лечь в постель с этими парнями. Просто женщинам любопытно посмотреть на пенисы, как они выглядят. А они, я полагаю, *в самом деле* выглядят по-разному, отлично друг от друга.

— Ты тоже так считаешь? — спрашивает Гарри у Дженис. — Тебе любопытно?

Она опускает взгляд на свечу, мерцающую под стеклянным колпаком.

— Конечно.

— А мне вот нет, — говорит Синди, — нисколечко. Я, наверное, нелюбопытная. В самом деле, нет.

— Ты еще слишком молоденькая, — говорит Тельма.

— Мне уже тридцать, — возражает она. — Разве я не достигла сексуальной зрелости?

Словно вновь объединившись с ней в воде, Гарри встает на ее сторону:

— Они чертовски уродливы. Во всяком случае, большинство членов, какие я видел.

— Но ты же не видишь их стоячими, — как бы между прочим заявляет Тельма.

— И слава Богу, — говорит он, поражаясь тому — иногда с ним такое бывает, — с какими вульгарными людьми он имеет дело.

— И однако же, он любит свой пенис, — замечает Дженис, поддерживая этот легкий, спокойный и вроде бы научный разговор в тишине обеденного павильона.

Певец умолк. Другие столики пустеют — люди переходят за более маленькие, что стоят по краю танцевальной площадки у бассейна.

— Я вовсе его не люблю, — шепотом возражает Гарри. — Просто я вынужден с ним жить.

— Он часть тебя, — спокойно говорит Синди.

— Ведь не только член, — замечает Тельма, — а весь мужчина должен на тебя действовать. Его повадки. Голос, смех. И однако, все говорит о том, какой у него член.

Разговор о членах. Неужели такое возможно? Они отходят от деликатной темы, когда появляются десерт и кофе.

Подкрепившись едой и ожив благодаря ночной прохладе, они решают все-таки посидеть за коктейлем и немного посмотреть на танцы под звездным небом, а Гарри в эту ночь кажется, будто звезды — это драгоценные каменья на циферблате, где стрелки движутся до безобразия медленно, отстукивая минуты, пока он не окажется наедине с Синди, а для этого звезда должна, зашипев, упасть в «олимпийский» бассейн. Как-то раз в далеком лете его детства кто-то — должно быть, мама, хоть он и не может вызвать в памяти ее голос, — сказал ему, что если смотреть в ночное небо и считать до ста, то непременно увидишь падающую звезду — это ведь в общем-то часто случается. Но сейчас, хоть он и откинулся от столика со стеклянной крышкой, на котором стоят коктейли, отъединившись от успокаивающего заговорщического перешептывания своих друзей, и запрокинул голову так, что у него заныла шея, все звезды над ним висят неподвижно в своих гнездах. Хриплый голос Уэбба Мэркетта объявляет:

— Что ж, ребятки. Пользуюсь привилегией старшего среди вас и объявляю, что устал и хочу в постельку.

И как раз когда Гарри уже опускает задранное к небу лицо, он вдруг краешком глаза видит, отчетливо и ярко, будто чиркнули спичкой, как падает и погружается в чернильную черноту океана звезда. Женщины встают, оправляя юбки; маримбу, окончившуюся дрожащими, замирающими звуками, сменяет «Пришлите клоунов». Печальный мотив замирает вдали по мере того, как они продвигаются вдоль бассейна, и проходят мимо портье, где изможденный алкоголик-управляющий пытается получить по телефону Нью-Йорк, и пересекают площадку перед отелем, окаймленную тротуаром из белого кораллового песка, и движутся дальше по затененному хитросплетению бетонных дорожек, между кустами спящих цветов. Над их головами все громче шуршат пальмы, по мере того как музыка замирает вдали. И слышнее шорох прилива. На залитом лунным светом пересечении дорожек, где они расходятся в трех направлениях, все как-то нервно произносят «спокойной ночи», но никто не двигается; затем женская рука протягивается и мягко берет за запястье руку мужчины, но не своего мужа. Никто ни на кого не смотрит — лишь один молча, опустив глаза, тянет другого за собой, каждая женщина ведет своего избранника к себе в бунгало. Гарри слышит в отдалении хихиканье Синди, так как это не ее рука, а рука Тельмы сжимает его руку.

Она почувствовала, как он дернулся в сторону, и молча крепко сжала его руку. Он видит: на пляже какая-то группа принесла лампу со свечой и напитки, лампа и сигареты светятся в темноте, а дальше за черным силуэтом большой яхты, стоящей на якоре в заливе, под опрокинутым навзничь полумесяцем простирается белесое, как молоко, море. Тельма выпускает его руку и роется в своей блестящей чешуйчатой сумочке, отыскивая ключ.

— Ты можешь получить Синди завтра на ночь, — шепчет она. — Мы это уже обсудили.

— О'кей, здорово, — неуклюже произносит он, надеясь, что не обидел ее.

И, прикинув, понимает: это значит, что Синди захотела переспать с этой свиньей Гаррисоном, а Дженис получила Уэбба. Он полагал, что Дженис придется переспать с Ронни, и жалел ее, — правда, судя по виду Ронни, он быстро заснет, а Уэбб с Тельмой объединятся — оба желтокожие, тощие.

Тельма закрывает дверь и включает лампу под абажуром из плетеной соломки, висящую над кроватью.

— Вы, дамочки, распределили на сегодня мужчин сразу и решили не устраивать второго тура? — спрашивает он.

— Не надо устраивать состязаний, Гарри. Это должно быть по желанию обеих сторон, ты же слышал Уэбба. В одном мы абсолютно согласны: продолжения в Бруэре не будет. Один-единственный раз — и все, как бы нам ни было трудно.

Она стоит на середине своего соломенного ковра с весьма вызывающим видом, узколицая женщина, с землистой кожей, которую он едва знает. От солнца порозовел только ее нос, но пятна загара легли и под глазами, образуя этакую бабочку на ее лице. Гарри решает, что ему следует поцеловать ее, но не успевает сделать это, как она твердым голосом заявляет:

— Я скажу тебе одно, Гарри Энгстром. Я хотела выбрать *только* тебя.

— Меня?

— Конечно. Я ведь обожаю тебя. Обожаю.

— Меня?

— Неужели ты никогда этого не чувствовал?

Не желая признаваться, что не чувствовал, он тупо стоит дурак дураком.

— Вот черт, — говорит Тельма. — А Дженис чувствовала. Почему же еще, ты думаешь, она не пригласила нас на свадьбу Нельсона?

И, повернувшись к нему спиной, она подходит к зеркалу и принимается вытаскивать из ушей серьги — точно такое же зеркало в раме из плетеного бамбука висит в бунгало, доставшемся Гарри и Дженис. А вот батик здесь изображает тропический закат с пальмой на переднем плане, тогда как у них с Дженис висит толстая негритянка, торгующая фруктами, однако обе картины явно созданы одним и тем же человеком. Чемоданы же здесь — Гаррисоновы, и одежда, висящая на крашеной палке, заменяющей шкаф, — тоже их.

— Ты не возражаешь воспользоваться зубной щеткой Ронни? — спрашивает Тельма. — Мне ванна понадобится на какое-то время, так что занимай ее первый.

В ванной Гарри видит, что Ронни пользуется кремом для бритья «Пенистый жиллетт», который в виде спрея разбрызгивается из банки, — такие штуки пожирают озон, так что наши дети зажарятся. И новым видом бритвы с узким лезвием, которое выскакивает со щелчком и с таким же щелчком убирается — его еще усиленно рекламируют по телевизору. Гарри не видит необходимости в такой бритве — просто лишние деньги, он по-прежнему пользуется допотопной старой двусторонней бритвой, которую купил за 1,99 доллара около семи лет тому назад, и мылится старой кисточкой тем мылом, какое под рукой. Он брился перед ужином после сна, так что теперь в этом нет надобности. Гаррисоны пользуются также зубной пастой «Крест» с хлорофиллом, в гигантских тюбиках, которые всегда мнутся и лопаются, когда они с Дженис, желая сэкономить пару пенни, покупают такую пасту. Интересно, что случилось с «Ипаной» и что писали в нескольких номерах тому назад в журнале «К сведению потребителей» насчет разновидностей зубной пасты, скорее всего высказывались в пользу паст с примесью пищевой соды — именно такой пользовались они с Мим, так как у мамы была теория, что заправка для вкуса в зубной пасте способствует образованию кариеса. Беда с потреблением в том, что сосед, кажется, покупает все лучше и дешевле, чем ты. Вот и сейчас ванная Гаррисонов преисполнила Гарри завистью. Хотя Тельма не отличается красотой, аптечку она себе оборудовала неплохую, да и всякие косметические снадобья, а также средства против солнца — «Эклипс» и «Сорларкейн». Зачем-то у нее есть и вазелин. И «тампаксы» в большущей коробке — Дженис никогда таких не покупает. И уйма болеутоляющих — разные виды аспирина, и дарвон, и какие-то таблетки в маленьких коробочках, какие дают по предписанию врача, — он такого не ожидал. Люди всегда куда больше страдают от болезней, чем кажется. У Гарри мелькает мысль, не стоит ли пописать сидя, чтобы Тельма не слышала журчания струи, но он отбрасывает эту мысль — это ведь она хочет с ним трахаться. И струя с грохотом водопада падает в унитаз — кажется, этому конца не будет, как-то стыдно, а все из-за возлияний за ужином. Потом он все-таки садится на стульчак, чтобы выпустить из себя газы. Слишком много съел даров моря. Ему кажется, что он учуял в воздухе запах вчерашних крабов, и, поднявшись со стульчака, проводит пальцем сзади, проверяя, не пахнет ли. И решает, что пахнет. Лучше вымыться. Интересно, каким маленьким полотенцем пользуется Ронни — голубым или коричневым. Он решает, что коричневым, и усиленно вытирается им. Вот теперь он готов. Надо только ликвидировать свой запах — и он хорошенько моет полотенце под краном.

Вернувшись в комнату, Гарри застает Тельму раздетой — на ней кокосового цвета бюстгальтер и черные трусики. Он этого не ожидал — не ожидал, что так возбудится. Странная штука с этими грудями: одни в одежде выглядят больше, а другие — меньше, чем на самом деле. Груди Тельмы относятся ко второму разряду: чашечки ее бюстгальтера хорошо заполнены. Все ее тело — а ей сорок с лишним лет — выглядит стройным и готовым услужить, такое впечатление, несмотря на строгое лицо, неожиданно оставляют медицинские сестры и школьные учительницы. Тельма смеется и протягивает к нему руки, точно танцовщица с веером.

— К твоим услугам. Ты шокирован. Ты такой славный и чистый, Гарри, за это я тебя и обожаю. Я буду готова через пять минут. Постарайся не заснуть.

Умница. При том, как мало они здесь спят и постоянно накачиваются, а сегодня к тому же он пережил шок в воде — нырнул, и бездонная зеленая глубина стала тянуть его за ноги вниз, — так что он, конечно, не в форме. Он начинает раздеваться и не знает, где поставить точку. За годы супружества у мужа с женой вырабатывается уйма мелких привычек, которые посторонней женщине могут показаться странными. Хочется ли Тельме, чтобы он лежал голым в постели? Или на постели? Если он будет менее голым, чем Тельма, когда она выйдет из ванной, это будет с его стороны грубостью. В то же время при ярком свете, какой льется из-под соломенного абажура, покачивающегося над кроватью, он не хочет, чтобы она увидела его лежащим на одеяле, точно на фотографии из «Плейгерл». Гарри знает: похудей он на тридцать фунтов, животик у него все равно останется. Он подходит в трусах к отделанному бамбуком бюро и включает лампу, дешевое деревянное основание которой украшено маленькими наклеенными раковинками. И снимает трусы. Резинка на них разболталась — трусы надо покупать жокейские, но в дешевых магазинах Бруэра их не бывает — о качестве нигде не заботятся. Он выключает свет над кроватью и в полутьме вытягивается на одеяле — такой, как есть, каким был и каким будет до того, как его в последний раз оденут в похоронном бюро, у него нет даже обручального кольца, которое делало бы его менее голым: когда они с Дженис поженились, мужчины не носили обручальных колец. Он на секунду закрывает глаза, чтобы они отдохнули в красной полутьме под веками. Ему надо через это пройти — возможно, она хочет лишь поговорить, а потом он все-таки отдохнет перед завтрашним вечером. Войти туда... В этот покатый грот под водой...

Тельма, выходя из ванной, хлопает дверью с таким грохотом, точно это землетрясение. Она держит перед собой белье и, повернувшись к Гарри спиной, бросает трусы в кучу грязного белья, которое Гаррисоны держат около бюро, за соломенной корзинкой для мусора, а бюстгальтер, еще достаточно чистый, складывает и кладет в ящик. Он видит ее задницу уже во второй раз за поездку, думает, борясь со сном, Гарри. Повернувшись, она своим телом заслоняет лампу на бюро, и ее передок погружается в тень; она застенчиво приближается к нему, точно идет по воде. Груди ее свисают вниз, когда она наклоняется, чтобы включить свет, который он выключил. И садится на край кровати.

Его член все еще спит. Она берет его в руку:

— Ты не обрезан.

— Нет, почему-то в больнице в тот день этого не делали. А возможно, у мамы была своя теория на этот счет, не знаю. Я никогда не спрашивал. Извини.

— Но это прелестно. Точно маленькая шапочка.

Продолжая сидеть на краю кровати, Тельма нагибается, более гибкая голая, чем в одежде, и берет его член в рот. Ее тело в свете лампы кажется лоскутным одеялом из рыжеватых, облезло-розоватых и от природы желтых кусков. На ее животе образуются плоские складки, точно горка газет, а на руке, держащей двумя пальцами основание его члена, смутно проглядывают голубые вены. Но дыхание ее теплое и влажное, и при виде отдельных седых волосков, которые змейками вьются среди тускло-коричневой массы, ему хочется погладить ее по голове или дотронуться до ямочки на ее подбородке. Он только боится, что это может нарушить то состояние, в какое она его втягивает. Она поднимает руку и быстро отбрасывает прядь волос, словно хочет, чтобы они не мешали ему лучше ее видеть.

Он шепчет:

— До чего хорошо!

Член его раздувается, удлиняется, но она продолжает проходить губами весь путь до своих пальцев, обвившихся вокруг его основания. Стремясь сесть поудобнее, она раздвигает ноги: он видит, как между ее ног, одна из которых косо свисает с кровати, из волосни появляется нечто более нежное и красное, с коротким белым язычком — о таком он и мечтать не мог. В противоположность промежности Дженис или Синди, как он себе ее представляет, у Тельмы все более яркое: сквозь вьющуюся волосню просвечивают губы, похожие по цвету на рану, — и такое беззащитное со своим белым язычком, что Гарри хочется заплакать. Она тоже близка к слезам — возможно, от усилия, какого ей стоит сдерживать рвоту. Она отстраняется и смотрит на его раскрывшийся член, вырвавшийся на свободу из-под прикрывавшей его шапочки. Она снова натягивает на него шапочку и говорит шаловливо:

— Такое серьезное личико.

Она легонько целует его — раз, другой, проводит по нему языком, потом снова начинает сосать так, что, кажется, сейчас задохнется.

— О Господи, — со вздохом произносит она. — Мне так давно этого хотелось. Пососать тебя. Кончай же. Кончай, Гарри. Кончай мне в рот. Кончай мне в рот и в лицо. — Голос ее звучит хрипло и безумно, и все это время она неотступно смотрит на его маленькое отверстие, где появляется одинокая мутная слезка. Она слизывает ее.

— Я в самом деле, — застенчиво спрашивает он, — уже какое-то время нравлюсь тебе?

— И не один год, — говорит она. — Не один. И ты никогда этого не замечал. Паршивец ты этакий. Сидишь под каблуком у Дженис и вздыхаешь по дурочке Синди. Ну, ты догадываешься, с кем сейчас Синди. Трахается с моим мужем. Он не хотел с ней идти, он говорил, что предпочитает быть со мной. — Она фыркает в приливе отвращения к себе и снова впивается в него губами, а он, упершись членом в ее горло, думает, следует ли принять ее предложение.

— Подожди, — говорит Гарри. — Не следует ли мне сначала хоть чем-то тебя ублажить? Ведь если я кончу, на этом мы и поставим точку.

— Кончишь раз, потом кончишь снова.

— Не в моем возрасте. Не думаю, чтобы у меня получилось.

— В твоем возрасте... Вечно ты о своем возрасте.

Тельма кладет голову ему на живот и впервые кокетливо смотрит на него вверх, — ее взгляд смущает его. Он никогда прежде не замечал, какого цвета у нее глаза — какого-то неопределенного, именуемого светло-карим, но при ярком свете сверху они кажутся светло-рыжими, в них какой-то животный свет.

— Я слишком возбуждена, чтобы кончить, — говорит она ему. — Так или иначе, Гарри, у меня сейчас месячные, и каждый второй месяц они очень обильные. Я боюсь выяснять почему. А в промежуточные месяцы — жуткие боли и почти ничего.

— Сходи к доктору, — советует он.

— Я без конца хожу к докторам — все без толку. Я ведь умираю, ты это знаешь, да?

— Умираешь?

— Ну, может, это слишком драматично сказано. Никто ведь не знает, сколько я протяну, — многое зависит от меня самой. Единственное, чего я ни в коем случае не должна делать, — это находиться на солнце. Я сумасшедшая, что приехала сюда, — Ронни пытался меня отговорить.

— Зачем же ты это сделала?

— Догадайся. Говорю тебе, Гарри, я без ума от тебя. Я должна избавиться от этого наваждения.

И кажется, что она сейчас снова всхлипнет от отвращения к себе, но вместо этого она вскидывает голову и смотрит на его член. А он снова скукожился от всех этих разговоров про смерть.

— У тебя что, волчанка? — спрашивает он.

— М-м-м, — мычит Тельма. — Смотри. Видишь сыпь? — Она приподнимает волосы с обоих висков. — Красиво, правда? Это из-за того, что я по глупости посидела в пятницу на солнце. А мне так хотелось быть как все вы, не чувствовать себя больной. В субботу было ужасно. Болели суставы, внутренности не работали. Ронни предлагал отвезти меня домой, чтобы мне сделали укол кортизона.

— Он так славно к тебе относится.

— Он любит меня.

Его член снова затвердел, и Тельма пригибается к нему.

— Тельма! — За эту ночь он еще ни разу не называл ее по имени. — Разреши мне тебя ублажить. Я хочу сказать: у нас ведь равноправие и все такое прочее.

— Нечего тебе пачкаться в крови.

— Разреши в таком случае пососать твои сладости.

Ее соски не торчат, как у Дженис, они идеальной формы, точно большие пальчики младенца. Поскольку теперь его черед, он считает возможным потянуться и выключить свет над кроватью. В темноте он не видит ее сыпи, зато видит ее улыбку, то, как она готовится его ублажить. Она садится по-турецки, совсем как Синди на яхте, — женщины, они такие гибкие, — и кладет себе на колени подушку для его головы. Она сует палец ему в рот и ласкает им одновременно свой сосок и его язык. По телу ее проходит как бы электрический ток, она вибрирует, точно не выключенный до конца приемник. Его рука находит ее ягодицы, теплую впадину между ними — кожа у Тельмы гладкая, как стекло, тогда как кожа Дженис на ощупь точно тонкий-тонкий наждак. Его член, который легонько щекочут ее ногти, снова встал.

— Гарри! — Голос ее звучит у самого его уха. — Я хочу провести с тобой эту ночь так, чтобы ты запомнил меня, чтобы ты испытал такое, чего ни с кем еще не испытывал. Я полагаю, другие женщины тебя ведь сосали?

Он кивает, смещая головой кожу на ее груди.

— Скольких ты трахал через зад? Он выпускает ее сосок изо рта:

— Ни одной. Никогда.

— Даже Дженис?

— Ну нет. Мы этим никогда не занимались.

— Гарри, почему ты делаешь из меня дурочку?

Как мило звучит это давно не слышанное им «делаешь из меня дурочку». Так говорили третьеклассники.

— Нет, честное слово. Я думал, только педики... а вы с Ронни этим занимаетесь?

— Все время. В общем, часто. Он это любит.

— А ты?

— В этом есть свой шарм.

— А разве не больно? Я хочу сказать, он же такой большой.

— Сначала. А потом берешь вазелин. Я схожу принесу наш.

— Тельма, подожди. Разве я собираюсь этим заниматься?

Она издает короткий смешок:

— Собираешься.

Она выскальзывает из постели и отправляется в ванную, и, пока она ходит, член у него остается огромным. Вернувшись, она тщательно смазывает его холодным касанием опытных рук. Гарри пробирает дрожь. Тельма ложится рядом с ним, поворачивается к нему спиной и нагибается, словно должна вылететь из пушки; протянув позади себя руку, она направляет член.

— Осторожно.

Ему кажется, что ничего не получится, и вдруг получается. Медицинский запах вазелина достигает его ноздрей. У основания члена сильно жмет, а дальше — там, где сплошь бархат и ласка, — там пустота, черный ящик, сундук, наполненный ничем. И он в этой пустоте, пройдя крепкое кольцо ее мускулов. Он спрашивает:

— Я могу кончить?

— Пожалуйста. — Ее голос звучит слабо, надломленно. А спина и лопатки напряжены.

Всего несколько втяжек — он массирует ей голову одной рукой и крепко держит за ягодицу другой. Куда хлынет его сперма? Да никуда, просто смешается с ее говном. Со сладким говном сладкой Тельмы. Они лежат молча, но по-прежнему слившись, пока его член медленно не опадает и он не вытаскивает его.

— О'кей, — произносит он. — Спасибо. Я этого не забуду.

— Обещаешь?

— Мне как-то даже неловко. А что ты чувствуешь?

— Я чувствую, что полна тобой. Чувствую, что меня трахали через зад. И трахал дивный Гарри Энгстром.

— Тельма, я просто не могут поверить, что так дорог тебе. Чем я это заслужил?

— Просто тем, что ты существуешь. Тем, что излучаешь обаяние. Неужели ты не замечал, что на вечеринках или в клубе я всегда подле тебя?

— Ну, в общем, нет. Вокруг бывает много народу. Я имею в виду: мы же часто встречаемся с тобой и Ронни...

— А вот Дженис и Синди заметили. Они знали, что я захочу выбрать именно тебя.

— Гм... я, в общем, не собираюсь выпытывать, но что же во мне так на тебя действует?

— Ох, милый! Да все! То, что ты такой высокий, и то, как ты двигаешься, будто ты все еще тощий двадцатипятилетний мальчишка. То, как ты всегда садишься на такое место, чтобы легко можно было сбежать. Как ты криво усмехаешься, точно юнец на вечеринке, который знает, что хулиганы через минуту доберутся до него. Какой ты добродушный. Как ты веришь людям: к примеру, Уэббу, ты же впитываешь каждое его слово, тогда как все остальные и внимания на него не обращают, а Дженис — ты так гордишься ею, что даже трогательно. А ведь она ничегошеньки не умеет. Даже в теннисе — Дорис Кауфман говорила нам, — право же, она...

— Ну, просто приятно видеть, что она от чего-то получает удовольствие — у нее ведь была довольно унылая жизнь.

— Вот видишь? Просто ты невероятно широкий человек. Ты так благодарен судьбе, когда где-то бываешь, к примеру в этом паршивом клубе или в этом уродливом доме у Синди, все кажется тебе просто раем. Это же чудесно. Ты так радуешься жизни.

— Ну, видишь ли, учитывая альтернативу...

— Я просто подыхаю. Я так тебя за это люблю. А какие у тебя руки. Мне всегда нравились твои руки. — Она сидит на краю постели и, взяв его левую руку, лежащую на простыне, целует по очереди белые лунки на каждом пальце. — А теперь твой пенис с его шапочкой. Ох, Гарри, пусть я помру оттого, что приехала сюда, но сегодняшняя ночь все окупает.

Эта пустота в ней. Он не может забыть сделанного открытия, этой пустоты, которую обнаружил в ней.

И вот в полумраке, прорезанном влажным голубым светом луны, сочащимся сквозь прорези жалюзи у кровати, под шорох пальм, Гарри раскрывает ей душу, точно читает молитву: он рассказывает ей о себе, как не рассказывал никому, о Нельсоне, о том, как малый раздражает его и как он раздражает малого, и о своей дочери, а ему кажется, что это его дочь, выросшая, не зная его. Он осмеливается признаться во всем этом Тельме, потому что она отдала ему всю себя без остатка в доказательство своей любви, внушила ему, как чудесно, что он — такой, возродила в нем давнее убеждение, начавшее было испаряться под влиянием того, что энергия стала убывать, — убеждение, что есть в мире нечто такое, что именно ему предстоит открыть, что он явился на свет со своего рода миссией.

— До чего же прекрасно, когда человек так думает, — говорит Тельма. — Ты от этого... — ей не удается сразу подобрать нужное слово, — как бы светишься. И выглядишь таким грустным. — Она дает ему советы. Она считает, что он должен разыскать Рут и напрямик спросить, его ли это дочь, и если да, то чем он может помочь. Что до Нельсона, то она считает, что вся проблема — Гарри, если бы он сам не чувствовал себя виноватым в смерти Джилл, а до этого в смерти крошки Ребекки, он не боялся бы Нельсона, чувствовал бы себя увереннее и был бы добрее с ним. — Помни, — говорит она, — он же всего лишь молоденький мальчик, каким ты был когда-то, мальчик, который только нащупывает дорогу в жизни.

— Но он совсем на меня не похож! — возражает Гарри, разговаривая наконец с человеком, который способен понять весь ужас этой истины, великого разлада между ним и сыном. — Он проклятый маленький Спрингер до мозга костей.

А Тельма считает, что Нельсон куда больше похож на Гарри, чем ему кажется. Увлекся, к примеру, планеризмом — неужели и в этом Гарри себя не узнает? А то, что в его жизни сразу две девчонки. Может, Гарри немного завидует Нельсону?

— Но у меня никогда не было стремления потрахать Мелани, — признается он. — Или ту же Пру. Они обе точно из другого мира.

— Конечно, — говорит Тельма. — У тебя и не могло возникнуть такого желания. Они же тебе в дочери годятся. Как и Синди. Ты должен был бы хотеть потрахать *меня*. Я — женщина твоего поколения, Гарри. Я *вижу* тебя. А для этих девчонок ты лишь груда лет и денег.

Постепенно разговор их уходит от сложностей его жизни, и она начинает рассказывать о своем браке с Ронни, о том, как он вечно озабочен, как неуверен в себе, несмотря на свою манеру хвастать, которая, она знает, так раздражает Гарри.

— Он ведь никогда не был звездой, как ты, ни на секунду этого не испытывал.

Они встретились, когда ей было далеко за двадцать и она уже считала, что скорее всего так и умрет одинокой учительницей. Хотя она не была юной девственницей, знала мужчин и умела распускать вожжи, тем не менее привычки Ронни немало позабавили ее. Во время медового месяца он кончил в яичницу, приготовленную на завтрак, и они съели его зажаренную сперму вместе с остальным. Однако если мириться с его странностями, то он на редкость преданный и, можно сказать, покладистый человек. Он не интересуется другими женщинами — это она твердо знает, что весьма любопытно, учитывая мужскую натуру. Он идеальный отец. Когда он занимал еще совсем незначительное положение в иерархии Скулкиллской страховой компании, он на двадцать фунтов похудел оттого, что ночами не спал и все тревожился. Только в последние два-три года он вернул свой вес. А когда они узнали, что у нее волчанка, Ронни расстроился куда больше, чем она.

— Для женщины, которой перевалило за сорок, Гарри, уже нарожавшей детей... Если бы какой-нибудь фашист или кто-то еще явился ко мне и сказал: я забираю либо тебя, либо маленького Джорджи — он самый хилый, потому я о нем и подумала, — мне не трудно было бы сделать выбор. А вот Ронни, я думаю, было бы трудно. Трудно потерять меня. Он считает, то, что я для него делаю, не всякая станет делать. Наверное, он не прав, но это так.

И она признает, что ей нравится его член. Но Гарри, будучи мужчиной, не может оценить всей ситуации: такой большой член, как у Ронни, не становится больше, когда встает, — просто угол меняется. Он не превращается из маленького младенца, спящего в капоре, в высокого разъяренного солдата. Тельма снова заводит его, небрежно лаская и не переставая говорить, а в ночи за их окном наступила полная тишина, крик последнего пьяного и звуки музыки давно умолкли, ничто не шевелится, кроме нескончаемых вздохов океана да писклявого голоса цикады, которые тут водятся. Из вежливости Гарри предлагает взять ее, несмотря на кровотечение, но она отказывается с поистине девственным страхом, так что ему приходит в голову, не пользуется ли она менструацией в качестве предлога, чтобы не впускать его в себя, сохранить эту часть своего тела для законного мужа, в стороне от своей бесстыдной любви.

— И вот когда я поняла, что влюбляюсь в тебя, — пояснила она, — я ужас как на себя разозлилась, я хочу сказать, это же ничего не могло дать. Но потом я поняла, что, видимо, в наших отношениях с Ронни чего-то не хватает, а может, так вообще бывает в жизни, и тогда я постаралась смириться и даже тихо радовалась своей любви — мне доставляло удовольствие просто глядеть на тебя. Маленький ты мой мохнатик.

Он еще не целовал ее в губы, но сейчас, догадываясь, что она чувствует себя виноватой, не давая ему войти в себя, он это делает. Губы у нее холодные и сухие, что как-то не вяжется с остальным. Поскольку она не дала ему войти в себя, он мастурбирует ее, сев ей на лицо, радуясь тому, что успел прежде вымыться. Ее язык отправляется на поиски, а пальцы, которые кажутся по сравнению с его руками такими холодными, точно все еще вымазаны в вазелине, направляют его руки, и они находят, а потом теряют и снова находят маленький зачехленный центр *ее*. Она кончает со сдавленным криком и выгибает спину, так что ее бледное гладкое незнакомое тело появляется перед его глазами, — туча со ртом, рыба, выскочившая из воды. Восстановив дыхание, она наблюдает вместе с ним, как белая жидкость взлетает фонтаном и липкими струйками стекает по ее руке. Она размазывает его сперму по своему лицу, и оно начинает блестеть. На дворе застывший воздух начинает светлеть, вырисовывается каждый лист. Опьяненный усталостью и полным раскрытием себя, Гарри просит ее сказать, что бы еще такое сделать, чего с ней не делал Ронни. Она ложится в ванну и просит помочиться на нее.

— Какая горячая! — восклицает она в то время, как он рисует на землянистой коже завитки, как делают мужчины и мальчишки на снегу. Они меняются местами — Тельма неуклюже приседает и смеется над собственной импотенцией, стараясь заставить свои внутренности сработать. Ее волосня над ним, — а он лежит и ждет, когда это произойдет, — кажется мужской, но струйка, появившись, тут же отклоняется в сторону. «Не умеют женщины *целиться* », — думает он. И то, что Тельма объявила ее горячей, сильно преувеличено, — это больше похоже на кофе или чай, слишком долго простоявший на письменном столе, его выпиваешь в несколько глотков, так как он лишь тепленький. Тельма и Гарри становятся вместе под душ, чтобы смыть с себя запах мочи, и засыпают, исполосованные светом, проникающим сквозь жалюзи зари, — засыпают так мирно, точно впереди у них не несколько украденных часов, а целая жизнь в освященном законом браке до гробовой доски.

Раздается отчаянный стук в дверь.

— Тельма! Гарри! Это *мы*.

Тельма набрасывает халат и идет открывать дверь, а Кролик скрывается под простыней и выглядывает оттуда. На фоне наступающего дня в двери стоят Уэбб и Ронни. Уэбб выглядит роскошно в зеленой рубашке под крокодила и серо-голубых клетчатых брюках для гольфа. На Ронни тот же костюм, в котором он был вчера, и ему явно необходимо войти в комнату. Тельма захлопывает перед их носом дверь и скрывается в ванной, а Гарри надевает мятый костюм, который он носил накануне, и не утруждает себя возней с галстуком. Ему кажется, что от него до сих пор пахнет мочой. Он бежит к себе в бунгало, чтобы переодеться в костюм для гольфа. Черные девчонки в сопровождении желтых птиц везут, напевая, по бетонным дорожкам тележки с завтраком. Дженис наполняет ванну водой.

Гарри кричит ей:

— Ты в порядке?

Она кричит в ответ:

— В таком же, как и ты, — но не выходит из ванной.

Выйдя из своего бунгало, Гарри успевает съесть рогалик и сделать несколько глотков горячего кофе. От тонких, как папиросная бумага, оранжевых и красных цветов у дверей бунгало у него раскалывается от боли голова. Уэбб и Ронни поджидают его у скрещения зеленых цементных дорожек. Играя в гольф, все трое без конца болтают и шутят, но избегают смотреть друг на друга. Когда они возвращаются после гольфа около часа дня, Дженис сидит у «олимпийского» бассейна в пунцовом габардиновом костюме, в котором она летела сюда.

— Гарри, звонила мама. Нам надо возвращаться.

— Ты шутишь. Почему? — Он еле держится на ногах от усталости и намеревался поспать, чтобы быть в форме к вечеру. Кроме того, кожу на его члене саднит после ночных трудов, ему больно всякий раз, как он делает взмах, он надеется, что влагалище Синди окажется более нежным. Как ни странно, он хорошо провел партию в гольф на фоне ярких воспоминаний о нижней части тела Тельмы и будоражащей близости своих двух деловитых партнеров, молча носящих в себе такие же картины, он на удивление хорошо наносит удары по мячу, пока на пятнадцатой лунке на него не наваливается усталость и он не посылает три мяча за пределы поля, в чащобу кактусов, коралловых скал и можжевельника, где они безвозвратно теряются. — Что случилось? Что-то с ребенком?

— Нет, — говорит Дженис, по тому, как обильно текут у нее слезы, он понимает, что за это утро она уже не раз плакала, сидя здесь на солнце. — Дело в Нельсоне. Он сбежал.

— Он — что? Нет, я лучше сяду. — И говорит черному официанту, который подходит к их стеклянному столику, стоящему под зонтом с бахромой: — Ананасный коктейль, Джефф. Пожалуй, два. Да, Дженис? — Она кивает сквозь слезы, хотя перед ней уже стоит пустой стакан. Гарри обводит взглядом лица друзей. — Вот что, Джефф, принеси-ка, пожалуй, шесть коктейлей. — Он уже усвоил законы этих мест. Все сидящие у бассейна, за исключением их компании, выглядят бледными — видно, только что сошли с самолета.

Из бассейна вылезает Синди, ее загорелые плечи отливают синевой, трусики купального костюма прилипли сзади к телу. Она одергивает их, прикрывая незагорелую кожу наверху и внизу. С каждым днем ее все больше и больше разносит. «Не зевай», — говорит себе Гарри. Но уже поздно. Ее лицо, когда она поворачивается, усиленно растирая полотенцем спину и так при этом изгибаясь, что одна грудь чуть не вылезает из лифчика, — серьезно. И она и Тельма уже все слышали от Дженис. Тельма сидит за столиком в длинном, по щиколотку, халате, таком же ярко-розовом, как ее нос, — она купила его здесь вместе с широкополой соломенной шляпой. Большие солнечные очки с коричневыми стеклами, более темными к верху, которые она привезла из дома, лишают ее лицо всякого выражения. Гарри садится на стул рядом с ней. Он случайно задевает ее коленом — она тотчас отодвигается.

Тем временем Дженис, обливаясь слезами, рассказывает ему:

— В субботу вечером они поссорились с Пру: он хотел поехать в Бруэр на вечеринку к этому Тощему, а Пру сказала, что на таком месяце беременности ей не до развлечений, потом ей страшно даже подумать о той лестнице, тогда он взял и уехал один. — Она судорожно глотает. — И не вернулся. — Она охрипла от слез.

Уэбб и Ронни со скрежетом, отдающимся у Гарри в голове, подтаскивают стулья к их столику, стоящему в маленьком кружочке тени. Когда Джефф приносит напитки, Дженис прерывает свой ужасный рассказ, и Ронни предлагает решить, кто что будет брать на обед. Он, как и его жена, — в темных очках. А Уэбб — без очков, уверенный в том, что под его мохнатыми бровями и припухшими веками почти не видно глаз, которые смотрят на Дженис поистине по-отечески.

Щеки Дженис мокры от горя, и Гарри не может не любить ее, такую сейчас уродливую.

— Я же говорил тебе, что малый — подонок, — изрекает он. Все-таки прав он был. Ему даже легче стало.

— Он не вернулся. — Дженис уже чуть ли не навзрыд рыдает и глядит не на Уэбба, а только на него, вид у нее неопрятный, какой-то потерянный, затравленный, как бывало в начале их совместной жизни, пока она еще не стала делаться зазнайкой. — Но м-мама не хотела тревожить нас на отдыхе, а П-пру считала, что ему надо дать выпустить пар, и делала вид, что не беспокоится. Но в воскресенье, вернувшись с мамой из церкви, она позвонила этому Тощему, и выяснилось, что Нельсон там не появлялся!

— А он уехал на машине? — спрашивает Гарри.

— На твоей «короне».

— Ну и ну!

— Я, пожалуй, буду есть только яичницу, — говорит Ронни подошедшей официантке. — Только не пережарьте. Понятно? Чтоб была жидкая.

На этот раз Кролик уже намеренно пытается коленом коснуться под столом колена Тельмы, но она поджала ноги. Как и Дженис, она теперь стала помехой в его общении с другими. Официантка остановилась у его плеча, и он раздумывает, не съесть ли ему еще сандвич с салатом из крабов или не рисковать и взять сандвич с беконом, листочками салата и помидором. Солнце передвинулось, и лицо Дженис, находившееся в тени, попало в полосу света; на Гарри смотрят расширенные глаза, рот раскрыт, точно она сейчас закричит.

— Гарри, какой обед, одевайся и поехали! Я упаковала твои вещи, все, кроме серого костюма. Дежурная почти час дозванивалась, пытаясь добыть нам билеты на Филадельфию, но в такое время года это невозможно. Ничего нет даже на Нью-Йорк. Она устроила нам два места на маленький самолет, летящий в Сан-Хуан, и забронировала номер в аэропортовской гостинице, чтобы мы могли рано утром вылететь на материк. В Атланту, а потом в Филадельфию.

— А почему нам не воспользоваться нашей броней на четверг? Что один день изменит?

— Я сняла броню, Гарри, ты не разговаривал с мамой. Она вне себя, я никогда не слышала, чтоб она так говорила, — ты же знаешь, она всегда такая разумная. Я снова ей позвонила и сообщила, что мы прилетаем в среду, но она едва ли сможет нас встретить: боится из-за движения ездить по Филадельфии; она расплакалась и сказала, что слишком стала старая.

— Значит, ты сняла броню. — Только сейчас это начало до него доходить. — Ты хочешь сказать, что мы не можем остаться здесь сегодня на ночь из-за того, что Нельсон что-то там выкинул?

— Ты не закончила свой рассказ, Джен, — говорит Уэбб.

Значит, уже Джен? Гарри вдруг проникается ненавистью к людям, которые делают вид, будто все знают: по их милости ты не понимаешь, что и знать-то нечего. Внутри у нас у всех полнейшая темнота.

Дженис снова судорожно глотает и дергает носом, немного успокоенная тоном Уэбба.

— А больше рассказывать нечего. Он не вернулся ни в воскресенье, ни в понедельник, и никто из их друзей в Бруэре не видел его, и мама под конец не выдержала и сегодня утром позвонила нам, хотя Пру твердила, что не надо нас беспокоить: это-де ее муж и она за него в ответе.

— Бедная девочка. Верно ты говорила: она, видно, считает, что может с чем угодно справиться. — И объявляет жене: — Я не хочу до вечера уезжать отсюда.

— В таком случае оставайся, — говорит Дженис. — Я уезжаю.

Гарри смотрит на Уэбба в надежде на помощь, но перед ним бесстрастное лицо благоразумного человека, который всем своим видом говорит — это меня не касается. Он переводит взгляд на Синди, но она смотрит в свой стакан с коктейлем, прикрыв глаза ресницами.

— Все равно я не понимаю, почему такая спешка, — говорит он. — Никто же не умер.

— Пока еще нет, — говорит Дженис. — Тебе это нужно?

Веревка в его груди закручивается, образуя петлю.

— Вот ведь паршивец, — говорит он и, встав, ударяется головой об украшенный бахромой край зонта. — Когда, ты сказала, этот самолет на Сан-Хуан?

Дженис уже с виноватым видом сопит:

— Только в три.

— О'кей. — Он вздыхает. В известной мере так даже лучше. — Пойду переоденусь и принесу чемоданы. Кто-нибудь из вас, ребята, не мог бы по крайней мере заказать мне бутерброд с котлетой? Синди! Тельма! До скорой встречи. — Обе женщины разрешают поцеловать себя: Тельма — церемонно подставив губы, Синди — крепкую, как яблоко, щеку, поджаренную солнцем.

На протяжении всего двадцатичетырехчасового пути домой Дженис плачет не переставая. Поездка в такси мимо заброшенных сахарных заводов, сквозь стада коз и через вытянутые цепочкой поселки черных под ласковыми поцелуями теплого воздуха; сорокаминутный перелет в подрагивающем двухмоторном самолетике до Пуэрто-Рико над спокойной зеленой водой, под сверкающей поверхностью которой таятся рифы и стаи акул; остановка в Сан-Хуане, где в самом деле одни только испашки; бесконечно долгая ночь, когда они, обливаясь потом, спали в отеле, очень похожем на мотель на шоссе 422, где жила, кажется, целую вечность назад миссис Лубелл; затем утром — два билета на реактивный самолет до Филадельфии через Атланту, и на протяжении всего этого времени щеки у Дженис влажно блестели, глаза смотрели прямо перед собой, а на ресницах висели крошечные шарики влаги. Словно горе, захлестнувшее его на свадьбе Нельсона, подобралось наконец и к Дженис, а он, Гарри, — спокоен, пуст и холоден, как это пространство, висящее под подрагивающим самолетом, точно огромный плод.

Он спрашивает ее:

— Это все из-за Нельсона?

Она отчаянно трясет головой, так что челка на лбу подскакивает.

— Из-за всего, — вырывается у нее настолько громко, что он боится, как бы не начали оборачиваться сидящие впереди, чьи головы им едва видны.

— Из-за этой смены партнеров? — мягко продолжает он.

Она кивает, менее отчаянно, и закусывает нижнюю губу, так что рот у нее становится как у черепахи, такой рот бывает иногда у ее матери.

— А как тебе показался Уэбб?

— Он был очень мил. Он всегда так мило относится ко мне. Он высоко ценил папу. — И новый поток слез. Она делает глубокий вдох, чтобы успокоиться. — Мне было жаль тебя: ведь тебе так хотелось быть с Синди, а оказалась Тельма. — После этого слезы льются уже ручьем.

Он похлопывает ее по лежащим на коленях рукам, в которых она держит влажную бумажную салфетку.

— Послушай, я уверен, что с Нельсоном, где бы он сейчас ни был, все в порядке.

— Он... — Кажется, она сейчас захлебнется. Стюардесса, проходя мимо, бросает на них взгляд — это уже получается неловко. — Он так ненавидит себя, Гарри.

Гарри прикидывает в уме, может ли такое быть. И хохочет:

— Ну, меня он, во всяком случае, подсек. Вчера я думал, моя мечта станет явью.

Дженис дергает носом и вытирает бумажной салфеткой каждую ноздрю.

— Уэбб говорит, что она вовсе не такое уж чудо. Он без конца вспоминал своих двух первых жен.

Под ними, в поцарапанном овале плексигласа, лежит Юг — неровные квадраты полей и бурые сухие леса: лесов здесь больше, чем предполагал Гарри. Когда-то он мечтал уехать на Юг, отдохнуть измученным сердцем среди хлопковых полей, и вот они сейчас под ним, сплошные квадраты, они словно карабкаются вверх по склону огромной горы — поля, и леса, и города в излучинах и устьях рек, улицы, вгрызающиеся в зелень. Америка, униженная и истощенная, оплакивающая своих заложников. Они летят слишком высоко, так что поля для гольфа отсюда не разглядеть. Здесь на них играют всю зиму — клюшкой махать легко. Гигантские моторы, несущие Гарри, подвывают. Он засыпает. Последнее, что он видит, — это Дженис, которая тупо смотрит перед собой, и в глазах ее накипают слезы вровень с опухшими веками. Ему снится Пру, из которой вдруг извергается водопад воды, в то время как он старается раздвинуть ей ноги, — столько воды, что его охватывает паника. Он передвигает тяжесть своего тела и просыпается. Они снижаются. Он вспоминает ночь, проведенную с Тельмой, и ему кажется, что это было во сне. Реальна только Дженис — рукав ее габардинового костюма трагически сморщился, контуры подбородка расплылись, голова откинута так, точно болтается на сломанной шее. Она тоже спит — на коленях у нее лежит все тот же журнал, который она читала по пути сюда. Они снижаются над штатами Мэриленд и Делавэр, где разводят лошадей и где Дюпоны — короли. Богатые женщины с плоской, как у птиц, грудью возвращаются с охоты в высоких черных сапогах. Проходят мимо дворецких и идут длинными коридорами, щелкая хлыстом по мраморным столам. Женщины, которые никогда не будут ему принадлежать. Он достиг своего предела и теперь на спуске — никогда уже у него не будет такой женщины, никогда не будет и многого другого. Даже снежной пыли нет внизу — ни на сухой земле, ни на крышах домов, ни в полях, ни на дорогах, по которым, точно заводные игрушки по невидимым рельсам, несутся машины. Однако, с точки зрения людей, сидящих в этих машинах, это они мчатся вовсю и свободны, как птицы. Стальной лентой поблескивает река, самолет опасно накреняется: пожалуй, последнее, что слышит Гарри, — это свист воздуха в вентиляторе над головой. Дженис проснулась и сидит очень прямо. «Прости меня!» Форт Миффлин пролетает как раз под их колесами, а они летят с титанической скоростью. «Прошу тебя, Боже!» Она говорит ему что-то в ухо, но стук коснувшихся земли колес заглушает ее слова. Они уже на земле и катят к аэровокзалу. Он сжимает влажную руку Дженис — а он ведь не отдавал себе отчета, что держит ее.

— Что ты сказала? — переспрашивает он.

— Что я люблю тебя.

— В самом деле? Что ж, я тоже. Занятное у нас было путешествие. Я доволен.

Пока они долго, медленно катят к своей «гармошке», она застенчиво спрашивает:

— А что, Тельма была лучше меня?

Он слишком благодарен Тельме, чтобы опуститься до лжи.

— В определенном смысле. А как Уэбб?

Она кивает и кивает, точно хочет вытрясти последние слезы из глаз.

Он отвечает за нее:

— Значит, мерзавец был хорош.

Она утыкается головой ему в плечо:

— А почему же, ты думал, я так плакала?

Потрясенный, он говорит:

— Я думал, из-за Нельсона.

Дженис снова так громко дергает носом, что какой-то мужчина, уже поднявшийся со своего места и надевающий на загорелую лысую голову русскую меховую шапку, таращится на нее.

— В общем, по большей части, — соглашается Дженис.

И они с Гарри, как два заговорщика, снова обмениваются рукопожатием.

В конце многомильного аэропортовского коридора стоит мамаша Спрингер, немного в стороне от суетливой толпы встречающих. В футуристических пространствах аэровокзала она выглядит усохшей и дряхлой в своем хорошем пальто — не в норковом, а в черном суконном, отделанном чернобурой лисой, и в маленькой вишневой шляпке без полей с откинутой назад вуалеткой, которая еще могла бы сойти в Бруэре, но здесь кажется такой нелепой среди ковбоев, стройных молодых людей — непонятно какого, мужского или женского, пола, — с коротко остриженными под панков, крашенными в пастельные цвета волосами, и черномазых красоток, соорудивших из своих круто вьющихся волос подобие огромных торчащих ушей Микки-Мауса из фильмов Уолта Диснея. Обнимая мамашу, Кролик чувствует, какой маленькой стала эта женщина, которая в дни молодости вселяла в него такой ужас. С ее лица исчезло прежнее надутое выражение, говорившее о кёрнеровской гордости и готовности в любую минуту возмутиться, и кожа без единой кровинки легла складками. Под глазами образовались большие провалы, говорящие о печеночной недостаточности, а зоб превратился в жуткий мешок.

Ей не терпится поскорее все рассказать, и, отступив на шаг, чтобы торжественнее звучал голос, она объявляет:

— Ребеночек родился вчера вечером. Девочка, семи с небольшим фунтов. Я, как отвезла Пру в больницу, ни на минуту не сомкнула глаз — все ждала звонка доктора. — Голос ее дрожит от возмущения. По радио аэропорта передают аранжировку какой-то известной мелодии, которую выводят одновременно несколько скрипок, и слова мамаши сопровождаются такими победными звуками, что Гарри и Дженис еле удерживаются от улыбки, однако шагнуть к ней ближе, несмотря на толкотню, не решаются — так по-детски торжественно объявляет им старуха о случившемся. — А сейчас на «восьмерке» мне все время гудели грузовики, гудели вовсю, точно у нас туман. Точно я могла куда-то свернуть — не по обочине же мне ехать на «крайслере», — говорит Бесси. — А на шоссе после Коншохоккена я думала, меня убьют. В жизни не видела такого множества машин, а я-то думала, что к полудню их станет меньше, а потом эти указатели — на них не прочтешь даже и с хорошими глазами. Всю дорогу, пока я ехала вдоль реки, я молилась Фреду и, право, считаю, это он помог мне добраться сюда, самой мне бы в жизни не доехать.

По всему видно, что больше такого путешествия она никогда не предпримет — Дженис и Гарри присутствуют при завершении последнего в ее жизни великого усилия. Отныне она всецело полагается на них.

5

Однако события не окончательно выбили мамашу Спрингер из седла, и у нее хватило ума позвонить Чарли Ставросу и вернуть его в магазин. Его матери в декабре стало хуже — вся левая сторона у нее онемела, так что теперь она боится передвигаться даже с палочкой, а двоюродная сестра Чарли Глория, как он и предсказывал, вернулась в Норристаун к своему мужу, правда, Чарли считает, не более чем на год, так что он накрепко привязан к дому. На этот раз загорелым на работу приехал Гарри. Он долго трясет Чарли руку — так он рад снова видеть его в «Спрингер-моторс». Однако вид у Чарли не блестящий: флоридский загар слез с него, как краска. Он выглядит слишком уж бледным. Выглядит так, будто, проткни ему кожу, и кровь пойдет серая. Он стоит ссутулившись, точно курил всю жизнь по три пачки в день и теперь боится за свою грудь, хотя Чарли, как все эти испанцы-итальянцы, никогда не увлекался саморазрушением — не то что скандинавы или негры. Еще неделю тому назад Гарри не стал бы так горячо жать ему руку, но теперь, переспав с Тельмой, он чувствует себя менее скованно и снова любит весь мир.

— Ты здорово выглядишь, — лжет он Чарли.

— А я лучше себя и чувствую, — говорит ему Чарли. — Слава Богу, зимы пока еще не было.

Через зеркальное стекло Гарри видит белоснежный безлиственный пейзаж, неизбывная во все время года пыль летит и крутится вместе с бумажным мусором, который ветер несет от «Придорожной кухни» через шоссе 111. В витрине висит новый плакат: ЭРА «КОРОЛЛЫ». *«Тойота»* — это экономия.

— Чертовски грустно, — начинает разговор Чарли, — видеть, как Мамма-моу быстро сдает. Она вылезает из постели, только чтобы сходить в ванную, и все уговаривает меня жениться.

— А может, это и хороший совет.

— Ну, я попытался приударить за Глорией, и, вполне возможно, она потому и помчалась назад к мужу. А тот малый — такое дерьмо. Она наверняка сюда вернется.

— Разве она тебе не двоюродная сестра?

— Ну и что же, тем лучше. С перчиком. Невысокая, немного грузная в бедрах — не твоего класса, чемпион. Но миленькая. А видел бы ты, как пляшет. Я тысячу лет не был на субботних вечерах Эллинского товарищества. Она тут уговорила меня пойти. И я получил большое удовольствие, глядя, как она старалась.

— Ты говоришь, она наверняка сюда вернется.

— Угу, но не ради меня. Этот поезд я упустил. — И добавляет: — Немало поездов я упустил.

— А кто — нет?

Чарли перекатывает зубочистку по нижней губе. Гарри старается не таращиться на него: он стал похож на бруэрского старика из тех, что заходят в табачную лавку, ставят десятку — попытать счастья в подпольную лотерею и болтаются у прилавка с журналами, дожидаясь возможности с кем-нибудь поговорить.

— Ты все-таки кое-что от жизни урвал, — отваживается он сказать Гарри.

— Да нет. Слушай, Чарли! Я попал в такой переплет. Парень исчез, и на руках необставленный новый дом. — Однако эти два обстоятельства — образовавшаяся пустота и возможность начать новую жизнь, — скорее, возбуждают и радуют его.

— Малый объявится, — говорит Чарли. — Он просто выпускает пар.

— Вот так же и Пру говорит. В жизни не видал, чтобы человек был более спокоен в таких обстоятельствах. Вчера вечером, как только мы вернулись с островов, сразу поехали в больницу, и, Бог ты мой, до чего же она радовалась своей малышке. Можно подумать, она первая женщина в истории, которая сумела произвести на свет такое чудо. Наверное, волновалась, родится ли у нее нормальный ребенок после того, как она сверзилась с лестницы.

— Скорей всего больше волновалась за себя. Для таких девчонок, которых жизнь изрядно побила, рождение ребенка — это единственный способ доказать себе, что они тоже люди. Как же они собираются назвать малышку?

— Она не хочет называть девочку в честь своей матери, хочет назвать ее в честь бабули Ребеккой. Но хочет дождаться Нельсона, потому что, ты же знаешь, так звали его сестру. Ту малышку, что умерла.

— Угу. — Чарли понимает. Это может принести несчастье. Звук машинки Милдред Крауст заполняет их молчание. В мастерской кто-то из ребят Мэнни изо всех сил колотит по непокорному металлу. Чарли спрашивает: — А как ты намерен поступить с домом?

— Переезжать — так говорит Дженис. Она просто удивила меня — как она разговаривала с матерью. Прямо в машине, по пути домой. Она сказала, что мамаша может переехать вместе с нами, но она не понимает, почему бы ей не иметь собственный дом, как многие люди ее возраста, а кроме того, Пру и малышка явно вынуждены будут жить теперь там, и Дженис не хочет, чтобы старухе пришлось тесниться в собственном доме. То есть Бесси.

— Ха. Давно пора Джен стоять на своих ногах. Интересно, с кем это она советовалась?

Гарри приходит в голову, что с Уэббом Мэркеттом в ту ночь любви в тропиках, но жизнь показала, что им с Чарли лучше не углубляться в обсуждение Дженис. Поэтому он говорит:

— Вся беда с этим новым домом в том, что у нас нет для него обстановки. А все теперь стоит целое состояние. За простой пружинный матрас на стальной раме надо платить шестьсот долларов, а если добавить изголовье, то еще шестьсот. А ковры! Три-четыре тысячи за маленький восточный ковер — они же все идут к нам из Ирана и Афганистана. Продавец говорил мне, что вкладывать в них деньги выгоднее, чем в золото.

— На золоте можно неплохо заработать, — говорит Чарли.

— Лучше, чем мы зарабатываем, а? У тебя еще не было случая заглянуть в бухгалтерские книги?

— Бывали времена, когда они выглядели лучше, — признает Чарли. — Но инфляция все поправит. Во вторник, в первый день, когда я вышел на работу после звонка Бесси, сюда зашла молодая пара и купила этот спортивный «корвет», который принял к продаже Нельсон. Они сказали, что надумали купить спортивную машину и решили, что зимний мертвый сезон — самое подходящее для этого время. Старой машины не сдавали, в рассрочке не были заинтересованы, заплатили чеком, обычным банковским чеком. И откуда только у них деньги. Обоим никак не больше двадцати пяти. А на другой день, вчера, приехал парень на пикапе и сказал, что слышал, будто у нас продаются мотосани. Мы не сразу их откопали, а когда откопали, то у него так загорелись глаза, что я запросил за них тысячу двести и продал за девятьсот семьдесят пять. Я сказал ему: «Но ведь нет же снега», — а он сказал: «Не важно». Дело в том, что он переселяется в Вермонт — дожидаться атомной катастрофы. Сказал, что эта утечка из реактора в Три-Майл-Айленде совсем выбила его из колеи. Ты заметил, что Картер не произносит «ядерный». Он говорит — «идильный».

— Неужели ты действительно сбыл эти мотосани? Поверить не могу.

— Люди больше не экономят. Нефтяная пятерка предала капитализм. Она сыграла в жизни нашей страны ту же роль, какую царь в жизни России.

— Извини, Чарли, — говорит он, — я ведь теоретически до конца недели еще в отпуске, и Дженис меня ждет в центре, нам надо сделать тысячу вещей в связи с этим ее треклятым домом.

Чарли кивает:

— У Гарри сегодня нет времени обсуждать экономические проблемы. Мне самому надо кое в чем навести порядок. В чем, в чем, а в аккуратности Нельсона не обвинишь. — И кричит вслед Гарри, который уже вышел в коридорчик за шляпой и пальто: — Передай от меня привет бабушке!

Гарри не сразу понимает, что речь идет о Дженис.

Он ныряет в свой кабинетик, где на стене висит новый календарь, выпущенный компанией на 1980 год, со снимком Фудзиямы. Он делает в уме пометку — уже не впервые — позаботиться о старых вырезках, что висят снаружи на стене из прессованной крошки: слишком они пожелтели, а он слышал, что нынче научились переснимать старые фотографии, так что пожелтевшие места выглядят белыми, как новенькие, и увеличивать до любого размера. Можно будет их и увеличить, а расходы отнести на счет компании. Он снимает с массивной, на четырех изогнутых ножках, дубовой вешалки старика Спрингера дубленку, которую Дженис купила ему к Рождеству, и маленькую замшевую шляпу с узкими полями, которую он носит с дубленкой. В его возрасте надо носить шляпу. Всю прошлую зиму он проходил без простуд только потому, что стал носить шляпу. Да и витамин С помогает. Дальше уже придется пить геритол[[40]](#footnote-40).

Он надеется, что не обидел Чарли, оборвав разговор, но ему как-то не хотелось с ним сегодня говорить — малый совсем зашел в тупик и явно немного свихнулся, это действует как-то угнетающе. Ну к чему винить крупные нефтяные компании, когда мелкие компании ничуть не лучше. Правда, с той высоты, на какую воспарил Гарри, кто угодно будет казаться мелким и свихнувшимся. А он оторвался от земли и летит высоко — к новому острову в своей жизни. Он достает из верхнего левого ящика тюбик леденцов «Лайа Эйверс», чтобы от него лучше пахло — а вдруг его поцелуют, — и выходит через заднюю дверь. При этом он осторожно вытягивает засов: достаточно ведь посадить пятнышко жира на дубленку, и от него уже не избавишься.

Поскольку Нельсон забрал его «корону», Гарри взял себе голубую «селику-супра», последнюю модель фирмы «Тойота», с мягкой приборной доской, электрическим таксомотором, стерео с четырьмя колонками, кварцевыми часами, автоматической трансмиссией, контролем скорости, управляемыми компьютером подвесками, десятидюймовыми дисковыми тормозами на всех четырех колесах и кварцевыми галогеновыми передними фарами. Ему нравится эта машина — она катит как по маслу. «Корона» хоть и надежная, но похожа на крепкого маленького жучка, а в этой голубой хищнице есть шик. Вчера, когда он к вечеру ехал на ней домой, черные, болтающиеся в нижней части Уайзер-стрит, так и таращились. После того как они с Дженис отвезли мамашу на Джозеф-стрит, 89, в ее «крайслере» (который даже Гарри было трудно вести после того, как он целую неделю ездил на такси по левой стороне дороги) и уложили в постель, они вернулись в центр на «мустанге» — Дженис сидела в нем такая гордая: еще бы, сумела все-таки отстоять переезд в собственный дом — и отправились в мебельный магазин Шехнера, где был большой выбор кроватей, уродливых кресел и столиков вроде тех, что стоят у Мэркеттов в гостиной, только хуже, без крышки в шашечку. Они так и не решились ничего купить, а когда магазин уже закрывался, Дженис отвезла мужа в «Спрингер-моторс», чтобы он взял себе там машину. Он выбрал эту модель, цена на которую выражалась пятизначной цифрой. И черные, когда он мчался мимо в своей сверкающей чисто-голубой машине, таращились на него из-под неоновых вывесок: «Дружеский приют Джимбо», «Живой дивертисмент» и «Для взрослых, взрослых, взрослых», — он боялся, как бы кто-нибудь из этих болтающихся на холоде парней не кинулся к нему, когда он остановится у светофора, и не поцарапал капот металлическим ключом или не разбил ветровое стекло молотком, мстя за свою неудавшуюся жизнь. На многих стенах в этой части города можно видеть сделанную спреем надпись: «Ушлый жив», — но не сказано, где он.

Он солгал Чарли. С Дженис он должен встретиться только в половине второго, а сейчас на кварцевых часах его машины 11.17. Едет он в Гэлили. Он включает радио — звук здесь мощнее, богаче, объемнее и многообразнее, чем в его старой «короне». Хотя он крутит ручку настройки и вправо, и влево, и снова вправо, но не может найти Донну Саммер — она отошла в небытие вместе с семидесятыми. Зато какой-то малый поет гимны, так нажимая на слово «Иисусе», точно это апельсин и из него вот-вот брызнет сок. А такой мягкий многоголосый фон он слышал на пластинках, когда еще учился в школе: в музыкальных автоматах видно было, как падает пластинка, и девочки ходили на танцы в таких шуршащих платьях из тафты или чего-то еще, к которым прикладывали букетики, подаренные тобой. Букетики сплющивались по мере того, как партнеры все ближе прижимались друг к другу, и от напудренных грудей девчушек исходил их запах по мере того, как разогревались тела и партнер за партнером в лиловом свете погруженного в полутьму гимнастического зала прижимал их к себе, а над головой свисали полоски гофрированной бумаги и баскетбольные корзины, перевитые бумажными цветами, все эти теплые тела мягко стукались друг о друга в предвкушении холодного воздуха, который встретит их на улицах в машинах, где светиться будет лишь приборная доска, а от тепла, исходящего от тел, запотеет ветровое стекло, тафта будет задрана и смята, холодные пальцы будут неуклюже расстегивать пальто и брюки, снимать трусы, одежда превратится в серию туннелей, тело Мэри-Энн покорится его рукам, а пространство между ее ногами покажется ни с чем не сравнимым, мягким, душистым и безопасным, этаким отдельным мирком. Затем — известия, которые передают каждые полчаса. Молодая женщина с суровым голосом, работавшая диктором на местной станции, давно куда-то исчезла — интересно, думает Гарри, где она сейчас: танцует в дискотеке или работает помощником вице-президента в компании, производящей пиво «Подсолнух». Новый диктор говорит совсем как Билли Фоснахт — видно, губошлеп. Президент Картер объявил, что он за бойкот Московской Олимпиады 1980 года. Реакция спортсменов — разная. Премьер-министр Индии Индира Ганди отошла от просоветской позиции по Афганистану, которую она вроде бы занимала вчера. Член палаты представителей от штата Иллинойс Филипп Крейн в ходе весьма суматошной кампании по выборам назвал глупостью предложение сенатора Эдварда Кеннеди от штата Массачусетс перевести атомную электростанцию в Сибруке, штат Нью-Гемпшир, на уголь. В Японии бывшего участника ансамбля «Битлз» Пола Маккартни посадили в тюрьму, обнаружив при нем восемь унций марихуаны. В Швейцарии ученым удалось вывести бактерии, необходимые для производства чрезвычайно редкого человеческого белка — интерферона, антивирусного средства, которое может облагодетельствовать человечество в не меньшей мере, чем пенициллин. Ну а если золотые коронки подорожали, так это потому, что цена золота сегодня на Нью-Йоркской бирже поднялась до восьмисот долларов за унцию. А, черт! Слишком рано он продал свое золото. Восемьсот помножить на тридцать — это будет двадцать четыре тысячи, значит, почти на десять косых больше четырнадцати тысяч шестисот; надо было ему держаться золота, черт бы побрал этого Уэбба Мэркетта с его серебром. А теперь наша программа передает «Приятную музыку для приятных людей» — традиционный гимн «Храни меня, Спаситель». Гарри выключает радио и едет дальше уже лишь под урчание мотора «супры».

Теперь он знает дорогу. Мимо гигантского амиша, указывающего путь к природной пещере, через вытянутый цепочкой городок с его продуктовой лавкой, и старой гостиницей, и новым банком, и коновязью, и агентством, где можно взять напрокат трактор. В полях белеет кукурузная стерня — все золото с нее слиняло. Вода в пруду замерзла у берегов, а в центре стоит черная — такая мягкая была зима. Гарри сбрасывает скорость, проезжая мимо почтовых ящиков Блэнкенбиллеров и Мутов, и сворачивает на грунтовую дорогу у почтового ящика с фамилией БАЙЕР. Нервы его настолько напряжены, что он подмечает всякую мелочь: камушки, торчащие из красноватой земли в разбитой колее старой дороги, окаймляющие ее кусты, с которых уже слетела листва, но они стоят почти такие же пышные, какими были минувшим летом; облезлый каркас школьного автобуса цвета тыквы; ржавеющую борону; маленькую, много лет не крашенную теплицу и жалкие постройки за ней — амбар, сарай и каменный дом, который сейчас, когда он подъезжает с фасада, предстает перед ним в совсем ином виде. Гарри подводит «селику» к площадке утрамбованной земли, где тогда останавливалась «королла»; выключая мотор и вылезая из машины, он видит то место, откуда он все это наблюдал, — неровную линию вишневых деревьев и черного сумаха, проглядывающих сквозь яблони, откуда они кажутся куда дальше, чем ему представлялось, так что скорей всего никто его тогда не видел. Бред какой-то. Беги!..

Но так же как в смерти, наступает момент, когда надо заставить себя пересечь грань, отрезок времени, столь же незаметный глазу, как зеркальное стекло, — такой момент наступил для него сейчас, и он делает необходимый шаг, черпая мужество в любви Тельмы. В своей дубленке и дурацкой, маленькой, как у эльфа, шляпе, в шерстяной тройке в тоненькую полоску, купленной всего лишь в ноябре у портного Уэбба на Сосновой улице, он шагает по земле, где когда-то была проложена дорожка из гладких плит песчаника. Холодно — в такой день ты чувствуешь внутри пустоту. Хотя почти полдень, солнца нет, нет даже серебристой полоски, которая указывала бы его место в небе, — сплошные серые, низкие, пузатые тучи. Справа высится по-зимнему голая унылая рощица. В другой стороне, где-то за горизонтом, надрывается электрическая пила. Он еще не успел снять с руки перчатку и постучать в дверь, с которой длинными хлопьями облезает ядовито-зеленая краска, как собака в доме услышала его и залилась громким лаем.

У Гарри возникает надежда, что собака одна, а хозяев нет. Вокруг не видно ни легкового автомобиля, на пикапа — впрочем, машина может стоять в сарае или в том цементном гараже с крышей из рифленых, наложенных друг на друга внахлест листов плексигласа. В доме не видно света, но ведь сейчас полдень, правда, день сумрачный и все больше темнеет. Гарри старается проникнуть взглядом сквозь стеклянную панель двери и видит свое бледное отражение в шляпе во второй двери с двумя высокими стеклянными панелями, точно такой, как эта, отстоящей от первой на толщину каменной стены. За старыми стеклянными панелями просматривается холл с вытертой полосатой дорожкой, уходящей в неосвещенные глубины дома. Напрягая зрение, чтобы увидеть, что там дальше, Гарри чувствует, как от холода у него пощипывает нос и руку без перчатки. Он уже собирается повернуть назад и сесть в теплую машину, когда в доме возникает тень и, тяжело дыша от злости, спешит к нему. А черный колли все прыгает и прыгает у внутренней двери, озверев от бессилия, пытаясь укусить стекло, — отвратительные мелкие зубы его ощерены, рассеченная черная губа и желтоватые десны — грязные. Гарри стоит точно парализованный, завороженный; он уже не видит широкой тени, материализовавшейся позади Фрицци, пока рука не отодвигает засов на внутренней двери.

Другой рукой толстуха держит собаку за ошейник; желая ей помочь, Гарри сам открывает зеленую наружную дверь. Фрицци сейчас же узнает его по запаху и перестает лаять. А Кролик под всеми этими морщинами и жиром узнает Рут с ее такими знакомыми живыми, горящими глазами. И вот среди всей этой суматохи, устроенной собакой — а она машет хвостом и повизгивает, отчаянно требуя у старого знакомого признания, — двое давних влюбленных стоят друг против друга. Двадцать лет тому назад он жил с этой женщиной с марта по июль. Восемь лет спустя они столкнулись у Кролла — она тогда пощадила его, не наговорила горьких слов, и вот прошло еще двенадцать лет, нанеся обоим непоправимый урон. Ее волосы, когда-то огненно-рыжие, сейчас сильно поседели и стянуты сзади в пучок, как носят меннонитки. На ней широкие бумажные штаны и мужская рубашка в красную клетку под черным засаленным свитером с протертыми локтями, на который налипла собачья шерсть и опилки. И однако же, это Рут. Ее верхняя губа по-прежнему припухло нависает над нижней, точно под кожей там нарыв, а голубые глаза по-прежнему смотрят на него из квадратных впадин с враждебностью, которая его раззадоривает.

— Что вам надо? — спрашивает она. Голос ее звучит хрипло, точно она простужена.

— Я Гарри Энгстром.

— Я это вижу. Что вам здесь надо?

— Мы не могли бы немного поговорить? Мне нужно кое о чем спросить вас.

— Нет, мы не могли бы немного поговорить. Убирайтесь.

Но она выпустила из рук ошейник, и Фрицци уже обнюхивает щиколотки и колени Гарри и вся извивается от желания прыгнуть, разделить с пришедшим неуемную радость, родившуюся в ее узком черепе за чуть выпученными глазами. Один глаз у нее, похоже, по-прежнему болит.

— Хорошая Фрицци, — говорит Гарри. — Лежать, лежать.

Рут невольно смеется этим своим звонким, рассыпающимся смехом — точно горсть монет бросили на прилавок.

— Ну, Кролик, ты даешь! Откуда ты узнал ее кличку?

— Я слышал однажды, как ее окликали. Я уже раза два был здесь — стоял там, выше, за деревьями, но у меня не хватило духу подойти ближе. Глупо, да?

Она снова смеется, чуть менее звонко, словно это в самом деле позабавило ее. Хотя голос ее погрубел, и она удвоилась в размерах, и на ее щеках и над уголками рта появился пушок и несколько темных волосков, все равно это Рут, оставившая в его жизни легкий, как облако, след и снова материализовавшаяся. Она все такая же высокая — гораздо выше Дженис, да и любой женщины в его жизни, кроме мамы и Мим. И она всегда была грузноватой — в ту первую ночь, когда он поднял ее на руки, она еще пошутила, что это выведет его из строя, ее грузноватость отталкивала его, зато другое крепко держало — ее всегдашняя готовность к любовным забавам, пусть места для забав у них было совсем мало да и времени было в обрез.

— Значит, ты испугался нас, — говорит она. И, слегка нагнувшись, спрашивает собаку: — Как, Фрицци, впустим его на минутку?

Собаке он полюбился — от смутно вспыхнувшего в мозгу воспоминания хвост у нее заходил ходуном, и это склонило чашу весов в пользу Гарри.

В холле остро чувствуются застоявшиеся запахи прошлого — так обычно пахнет в старых фермерских домах. Яблоками в погребе, корицей, старой штукатуркой или обойным клеем — трудно сказать. В углу, на расстеленных газетах, стоят грязные сапоги, и Гарри замечает, что Рут — в носках, толстых, серых, мужских рабочих носках, это почему-то действует на него возбуждающе: она так тихо передвигается, несмотря на свои размеры. Она проводит его направо, в маленькую гостиную, где на полу лежит овальный лоскутный ковер и среди прочей мебели стоит садовый деревянный складной стул. Единственная современная вещь тут — телевизор, его огромный прямоугольный глаз мертв. В камине, выложенном из песчаника, догорают дрова. Прежде чем ступить на ковер, Гарри осматривает свои туфли, чтобы не наследить. И снимает модную замшевую шляпу.

Словно уже пожалев о том, что пригласила его, Рут садится на самый краешек кресла-качалки с плетеным сиденьем и так наклоняет его вперед, что ее колени почти касаются пола, а рука без труда дотягивается до шеи Фрицци, и она чешет собаку за ушами, чтобы та лежала смирно. А он, полагает Гарри, видимо, должен сесть напротив, на потрескавшийся черный кожаный диванчик, который стоит под двумя тоскливыми фотографиями — им, наверное, не менее ста лет — в одинаковых резных рамках: на одной изображен какой-то бородатый тип, а на другой — его застегнутая на все пуговицы жена, оба, должно быть, уже давно превратились в прах. Однако, прежде чем сесть, Гарри видит в другом конце комнаты в свете, падающем из окна, широкий подоконник которого весь заставлен горшками с африканскими фиалками и этими растениями с разлапистыми листьями, что дарят в День матери[[41]](#footnote-41), фотографии уже наших дней, цветные снимки, выстроившиеся в ряд на одной из книжных полок, забитых детективами и любовными романами в карманном издании, которые Рут любила читать и, видимо, до сих пор любит. В те месяцы, когда они были вместе, его обижало, когда она с головой погружалась в низкопробное чтиво, где события разворачивались в Англии или в Лос-Анджелесе, хотя он был рядом, во плоти. Он подходит к книжным полкам и видит Рут, более молодую, но уже довольно полную, — она стоит у угла этого самого дома рядом с мужчиной постарше, повыше и пополнее, который обнимает ее за плечи, — это, должно быть, Байер. Крупный застенчивый фермер в непривычной воскресной одежде щурится, глядя на солнце с грустной полуулыбкой, какие видишь на больших старых портретах, — надо же откликнуться на просьбу фотографа. А Рут — волосы у нее тут еще рыжие и приподняты вверх пышной копной — явно забавляет то, что этот заботливый мужчина так ею дорожит. На миг — краткий и врезавшийся в память, словно хлопнула ставня, — Кролик чувствует зависть к этой жизни, которой он не знал, к этой крупной простой сельской паре, которая позирует возле угла дома с осыпающейся коричневой штукатуркой, стоя на мартовской или апрельской, судя по цвету, траве. Природа не устает задавать нам загадки. Есть тут и другие фотографии — цветные снимки тщательно причесанных, улыбающихся детей в картонных рамках, в какие обычно вставляют школьные фотографии. Гарри только начал их разглядывать, как услышал резкий голос Рут:

— Разве тебе разрешили их смотреть? Прекрати.

— Это же твоя семья.

— Конечно. Моя, а не твоя.

Но он не может оторваться от ярких цветных изображений детей. Они смотрят не на него, а куда-то мимо его правого уха, одинаково посаженные фотографом, который май за маем приезжает в школу. Мальчик и девочка примерно одного возраста — старшеклассники; затем, меньшим форматом, мальчик помоложе, с более темными и более длинными волосами, разделенными на пробор с другой стороны, чем у брата. И у всех — голубые глаза.

— Два мальчика и девочка, — говорит Гарри. — Кто же из них старший?

— А тебе-то какое дело? Господи, я забыла, какой ты настырный, въедливый мерзавец. От колыбели и до могилы занят только собой.

— На мой взгляд, старше всех — девочка. Когда ты ее родила и когда ты вышла замуж за этого типа? Как ты, кстати, можешь жить в такой глуши?

— Преотлично. Ничего лучше мне никто никогда не предлагал.

— Я в те дни никому ничего не мог предложить.

— Но с тех пор ты отлично преуспел. Одет как манекен.

— А ты — как могильщик.

— Я пилила дрова.

— Ты орудуешь электропилой? Господи, неужели ты не боишься отхватить себе палец?

— Нет, не боюсь. Кстати, машина, которую ты продал Джейми, отлично работает, если ты приехал об этом справиться.

— Давно тебе известно, что я в «Спрингер-моторс»?

— Да всю жизнь. А потом, об этом же было в газетах, когда умер Спрингер.

— Это ты проезжала мимо церкви в старом «универсале» в тот день, когда была свадьба Нельсона?

— Вполне возможно, — говорит Рут и откидывается в своем кресле-качалке так, что оно наклоняется в противоположную сторону. Фрицци растянулась и спит. Потрескивают дрова в камине. — Нам случается проезжать через Маунт-Джадж. У нас пока ведь еще свободная страна, верно?

— Зачем тебе понадобилось делать такую глупость? — Значит, она его любит.

— Я же не говорю, что была там, да и потом, откуда мне было знать, что у Нельсона как раз в это время свадьба?

— Из газет. — Он видит, что она хочет помучить его. — Рут, насчет девочки. Это же моя дочь. Тот самый ребенок — ты ведь говорила, что ни за что не хочешь делать аборт. Значит, ты ее родила, а потом нашла этого старика фермера, который был рад и счастлив получить молодую жену, и от него ты родила двоих ребят, прежде чем он сыграл в ящик.

— Не хами. Этим ты ничего мне не докажешь, кроме того, что я была последняя дура, когда приютила тебя. Честное слово, ты — Ходячее Несчастье. Все время только и слышишь: я да я, мне да мне. А я, когда у меня было что тебе дать, отдавала себя без остатка, хоть и знала, что ничего не получу взамен. Теперь же, слава Богу, мне уже нечего давать. — Вялым жестом руки она обводит жалкую маленькую комнату. За эти годы в ее речи появилась деревенская медлительность, упрямое спокойствие, с каким деревня утаивает от города то, что город хочет у нее отобрать.

— Скажи мне правду, — молит он.

— Я только что сказала.

— Насчет девочки.

— Она моложе старшего мальчика, Скотт, Эннабел и затем в шестьдесят шестом — Моррис. Последыш. Шестого июня шестьдесят шестого года. Четыре шестерки.

— Не упрямься, Рут, мне ведь надо возвращаться в Бруэр. И не ври. У тебя в глазах появляются слезы, когда ты врешь.

— У меня в глазах слезы, потому что мне противно смотреть на тебя. Настоящий бруэрский ловкач. Торгаш. Ведь ты же таких терпеть не мог, помнишь? И толстый. Во всяком случае, когда я тебя знала, ты хоть был стройным.

Он смеется, наслаждаясь этим столкновением: ночь, проведенная с Тельмой, дает ему силы легче переносить оскорбления.

— Это *ты*, — говорит он, — называешь *меня* толстым?

— Да, я. А почему у тебя такое красное лицо?

— Это загар. Мы только что вернулись с островов.

— О Господи, так это из-за островов. А я-то думала, что тебя сейчас хватит удар.

— Когда твой муженек отдал концы? Чем ты его доконала — постелью?

Она с минуту пристально смотрит на него.

— Лучше уходи.

— Скоро уйду, — обещает он.

— Фрэнк умер в августе семьдесят шестого от рака. Толстой кишки. Он даже до пенсионного возраста не дожил. А когда мы познакомились, он был моложе, чем мы сейчас.

— О'кей, извини. Послушай, перестань меня подзуживать — я вовсе не хочу язвить. Расскажи мне про нашу дочку.

— Это *не наша* дочка, Гарри. Я тогда все-таки сделала аборт. Мои родители договорились с одним доктором в Поттсвилле. Он сделал мне аборт прямо у себя в кабинете, а примерно через год от осложнения умерла одна молоденькая девчонка, и его посадили в тюрьму, теперь же девчонки просто идут в больницу и делают аборты.

— И считают, что налогоплательщики должны за это платить, — говорит Гарри.

— Потом я нашла себе работу дневным поваром в ресторане недалеко от каменоломни Стоджи, к востоку отсюда, и там в ту пору работала двоюродная сестра Фрэнка, ну, и одно за другим — все произошло довольно быстро. В конце шестидесятого года у нас уже был Скотт — в прошлом месяце ему исполнилось девятнадцать, родился под Рождество — такие дети всегда не добирают подарков.

— А потом дочь — когда же она родилась? Эннабел.

— На следующий год. Фрэнк спешил обзавестись семьей. Мать не давала ему жениться, пока была жива, во всяком случае, он ее в этом винил.

— Ты врешь. Я же видел девчонку: она старше, чем ты говоришь.

— Ей восемнадцать. Хочешь, покажу свидетельство о рождении? — Наверняка блефует. Но он говорит:

— Нет.

Голос ее смягчается.

— А что ты так привязался к девочке? Почему ты не считаешь, что мальчишка — твой?

— У меня уже есть один сын. С меня довольно... — слова вырываются сами собой, — ходячего несчастья. — И вдруг спрашивает: — А где они? Твои сыновья?

— Тебе-то какое дело?

— В общем, никакого. Просто удивляюсь, почему они не здесь, не помогают тебе.

— Моррис — в школе, он возвращается домой на автобусе после трех. А Скотт работает в Мэриленде, в заводских яслях. Я им сказала обоим, и Энни тоже: «Уезжайте». Мне было здесь хорошо — я здесь нашла прибежище, а молодым людям делать здесь нечего. Когда Энни и Джейми Нунмейкер решили поселиться вместе в Бруэре, я не могла сказать «нет», хотя его родные решительно были против. Мы провели настоящее совещание, и я сказала им, что вся молодежь теперь так поступает — живут вместе, и все прекрасно, верно? Родители Джейми, правда, знают, что я старая потаскуха, но мне плевать, что они думают. Соседи никогда не вмешиваются в нашу жизнь, и мы в их жизнь не вмешиваемся. Фрэнк и старик Блэнкенбиллер пятнадцать лет не разговаривали после того, как Фрэнк начал за мной ухаживать. — Она замечает, что отвлеклась, и говорит: — Эннабел с этим парнем всю жизнь не пробудет. Он в общем-то славный, но...

— Я с тобой согласен, — говорит Кролик, точно его спрашивают. Он видит, что Рут одинока и ей хочется поговорить, и ему от этого становится не по себе. Он ерзает на старом черном диване. Пружины скрипят. На улице, видимо, переменился ветер, и током воздуха дым от сырых поленьев спиралью выбросило в комнату.

Рут бросает взгляд на фотографии умершей пары в рамках над его головой, похожих на резные гробы, и признается:

— Даже когда Фрэнк был здоров, ему пришлось заняться доставкой детишек в школу, чтобы сводить концы с концами. А я теперь сдаю в аренду большие поля и делаю вырубку, чтобы все здесь не заросло. Главные мои враги — это кусты и счета за солярку.

— Н-да, — вздыхает он. — Тяжело.

Фрицци, разбуженная чем-то тревожным, привидевшимся ей во сне, когда она лежала, подергивая лапами, вдруг поднимается и идет на Гарри, словно собираясь на него залаять, но вместо этого снова опускается на ковер и доверчиво сворачивается у его ног. А Гарри, протянув длинную руку, берет фотографию дочери с книжной полки. Рут не возражает. Он внимательно изучает бледное, словно светящееся изнутри лицо в рамке из коричневого картона: на странном, в голубых потеках фоне, этакой подделке под небо, девчонка смотрит куда-то мимо него. Круглое, крепкое, как яблоко, благодаря глянцевитой бумаге и ретуши при печати, лицо не только не выдает своей тайны, а, наоборот, кажется еще более таинственным — столь же непонятное по облику, как те формы морской жизни, что высвечивали прожекторы под мостками у казино. Рот она унаследовала от матери — эту верхнюю припухшую губу он заметил еще в магазине. И эти словно квадратные глазные впадины, хотя брови у нее более выгнутые, чем у Рут, а волосы, даже приглаженные до блеска для фотографии, выглядят более покорными. Гарри разглядывает ухо, ища щербинку на мочке, как у Нельсона, но для этого у девочки должны быть приподняты волосы. Носик у нее изящный и маленький, чуть вздернутый, так что видны ноздри, — при таком носике нижняя часть лица кажется тяжелой, еще не сформировавшейся. Светлую кожу и холодный свет в глазах вполне можно отнести за счет шведов и их заснеженного мира — то же самое он углядел и в своем лице в зеркале ванной комнаты Мэркеттов. Его кровь. И вдруг Гарри вместе с Эннабел заходит, прождав в беспорядочной очереди школьников, за занавеску в углу гимнастического зала и видит, как, ослепленная неожиданно ярким светом, она позирует для потомства, для фотографа, для дружка и для мамы, для своего времени, наконец, которое катится как колесо и никто его не в силах задержать, — настала минута ощериться в пустоту и, придав лицу соответствующее выражение, стать звездой.

— Она — вылитая я.

Теперь уже Рут хохочет:

— Желаемое выдаешь за действительное.

— Нет, правда. Когда она в первый раз явилась в магазин, меня будто оглушило — может, ее ноги, не знаю что. У нее ведь не твои ноги. — А ноги у Рут толстые и переливались белизной, когда она ходила голая по комнате.

— У Фрэнка тоже были неплохие ноги. Пока он не распустил себя, его можно было назвать даже стройным. И высоким, когда он стоял прямо. Люблю я, видно, больших мужчин. А вот мальчики — ни один не унаследовал его роста.

— М-да, Нельсон тоже не такой, как я. Козявка, совсем как его мамаша.

— Ты, значит, по-прежнему с Дженис. В свое время ты называл ее идиоткой, — напомнила ему Рут. Она чувствует себя теперь уже вполне уютно в этой ситуации — откинулась в качалке и покачивается, ноги в носках касаются пола то кончиками пальцев, то пятками, потом снова кончиками пальцев. — Собственно, с какой стати мне рассказывать тебе мою жизнь, когда ты ни слова не говоришь о себе?

— Жизнь у меня довольно заурядная, — говорит он. — Не держи на меня зла за то, что я остался с Дженис.

— О Господи, нет, конечно. Мне просто жаль ее.

— Сестринские чувства, — говорит он с улыбкой.

Жир залег на лице Рут не мягкими округлостями, а шишками, так что, когда она поднимает голову, кажется, будто у нее выросли на лице лишние кости. Какой-то злоумышленник выпятил их.

— А ты совсем вскружил голову Энни, — переводит разговор на другую тему Рут. — Она несколько раз спрашивала меня, слышала ли я о тебе — ведь ты же был героем баскетбола. Я сказала, что мы с тобой учились в разных школах. Она была так разочарована, когда они с Джейми отправились забирать машину, а тебя там не было. Джейми-то больше склонялся купить «фиесту».

— Значит, ты считаешь, что Джейми для нее не находка?

— Находка, но лишь на время. Ты же его видел. Он такой заурядный.

— Надеюсь, она не...

— Не пойдет по моей дорожке? Нет, все будет в порядке. Шлюхи нынче перевелись — кругом одни только здоровые молодые женщины. К тому же я вырастила ее очень наивной. Собственно, я всегда считала *себя* наивной.

— Все мы наивные, Рут.

Ей явно нравится, что он назвал ее по имени, — надо быть осторожнее. Он ставит фотографию на место и смотрит на нее издали — Эннабел между двумя братьями.

— А как у тебя с деньгами? — спрашивает он, стараясь, чтобы вопрос прозвучал как бы невзначай. — Не надо немного помочь девочке? Я ведь мог бы дать тебе денег таким образом, чтобы это не выглядело, будто они с неба свалились. К примеру, на обучение девочки, если она хочет получить образование. — Он краснеет, и то, что Рут молчит, не облегчает дела. Качалка перестала покачиваться.

Наконец Рут произносит:

— Это, по-моему, называется отдавать старые долги.

— Я же не тебе их дам, а ей. Причем много дать я не могу. Я хочу сказать, я ведь не богач. Но если пара тысяч для вашего бюджета имеет значение...

Он не доканчивает фразы в надежде, что его прервут. Не может он смотреть на нее — на это незнакомое, расплывшееся лицо. Голос ее, когда она начинает говорить, звучит презрительно, хрипло, как много лет назад, когда они разговаривали лежа в постели.

— Успокойся. Можешь не волноваться, я тебя не подловлю. Если мне действительно станет трудно, я могу продать кусок земли вдоль дороги — пять тысяч за акр, такие деньги здесь она стоит. Словом, Кролик, поверь мне. Она не твоя.

— О'кей. Раз ты так говоришь. — И, почувствовав огромное облегчение, он встает.

Она встает тоже, и, когда они оба так стоят, вся эта нажитая за годы плоть словно спадает с них, и молодой мужчина и молодая женщина, жившая на втором этаже дома на Летней улице, напротив большой церкви из известняка, снова стоят друг против друга, отделенные стенами от всего остального мира — как и тогда, в комнате, принадлежавшей ей.

— Вот что, — шипит она, как ему кажется, с наслаждением; перекошенное лицо блестит. — Я никогда не доставила бы тебе такого удовольствия и не сказала бы, что девочка твоя, даже пообещай ты мне миллион долларов. Воспитала-то ее я. Мы с ней немало провели времени тут, а где, черт подери, был ты? В ту пору, когда мы встретились с тобой у Кролла, ничего же за этим не последовало, а ведь я все эти годы знала, где ты и как ты, тебе же было наплевать, что происходит со мной или с моим ребенком, да и вообще...

— Ты же была замужем, — мягко произносит он. *Моим* ребенком — как-то это странно прозвучало.

— Конечно, — спешит вставить она. — И за человеком намного лучше тебя — таким ты никогда не будешь, сколько ни язви, у детей был чудесный отец, и они это знают. Когда он умер, мы продолжали жить по заведенным им правилам, точно он все еще с нами, — вот какой это был человек. А как ты там живешь своей мелкой житенкой в Маунт-Джадже, я же ни черта не знаю...

— Мы переезжаем, — сообщает он ей. — В Пенн-Парк.

— Лихо. Там тебе самое место, с этими задавалами. Надо было тебе уйти от этой твоей идиотки двадцать лет назад — для ее и для твоего же блага, но ты не ушел, так что теперь варись в этом котле, варись, но *оставь мою Энни в покое*. Жуть, Гарри, да и только. При одной мысли, что ты считаешь ее своей дочерью, мне начинает казаться, будто ее вываляли в дерьме.

Он с трубным звуком выпускает воздух через нос.

— А у тебя по-прежнему добрый язычок, — говорит он.

Ей становится неловко; ее волосы с сильной проседью растрепались, и она приглаживает их ладонями так, точно хочет раздавить что-то затаившееся в голове.

— Не надо было мне так говорить, просто очень уж это страшно — то, как ты явился сюда, разодетый в пух и прах, и потребовал у меня мою дочь. Ты навел меня на мысль, что, не сделай я аборта, не уступи родителям, все было бы иначе и у нас могла бы быть сейчас дочь. Но ты же...

— Я знаю. Ты правильно поступила. — Он чувствует, что она борется с собой: ей хочется дотронуться до него, припасть к нему и чтобы он сжал ее в своих неуклюжих объятиях. Он ищет, чем бы закончить разговор. Несколько неуверенно он спрашивает: — А что ты станешь делать, когда Моррис вырастет и уедет из дому?

Тут он вспоминает про шляпу и берет ее тремя пальцами за мягкую новую тулью.

— Не знаю. Еще немного потяну. Что бы ни происходило, земля в цене не упадет. Каждый год, что я живу здесь, прибавляет денег в банке.

Он снова с шумом выпускает воздух через нос.

— О'кей, Рут, раз так — значит, так. Я поехал. Я так понял, что с девочкой номер не проходит?

— Конечно, нет. Подумай как следует. Представь себе, что это была бы твоя дочь. Да такое открытие сейчас только сбило бы ее с толку.

Он моргает. Это что же — признание?

— Я никогда не умел думать как следует, — говорит он.

Рут улыбается, глядя в пол. Эта квадратная выщербинка над скулой прежде всего бросилась ему в глаза, когда он посмотрел на нее сверху. Крупная, жесткая, но в общем-то добрая женщина. Другое человеческое существо, которое говорит ему, что он выглядел большим зайцем, когда она впервые встретила его в неоновом свете счетчика оплаты за стоянку. В ту пору по центру Бруэра еще ходили поезда.

— Мужчинам это не обязательно, — говорит она.

Собака заволновалась, когда они оба встали и голос Рут зазвучал громче, злее, а теперь Фрицци вышла из комнаты, опережая их, и ждет у входной двери, вопросительно помахивая хвостом, прижавшись носом к щели. Рут приоткрывает дверь — сначала внутреннюю, потом наружную, чтобы могла пройти собака, но не Гарри.

— Не выпьешь чашечку кофе? — спрашивает она.

Он обещал Дженис быть в час у Шехнера.

— Господи, нет, спасибо, мне надо назад на работу.

— Значит, ты приезжал сюда только из-за Эннабел? А обо мне ты ничего и знать не хочешь?

— Я же выслушал все, что ты мне рассказала, верно?

— Не хочешь знать, есть ли у меня дружок, вспоминала ли я это время тебя?

— М-м, ну, я уверен, это было бы очень интересно. Судя по всему, ты отлично устроилась. И Фрэнк, и Моррис, и кто там у тебя еще?

— Скотт.

— Правильно. И у тебя столько земли. Мне, конечно, жаль, что я тебя бросил тогда в таком сложном положении.

— Ну, — произносит Рут задумчиво, медленно, и Гарри кажется, что это говорит не она, а ее покойный муж. — Мы, наверное, сами создаем себе сложности.

Сейчас она выглядит не просто толстой и седой, но еще и растерянной — в свитере застряла солома, растрепавшиеся волосы лежат на щеках. Неопрятное, одинокое чудище. Гарри не терпится поскорее выскочить за эту двойную дверь на зимний воздух, ступить на землю, на которой сейчас ничего не растет. В свое время он сбежал, сказав ей: «Я сейчас вернусь», — теперь же он даже этого сказать не может. Оба знают — а люди никогда такого не должны знать, — что больше не встретятся. Он замечает на ее руке, держащей дверную ручку, тонкое золотое колечко, почти утонувшее в пухлой плоти. И сердце его бьется, как пойманная птица.

Наконец она сжаливается над ним.

— Береги себя, Кролик, — говорит она. — Я пошутила насчет твоего вида — выглядишь ты отлично. — Гарри наклоняет голову, словно намереваясь поцеловать ее в щеку, но она говорит: — Нет.

И не успевает он сойти со ступеньки цементного крыльца, как тень ее исчезает за темными стенками двойной двери. День стал еще более серым, в воздухе появились сухие снежинки, но снегопада не будет — они просто летят вкось, точно пепел. Собака сопровождает Гарри до сверкающей голубой «селики» и явно хочет прыгнуть на заднее сиденье, но Гарри не дает.

Катя по дороге мимо почтовых ящиков, на которых начертано крупными буквами БЛЭНКЕНБИЛЛЕР и МУТ, Гарри сует в рот леденец и раздумывает, не следовало ли ему все-таки сказать Рут, что она берет его на пушку насчет свидетельства о рождении. А что, если Фрэнк до нее был женат и Скотт — его ребенок от первого брака? Ведь если девочке столько лет, как сказала Рут, она же должна быть еще в школе! Но хватит. Отпусти. Просто Богу не угодно, чтобы у него была дочь.

В жарком торговом зале Шехнера, среди новой шикарной мебели, Дженис выглядит изящной процветающей женщиной и — благодаря карибскому загару — гораздо моложе своих сорока четырех лет. Он целует ее в губы, и она говорит:

— М-м-м. Клевер. Что это ты скрываешь?

— Лук — наелся за обедом.

Она приближает нос к отвороту его дубленки:

— Ты весь пропах дымом.

— Хм, Мэнни дал мне сигару.

Но она едва слушает его ложь, вся наэлектризованная собственными новостями.

— Гарри, Мелани позвонила маме из Огайо. Нельсон у нее. Все в порядке.

Дженис продолжает говорить, он видит, как движутся ее губы, как подрагивает челка, как расширяются и суживаются глаза, а пальцы взволнованно перебирают нитку жемчуга, приоткрытую распахнутым пальто, но точный смысл того, что она говорит, не доходит до Кролика — он вспоминает, что когда нагнулся у двери к старушке Рут, то при свете, падавшем с улицы, заметил, как на морщинистой коже под ее глазами что-то блеснуло, и ему приходит в голову дурацкая мысль, которую, похоже, следует запомнить и потом продать, что наши слезы вечно юны, эта соленая водица, струящаяся из наших глаз, всегда одинакова — от колыбели до могилы.

Каменный домик, который Гарри и Дженис купили за семьдесят восемь тысяч долларов, уплатив аванс в пятнадцать тысяч, стоит на четверти акра поросшей кустарником земли, в глубине заасфальтированного тупичка, за двумя более просторными особняками, образцами того, что тут называется «красой и гордостью Пенн-Парка», высокими домами в лжетюдоровском стиле с острыми, как шпили, водостоками и красными крышами, с клинкерами, торчащими под немыслимыми углами, и домом священника в неоплантаторском стиле из тонких кирпичей светло-желтого, как лимонад, цвета с застекленной верандой, а с другой стороны — рядом палладиевых окон, за которыми, как полагает Гарри, находится столовая. Гарри вышел осмотреть свои владения и найти место, где больше солнца и где весной можно было бы разбить огород. Участок за домом мамаши Спрингер на Джозеф-стрит был для этого темноват. Гарри находит вполне подходящий уголок — надо будет только срубить несколько веток с дуба, принадлежащего соседу. Вообще участки в этом заросшем, обжитом пригороде тенистые: половина его лужайки покрыта мхом, за эту мягкую зиму он, правда, подсох, но все равно лежит пружинистым ковром. Обнаружил Гарри и маленький, выложенный цементом пруд для рыбок — сейчас в нем нет воды и выкрашенное голубой краской дно усеяно сосновыми иголками. Кто-то когда-то натыкал ракушек в мокрый цемент по краю прудика. Чего только не покупаешь, купив дом. Дверные ручки, подоконники, радиаторы. И все это — его. Будь он рыбой, он мог бы весной плавать в этом пруду. Он пытается представить себе эту картину, когда-то — мужчина, женщина или ребенок, а может быть, все втроем — втыкали здесь ракушки летом, в тени деревьев, которые тогда были пониже, чем теперь. А сейчас слабый зимний свет заливает весь участок, исчерченный паутиной теней от безлистых сучков. Стоя на этой земле, он чувствует, какой груз забот передавался тут от владельца к владельцу. Дом был построен в то отмеченное депрессией, но добросовестное время, когда родился Гарри. Гладкий серый песчаник был добыт из карьеров на самом севере округа Дайамонд, и люди, сложившие из него стены, не спешили, старались работать не за страх, а за совесть. Потом, после войны, кто-то из владельцев пробил стену, что дальше от проезжей дороги, и сделал пристройку из досок и неровно побеленного кирпича. Краска струпьями слезает сейчас с досок под окнами будущей кухни Дженис. Гарри мысленно делает пометку срезать ветки, упирающиеся в стены дома, чтобы было не так сыро. Да и вообще несколько деревьев тут следует пустить на дрова, надо только дождаться весны, когда появятся листья — тогда и выяснится, какие деревья надо рубить. В доме два камина: один — в большой удлиненной гостиной, а другой, с тем же дымоходом, — в комнатке позади, где Гарри намеревается сделать кабинет. Свой кабинет.

Они с Дженис переехали вчера, в субботу. Пру возвращается с ребенком из больницы, и, если они до того успеют переехать, она сразу сможет занять их спальню, при которой есть ванная комната, да и окнами она выходит не на улицу. А кроме того, они решили, что в такой кутерьме мать Дженис менее болезненно воспримет их отъезд. Уэбб Мэркетт и все остальные вернулись с Карибского моря, как и намеревались, в четверг, и в субботу утром Уэбб приехал на грузовичке одного из своих кровельщиков с притороченными к нему с двух сторон лесенками и помог с переездом. Ронни Гаррисон, этот подонок, сказал, что ему надо в контору — раскидать бумаги, скопившиеся за время его отпуска: он-де в пятницу работал до десяти вечера; а Бадди Инглфингер приехал с Уэббом, и трое мужчин за два часа перевезли Энгстромов. Мебели у них ведь почти не было, главным образом перевозили одежду, а также комод красного дерева, принадлежавший Дженис, да несколько картонок с кухонными принадлежностями, которые им удалось спасти из дома, сгоревшего в 1969 году. Все вещи Нельсона они оставили. Одна из этих мужеподобных женщин вышла на свое крыльцо и помахала им на прощание: как быстро распространяются вести среди соседей, даже если люди не дружат. Гарри всегда хотелось спросить, каково им живется и почему они такие. Он может понять, что можно не любить мужчин — он сам не очень-то их любит, но почему можно больше любить женщин, если ты сама женщина? Особенно женщин, которые все время, как мужчины, работают молотком.

У Шехнера они с Дженис купили в четверг — с тем чтобы им доставили в пятницу — новый цветной телевизор «Сони» (Кролику ужасно неохота перекладывать свои денежки в карман японцев, но из журнала «К сведению потребителей» он знает, что в этом деле по качеству у них нет равных), пару больших мягких, серебристых, с розовым рисунком кресел (Гарри давно хотелось иметь глубокое мягкое кресло — он терпеть не может, когда дует в спину: люди ведь даже умирают от этого) и двуспальный пружинный матрас на металлической раме, без изголовья. Матрас они с Уэббом и Бадди втаскивали наверх, в комнату окнами во двор, со скошенным потолком, зато рядом со шкафом там есть пустая стена, где можно при желании повесить зеркало, а кресла и телевизор ставят не в гостиной, настолько большой, что сейчас ее все равно не обставить, а в более уютной комнате — в кабинете. Гарри всегда хотелось иметь кабинет, собственную комнату, недоступную для других. Ему особенно нравится, что в этой небольшой комнате помимо камина и встроенных полок, где можно расставить книги и безделушки мамаши Спрингер, когда она умрет, под полками, внизу, сделан бар для спиртного и даже есть место для маленького холодильника, когда они соберутся его приобрести; весь пол затянут зеленым бобриком с оранжевыми загогулинами, а окна — высокие, узкие, со скользящими вверх и вниз рамами, со свинцовыми ромбовидными переплетами вроде тех, какие рисуют в книжках сказок. У Гарри возникает мысль, что в этой комнате он, пожалуй, даже станет читать книги, а не только журналы и газеты и еще, скажем, начнет изучать историю. Пол в кабинете на ступеньку ниже, чем в гостиной, и эта маленькая разница в уровне является для Гарри, словно молодые побеги на обрезанном дереве, символом существенных изменений и нового положения в жизни.

Тупичок, где стоит их дом, ответвляется от элегантной Франклин-драйв, их почтовый адрес: Франклин-драйв, 14 1/2; сам тупичок не имеет названия, они назовут его Энгстром-уэй. Уэбб предложил назвать его проулком Энгстрома, но Гарри достаточно жил в проулках в Маунт-Джадже, и он обижается на Уэбба. Сначала Уэбб слишком рано советует тебе продать золото, потом трахает твою жену, а теперь принижает твой дом. Гарри никогда еще не жил в доме с таким маленьким номером — 14 1/2. С папкой, мамой и Мим он жил на Джексон-роуд, 303. Болджеры жили в номере 301, в угловом доме, возле которого стоял фонарь. Квартира на Уилбер-стрит, которую Гарри едва помнит, была под каким-то большим номером — она ведь находилась на холме, в доме 447, квартира 5, на третьем этаже. Домик в Пенн-Вилласе был на Виста-кресент, 26, мамаша Спрингер живет на Джозеф-стрит, 89. Хотя 14 1/2 стоит достаточно далеко от Франклин-драйв, почтальон, разъезжающий на маленьком синем, с белым и красным, джипе, знает, где этот дом. Они уже получили почту: рекламные проспекты, адресованные жильцам, скопившиеся, пока они отдыхали на Карибском море, а в субботу около половины второго, после того, как Уэбб и Бадди уехали, а Гарри и Дженис раскладывали по местам ложки, вилки и сковородки на кухне, забыв, что такие у них вообще есть, крышка над почтовым ящиком приподнялась, и на еще не застланный в холле пол упали открытка и белый конверт. На простом длинном штампованном конверте, какие продают на почте, не было обратного адреса и стояла пометка: «Бруэр». Он был адресован просто мистеру Гарри Энгстрому теми же косыми печатными буквами, какими было надписано письмо, что он получил в апреле прошлого года по поводу Ушлого. А здесь лежала совсем маленькая вырезка из газеты, и тем же четким почерком, что и на конверте, шариковой ручкой было наверху выведено: «Гольф мэгэзин». Заметка гласила:

ВОТ ТАК ГУСЬ

Дорого обошелся доктору Шерману Томасу канадский гусь, которого он убил клюшкой на территории, прилегающей к конгрессу. Он приговорен к штрафу в 500 долларов.

Дженис деланно рассмеялась, стоя рядом с ним в гулкой пустой прихожей, откуда через белую арку — вход в большую гостиную.

Гарри с виноватым видом посмотрел на нее и согласился с ее невысказанным предположением:

— Тельма.

Дженис стояла вся красная. А только что они сентиментально восторгались старым миксером, который, пролежав десять лет на чердаке у мамаши Спрингер, тут же заурчал, когда его включили в розетку.

— Она теперь никогда не оставит нас в покое, — вырвалось у Дженис. — Никогда.

— Тельма? Конечно, оставит — таков был уговор. Она это заявила без обиняков. Ты ведь тоже так условилась с Уэббом?

— Да, конечно, но для влюбленной женщины слова ничего не значат.

— Она же говорила мне, что любит Ронни. Хотя я лично не могу понять, как она может.

— Он — ее кормилец, причем неплохой. А ты — ее голубая мечта. Она действительно балдеет от тебя.

— Тебя это, видимо, удивляет, — не без осуждения говорит он.

— Ну, я не могу сказать, что я от тебя не балдею, я вижу, что она находит в тебе, просто... — Она отвернулась, чтобы скрыть слезы. Куда он ни посмотрит, всюду плачущие женщины. — ...просто эта манера вламываться в чужую жизнь. Одно сознание, что это она послала тогда ту вырезку, что она все время следила за нами, ждет своего часа... они плохие люди, Гарри. Я не желаю больше никого из них видеть.

— Да перестань ты. — Приходится обнять ее прямо здесь, в гулкой прихожей. Ему теперь нравится, когда она вот так краснеет и насупливается и дыхание у нее становится жарким и словно затрудненным от горя: в такие минуты она всецело принадлежит ему, краеугольный камень его богатства. В свое время, когда она была в таком же состоянии, он заразился ее страхом и сбежал, но теперь, достигнув зрелости, понимает, что никуда не убежит, что может посмеяться над ней, его упрямым сокровищем. — Они такие же, как мы. Это ведь было на отдыхе. В обыденной жизни они вполне благопристойны.

— А я *зла* на нее, — пылко заявляет Дженис, — зачем она заигрывает с тобой — и так скоро, не успев вернуться. Они никогда не оставят нас в покое, никогда, тем более теперь, когда у нас есть дом. Пока мы жили с мамой, мы были от них защищены.

А ведь это правда: Гаррисоны, и Мэркетты, и Бадди Инглфингер, и эта его новая дылда-подружка с вьющимися бараном волосами, заплетенными в мелкие косички, и этими туземными бусами действительно нагрянули к ним вчера, в их первый вечер в новом доме, принесли шампанское и коньяк и проторчали до двух часов, так что в воскресенье Дженис и Гарри проснулись с горечью во рту и чувством вины. У Гарри в этом доме еще не появилось привычек, а без привычек и без старой мягкой мебели мамаши Спрингер ты чувствуешь себя незащищенным, и кажется, куда бы ты ни двинулся, рухнешь в пустоту.

Кроме заметки, в субботу по почте пришла открытка от Нельсона.

Привет, мам и пап...

Весенний семестр начинается 29-го, так что я как раз вовремя. Нужен заверенный чек на 1087 долларов (397 — стоимость обучения, 90 — общие расходы, 600 — доплата для студентов, живущих не в Огайо) плюс на жизнь.

2000—2500 долларов, наверное, хватит.

Позвоню, когда поставите телефон.

Мелани шлет привет.

Целую.

Нельсон.

На другой стороне открытки изображено серое кирпичное здание с большими вентиляционными трубами, похожими на те, что используют для подачи горячего воздуха, и надпись внизу: административное здание, факультет бизнеса, Кентский государственный университет.

— А как же насчет Пру? — спрашивает Гарри. — Малый ведь стал отцом, но, похоже, не осознает этого.

— Очень даже осознает. Просто он не может все делать сразу. Он сказал Пру по телефону, что, как только запишется на занятия, приедет сюда, чтобы посмотреть на малышку и вернуть нам машину. Хотя, Гарри, может, нам оставить машину ему — пусть пользуется.

— Это же моя «корона»!

— Но ведь он поступил так, как ты хотел: вернулся в колледж. Пру вот понимает.

— Она понимает, что связалась с безнадежным неудачником, — говорит Гарри, но без злобы. Малый уже не представляет для него опасности. Теперь он в замке — король.

И сегодня — супервоскресенье. Дженис пытается поднять его, чтобы ехать в церковь: она везет туда мамашу, но Гарри еще не пришел в себя после вчерашнего, и ему хочется юркнуть под теплое крылышко сна, который он видел, сна, в котором участвовала девушка, вернее, молодая женщина, совсем ему незнакомая, с темными волосами. Гарри каким-то образом только что познакомился с нею на вечеринке, и сейчас оба находятся в маленькой ванной и, хотя не разговаривают, их что-то связывает, словно они только что занимались сексом или собираются заниматься, секс безусловно объединяет их и вместе с тем не является чем-то главным и не происходит сейчас; под ними покатый пол из маленьких квадратных плиток, узкое пространство ванной окружает их подобно маленькой хромированной чашечке, защищающей пламя на зажигалке для сигар в старом табачном магазине в центре города, радость новизны — Гарри хочет, чтобы сон разворачивался дальше и дальше, но уже не может заснуть. Эта спальня с ее ослепительно белым скошенным потолком — такая странная. Надо побыстрее купить занавески. Интересно, Дженис собирается этим заняться? Вот ведь остолопка — вечно за нее кто-то все делает. Он устраивает себе завтрак из апельсина, выуженного из пустого холодильника, плюс немного соленых орешков, оставшихся от вчерашнего пиршества, плюс чашка растворимого кофе, разведенного в горячей воде прямо из-под крана. В этом доме, как и у Уэбба, смесители с кранами, похожими на тонкий член, на кончике которого сидит пчела. Холодильник им достался вместе с домом, и — что положительно купило Гарри — он автоматически готовит полукруглые кубики льда прямо бушелями. Хотя старый миксер работает, Гарри не забыл своего обещания купить Дженис кухонный комбайн. Возможно, она потому и не занималась готовкой, что у мамаши Спрингер была такая допотопная кухня. Гарри бродит по дому, тихо радуясь чугунным радиаторам, медным задвижкам на окнах, классным восьмиугольным плиткам в ванной и тому, что во всех дверях — круглые ручки с замком, все эти детали его нового дома бросаются в глаза сейчас, когда в доме еще нет мебели, а со временем, когда все здесь будет заставлено, отойдут на задний план. Сейчас же они первозданны и обнажены.

Наверху, в скошенном стенном шкафу, рядом с бывшей, по-видимому, спальней мальчиков — стены там в десятках мелких дырочек от кнопок и остатках клейкой ленты, придерживавшей плакаты и афиши, — он обнаруживает груды журналов «Плейбой» и «Пентхаус» начала семидесятых годов. Рядом с кухонной лестницей, где медленно вращается диск электрического счетчика, он находит один из больших зеленых пластмассовых контейнеров для мусора, которые они с Дженис купили вчера, но прежде чем бросить туда очередной журнал, листает его, отыскивая середину, там из месяца в месяц, из года в год на развороте печатают снимки, на которых, помимо того как уходит в прошлое завивка волос при помощи щетки, появляются изображения волосни, которая сначала торчит, а потом кудрявится, молодые женщины с телом, словно созданным гениальным дизайнером, лежат, распахнув неглиже, изогнувшись, на диване, покрытом леопардовой шкурой, чтобы подписчики могли наконец вдоволь насладиться зрелищем их сокровища и позора. Некая невидимая сила — по мере того как месяц идет за месяцем и меняются времена года — побуждает их шире и шире раздвигать ноги, пока в номере, приуроченном к двухсотлетию Америки — хвала конституции! — никакой тайны уже нет, и девчонки с Гавайев, из Техаса и южной Дакоты подставляют яркому свету и линзам вертикальную красную щель, которая, кажется, смотрит помимо глаз на тебя из омытого кровью внутреннего мира, едва ли красивая, но, однако, служащая барьером к лежащей в глубине тайне, все еще не раскрытой, несмотря на то что зимний день за окном уже угасает. За окном, выгнув дугою серую спину, на Гарри смотрит черным настороженным глазом белочка. Природа, видит Гарри, она всюду вокруг. У самого дома растет дерево, кажется, вишня, вся кора у него в кольцах. Белка, заметив, что на нее тоже смотрят, спешит прочь. Приняв в себя весь груз журналов, контейнер становится почти неподъемным. Гарри стаскивает его вниз. После двух возвращается Дженис — она уже пообедала со своей мамашей, Пру и малышкой.

— Все были в таком хорошем настроении, — сообщает она, — включая малышку.

— А у малышки что, еще нет имени?

— Пру предложила Нельсону назвать ее Ребеккой, но он сказал — ни в коем случае. Теперь она собирается назвать девочку Джудит. Так зовут ее мать. Я сказала, чтобы они и не думали называть ее Дженис: мне мое имя никогда не нравилось.

— А мне казалось, она терпеть не может свою мать.

— Не то чтобы терпеть не может, но не слишком уважает. Это отца она терпеть не может. Но он уже дважды звонил ей и был очень — как же это говорят-то? — примирительно настроен.

— Ну и прекрасно. Может, он приехал бы и помог нам в магазине. Мог бы поработать слесарем-паропроводчиком. А как Пру относится к тому, что Нельсон удрал накануне события?

Дженис снимает шапочку — пушистый, сиреневый, редкой вязки берет, который она носит зимой и, когда надевает его с дубленкой, становится похожей на смуглого солдатика, отправляющегося на войну. Наэлектризованные волосы встают у нее дыбом. В пустой гостиной не на что положить берет, и она швыряет его на белый подоконник.

— Видишь ли, — говорит она, — у нее к этому довольно любопытное отношение. Сейчас, по ее словам, она просто рада, что его нет, — была бы только лишняя докука. Вообще, она считает, что именно так он и должен был поступить, чтобы выбросить из себя все дерьмо, как она выразилась. Я думаю, она понимает, что это она подтолкнула его к такому решению. Она полагает, что он будет чувствовать себя увереннее, когда получит диплом. Она, похоже, нисколько не волнуется, что может потерять его совсем.

— Ну и ну. Интересно, что надо нынче натворить, чтоб оказаться виноватым?

— Они очень терпимо друг к другу относятся, — говорит Дженис, — и, по-моему, это славно. — Она спешит наверх, и Гарри следует за ней по пятам, боясь потерять ее в этом большом, непривычном доме.

— Она что же, собирается поехать туда, снять квартиру и поселиться с ним, или как? — спрашивает он.

— Она считает, что, если явится туда с малышкой, он тут же запаникует. Ну и, конечно, маме было бы приятнее, если бы она осталась.

— Неужели Пру нисколько не возмущена Мелани?

— Нет, она говорит, что Мелани последит за ним ради нее. Если им верить, у них нет этой ревности, какую мы чувствуем.

— Если.

— Кстати. — Дженис сбрасывает пальто на кровать и, нагнувшись, расстегивает молнии на сапогах. — Тельма просила маму передать нам, не хотим ли мы прийти к ним сегодня легонько поужинать и посмотреть игру на кубок. Насколько я понимаю, там будут и Мэркетты.

— И что ты сказала?

— Я сказала — нет. Не волнуйся, я была с ней очень мила. Я сказала, что к нам приедут мама и Пру смотреть игру на кубок по нашему новому телевизору. И это правда. Я их позвала. — Она стоит в одних чулках, уперев руки в бедра, обтянутые черной юбкой костюма, в котором она ходит в церковь, и всем своим видом как бы говоря: «А ну посмей сказать, что ты предпочитаешь пойти в эту поганую компанию, а не провести вечер дома с семьей».

— Прекрасно, — говорит он. — Я ведь по-настоящему-то еще и не видел...

— Ах да, еще одно, но уже печальное. Мама узнала об этом от Грейс Штул — она, кажется, в дружбе с тетей Пегги Фоснахт. Пока мы были на островах, Пегги пошла к своему врачу для очередной проверки, а к вечеру он уже уложил ее в больницу и отрезал ей грудь.

— Ну и ну! — Грудь, которую он целовал. Бедняжка Пегги. Бог щелкнул ногтем с этакой большущей лункой и — привет. Нет, жизнь нам в конечном счете не по плечу.

— Ей, конечно, сказали, что все вырезали, но они ведь всегда так говорят.

— Последнее время казалось, что с ней должно что-то случиться.

— Какая-то она была нелепая. Надо ей позвонить, но не сегодня.

Дженис надевает бумажные брюки, чтобы заняться уборкой. Она говорит, что в доме жуткая грязь, но Гарри ничего такого не замечает, кроме «Плейбоев». До сих пор Дженис сама не отличалась особой аккуратностью. Зимний свет, падая в незашторенные окна, отражается от голых полов и пустых стен, серебрит ее, а плечи и руки словно покрывает налетом ртути, так что она кажется рыбкой, выпрыгнувшей из воды и тотчас исчезнувшей в его старой рубашке и изъеденном молью свитере. Позади нее стоит их новая кровать, неразобранная, еще не опробованная — вчера вечером они были слишком пьяны и измучены. Собственно, они не трахались с той ночи на острове. Он раздраженно спрашивает ее, что же все-таки будет с его обедом.

— Как? Разве ты ничего не нашел в холодильнике? — спрашивает Дженис.

— Там лежал один апельсин. Я съел его на завтрак.

— Я знаю, что покупала яйца и ветчину, но, видно, Бадди и как ее там...

— Валери.

— Ну не сумасшедшую она себе придумала прическу? Как ты думаешь, она принимает наркотики?.. Так они, видно, все съели, когда после полуночи делали себе омлет. Такой ненормальный аппетит разве не признак наркомании? Я знаю, Гарри, там осталось немного сыра. Ты не мог бы удовольствоваться сыром и крекерами, пока я не поеду позже за продуктами для мамы? Я не знаю, что тут по воскресеньям открыто, не могу же я гонять в супермаркет Маунт-Джаджа и тратить столько бензина.

— Нет, — соглашается он и довольствуется сыром с крекерами и пивом, оставшимся от трех шестибаночных картонок, которые привезли Ронни и Тельма. А Уэбб и Синди привезли коньяк и шампанское. Всю вторую половину дня Гарри помогает Дженис наводить чистоту в доме, моет окна, полирует деревянные поверхности, а она мокрой тряпкой освежает пол и даже до блеска начищает раковины в кухне и в ванной. У них тут есть ванная и внизу, но он не знает, где можно купить туалетную бумагу с напечатанными на ней комиксами. Дженис привезла в «мустанге» от своей матери полотер, а также пасту, и теперь Гарри натирает воском светлый пол в большой гостиной: каждый завиток дерева, и каждый слегка вылезший гвоздь, и каждую проплешину, оставленную резиновым каблуком, — и все это его, это его дом. Пока Кролик накладывает круговыми движениями воск, в мозгу его крутятся одни и те же мыслишки — глупые, как все, что приходит в голову, когда ты занят физическим трудом. Вчера ночью он все думал, не поменялись ли те две пары партнерами и Ронни с Синди не развлекались ли вторично после того, как они с Дженис ушли, — уж очень уютно они там себя чувствовали, такое было впечатление, точно они вчетвером были ядром компании, а Энгстромы, бедняга Бадди и эта жадная до развлечений Валери были вторым эшелоном или как бы принадлежали к третьему миру. Тельма слишком много выпила, и ее землистая кожа блестела, напоминая ему о вазелине, а когда он поблагодарил ее за присланную вырезку про гуся, она вытаращила на него глаза, потом искоса взглянула на Ронни, потом снова на него, точно голова у него была набита камнями. Гарри подозревает, что все, происходившее там, рано или поздно выплывет наружу: люди ведь не умеют хранить секреты, но ему больно думать, что Тельма разрешит Уэббу проделывать с ней то, что они проделывали вдвоем, или что Синди действительно хочет снова провести время с Ронни и, оставшись наедине, по-матерински заботливо приподнимает тяжелую грудь, чтобы этот любитель поразглагольствовать мог пососать ее, а потом об этом рассказывать, поблескивая своим голым, как у младенца, скальпом. Какой смысл что-либо утаивать, все мы скоро умрем, мы ведь уже доживаем свой век, вокруг полно детишек — это они заказывают музыку, творят новости. После встречи с Рут у Кролика такое чувство, точно у него что-то отрезали — лишили целого мира, за которым он краешком глаза наблюдал. Полотер, которым орудует Дженис, гудит и ударяется обо что-то позади него, и под это постукивание в мозгу его всплывает статья, которую он читал в прошлом году где-то в газете или в «Таймсе», об одном профессоре из Пристона, утверждавшем, что в давние времена боги общались с людьми, прямиком воздействуя на их левое, а может быть, правое полушарие; люди были точно роботы с приемником в голове, и им диктовали, что они должны делать, а потом, во времена древних греков или ассирийцев, система эта разладилась, батареи стали слишком слабыми, и люди уже не слышали указаний богов, хотя до сих пор случаются прозрения — вот почему мы ходим в церковь, а теперь, со всеми этими черномазыми и чудилами, раскатывающими на роликах в наушниках, подключенных к транзисторам, мы явно движемся назад, к тому первозданному состоянию! Так, ночью, засыпая, он слышит голос мамы, шепотом доносящийся из угла комнаты: «Хасси!» — произносящий имя давно умершее, как и тот мальчик, который его носил. Может, мертвые — они боги, что-то такое, во всяком случае, в них есть, взять хотя бы то, как они уступают тебе место. Теряешь же ты по мере старения свидетелей — тех, кто, как зрители с трибуны, наблюдал за тобой с детских лет и кому ты был дорог. Мама, папка, старик Спрингер, крошка Бекки, славная девочка Джилл (возможно, этот сон имел отношение к тому времени, когда он так внезапно овладел ею, вот только волосы у нее были менее черными, но сон был таким ярким — на свете не бывает ничего лучше новой связи). Ушлый, мистер Абендрот, Фрэнк Байер, Мейми Эйзенхауэр, ушедшая от нас совсем недавно, Джон Уэйн, Линдон Джонсон, Джон Кеннеди, «Скайлэб», гусь. И мать Чарли с Пегги Фоснахт, которые скоро отдадут концы. И его дочь Эннабел Байер, исчезающая вместе со своим мирком, который он наблюдал краешком глаза, — так исчезают целые планеты в «Звездных войнах». Чем больше ты знаешь покойников, тем, похоже, больше живых, которых ты не знаешь. Слезы, показавшиеся на глазах Рут, когда он уходил; может, Бог повсюду во вселенной, как соль — в океане, та, что придает вкус воде. Он никогда не мог понять, почему люди не пьют соленую воду — это же не может быть хуже, чем заедать кока-колу жареным картофелем.

Он слышит за стеной, как Дженис, неуклюже работая полотером, то и дело ударяется о плинтусы, и он вдруг понимает, почему они так хлопочут: пытаются прогнать панику, которая может овладеть ими в этом доме, куда им вовсе не надо было переезжать, так далеко от Джозеф-стрит. Затерявшись в пространстве. Вот так же, наверное, чувствует себя душа, очнувшаяся в теле младенца далеко от небес: ей не только страшно, и потому она кричит, — она чувствует себя виноватой, такой виноватой. Ведь какую яму надо заполнить. А сколько понадобится денег, чтобы обставить эти комнаты, тогда как к их услугам было все задаром, — нет, разорил он себя. А выплаты по купчей — они должны 62 400 долларов из расчета тринадцать с половиной процентов годовых, значит, почти 8 500 на одни проценты, по семьсот долларов в месяц в течение двадцати лет, пока главе семьи не стукнет шестьдесят шесть. Что сказала Рут о своем младшем сыне — что он родился 6.6.66? Забавные вещи бывают с цифрами — они не врут, но выкидывают фортели. Сколько всего на свете, чего ему уже никогда не удастся сделать, — он не заставит Синди принять позу одной из этих проституток из «Пентхауса», что лежат на леопардовых шкурах, и не станет перед ней на четвереньки, и не будет просто жевать ее, жевать, жевать.

Вчера вечером Бадди — а он до того надрался, что даже стекла его очков в серебряной оправе запотели, — повернулся к нему и сказал, он-де понимает, он чокнулся, он знает, что все говорят, какая Валери дылда, да еще с тремя детьми, но именно она ему нужна. «Только она, Гарри», — сказал он со слезами на глазах. А в «Летящем орле» большая новость: Дорис Кауфман снова выходит замуж. За одного малого, которого Кролик немного знал, — Дона Эберхардта, он разбогател на недвижимости, которую скупал в городе, когда она никого не интересовала, до энергетического кризиса. Недаром говорят: жизнь на радость нам дана.

В пять часов, когда они заканчивают уборку, в окнах еще светло, свет лежит на белых подоконниках — дни в это время года уже начинают удлиняться. Планеты, что бы мы ни делали, движутся своим ходом. В только что натертом холле у подножия лестницы Гарри берет Дженис за подбородок — там, где кожа нежная, а не неприятная на ощупь, — и предлагает пойти наверх вздремнуть, но она целует его жарко и многоопытно — многоопытность умеряет жар поцелуя — и говорит:

— О, Гарри, отличная мысль, но я же понятия не имею, когда они могут приехать — все зависит от того, когда мама встанет после сна, она действительно стала слабенькая, а потом, им надо накормить малышку, да и я еще не ездила за покупками. Разве не передают матч?

— Только в шесть, он ведь идет на Западном побережье. В четыре тридцать будет передача перед игрой, но все это только шум и треск. Я хотел посмотреть игру в Фениксе в два тридцать, но ты вздумала убирать комнату, так как твоя мамаша приезжает.

— Тебе следовало об этом сказать. Я бы и сама посмотрела.

Она уезжает в своем «мустанге», а он идет наверх, потому что внизу негде прилечь. Он надеется снова увидеть белочку, но она исчезла. Он считал, что белки впадают в зимнюю спячку, но, наверное, просто нынче странная зима. Он прикладывает руку к радиатору — его радиатору — и с чувством гордости и удовлетворения ощущает тепло. Он ложится на их новую постель, застланную немецким лоскутным покрывалом, которое они привезли из Маунт-Джаджа, и почти тотчас засыпает. Во сне он видит себя и Чарли — у них беда в конторе: потеряны очень важные бумаги с номерами, а там, где в смотровом зале должны стоять новые машины, — рваные дыры в бетонном полу, тщательно раскрашенные звездами и полосами. Просыпается он в испуге. Снизу раздается приглушенный взрыв — это Дженис закрыла входную дверь. Уже седьмой час.

— Мне пришлось доехать чуть не до самого кегельбана, пока я нашла мини-универсам, который еще был открыт. Там, конечно, ничего свежего не было, но я купила четыре замороженных китайских ужина — картинки на коробках вполне аппетитные.

— Но ведь в этой мерзости столько химии! Не хочешь же ты отравить молоко Пру.

— А тебе я взяла копченой колбасы, и яйца, и сыр, и крекеры, чтобы ты не ныл.

Сон, от которого он пробудился с ощущением, точно кто-то швырнул ему в лицо ком мокрой одежды, начинает в нем оседать, и ему становится даже весело. Темнота затянула дневные глубины, окна кажутся черными фотопластинами в рамках. Тельма и Нельсон где-то бродят, дожидаясь, когда можно будет сюда въехать.

Дженис накупила в мини-универсаме товаров на тридцать долларов, и, пока она засовывает продукты в сверкающий холодильник, Гарри видит в уголке еще две банки пива, избежавшие вчера лап хищников. Дженис даже купила ему банку соленых орешков за доллар двадцать девять центов — пожевать, пока он будет смотреть по телевизору игру. Первая половина игры проходит с переменным успехом. Он желает «Стальным» проиграть, ему неприятно то, как они разгромили «Орлов», да и вообще ему не нравятся выскочки: он поддерживает «Баранов», как поддерживает афганских повстанцев, выступающих против советской военной машины.

В перерыве множество девчонок в ярких платьях и мальчишек в полосатых майках, выглядящих как гомики, танцуют под звуки тысячи калифорнийских труб, которые, фальшивя, подражают старым джаз-оркестрам, — молодежь старается танцевать джиттербол, но они не освоили свинг, когда на один такт встаешь на пятки, а на другой — поворачиваешься. Они вместо этого просто крутят бедрами, как на дискотеке. Затем какое-то маленькое солнышко, стриженное под пажа, как сестры Эндрюс, исполняет «Сентиментальное путешествие», но в ее исполнении нет души, которую в военные сороковые годы вкладывала в песню Дорис Дэй, — да и откуда этому взяться? Ведь все эти ребята родились — хотите верьте, хотите нет — самое раннее около 1960 года и, что еще хуже, уже сексуально созрели. При словах «все на борт» они устраивают этакую змейку, которая должна изображать поезд «Чаттануга Чучу», и под безоблачным калифорнийским небом поднимают вверх сверкающие полосы алюминия, которые должны изображать солнечные панели. «Энергия — это люди, — поют они. — Люди — это энергия!» Кому нужен Хомейни и его нефть? Кому нужен Афганистан? К черту русских! К черту японцев, если уж на то пошло! Мы одни будем царить на всех сверкающих морях.

Устав сидеть в одиночестве в своем кабинетике и вместе со ста миллионами других идиотов смотреть игру, Гарри отправляется на кухню за второй банкой пива. Дженис сидит за карточным столиком, который ее мать одолжила им с большой неохотой, хотя сама играет в карты только в Поконах.

— Где же наши гости? — Спрашивает он.

А Дженис сидит, наблюдая за тем, чтобы не подгорели китайские ужины, разогреваемые в духовке, и читает журнал «Красивый дом», который она, должно быть, тоже купила в мини-универсаме.

— Наверное, заснули. Они ведь по ночам почти не спят, так что в известном смысле это великое благо, что нас там нет.

Он поджимает губы — такое горькое пиво. Плохое, видно, зерно. Все равно мужчины любят свою отраву.

— Ну, жизнь с тобой вдвоем в этом доме для меня, насколько я понимаю, — верный способ похудеть. Кормить меня здесь, видно, никогда не будут.

— Будут, — говорит она, переворачивая глянцевитую страницу.

Ревнуя ее к журналу, к этому дому, который, он чувствует, она начинает все больше любить, он обиженно говорит:

— Это все равно что ждать манны небесной.

Она бросает на него сумрачный, но не враждебный взгляд.

— Последнее время на тебя манны небесной свалилось хоть отбавляй — теперь десять лет можно жить спокойно.

Судя по ее тону, она, видимо, намекает на Тельму, а у него этого и в мыслях не было — во всяком случае, сейчас.

Гости их приезжают лишь в начале четвертого тайма, как раз после того, как Брэдшоу, отчаявшись, послал бомбу Столуорту; принимающий и защитник вместе повалились, а счастливчик, совсем как циркач, схватил мяч. Кролик по-прежнему считает, что «Бараны» выигрывают. Дженис кричит ему, что здесь мама и Пру. Мамаша Спрингер оживленно щебечет в холле, снимая свою норковую шубу и рассказывая о том, как они ехали по Бруэру; машин на улице почти не было, все, наверное, смотрят игру. Она учит Пру водить «крайслер», и Пру отлично стала с этим справляться, как только они догадались отодвинуть сиденье: мамаше в голову не приходило, что у Пру такие длинные ноги. А Пру стоит, крепко прижимая к груди розовый сверток, оберегая его от холода; лицо у нее усталое, похудевшее, но более умиротворенное, разгладившееся.

— Мы бы раньше приехали, но я начала печатать письмо Нельсону и хотела закончить, — оправдываясь, говорит она.

— А я вот волнуюсь, — без всякой связи объявляет мамаша. — Всегда считалось, что некрещеного младенца нельзя таскать в гости — это дурная примета.

— Ах, мама, — вырывается у Дженис, ей не терпится показать матери, как она прибрала дом, и она ведет старуху наверх, хотя единственное там освещение — бра в новоколониальном стиле с лампочками в сорок ватт, многие из которых предыдущие владельцы умудрились пережечь.

Гарри снова усаживается в одно из глубоких кресел, обитых серебристой, с розовым рисунком материей, чтобы смотреть по телевизору игру, и слышит, как прямо у него над головой шаркает больными ногами старуха — обследует помещение, ищет комнату, куда со временем ей, может, придется переехать. Гарри полагает, что Пру пошла туда с ними, но, судя по шагам, ее там нет, а через минуту Тереза тихо сходит со ступеньки в его кабинет и кладет ему на колени то, чего он давно ждал. Маленькая посетительница лежит в продолговатом коконе, не видя вспыхивающих на экране «Сони» ярких красок; тоненький, без стежков шовик закрытых глаз чуть скошен, губки под вздернутым носиком надуты, словно в презрительной гримаске: паршивка знает, что она хороша. В изгибе черепа чувствуется, что это женщина — такие вещи проявляются с самого первого дня. Несмотря ни на что, она все же пробилась сюда и вот лежит у него на коленях, на его руках — нечто реальное, почти невесомое, но живое. Залог счастья, свет души, внучка. Его внучка. Еще один гвоздь, забитый в его гроб. Его гроб.

1. Исследовательская орбитальная станция: в 1973—1974 гг. приняла три экспедиции; в 1979 г. законсервированная станция начала терять высоту и сгорела в плотных слоях атмосферы. — *Здесь и далее примеч. пер.* [↑](#footnote-ref-1)
2. Концерн, специализирующийся на продаже полуфабрикатов и бакалейных товаров. [↑](#footnote-ref-2)
3. *1066*  — год завоевания Великобритании норманнами. *1776*  — 4 июля 1776 года была принята Декларация независимости, провозгласившая создание самостоятельного государства США из бывших английских колоний. [↑](#footnote-ref-3)
4. Островок на р. Саскуэханна в штате Пенсильвания, где в 1979 г. произошла первая в истории ядерной энергетики крупная авария на АЭС. [↑](#footnote-ref-4)
5. Популярный комедийный телесериал о жизни негритянской семьи (1975—1985). [↑](#footnote-ref-5)
6. Так в просторечии именуется американское правительство. [↑](#footnote-ref-6)
7. Прошу к столу! (*ит.* ) [↑](#footnote-ref-7)
8. Национальное испанское блюдо из риса с курицей, дарами моря и специями. [↑](#footnote-ref-8)
9. Испанская окрошка. [↑](#footnote-ref-9)
10. Коктейль «Маргарита» готовился из текилы и лимонного сока, край бокала предварительно обмакивался в соль. [↑](#footnote-ref-10)
11. Водка из агавы. [↑](#footnote-ref-11)
12. Блины с кабачками (*ит.* ). [↑](#footnote-ref-12)
13. Блины с шампиньонами и луком (*фр.* ). [↑](#footnote-ref-13)
14. Имеется в виду случай, произошедший в 1969 г. с сенатором Эдвардом Кеннеди, когда утонула его спутница. [↑](#footnote-ref-14)
15. Консервативная секта меннонитов, протестантов‑анабаптистов, основанная в 1690 г. в Швейцарии. В начале XVIII в. члены секты переселились в США; первые общины возникли на территории современной Пенсильвании. [↑](#footnote-ref-15)
16. Телесериал о жизни виргинской семьи в период Великой депрессии в США. [↑](#footnote-ref-16)
17. Стадион в Питсбурге, где тренируется бейсбольная команда «Питсбургские пираты». [↑](#footnote-ref-17)
18. «Скачи, скачи, Гейле...» (*нем.* ) [↑](#footnote-ref-18)
19. Футбольная команда «Филадельфийские орлы» (имеется в виду американский футбол). [↑](#footnote-ref-19)
20. Горнолыжный курорт в Колорадо. [↑](#footnote-ref-20)
21. Одна из религий Индии. [↑](#footnote-ref-21)
22. Теперь (*нем.* }. [↑](#footnote-ref-22)
23. Отмечается в первый понедельник сентября. [↑](#footnote-ref-23)
24. Лорд Маунтбеттен, Луис (1900—1979) — видный английский государственный деятель, адмирал флота, бывший вице‑король Индии. [↑](#footnote-ref-24)
25. Сокращенное от имени Пруденс, что по‑английски означает «благоразумие, скромность». [↑](#footnote-ref-25)
26. Нежелательное лицо (*лат.* ). [↑](#footnote-ref-26)
27. Ставшее нарицательным имя героини комиксов, мультипликационных и игровых фильмов — неуязвимой амазонки. [↑](#footnote-ref-27)
28. Имеется в виду жена президента Эйзенхауэра. [↑](#footnote-ref-28)
29. Заболоченный национальный парк во Флориде. [↑](#footnote-ref-29)
30. Известный сатирик, ведущий часовую передачу на американском телевидении. [↑](#footnote-ref-30)
31. Так презрительно называют ирландцев. [↑](#footnote-ref-31)
32. Журнал, где публикуется хроника жизни знаменитостей. [↑](#footnote-ref-32)
33. Лекарство, принимаемое при язве желудка. [↑](#footnote-ref-33)
34. Чувство преданности (*лат.* ). [↑](#footnote-ref-34)
35. Господство (*лат.* ). [↑](#footnote-ref-35)
36. Имеется в виду захват американского посольства в Тегеране 4 ноября 1979 г. [↑](#footnote-ref-36)
37. Се человек (*лат.* ). [↑](#footnote-ref-37)
38. Страховой полис Ассоциации Голубого креста и Голубого щита, который покрывает часть расходов, связанных с пребыванием в больнице. [↑](#footnote-ref-38)
39. Перекличка с фразой из Библии: «Отпусти народ Мой» (Исход, 5:1). [↑](#footnote-ref-39)
40. Препарат, помогающий организму бороться со старением. [↑](#footnote-ref-40)
41. Второе воскресенье мая. [↑](#footnote-ref-41)